М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

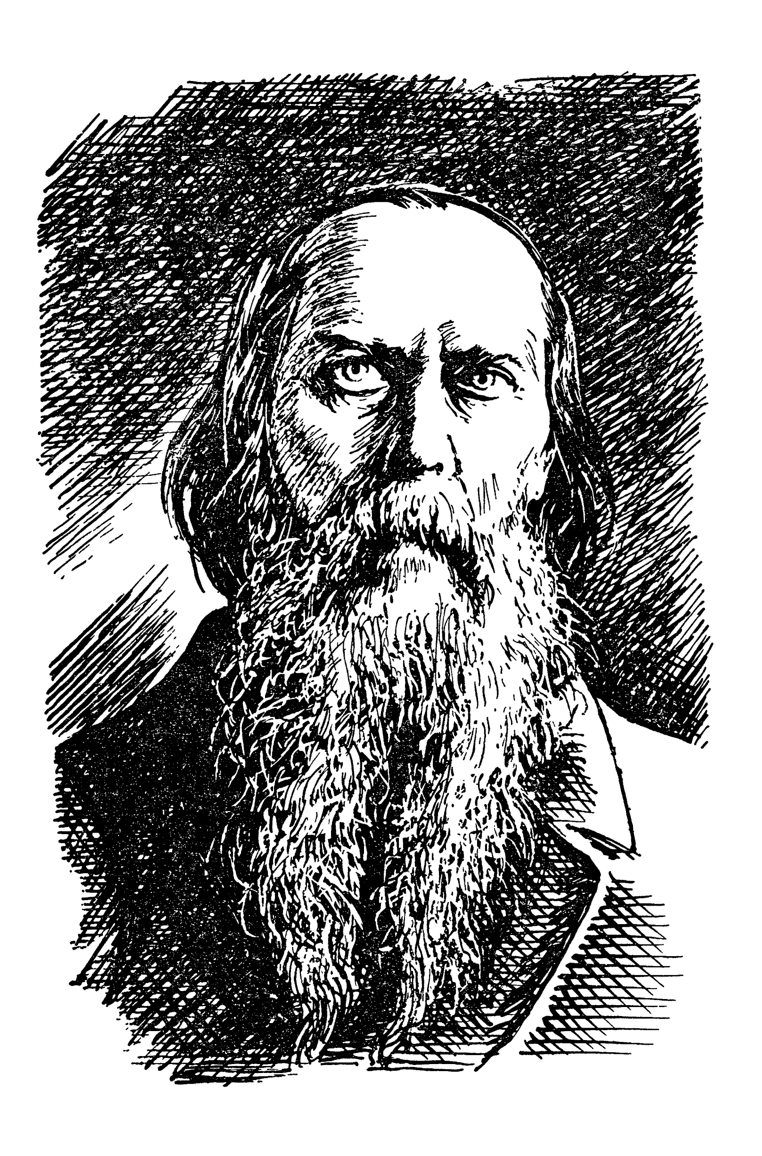
М. Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН

РАССКАЗЫ






КЛАССИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА • СОВРЕМЕННИКА •
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



КЛАССИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА «СОВРЕМЕННИКА»

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

РАССКАЗЫ

Москва «Современник» 1989

ББК 84Р1
С16

Тексты печатаются по изданию:
Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М.: Худож. лит., 1965—1977. Т. 3, 1965; т. 12, 1971; т. 16, 1974.

Составитель, автор вступительной статьи и примечаний М. С. ГОРЯЧКИНА

Художник
В. Г. АЛЕКСЕЕВ

С $\frac{4702010100\text{-}195}{М106(03)\text{-}89}$ 13-89

ББК 84Р1

ISBN 5-270-00453-4

ЩЕДРИН-ПСИХОЛОГ

М. Е. Салтыков-Щедрин (1826 — 1889) был не только великим мастером политической сатиры, но и художником-психологом.

В эту книгу включены психологические рассказы Щедрина — наименее известная широкому читателю и мало изученная часть его творчества. Рассказы, в большинстве своем, традиционны по структуре и образам, но весьма глубоки по идее и способам раскрытия характеров.

И. А. Гончаров, говоря о психологизме Достоевского — политического антипода Щедрина, находит у них много общего. Оба они «своеобразные таланты», ищущие «правду жизни»,— «один в глубокой, никому, кроме его, недостигаемой пучине людских зол, другой в мутном потоке мелькающих перед ним безобразий»[1].

Достоевский — великий мастер изображения внутреннего мира человека, обнажает его психику как источник творящегося в мире зла; Щедрин же — обличитель несправедливого социального строя, его психологизм обусловлен задачами политической борьбы. У одного «мрачная скорбь», у другого «горячая злоба», но обоих объединяет глубина проникновения в жизнь, «невидимые слезы», любовь к человеку и к России.

Трагизм у Достоевского и Щедрина основывался на борьбе за судьбы человечества, за человеческое в человеке.

Щедрин, в сущности, не раскрывает процесс страдания человека, эволюцию трагического в душах своих героев, как это делает Достоевский. И дело здесь не в силе художественного мастерства, а в принципиально ином понимании Щедриным категорий трагического и комического. В своих психологических произведениях Щедрин с потрясающей наглядностью показал умертвление души человека под влиянием социальной среды, процесс потери им свободы, воли и разума. Это можно проследить в рассказах, а также в «Благонамеренных речах», «Господах Головлевых», в цикле «Мелочи жизни» и других произведениях. Щедрин берет здесь среднего, обычного человека в его прямых, каждодневных связях с действительностью. Человек этот вначале не несет в себе никаких обобщенных черт, в нем нет той сатирической заданности, гротескной символичности, которая определяет с начала до конца образы чисто сатирических произведений Щедрина («Помпадуры и помпадурши», «История одного города», «Сказки», «Современная идиллия», «За рубежом» и другие). Но на глазах читателя этот обычный, средний человек, типичное порождение окружающей его среды, становится ее обобщенным символом. Причем без применения сатирических средств, показом обычных житейских дел человека.

---

[1] Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т 8. С. 109.

* * *

Излюбленные жанры политической сатиры Щедрина — сатирические романы, сатирические хроники, циклы рассказов. Объединяющим звеном хроник и рассказов являются или герой-рассказчик, близкий автору, или (что гораздо чаще) типическое сходство явлений социальной жизни.

Цикличность жанра призвана раскрыть становление социальных свойств типа и явления. Повествование неизменно сопровождается обобщенными и весьма глубокими по смыслу заключениями автора, подчеркивающими политический смысл происходящего.

Цикличность свойственна и психологическим рассказам Щедрина. Но они являются как бы оборотной стороной картин и типов политической сатиры. Это явления и типы не правящей и торжествующей, а угнетенной и страдающей России.

Поэтому главная черта их не утверждение власти, не эгоизм и хищничество, а душевная боль за человечество, за его бездуховность, за отсутствие больших идеалов.

Психологизм Щедрина берет свое начало в традициях русской натуральной школы, которая основывала свой творческий метод не только на реальности и жизненности изображения действительности, но и на отрицательном отношении к общественному злу, к среде, несущей его.

Эти принципы получили осуществление и в самых первых повестях Салтыкова «Противоречия» и «Запутанное дело» (1847 — 1848), которые, по утверждению Добролюбова, воплощали в себе высокие гуманистические идеалы,— были полны «живого, до боли сердечной прочувствованного отношения к бедному человечеству»[1]. За эти повести, по распоряжению Николая I, Салтыков был на 8 лет сослан в Вятку.

Уже самым ранним произведениям Щедрина, посвященным показу классовых противоречий российской действительности, страданий бесправного народа, чужд отвлеченный гуманизм и тем более сентиментальность. Народная судьба, народные беды ставятся писателем в прямую зависимость от социальной общественной системы. «Сытое человечество», имеющее власть, противопоставляется там человечеству, «странствующему в грязи и невежестве».

«Бытовой реализм», описательность, свойственные многим произведениям писателей натуральной школы, были неприемлемы для молодого Щедрина. Этот «бытовой реализм» всегда осложнялся у него напряженной духовной жизнью героев и глубокими философскими размышлениями не только о жизни персонажа, но и о жизни общества в целом.

Гуманизм, свойственный натуральной школе, а затем и всей литературе критического реализма, в творчестве Щедрина неразрывно связан

---

[1] Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. М.: Гослитиздат, 1935. Т. 2. С. 38.

с политической борьбой за права угнетенных. Соответственно строятся и образы ведущих персонажей психологических рассказов Щедрина. Если в сатирических романах и хрониках народ дан как многоликая, стонущая масса, то здесь главное внимание уделено раскрытию души персонажа, его осмыслению окружающей действительности.

Цикл «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе» (1857 — 1863) рисуют Россию в период подготовки и осуществления крестьянской реформы. Борьба с крепостничеством — одна из главных тем щедринского творчества. Для Щедрина вопрос о крепостничестве был значительно шире экономических и правовых взаимоотношений между помещиками и крестьянами. Крепостническими были самые основы российского гусударства, крепостничество вошло в плоть и кровь всех классов и сословий России, сформировав характеры, тормозящие развитие общества. Речь шла не только об отмене крепостного права — необходимость этого была очевидна уже предшествующему поколению,— но и об исцелении народа от болезни духовного рабства и общественной инертности, выработанной вековым угнетением. А также о никчемности, мелочности и реакционности новых реформ, выработанных крепостниками. Этих «реформистов» — земцев Щедрин презрительно именовал «сеятелями». Рассказы о них пронизаны сатирической иронией, содержат обобщения широкого масштаба о всей политической системе управления России.

Характер народных типов в рассказах 60-х годов («Невинные рассказы») отличается от тех, что созданы в конце 80-х. Эпоха политической реакции наложила свою печать, как и на все другие произведения Щедрина этого времени. На первый план вышла личность не бунтующая, а глубоко страдающая. Будь то крестьянин, дворянский интеллигент, ремесленник. Все живое и мыслящее задыхалось в атмосфере «дома терпимости» — политической и моральной продажности.

Психологические рассказы Щедрина и 60-х и 80-х годов остросюжетны и трагичны. В центре сюжета судьба несчастного человека и его осмысление этой судьбы. Этого нет в рассказах сатирических и сатирических хрониках, так как там нет становления героя — он дан полностью сформировавшимся. Нет там и размышлений и страданий, ибо герой не человек, а политический символ, способный только действовать по заданной программе, изрекать мысли, свойственные ему, как представителю определенной социальной группы. Сатирический тип лишен духовного мира. Его облик, мысли и действия гиперболизованы, а часто и фантастичны, хотя фантастика эта весьма реальна и в сущности своей правдоподобна.

Говоря о реализме как художественном методе, Щедрин противопоставляет его натурализму и фактографизму — «механическому списыванию с натуры». Реализм «есть нечто большее,— утверждает Щедрин,— нежели простое умение копировать». Реализм предполагает всестороннее изображение человека и общественного явления, «он берет его со все-

ми определениями, ибо все эти определения равно реальны, т. е. равно законны и равно необходимы для объяснения человеческой личности»[1]. В психологических рассказах Щедрина предметом исследования является душа человека, но человека не обособленного, не оторванного от социальной среды. Главная черта человека из народа — острое чувство социальной справедливости. И даже не умение сострадать, а умение противостоять системе, несущей страдание.

Гротесковый тип у Щедрина — это тип, познанный до конца во всех своих потенциях, это обнажение характера, его осмысление как общественного явления. То же самое можно сказать и о гротесковом изображении общества в целом.

Писатель-психолог имеет дело с естественным процессом мыслей и чувств человека, с его духовным миром. В произведениях из цикла «Невинные рассказы» («Миша и Ваня», «Развеселое житье», «Деревенская тишь» и др.) предстают образы крепостных крестьян. Судьба их взята на переломе, в момент наивысшего напряжения духовных сил, когда терпение и покорность уже иссякли и вопрос стоит о жизни или смерти. Миша и Ваня — дворовые мальчики жестокой помещицы — рассуждают об окружающей их жизни. И мысли эти страшны по своей трагичности. Диалог мальчиков, где обсуждается необходимость их самоубийства, а также божье возмездие за их мучения помещице, потрясает своей искренностью, философской глубиной. Горе мальчиков автором обобщается до всеобщего народного горя, их слезы вливаются в «созревший источник из переполненной груди матери-земли».

Но есть в этом рассказе и другие обобщения, близкие к сатирическим. Они относятся к типам угнетателей, противостоящим народу. Помещица видится Мише как олицетворение зла: «Мерещились ему пуки розог, мерещилась ему Катерина Афанасьевна: лицо ее словно пылало, на голове словно змеи вились, разевая рты, и высовывались оттуда огненные жала». Параллели зла и добра не случайны, они подсказаны самой идейной основой рассказа. В «Святочном рассказе» мы также видим и прямое обличие и фантастически обобщенное представление о социальном зле, но уже в лице чиновника: «...представился мне становой пристав, в виде страшного лохматого чудовища с семью головами, с длинными железными ногтями и долгим огненным языком». Это образ зла, взятый из народных сказок.

Подобная манера изображения реальной народной жизни и народных типов свойственна и другим «Невинным рассказам». Само название этого цикла как бы подчеркивает его естественность и достоверность.

В цикле «Невинные рассказы» много гоголевских типов, а также и гоголевского видения окружающего мира (особенно городского). Гого-

---

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр соч.: В 20 т. М., 1966. Т. 5 С. 197.

левские традиции стали основой всей сатиры Щедрина, поднявшейся на новый этап социального обличения.

Духовная чистота, детская наивность и беззащитность народных типов «Невинных рассказов» сочетаются с романтической приподнятостью и некоторой отвлеченностью их мышления. Психологические монологи часто носят фольклорно-песенную окраску. Романтическое представление о мире не покидает даже тех, кто вышел на прямую борьбу с царящим злом, как герой рассказа «Развеселое житье», судьбу которого растоптал барин-крепостник.

Народным типам, полным жизни, духовно богатым, в «Невинных рассказах» Щедрин противопоставил образы людей, лишенных идеалов, погрязших в накопительстве. Таковы деградирующие помещики-крепостники в рассказах «Госпожа Падейкова», «Деревенская тишь» и других. Как умирающих их характеризует сам автор: «Читателю, может быть, странным и неправдоподобным покажется, что большая часть моих героев словно во сне или в тумане действуют. В справедливости этого замечания должен сознаться и я сам, но, что же мне делать, если таково вообще свойство всех умирающих людей... К сожалению, я должен сказать здесь, что мир полон такого рода умирающих». Речь идет, разумеется, не о физической, а о нравственной и социальной смерти.

В конце 50-х годов Щедрин задумал цикл очерков «Отходящие», а также цикл рассказов «Из книги об умирающих». Циклы не состоялись, но ряд рассказов, а также пьесы «Смерть Пазухина» и «Тени» были написаны. Позднее Щедрин поймет, что он поторопился еще в «Губернских очерках» (1857) похоронить «старые времена», точно так же как объявить умирающими крепостников и административный аппарат самодержавия. Об их живучести он будет говорить до конца своей творческой деятельности.

* * *

В «Невинных рассказах» и «Сатирах в прозе» возникает тема Города Глупова и образ Иванушки-дурачка — протестанта и борца, за которым будущее России. «...я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая, без ведома для меня самого приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни»,— пишет Щедрин в «Невинных рассказах», как бы объясняя главную линию своей сатиры, ее народность.

Метод социально-психологического анализа ведет свое начало с натуральной школы. В творчестве Щедрина, как и других его великих современников, он достигает высшей и законченной стадии своего развития. У Щедрина утеряли свое значение детали быта, усложнилось представление о добре и зле, о трагическом и комическом, но по-прежнему лицо человека является зеркалом его внутреннего мира, а обращение к природе

созвучно не только страданиям личности, но прежде всего размышлениям автора о судьбе общества. «Я взглянул на нее: лицо ее выглядело совершенно спокойно. Но что-то, не то чтобы злое, а глупо непоколебимое сквозило сквозь это спокойствие. Как будто бы она говорила: как ты там не ораторствуй, а у меня «свои правила» есть». Таково лицо помещицы-мироедки Машеньки Промптовой из цикла «Благонамеренные речи», такова сущность и самого Иудушки Головлева. В их душах растет, вытесняя из нее все человеческое, бездуховность и пустота. Та пустота, которая превращает человека в жестокую куклу, не знающую ни сострадания, ни каких-либо моральных преград своим злодеяниям. Итак: начав с изображения страданий простого «естественного человека» в духе натуральной школы, его трагического противостояния социальной среде,— доведя затем средствами сатиры облик этой среды и ее представителей до степени политических символов, Щедрин в 80-е годы переходит к показу антидуховных свойств, являющихся основой гротесковых типов. Эта эволюция писателя обусловлена стремлением раскрыть на конкретном анализе человеческих душ губительное действие собственнического социального строя. Писатель звал к освобождению личности от оков крепостнического и капиталистического гнета, звал к постижению великого освободительного идеала. Именно в этом суть его рассказов, социальных хроник и романов.

Обобщения глобального масштаба во многих из них даны средствами реалистическими, а не средствами гротеска и сатирической фантастики. Образ Иудушки Головлева — не менее глубокий символ, чем образ Угрюм-Бурчеева из «Истории одного города» Угрюм-Бурчеев — явление чуждое человеку, идущее на него извне, а Иудушка — обобщение пороков человека собственнического мира.

Щедрин-психолог показывает процесс разрушения этого мира изнутри, начиная с основ: семьи, собственности, государства. «От беспощадного реализма к вершинам фантазии, от ядовитой насмешки к страстной лирике» — так справедливо определяет путь развития творчества Щедрина его друг — революционный народник критик Н. К. Михайловский[1].

Трагизмом и лирикой пронизаны цикл рассказов «Мелочи жизни» (1886 — 1887) и рассказы, входящие в «Сборник» (1879), а также «Убежище Монрепо».

Здесь, как и в 60-е годы, Щедрин вновь говорит о духовной гибели человека, но гибель эта иная, хотя в основе ее лежат те же социальные причины.

Если в 60-е годы — годы революционной ситуации в России — в произведениях Щедрина шла речь об обреченных историей реакционных, изживших себя общественных отношениях и типах самодержавно-крепостнической России, в основном крепостниках и буржуа, то в 80-е глав-

---

[1] Михайловский Н. К. Собр. соч.: В 6 т. Спб., 1896. Т. 5. С. 271.

ным объектом тревоги писателя становится трудящийся человек. Его судьба, его гибель в бездуховной атмосфере политической реакции и бесправия.

Собственническое общество несет человеку неизлечимую болезнь «мелочей жизни», пустяков, заменяющих высокие идеалы.

Хранители устоев собственнического общества, люди с прогнившей душой, оставили страшный след смерти и разложения на всем, к чему прикасались, даже на окружающей природе. Частица праха их душ перешла и в сердца крепостных, и предстояли долгие годы их излечения от болезни рабства. Именно среди этих людей, «не могущих определить сегодня, что ждет их завтра», видящих «только безнадежную пустоту» мелочей, «стелет Иудушка свою бесконечную паутину, по временам переходя в какую-то неистовую оргию».

Политические типы — символы в сатирических произведениях Щедрина — не способны к прозрению, потому что в них нет и не было ничего живого, человеческого. Они символы пороков общественных. Типы психологические еще не потеряли чувства страдания.

Просыпается совесть у глубоко реакционного служителя административного аппарата — сыщика Разумова — одного их героев «молчалинского цикла» Щедрина (рассказ «Больное место»). Совесть его еще не совсем погибла под тяжестью совершенных против народа преступлений. Самоубийство сына-студента, ставшего в ряды тех, против кого боролся отец, стыдящегося его грязных дел, и стало толчком для мгновенного прозрения Разумова. Жестокие терзания его совести, ее живая боль, описанные в высоких тонах психологической драмы, воскрешают и очищают все человеческое в душе персонажа. Ни тени сатирической иронии нет в этом рассказе. И не автор, а сам герой бичует свершенные им злодеяния (ситуация, весьма сходная с тем, что происходит с финансовым воротилой в поэме Некрасова «Современники»). В 80-е годы трагические мотивы звучат почти во всех произведениях Щедрина. Это соответствует глубине философских размышлений писателя, новому методу его социальных обобщений.

* * *

Особенности творческой манеры Щедрина, его психологизма 80-х годов, весьма близкого к психологизму Гоголя, но отличающегося от него глобальностью социального обобщения, особенно ярко видны в двух небольших рассказах: «Сон в летнюю ночь» и «Приключение с Крамольниковым» (последний включен в цикл сатирических сказок). В первом юбилею клозетного чиновника противопоставлен юбилей простого крестьянина-труженика, увиденный, правда, автором во сне, а следующий — это, в сущности, авторская исповедь, хотя и через лирического героя.

Два юбилея двух героев противоположных классовых лагерей нари-

сованы различными художественными средствами: первый — красками сатирического пафоса. Но в обоих случаях автор приходит к обобщениям и выводам глубокого политического содержания. И выводы делает не только автор, но и сельский учитель Крамольников, который затем, в одноименной сказке, в обличье пошехонского литератора, выскажет суждения самого автора о российской действительности.

Очень интересно проследить здесь за художественными средствами сатирической и психологической типизации, приводящими к одним и тем же результатам.

Первая половина рассказа «Сон в летнюю ночь» резкость сатирической обрисовки «юбилейной комедии» сочетает с натуралистичностью обрисовки типов ее участников. Содержание юбилейных торжеств клозетного деятеля в сущности состоит из рассказываемых им анекдотов из жизни его начальников, анекдотов с примесью скабрезности и даже сугубой натуралистичности (случай с генералом, не уразумевшим суть клозетной реформы). Иной стиль и характер изображения в описании юбилея крестьянина села Бескормицына — Ивана Моисеича Голопятова. Затем автор говорит о принципиально ином характере быта деревни по сравнению с бытом людей высокопоставленных, который любят живописать представители культуры правящих классов: «Знание домашнего быта канувших в вечность маркграфинь, конечно, имеет свой исторический интерес, но спрашивается, почему же представители культуты так ревниво сохранили... старые дворцы и замки и не позаботились о сохранении хотя бы одного экземпляра мужицкого жилья?..» Согласие на проведение юбилея крестьяне дали только после возмутившего их потока брани волостного писаря, считавшего крестьян недостойными почестей. И эта брань, и обсуждение ее Крамольниковым и Воссияющим даны в строго реалистической манере; типичен по своему шпионскому тону и письменный донос Дудочкина становому приставу. А беседа мужиков-односельчан Мосеича, пришедших на юбилей, полна народной мудрости, забот о земле, о крестьянской нужде и новом пореформенном времени. И о двуличных людях, подобных попу Воссияющему: «Он у нас, ваше здоровье, и до воли самый неверный человек был». Все это прямо противоположно обстановке «клозетного» юбилея.

Трагизм и лирика пронизывает рассказ «Сон в летнюю ночь». Не случайно Щедрин называет «Приключение с Крамольниковым» «сказкой-элегией». Сны, предвещающие будущее и разъясняющие настоящее, фантастика, вырастающая из действительности, превосходящей самое изощренное воображение,— все эти приемы Щедрин-психолог и Щедрин-сатирик использовал на протяжении всего своего творчества. И все они представлены в цикле сказок Щедрина, охвативших по тематике своей всю самодержавно-крепостническую Россию, со всеми классами и их реальными взаимоотношениями, хотя действующие лица и скрыты под масками.

«Сказка-элегия» о Крамольникове — это духовная драма литератора,

содержанием жизни которого, «живым источником боли», стала судьба его родины, ее народа. «И он глубоко любил свою страну, любил ее бедноту, наготу, ее злосчастье». Как и его народ, Крамольников «верил в чудеса и ждал их. Воспитанный на лоне волшебств, он незаметно для самого себя подчинился действию волшебства и признал его решающим фактором пошехонской жизни. В какую сторону направит волшебство свое действие — в этом вопрос... Действительно, волшебство не замедлило вступить в свои права. Но не то благородное волшебство, о котором он мечтал, а заурядное, жестокое, пошехонское волшебство». Этим «жестоким волшебством» наполнены все произведения Щедрина. По условиям жестокого российского «волшебства» добро не побеждало зло, а всегда было побежденным и уничтоженным. Борец за народную правду — Крамольников тоже был раздавлен силой социального зла, его уста, его душу «запечатали», а затем его предали и все друзья. Он понял, что «во всех отступничествах, которых он был свидетелем, кроется не одно личное предательство, а целый подавляющий порядок вещей». И, поняв это, осудил безрезультатность своей прежней деятельности. «Ты протестовал, но не указал ни того, что нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие».

Изображение и осуждение «мелочей жизни», как препятствия высоким идеалам человеческого развития, началось еще в творчестве писателей 40 — 50-х годов. Мир гнетущих бытовых мелочей, пошлость и пустота в существовании человека были темой множества произведений, и особенно, конечно, творчества Гоголя. Этому посвящены «Мертвые души» и «Ревизор». В них изображены «прожигатели» жизни, а не ее созидатели, люди, сердца которых наполнены прахом мелочей.

Раскрытие темы мелочей Щедрин начал уже в «Губернских очерках», но вплотную к их философскому осмыслению подошел в 80-е годы, начав вскрывать самые основы собственнического «мелочного» строя. Постепенно понятие о сущности мелочей, о бытовизме, о приземленности человеческой души расширяется до включения в систему «мелочей» всей общественной системы, построенной на эксплуатации. Защитниками «мелочей жизни» предстают и верные слуги царизма, и помещики-крепостники, и буржуа-мироеды Деруновы. Они же ввергают в тину мелочей и угнетенную массу народа. «Ах, эти мелочи! Как чесоточный зудень, впиваются они в организм человека, и точат, и жгут его. Сколько всевозможных «союзов» опутало человека со всех сторон; сколько каждый индивидуум ухитряется придумать лично для себя всяких стеснений!.. Нет места для работы здоровой мысли, нет свободной минуты для плодотворного труда. Мелочи, мелочи, мелочи — заполнили всю жизнь. ...Одолели нас эти пустяки. Плывут со всех сторон, впиваются, рвут сердце на части»,— пишет Щедрин во «Введении» к циклу рассказов «Мелочи жизни». Чтобы очистить живые души для борьбы, надо внушить им ненависть к «мелочам», уяснить их тлетворную и античеловеческую суть. «Я не раз задавался вопросом:

как смотрели народные массы на опутывающие их со всех сторон бедствия? — и должен сознаться, что пришел к убеждению, что в их глазах они были не более как «мелочи», как искони установившийся обиход... Шли в Сибирь, шли в солдаты, шли в работы на заводы и фабрики; лили слезы, но шли!.. Разве такая солидарность со злосчастием мыслима, ежели последнее не представляется обыденною мелочью?.. мелочи управляют и будут управлять миром до тех пор, пока человеческое сознание не вступит в свои права». Нужно революционное обновление общества, всякие разговоры — лишь умножение мелочей.

Герои рассказов «Мелочи жизни» — люди всех сословий России: крестьяне, ремесленники, помещики, буржуа, интеллигенция. И среди них нет счастливых, ибо все их физические и душевные силы поглощены мелочами, не подлинной жизнью, а ее призраками. И они отдают себя им на растерзание.

Реалистические картины жизни, сопровождаемые авторскими комментариями, погружают читателя в гущу российской действительности 80-х годов XIX века. Щедрин демонстрирует великолепное мастерство и бытописателя, и тонкого психолога, и глубокого мыслителя — революционного демократа.

Его выводы и обобщения строятся здесь, как и в «Господах Головлевых», на основе психологического анализа человеческих душ. Обличение идет не посредством морализирования, столкновения добра и зла, нравоучительных сентенций или сатирической гиперболы и фантастики, а прямое, философски обоснованное. Обличение с точки зрения угнетенного народа, с публицистическими экскурсами в историю экономического и политического развития страны.

Щедрин правильно понимал мелкобуржуазную сущность крестьянина-собственника, которого народники считали уже готовым к восприятию социалистических идей. В «Мелочах жизни» он создает тип крестьянина — «хозяйственного мужичка», чья цель жизни сводится к мелочной заботе о своем нехитром хозяйстве и, несмотря на все «ухищрения», обреченного на нищету или «кровопийство».

Рисуя, с разной степенью сочувствия и обличения, типы «ухичивающих» и накопляющих: хозяйственного мужика, мироеда, помещика, попа, Щедрин приходит к одному и тому же выводу: «Подобно хозяйственному мужику, сельскому священнику и помещику, мироед всю жизнь колотится около крох, не чувствуя под ногами иной почвы и не усматривая впереди ничего, кроме крох. Всех одинаково обступили мелочи, все одинаково в них одних видят обеспечение против угроз завтрашнего дня. Но поэтому-то именно мелочи на общепризнанном языке и называются «делом», а все остальное — мечтанием, угрозою».

Мелочи объединяют людей разных сословий и роднят их духовно. В рассказах «Сережа Ростокин» и «Евгений Люберцев» описана карьера молодых чиновников, достигших значительных высот. Все силы их души

ушли на это. Они потеряли способность любить, делать добро, думать о жизни, превратившись в людей-автоматов. У них «идея государственности заменилась идеей бюрократии, а интерес гусударства превратился в интерес казны». Тип — сохранившийся на многие годы, даже и в иную эпоху.

Но «мелочи жизни» порождают и трагедию в судьбах людей, которые их не принимают, мечтают о деятельности для блага народа. Опутывая душу, изо дня в день терзая, заставляя идти по раз заведенному жизненному укладу, мелочи приводят людей к страшному концу. Герои этих рассказов — рабы обстоятельств, но рабы глубоко чувствующие и думающие. И до конца своего остаются такими. Они подлинные представители своего страдающего народа. День и ночь работая, страшась еще худшего будущего, они жили изо дня в день, движимые чувством самосохранения. «Может быть, при других обстоятельствах... сердца их раскрылись бы и для иных идеалов, но труд без содержания, труд, направленный исключительно к целям самосохранения, окончательно заглушил в них всякие зачатки высших стремлений».

О пустяках, о бездушной социальной системе, лишающей человека высоких идеалов, опутывающей цепями каждодневного убогого быта, писал в 80-е годы не только Щедрин, но и все писатели революционно-народнического и демократического лагеря.

Рассказ «Чудинов» из щедринского цикла «Мелочи жизни» по сюжету своему почти повторяет историю гибели Мичулина — героя ранней повести Щедрина «Запутанное дело». И там и здесь юноша-разночинец, пришедший в Петербург искать счастья, находит там смерть.

Чудинов «представлял себе, что нужно только придти, и не задавался вопросом, как будет принят его приход».

Как видим, в 80-е годы Щедрин требует от интеллигенции, идущей в народ, четкой программы действия. И смерть мечтателя-идеалиста Чудинова в данном случае — неизбежность. В период подготовки решающего этапа революционной ситуации в России необходимы были люди дела, борцы, а не мечтатели.

Ростокин, Люберцев, Ангелочек и многие другие герои цикла рассказов не знают и не хотят знать иной жизни, кроме «мелочной». Они счастливы, их не мучает совесть, потому что она не дана им изначально. Христова невеста, сельская учительница, полковницкая дочь воспитаны в других правилах, у них живые души, горячие сердца, рвущиеся на помощь людям, но и они не в силах вырваться из тины «пустяков» и «мелочей». Они или кончают самоубийством, или смиряются, погасив в себе все надежды на будущее.

Даже если и удается пробиться к общественной деятельности, то она в сущности представляет собой те же бесполезные мелочи. «Вот и у меня свои «крохи» нашлись И не одни, даже не несколько, а целая куча»,— говорит героиня рассказа «Христова невеста», состоящая членом многих «оздоровляющих» обществ.

Пустяками и мелочами, но и серьезным ущербом для народа отмечена в данной социальной обстановке деятельность земства, печати, юриспруденции и прочих «сеятелей», стоящих на страже интересов правящего класса.

Им посвящен раздел «Мелочей жизни» под названием «В сфере сеяния». Как и в других рассказах, здесь, говоря словами М. Горького, Щедрин «превосходно улавливал политику в быте»[1].

* * *

Особое место занимает в цикле «Мелочи жизни» рассказ «Портной Гришка». Судьба героя типична для представителя русской деревни периода «раскрестьянивания», возникновения пролетариата. Нищета, бесправие, жестокие побои — вся каторжная жизнь Гришки, бывшего крепостного, а потом ремесленника, казалось, должна была превратить человека в бессловесного раба. Но душа его остается живой до конца, а чувство социальной несправедливости толкает на протест. «Мы... когда не хмельны, так соберемся иногда... и все о правде говорим. Была же она когда-нибудь на свете, коли слово такое есть. Хоть при сотворении мира, да была. Должно быть, и теперь есть, только господа чиновники ее в шкап заперли»,— говорит Гришка.

Забитый, затравленный местными богатеями, Гришка тем не менее не разучился глубоко страдать и видеть мир чистыми глазами ребенка, восторгаться красотой природы, находить в ней утешение своему горю или подтверждение отчаянию. Невыразимые душевные страдания Гришки сопровождаются описаниями мрачной осенней природы, полной тоски и безнадежности. «Деваться некуда от тоски,— точно она одна и осталась. Тоска беспредметная, сама себя питающая, почти осязаемая».

На этом фоне и совершается самоубийство Гришки.

* * *

В конце 80-х годов Щедрин признавался: «Я уже далеко не тот, что прежде... юмор совсем исчез, а он всегда был моею главною силой»[2]. Действительно, юмор в последних произведениях Щедрина уступает место психологической драме. Он еще остается, но только в обрисовке характеров, всегда изображаемых Щедриным в тонах сатирических,— земцев, продажных литераторов и прочих ревнителей «мелочей». Главные же противостоящие общественные силы предстают перед Щедриным на рубеже решительной схватки. И не случайно в 80-е годы возвращение Щедрина к реалистическому изображению быта, жизни и психологии людей

---

[1] Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 25. С. 316.
[2] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. : В 20 т. М., 1977. Т. 20. Письма (1884 — 1889). С. 373.

крепостнической России. Именно этот период определил ход дальнейшего общественного развития России, трудности становления ее прогрессивных сил, возникновения нового человека-борца, человека идеи.

Жестокий процесс капитализации России, наступление «чумазого», то есть буржуа, и в деревне и в городе сочетались с политической реакцией, гонениями на инакомыслящих.

Российский буржуа, вышедший, как правило, из деревенских мироедов, был античеловечен и антиобществен. «Нет опаснее человека, которому чуждо человеческое, который равнодушен к судьбам родной страны, к судьбам ближнего, ко всему, кроме пущенного им в оборот алтына». Он страшнее «своего западного собрата», ибо «не усвоил себе ни его подготовки, ни трудолюбия». В противоположность народникам, Щедрин был убежден, что Россия, как и Западная Европа, должна будет пройти через все ужасы капитализации. И, чтобы сохранить живую душу народа, его способность к борьбе, надо неустанно звать людей к вере в высокие идеалы социального освобождения, готовиться к этому.

Раскрыв в своих сатирических хрониках и романах гнилость и историческую обреченность самодержавно-крепостнической и буржуазной общественной системы, Щедрин, в силу исторических условий, не мог указать путей борьбы к их уничтожению. В произведениях Щедрина нет показа борьбы народных масс за приход нового общественного строя. Есть только борьба отдельных свободолюбивых личностей.

И в 80-е годы — последний период своего творчества Щедрин выступает подлинным «прокурором общественной мысли» (как назвала его революционно-демократическая газета «Искра») от имени многомиллионного страдающего народа. Его обличения перемежаются с трагическими, проникновенными обращениями и к угнетателям и к угнетенным.

К. Маркс был знаком с творчеством Щедрина. «Убежище Монрепо» он прочел на русском языке. Основатель научного социализма высоко оценил критику капитализма Щедриным, но на полях книги он написал: «Последняя часть «Предостережения» (глава книги) очень слаба; вообще автор не слишком счастлив в своих положительных выводах»[1]. В отношении «Предостережения» — это правда. Но этой главой не исчерпываются суждения Щедрина тех годов о социальной действительности. Они сложнее и шире. И в целом перед нами встает не Щедрин — пессимист, а Щедрин — провидец будущего России.

Во «Введении» к циклу «Мелочи жизни» Щедрин приходит к выводу о неизбежности решительных социальных катастроф в России, о назревании революционного процесса, пока что скрытого.

«Ясно, что идет какая-то знаменательная внутренняя работа, что народились новые подземные ключи, которые кипят и клокочут с очевидной решимостью пробиться наружу. Исконное течение жизни все больше и

---

[1] Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Кн. 4. М.; Л., 1929. С. 393.

больше заглушается этим подземным гудением; трудная пора еще не наступила, но близость ее признается уже всеми».

Это утверждение Щедрин относит и к России и особенно к Европе, где шли уже открытые классовые битвы.

Щедрин прекрасно понимал, что борьба эта, несомые ею «социальные новшества, ежели не влекут за собой прямого освобождения масс от удручающих мелочей, то представляют собой непрерывную подготовку к такому освобождению». Мы уже отмечали, как широко понимал Щедрин проблему «мелочей жизни», включая сюда и весь «мелочный», несправедливый социальный строй царской России.

Глубина идейного осмысления Щедриным общественных процессов, происходящих в России и Европе,— поразительна. Развитие многих социальных процессов он предвидел на столетие вперед. Поэтому так актуально его творчество и сегодня.

М. Горячкина

МИША И ВАНЯ

Забытая история

В передней сидят два мальчика, Ваня и Миша, и ждут барыню из гостей. Скоро полночь, а барыня все не едет; сальный огарок оплыл и нагорел; тусклый и мелькающий свет его освещает только лица двух собеседников да стол, перед которым они сидят; вверху и по углам темно. В доме тихо, словно в гробу; горничные девки давно уж поужинали, воротились из кухни и улеглись спать где попало, наказавши мальчикам разбудить их, как только приедет барыня. В окна по временам показывается что-то белое; мелькнет-мелькнет и опять скроется; это сыплет снег, но мальчики думают, что выглядывает голова мертвеца, и вздрагивают.

Ваня мальчик крепкий, быстрый, черноволосый и черноглазый; он уверяет Мишу, что ничего не боится, что однажды он видел настоящего, заправского мертвеца — и того не струсил.

— Я ничего не боюсь,— говорит он, невольно, впрочем, бледнея, когда мороз вдруг ни с того ни с сего стукнет в стены барского дома,— мне только скучно, да и то с тобой ничего!

— А ну как мы сгорим? — робко спрашивает Миша.

— Сгореть мы не можем,— отвечает Ваня таким уверенным тоном, что Миша тотчас же успокоивается.

Миша, в противоположность Ване, мальчик слабенький, нервный, беленький, с белокурою головкой и большими синими глазами. Он часто посматривает на потолок и, увидевши, какой там сгустился мрак, вздрагивает и пожимается.

В ту минуту, как мы с ними знакомимся, они ведут оживленный, но несколько странный разговор.

— Холодным-то ножом, чай, больно? — спрашивает Миша, пристально глядя Ване в глаза.

— Это только раз больно, а потом ничего! — отвечает Ваня и покровительственно гладит Мишу по голове.

— А помнишь, как повар Михей резался! тоже сначала все хвастался: зарежусь да зарежусь! а как полыснул ножиком по горлу, да как потекла кровь-то...

— Ну, что ж повар Михей! Михейка и вышел дурак!

Потом небось вылечился, а для чего вылечился? все одно наказали дурака, а мы уж так полыснем, чтобы не вылечиться!

— Ты ножи-то приготовил ли, Ваня?

— Когда не приготовил! еще с утра выточил! Только ты у меня смотри! чур не отступаться!

Миша вздохнул потихоньку; глаза его остановились на нагоревшей свечке.

— Что, разве снять со свечки... в последний раз? — сказал слегка взволнованным голосом.

— Что с нее снимать-то? а я тебе вот что скажу, Мишутка: коли мы это теперича сделаем, так беспременно в рай попадем, потому теперь мы маленькие и грехов у нас нет! А заместо нас попадет в ад Катерина Афанасьевна!

— А Ивану Васильевичу будет за нас что-нибудь?

— Ну, Ивану Васильевичу, может, и простит бог! потому он не сам собою тут действует!

— Катерину-то Афанасьевну, стало быть, мучить будут?

— Еще как, брат, мучить-то! не роди ты, мать-земля! Первым делом на железный крюк за ребро повесят, вторым делом заставят голыми ногами по горячей плите ходить, потом сковороду раскаленную языком лизать, потом железными кнутьями по голой спине бить... да столько, брат, мучениев, что и сказать страсти!

— А ведь она не стерпит, Катерина-то Афанасьевна?

— Что ей, черту экому, сделается! — стерпит! Да там, брат Мишутка, на это не посмотрят! Там, брат, терпи! а не можешь терпеть — все-таки терпи!

Разговор на минуту смолк. Вдруг на улице завыла собака, завыла жалобно и тоскливо, как умеют выть только собаки.

— Ишь ты, это Трезорка покойника почуял! — сказал Миша изменившимся голосом.

— Ну, что ж что почуял! известно, почуял! А ты небось уж и трусу спраздновал!

— Нет, Ваня, я не боюсь! я так только... я только думаю, отчего это собака всегда покойника чувствует?

— А оттого, что собака — друг человека! Вот лошадь тоже друг человека, только она понятия не имеет, а собака — она все понимает, оттого и покойника чувствует!

— А что, Ваня, кабы утопнуть? — спросил вдруг Миша.

— Чудак ты, Мишутка! Ты мне расскажи сперва, какая нынче вода? Ты скажи, лето нынче, что ли?

— Да, нынче вода холодная... чай, в воду-то бултыхнешься, так и не стерпишь!

— Вот то-то же и есть! Утопнуть-то — надо в пролубь лезти; да еще барахтаться станешь, вылезешь, пожалуй!— что одних мучениев тут примешь — пойми ты! А с ножом ловко! ножом как полыснул себя раз, тут тебе и конец! Разумеется, надо крепче!

— И бить никто больше не будет? — прошептал Миша.

— И бить не будет! Возьмут твою душу ангелы и понесут к престолу божьему!

— А бог — ничего?

— А бог спросит: зачем вы, рабы божии, предела не дождались? зачем, скажет, вы смертную муку безо времени приняли? А мы ему все и скажем!

— Мы все скажем, как нас Катерина Афанасьевна мучила, как нам жить тошнехонько стало, как нас день-деньской все били... все-то били, все-то тиранили!

Миша потупился; накипевшие на сердце слезы горячим ключом хлынули из глаз. И текли эти слезы, текли свободно, без усилий, без гримас, как течет созревший источник из переполненной груди земли-матери. Ваня стал утешать расплакавшегося.

— А мы ловко ее завтра надуем, Катерину-то Афанасьевну,— сказал он,— завтра гости у нее за столом соберутся, ан служить-то будет и некому!

Миша вздохнул в ответ.

— Я и ножи-то все попрятал!— продолжал Ваня,— и есть-то нечем будет.

А Миша все-таки никак не мог уняться; Ваня все возможное делал, чтоб как-нибудь развлечь его: сначала со свечи снял, потом глянул в окно и сказал: «А сивер-то! сивер-то какой разыгрался! ишь ты! ишь ты!», наконец тоненьким голоском запел: «Ах вы, ночки, ночки наши темные!»— но Миша не только продолжал плакать, но при звуках песни еще более растужился.

— Нюня ты! — сказал Ваня с нетерпением.

В зале загудели часы. Заслышавши эти шипящие звуки, Миша вздрогнул, в последний раз глубоко вздохнул и перестал плакать.

— Скоро барыня приедет,— робко сказал он, насчитавши двенадцать часов.

— Дожидайся — скоро! — отвечает Ваня,— эх, теперь бы вот соснуть лихо!

— Нет, уж ты не спи, Ваня, Христа ради!

— Небось боишься?

— Боюсь! — признался Миша и весь съежился.

— Ну, дурак и есть! сколько раз я тебе говорил, что там ничего нет! — поучал Ваня, указывая на двери, которые вели в неосвещенный коридор,— хочешь, я сейчас туда пойду?

Однако угрозы своей не исполнил. Водворилось молчание, а с ним вместе водворилась и тишина, тоскливая, надрывающая сердце тишина... Мальчики пристально вглядывались в трепещущее пламя свечи; Ваня водил по столу большим пальцем, нажимая его, отчего палец сначала двигался плотно, а потом начинал подпрыгивать. На дворе опять завыла собака.

— Ишь ее! ишь ее! — вымолвил Ваня и вслед за тем прибавил: — А что, Миша, где-то теперь Оля?

Оля была сестра Миши. Это была хорошенькая, белокурая и беленькая девушка, очень похожая на своего брата, ей было осьмнадцать лет. С полгода тому назад она неизвестно куда пропала, и рассказов об этом внезапном исчезновении ходило между дворней множество. Говорили, что она от дурного житья скрылась, но говорили также, что и от стыда. Достоверно было то, что одним утром она пошла на речку стирать и не возвращалась; на берегу была найдена корзина с невыстиранным бельем, но ни одежды прачки, ни даже тела ее нигде найдено не было. Достоверно также, что за два дня перед тем она была острижена и что по этому случаю плакала, рвалась и убивалась. Барыня клялась и надсаживала себе грудь, заверяя, что поганка Ольгушка утопилась не от дурного обращения, а для того, чтобы скрыть свой стыд. Тем не менее на всем этом происшествии лежала какая-то горькая тайна, и неизвестно было даже, действительно ли утопилась Ольга или только бежала. При следствии некоторые дворовые люди показали было, что житье Ольги было «нехорошее»; но исправник, производивший следствие (так как происшествие случилось в подгородной деревне Катерины Афанасьевны), ничему этому не поверил.

— Ну, вы это все врете! вы говорите правду, а не врите! — сказал он показателям и тут же приказал пригласить Катерину Афанасьевну.

Катерина Афанасьевна ахала и ссылалась на то, что у нее людей говядиной кормят. Позвали людей и спроси-

ли, действительно ли их кормят говядиной; ответ был, что кормят. Исправник подумал, посопел и записал: «Помещики содержат людей хорошо и даже говядиной кормят».

— Что же вы, бестии, врали? — обратился он к дворовым.

Дворовые стояли бледные и переминались с ноги на ногу; у некоторых искусаны были до крови губы. Катерина Афанасьевна заметила эту нераскаянность и сочла справедливым упасть в обморок. Исправник бросился утешать ее, услав оторопевшего Ивана Васильевича за спиртом. Результатом всего этого было краткое, но сильное объявление, написанное рукою самого исправника. Оно гласило:

«Утром 24 сего июня из сельца Полянок неизвестно куда скрылась принадлежащая отставному штаб-ротмистру Ивану Васильевичу Балящеву девка Ольга Никандрова. Приметами та девка: роста высокого, белокура, волосы стрижены, лицом бела, глаза синие, нос и рот умеренные, особая примета: над левой ноздрей небольшое родимое пятнышко; есть подозрение в беременности. Унесла с собой данное ей помещиком пестрядинное платье, в которое и была в тот день одета. Полицейские начальства, в ведомстве коих та беглая девка окажется, благоволят препроводить оную в Р — ий земский суд, для отдачи по принадлежности».

Тем это дело и закончилось. Катерина Афанасьевна на некоторое время присмирела, но месяца через два совсем забыла о происшествии и начала жуировать жизнью по-прежнему.

Катерина Афанасьевна была глубоко развращенная женщина, но не знаю, имею ли я право называть ее злою. По крайней мере, весь город к ней ездил, и целый день в ее доме было, что называется, разливанное море; весь город знал, какие она *фарсы* выделывает над Машками и Ольгушками, и тем не менее никто не решался отозваться об этих фарсах не только строго, но даже и уклончиво. Напротив того, ее все любили, потому что в своем кругу она была барыня веселая и даже добрая, многим из своих друзей делала разные одолжения и всех равно отлично принимала и кормила.

— Сегодня у Катерины Афанасьевны за обедом в супе таракана подали,— говорили про нее в городе,— что ж бы вы думали? она преспокойно себе позвала повара и приказала ему таракана съесть!

— Лихая баба!

— Бедовая!

Некоторые, конечно, делали изредка предположение, «как бы, дескать, не попасться Катерине Афанасьевне за эти *фарсы*», но очевидно, что в этом случае сомнение заползало совсем не по поводу самых *фарсов*, а по поводу глагола «попасться». Самые же фарсы служили как бы оселком для обнаружения своего рода остроумия, которого кровавости никто не замечал, своего рода изобретательности, которой ехидства никто не подозревал.

— Сенька! поди, лизни печку! — говорили Сеньке.

Сенька лизал печку и обжигал язык; он возвращался весь красный, лицо его как-то неестественно напыживалось; из глаз выжимались слезы.

— Ну, дурак,— еще реветь вздумал! — говорили одни.

— Рожа-то, рожа-то какая! — восклицали другие.

И затем следовал взрыв общего, веселого хохота.

Хохот — и больше ничего...

Не ясно ли, что все это без злорадства делалось, что при этом главный расчет совсем не в том состоял, чтоб причинить Сеньке мучительную боль, а в том, чтоб посмотреть, какую Сенька рожу уморительную скорчит, как он напыжится... Самые кроткие люди молчали, когда Сеньку посылали лизать пылающую печь, самые кроткие люди не могли слегка не фыркнуть, когда Сенька возвращался, по совершении своего подвига, весь красный и пыхтящий... Они молчали и фыркали не потому, чтоб одобряли подобного рода увеселения, но просто потому, что такое уж время юмористическое было.

Теперь все это какой-то тяжкий и страшный кошмар; это кошмар, от которого освободило Россию прекрасное, великодушное слово царя-освободителя... Да, оно одно. Ибо кто же может ручаться, не лизал ли бы, без этого слова, Сенька горячую печку и до сей минуты? Не ходила ли бы девка Ольга Никандрова и до сей минуты стриженая и оплеванная гостями своей барыни? Где гарантии противного? В нравах, что ли? Но разве не известно, что славяне имеют нрав веселый, легкий и мало углубляющийся? В слезах, что ли? Но разве не известно, что слезы, которые при этом капают, капают внутрь, капают кровавыми каплями на сердце и все накипают, все накипают там, покуда не перекипят совершенно?

Никогда не бывает зло так сильно, как в то время, когда оно не чувствуется, когда оно, так сказать, разлито в воздухе. «Что это за зло? — говорят тогда добросовестные ис-

следователи, которые имеют привычку рассматривать предметы не с одной, а со всех сторон,— это не зло, а просто порядок вещей!» — И на этом успокаиваются.

Кто же может утверждать, что такому порядку вещей не суждено было продлиться и еще на многие лета, если бы сильная воля не вызвала нас из тьмы кровавого добродушия и бездны ехидной веселости?

Повторяю: это был тяжкий и страшный кошмар, в котором и давящие, и давимые были равно ужасны.

Напоминание о сестре подействовало на Мишу болезненно. Он вдруг, словно под тяжестью какой, пригнулся; бледное его личико сделалось белее полотна, и на не обсохших еще глазах опять сверкнуло слезообильное облако.

— А ведь она барыне являлась! — продолжал Ваня.

— Врешь ты! — всхлипывал Миша чуть слышно.

— Являлась — это верно! Ключница Матрена сказывала, что барыня-то, словно мертвая, из спальни в ту пору выскочила! ни кровинки в лице нет!

— Врешь ты! она жива! — настаивал Миша, совершенно захлебываясь слезами.

— Ну, брат, нет! это погоди! Она утопла — это уж как дважды два! Из-за чего ж бы ей тогда барыне являться, кабы она не утопла!

— Врешь ты! врешь все! — кричал Миша, с которым чуть не сделалась истерика.

— Ну, и опять-таки ты дурак! Из-за чего ты нюни-то распустил! Известно, нам один конец!

Миша смолк; он, по-видимому, что-то припоминал. Припоминал он, как Оля, проходя мимо него, наскоро трепала его по щеке и приговаривала: «Дурашка ты мой!»; припоминал он, как Оля однажды надевала на него чистенькую новенькую рубашечку и сказала при этом: «Ну, носи теперь на здоровье, Мишутка ты мой!»; припоминал он, как однажды Оля выбежала в лакейскую вся бледная, и из глаз ее ручьями текли слезы; припоминал он голос, моливший о пощаде, голос искаженный, вымученный, кричавший: «Матушка, Катерина Афанасьевна, не буду! батюшка, Иван Васильевич, не буду!»; припоминал он, как упала из-под ножниц длинная русая коса Оленькина, как Оля билась и рвалась...

«Ах, не надо! не режьте!» — раздавался в ушах Миши знакомый молящий голос, раздавался с такой ясностью и отчетливостью, что он вдруг поверил... Он поверил, что Оля умерла действительно и что это она, именно она явля-

ется к барыне и мучит ее по ночам. Ему показалось даже, что она и теперь с ними, что она зовет его.

— Оля-то здесь ведь! — сказал он испуганным голосом.

— Ну, вот это ты уж врешь! — отвечал Ваня и между тем сам вздрогнул и инстинктивно озирался кругом.

— Ей-богу, здесь! — настаивал Миша.

— Дурак ты! говорят тебе, нет никого! И из-за чего ей являться-то к нам? ты пойми, зачем покойник является? покойник является затем, чтоб мучить, а нас за что мучить она будет? Мы ведь Олю не трогали, Оля была добрая... да, она добрая была девка!

— Оля была добрая! — машинально повторил Миша и ласково взглянул на своего товарища.

— Постой-ка, я по углам посмотрю! — продолжал Ваня, как будто с единственною целью успокоить Мишу; но очевидно было, что он и самого себя не прочь был успокоить.

Ваня встал с лавки и сначала посмотрел под стол; потом обошел всю комнату и в углах даже пошарил по стене; потом заглянул в дверь, ведущую в коридор. Никакого виденья нигде не оказалось.

— Ну вот, и нет ничего! — сказал он, усаживаясь на старое место.

— Оля была добрая! — задумчиво повторил Миша.

— За доброту-то и в дворне ее все любили! Помнишь, Степка как убивался, как она пропала-то? Степка-то, говорят, жениться на ней хотел!

— Стало, его за это в ту пору в часть посылали?

— За это за самое... Степка-то барыне говорит: «Лучше, говорит, Катерина Афанасьевна, вы меня теперича в солдаты отдайте, а служить, говорит, я вам не желаю!»

— Ишь ты!

— А барыня говорит: «Нет, говорит, Степушка! в солдаты я тебя не отдам, а вот в пастухах ты у меня сгниешь!» И гниет!

— И для чего только это она его в солдаты не отдала?

— А потому, братец, такой у ней нрав!

— А ведь в солдатах, Ваня, хорошо?

— Ну... кто ж его знает! Однако все лучше, не чем у нас! у нас уж какая жизнь!

Миша опять задумался; он хотел сказать Ване, что лучше было бы в солдаты пойти, чем... но на этом мысль его оборвалась; очевидно, он боялся рассердить Ваню и выставить себя в глазах его трусом.

— А знаешь ли что, Мишутка? — вдруг спросил Ваня.

— Что тебе?

— Пойдем-ка мы, обойдем комнаты... посмотрим!

Мише тотчас же мелькнуло: в последний раз!

— Пойдем, Ваня! — сказал он.

Ваня снял со свечи и пошел вперед.

— Вот это, брат, зала! — сказал он, когда пришли в первую комнату.

— Зала! — повторил за ним Миша.

— Кланяйся, брат, теперь на все четыре стороны! — наставлял Ваня.

Миша поклонился на все четыре стороны; Ваня исполнил вместе с ним то же самое.

Таким образом обошли они все комнаты и везде простились; дошли, наконец, до крайней комнаты, где стояла широкая двуспальная кровать.

— Ишь их! — сказал Ваня и не только не поклонился на все четыре стороны, но плюнул.

— Знаешь ли что! — продолжал он,— зажжем-ка теперь лиминацию! ведь колдовка-то еще, чай, долго не придет!

— Зажжем! — согласился Миша, и на лице его сверкнула детски радостная улыбка.

По всему видно было, что натура Миши была натура нежная, женственная, артистическая; он любил, когда в комнате бывало светло и свежо, и, напротив того, куксился в мраке и спертом воздухе передней. По всему видно также, что Ваня знал про это свойство Миши и желал чем-нибудь угодить ему.

Зажгли иллюминацию действительно блестящую; Миша пожелал быть хозяином, Ваня изъявил согласие быть гостем. Но едва успели хозяин и гость усесться с ногами на диван, едва успел хозяин предложить своему гостю обычный вопрос о здоровье, как в передней раздался сильнейший трезвон. Хозяин и гость бросились тушить свечи, но впопыхах дело не спорилось; раздался еще трезвон, более сильный и более нетерпеливый.

Наконец свечи кое-как затушили и бросились в переднюю. Через дверь еще Ваня слышал, как барыня сердиться изволили.

— Это все мальчишки-мерзавцы! — говорила она в величайшем гневе,— вот ужо погоди!

— Успокойся, душенька! — уговаривал Иван Василье-

вич,— может быть, это братец Никанор Афанасьич приехал!

В это время Ваня отпер наружную дверь.

— Братец Никанор Афанасьич здесь?— был первый вопрос барыни.

— Никак нет-с.

— Кто же свечи в зале зажигал?

— Никто не зажигал-с.

— Мерзавец!

Сильный удар свалил Ваню с ног.

— Кто зажигал свечи в зале? — накинулась барыня на Мишу, который стоял ни жив ни мертв.

— Никак нет-с,— едва-едва прошептал Миша.

— Долго ли вы мучить-то нас будете?— каким-то неестественным голосом закричал Ваня, вскочив с полу, и не успел никто моргнуть глазом, как он уже впился ногтями в рот и нос Катерины Афанасьевны.

Катерине Афанасьевне сделалось дурно; Ваню насилу отняли от нее, потому что он словно замер и закоченел весь. Катерину Афанасьевну повели под руки в спальню, причем Иван Васильич приговаривал: «И как это тебе, матушка, не стыдно беспокоить себя из-за этих хамов!» Ваню тоже увели на кухню; он не плакал, а только кричал; очевидно, что все существо его было глубоко и решительно потрясено, что он не обладал собою, и этот резкий неестественный крик вылетал из его груди помимо его воли. Вся дворня страшно переполошилась и сбежалась кругом Вани; начали его оттирать и насилу уняли. Когда крики унялись, Ваня мгновенно и крепко заснул.

Потому ли, что Катерина Афанасьевна действительно заболела, или потому, что дворовые доложили об исступлении, в котором находился Ваня, но распоряжения насчет мальчиков в ту ночь никакого сделано не было. Сказано было только держать обоих в кухне. Миша лег подле Вани, но долго не мог сомкнуть глаз; завтрашний день представился его возбужденному воображению со всеми подробностями, со всеми ужасающими истязаниями. Мерещились ему пуки розог, мерещилась ему Катерина Афанасьевна; лицо ее словно пылало, на голове словно змеи вились, разевая рты, и высовывались оттуда огненные жала. Ваня по временам стонал, дворовые кругом безмятежно спали; Мише сделалось страшно...

«Ах, не надо! ах, не режьте!» — раздавалось у него в ушах, и образ сестры носился перед его глазами, как жи-

вой, но не в затрапезном истасканном платье, а весь белый, прозрачный, весь словно озаренный чудесным блеском...

Наконец, часов около трех, он заснул.

В четыре часа Ваня разбудил его. Долго смотрел на него Миша изумленными, слипающимися глазами, долго не мог понять, где он и что с ним...

— Пора! — шептал Ваня.

Миша вздрогнул, но все еще не понимал.

— Вставай! — настаивал Ваня.

Миша машинально встал и машинально же оделся. Они вышли в сени; холодный воздух охватил их со всех сторон и несколько отрезвил Мишу. В руках у Вани были ножницы; он проворно скинул с себя казакин и начал резать его на куски.

— Не доставайся никому! — шептал он как-то злобно и сосредоточенно.

Потом он снял с себя сапоги и проткнул в нескольких местах головки.

Миша смотрел на это, и вдруг в нем вспыхнула какая-то страстная жажда жизни. Он ухватил себя обеими ручонками за горло, начал метаться и заплакал.

— Нюня! ступай спать! — произнес Ваня.

— Нет! нет! — заикался Миша,— нет! нет... я пойду! я, право, пойду!

— Что ж ты ревешь? разве вчера не видел?

Они вышли на двор и перелезли через забор. Улица была пуста, и непробудная тишина царствовала по всему городу. Дворовая собака Трезорка бросилась было к ним с ласковым визгом, но Ваня показал ей кулак, вследствие чего она вильнула раза два хвостом и юркнула в свою конуру. Утро было не столько холодное, сколько сырое и туманное; словно облако какое-то висело над улицей, словно мгла, наполненная иглистыми атомами, застилала воздух. Ваня был в одной рубашке; ему сделалось холодно.

— Ну, брат,— сказал он,— это я напрасно... Напрасно, значит, я теперича казакин свой изрезал!

Миша не отвечал ему; вообще он действовал как-то страдательно, словно горела, и упорно горела, в нем непорванная струя жизни, но не знала, как ей высказаться, как прорваться наружу.

И вот перед ними овраг; в этом овраге условились они исполнить свое намерение; Ваня рассчитывал, что там никто им не помешает, никто не может прийти скоро на помощь.

Ваня спустился и пошел вперед; он был бодр, а между

тем манящие сладкие голоса жизни говорили и в нем; он смеялся, а между тем в груди его закипала какая-то страстная жажда; он шел и точил друг об друга ножи, но звук, который от этого происходил, был какой-то невеселый отрывистый звук; он чувствовал, что внутри его все горит, а между тем бедное, исхудалое тело ходенем ходило от проницающей сырости и холода... Миша шел за ним следом и попрежнему был в каком-то забытьи...

На свету будочник, спокойно спавший в своей будке, был разбужен проезжими мужиками. Мужики слышали стон в овраге и почительно докладывали о том дремлющему блюстителю общественной тишины.

— Батюшки! помогите! — прозвенело в эту самую минуту в воздухе.

Спустились в овраг и нашли двух мальчишек, из которых один был одет в казакине, другой — в одной рубашке. Ваня был бездыханен, но Миша еще был жив. Неверная, трепещущая рука в несколько приемов полоснула ножом по горлу, но робко и нерешительно.

Жажда жизни сказалась и восторжествовала.

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

(Из путевых заметок чиновника)

I

В 18** году, и именно в ночь на рождество Христово, пришлось мне ехать по большому коммерческому тракту, ведущему от города Срывного к Усть-Дёминской пристани. «Завтра или, лучше сказать, даже сегодня, большой праздник,— думал я,— нет того человека в целом православном мире, который бы на этот день не успокоился и не предался всем отрадам семейного очага; нет той убогой хижины, которая не осветилась бы приветным лучом радости; нет того нищего, бездомного и увечного, который не испытал бы на себе благотворное действо великого праздника! Я один горьким насильством судьбы вынужден ехать в эту зимнюю, морозную ночь, между тем как все мысли так естественно и так неудержимо стремятся к теплому углу, ехать бог весть куда и бог весть зачем, перестать жить самому и мешать жить другим?» Мысли эти неотступно осаждали мою голову и делали положение мое, и без того неприятное, почти невыносимым. Все воспоминания детства с их безмятежными, озаренными мягким светом картинами, все лучшие часы и даже мгновения моего прошлого, как нарочно, восставали передо мной самыми симпатическими, ласкающими своими сторонами. «Как было тогда хорошо! — отзывался тихий голос где-то далеко, в самой глубине моей души,— и как, напротив того, все теперь неприютно и безучастно вокруг!»

Кибитка между тем быстро катилась, однообразно и мерно постукивая передком об уступы, выбитые копытами возовых лошадей. Дорога узенькою снеговой лентой бежала все вдаль и вдаль; колокольцы, привязанные к низенькой дуге коренника, будили оцепеневшую окрестность то ясным и отчетливым звоном, когда лошади бежали рысью, то каким-то беспорядочным гулом, когда они пускались вскачь; по временам этот звон и гул смешивался с визгом полозьев, когда они врезывались в полосу рыхлого снега, нанесенную внезапным вихрем; по временам впереди кибитки поднималось и несколько мгновений стояло недвижно в воздухе облако морозной пыли, застилая собой всю окрестность... Горы, речки, овраги — все как будто замерло, все сделалось безразличным под пушистою пеленою снега.

«Зачем я еду? — беспрестанно повторял я сам себе, пожимаясь от проникавшего меня холода,— затем ли, чтоб бесполезно и произвольно впадать в жизнь и спокойствие себе подобных? затем ли, чтоб удовлетворить известной потребности времени или общества? затем ли, наконец, чтоб преследовать свои личные цели?»

И разные странные, противоречивые мысли одна за другой отвечали мне на этот вопрос. То думалось, что вот приеду я в указанную мне местность, приючусь, с горем пополам, в курной избе, буду по целым дням шататься, плутать в непроходимых лесах и искать... «Чего ж искать, однако ж?» — мелькнула вдруг в голове мысль, но, не останавливаясь на этом вопросе, продолжала прерванную работу. И вот я опять среди снегов, среди сувоев, среди лесной чащи; я хлопочу, я выбиваюсь из сил... и, наконец, мое усердие, то усердие, которое все превозмогает, увенчивается полным успехом, и я получаю возможность насладиться плодами моего трудолюбия... в виде трех-четырех баб, полуглухих, полуслепых, полубезногих, из которых младшей не менее семидесяти лет!.. «Господи! а ну как да они прослышали как-нибудь? — шепчет мне тот же враждебный голос, который, очевидно, считает обязанностью все мои мечты отравлять сомнениями,— что, если Еванфия... Е-ван-фи-я!.. куда-нибудь скрылась?» Но с другой стороны... зачем мне Еванфия? зачем мне все эти бабы? и кому они нужны, кому от того убыток, что они ушли куда-то в глушь, сложить там свои старые кости? А все-таки хорошо бы, кабы Еванфию на месте застать!.. Привели бы ее ко мне: «Ага, голубушка, тебя-то мне и нужно!» — сказал бы я. «Позвольте, ваше высокоблагородие! — шепнул бы мне в это время становой пристав (тот самый, который изловил Еванфию, покуда я сидел в курной избе и от скуки посвистывал),— позвольте-с; я дознал, что в такой-то местности еще столько-то безногих старух секретно проживает!» — «О боже! да это просто подарок!» — восклицаю я (не потому, чтоб у меня было злое сердце, а просто потому, что я уж зарвался в порыве усердия), и снова спешу, и задыхаюсь, и открываю... Господи! что я открываю!.. Что ж, однако ж, из этого, к какому результату ведут эти условия? К тому ли, чтоб перевернуть вверх дном жизнь десятка полуистлевших старух?.. Нет, видно, в самой мыслительной моей способности имеется какой-нибудь порок, что я даже не могу найти приличного ответа на вопрос, без того, чтоб снова действием какого-то досадного волшебства не возвратиться

все к тому же вопросу, из которого первоначально вышел.

Между тем повозка начала все чаще и чаще постукивать передком; полозья, по временам раскатываясь, скользили по обледенелому черепу дороги; все это составляло несомненный признак жилья, и действительно, высунувшись из кибитки, я увидел, что мы въехали в большое село.

— Вот и до места доехали! — молвил ямщик, поворачиваясь ко мне.

Заиндевевшая его борода и жалкий белый понитток, составлявший, вместе с дырявым и совершенно вытертым полушубком, единственную его защиту от лютого мороза, бросились мне в глаза. Странное ощущение испытал я в эту минуту! Хотя и обледенелые бороды, и худые белые понитки до того примелькались мне во время моих частых скитаний по дорогам, что я почти перестал обращать на них внимание, но тут я совершенно невольным и естественным путем поставлен был в невозможность обойти их.

«Как-то придется тебе встретить Христов праздник! — подумал я и тут же, по какому-то озорному сопряжению идей, прибавил: — А я вот еду в теплой шубе, а не в понитке... ты сидишь на облучке и беспрестанно вскакиваешь, чтоб попугать кнутом переднюю лошадь, а я сижу себе развалившись и занимаюсь мечтаниями... ты должен будешь, как приедешь на станцию, прежде всего лошадей на морозе распречь, а я *велю* ввести себя прямо в тепло, *велю* поставить самовар, *велю* напоить себя чаем, *велю* собрать походную кровать и засну сном невинных»...

В селе было пусто; был шестой час утра, а в это время, как известно, по большим праздникам идет уже обедня в тех селах, где нет помещиков и где массу прихожан составляет серый народ. И действительно, хотя мы почти мгновенно промчались мимо церкви, но я успел, сквозь отворенную ее дверь, рассмотреть, что она полна народом, что глубина ее горит огнями по-праздничному и что густой пар стоит над толпою, одевая туманом и богомольцев, и ярко освещенный иконостас.

Наконец лошади остановились у просторной избы. Это была станция, но не почтовая, где, хоть с грехом пополам, путешественник может приютить свою голову без опасения быть ежеминутно встревоженным шумом и говором людей, хлопаньем дверей и незасыпавшею деятельностью дня; это была простая изба, назначенная по отводу для отдыха проезжающих по казенной надобности чиновников, покуда сби-

рают для них свежих обывательских лошадей. Сверх моего ожидания, горница, в которую меня ввели, оказалась просторною, теплою и даже чистою; пол и вделанные по стенам лавки были накануне выскоблены и вымыты; перед образами весело теплилась лампадка; четырехугольный стол, за которым обыкновенно трапезуют крестьяне, был накрыт чистым белым перебором, а в ближайшем ко входу угле, около огромной русской печи, возилась баба-денщица, очевидно спеша окончить свою стряпню к приходу семейных от обедни. На одной из лавок, возле переднего угла, сидел слепой и ветхий дедушко, вроде тех, которыми почти фаталистически снабжается всякая сколько-нибудь многочисленная крестьянская семья, и держал в руке деревянную палку, которою задумчиво чертил по полу. Он делал это дело с необычайным терпением, как будто оно составляло последнюю задачу его жизни, и, нащупав палкою какую-нибудь неровность, сердился и ворчал.

Приезд мой не произвел, однако ж, особенного впечатления, так как, по случаю отвода избы под станцию, хозяева ее скоро свыкаются с общим видом чиновника, которого появление составляет в кругу их факт почти ежедневный. Денщица, которая, по рассмотрении, оказалась молодухой, продолжала усердно делать свое дело, а дедушко по-прежнему водил палкой по полу и ворчал про себя. На полатях возились и потягивались ребятишки.

— Далеко отсюда становой живет? — спросил я.

— Да верст, чай, с восемь будет,— отвечала денщица, действуя в то же время ухватом, которым отправляла в печь горшок с похлебкой.

— А ты говори дело, а не «чай»,— вступился мой спутник и камердинер Гриша, во всякое другое время очень добрый малый, но теперь сильно озлобившийся вследствие мороза и других дорожных неприятностей.

— А вот мужики придут — они тебе дело и скажут... Ишь, больно строг: с бабы спрашивает!

— Эх ты! баба так баба и есть,— отозвался Гриша, но с таким глубоким презрением, что я сразу сознал глубокую разницу, существующую между привилегированным полом и непривилегированным.

— Никак, кто пришел? с кем это ты, Татьяна, разговариваешь? — откликнулся дедушко.

— Становой далеко отсюда живет? — спросил я, обращаясь к старику.

— Ась?

— Ишь ты! глухие да глупые — вот и жди от них толку! — злобно заметил Гриша.

— Барин приехал... чиновник, дедушко! — кричала между тем Татьяна, наклоняясь к самому уху старика,— спрашивают, далече ли до станового будет?

— Да верст пяток поболе будет,— прошамкал старик,— выедешь ты, сударь, за околицу и поезжай все вправо... там три сосенки такие будут... древние, сударь, еще дедушко мой их помнил — во какие сосны!.. От них повертывай прямо направо, будет тебе там озеро, и поезжай ты через него все прямо, все прямо... Летом-то, сударь, здеся-ко не проедешь, а надо кругом; так в ту пору вместо пяти-то верст и пятнадцать поди будет!.. Ну, а за озером прямо и представится тебе господин становой... так-то.

— Так нельзя ли лошадей поскорей заложить? — спросил я.

— А у нас и робят-то никого нет, все в церкву ушли,— ответила молодуха,— видно, уж тебе, барин, обождать придется!

— Дедушко! как бы лошадей заложить? — снова спросил я, наклоняясь к дедушке.

— А что ж, сударь, для че не заложить! кони ноне дома, мигом заложат! Татьяна, сбегай по мужа-то, скажи, мол, чиновник наехал!

Но покуда Татьяна сбиралась, семейные уж возвратились из церкви и гурьбой ввалились в избу. Прежде всех, как водится, влетел никем не прошенный клуб морозного воздуха и мигом наполнил комнату белесоватым туманом; за ним вошел старший сын дедушки, мужичок лет пятидесяти с лишком, очень сановитой и бодрой наружности, одетый по-праздничному, в синюю сибирку.

— С праздником, батюшка! — сказал он, помолившись наперед образам,— бог милости прислал!

— Ну, слава богу, слава богу! — прошамкал старик, привставая с лавки,— вот и опять мы с праздником! С вами, что ли, некрут-то?

— Здесь, дедушко, будь здоров! — молвил, выступая вперед, молодой парень.

Я вспомнил, что по случаю военных обстоятельств объявлен был в то время чрезвычайный набор, и невольно полюбопытствовал взглянуть на рекрута. Физиономия его была чрезвычайно симпатична: хотя гладко выстриженные волосы несколько портили его лицо, тем не менее общее его выражение было весьма приятно; то было одно из тех мягких,

полустыдливых, полузастенчивых выражений, которые составляют почти общую принадлежность нашего народного типа. Смирно стоял он перед стариком-дедушкой в своем коротеньком рекрутском полушубке, засунув руку за пазуху и слегка понурив голову; в голубых его глазах не видно было огня строптивости или затаенного чувства ропота; напротив того, вся его любящая, беспредельно кроткая душа светилась в этом задумчивом и рассеянно блуждавшем взоре, как бы свидетельствуя о его вечной и беспрекословной готовности идти всюду, куда укажет судьба.

— Ну, дай бог здоровья начальникам... отпустили тебя, Петруня... и нас сделали с праздником,— сказал старик.

Покуда старик говорил, сзади у печки послышались сначала вздохи, а потом и довольно громкие всхлипывания. Петруня как-то болезненно весь сжался, услышав их.

— Ну вот, пошла баба голосить! уйми ты ее, Иван! — обратился старик к старшему сыну,— нешто лучше бы было, кабы не отпустили сына-то... так ты бы радовалась, не чем горевать!

— Так неужто ж и пожалеть нельзя! — отозвалась из угла баба,— собирались ноне женить в мясоед парня, ан замест того вон он куда угодил... и не чаяли!

Петруня, казалось, еще более сжался при последних словах матери.

— Ничего, с богом... не на грех идет! чай, еще не сколько мученья-то принял, Петруня? — спросил дедушко.

— Мученьев, дедушко, нет; а вот унтер сказывал, что через десять дён в поход идти велено,— отвечал Петруня тихо и дрожащим голосом.

— Ну что ж, и в поход пойдешь, коли велено! Да ты слушай, голова! и я ведь молоденек бывал, тоже чуть-чуть в некруты в ту пору не угодил... уж и что хлопот-то у нас в те поры с батюшкой вышло!

— То-то «чуть-чуть»! — в сердцах ворчала мать,— вот не сдали же, а тут как есть один сын, да и тот не в дом, а из дому вон бежит!

— А кто ж тебе не велел другого припасти! — сказал дедушко полушутливо, полудосадливо,— то-то вот, баба: замест того, чтоб потешить сыночка о празднике, а она еще пуще его в расстрой приводит! Ты пойми, глупая, что он у тебя в гостях здесь! Вот ужо вели коней в саночки запречь... погуляй покуда, Петруня, с робятками-то, погуляй, милой!

Иван, однако, не принимал никакого участия в разговоре. Он спокойно раздевался в это время и вместе с тем де-

лал обычные распоряжения по дому. Но это равнодушие было только кажущееся, а в сущности он не менее жены печалился участью сына. Вообще, нашего крестьянина трудно чем-нибудь расшевелить, удивить или душевно растрогать. Ежеминутно имея прямое отношение лишь к самой незамысловатой и неизукрашенной действительности, ежеминутно встречая лицом к лицу свою насущную жизнь, которая часто представляет для него одну бесконечную невзгоду и во всяком случае многого никогда ему не дает, он привыкает смело смотреть в глаза этой суровой мачехе, которая по временам еще осмеливается заговаривать льстивыми голосами и называть себя родною матерью. Поэтому всякая потеря, всякая неудача, всякое безвременье составляют для крестьянина такой простой факт, перед которым нечего и задумываться, а только следует терпеливо и бодро снести. Даже смерть наиболее любимого и почитаемого лица не подавляет его и не производит особенного переполоха в душе; мало того: я не один раз видал на своем веку умирающих крестьян, и всегда (кроме, впрочем, очень молодых парней, которым труднее было расставаться с жизнью) замечал в них какое-то твердое и вместе с тем почти младенческое спокойствие, которое многие, конечно, не затруднились бы назвать геройством, если бы оно не выражалось столь просто и неизысканно. Все страдания, все душевные тревоги крестьянин привык сосредоточивать в самом себе, и если из этого правила имеются исключения, то они составляют предмет хотя добродушных, но всегда общих насмешек. Таких людей называют нюнями, бабами, стрекозами, и никогда рассудливый мужик не станет говорить с ними об деле. Правда, дрогнет иногда у крестьянина голос, если обстоятельства уж слишком круто повернут его, изменится и как будто перекосится на миг лицо, насупятся брови — и только; но жалоба, суетливость и бесплодное аханье никогда не найдут места в его груди. Повторяю: невзгода представляется для крестьянина столь обычным фактом, что он не только не обороняется от него, но даже и не готовится к принятию удара, ибо и без того всегда к нему готов. Всю чувствительность, все жалобы он, кажется, предоставил в удел бабам, которые и в крестьянском быту, как и везде, по самой природе, более склонны представлять себе жизнь в розовом цвете и потому не так легко примиряются с ее неудачами.

— Рекрут, что ли, у вас? — просил я Ивана.

— Рекрут, сударь, сыном мне-ка приходится.

— А велика ли у вас семья?

— Семья, нечего бога гневить, большая; четверо нас братовей, сударь, да детки в закон еще не вышли... вот Петрунька один и вышел.

— Тяжело, чай, расставаться-то?

Иван с изумлением взглянул на меня, и я, не без внутренней досады, должен был сознаться, что сделанный мною вопрос совершенно праздный и ни к чему не ведущий.

— Божья власть, сударь!— отвечал он и, обращаясь к старику, прибавил:— Обедать, что ли, сбирать, батюшка?

— Вели сбирать, Иванушко, пора! чай, и свет скоро будет!.. Да за конями-то пошли, что ли?

— Давно Васютку услал, приведут сейчас.

Петруня между тем незаметно скрылся за дверь. Несмотря на то что изба была довольно просторная, воздух в ней, от множества собравшегося народа, был до того сперт, что непривычному трудно было дышать в нем. Кроме сыновей старого дедушки с их женами, тут находилось еще целое поколение подростков и малолетков, которые немилосердно возились и болтали, походя пичкая себя хлебом и сдобными лепешками.

— Кто-то вот нас кормить на старости лет будет?— промолвила между тем хозяйка Ивана, по-прежнему стоя в углу и пригорюнившись.

— Чай, братовья тоже есть, сѐмья не маленькая!— отвечал дедушко, с трудом скрывая досаду.

— Да, дожидайся, пока они накормят... чай, и по тех пор их и видели, поколь ты жив.

— Не дело, Марья, говоришь!— заметил второй брат Ивана.

— Ее не переслушаешь!— отозвался третий брат.

Окончания разговора я не дослушал, потому что не мог долее выносить этого спертого, насыщенного парами разных похлебок воздуха, и вышел в сенцы. Там было совершенно темно. Глухо доносились до меня и голоса ямщиков, суетившихся около повозки, и дребезжащее позвякивание колокольцов, накрепко привязанных к дуге, и еще какие-то смутные звуки, которые непременно услышишь на каждом крестьянском дворе, где хозяин живет мало-мальски запасливо.

— Как же быть-то?— сказал неподалеку от меня милый и чрезвычайно мягкий женский голос.

— Как быть!— повторил, по-видимому, совершенно бессознательно другой голос, который я скоро признал за голос Петруни.

— Скоро, чай, и сряжаться станете?— снова начал женский голос после непродолжительного молчания.

Петруня не промолвил ни слова и только вздохнул.

— Портяночки-то у тебя теплые есть ли?— вновь заговорил женский голос.

— Есть.

— Ах, не близкая, чай, дорога!

Снова наступило молчание, в продолжение которого я слышал только учащенные вздохи разговаривающих.

— Уж и как тяжко-то мне, Петруня, кабы ты только знал!— сказал женский голос.

— Чего тяжко! чай, замуж выдешь!— молвил Петруня дрожащим голосом.

— А что станешь делать... и выду!

— То-то... чай, за старого... за вдовца детного...

— За старого-то лучше бы... по крайности, хоть любить бы не стала, Петруня!

— А молодого небось полюбила бы!.. То-то вот вы: потоль у вас и мил, поколь в глазах!— сказал Петруня, которого загодя мучила ревность.

— Ой, уж не говори ты лучше!.. умерла бы я, не чем с тобой расставаться — вот сколь мне тебя жалко!

— А меня небось в сражениях убьют, покуда ты здесь замуж выходить будешь!.. детей, чай, народишь!.. Вот унтер намеднись сказывал, что в сраженье как есть ни один человек цел не будет — всех побьют!

Вместо ответа мне послышались тихие, словно детские, всхлипывания.

— Ну что ж, и пущай бьют!— продолжал Петруня, находя какое-то горькое удовольствие в страданиях своей собеседницы.

Всхлипывания послышались горче прежнего.

— Ах, пропадай моя голова... хочешь, сбегу, Мавруша?— внезапно спросил Петруня.

— Что ты, что ты, Петруня! что ж это будет! — отвечала Мавруша голосом, в котором слышался испуг.

— Убегу, да и все тут,— продолжал Петруня,— уйду в леса к старцам... ищи, лови тогда!

— Стариков-то твоих, чай, в ту пору так и засудят!— робко заметила Мавруша.

Петруня молчал.

— В разоренье поди приведут?— продолжала Мавруша, как бы рассуждая сама с собой.

То же молчание.

— Нет, ты уж лучше не бегай, Петруня! как-нибудь, бог даст, и свидимся!

— То-то «свидимся»! замуж, чай, хочется, а не «свидимся»! Ты бы напрямки так и говорила... а то «свидимся». Так бежать, что ли?

— Куда ж бежать? коли для меня ты хочешь бежать, так я за тобой ведь бежать не могу!

Петруня заплакал.

— Петруня! желанный ты мой!— прошептала Мавруша.

Петруня заплакал пуще прежнего.

— Ох, да хоть бы не плакал ты!— сказала Мавруша каким-то утомленным, замученным голосом.

— Вот каково дело, что и пособить нечем!— говорил Петруня, обрываясь почти на каждом слове,— куда я теперь денусь? Ох, да подумай же ты, Мавруша, как бы нам хорошо-то было!.. жили бы мы теперь с тобой... и мясоед вот на дворе... И все-то ведь прахом пошло... точно ничего и не было! Намеднись вот унтер сказывал, верст тысячи за две поведут... так когда же тут свидеться!

— Петруня! где же ты запропал!— раздался сзади меня голос женщины.

— Здесь; обедать, что ли?— откликнулся Петруня.

— Обедать дедушко зовет.

— Сейчас. Прощай, Мавруша! ноне к ночи надо опять в город ехать... прощай! может, уж и не свидимся!

— Разве на село-то не пойдете с партией? хошь бы посмотрела я на тебя!

— Нет, по почтовой пойдем; вот разве что: ужо дедушко коней посулил... погуляем, что ли?

— Не пустят, Петруня,— тихо отвечала Мавруша,— а уж как бы не погулять! Старики-то ноне у меня больно зорки стали: поди и теперь, чай, ищут меня!

— Ну, так ин бог с тобой, прощай же, Мавруша.

Голоса стихли, но Петруня несколько времени еще не приходил в избу; минуты с две слышались мне и глубокие вздохи, и неясный шепот, прерываемый рыданиями, и стало мне самому так обидно, тяжко и больно, как будто внезапно лишили меня всего, что было дорого моему сердцу. «Вот,— думал я,— простая, кажется, с виду штука, а поди-ка переживи ее!» И должно сознаться, что до тех пор никогда эта мысль не заходила мне в голову.

— Иди, что ли!— снова раздался сзади меня голос денщицы.

— Иду, иду!— отвечал Петруня.— Прощай, Мавруша!— продолжал он каким-то гортанным, задыхающимся голосом,— прощай же, касатка!

И вслед за тем он бегом взбежал на лестницу и направился быстрыми шагами в избу.

Когда я через четверть часа снова вошел в избу, вся семья обедала, но общий ее вид был нерадошен. Какое-то принуждение носилось над ней, и хотя дедушко старался завести обычную беседу, но усилия его не имели успеха. Иван молчал и смотрел угрюмо; Марья потихоньку всхлипывала; Петруня сидел с заплаканными глазами и ничего не ел; прочие члены семьи, хотя и менее заинтересованные в этом деле, невольно следовали, однако ж, за общим настроением чувств; даже малолетки, обыкновенно столь неугомонные, как-то притихли и сжались. Одним словом, тут только и было праздничного, что кушанья, которых было перемен шесть и которые однообразно следовали одно за другим, ни в ком не возбуждая веселья. Я тоже невольно задумался, глядя на эту семью... и о чем задумался?

«Что-то делается,— думал я,— в том далеком-далеком городе, который, как червь неусыпающий, никогда не знает ни усталости, ни покоя? Радуются ли, нет ли там божьему празднику? и кто радуется? и как радуется? Не подпал ли там праздник под общее тлетворное владычество простой обрядности, без всякого внутреннего смысла? не сделался ли он там днем, к которому надо особенным образом искривить рот в виде улыбки, к которому надо накупить много конфект, много нарядов, в который, по условному обычаю, следует призвать в гостиную детей, с тем чтоб вдоволь натешиться их благоприличными манерами, и затем вновь отослать их в детскую, считая все обязанности в отношении к ним уже исполненными до следующего праздника? Сохранил ли там праздник свое христианское, братское значение, в силу которого сама собой обновляется душа человека, сами собой отверзаются его объятия, само собой раскрывается его сердце? Ведь праздник есть такая же потребность человеческой жизни, как радость — потребность человеческого сердца: это потребность успокоения и отдыха, потребность хоть на время сбросить с себя тяжесть жизненных уз, с тем чтоб безусловно предаться одному ликованию!»

И передо мной незаметно раскрылся знакомый ряд картин, свидетелей моего прошедшего, картин, в которых много было движения, много суеты, много даже каких-то неясных

очертаний и смутных намеков на жизнь, радость и наслаждение... Но была ли это радость действительная, было ли это то чистое наслаждение, которое не оставляет после себя в сердце никакого осадка горечи? Вот он, этот громадный город, в котором воздух кажется спертым от множества людских дыханий; вот он, город скорбей и никогда не удовлетворяемых желаний; город желчных честолюбий и ревнивых, завистливых надежд; город гнусно искривленных улыбок и заражающих воздух признательностей! Как волшебен он теперь при свете своих миллионов огней, какая страшная струя смерти совершает свой бесконечный, разъедающий оборот среди этого вечного тумана, среди миазмов, беспощадно врывающихся со всех сторон! Сколько мучений, сколько никем не знаемых и никем не разделенных надежд, сколько горьких разочарований, и вновь надежд, и вновь разочарований!

«Господи! надо же было над Петруней такой беде стрястись! Кабы не это, сидел бы он здесь беззаботный и радостный; весело беседовало бы теперь за трапезой честное потомство слепенького дедушки... и надо же было слепому случаю пройти беспощадным своим плугом по этому прекрасному зеленому лугу, чтоб взбуровить его ровную поверхность и исполосать ее черными, безобразными бороздами!»

Размышления эти были прерваны докладом о том, что лошади готовы. Горько мне было садиться одному в сани, горько было расставаться с людьми, особливо в этот праздник, когда, и вследствие воспоминаний прошедшего, и вследствие всего склада жизни, необходимость общества людей как-то особенно живо чувствуется. Казалось бы, что общего между мной и этою случайно встреченною мною семьей, какое тайное звено может соединить нас друг с другом! и между тем я несомненно сознавал присутствие этой связи, я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая, без ведома для меня самого, приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни.

II

На дворе было еще темно, хотя свет, очевидно, готовился уже вступить в права свои; мороз сделался как будто еще лютее прежнего; крепкий верховой ветер сильно буровил здесь и там снежную равнину и, подняв целые стол-

бы снега, направлял свой путь далее, с тем чтоб опять через минуту вернуться и, подняв новые снежные столбы, опять нестись куда-то далеко-далеко. Холод и ветер тем более были для меня ощутительны, что я ехал в открытых санях, потому что должен был, после необходимых объяснений с становым приставом, опять вернуться на станцию, где, вследствие всех этих соображений, я и заблагорассудил оставить свою повозку.

Вот и те три сосенки, о которых толковал мне старик; сквозь мутное облако частого, тонкого снега я видел только очертания их, но, вероятно, душа моя была слишком особенным образом настроена, что за плавным покачиванием широких их вершин мне именно слышалось, будто они жалуются и говорят о том, как надоела им эта долгая, почти бесконечная жизнь, как устали они от этих отвсюду вторгающихся ветров, которые беспрепятственно и безнаказанно оскорбляют их, то обламывая самые крепкие их побеги, то разбрасывая мохнатые их ветви в какой-то тоскливой беспорядочности. Вот и озеро, которое подало мне о себе весть особенностью звука, издаваемого копытами лошадей, и вешками, которые часто натыканы здесь по обеим сторонам дороги... Я глянул в даль, и, не знаю почему, там, на самом конце ее, представился мне становой пристав, в виде страшного, лохматого чудовища, с семью головами, с длинными железными когтями и долгим огненным языком. И так ясно и отчетливо мелькало передо мной это странное и, к счастию, совершенно невероятное видение, что мне стало жутко, и я поспешил плотнее закутаться в шубу, чтоб не видать его кривляний.

Через полчаса я въезжал в огромное торговое село, в котором было много домов совершенно городской постройки. В одном из них помещалась квартира станового пристава, и я еще издали мог налюбоваться на множество огней, которые, очевидно, были зажжены на детской елке. Огни горели весело и, проходя сквозь обледенелые стекла окон, принимали самые изменчивые и разнообразные цвета.

Становой, или, как его обыкновенно зовут крестьяне, «барин», был дома. Звали его Ермолаем Петровичем, по фамилии Бондыревым; по наружности же был он мужчина дюжий, и вследствие того постоянно отдувался и дышал тяжело, словно запаленная лошадь. Лицо его, пухлое и отеклое, было покрыто слоем жирного вещества, который придавал его коже лоск почти зеркальный; огромная его лысина, по общему отзыву сослуживцев, имела свойство испускать

из себя облако тумана в следующих двух случаях: во время губернаторской ревизии, когда, как известно, сердечные движения в уездном чиновнике делаются особенно сильны и остры, и по выпитии двадцать пятой рюмки очищенной. Голос у него был сильный, густой бас, сопровождаемый легкою хрипотой, и выходил из гортани как бы колом. К величайшему моему удивлению, это несоразмерное преобладание материи нимало не тяготило его; вообще он был на службе легок, как пух, и когда исполнение служебных обязанностей требовало с его стороны уже слишком усиленной деятельности, то вся его досада проявлялась в том только, что он пыхтел и ругался пуще обыкновенного. Впрочем, он был, в сущности, малый добродушный, и когда принимал благодарность, то всегда говорил спасибо, и этим весьма льстил самолюбию доброхотных дателей.

— Милости просим побеседовать в комнату, ваше высокоблагородие!— сказал он, встретив меня в прихожей,— у меня нынче праздник, детки вот развозились...

— А мне надо бы скорее ехать,— отвечал я не совсем впопад, все еще находясь под влиянием лохматого чудовища.

— Что же так-с? часом раньше, часом позже — дело не волк, в лес не уйдет-с. Заодно уж у нас покушаете, а после обеда и в путь-с. Мне ведь тоже с вами надо будет отправляться, так если сейчас же и ехать, не будет ли уж очень это обидно? Ведь праздник-с...

Я остался и отчасти был даже доволен этой задержкой, потому что очень устал с дороги. В комнате, в которую ввел меня Бондырев, было все его семейство и сверх того еще несколько посторонних лиц, с которыми он, однако ж, не заблагорассудил меня познакомить. Он только указал мне рукой на детей, сказав: «А вот и потроха мои!»— и затем насильственно усадил меня на диван. Из семейных были тут: жена Ермолая Петровича, бабочка лет двадцати пяти, которая была бы недурна собой, если бы не так усердно мазалась свинцовыми белилами и не носила столь туго накрахмаленных юбок; мать ее, худенькая, повязанная платком старуха с фиолетовым носом, которую Бондырев, неизвестно почему, величал «вашим превосходительством», и четверо детей, которые основательностью своего телосложения напоминали Ермолая Петровича и чуть ли даже, подобно ему, не похрипывали.

— Не угодно ли чаю с дороги?— спросила меня жена.

— Что чай! вот мы его высокоблагородие водочкой попросим,— отозвался Бондырев,— я, ваше высокоблагоро-

дие, этой китайской травы в рот не беру — оттого и здоров-с.

— Вы из «губернии» изволите ехать? — обратилась ко мне старуха теща.

— Да, я недавно оттуда.

— Так-с. А как, я думаю, там теперича хорошо должно быть! Председательствующие, по случаю праздника, в соборе в мундирах стоят... сам генерал, чай, насупившись...

— Ну, пошла, ваше превосходительство, огород городить! — заметил Бондырев, — ну, скажите на милость, зачем генералу насупившись стоять! чай, для праздника-то Христова и им бровки свои пораздвинуть можно!

— Ах, батюшка мой! насупившись стоит по той причине, что озабочен очень!.. обуза ведь не маленькая!

— А по мне, так всего лучше певчие... это восхитительно! — вступилась жена, — при слабости нерв, даже слушать почти невозможно!

— Нет, вот на моей памяти бывали в соборе певчие — так это именно, что всех в слезы приводили! — перебила теща, — уж на что был в ту пору губернатор суровый человек, а и тот воздержаться никак не в силах был! Особливо был тут один черноватенький: запоет, бывало, сначала тихонько-тихонько, а потом и переливается, и переливается... даже словно журчит весь! Авдотья Степановна, второго диакона жена, сказывала, что ему по два дня есть ничего не давывали, чтоб голос чище был!

— Вот распроклятая-то жизнь! — молвил Ермолай Петрович, подмигнув мне глазом, и потом, обращаясь к теще, прибавил: — А как посмотрю я на ваше превосходительство, так все-то у вас одни глупости да малодушества на уме.

Но ее превосходительство, должно быть, уж привыкла к подобным апострофам[1], потому что, нимало не конфузясь, продолжала:

— Уж я, бывало, так и не дышу, словно туман у меня в глазах, как они это выводить-то зачнут! Да, такой уж у меня характер: коли перед глазами у меня что-нибудь божественное, так я, можно сказать, сама себя не помню... так это все там и колышется!

Мадам Бондырева глубоко и сосредоточенно вздохнула.

— Да, в деревне ничего этого не увидишь! — сказала она.

— Где увидать! — одни выходы у его превосходитель-

---

[1] обращениям.

ства чего стоят! Все чиновники, бывало, в мундирах стоят, и каждому его превосходительство свой репримanд сделает! И пойдут это потом каждый день закуски да обеды — одних свиней для колбас сколько в батальоне, при солдатской кухне, откармливали!

— Ну, это-то заведенье и доднесь, пожалуй, осталось — скорбеть об этом нечего!— флегматически объяснил Ермолай Петрович.— А что, ваше высокоблагородие, не угодно ли будет повторить от скуки? Водка у нас, осмелюсь вам доложить, отличная: сразу, что называется, ожжет, а потом и пойдет ползком по суставчикам... каждый изноет-с!

— Вот у моего покойника,— снова обратилась ко мне теща,— хорошу водку на стол подавали. Он только и говорит, бывало: «Лучше ничем меня откупщик не почти, а водкой почти!»

— Ну, это опять неосновательно,— заметил Бондырев,— пословица гласит: пей, да ума не пропей,— стало быть, зачем же я из-за водки другие статьи буду неглижировать?

— Да ведь и он, сударь, не неглижировал, а так только к слову это говаривал. Он водку-то через куб, для крепости, переганивал...

— Ну, а ваши как дела?— спросил я Бондырева.

— Слава богу, ваше высокоблагородие, слава богу! дай бог здоровья добрым начальникам, милостями не оставляют... ныне вот под суд отдали!

— Как так?

— Да просто-с. Чтой-то уж, ваше высокоблагородие, будто и не знаете? чай, и вы тут ручку приложили!

— В первый раз слышу.

— Что ж-с, и тут мудреного нет! известно, не читать же вашим высокоблагородиям всего, что подписывать изволите!

— Скажите, по крайней мере, за что вы отданы под суд?

— А неизвестно-с. Оно конечно, довольно тут на справку вывели, и жизнь-то, кажется, наизнанку всю выворотили... одних неисполнительностей штук до полсотни подыскали — даже подивился я, откуда весь этот сор выгребли. Да-с; тяжеленька-таки наша служба; губернское-то правление не то чтоб, как мать, по-родительски тебе спустило, а пуще считает тебя, как бы сказать, за подкидыша: ты, дескать, такой-сякой, все зараз сделать должон!

— По пословице, Ермолай Петрович, по пословице! —

«Свекровь снохе говорила: Сношенька, будет молоть, отдохни — потолки!»

Последние слова произнес неизвестный мне старик, стоявший до сих пор в углу и не принимавший никакого участия в разговоре. По всему было видно, что этот новый собеседник принадлежал к числу тех жалких жертв провинциального бюрократизма, которые, преждевременно созрев под сению крючкотворства, столь же преждевременно утрачивают душевные свои силы, вследствие неумеренного употребления водки, и затем на всю жизнь делаются неспособными ни к какому делу или занятию, требующему умственных соображений. Он был одет в вицмундир старинного покроя с узенькими фалдочками и до такой степени порыжелый, что даже самый опытный глаз не мог бы угадать здесь признаков первобытного зеленого цвета. Но всего замечательнее в этом человеке был необыкновенный грибовидный его нос, на котором, как на палитре, сочетались всевозможные цвета, начиная от чисто-телесного и кончая самым темным яхонтовым. Нос этот, как после оказалось, был источником горьких несчастий и глубоких разочарований для своего обладателя.

— Это жаль, однако ж,— сказал я Бондыреву, ощущая невольное угрызение совести при виде человека, которого погибели я сам некоторым образом содействовал.

— Ничего, ваше высокоблагородие! мы в уголовной-то словно в баньке выпаримся... еще бодрей после того будем!

— Это истинно так! — пояснил обладатель носа.

— А что, видно, и тебе горловину-то прочистить хочется?— обратился к нему Бондырев.— Ваше высокоблагородие! позвольте представить! Егор Павлов Абессаломов, служит у меня в вольнонаемных; проку-то от него, признаться, мало, так больше вот для забавы, для домашних-с держу... Театров у нас нет, так по крайности хоть он развлечет.

— Ну уж, нашли какую замену!— презрительно процедила жена.

— А что ж! по деревне, лучше и быть не надо!— продолжал Ермолай Петрович,— об ину пору он нас, ваше высокоблагородие, до слез мимикой своей смешит!

— Если его высокоблагородию не гнусно, так я и теперь свое представление сделать могу! — отрекомендовался Абессаломов, выпрямляясь как бы пред наитием вдохновения.

— Прикажите, ваше высокоблагородие! Не чем так-то

сидеть, так хоть на диковинки наши посмотрите... катай, Абессаломов!

— «Июля пятого числа»...— начал Абессаломов.

— Нет, стой! Не так рассказываешь!— прервал его Ермолай Петрович,— а ты коли охотишься рассказывать, так рассказывай делом: и в позицию стань, и начало сделай! Развозов! марш сюда и ты!

Последние слова относились к молодому человеку, служившему письмоводителем у Бондырева. Как оказалось впоследствии, он должен был в некоторых местах подавать Абессаломову реплику, через что представлению сообщалась особенная живость и вместе с тем усугублялся комизм. Очевидно, что кто-то (чуть ли даже не сам Бондырев) с любовью работал над этой потехой, чтоб возвести ее от простого рассказа до степени драматической пьесы.

Абессаломов стал в позицию, то есть выдвинул вперед одну ногу, правую руку отставил наотмашь и, выпрямившись всем корпусом, голову закинул несколько назад. Все присутствующие улыбались, а некоторые даже откровенно фыркали, заранее предвкушая предстоящее им наслаждение. Абессаломов начал:

НЕВЫГОДНЫЙ НОС

(Интермедия в лицах)

Милостивые господа и госпожи! имею доложить вам о происшествии, которого удивительность равняется лишь его необыкновенности!

Смех в аудитории.

Источником как сего происшествия, так и других многих от него зол текущих, есть сей самый нос *(теребит себя за нос)*, который зде предстоит пред вами! А в чем сие происшествие, тому следуют пункты.

«Ишь ты! по пунктам!» — раздается в аудитории. Смех усиливается.

Июля пятого числа 18** года, в девять часов утра, следовал я, по издревле принятому еще предками нашими обычаю, на службу. Необходимо, однако, предварительно доложить вашим благородиям, что с самого с Петра и Павла, неизвестно от каких причин, подвергнулся я необыкновен-

ной тоске. То есть тоска не тоска, а тянет вот, тянет тебя целый день, да и вся недолга. Даже жена удивлялась. «Чтой-то, говорит, душечка (она у меня в пансионе французскому языку обучалась, так нежное-то обращение знает)! Чтой-то, говорит, душечка! на тебя даже смотреть словно тошно — ты бы хоть водочки выпил!» — «Худо,— говорю я,— худо это, Прасковья Петровна! это большое несчастие обозначает!..» Однако ж выпил в ту пору маленько водочки — оно и поотлегло!

Вот только наступило это пятое число. Не успел я выйти на улицу, как идет мне встречу некоторый озорник, идет и очи на меня пучит. «Вот, говорит, нос! для двух рос, а одному достался!»

Взрыв хохота в аудитории.

Однако я ничего, пошел своей дорогой и даже подумал про себя: «Погоди, брат! не больно прытко! может, у тебя и рыло все наизнанку выворотит». Не успел я это, государи мои, подумать, как встречается со мной другой озорник. «А позвольте, говорит, милостивый государь! известно ли вам, что у вас на лице состоит феномен?» И все это, знаете, с усмешкой, и рожа-то у него поганым манером от смеху перекосилась... «Милостивый государь!» — сказал я, начиная обижаться. «Да нет, говорит, вы и сами не понимаете, каким обладаете сокровищем... да господа англичане миллион рублей вам дадут, ежели вы позволите им отрезать... ваш нос!»

Развозов. А что ж, это ведь правда: нос-то у тебя именно феномен!

Абессаломов. Отстань ты... дай говорить!.. Ну-с, отвязался он от меня коё-как, и пришлось мне после того мимо резиденции их превосходительства идти. А их превосходительство, как на грех, на ту пору чай на балконе кушали... Ну, занятиев у них никаких тогда не случилось, смотрели, значит, больше по сторонам, да смотревши и узрели меня, многогрешного. Вскипели. «Что это, говорят, за чиновник? Какой у него противный нос!» Не спорю я... не прекословлю! Точно, что нос мой в присутственном месте терпим быть не может! Однако терпели же меня двадцать пять лет, да и их превосходительство, может, от праздности только заметили... а вышло совсем наоборот-с. Пересказали, должно быть, эти слова мои завистники; только сижу я в этот самый день в присутствии, приходит наш председательствующий, и часа через два, что бы вы думали, я слышу?

(С расстановкой.) Что о моем, государи мои, увольнении уж и постановление состоялось!

Развозов. Однако живо же они тебя обработали.

Абессаломов. Спешным журналом-с. Даже законом предписанных форм не соблюли, потому что в законах именно строжайше повелено никаких штрафов не налагать, а кольми паче насильственному умертвию не предавать, не истребовав предварительно объяснения!

Развозов. В чем же, однако, объяснения от тебя требовать?

Абессаломов. Все же-с! а если не в чем мне объясняться, так тем паче-с! Ведь это обидно... я не один... тут все потомство мое, можно сказать, из-за носа страждет! В законах именно сказано, чтоб на лицо не взирать!

Развозов. Ты это оставь. Это не наша инстанция. Так даже скажу: если и напредки тебе на этот счет языком побаловать захочется, так ты вспомни пословицу: язык мой — враг мой, и, вспомнивши, плюнь. Я тридцать пять лет служу *(Развозову было всего лет двадцать пять)*, и то все кругом да около хожу, а в центру ни в жизнь еще не попадал!

Абессаломов. Вот-с, прихожу я после того домой. Человек я детный; жена у меня золотушная, так каждый год все либо дочку, либо сынка подарит...

Развозов. И все, чай, с такими же носами?

Абессаломов. Как можно — сохрани бог! старшенькая у меня дочь, Наташенька, совсем даже схожего со мной ничего не имеет... красавица! Так прихожу я это домой! «Ну, говорю, жена! Бог милости прислал!»—«А что так?»—«Да так, говорю, ездил в пир Кирило, да подарен там в рыло... уволен, брат, вчистую!»

Общий хохот; Абессаломов, в волнении, не может некоторое время продолжать.

И вот-с, стали мы после того жить да поживать, да добра наживать; живем, рече сказать, богато, со двора покато, за что ни хватись, за всем в люди покатись; запасов всяких многое множество, а пуще всего всякого нета запасено с самого с лета. Жена скоро покойницей стала, бо для нас время гладно настало, а дочек-красоток люди приютили, бо родители им продовольствие прекратили, а затем остаюсь, без дальнейших слов, покорный ваш слуга Егор Павлов Абессаломов.

Общие рукоплескания; жена станового презрительно усмехается.

Окончив представление, Абессаломов немедленно подошел к подносу с закуской и сряду выпил три рюмки водки; после того он ударился в угол и, сев на стул, почти мгновенно заснул.

— А что, ваше высокоблагородие! — обратился ко мне Бондырев,— вот вы и в столицах изволили быть, а этакого в своем роде дарования и там, чай, со свечкой поищешь!

Но я не отвечал ни слова на этот вопрос, потому что впечатление, произведенное на меня этим странным существом и его рассказом, было из самых тяжелых. Несмотря на грубо комический колорит рассказа, видно было, что весь тон его фальшивый, и что за ним слышится нечто до того похожее на страдание, что невозможно и непозволительно было увлечься этою мнимою веселостью. Вообще, если Ермолай Петрович рассчитывал на то, чтоб позабавить меня, то далеко не достиг своей цели, и день мой был окончательно испорчен этим представлением. Я ехал сюда измученный моим одиночеством; все существо мое было настроено к принятию тех благодатных, светлых впечатлений, которые, бог весть почему, в известные дни и эпохи неотразимо и неизменно носятся над душой, но странное «представление» мигом разрушило это светлое, гармоничное настроение. Так иногда случается, что в правильное и совершенно плавное течение жизни вдруг врезывается обстоятельство в полном смысле слова ей постороннее, и врезывается с такой силой, что не только заставляет принять себя, но и деспотически подчиняет себе весь строй этой жизни.

III

Начинало уже смеркаться, когда мы приехали на станцию. По селу и там и сям бродили группы подгулявших крестьян, а перед станционным домом стояла даже целая толпа народу.

— Верно, что-нибудь случилось! — еще издали заметил мне Бондырев, указывая на толпу.

И действительно, толпа, казалось, тревожно выжидала нашего приезда. Едва успели мы выйти из саней, как все это вдруг заговорило и беспорядочно замахало руками. Из избы долетали до нас звуки того унылого голошенья, услышав которое, даже самый опытный наблюдатель не в состоянии бывает определить, что скрывается за этими взвизгиванья-

ми и завываньями: искреннее ли чувство или простой формализм.

— Что случилось? — спросил Бондырев.

— Петруха... Петруха...— раздалось в толпе.

Сердце мое болезненно дрогнуло.

— Племянник у нас бежал, ваше благородие! — отвечал, выступая вперед, один из сыновей дедушки.

— Рекрут, что ли?

— Рекрут, ваше благородие.

— Ах, шельмы вы этакие! — и снисхождения-то вам сделать нельзя!

— Имают его, ваше благородие! сам отец пошел,— робго проговорил дядя Петруни.

— Да, изымают, держи карман! А не было ли у него на селе любезной? — спросил Бондырев, чутьем угадывая истину.

— Маврушка Савельева, чай, знает! — молвил кто-то в толпе.

— Что ты! перекрестись! — почти завопил, протискиваясь сквозь толпу, седой старик, должно быть, отец Мавруши,— ничем моя Маврушка тутотка не причастна, ваше благородие.

— Ишь ты какое дело случилось! — снова начал дядя Петрунин,— ничем мы, кажется, его не изобидели, а он вот что с нами сделал!

— А вот мы это после разберем! — отвечал Бондырев и, обращаясь к толпе, промолвил: — Чтоб был у меня рекрут найден! все марш в лес искать!

И, сказав это, величественным шагом потек в избу порасправить в тепле свое белое тело.

РАЗВЕСЕЛОЕ ЖИТЬЕ

Станет царь-государь меня спрашивати:
Ты скажи, детинушка, крестьянский сын!
Уж ты с кем воровал, с кем разбой держал?

Бурлацкая песня

Развеселое, брат, это житье! Ни перед тобой, ни над тобой, ни кругом, ни около никакого начальства нет; никто, значит, глаза тебе не мозолит, никто с тебя не спрашивает, а при случае всяк сам же тебе ответ должо́н дать.

Так скажу: коли нет у тебя роду-племени, или обидел-заел кто ни на есть, или сердце в тебе стосковалося — кинь ты жизнь эту нуждную, кинь заботу эту черную, поклонись ты лесу дремучему: «Лес, мол, государь, дремучий бор! ты прими меня странного, ты прими бесчастного-бесталанного. Разутешь ты, государь, душу мою горькую, разнеси тоску мою по свету вольному! Чтоб знал вольный свет, какова есть жизнь распрелютая, чтоб ведали люди прохожие-проезжие, как сиротское сердце в груди встосковалося, в вольном воздухе душа разыгралася».

Народу у нас предовольно. И из Рязани, и из Казани, и из-под самого Саратова, есть и казенные, есть и барские, однако больше барские... Бывают и кавалеры: эти больше от «зеленых лугов» в лесу спасаются. Народ все тертый: и в воде тонул, и в огне горел; стало быть, как зачнет тебе сказы сказывать — заслушаешься. Иной, братец, головы два раз лишался, а все голова на плечах болтается, иной кавалер и за отечествие ровно уж слишним отличку показал, и в паратах претерпение видел, а все в живых стоит. Никто как бог. Один кавалер рапортовал: пуля ему в самый лоб треснула, разлетелась это голова врозь, посинели руки-ноги, ну и язык тоже: буде врать, говорит... Что ж, сударь? к дохтуру — не помог; к командиру — не помог; сам брихадный был — не помог, а Смоленская помогла! Значит — сила!

Таким родом живучи, на людях и сиротство свое забываешь. Ну, и другое еще: свычка. Это значит: коли к чему человек привыкнет, лучше с жизнью ему расстаться, нежели привычку свою покинуть. Сказывал один кавалер, что по времени и к палке привычку сделать можно. Ну, это, должно быть, уж слишним, а с хорошим житьем точно что можно слюбиться.

Да и хорошо ведь у нас в лесу бывает. Летом, как сойдет это снег, ровно все кругом тебя заговорит. Зацветут это цветы-цветники, прилетит птичка малиновочка, застучит дятел, закукует кукушечка, муравьи в земле закопошутся — и не вышел бы! Травка малая под сосной зябнет,— и та словно родная тебе. А почнет этта лес гудеть, особливо об ночь: и ветру не чуть, и верхи не больно чтоб шаталися,— а гудет! Так гудет, что даже земля на многие десятки верст ровно стонет! Столь это хорошо, что даже сердце в тебе взыграет!

Бывают, однако, и напасти на нас, а главная напасть — зима. Первое дело — работы совсем нет: стужа-то не свой брат, не сядешь ждать на дороге, как слезы из глаз морозом вышибает; второе дело — всякий в ту пору в лес наезжает: кому бревнышко срубить, кому дровец надобно — ну, и неспособно в лесу жить. Значит, в зимнее время все больше по чужим людям, аки Иуда, шманаемся: где хлебца подадут, а где и пирожка укусишь. Только чудной, право, наш народ: хлебца тебе Христовым именем подаст, даже убоинкой об ину пору удовлетворит; а в избу погреться не пустит — ни-ни, проваливай мимо! Таким родом, все по гумнам и имеем ночлег. Иной раз разнеможешься — просто смерть! Спину словно перешибет, в голове звенит, глаза затекут, ноги ровно бревна сделаются — а все ходи! Еще где до свету, запоют это петухи, потянешь носом дымок — ну, и вставай, значит, покидай свое логово! А не уйдешь, так тебя, раба божия, силой из-под соломы выволокут, да на суседнее поле и положат: отдыхай, мол, тут, сколько тебе хочется! Зверь-народ!

Однако, брат, штука это жизнь! Иной раз даже тошнехонько, и на свет бы не глядел, и руки бы на себя наложил,— ан нет, словно нарочно все так подстроится, чтоб быть тебе живу — жив и есть. Ровно она сама к тебе пристает, жизнь-то: живи, мол, восчувствуй! Ну, и восчувствуешь, пойдешь это в кабак, хватишь косушку императорского разом, и простынет в тебе зло, благо сердце у нас отходчиво.

Случилась однажды со мной оказия. Иду я по Доробину, а на дворе стала ночь; только иду я и, идучи, будто думаю: и холодно-то мне, и голодно-то, и нет-то у меня роду-племени, нету батюшки, нету матушки, и все, знаешь, как-то на фартуну свою жалуюсь, что уж оченно, значит, горько мне привелось. Только вижу, у Мысея в избе огонь горит. Полюбопытствовал я и гляжу в окошко; ну, известно, что в избе делается. Посередь горницы молодуха прядет, в углу

молодяк за станом сидит, на земи робятки валяются, старый лапти на лавке ковыряет... то есть, видал и перевидал я все это. Однако тут бог е знает, что со мной сталось: растопилось это во мне сердце, даже затрясся весь. Взошел в избу: «Бог в помочь, говорю, господа хозяева! не пустите ли странного обогреться?»

— А ты отколь?— спрашивает Мысей и смотрит на меня старик зорко. Ну, сам, чай, знаешь, трудно ли тут соврать? Сказал, что из Гай либо из Лыкошева, и дело с концом! Ан, вот те Христос, не посмел солгать, язык даже не повернулся; стою да молчу.— Ин, дай ему, Марьюшка, хлебца, Христа ради! — говорит Мысей-то,— а ты, говорит, странный, ступай — бог с тобой!

Ну, и пошел я; только всю эту ночь я промаялся. Горе, что ли, меня больно задавило, а это точно, что глаз сомкнуть не мог. Все это будто сквозь туман либо Мысей представляется, либо робятки малые, либо молодуха... и ровно рай у них в избе-то!

Вторая наша напасть — полиция; однако с нею больше на деньгах дело имеем.

Вздумал этта становой нас ловить, однако мамоне спраздновал. Вот как дело было. Призвал он к себе от «Разбалуя» целовальника: — Ты, говорит, всему этому делу голова; ты, стало быть, и ловить должон.

— Помилуйте, ваше благородие! — говорит Михей Митрич,— у нас в заведении, окромя как тихим манером выпить, никаких других делов не бывает; одно слово, говорит, монастырь... сосновый-с! — Однако становой на него затопал: — Знать, говорит, ничего не хочу! — Ну, Михей Митрич за Батыгой: так и так, мол, утекайте пока до беды. Затосковал Батыга; денно и нощно горькую пил, а из беды-таки выручил. Зарядивши себя таким родом, пошел он... как бы ты думал, куда? к самому, то есть к становому!

— Я, говорит, есть тот самый Батыга, об котором ваше благородие узнавать изволили...— Так становой-то даже обеспамятел весь от злости. Подлетел это к нему, вцепился с маху в бороду, и ну волочить. Даже говорить ничего не говорит, а только рот разевает да дышит. Только Батыга все претерпел, ни в чем не перечил, а как увидел, однако, что его благородию маленько будто полегчило, повел и он свою речь.— А я, мол, к вашему благородию с лаской, говорит.— Ну, и опять обеспамятел становой: — Сотских! — кричит,— кандалы сюда!— И все-таки в кандалы не заковал, а порешили наше дело промеж себя полюбовно:

от нас ему в месяц пятьдесят целковых, а нам воровать с осторожностью.

А по прочему по всему житье нам хорошее.

Попал я на эту линию постепенно. Человек я божий, обшит кожей, не граф, не князь, а попросту, по-русски сказать, дворовый господина Ивана Кондратьича Семерикова холоп. Ну, холоп — стало быть, хам; в бархатах, значит, не хаживал, на золоте не едал, медовой сытой не запивал, ходил больше в нанке да в пеструшке, хлебал щи, а пил воду. На этом, брат, коште не разжиреешь, а если и разжиреешь, так, значит, не от себя и не от господ, а никто как бог. Поступил я сперва-наперво в барский дом в мальчишки. Должность эта небольшая: на погреб за квасом слетай, в обед за стулом с тарелкой постой, ножи вычисти, тарелки перемой да из чулка урок свяжи — только и всего. А жалованья за эту послугу получал: в день три пинка да семь подзатыльников; иногда прибавлялось и сеченье. Так-то я и рос. Помню даже теперь, как, бывало, облизываешься, глядя на господ, как они кушать изволят. Иной раз так забудешься, что и рот по-ихнему разевать начнешь — ну, и сечь сейчас, потому что ты лакей и, стало быть, должен за стулом стоять смирно.

Хоть барин у нас и богатый, однако ихний тятенька, еще у всех дворовых на памяти, в ближнем кабаке Михей Митричем сидел: сидел-сидел да и попал, братец ты мой, во дворяне... однако, стало быть, не за это. По этому самому случаю, а больше, может, и для того, чтоб себя перед благородством оправдать, Иван наш Кондратьич свою честь держал очень строго. Не то чтоб к кабаку, как к истинному своему отечествию, льнуть, а все норовит, бывало, как бы в большие хоромы вгрызться. А с нашим братом рабом, окромя «холоп» да «скотина», «цыц» да «молчать» — никакого другого и разговору не было. Самый, то есть, был господин для слуги неприятный.

Наши дворовые были Иван Кондратьичем недовольны и называли его больше брюханом и изменщиком (потому как он кабаку, своему отцу-матери, изменил). Особливо обижался им буфетчик Петр Филатов. Прежде-то были мы, слышь ты, княжие (Овчинина князя Сергей Федорыча, может, слыхал?), да князь-то нас дохтуру в карты проиграл, а дохтур уж Семерику продал. Ну, стало быть, Петру-то Филатычу и точно что будто обидненько было после князя какой-нибудь, с позволения сказать, мрази служить.

А приятный для слуги господин какой должен быть?

Тот господин для слуги приятен, который его слушается, который обиход с ним имеет и на совет слугу своего беспременно зовет. В старые годы, сказывают, на этот счет просто было: господа с слугами в шашки игрывали и завсегда с ними компанию важивали. Он же, Петр Филатов, сказывал, что, бывало, господа друг с дружкой беседу ведут, а слуги у дверей сберутся, да временем и свое словечко в господскую речь пустят. Ну, конечно, что этак-то будто лучше, а впрочем, это не мое, а Петра Филатова рассуждение, потому как я на это дело давно уже плюнул и ногой, братец ты мой, его растер.

Сказывал нам Петр Филатыч и других поучений много. Сказывал, примерно, что те, кои в сем мире рабы, на том свете господами, в пресветлом сиянии, будут, что паука убить — сто грехов убавится, а муху убить — сто же грехов набавится. А как я от барина своего бежал и через эвто самое, как бы сказать, в здешней жизни не претерпев, будущей своей жизни лишился, то, помня Петра Филатыча слова, всякий раз, как паука вижу, беспременно его убиваю, а муху, напротив того, питаю и призреваю.

Пречудный был этот старик. Начнет, бывало, про князя рассказывать — что твой соловей заливается,— и не заткнешь ничем.— А как же, мол, тебя князь-то в карты продул? — А отчего ж, говорит, ему и не продуть? разве князь в достоянии своем не властен? — Я, говорит, не об том скорблю, что холоп — потому как на мне первородный грех есть, и от этого самого я холоп,— а об том, что вот, на старости лет, Семерику служить привелось; и пойдет это губами шамкать; даже весь посинеет от злости, что князя его обижать смеют. Такая уж, видно, линия на роду человеку написана.

На четырнадцатом году свезли меня в Москву к повару-французу в учение; жил я в поваренках четыре года и, хвастать нечего, свету большого из-за плиты не видал. Потом, однако, пустили господа по оброку, чтоб еще больше, значит, в науке своей произойти.

Про Москву так должен сказать: множество видел я городов, а супротив Москвы не сыщется. В Москве всякий в свое удовольствие живет, господа в гости друг к дружке ездят, а простой народ в заведениях — блаженство! Возьмем, примерно, трактиры одни, чего там нет? И чай, и водка, и закуски... и все, значит, сам. Машина «Ветерок» тебе сыграет, приказный от Иверских ворот вприсядку отпляшет; в одном углу тысячные дела промеж себя решат, в другом

просьбицу строчат, в третьем обнимаются, в четвертом слезы проливают... Жизнь! К этому-то житью как попривыкнешь, ни на что другое и не смотрел бы! Так тебя и тянет с утра раннего все в трактир да в трактир.

Барин, к которому я нанялся (а нанялся я к нему в лакеи, а не в повара), очень меня полюбил; смирный, добрый был этот барин, не ругатель и не озорник, а к простому народу особливо был жалостлив. Служить он нигде не служил и занимался, по своей охоте, все больше книжками, а по вечерам господа молодые к нему собирались.

Что уж у них там с господами промеж себя было, доказать тебе этого не могу, только попал, братец ты мой, он по этому случаю на замечание, что вот, дескать, человек молодой, служить не служит, а разговорами занимается... так что, мол, это значит? А московская наша полиция — черт, а не полиция: коли захочет человека достать, так хоть он в треисподнюю спрячься, и в треисподней его достанет.

Вот и препоручили они одной мамзели пропастной, чтобы она, значит, нашего Михайлу Васильича полегоньку им предоставила. На моих глазах и дело это случилось. Жили мы тогда в Столешниковом, а напротив нас, в Лихтеровом доме, эта француженка квартиру имела. Учительница, что ли, она была или только сказывалась так, а уж из себя точно что писаная красавица была. Сядет, бывало, с книжкой к окошку, волосы для приманки распустит, ручку беленькую будто невзначай покажет — так бы, кажется, и глаз не оторвал от нее! Однако наш Михайло Васильич сначала будто дичился ее: она к окну, а он от окна благим матом да в угол забьется. А все-таки, как ни вертелся, как ни отбивался, а кровь по времени свое взяла, потому что такое уж, брат, естество наше грешное, что всухомятку жизнь изжить никак невозможно.

Вот и слюбились они. Уж что, братец мой, с ним в ту пору сталось — и рассказать того нельзя. Поначалу ровно он обезумел; бросился ее целовать — ну, я и двери за ними запер. А потом, слышу, плачет, да тяжко таково, даже ровно кричит... И мне все сердце изорвал, да и на улице слышно. Так это на него действовало. Уж на что она дошлая девка была, а и она испугалась; выбежала в одной юпчонке, кричит: «Воды!» Насилу мы его в ту пору в чувство привели.

И пошла у них тут масленица. Совсем он переменился, словно расцвел — растопился весь. Живой да веселый стал; на щеках румянец заиграл; даже ходит, бывало,— так ровно земли под собой не чувствует.

И господам ее своим всем представил; соберутся, бывало, они повечеру в кружок, ну, и она тут завсегда с ними присутствует, разговор ихний слушает, а сама тем временем либо будто дремлет, либо к Михайле Васильичу ласкается.

Только стал я по времени примечать, что мимо нашего дома полицейский переодетый похаживает, и сам, знаешь, будто рыло свое скосит, а между тем все на наши окна посматривает. Подивился я этому, однако ничего, смолчал. Однажды иду я к нашей мамзели с запиской от барина, всхожу на лестницу, а сверху идет встречу мне опять этот полицейский, и опять переодетый. Ну, и она, увидевши меня, словно смутилась... что за чудо? Стал я после этого за ней присматривать, стал примечать, что она куда-то раны́м-ранехонько похаживает, однако все думал, что по амурам. Раз как-то и полюбопытствовал я; она со двора, и я за ней полегонечку...

И куда ж бы ты думал, однако, она меня привела?

. . . .

Сказал я об этом тогда же Михайле Васильичу, да уж поздно было. В тот же день вечером пришли к нам гости незваные, и тут же дело наше покончили.

Так вот, брат, какова бывает на свете полиция!

После того вскорости же пришел и ко мне от нашего бурмистра приказ в деревню явиться.

Уж как мне эта деревня тошна после Москвы показалась — даже рассказать нельзя! Первое дело, призывает меня к себе Семерик и приказывает на конюшню идти, за то, мол, что в Москве не в повара, а в лакеи самовольно нанялся. Хорошо; пошел и на конюшню. На другой день еще приходит приказ: отобрать у Ивана хорошее платье и дать ему старый армяк. Ну, армяк так армяк — и на том спасибо! Однако, думаю, за что же? Пожаловал Семерик как-то на конный двор и видит, что я горя мало хожу; прошелся мимо меня раз, прошелся другой: все ждет, что я в ноги к нему паду. Однако с тем и ушел, что не дождался; только, уходя, словно погрозился на меня и молвил: «Дойму я тебя, зверь бесчувственный!»

Второе дело, содержание в деревне больно уж безобразное. Настанет, бывало, время обедать идти, так даже сердце в тебе все воротит. Щи пустые, молоко кислое — только слава одна, что ешь, а настоящего совсем нет. Тем и отведешь себе душу, что господ на чем свет обругаешь...

И так-то иной весь свой век отживет, ни единой, то есть, радости не видавши, ни единой себе минуты спокою не знавши... так и снесет поп в могилу!

Однако, хоть и всячески я себя перемогал, чтобы только Семерику похвастаться было нельзя, что вот, дескать, на что Ванька зверь, и того, мол, сокрушил, а по времени невмоготу стало. И сделалось со мной тут словно чудо какое. От думы, что ли, или оттого, что, в Москве живши, себя уж очень изнежил, только стал я мучиться да тосковать, даже ровно страх на меня от всех этих мученьев напал. «Господи! думаю, бывало, неужто ж и взаправду мне в этой трущобе, как червю, сгнить придется?» А сердце вот так и рвет, так и ноет в груди.

Даже работать совсем перестал. Знаю и сам, что худо это, что другие, может, и лучше тебя, за тебя работают, однако принуждения сделать себе не в силах, Ну, и дай бог нашим здоровья: пожалели меня, до барина этого не довели.

Вот только один раз повечеру господа наши в гости уехали; пошел я во двор поглядеть, как наши сенные девушки в горелки бегают. Только бегают это девки, а во флигеле на крылечке какая-то барыня на них смотрит. Ну, и наши все тут в кучу собрались; идет промеж них хохот да балагурство, увидели меня, на смех тоже подняли: «Что́ пришел? или, мол, смирился?» — «Ан нет,— говорит Филатов,— он к Марье Сергевне на поклон явился!» — Тут только я и узнал, что эта барыня сама Марья Сергевна и есть.

А Марья Сергевна у нашего барина вроде как экономка жила. Была она просто-напросто пастуха нашего дочь; только Семерик и в паневе ее облюбовал и по этому самому отца-то из пастухов в дальнюю деревню в старосты произвел, а ее в горницу к себе определил. Ну, взяли, сердечную, вымыли, вычесали, в платье немецкое одели и к Семерику представили: барыня наша, сказывают, много об этом в ту пору стужалася.

Однако любопытно мне стало поглядеть на нее. Сам знаешь, баринова сударка,— стало быть, сила. Коли не настоящее, значит, тебе начальство, так еще хуже того; как же тут утерпеть, не посмотреть? Подошел я к крылечку и гляжу на нее.

И вот, братец ты мой, даже до сей минуты вспомнить я о ней не могу: так это и закипит, задрожит все во мне! Ровно подняло во мне все нутро, ровно сердце в груди даже заиграло, как взглянула она на меня! И нельзя даже сказать, чтоб уж очень из себя пышна или красива была, а та-

кой это был у нее взгляд мягкий да ласковый, что всякому около нее тепло и радошно становилося. Ну, и усмешечка эта на губах тихонькая... ровно вот зоренька утренняя сквозь облачка поигрывает.

Много видел я барынь красивых, и из нашего звания тоже хороши девушки из себя бывают, а все-таки Маши другой не встречал. Доброта в ней большая была, а по тому, может, самому краса ее силу имела, что душа у ней на лице всякому объявлялась. Так скажу: не знай я теперь, что давно она от тиранств барских в могилу пошла, жизни бы не пожалел, в кабалу бы себя опять отдал, только бы на лицо ее насмотреться, только бы голоса ее милого наслушаться!

Ну, и она, увидевши меня будто в первый раз, тоже полюбопытствовала.

— Не вы ли,— говорит,— новый повар, что из Москвы онамеднись выслали?

— Я,— говорю.

— Отчего ж,— говорит,— вы в таком платье ходите?

— А оттого, мол, что на то есть барская воля.

— Так вы барина попросили бы... он ведь только горд очень, а добрый!

— Нет,— говорю,— я просить не буду, потому что вперед знаю, что если стану с барином говорить, так уж это беспременно, что ему нагрублю.

— Что ж так?

— Да так; больно уж много нам обид от них было, Марья Сергевна... за что, примерно, он меня платья моего лишил?

— Вот вы какие! пожили в Москве, да и стали уж слишком спесивы! А вы бы глядя на других делали.

Ну, я против ее слов ничего сказать не решился; стою да молчу.

— А хорошее,— говорит,— в Москве житье?

И сама, знаешь, тяжеленько этак вздыхает.

— И везде,— говорю,— хорошо, где, то есть, жить нам мило.

— А где, по-вашему, мило? — спрашивает.

— А там,— говорю,— мило, где у нас милый друг находится...

Сказал это, да и смотрю на нее, и даже чувствую, как меня всего знобит. И она со слов моих словно зарделась вся, опустила это головоньку и задумалась.

— Вам, может, желательно, чтоб я за вас барина попросила,— говорит.

— Коли ваше желание на то есть,— говорю,— так от вас я принять милость не откажусь.

Больше в тот вечер я с ней не говорил. Только стало мне с той минуты словно легко и незаботно на свете жить. Пошел я к себе на сеновал спать и всю-то ночь вместо спанья только песни пропел.

Да и ночь-то на ту пору какая случилась! теплая да звездная, ровно даже горит это наверху от множества звезд! И все это кругом тебя спит; только и слышишь, как лошадь около яслей на мякину фыркнула или в деннике жеребенок в соломе спросоньев закопошился.

Наутре позвали меня к барину. Не могу о себе сказать, чтоб из робких был; однако на ту пору так сробел, что даже сердце во мне упало. Барин принял меня в лакейской пред всеми людьми и очень что-то грозно.

— Ну что,— говорит,— прочухался?

Я молчу.

— Что ж ты не отвечаешь, зверь?

Я опять молчу. Только слышу, что по-за дверью ровно зашуршало что. Задрожал, затрясся я весь.

— Виноват,— говорю.

— То-то, мол, виноват! А не знаешь, видно, как слуга должен у господина своего прощенья просить?

Пал я на колени... Ну, и простил он меня, на кухню определить велел... Только как вспоминаю я теперь про это, даже во рту скверно становится...

. . . .

Стали мы после этого чаще видаться, только больше все при людях. Иной раз и встретишься где-нибудь один на один, однако смешаешься, обробеешь — ну, ничего и не скажешь. Об одном только и в мыслях, бывало, держишь, как бы с ней встретиться, или бы шорох от платья ее услышать, или бы вот хоть издальки на нее полюбоваться. Ну, и она словно заметила, что усмешечка ее шибко мне нравится: как ни пройдет мимо меня, всякий раз беспременно усмехнется... Так и протянулось наше дело до осени.

По осени, так около введеньева дня, стали наши господа в Москву сбираться. Пошел это по дому треск да шум; возы с поклажей сряжают, экипажи дорожные излаживают — ну, как у больших господ обыкновенно водится. Слышу я, что и Маша с господами уезжает, а мне приказу ехать не объявляют. Стал я стороной от людей узнавать: кто говорит — Павлу повару ехать, кто говорит — мне ехать, а на-

стоящего нету. Времени меж тем все меньше остается — смерть, да и полно!

Порешил я под конец, чтоб мне самому с Машей об этом переговорить. Выбрал время, как ей из дому во флигель на ночь идти, стал и жду у крылечка. Только вижу, что вдали огонек забрезжил и прямо-таки к флигелю бежит, словно вот искорка, откуда ни взялась, одна сама собой в воздухе летает.

— Вы,— говорю,— Марья Сергевна?

Спервоначалу она было испугалась, даже оступилась и упала, однако голосу не дала. Я ее бережненько поднял, посадил на крылечко и фонарь затушил.

— Вы,— я говорю,— не опасайтесь меня, Марья Сергевна!.. Я с тем нарочно и пришел, чтоб вас видеть. Мочи моей больше нет; все у меня сердце от тоски изорвалось!

Подошел я поближе к ней, взял ее за рученьку и слышу, что она словно лист вся трясется.

— Вы вот с господами в Москву сбираетесь,— говорю,— стало быть, расставанье будет нам долгое... Поэтому я так теперь о себе понимаю, что самый я без вас буду несчастный человек, и, стало быть, ничего мне другого желать не надо, как только руки на себя наложить или в леса от таких мученьев бежать...

— Да ведь и вы, чай, с нами в Москву поедете? Чтой-то уж и бежать собрались!.. словно и разуму своего вы лишились!

— Нет,— говорю,— в Москву я с вами не поеду; да и вы, коли меня жалеете, барина от этого намерения отклоните. Потому, первое, что в Москве я надежды на себя не имею, и верно это знаю, что барин либо в солдаты меня отдаст, либо в ссылку сошлет. А второе дело, мне и здесь на ваше житье смотреть совсем непереносно стало.

Как выговорил я ей это, она словно даже ручьем залилась.

— Так вот,— говорит,— чем вы меня попрекаете! точно сами не знаете, какова моя здесь жизнь!

— Я,— говорю,— не с тем это сказал, чтоб вас попрекать, а с тем, что при моих к вам чувствах смотреть мне на эти дела не приходится.

Только она еще пуще на это заплакала, а меня ровно тут дух какой обуял! Бросился я к ней, поднял это ее к себе на руки... И жалко-то мне ее, и душу-то я бы за нее отдал, и злость, однако, за сердце словно вот клещами хватает: пропадай, мол, все, не доставайся она ни мне, ни ему! Даже за-

коченел весь, даже не слышу ничего, мну да тираню ее, сердечную, в руках, будто задушить хочу... А она только потихоньку стонет, а рваться от меня не рвется.

— Ваня! — говорит,— что ты надо мной сделать хочешь!

Опамятовался я под конец, выпустил ее из рук. Тяжко мне тут сделалось, так тяжко, что и сказать нельзя. Смотрю это на барский двор и сам бог знает что думаю; смотрю тоже и на большую дорогу, и на лес дальний,— и все это будто перемешалось во мне; точно не сам я, а именно лукавый во мне думает.

И такова была в ней душа ангельская, что она не токма́ что тиранства моего не попомнила, а меня же, зверя лютого, утешать бросилась.

— Ваня,— говорит,— голубчик ты мой! ах, да посмотри же, посмотри же ты на меня! пожалей ты меня! Легче бы мне в пропасть теперь сгинуть, чем сердце твое на себе видеть!

И вот, братец ты мой, хоть зима на дворе стояла: значит, и те́мнеть, и сивир, и снег, однако краше для меня эта ночь самой теплой летней ночи показалася! Все эти звезды, что на небе горят, словно в сердце у меня загорелися!

Наутро прикинулась к ней горячка. Доложили об этом барину и послали за дохтуром. Дохтур обозрил ее и сказал, что в Москву ехать никак нельзя. Сокрушился Семерик; однако такую к Маше привычку взял, что даже поездку в Москву хотел отложить. Только тут ихняя супруга, дай бог ей здоровья, за наше счастие вступилася. Семерик говорит: «Не поеду!» Семеричиха кричит: «Врешь, поедешь!» И опять Семерик свое долбит, а Семеричиха так на него и заливается: «И без того я от тебя невесть что безобразиев терплю, чтоб смел ты меня, кабачник, на всю жизнь в деревню запереть!» Много у нас тут страму на весь дом было. Однако Семеричиха, как была генеральская дочь, одолела. Стали сбираться; вышел и мне приказ быть готовым.

Ну, нет, думаю, это, видно, подождать придется! И удумал я тут штуку. Явился к Семерику и, как ни воротило мне сердце, пал к нему в ноги взаправду.

— Позвольте,— говорю,— в деревне остаться.

— Это еще что за шутки? — говорит,— и как ты смел прямо на глаза мои показываться?

— Я,— говорю,— по слабости моей, в Москве надежды на себя не имею, потому как там и знакомство у нас боль-

шое, и случаев больше есть, а в деревне все одно что в монастыре...

Понравилось это Семерику. А пуще всего то по сердцу пришлось, что вот, мол, лютого зверя в смирение привел!

— Ну,— говорит,— коли есть твое желание, чтоб в исправлении своем укрепиться, так я препятствовать этому не могу... Взять в Москву Павлушку!

Уехали.

Остались мы с Машей в доме почесть что одни. Молодых всех господа еще с обозом в Москву угнали, а в деревне оставили только стариков да конюхов. К Маше старуху Матрену Ивановну приставили — золотая это была душа! Стало быть, очень нам было свободно. Поначалу она еще слабость в себе чувствовала, а недельки через две поправляться стала. А Семерик то и дело, что из Москвы гонца за гонцом шлет да строго-настрого наказывает, чтоб Машу к нему в самой скорой скорости выслать. Однако врешь.

И словно рай промеж нас тогда поселился. По времени даже смелость такая у нас проявилась, что и людей совсем опасаться перестали. Заложишь, бывало, об вечер жеребца с барской конюшни в охотницкие саночки, укутаешь ее, голубушку, в шубку и пошел по полянкам гулять — даже дух занимается! А ночи-то, брат, лунные да морозные, и снегом-то кругом тебя обдает, и ветром-то жжет... жизнь! У Маши, бывало, даже глазенки заискрятся, столь это хорошо!

Ну, и домой приедешь, отогревать ее станешь, на руках, словно ребеночка, баюкаешь...

Да, брат,— как подумаешь да погадаешь, что все это жило, да сплыло, да быльем поросло, и что всему этому житью Семерик на всяк час поперек может стать — даже страх тебя какой-то берет!

И скажи ты мне на милость, отчего бы, например, мне, дворовому господина моего, Ивана Кондратьича Семерикова, человеку, счастливым не быть? И отчего, например, вздумал я раз в жизни радость свою иметь, и тут вышло, что радость та не моя, а господская? От этой, брат, думы и ушел я в леса, чтоб больше она меня не тревожила.

Проведал, однако, прознал он, шельмецкий сын, про нашу любовь. Бурмистр, что ли, ему отписал — этого доказать не могу, только раз приезжаем мы вечером с поля, ан в барском доме огни горят. Маша моя так и ахнула... Ну и я тоже маленько будто посумнился.

— Что,— говорю,— Машенька! гаркнуть разве, и поминай как звали.

Только говорю я это, а сам вижу, что она ни жива ни мертва в саночках сидит. «Ну, думаю, плохо, значит, наше дело,— пришлось в разделку идти!..» Надеялся было я на первых порах во флигеле ее схоронить, ан и тот заперт.

Привели нас к Семерику... Ну, он словно зверь страшонный на меня кинулся и начал меня что есть силы-мочи бить. А Маша забилась в угол да только стонет. Однако ее не тронул: по старой памяти, что ли, или уж потому, что, меня бивши, ровно дыханье все истерял.

Ну, видевши я Машенькин такой страх, опять себя перемог. Повалился ему в ноги, клялся-божился, что вечным буду его рабом, только бы на Машеньке мне жениться дозволил. На это такую он резолюцию дал: посадить его на ночь в холодную, а наутро в рекрутское присутствие везти. А Машу в ту же ночь на скотный двор сослали, а через три дня в деревню за вдовца за детного замуж отдали.

В эту ночь много я от холоду вытерпел, а пуще того от думы да от тоски сокрушился. Объявились мне тут все обиды его тяжкие; объявилась и жизнь эта нуждная, лютая, и кабальство мое горькое; объявилось и счастье мое вчерашнее... То будто зима-зимская морозная перед глазами носится, и полянки эти дальние, и саночки малые, и Маша, разлюбушка моя, тут... И словно свет голубой мне в глаза бьет, и в этом свете голубом она, моя голубушка, ровно в воздухе, дрожит и колышется... залило меня горе всего! Сейчас думаю: не будет же по-твоему, огрызок кабацкий! пропадай моя голова, коли не вырву я ее у тебя! А через минуту и то опять в голову лезет: куда ж идтить? куда ни беги, везде твое тело его будет!..

Порешил я, однако, бежать. Не то чтоб солдатства крепко боялся, а словно дело это для нас необычное, да и с Машей расстаться жалко: все думаешь: «Не закопают же ее живую в могилу,— авось можно свидеться как-нибудь».

Вот на другой день подняли меня раным-ранехонько. Вывели, всего обшарили. На дворе подвода стоит, и отдатчик с подводчиком наготове ожидают. Пришли родные, пришла дворня вся; бабы воют да стонут, особливо матушка. Измаяли они меня.

Привелось нам мимо скотных дворов ехать. Не утерпел я — и стал проситься, как бы Машу мне повидать. Известно, отдатчик, вместо ответа, велел лошадь стегать; однако я вскочил и зачал его за горло душить! «Мне, говорю, заодно терпеть, а тебе не быть живу, варвары вы этакие!» Ну, ис-

пугался,— пустил. Вошел я в избу: избенка эта темная да смрадная, словно хлев коровий.

— Много лет здравствовать, Марья Сергевна! — говорю.

Только услыхала она мой голос,— бросилась это ко мне, уцепилась за полушубок... даже ровно замерла тут.

— Погубил я тебя, Машенька! — говорю,— не будет мне за это счастия в сей земле.

— Жить... нет... нет! — говорит, а сама так и дрожит, так и трясется вся, и в лице ни единой кровиночки нет.

Сел я на лавку, положил ее на колени к себе и стал это целовать да миловать. Только чую, будто слезы у меня горят, да и сердце в груди ровно ширится. Ну, думаю, плакать так плакать... в остатний раз! Плачу я это, даже дух у меня от слез словно захлестывает... только и могу выговорить: «Машенька! Машенька!.. ах, да каково ж это больше не свидеться!» А она даже и не отвечает ничего; завернулась, голубка, головонькой под полушубок ко мне, да только руками обеими меня удерживает... И сладко-то, и тоскливо-то мне!

Только, видно, дали во двор знать, что двоим со мной не сладить; прибежало еще человек с пять на подмогу. Стали ее отымать от меня; ну, и она поначалу ровно не поняла, что с ней делается, даже взять себя допустила... Однако, как начал я скотнице Аграфене в ноги кланяться, чтоб она ее, сиротку, пригрела да приголубила, вдруг она словно разразилася: взвизгнула это, застонала и зачала из их рук рваться... даже я сам поскорей из избы выбежал.

Еду я дорогой да все думаю: «Уйду я от них, беспременно уйду!» Гляжу это на поле дальнее: вон в стороне вихорик закружился, вон пеленку снежную взбуровил... уйду, мол, от них, беспременно уйду! Вон мостик ветхонький через речку лежит; по краям у речки ледок, словно хрусталь чистый, скипелся, а середочка плещется, ровно живая журчит... уйду я от них, беспременно уйду!.. Вон лесок впереди засинелся: ишь ты, какой лес чистый да бережоный!.. вон и в деревню въехали... пошли саночки по ступеням тук-тук... ах, да уйду я от них, беспременно уйду!

— Пусти, Потап! — говорю отдатчику.

— Что ты! — говорит,— чай, я не о двух головах!

— Пусти, Потап! в могилу за тебя живой лягу, души не пожалею... пусти!

Не пустил... Да уйду же я от тебя, беспременно уйду!

Приехали мы на постоялый двор ночевать. Сели ужинать, а я все одно думаю: «Уйду да уйду». Положили они

меня для верности промеж себя спать, даже полушубок с меня сняли да под головы себе сунули. Однако я не сплю и все в уме одно держу: «Уйду, мол, я от них, беспременно уйду!» Вот только слышу я, загудело мужичье; были тут, кроме нас, извозчики; наедятся они на ночь, так ровно начнет их коробить во сне-то. Иной, знаешь, не своим голосом во сне зарычит, другой даже вкочит спросоньев, посидит-посидит словно полоумный, перекрестится, да и опять спать. Ну, и я попытать их сначала хотел: вскочил что есть мочи, не шелохнется ли, мол, кто?.. Однако никто голосу не дал; только Потап спросоньев стал около себя шарить, да не на ту сторону, сердечный, попал и нащупал проезжего извозчика. Только я ползком да ползком... чу, сверчок за печкой затрещал... чу, вздохнул кто-то — не Потап ли? чу, кого-то словно душит во сне... И всего-то до двери пять шагов, а сколько я тут от одной думы измаялся, что лучше бы, кажется, пять верст на своих на ногах сделать... А все-таки дополз под конец! Тут на лавке чей-то полушубок порожний обозрил и его про запас смахнул.

Вышел я на задворки, и — веришь ты? — кажется, не долго мучения мои тянулись — и всего-то с сутки!— а словно я тут впервой воздухом свежим дохнул! Даже ослаб весь, и ноги подкашиваются, и грудь будто расшаталася... Вышел я на задворки; однако как начал делом смекать: «Плохо, думаю, это я сделал; таким манером они меня как раз по следу накроют; лучше на большую дорогу пойти». Вышел да, не думая, словно из лука стрела, пустился в обратный бежать.

Бежал я без отдыху версты с три, даже грудь начало саднить. А ночь-то месячная да светлая, и поле кругом чистое да ровное — версты за две человека видно! Вижу я: коли дальше идти, первое дело — из сил выбьюсь, а второе дело — хватиться могут, и кто же их знает, в какую сторону их леший повернет! Показалась в стороне деревушечка, я и повернул в проселок. Только она, распроклятая, точно дразнит меня: вот, кажется, рукой подать, так и вертится перед глазами, однако за ихними мужицкими вавилонами добрых я с полчаса маялся, доколе дошел.

Тут я впервой познал, что такое беглый человек значит. Пришел в деревню, смотрю около себя, а куда идти — не смыслю. Словно уж судьба сама за меня промышляла да в овин привела; зарылся я в солому, да два дня оттоль и не выходил,— так не евши и лежал... После сказывали мне наши, что и в этой деревнишке

меня отыскивали, однако, стало быть, не постарались.

Через два дня вышел. Ну, прежде всего есть до смерти хочется. На дворе еще тéмнеть была, только кой-где огни в избах виднелись: значит, исправная баба уж печку затопила. Подошел я к одной избе, вышиб кулаком подворотню, подлез скрозь нее и прямо в избу к бабе.

— Подавай хлеба! — говорю.

Только она как была с ухватом в руках, так тут на месте и обмерла. Я к столу; достал хлеба, взял кстати и ножик.

— Только ты пикни у меня,— говорю,— не ноне, так завтра так дойму, что навек языка лишишься!

И точно, дай бог ей здоровья,— не пикнула.

Наелся и опять в солому, залег — сумерек дожидаться. Теперь, думаю, хорошо: и сыт, да и ножик при мне есть: стало быть, какова пора ни мера, а живой в руки не дамся. И все-то меня к дому да к дому тянет.

Вот в сумерки встал-от с своего логова и пошел-таки прямо в деревню. Вижу еще издалеча, что в кучерской у нас свет горит. Не думавши долго, прямо туда.

— Ребята! — говорю,— кто из вас против меня изменщиком хочет быть?

Только они сидят, да помалчивают, да промеж себя переглядываются.

— Если кто меня выдать хочет,— говорю,— так я тут весь; а не желаете выдать, так обогрейте да накормите меня!

Никто, однако, против своего брата изменщиком быть не согласился. Тут я узнал, что в тот самый день Машу на деревню что ни на есть за гадючего мужика отдали замуж; а Семерик, сделавши это праведное дело, как ни в чем не бывало сейчас после свадьбы в Москву укатил.

Загорелось во мне: хочу да хочу Машу видеть! даже есть не могу; так всего и поднимает меня.

Пошел на деревню; вижу, стоит на краю избенка развалившая; подошел к окошку, думаю, нет ли гульбы у них? Однако, видно, бедность шибко мужика одолела, либо совесть на народе зазрила, только не чуть в избе никого, кроме хозяев. Горит это посередь горницы лучина, и ровно чад да дым от нее идет, а свету почесть ничего-таки нет; в углу на полу ребята вповалку спят... ну, одно слово, и голодно-то, и холодно-то в этой избе, совсем, кажется, и жить-то нельзя. Одно мне чудно показалось, что они ровно век вместе жили,— сидят около светца. Маша бельишко кой-какое деткам починивает, а Трофим сапоги на продажу тачает. Долго я так смотрел на них, все думаю: взойти или не взойти?

Однако Маша будто почуяла что: встала с места и слушает; ну, и Трофим к окошку побрел.

— Это я,— говорю,— Трофим Петрович! я, мол, беглый Иван! пустишь, что ли?

Услышавши меня, он поначалу даже от окна отшатнулся, однако вскоре опять поправился.

— Пустить, что ли, Марьюшка? — спрашивает.

Только она ровно испугалася: побежала это от светца прочь и за печку спряталась.

— Пусти,— говорю,— Петрович! Вот тебе бог, что только проститься хочу; одной минуты не пробуду больше!

Взошел я в избу, помолился богу, сел на лавку.

— Бог в помочь! — говорю.

Только она вышла ко мне, мертвая-размертвая. Однако идет твердо.

— Прости меня, Иванушка,— говорит.

Я заплакал; сижу это на лавке и, словно баба, малодушествую. Господи! как мне горько-то, горько-то в ту пору было! Словно темь кругом меня облегла, словно страх да ужас на меня напал, словно тянет, сосет все мне сердце!

— Прощай, Иванушка! — опять говорит она, а у самой слезиночка в голосе дрожит.

Вскочил я; хотел в охапку ее схватить, однако вижу — в углу Трофим стоит и словно у него зуб на зуб не попадает. И она тоже руки вперед протянула, будто как застыдилася. Ну, думаю, стало быть, нашему делу и взаправду концанье пришло!

— Прощай,— говорю,— Маша! прощай и ты, Трофим!

Молчат оба.

— Видно, мол, не свидеться нам?

— Да, видно, не свидеться! — молвил Трофим.

Словно ожгло меня это слово.

— Зверь ты!— говорю.

— Нет,— говорит,— не я зверь, а тот зверь, кто ее до настоящего довел... Ты,— говорит,— рукой махнул да в леса бежал, а ей весь век со мной в голоде да в нужде горе мыкать приходится... Так ин лучше не замай ты нас!

Смотрю я на нее; все думаю: «Не скажется ли в ней хоть на минуточку наше прежнее разлюбовное время-времечко?..»

Ну, и нет, как нет; стоит она как без чувств совсем, глазами в землю смотрит, только верхняя губа будто дрожит легонько.

— Ну,— говорю,— ин и взаправду, Маша, прощай!

Однако все-таки на росстанях, чай, поцеловаться надо...
Подошел к ней и обнял. Ну, ничего; и обнять и поцеловать себя дала, одно только обидно мне показалося: я ее целую, а она словно мертвая стоит... даже тепла в ней не чуть!

. . . .

Так наше дело и кончилось. Вышел я от них как без памяти. Отхватал я, брат, в эту ночь верст тридцать с лишним. Иду да иду вперед, а куда иду — даже понятие потерял. Снег мокрый глаза залепляет, ветер в лицо дует, ноги в сугробах тонут, а я все иду и все о чем-то думаю, хоть истинной думы и нет во мне. Все это как во сне — от одного к другому переходит: и Маша-то тут, и не едал-то я, и сена вон стог в поле стоит, и ночь-то была впору холодная да темная. Останови да спроси, об чем, мол, сейчас думал?— ни в свете ответа не дашь!

Однако на утре уморился, и понятие это ко мне измором воротилось. Тут только догадался я, что заместо того чтоб к нашим на конный двор вернуться, я верст тридцать в сторону шагнул. Ну, не судьба, значит!

Вижу, навстречу мне мужичок с дровами едет. Мужичоночко этакой худенькой да мозгляненькой: «Ну, на что такому мозглецу топор?»— думаю. Подошел к нему.

— Продай, мол, топор, дяденька!

Он перепугался.

— Христос,— говорит,— с тобой, молодец! топор-от, чай, мой!

— Известно,— говорю,— что твой; только и для нас он словно надобен!

Ну, он столько учтив был, что больше со мной не разговаривал.

Таким манером прошло больше месяца, что я все дальше да дальше пробирался. Веришь ли, даже не обогрелся ни разу порядком, ни разу путем не поел. Привычки-то к ночному рукомеслу еще не было, да и шел я все глухим местом да проселком — так и в питейный-то зайти не с чем. И страх тоже одолел, потому что зима для беглого человека — самое некорыстное время; кругом это суметы, ни бежать, ни схорониться некуда: того гляди, как зайца изымают.

Однако около благовещения словно потеплило, а в деревнях в это время на пригреве об ину пору даже жарко бывает. Тут, братец мой, только я восчувствовал, какова на свете жизнь хороша есть. Сядешь, бывало, в сторонке около стожка: солнышко прямо в лицо тебе поглядывает, ветерки словно бархатные кругом поигрывают, в стороне, чу, вода

русло себе просасывает, наверху всякая птица кишнем кишит, и не видать ее в вышине, а словно стон сверху вниз стелется. Журчит это, шумит все, точно и не один ты в свете, точно завсегда кто ни на есть с тобой присутствует... Самое развеселое это время!

Тут и поживишка у меня порядочная случилась. Иду я раз сумерками своим трактом и вижу, что посередь самой большой дороги кибитка стоит; лошади, пара, сзади привязаны, ямщика нет. Подхожу я к кибитке, слышу — разговор там идет; один седок, должно быть, заслышал меня, встал и смотрит через кибитку... Купец.

— Много лет здравствовать, господа хозяева!— говорю.

Только он думает, что меня, значит, ямщик помогать им прислал.

— Скоро ли же ямщик-то вернется?— спрашивает.

Пошел я вперед, будто кибитку осматриваю, а сам примечаю, как бы за дело мне половчей взяться. Вижу, впереди зажора, у кибитки одна оглобля напрочь отломлена; значит, ни взад, ни вперед нет возможности.

— Да ты что за человек? — спрашивает купец.

А другой его товарищ, даже не видевши еще ничего, забился вглубь, да только знай стонет. Вижу я, что они ребята ласковые, и в разговор с ними взошел.

— Вы,— говорю,— хозяева, просто, что ль, едете?

— Нет,— говорит,— без топора тоже не ездим.

Ну, и топор показывает.

— А коли есть топор, так дайте, значит, пять целковых — и бог с вами! А не то будем силу пробовать!

Заартачился было купец, да товарищ его, спасибо, на выручку мне подоспел. Застонал это, заревел пуще прежнего: «Отдай да отдай пять целковых!»

Рассчитались.

Пошел я после того в кабак, да там и забылся. Об ину пору хорошо это бывает. Придет это тошно да смутно так; назади некорыстно, да и вернуться туда уже нельзя, а впереди словно туман да тёмнеть висит... куда идти? Думаешь-думаешь, даже головой о стену шаркнешься. Косушка вина много тут помощи делает. Выпьешь одну — в сердце словно радуга просияет; выпьешь другую — словно по морю по окияну плывешь; выпьешь третью — ни земли, ни воды под тобой нет, да и люди — ровно точки в глазах мерещатся...

В кабаке я человека встретил. Показалось мне, что он на меня с первого раза слишним зорко посмотрел, да и с целовальником словно перемигнулся. Вот выпил я свою чарку

и сел в углу на лавку, будто как благодушествую, а у самого даже муравьи по-за кожей заползали! Все, знаешь, по новости своей думаю, что на лазутчика попал. Только они промеж себя разговор ведут с целовальником.

— Худо, Савва Дементьич!— говорит человек,— разве вот летом поправимся, а не то, видно, совсем отсель откочевать придется.

— Что ж так?

— Да ровно уж слишним много порядков здесь завелось. Наменись Сидорку на гумне изловили, отпустить-то отпустили, да уж и выкуп больно несообразный заломили. Надоело... Только бы вот товарищей таких подыскать, чтоб и в огонь и в воду охочи были идти, так, кажется, ни на минуту бы здесь не остался.

— И Дарьюшку ништо не жалко!

— Что Дарьюшка! только связался я с ней, а то давно бы нам это дело покинуть надо! Намеднись вот муж: «Ты, говорит, меня в окаянство ввел, ты меня вором сделал, да и жену теперь отнимаешь!» Как будто я задаром его вором-то сделал! И что еще: так это остервенел, что ухватил нож да с ножом зря вперед и лезет. Даже смотреть на него глупо.

Целовальник захохотал.

— Однако надо правду-истину сказать,— говорит,— и ты в его добре ровно слишком хозяйствуешь!

— Чего хозяйствовать! С ней, брат, всякий хозяйствовать может — была бы охота! Намеднись вот офицер приезжий ночевать у них становился, так мне даже тошно стало, как она перед ним привередничала...

— Так вот она какова!

— Да уж так-то «какова», что опять-таки говорю: найдись у меня теперь товарищ хороший, чтоб вместе бежать отсель, ни на минуту бы даже не задумался.

А сам говорит это да на меня поглядывает. Однако я молчу и все это думаю, что он меня испытать хочет. Долго ли, коротко ли они промеж себя побеседовали, только он не утерпел, подошел ко мне.

— Да ты что,— говорит,— земляк, в землю глазами уткнулся да нюни распустил?

— А так, мол.

— Что та́кать-то, а ты говори дело. Отколь бредешь?

— Прохожий, мол; шел да зашел — и все тут!

— Прохожий Иван стащил на селе кафтан, идет на большую дорогу за шубой... так, что ли?

— Хоть бы и так, тебе что за дело?

— Больно ты, брат, горд либо труслив уж не в меру. Тебя же жалеючи спрашивают.

— Да ты сам-то кто таков?

— А я,— говорит,— человек небольшой, по прозванию сторож ночной; неподалечку бекет здесь содержим да господ проезжающих в страхе божием держим!

Целовальник засмеялся.

— Да, и уму-разуму наставляем их, потому как без нашей науки они беспременно забылись бы... Вот еще онамеднись углицкие купцы тут ехали; ну, я точно что малую толику от них попользовался; однако за это и притчу им сказал: «Который, мол, зверь всех зверей лютее? лев. Кто льва лютее? человек, потому человек человека погубляет, а лев льва никогда. Кто человека лютее? разбойник!.. Так вы, говорю, ваши здоровья, в этом месте поздно ночью не ездите, потому тут шалят...» Так хочешь, что ли, с нами, молодец?

Посумнился я тут с крошечку. Хоть и вижу, что кончанье для меня одно впереди, однако с непривычки все будто робостно.

— Что задумался? или, брат, по пословице: собака волка дерет — и драть не умеет, и отстать не смеет? А ты, коли в тебе живая душа есть, говори прямо: хочешь другом быть?

— Ты бы ему поднес для куражу, Мироныч!— говорит целовальник,— а то вишь, он как от дороги осовел!

Стали мы тут пить и бражничали таким родом дня с три. На четвертый день такие ли други-приятели сделались, словно вот век только друг о дружке и сокрушалися. Так и решилась судьба моя в кабаке.

Привел он меня к своей любезной. Муж у ней тутотка на большой дороге въезжий двор держал... так, не больно чтоб очень корыстный. Место это самое глухое да неприятное, и стоял ихний двор, словно торчок, один-одинехонек; кругом верст на двенадцать лес дремучий, по дороге песок по колени; ни воды, ни лужаечки нет — так, дичь одна. Как едет, бывало, кто по дороге, так издалеча еще слышно, как по лесу словно щелканье пойдет. Стало быть, польза от постояльцев была самая пустая; разве уж больно кто обночает, или кони в песках шибко замаются, так к Федоту Карпову на часок завернет, а прочие норовят, бывало, мимо поскорей проехать. Да и жили они как-то сумнительно; у других хозяев и работник и работница путные есть, а у них и всего-то одна работница, да и та немая да дурочка была. Ну, для

проезжих господ оно и неприглядно; который и остановится случаем, так все по сторонам озирается, не хотят ли, мол, резать его.

А Федот Карпов самый из себя паренек мизерный да нескладный был. Махонькой да тощой такой, борода это клинушком, глазки маленькие да врозь разбегаются — даже смотреть гнусно. И все-то, бывало, или на полатях прохлажается, либо в окошко сонной глядит, а начнет это работать, так и не глядел бы на него: только в навозе, словно боров, копошится... А со всем этим такой жадай был, что как увидит монету, даже словно обеспамятеет весь: этим только и держал его Корней в узде.

Зато на Дарьюшку точно что можно залюбоваться было. И высокая-то, и полная-то, и глаза большие навыкате, а тело белое да разбелое, словно вот пена молочная скипелася. Одно слово, отдай все, да и мало. Пойдет это по горнице или даже на месте шевельнется, так вся тебе кровь в голову вдруг и кинется... Песни тоже петь мастерица была: что захочет над тобой своим голосом сделает! И тоской-то тебя всего зальет, и удалью да молодечеством сердце разутешит, словно вся человеческая душа в руках у ней была. Жила, вишь, она прежде у одного господина молодого в любовницах, однако вышел ему срок жениться, он и выдал ее за Федота. От него и песни-то петь она выучилась.

Пришли мы к ним около полдён: смотрим, Дарьюшка у ворот сидит, на солнышке греется. Поздоровались.

— Жить, что ли, у нас будете?— спрашивает Дарьюшка, а все на меня исподлобья посматривает.

— Да,— говорит Корней,— покудова до тепла надобно будет прожить.

— А после куда?

— А куда путь лежать будет... верного еще ничего сказать теперь не могу.

Только она на эти его слова ровно усмехнулася; только так-то нехорошо да обидно, что разом мне Корнеевы слова вспомнились, которые он целовальнику в кабаке говорил.

— Чего смеешься? правду говорю, что остатние дни у вас здесь валандаюсь!— говорит Корней.

— Ну, и с богом!— отвечает Дарьюшка, а сама все на меня поглядывает.

Словно помертвел Корней.

— Ишь ты, подлая!— говорит.

Однако она ничего; сидит себе да знай полегонечку посмеивается.

— Так неужто ж, мол, мне всем твоим прихотям подражать?— говорит,— хочешь идти, так иди... плакать по тебе, что ли?

— И уйду; только так я тебя на прощаньи приголублю, что век ты меня не забудешь... змея ты!

Чудно мне это показалось. «Будь, думаю, я на Корнеевом месте, не посмотрел бы на косы твои русые!» Однако он смолчал; только все у него нутро, словно у зверя лесного, зарычало.

В тот же вечер у них с Федотом Карповым дело чуть не до убивства дошло, и все опять эта Дарьюшка на озорство завела.

— Слышал,— говорит,— Федот Карпыч, что Корней Мироныч от нас в дальны стороны сбирается?

Как сказала она это, Федот Карпов даже помертвел весь. Ну, и Корней словно потупился. А она заместо того, чтоб смирять их, только пуще друг на дружку натравливает.

— Сказывают, как это там хорошо да привольно, и реки-то, слышь, молочные, и берега-то кисельные, и воруют-то все безданно-беспошлинно... ин и тебе за ним уж бежать, Федот Карпыч?

Слушает это Федот, а у самого даже бороденка словно лист трясется.

— Правду, что ли, баба лает?— говорит.

Ну, солгать бы тут Корнею: пошутил, мол, и вся недолга; однако он или посовестился, или не нашелся с первого разу: пробормотал что-то невнятно в ответ и замолчал.

— Ан врешь ты!— говорит Федот,— не посмеешь отсель уйти!

А сам и заикается-то, и по столу-то кулаком бьет...

— Али люб тебе стал?— говорит Корней.

— Люб не люб, а у меня с тобой счеты есть... В кабалу ты ко мне шел!

Ну, лезет на Корнея, да и шабаш, даже на месте словно скачет; и кулачишком-то, и головой-то ему в брюхо норовит... удивление, да и только!

— Ты,— говорит,— женой у меня завладал; так задаром, что ль, я тебе ее отдал?

— Ишь тебя больно спрашивались...

А Федот все одно:

— Издохнешь,— говорит,— мне служивши! убью я тебя и в ответе не буду!.. потому — ты вор... да, говорит, вор, вор, вор... разбойник ты!

Корней только знай рукой отмахивается, как он слишком на него наскакивать начнет.

А Дарьюшка, сделавши свое дело, ушла за перегородку, словно горя ей мало; только и слышно, как она там позевывает да потягивается.

— Часто этак-то у вас бывает?— спрашиваю я ее.

— А кто их знает? Каждый день все ссору да драку заводят... Что на них смотреть-то? Да неужто взаправду Корней на чужую сторону сбирается?

— Да, взаправду.

— Куда?

— А куда глаза глядят.

— Ну, и бог с ним!

— Будто тебе его не жалко?

Так она, братец мой, не то чтоб поскучать или хоть бы задуматься — все же чужой человек перед ней,— даже засмеялась в ответ.

— Ты,— говорит,— с Корнеем, что ли?

— С Корнеем.

— Напрасно... кабы ты с нами остался, и Федот бы Карпыч Корнея отпустил...

Говорит это, да так-таки прямо в глаза мне и смотрит.

— А намеднись,— говорит,— офицер проезжий у нас становился, так раза с четыре ворочался: все бежать с собой меня сманивал! И опять приехать обещался...

— А Корней чего смотрел?

— Что Корней! Известно, в хлеву злобствовал! Разве его в горницу пущают, когда приезжие господа есть?

— Видно, ты таки охоча гулять-то!

— А для че не гулять, когда гулять можно... весело гулять! Вот у меня барин был миленький — уж то-то мы с ним погуливали!.. Хочешь, что ли, песню тебе спою?

Сняла со стены гитару, да словно разлилась тут вся:

> Ах где, жена, была, где, сударыня, была?
> Я была, сударь, была у попа в гостях...

И поет-то, и плечьми-то подергивает, и каблучками-то пристукивает... всякая словно жилка в ней вдруг заговорила!

А грудь-то белая да полная тяжеленько это под гитарой мечется, ровно моченьки у ней нет, ровно истомило ее всю, измаяло! Так оно хорошо да сладко, что и Корней с Федотом лаяться перестали, а у меня даже свет в глазах помутил-

ся!.. Как легли мы после того с Корнеем на сеннице спать, долго она мне сквозь сон все мерещилась!

Жили мы у них с месяц места, ничего не делавши; однако я укрепился, против товарища подлецом сделаться не хотел. Подивился я тут на Корнея! Уж на что, кажется, крепкий человек был, а перед ней и даже перед этим Федоткой словно овца смирялся: что хотели из него делали. Она, бывало, и за водой его посылает, и кушанье стряпать велит — все справлял!

По времени и совсем тепло установилось. Стал Федот Карпов нам докучать, что мы только руки склавши сидим да чужой хлеб едим. Начал и я Корнею вспоминать, что не затем в товарищи к нему пошел, чтоб у бабы под юбкой прятаться...

Вот вышли мы со двора поздно вечером, на самый егорьев день. За десять верст от двора и место у нас было такое назначено, чтоб с товарищами сойтись. Только идем мы опушкой, а у меня словно сердце в груди измирает: то, знаешь, робость непереносимая всего обхватывает, то вдруг такую в себе силу и мочь почувствуешь, что, кажется, не шел, а летел бы вперед да вперед. И чего-чего тут не передумаешь! и стоны-то загодя тебе слышатся, и кровь будто перед глазами проливается...

И ничего-таки этого не бывает, и все, братец ты мой, это один разговор! Настоящий разбойник никогда не убивает; убивает больше мелкий воришка, который с предметом своим совладать не может. А у нас всякое дело миром кончается: одна часть тебе, другая часть нам, и ступай на все четыре стороны! Случается, правда, что бабы от страха пищат,— ну, и Христос с ними, пускай пищат!

Потому — какая для нас корысть человека жизни лишать? Первое дело — грех занапрасно на душу возьмешь, а второе дело — след беспременно оставишь. Иной, свою часть вручивши, погорюет-погорюет, да и бросит дело так, потому дорожному человеку с полицейскими связываться тоже не приходится. Ну, а как убьешь-то его, он волей-неволей на тебя пожалуется; пойдут это шарить да сыскивать, и хоть ничего настоящего не найдут, однако на целый месяц все дело тебе перепакостят.

В эту ночь мы барина остановили. Молоденький такой да нежненький, а трясется, сердечный, один на тележечке. Шибко он нас испугался, даже смешался совсем.

— Что ж ты не везешь, каналья ты этакая!— кричит ямщику, а сам почти плачет. Ну, денег у него мы не густо

нашли, потому домой в побывку налегке ехал, а взяли у него чемоданишко, часы золотые да перстенек с руки. Больно мне его жалко было. И то говорил Корнею: «Что, мол, младость обижать?» Однако он не послушал: «Не смотри, говорит, что младость; вырастет, такой же супостат будет!»

В другую ночь, видим, целый рыдван по дороге шестериком ползет. Ну, так и мерещится мне, что Семериков это рыдван.

— Братцы,— говорю,— голубчики! никак, это *мой* едет!

Однако вышел не он, а барин какой-то большой. Растянулся себе на подушках барин любезный, спит во всю ивановскую, а у самого крест на манишке болтается. Ну, мы его разбудили.

— Ваше благородие,— говорит Корней,— извольте вставать, на станцию приехали!

Только он поначалу высоко́ было взял.

— Как вы смеете!— говорит,— да вы знаете ли, говорит, что я вас туда упеку, куда Макар телят не гоняет!..

И все это на крест свой показывает — такой старикашка затейный! Однако Корней его сразу смирил.

— Чтобы тебе, ваше благородие, не повадно было вздор болтать, так я,— говорит,— креста этого тебя лишаю!

Урезонился он маленько, стал прощенья просить. Много он нам ласковых слов говорил: что и воровать-то стыдно, что и братья-то мы все, что обижать нам друг дружку, стало быть, не приходится; однако как наше дело к спеху было, мы вслушиваться в его речи настоящим манером не могли, и так-таки вчистую его обобрали, что даже лошади после того от легкости рысцой побежали.

Стащили мы нашу добычу в лес, в самую трущобу, и хворостом там ее завалили. Только в лесу долго оставаться еще неспособно было. И по дороге, и в поле уж сухо, а в лесу еще земля словно не весь пар отдала. Приклонишься книзу, даже видишь, как земля на глазах твоих отходить начинает, а в иных местах, где поглуше, словно вот легкая-легонькая пеленочка еще лежит — ледок, значит. А из-подо льду уж и травка зелененькая выбивается.

Воротились мы на постоялый ранним утром, чуть еще солнышко показалось. В горнице, видно, еще спали; только немая работница за ворота вышла, позевывает да на восход крестится; да и та, увидевши нас, словно испугалась, и вдруг ни с того ни с сего в ворота шарахнулась... что за чудо! Однако Корней, должно быть, чутьем беду свою почуял и сам за ней следом ударился...

Только я уж застал, как он Федота допрашивал; вижу, на нем и звания лица нет, а Федот стоит у стены в одной рубашке, волосы это растрепаны, рожа немытая; стоит да под рукой его, ровно комар, топорщится.

— Куда убегла? сказывай!— говорит Корней.

И не то чтоб шибко выкрикивает, однако даже мне от его голосу жутко стало.

Ну, и Федотке, видно, не до разговоров пришлось; лепечет что-то про себя да руками разводит.

— Продал ты, что ль, ее?— опять говорит Корней,— сказывай, сказывай же ты мне, аспид ты эдакой!

Собрал он его, братец ты мой, в охапку и грянул об пол. Уж топтал он, топтал, уж возил он его по полу-то, возил!.. Давно и душонка-то его смрадная, чай, в тартарары пошла, а он все сытости не чувствует... Возьмет это, поднимет его с полу, и опять обземь как шваркнет!

Ну, под конец и сам измаялся; грянулся это на лавку да как завопит, да застонет, аж вчуже меня холодный пот прошиб!

Часа через два мы этот проклятый постоялый двор со всех четырех углов зажгли. Так и сгорел со всеми пожитками; даже немая, по глупости своей, выбежать не успела...

И пошли мы после того во путь во дороженьку, отреклись от мира прелестного, поклонилися бору дремучему, и живем, нече сказать, ни худо ни красно, а хлеб жуем не напрасно.

Странствуем мы с ним по русскому царству, православному государству, странствуем по горам, по долам, по лесам, по полям, по зеленым лузям, а больше около большой дороги держимся.

Весело, брат! это уж говорить нечего... то есть, просто у нас житье-пережитье!.. Однако идешь это иной раз по опушечке, и вдруг на тебя дурость найдет... Растужишься, разгорюешься и падешь где-нибудь под елочкой, тяжеленько вздыхаючи, горьки слезы роняючи, свою жизнь проклинаючи... И елочка это словно тебя понимает: так-то плавно да заунывно лапами своими над тобой помавает: вздохни, мол, замученный! вздохни, бесталанный, бесчастный! вздохни, сирота, сиротский сын!

Одно нехорошо: не могу я вообразить, как бы с Семериком свидеться... Слушай ты! Недавно сплю я и вижу, будто передо мной Семеричище-горынчище стоит. Стоит это преог-

ромный такой, и вширь и ввысь раздался, и всей будто тушей своей на меня налегчи хочет... Начал было я тут тосковать да вперед рваться, чтобы, то есть, жажду свою на нем утолить, однако словно вот сковало меня всего: лежу на земле, ни единым суставом шевельнуть не могу... И вот, братец ты мой, какое тут чудо случилось! Смотрю я на него и вижу, словно стал он, Семеричище, пошатываться да покольхиваться; ну качался-качался, даже в лице исказился совсем, да как грохнется вдруг сам собой наземь! Налетели это птицы-коршуны, расклевали телеса его неженные, кости белые люты звери разнесли... И на том самом месте, где Семерик стоял, выросло будто божье дéревцо, божье дéревцо живительное, от всех ран-скорбей целительное... Уж куда хорош этот сон!

И другой еще сон я видел: прихожу будто я в град некий, и прихожу не один, а с товарищами: такие приятели есть, сотскими прозываются. Подхожу это к палатам пространным: с четырех концов башни высятся, спереду стоят батюшки-солдатушки; стоят солдатушки, ружьем честь отдают, за белы руки меня принимают, принимаючи разутешными речами ублажают: «Ты войди, мол, к нам, вор-разбойничек! душегубчишка ты окаянненький! Отдохни ты у нас в остроге каменном, за затворами крепкими-железными!»

Третий сон я видел: стою я на месте высокиим, и к столбу у меня крепко-накрепко руки привязаны. Собралось тут народу видимо-невидимо, все на меня позевать-поглазеть, на меня, на шельмецкого шельмеца, на разбойника!

И молился я тут спасову образу,
И на все стороны низко кланялся;
Вы простите меня, люди божии,
Помолитеся за мои грехи,
За мои ли грехи тяжкие!
Не успел я на народ вòзрити,
Как отсекли мою буйну голову
Что по самые плечи могучие...

Ну, этот сон нельзя сказать, чтоб пригож был... Однако не лучше ли нам это бросить-позабыть...

Ах, в горе жить, некручинну быть!
А и горе-горе, гореваньице!
Ах, в горе жить, некручинну быть,
Нагому ходить — не стыдитися!

ГОСПОЖА ПАДЕЙКОВА

В конце не помню уж какого года, но только не очень давно, случилось происшествие, которое в особенности поразило умственные способности Прасковьи Павловны Падейковой.

А именно, двадцатого ноября, в самый день преподобного Григория Декаполита, собственная, приданная ее девка Феклушка торжественно, в общем собрании всей девичьей, объявила, что скоро она, Феклушка, с барыней за одним столом будет сидеть и что неизвестно еще, кто кому на сон грядущий пятки чесать будет, она ли Прасковье Павловне, или Прасковья Павловна ей.

О таковой, распространяемой девкой Феклушкой, ереси ключница Акулина не замедлила доложить Прасковье Павловне.

Но прежде нежели продолжать рассказ, необходимо сказать несколько слов о героине его.

Госпожа Падейкова — женщина лет сорока пяти и в целом околотке известна как дама, которой пальца в рот не клади. Оставшись после мужа вдовой в весьма молодых летах и будучи еще в детстве воспитана в самой суровой школе («я тандрессов-то этих да сахаров не знала, батюшка... да!»— отзывалась она о себе в минуты откровенности), Прасковья Павловна мало-помалу приучилась к полной самостоятельности в своих действиях, что, однако ж, не мешает ей называть себя сиротою и беззащитною, в особенности если разговор коснется чего-нибудь чувствительного. В ее наружности есть нечто мужественное, не терпящее ни противоречий, ни оправданий. Высокая и плечистая, она сложена как-то помужски, голос имеет резкий и повелительный, поступь твердую, а взор светлый и до того проницательный, что, наверно, ни одна дворовая девка не укроет от него своей беременности. Прасковья Павловна вдовеет честно, то есть без малейшей тени подозрения насчет кучера Фомки или повара Павлушки, и потому в действиях ее царствует совершенное нелицеприятие, что бывает редко в тех случаях, когда сердце барыни, уязвленное поваром Павлушкой, невольным образом разделяет все его дворовые ненависти и симпатии. Приятно видеть, как она сама за всем присматривает, сама всем руководит и сама же творит суд и расправу, рас-

пределяя виновным: кому два, кому три тычка. Велемудрых иностранных очков она не носит и, будучи с детства поклонницей патриархального воззрения, с большою основательностью полагает, что ничто так не исправляет ленивых и не поощряет ретивых, как тычок, данный вовремя и с толком.

— Не нужно только рукам волю давать,— говорит она соседям, приезжающим к ней поучиться мудрому управлению имением,— а то как не наказывать — не наказывать нельзя!

Понятно, что при такой самостоятельности действий, посреди общего, никогда не нарушаемого беспрекословия, поступок Феклушки должен был сильно взволновать Прасковью Павловну.

— Кто тебя волтерианству научил?— спросила она Феклушку, поставив ее пред лицо свое и предварительным телодвижением дав ей почувствовать разницу между действительностью и утопией,— отвечай, кто тебя волтерианству научил?

Феклушка сначала оробела, но потом пустилась в различные извороты и доложила барыне, что сам преподобный Григорий Декаполит являлся ей во сне и объявил безотменную свою волю, чтоб она на будущее время всякое кушанье серебряной ложечкой ела. Но Прасковья Павловна, хотя и была богомольна, не далась в обман.

— Врешь ты, паскуда!— сказала она,— станет преподобный к тебе, холопке, являться!.. Сослать ее, мерзавку, на скотный двор!

Сделавши это распоряжение, Прасковья Павловна, однако, не успокоилась.

Переходя от одного умозаключения к другому, она весьма основательно пришла к убеждению, что все эти штуки исходят не от кого другого, как от садовника Порфишки, которого уж не раз и не два заставали вдвоем с Феклушкой.

— Так вот они об чем шушукались!— сказала Прасковья Павловна,— позвать ко мне Порфишку!

Порфишку привели. Должно быть, ему уже было приблизительно известно, в чем должен заключаться предстоящий с барыней разговор, потому что он стал перед Прасковьей Павловной с решительным видом и, заложив руки за спину, отставил одну ногу вперед. Прасковью Павловну прежде всего поразило это последнее обстоятельство.

— Где у тебя ноги?— спросила она, подступая к Порфишке.

— При себе-с,— отвечал Порфишка, решившись, по-видимому, относиться к барыне иронически.

— Я тебя спрашиваю, где у тебя ноги?— повторила Прасковья Павловна, все решительнее и решительнее подступая к Порфишке.

— Не извольте, сударыня, драться!— отвечал Порфишка, не смущаясь и не переменяя позы.

Прасковья Павловна была женщина, и вследствие того имела душу деликатную. При виде столь дерзкой невозмутимости деликатность эта вдруг всплыла наверх и заставила ее не только опустить подъятые длани, но и сделать несколько шагов назад.

— Долой с моих глаз... грубиян!— сказала она.— не огорчай меня своим присутствием!

Порфишка взглянул на барыню с какой-то грустной иронией, разинул было рот, чтоб еще что-нибудь высказать, но только пожевал губами и, вероятно, отложив объяснение до более удобного случая, вышел. Таким образом предположенное дознание не удалось. После объяснения этого Прасковья Павловна осталась в неописанном волнении. Надо сказать правду, что происшествие с Феклушкой вовсе не составляло для нее столь неожиданного факта, как это можно было бы подумать с первого взгляда. Давно уже по селам и весям носились слухи, бог весть кем и откуда заносимые, что вот-вот все Феклушки, Маришки, Порфишки и Прошки вдруг отобьются от рук, откажутся подавать барыне умываться, перестанут чистить ножи, выносить из лоханей и проч. Сначала Прасковья Павловна подозревала, что слухи эти идут от разносчика Фоки, который по временам наезжал в Падейково с разным хламом и имел привычку засиживаться в девичьей. Вследствие этого Фоке запрещен был въезд в деревню и в то же время приняты были и другие действительные меры к охранению нравственности дворовых. Но слухи не унимались; напротив того, как волны, они росли и высились, принимая, по обычаю, самые прихотливые и фантастические формы.

То будто звезда на небе странная появилась: это значит — Маришка барыне хвост показывает; то будто середь поля мальчик в белой рубашечке незесть откуда взялся и орешки в руках держит и жалобненько так-то на всех глядит: это значит — Димитрий-царевич по душу Бориса-царя приходил; то будто Авдей-кузнец, лежа на печи, похвалялся: «мне-ста, да мы-ста, да вы-ста» и все в том же тоне. Очевидно, что есть что-нибудь, а если что-нибудь есть, то еще оче-

виднее, что надо принять против этого «что-нибудь» неотложные и решительные меры, надо подумать о том, каким образом встретить невзгоду так, чтоб она не застала врасплох.

Но как ни усиливалась Прасковья Павловна, как ни изощряла свои умственные способности, однако ничего, кроме розги, выдумать не могла.

«Так бы, кажется, и перепорола всех»,— думала она по временам, и думала совсем не потому, чтоб была зла, а единственно потому, что смысл всех завещанных ей преданий удостоверял ее в том, что в розге заключается глубокое нравственно-дидактическое таинство.

Поступок Феклушки и Порфишки окончательно расстроил ее.

«Как!— думала она, тревожно расхаживая по зале,— какой-нибудь скверный холопишка смеет говорить со мною, отставивши ногу вперед!»

В это время истопник Семка, полукалека, полуидиот, явился в комнату, неся на спине беремя дров, которые с грохотом рассыпались по полу.

«Вот и этот, чай, барином будет!»— полупрезрительно, полуиронически сказала про себя Прасковья Павловна, останавливаясь перед Семкой.

— Семка! скоро и ты, чу, в баря выдешь!

Семка бессмысленно засмеялся и замотал головой. Прасковье Павловне показалось, что он уже сочувствует Феклушке и Порфишке.

«Нет, видно, во всех этот *яд* уж действует!»— подумала она и вслух прибавила:

— Что ж, хочется, что ли, Семка?

Семка загоготал и утерся рукавом своей пестрядинной рубашки.

— Вон, подлец!— крикнула Прасковья Павловна и вне себя выбежала в девичью.

— Девки! сейчас все до одной молитесь богу, чтоб *этого зла* не было!— сказала она.

Но не успели еще девки исполнить приказание ее, как к крыльцу подъехала повозка, запряженная тройкой лошадей. Оказалось, что приезжий был некто Гаврило Семеныч Грузилов, сосед Падейковой, служивший вместе с тем заседателем от господ дворян в М. уездном суде.

Грузилов, хотя и находился в былые времена в военной службе, где, с божьей помощью, дослужился даже до прапорщичьего чина, но, за давно прошедшим временем, все, что было в наружности его напоминающего о поползнове-

ниях воинственности, улетучилось; и в нем, как он сам выражался, никаких военных аллюров не осталось, кроме некоторой слабости к старику-ерофеичу. Вообще, он принадлежал к числу тех благонравных мелкопоместных дворян, которые, в присутствии сильных и богатых помещиков, скромно жмутся в углу или около печки, заложив одну руку за спину, а другую приютивши где-то около пуговиц форменного и всегда застегнутого сюртука.

— А, Гаврило Семеныч! откуда, сударь, пожаловал!— сказала Прасковья Павловна, идя навстречу входящему Грузилову,— а у меня, батюшка, здесь между девками вольность появилась... констинтунциев, видишь, хочется! Вот я вам задам ужо констинтунциев!

— Точно так-с, Прасковья Павловна,— осмелился заметить Грузилов, — точно так-с; нынче это промежду них модный дух... так точно, как бы сказать, между благородными людьми мода бывает!

— Вот я эту моду ужо повыбью!— отвечала Прасковья Павловна и повела гостя во внутренние покои.

— Я к вам, Прасковья Павловна, с дельцем-с,— таинственно проговорил Грузилов, едва держась на кончике стула и беспокойно поглядывая на полуотворенную дверь, мимо которой беспрестанно шмыгали дворовые девки.

Прасковья Павловна изменилась в лице.

— Что такое?— спросила она дрожащим голосом, уже предчувствуя беду.

— Гм... точно-с... известие-с... до всех касающе...— пробормотал Грузилов, сам инстинктивно робея.

— Да ты не гымкай, а говори, сударь, дело!— сказала с сердцем Прасковья Павловна.

Грузилов снова с беспокойством взглянул на дверь, где, как ему показалось, торчали две женские головы, очевидно желавшие подслушать барский разговор.

— Перметтѐ... ле порт?[1]— сказал он решительно, хотя до настоящей минуты отроду не выговаривал ни одного французского слова.

— Фермѐ[2],— отвечала Прасковья Павловна.

Грузилов припер дверь поплотнее.

— Имею честь доложить,— сказал он вполголоса,— что на сих днях *оно* уж кончено, то есть решено и подписано-с!

---

[1] Позвольте... дверь?
[2] Затворите.

— Как решено? кем подписано? да говори же, сударь, говори!

— Так точно-с; для *них*, можно сказать, все счастие составили-с!

— Парле франсѐ [1],— сказала Прасковья Павловна, поднимаясь с дивана и подступая к Грузилову,— де ки, де ки савѐ? [2]

— Семен Иванович вчерашнего числа достоверное известие получили-с.

Прасковья Павловна с глухим воплем опустилась на диван. Грузилов засуетился около нее.

— Матушка Прасковья Павловна!—говорил он несколько ослабнувшим от страха голосом,— матушка, не сердитесь! бог даст, все по-прежнему будет.

Прасковья Павловна, упершись в спинку дивана и зажмурив глаза, безмолвствовала.

— Не прикажете ли из девок кого-нибудь позвать?— продолжал растерявшийся Грузилов.

Но Прасковья Павловна по-прежнему безмолвствовала, Грузилов бросился к двери.

— Ах нет!— вскрикнула Прасковья Павловна томным голосом.

— Успокойтесь, матушка!— утешал Грузилов.— Семен Иванович сказывали, что все это только так-с, предварительно-с... для того только, чтоб французу по губам помазать... Да прикажите же, сударыня, девку-то позвать!

— Ах нет, Гаврило Семеныч!— отвечала Прасковья Павловна,— зачем их беспокоить! бог знает, может быть, еще нам с тобой придется за ними ухаживать!

— Уж это не дай бог-с,— уныло молвил Грузилов.

— Нет уж, нет... нет, нет, нет! с нынешнего дня, с нынешнего дня!.. это! горько!— восклицала Падейкова, томно устремляя глаза к небу.

— Успокойтесь же, матушка!— увещевал между тем Грузилов,— все это слух один-с... И в древности Сим-Хам-Иафет были-с, и на будущее время нет им резона не быть-с!

— Нет, Гаврило Семеныч,— сентиментально продолжала Прасковья Павловна,— я вот как скажу: с нынешнего дня я всю мою надежду на бога возложила,— как он, царь небесный, положит, так пусть и будет... Только уж я в обиду себя не дам!— прибавила она совершенно неожиданно.

---

[1] Говорите по-французски.
[2] от кого, от кого узнали?

Грузилов молчал.

— Я еще давеча чувствовала, что готовится что-то ужасное! даже сон был какой-то странный... Всегда видишь во сне что-нибудь приятное: или по ковру ходишь, или по реке плывешь, или вообще что-нибудь на пользу делаешь, а нынче просто-напросто привиделось какое-то большущее черное пятно: так будто и колышется перед глазами! то налево повернет, то направо пошатнется, то будто под сердце подступить хочет...

— Это точно-с, что сон несообразный,— заметил Грузилов,— а впрочем, не всегда сны вероятия достойны, сударыня! Не далеко искать, жена-покойница видела, примерно хоть нонче, будто, с позволения сказать, в грязи погрузла, ну и думали мы тогда, что это значит — наследство получить; ан, заместо того, она назавтра преставилась-с!..

— Нет, Гаврило Семеныч, мой сон правду говорит... я это вижу! Ну что ж, и пускай все будут дворянками! Вот завтра позову всех, и Феклушку позову... ну, и скажу им: теперь, девки, уж не мне вами командовать, а вы командуйте мной! вы теперь барыни, а я ваша холопка! Только прелюбопытно это будет, Гаврило Семеныч, как это они за команду-то примутся? Ведь они это дело как понимают? По-ихнему, сидеть бы сложа руки, чтоб все это им даром да шаром... а того и не подумают, мерзавки, что даром-то и прыщ на носу не вскочит: все сначала почешется.

— Это точно-с.

— Поэтому-то я и говорю, что в этих случах всего вернее на бога упование возлагать. Вот и давеча: точно меня в грудь кольнуло; сижу я одна и все говорю: «Что батюшка царь небесный захочет, то и сделает! мы ему не то что тела, а и души, и платье, и дом... и все, словом сказать, в безотчетность препоручить должны!» Так вот и говорю, и сама не знаю, что̀ со мной сделалось, а только все говорю, все говорю! а в груди-то у меня так и колет, словно вот кто меня сзади подталкивает: смотри, дескать, все это недаром! сокрушат твое счастие! Так оно и случилось. Нет, Гаврило Семеныч, меня предчувствия никогда не обманывают... никогда!

Очевидно, что Прасковья Павловна, незаметно для самой себя, понемногу вошла в тот фазис душевного состояния, когда постигшее человека несчастие мало-помалу отодвигается на задний план, а вперед выступает бесконечное самоуслаждение своими собственными соболезнованиями. Она, если можно так выразиться, смаковала свое горе, прислушиваясь

к своим речам, и, внезапно вообразив себя чем-то вроде кроткой страдалицы, искренно начала чувствовать то приятное расслабление во всем организме, которое, как известно, предшествует всем подвигам самоотвержения.

— Нет, видно, уж нам на роду так написано!— продолжала она, улыбаясь довольно ласково и трепля Грузилова по плечу,— видно, уж мы неугодны стали, а угодны стали холопки. Вон у меня их с тридцать в девичьей напасено: хоть всех делай дворянками... с богом! Так-то, Гаврило Семеныч, так-то, почтенный мой! возьмемся-ка мы с тобой за соху и станем землю ковырять! Что ж, ведь коли по правде говорить — хуже-то нам от этого не будет, еще для души что-нибудь полезное сделаем... А то это хозяйство да хлопоты — только грех с ними один!

Грузилов усмехнулся; он сам начинал мало-помалу расплываться и сочувствовать идиллическому настроению души Прасковьи Павловны.

— Это вы справедливо насчет греха изволили заметить,— сказал он,— грех точно есть-с, потому что в хозяйстве, дело известное, без того нельзя, чтоб без рук-с... Ну, и кровь от этого самого портится, а уж жизнь как сокращается, так это именно, можно сказать, как только бог по грехам нас поддерживает!

— Ну, вот видишь ли! стало быть, и правда моя, что все это к нашему же добру ведет!.. Наймем вот у своих же крестьян землицы, да и станем жить да поживать... Конечно, тогда уж сладкого куска не требуй, а будь сыт, чем бог послал,— зато греха меньше будет! Вот мы служили-служили мамону, а что выслужили? Может, за мамон-то нас бог и наказывает!

При слове «мамон» Грузилов вспомнил, что он еще не завтракал, но сказать об этом Прасковье Павловне не осмелился. С своей стороны, хозяйка умолкла и несколько минут сидела, потупивши голову и перебирая пальцами.

— А мудреное будет дело-с!— сказал наконец Грузилов.

Прасковья Павловна ожила.

— Да уж так-то, сударь, мудрено,— сказала она, снова приходя в волнение,— что я вот думаю-думаю и никак-таки придумать не могу! И так прикинешь, и так повернешь — и все как-то ничего не выходит! Ну, ты возьми, сударь, подумай! Все, что ли, барями будут? Все, что ли, хорошие кушанья есть будут? Так ведь про них хорошего-то не напасешься — пойми ты это! Да опять и то: если бы и можно

было доподлинно напастись, так ведь они, можно сказать, озорством все разбросают! Не то чтоб кротким манером сесть за стол да поесть чем бог послал — он, сударь, будет только глотку свою драть: подавай ему и того и сего, и индюшечку-то подай, и теленочка-то зарежь, и капустки-то наруби... да божье-то добро, вместо того чтоб в рот брать, он под стол да под лавку!..

— Это истинно-с! Вот у меня кучер Прохор — изволите, чай, знать? — так он, коли хмелинка у него в голову попадет, так-таки никак в рот куском попасть не может, а все, знаете, мимо сует... презабавно на него в ту пору смотреть бывает!

— Ну, вот видишь ли! а он теперь еще в страхе находится: что ж это будет, коли на него и страху-то уж не станет! У меня вот Семка-дурачок есть, так он даже и есть-то путем не попросит, коли посторонние не накормят... ну, и он, стало быть, барином сделается?

— Да-с, это будет любопытно-с,— отвечал Грузилов, хихикнув от удовольствия.

— Нет, ты не смейся!— сказала Прасковья Павловна строго,— это дело слез, а не смеха стоюще! Мое теперь дело сторона, а я больше об них жалеючи говорю. Ты возьми, сударь, то в расчет, что у них и натура так создана, что они больше, как бы сказать, к тяжелым трудам приспособлены, а не то чтоб к нежностям да к музыкам или там об душе что-нибудь побеседовать... Ведь это, значит, в них уж не человеческое, а релегеозное! Стало быть, если у них эти телесные упражнения отнять, что же из этого будет? одно забвение, и больше ничего!.. Ну, опять и то подумай: что ж, значит, мы, дворяне, после этого будем? Теперь, как у меня что есть, так всякий это видит, всякий, значит, и уважает меня как дворянку! А как ничего-то у меня не будет, кто же мне, как дворянке, уважение сделает? Ведь на лбу-то у меня не написано, что я дворянка! Что одета-то я почище — так нынче мещанки-то лучше дворянок еще одеваются! Всякий, значит, и скажет: какая ты дворянка! пошла, скажет, голубушка, прочь!

Прасковья Павловна проницательно посмотрела в глаза Грузилову.

— Вот и служили мамону,— сказала она,— вот и дослужились!

При вторичном напоминании слова «мамон» Грузилову сделалось нестерпимо тоскливо. На этот раз он даже решился преодолеть природную свою робость и напомнить хозяйке об обязанностях гостеприимства.

— Матушка Прасковья Павловна,— сказал он, заикаясь,— не соблаговолите ли... закусить что-нибудь?

— Не знаю, сударь, не знаю, как теперь и приказывать! Попроси разве сам дворянок-то: может, и дадут что-нибудь из милости! Я теперь и насчет себя ничего не знаю! будут они мою ласку помнить — ну, дадут что-нибудь: рыбки, что ли, солененькой, огурчиков, что ли! а не будут — и не евши день просижу... А уж перед холопками своими унижаться не стану!

Однако ж ожидания Прасковьи Павловны не сбылись. И закуска, и вслед за тем обед были поданы, как обыкновенно, без всякого замешательства. Грузилов ел с величайшим аппетитом, хрустел зубами, щелкал языком и причмокивал губами. Нельзя сказать того же о Прасковье Павловне: она почти все время исподлобья следила за движениями лакея Федьки и вслед за каждым проглатываемым куском приговаривала: «Ну вот, может быть, и в последний раз так едим!» Иногда аппетит ее даже совсем пропадал, и она с досадой бросала на стол вилку и ножик и отодвигала от себя тарелку с непочатым еще кушаньем.

— Прах побери, да и совсем!— восклицала она восторженно,— пусть все пойдет прахом; пусть все пойдет прахом!

В этот же день, вечером, по отъезде Грузилова, когда девка Маришка доложила барыне, что постелька их уж готова, Прасковья Павловна взглянула на нее как-то особенно кротко и сказала:

— Нет уж, Мариша, я разденусь сама! где мне тебя беспокоить... поди почивать!— Маришка остановилась в недоумении.— Или тебе меня жалко?— продолжала Прасковья Павловна,— ну, что ж, если у тебя такое доброе сердце, что ты хочешь раздеть свою барыню — раздень, я препятствовать не стану!

Ночью привиделся Прасковье Павловне сон.

Снилось ей, будто она пожалована в скотницы и доит преогромную корову. Только доит она и никак не может ее выдоить, а между тем сзади стоит Порфишка и приговаривает: «Доить тебе всю жизнь и не отдоиться, доить и не отдоиться!» Она будто бы хочет вскочить и замахнуться на Порфишку — не тут-то было: ноги словно приросли к земле, хотя самое ее так и подмывает, так и подмывает.

— Это, матушка, значит, деньгам переводу не будет,— объяснила ей ключница Акулина, которой она имела привычку сообщать свои сны.

— Ах, уж какие теперь, Акулинушка, деньги!— сказала Прасковья Павловна и потихоньку при этом вздохнула.

Надо, однако ж, сознаться, что в девичьей не преминули воспользоваться нравственной переменой, происшедшей в Прасковье Павловне. По уверению Акулины, девки совсем от рук отбились, а Порфишка безвыходно поселился в девичьей и с утра до вечера тем только и занимался, что играл в гармонию и нашептывал девкам любезности, от которых они мгновенно шалели. Однако Прасковья Павловна только покачивала головой, когда ей докладывали обо всех этих беспорядках, и, не делая никаких распоряжений, уныло говорила: «Это еще что! дай сроку, и не то еще будет!» Одним словом, из прежней деятельной и бойкой барыни Прасковья Павловна превратилась в какую-то институтку-мечтательницу: по целым дням просиживала у окна, взглядывая в безграничную даль, и томно при этом вздыхала...

Однажды ей доложили, что пришел староста.

— Ну, что, Авенирушка, скажешь?— обратилась она к нему,— барыню, что ли, свою старую вспомнил?

— Хлеб, сударыня, весь измолотили.

— Ну, спасибо тебе, Авенирушка! спасибо вам, мои голубчики, что старую барыню не оставляете!

— Куда завтра народ гнать прикажете?

— А куда гнать? известно, куда нонче всех гнать велят!.. Нет, Авенирушка, я нонче приказывать не могу... приказывайте лучше вы мне!

Авенирушка неосторожно осклабился; Прасковья Павловна, которая зорко за ним следила, заметила это.

— Ты, кажется, смеяться вздумал?— спросила она его строго,— так я тебе еще докажу, подлец ты этакой, что значит барыню на смех подымать... вон с глаз моих, грубиян!

— Я, сударыня, помилуйте... я ничего... как можно этакому делу смеяться! Этакому делу плакать должно!

Прасковья Павловна несколько смягчилась.

«Вот хорошие-то да благонравные все так говорят!»— подумала она.

— Что же насчет барщины изволите приказать?— приставал староста.

— Нет, Авенирушка, хоть я и знаю, что ты добрый, а приказывать не могу!.. Нет моих сил, Авенирушка!

Очевидно отношения ее с каждым днем становились тяжелее и натянутее. Самые ничтожные затруднения, которые в былые времена Прасковья Павловна разрешала одним

взмахом руки, принимали теперь в ее воображении неприступные, чуть не чудовищные формы. Горькие, безотрадные мысли посещали ее голову во время безмолвного сидения у окна.

«Как же теперь я кушанье сама себе готовить буду?— думала она,— я человек неженный...»

Пробегал ли в это время мимо окна теленок, или петух, взобравшись на кучу навоза, громким голосом взывал к своим хохлатым подругам:

«Стало быть, и это все — им!— думала Прасковья Павловна,— и теленочек, и курочка!»

Проходила ли по двору девка Аришка, исправляющая в доме должность прачки, неся на плече коромысло, обремененное мокрым, сейчас только выполосканным, бельем:

«Успокойся, милая!— думала сама с собой Прасковья Павловна,— успокойся, подлячка! не долго тебе мыть! скоро, очень скоро...»

Но тут мысль ее запутывалась и, незаметно для нее самой, получала такие кудреватые разветвления, что не было никакой возможности уловить их.

Даже преданная Акулина делалась в глазах ее чем-то вроде отогретой у пазухи змеи.

— А ведь ты от меня сейчас же стречка дашь!— говорила она, когда Акулина, видя ее горесть и заботясь об ней, как о малом ребенке, приносила ей пирожка людского попробовать или соченька с молодым творожком отведать.

— Христос с вами, сударыня! Куда мне, старухе, от вас зря бежать, ведь я вас еще эконьких знавала!

Акулина отмеривала морщинистой рукой своей пространство на пол-аршина от земли.

— Это нужды нет, что знавала!— продолжала неумолимая Прасковья Павловна,— я тебя насквозь, ехидную, вижу! Лучше, что ли, ты Феклушки-то?

— Нашли с кем сравнить! ой, барыня!

— А останешься, так еще хуже того будет! навяжетесь вы мне на шею, калеки да хворые! Чем бы за мной походить, ан еще я за вами ухаживать должна... чай, и Семка останется!

— Покушайте-ка лучше, сударыня!

— Вот видишь! видишь, как ты со мной обращаться стала! ну, смела ли бы ты прежде меня есть принуждать! Нет, всех, всех с глаз долой!

Прасковья Павловна с негодованием отвергла подносимый ей жирный сочень, произнеся при этом следующие

обидные слова: «Еще ядом, может, обкормить меня хочешь!»

И все-таки я должен сознаться, что Прасковья Павловна была совсем не дурная женщина, и даже внутренно сама себе не верила, обвиняя Акулину в недостатке преданности, а тем более в злостном желании обкормить ее. Она вполне была убеждена, что Акулина была преданнейшим и безответнейшим существом, какое только могло выработаться на русской почве, под влиянием тех горьких отношений, которые некоторыми героями не без иронии называются патриархальными.

Она действительно знала, что Акулина возилась с ней еще в ту радужную пору, когда она была «эконькой», и что с тех пор завязалась между ними та неразрывная связь, по свойству которой в глазах Акулины не было человека краше Прасковьи Павловны, а в глазах Прасковьи Павловны не было ключницы честнее и преданнее Акулины. Если и происходили у них иногда стычки по поводу некоторых весьма невинных вопросов, как, например, пролитого кваса, без вести пропавшего кусочка сахара, еще вчера вечером виденного на комоде, разбитой тарелки и т. п., и если Прасковья Павловна никогда не пропускала случая назвать Акулину старой воровкой и разорительницей, то последняя не только не обижалась этими импровизированными ласками, но, напротив того, считала бы, что в жизни ее нечто недостает, если бы их не было. Поэтому и настоящий казусный случай не только не изменил этих отношений, но еще более скрепил их. Нередко, когда барыня, безмолвствуя по целым часам и перебирая в уме своем все ужасы, которые представляло угодливое ее воображение, смотрела в окошко, Акулина потихоньку становилась в дверях ее комнаты и, пригорюнившись, смотрела на ненаглядную свою барыню.

— Куда это она огурцы несет? Куда она огурцы несет?— вскрикивала Прасковья Павловна, заметив, что девочка Васютка воровски пробирается около забора, неся под фартуком деревянную чашку с солеными огурцами.— Акулька! мерзкая! так-то ты барское добро бережешь!

Акулина опрометью бросалась из комнаты, чтоб накрыть виновную с поличным.

— Ах нет!— кричала ей вслед Прасковья Павловна,— ах нет! оставь ее, Акулинушка! пусть их едят, ненасытные! пусть все прахом пойдет!

И снова погружалась в мечтательность. В таких тревогах прошел целый месяц.

Однако Прасковья Павловна с величайшим изумлением

вдруг заметила, что в течение этого времени вокруг нее никаких существенных изменений не произошло. По-прежнему «девки-поганки» подавали ей умываться и оправляли ее постель; по-прежнему «Федька-подлец» чистил ножи, ставил самовары и подавал за обедом кушанья; по-прежнему Авенирушка каждый вечер являлся за приказаниями... Даже пассажей особенных не было, кроме нескольких краж огурцов да изредка раздававшихся робких звуков гармонии (что, впрочем, случалось и в прежнее время).

Надо было истолковать себе это явление.

Но и тут Прасковья Павловна никак не могла вывести свою мысль на прямую дорогу из круга сомнений и противоречий, в котором она упорно вращалась.

«Нет, это они недаром!— думала она иногда, по-своему зорко присматриваясь и прислушиваясь ко всему окружающему,— это они нарочно смиренниками прикинулись!»

И вместе с тем, следом за этою черною мыслью, возникала в уме ее другая, более утешительная: «А что, если Грузилов наврал? что, если ничего этого нет, и все это только звон и брех пустых и неблагонамеренных людей?»

— Эти дворняжки кургузые только смуту заводят! ездят по соседям да только — тяф-тяф!..

Чтоб положить предел этим мучениям, она решилась ехать в город к тому самому Семену Иванычу, в котором, по свидетельству Грузилова, заключался первоначальный источник, из которого струилось смутившее ее известие.

Город, обыкновенно тихий до мертвенности, был как-то неестественно оживлен, когда в него въехала Прасковья Павловна: по улицам суетливо сновали и щегольские возки, и скромные, обтянутые рогожей баулы, и лихие сани, запряженные тройками, с гремящими бубенчиками и заливающимися колокольцами.

Обстоятельство это не ускользнуло от внимания Прасковьи Павловны.

«Ишь, черти, обрадовались!»— произнесла она мысленно.

И с этой минуты уже не сомневалась. «Как только я это увидела,— рассказывала она в тот же вечер Акулине,— что они, с позволения сказать, как черти в аду беснуются, так с той же минуты и положилась во всем на волю божию!»

Однако с Семеном Иванычем повидалась, хотя бы для того, чтоб испить чашу горечи до дна. Семен Иваныч был всеми уважаемый в уезде старец и точно так же ненавидел *этот яд*, как и Прасковья Павловна. Сверх того, он имел

еще ту особенность, что говорил картаво и невнятно, но взамен того умел мастерски свистать по-птичьи, подделываясь с одинаковым успехом и под щелканье соловья, и под карканье вороны. Старики свиделись и немножко взгрустнули; Прасковья Павловна даже прослезилась.

— Сколько лет, сколько зим!— сказал Семен Иваныч, в грустном изумлении простирая руки.

— И как все вдруг изменилось, Семен Иваныч!— отвечала Прасковья Павловна.

Они сели друг против друга и несколько минут безмолвствовали, как бы боясь вымолвить тайное слово, обоих их тяготившее.

— Правда?— произнесла наконец Прасковья Павловна.

— Правда,— отвечал Семен Иваныч, поникая головой.

Снова последовало несколько минут безмолвия, в течение которых собеседники, казалось, с усиленным вниманием прислушивались к бою маятника, в этот раз как-то особенно назойливо шатавшегося из стороны в сторону. Что слышалось им в этом несносном, мерном до тошноты «тик-так»? Слышалось ли, что каждый взмах маятника есть взмах, призывающий их к смерти? Чувствовалось ли, что кровь как будто застывает в их жилах, что во всем организме ощущается тупое беспокойство и недовольство?

— Так прах же побери и совсем!— неожиданно вскрикнула Прасковья Павловна, шумно поднимаясь с места и с сердцем отталкивая свой стул.

И кто бы мог подумать? она тут же начала упрекать Семена Иваныча, обвинять его в волтерианстве и доказывать как дважды два — четыре, что это он, своим поганым языком, все наделал.

— Вам бы только тете-те да та-та-та!— разливалась она, очень удачно передразнивая Семена Иваныча,— вам бы только сплетни развозить да слухи распускать — вот и досплетничались! Может быть, без ваших сплетней да шушуканьев и не догадался бы никто, и все было бы смирно да ладно!

С этих пор спокойствие ее было окончательно нарушено. Всякое произнесенное при ней слово, улыбка, взгляд, движение руки, даже всякое явление природы — все мгновенно приурочивалось ею к одному и тому же вопросу, который всецело царил над всеми ее помышлениями.

— Мутит, это, мутит все во мне! хоть бы смерть, что ли, поскорей пришла!— жаловалась она беспрестанно, оставаясь наедине с Акулиной.

— Что вы, что вы, сударыня! ведь ишь что выдумали!— урезонивала ее Акулина.

— Да куда же я пойду! ну, говори, дура, куда я денусь-то!— тосковала Прасковья Павловна,— в богадельню меня не возьмут: я не мещанка! в услужение идти — сил моих нету! дрова колоть — так я и топора в руки взять не умею!

— Чтой-то, господи! уж и дрова колоть!— возражала Акулина.

— Нет, ты скажи, куда же я денусь! Ты вот только грубиянничать да отвечать мастерица. Я слово, а она два! я слово, а она десять! А ты вот научи меня, куда мне деваться-то? В скотницы, что ли, по-твоему, идти?.. Так врешь ты, холопка! еще не доросла ты до того, чтоб барыне твоей в скотницах быть!

Наконец пришла и весна. Обновилась ею вся природа, но не обновилась Прасковья Павловна. Таяние снега, журчание воды и постепенное обнажение полей — явления, обыкновенно столь радостные в деревне,— возбуждали в Прасковье Павловне досаду и озлобление, напоминая ей о приближающейся с каждым днем развязке.

— Тай, батюшка, тай!— говорила она, смотря на снег,— авось времечко скорей пролетит.

Прилетели скворцы. В этот год их было как-то особенно много, и мигом наполнились все скворечницы неугомонным и болтливым их населением.

Прасковья Павловна, которая всегда питала к скворцам особенную нежность, на этот раз возненавидела их.

— Болтайте, скворки, болтайте!— говорила она,— точно наши дворняжки! болты-болты, и нет ничего!

Наконец загремел первый гром. Вся природа разом встрепенулась и ожила: зелень как-то гуще окрасила листву дерев и стебельки травы; растения разом вытянулись, цветы раскрыли свои чашечки; муравейки закопошились, засуетились взад и вперед по земле... Все кругом заблагоухало, все пришло в движение, все затрепетало каким-то сладостным, томительным трепетом...

— Греми, батюшка, греми!— сказала Прасковья Павловна, услышав в первый раз этот призыв природы к жизни,— греми! гром не грянет, мужик не перекрестится!

А тут еще и по дому неприятности беспрестанно выходят: то вдруг Надёжка оказалась с прибылью, то Федька с пьяных глаз лег на горячую плиту спать...— Господи! Что же мне делать! что же мне делать!— тоскливо восклицает Прасковья Павловна,— ин, и впрямь умирать пора!..

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Юбилей удался как нельзя лучше. Сначала юбиляр был сконфужен и даже прослезился, но наконец (нужно думать, что он уже окончательно был под влиянием торжества) до того освоился с своим положением, что обратился к чествующим и во всеуслышание произнес: «Господа! благодарю вас! но думаю, что если бы вы потрудились взглянуть в ревизские сказки любой деревни, то нашли бы множество людей, которые, если не больше, то, по крайней мере, столько же, как и я, заслужили право быть чествуемыми. И, следовательно, все это юбилеи...»

И так далее. Затем юбиляр зарыдал, и многим послышалось, что он сквозь всхлипывание произнес слово: «наплевать!». После чего мы разошлись по домам.

Впрочем, за исключением этой маленькой неловкости, все шло как по маслу.

Юбилей, о котором идет речь, был устроен нами в честь нашего департаментского помощника экзекутора (кажется, что он в то же время пользовался титулом главноуправляющего клозетами). Нынче вообще в ходу юбилеи. Сначала праздновали юбилеи генералов, отличавшихся в победах неодолением, потом стали праздновать юбилеи действительных статских советников, выказавших неустрашимость в перемещениях и увольнениях, а наконец, дошла до нас весть, что департамент «Всеобщих Умопомрачений» с успехом отпраздновал юбилей своего архивариуса. Вот тогда-то мы, чиновники департамента «Препон», и решили: немедленно привлечь к ответственности по юбилейной части почтеннейшего нашего помощника экзекутора, Максима Петровича Севастьянова.

Севастьянов, по правде сказать, совсем даже позабыл, что 15 июля 1875 года минет пятьдесят лет с тех пор, как он облачен в вицмундир министерства «Препон и Неудовлетворений», и тридцать с той минуты, как он доверием начальства был призван на пост помощника экзекутора, к обязанности которого главнейшим образом относился надзор за исправным содержанием департаментских клозетов. Для него было, в сущности, все равно, что пять, что пятьдесят лет, ибо клозеты, или заменяющие их установления, одинаково существовали как в первое пятилетие его госу-

дарственной деятельности, так и в последнее. Он даже не помнил, точно ли он когда-нибудь в *первый раз* надел на себя вицмундир и не был ли он облачен в него в тот достопамятный день, когда сенатский регистратор Морковников и жена корабельного секретаря Огурцова воспринимали его от купели. Севастьянов был старик угрюмый и застенчивый, на лице которого было, так сказать, неизгладимыми чертами изображено, что он вырос в уединении клозета. В справедливости этой мысли в особенности удостоверяло то, что он весь, то есть все незакрытые части его тела, поросли волосами, так что издали он казался как бы подернутым плесенью сырого места. Волоса выступали у него на выпуклостях щек, на пальцах, закрывали почти весь лоб, вылезали из носа и из ушей, а борода его, даже в те дни, когда он ее брил, была синяя-пресиняя. Лицо у него было пепельного цвета, глаза больные, слезящиеся, как у человека, давно отвыкшего от дневного света. Так что когда ему сказали, что в честь его готовится юбилей, то он смутился и покраснел. Да говоря по совести, и было от чего покраснеть, ибо тридцатилетие его состояния в должности помощника экзекутора как раз совпадало с тридцатилетием же реформы клозетов в департаменте «Препон» (кажется, что по этому поводу даже и самая должность его была учреждена).

Заручившись согласием предполагаемого юбиляра, мы отправили депутацию к директору департамента, который не только одобрил наше намерение, но даже обещал, к средине обеда, прислать поздравительную телеграмму. С своей стороны, вице-директор заявил, что лично примет участие в юбилейном торжестве и пригласит к тому же всех начальников отделений. Тогда, на живую руку, был составлен краткий церемониал следующего содержания:

1. 15-го сего июля имеет исполниться пятьдесят лет со времени состояния помощника экзекутора департамента «Препон», Максима Петровича Севастьянова, на службе в офицерских чинах. В ознаменование сего события устроивается обеденное торжество в одной из зал Палкинского трактира (на углу Владимирской и Невского проспекта).

2. Чины департамента «Препон», с вице-директором во главе, в 5 часов пополудни, соберутся в общем зале Палкинского трактира и будут там ожидать виновника торжества.

3. Когда юбиляр прибудет, то вице-директор, подав ему руку, поведет в предназначенный для торжества зал, где участников будет ожидать роскошно сервированный стол.

4. По вступлении в зал, приступлено будет к закуске, а по удовлетворении первых позывов аппетита, вице-директор предложит юбиляру за обеденным столом президентское место, сам же сядет по правую его руку.

5. По левую руку юбиляра займут место старший из начальников отделений, а напротив экзекутор, как непосредственный юбиляра начальник, лицо которого, тоже не чуждое клозетов, должно непрестанно напоминать виновнику торжества об истинном характере его заслуг на пользу отечества. Прочие члены займут за столом места по пристойности.

6. Во время обеденного торжества имеют быть предлагаемы тосты, произносимы речи и прочитываемы поздравительные телеграммы, причем, однако ж, из пушек палимо не будет.

7. По окончании обеда, участвующие в торжестве перейдут в соседний зал, где им будут предложены кофе, чай и ликеры. С этой минуты торжество принимает характер семейный, и правила какого бы то ни было церемониала перестают быть обязательными.

Сверх того, были приняты меры, чтоб из провинций, от подчиненных мест и лиц, присланы были ко дню юбилея поздравительные телеграммы.

Повторяю: юбилей состоялся на славу. Юбиляр восседал на президентском месте, вице-директор по правую руку его и т. д. После ботвиньи прочтен был адрес от имени департаментских чиновников, в котором, однако ж, о клозетах не упоминалось, а говорилось о деятельном участии юбиляра в великой реформе замены курьерских тележек пролетками. По выслушании этого адреса, вице-директор встал с своего места и торжественно провозгласил, что, вместо громких слов, он публично целует любезного виновника торжества, желая тем заявить, что начальство никогда не оставалось равнодушным к его служебным подвигам. Затем, по мере разнесения блюд, прочитываемы были поздравительные телеграммы. Телеграмма директора департамента гласила: «Поздравляю любезного старичка и надеюсь, что усердным исполнением обязанностей он и впредь не вынудит меня к принятию против него мер строгости. Директор Дуботолк-Увольняев». Телеграмма из Конотопа выражалась: «Поднимаю бокал за здоровье дорогого юбиляра. Увы! вот уж два дня, как наш прекрасный Конотоп горит. Начальник конотопских «Препон» Свирепов». Телеграмма из Лаишева: «С бокалом в руке шлю привет почтеннейшему Максиму

Петровичу. Вчера сгорела половина Лаишева. Исправляющий должность начальника лаишевских «Препон», помощник его Гвоздилло». Телеграмма из Обояни: «Один на один с бокалом вина возглашаю ура и многая лета высокочтимому юбиляру. Сегодня с утра здесь свирепствует пожар; до сих пор сгорело около ста домов. Известный вам Скулобоев». А под самый конец обеда пришла телеграмма из Феодосии, которая удивила всех своею загадочностью и именем подписавшегося под нею. Содержание ее было следующее: «При отличнейшей погоде (сижу в одной рубашке), в виду плещущего моря, с бокалом в руках, восклицаю: да здравствует! и никогда да не погибнет! Здравствуйте, почтеннейший Максим Петрович! никогда не забуду вашего содействия по доставлению мне драгоценнейших матерьялов к истории русских клозетов, первый корректурный лист которой уже лежит передо мною. Пишу вашу биографию и помещу ее в приготовляемом мною сборнике биографий отличнейших русских людей. Два выпуска готовы. *Подписал:* Вёдров, старый воробей, один из тех (спасшийся чудом), к хвостам коих великая княгиня Ольга (вспомните тропарь, который 11 июля поют) привязала зажженный трут и таким образом сожгла древний Коростень. За телеграмму уплочено из моей собственности восемь рублей, кои благоволите в непродолжительном времени возвратить».

— Так вот вы с какими знаменитостями знакомство ведете?— пошутил вице-директор, когда была прочтена замысловатая телеграмма.

— А много-таки этому господину Вёдрову лет!— заметил старейший из начальников отделения.

Начали считать, сколько прошло лет со времени сожжения Коростеня, но как учебника русской истории г. Погодина под руками не было, то ничего определительного сказать не могли.

— Стар-стар, а как был воробей, так воробьем и остался!— со вздохом сказал экзекутор.

Замечание это вызвало сначала общий смех, а потом и серьезные размышления о том, чем достославнее быть: старым ли воробьем или молодым, да орлом. И так как, во время этого орнитологического разговора, вице-директор постоянно делал иносказательные движения руками (как бы расправляя молодые крылья), то было решено, что удел молодого орла достославнее, нежели удел старого воробья, хотя бы последний был и из тех, которых на мякине не обманешь.

— Сколько я на свете ни живу — ни одного путного воробья на своем веку не видел!— сказал экзекутор,— сюда порхнет — клюнет, туда порхнет — клюнет... клюнет и чирикнет, словно и невесть какое добро нашел! А чтобы основательное что-нибудь затеять — никогда! Я даже так думаю, что он и сам не разумеет, что́ клюет и об чем чирикает?

Такой суд над воробьями все нашли справедливым, и, дабы подтвердить это заключение самым делом, сейчас же провозгласили здоровье вице-директора, который, в ответ, окончательно расправил крылья и обнял юбиляра.

Наконец обед кончился, и участники торжества перешли, согласно церемониалу, в другой зал, где их ожидали чай, кофе и ликеры. Тут, чувствуя себя уже достаточно выпившими, все единодушно приступили к юбиляру с просьбой, чтоб он порассказал кое-что из виденного и слышанного им в течение многолетней служебной карьеры. Некоторое время юбиляр находился в недоумении, как бы спрашивая себя: да что же бы я, однако, мог видеть и слышать? Но потом, сделавши над собой некоторое усилие, он отыскал в памяти несколько очень интересных воспоминаний, которыми и поделился с нами.

— Скажу вам, господа,— так начал он,— что все мои начальники были, так сказать, на одно лицо: все — генералы и все начальники. Одно только отличие вижу: прежнее начальство как будто проще было, а потом, чем дальше, тем все больше и больше ожесточалось.

— Надеюсь, однако ж, любезнейший, что замечание ваше не относится до нынешнего начальства?— перебил вице-директор, несколько обиженный этим вступлением.

— Про нынешнее начальство, ваше превосходительство, сказать ничего не могу, но вообще — это действительно, что в старину начальники были обходительнее.

— Очень любопытно. Например, генерал-майор Беспортошный-Волк? ха-ха!— иронически заметил вице-директор.

— Ваше превосходительство! по человечеству-с!— нимало не робея, возразил почтенный юбиляр,— конечно, они словами не дорожили: какое слово первое попадется на язык, то и выкинут,— да ведь тогда это в моде было. И на парадах, и на смотрах, везде эти слова допускались-с! Зато, когда, бывало, опять в свой вид войдут, то даже очень обходительны были. Скажу, например: любили они, этот самый генерал Беспортошный-Волк, спину себе чесать, а об стену неловко-с: неравно мундир замарают. Вот и кликнут, бывало: Севастьянов! встань, братец! Ну, встанешь это, они присло-

нятся к плечу, свое дело потихоньку об косяк справят... где, смею спросить, такого обхождения нынче сыщешь? А что я истинную правду говорю, так вот Анисим Иваныч (экзекутор)— живой человек, может сейчас засвидетельствовать.

— Это так точно, при мне, ваше превосходительство, сколько раз бывало!— поспешил подтвердить Анисим Иваныч.

— Так вот оно и помянешь добром старину!— продолжал юбиляр, делаясь более и более словоохотливым,— многие после того были, которые тоже на слова внимания не обращали, а таких, чтоб с подчиненным обхождение иметь, таких уже не было!

Юбиляр вздохнул и несколько минут сидел потупившись.

— Расскажу вам, например, такой случай про того же Беспортошного-Волка,— вновь начал он.— Купил он в ту пору себе арапа в услужение, а супруга ихняя, как на грех, возьми да и роди, через десять месяцев после того, сына — черного-пречерного! Туда-сюда, ка́к да почему — к кому, как бы вы думали, он в этом важном фамильном случае за утешением обратился?— А вот к этому самому Севастьянову, который имеет честь вашему превосходительству докладывать! Да́-с! призывает это меня: «Севастьянов, говорит, мне сына-арапчонка жена принесла! как ты думаешь, отчего?» Ну, я, знаете, обробел было, да уж, видно, сам бог мне внушение свыше послал.— Должно быть, говорю, их превосходительство какой-нибудь табачной вывески, во время беременности, испугались? А тогда, знаете, у всех табачных магазинов такие вывески были, на которых был нарисован арап с предлинным чубуком в руках. Ну-с, хорошо-с. Выслушали они меня и смотрят во все глаза, словно понять хотят. «Стой!— говорят, наконец,— ка́к же это так? на вывесках арапы с чубуками представлены, а мой-то арапчонок без чубука?» Ну, как он это сказал, так я уж увидел, что дело в шляпе.— Ежели только за этим, ваше превосходительство, дело стало, говорю, так ведь чубук не дорогого стоит, сейчас же можно купить и младенцу в ручку вложить!— И что ж бы вы думали? Постоял он это, постоял, подумал, подумал: «ну, говорит, будь ты проклят, купи чубук!» Только всего и сказал, и хотя, быть может, и понял, что тут дело не одним табаком пахнет, однако тем только и удовольствовался, что арапа в дальнюю деревню сослал, а кучерам приказал, чтоб на будущее время барыню мимо табачных магазинов отнюдь не возили.

Рассказ этот возбудил бы общую веселость, если бы не вице-директор, который нашел, что он только компрометирует начальство и вовсе не относится к делу.

— Вы говорили о какой-то снисходительности,— сказал он,— но в чем тут снисходительность — решительно не понимаю!

— А как же, ваше превосходительство! В таком, можно сказать, фамильном деле — и какое доверие! А ведь нам как это доверие дорого, ваше превосходительство! ах, как дорого!

— Не понимаю... Ну, а других историй у вас нет?

— Расскажи-ка нам, как тебя барон Эспенштейн на коленях богу молиться заставлял!— вступился Анисим Иваныч, иронически прищуривая в нашу сторону одним глазом.

— Заставлял — это точно, что заставлял. Доложу вашему превосходительству, что этот самый барон Эспенштейн, до поступления в наш департамент, губернатором состоял и был лютеранин. И случись ему однажды на усмирении в одном помещичьем имении быть, и узнай он от господина помещика, что главный науститель всей смуты есть местный священник. Хорошо. Не долго, знаете, думая, созвал он сельский сход, послал за священником, и как только тот явился: влепить, говорит, ему двести! Не успели это оглянуться: ах-ах-ах,— ан рабу божьему что следует уж и отпустили! И точно, как только мужички увидели, что пастыря их в новый чин пожаловали, сейчас же и бунт прекратили, пошли на барщину, выдали зачинщиков — словом, все как следует. Едет наш барон обратно в губернию, едет и радуется, что ему удалось кончить дело миром. Да вдруг, знаете, среди радостей и вспомнилось ему, что ведь он, собственно говоря, духовное лицо телесному-то наказанию подверг! Вспомнил и оробел. Как быть? Как делу пособить? Думал-думал, да и выдумал. Приехал домой и притворился, что чуть жив. День лежит, а на другой, говорят, уж и при смерти. И было, сказывают, ему тут видение. Явился будто бы к нему муж светлый и сказал: Карл Иваныч! прими православную веру! Сейчас — к архиерею, а тот натурально рад: лёгко ли, какую красную рыбу в сети изловил! Однако рад, а процедуру свою все-таки исполнил: поехал к болящему и просил его не спешить, а обдумать дело хорошенько. Подумайте, говорит, ваше превосходительство! ведь с старой-то верою расставаться не то чтоб что! Это — не сапоги!— Так куда тебе! Вскочил наш больной с постели, как встрепанный, да сам же всех торопит! увидите, говорит, ваше

преосвященство, что с меня эта ересь как с гуся вода соскочит! Ну, после этого, в одночасье и окрутили милостивого государя! Только покуда все это делалось, а поп между тем трюхи-трюхи, да тоже в губернию явился. Приехал и прямо к архиерею. Да не тут-то было. Не только архиерей никакой защиты ему не оказал, а на него же разгневался. «Тебя, говорит, провидение орудием такого дела избрало, а ты, говорит, еще жаловаться смеешь!»

На этом месте рассказчика прервал взрыв смеха, в котором удостоил принять участие и вице-директор.

— Ну-с, так вот этот самый барон Эспенштейн, вскоре после своего присоединения, и назначен был к нам директором. И поверите ли, ваше превосходительство, такой из него вышел ревнитель, что, пожалуй, почище другого православного. Самое первое распоряжение, которое он сделал, в том состояло, чтоб чиновники каждый день к ранней обедне ходили, а по субботам и ко всенощной. И ходили-с, потому что он все приходы, где кто жил, переписал и всем церковным причтам о распоряжении своем сообщил для наблюдения. Мало этого: созвал департаментских чиновников и объявил, что впредь за всякую вину у него такое наказание будет: виноват — становись на колени. И действительно, чуть что́, бывало,— сейчас звонит: позвать такого-то! — и тут же, при себе в кабинете, и поставит поклоны отбивать. Очень это сначала обидно было, ну, а потом обошлось. И ведь знаете, ваше превосходительство, поставит он на поклоны, а сам сидит и считает: раз — два, раз — два. Грешный человек, мне таки больше всех доставалось: я и в департаментском кабинете, и на квартире у него чуть не во всех комнатах стаивал. Бывало, чуть запахнет — сейчас: Севастьянов! чем пахнет? Ну, иной раз сробеешь, не так объяснишь — а! говорит, посмотрим, как ты своего бога любишь! И таким манером жили мы с ним пять лет, покуда до самого государя об его чуделесиях не дошло. Ну, натурально, в отставку подать велели. И что ж бы вы думали, ваше превосходительство! до того он этою верою распалился, что пуще да пуще, глубже да глубже — взял да через два года в раскол ушел! Потом попом раскольничьим, сказывают, сделался — так в скитах и умер!

— Отлично! бесподобно! ура юбиляру! ура!— воскликнул вице-директор, подавая знак к общему восторгу.

Веселой толпой подбежали мы к виновнику торжества, схватили его на руки и начали деликатно подбрасывать в воздухе. По окончании этого чествования, он, на-

турально, сделался еще словоохотливее, и когда вице-директор сказал ему:

— А жаль, что вы не пишете своих мемуаров! очень-очень жаль! Я полагаю, что ни в одной стране... Да, именно, ни в одной стране ничего подобного этим мемуарам не могло бы появиться!— то он, уже никем не вызываемый, усладил нас еще новым рассказом из служебной практики.

— А вот я вам, ваше превосходительство, про Балахона про Ивана Иваныча доложу,— начал он.— При нем, знаете, эта реформа клозетная в первый раз была введена — ну, а он, признаться сказать, сначала не понял, думал, что в том и реформа состоит, чтобы как есть в одёже, так и... Вот только однажды слышим мы крик, гам преужаснейший: «Севастьянов! Севастьянова сюда! Мерзавец! говорит, всегда у тебя по службе неисправности!» Бегу, знаете, оправдываюсь, показываю — ну, понял! «Извини, братец», говорит.

— Хо-хо!— разразился вице-директор.

— Ха-ха!— грянули мы.

Что потом было, я решительно не помню. Кажется, что юбиляра раз пять качали на руках и что он после каждого чествования рассказывал новую историю. Вино лилось рекой, тосты следовали за тостами. И вдруг, в ту самую минуту, когда все чувствовали себя как нельзя лучше, юбиляр совершенно неожиданно начал говорить какие-то странные речи.

— Господа!— обратился он к нам,— очень я вам благодарен. Утешили вы старика. И обед, и все такое...

— Уррраaa!— подхватили мы.

— Только вот что сдается мне: если бы вы заглянули в ревизские сказки любой деревни, то, наверное, сказали бы себе: сколько есть на свете почтенных людей, которые все юбилейные сроки пережили и которых никто никогда и не подумал чествовать! Никто, господа, никогда!

На этом месте юбиляр остановился и заплакал.

— И, стало быть, все ваши юбилеи,— продолжал он сквозь всхлипывания,— все ваши юбилеи — одна собачья комедия... Да, именно так! Все эти юбилеи... коли вы, например, не цените истинных заслуг... все эти, значит, юбилеи... не стоят выеденного яйца! И значит, надо плюнуть на них да растереть!..

И он плюнул направо и растер левой ногой.

Я возвратился домой усталый, до краев наполненный винными парами, и тотчас же лег в постель. Вероятно, впрочем, заключительная сцена юбилея произвела на меня сильное впечатление, потому что она некоторое время мешала мне заснуть и потом дала содержание тем сновидениям, которые тревожили меня в последующую ночь.

В самом деле, думалось мне, сколько есть на свете людей, существующих как бы для того только, чтоб имена их числились в ревизских сказках? И сколько между ними есть лиц, вполне почтенных и добродетельных, которые и понятия не имеют о том, что за штука «юбилей»? Об них ни в газетах не пишут, ни в трубы не трубят; но этого мало: сами сограждане их, то есть односельчане, смотрят на них, как на людей обыкновенных, и ни во что не вменяют им их добродетелей, как будто добродетель есть вещь столь обыденная, что и заслуги составлять не должна! И умирают эти люди в забвении, не слыхав ни стихов Майкова, ни прозы Погодина... Справедливо ли это?

Увы! люди культуры (нынче все русские помещики, занимающиеся раскладыванием гранпасьянса, разумеют себя таковыми) жестоки и недальновидны. Они считают ни во что этот бесконечный муравейник, который кишит у их ног, за пределами культурного слоя, или, лучше сказать, считают его созданным для того, чтоб быть попираемым культурными ногами. И в то же время они едва ли даже понимают, что каждый из членов этого муравейника живет своею отдельною жизнью, имеет свои характеристические особенности, свои требования, свои идеалы. Если бы они поняли это, они убедились бы, что их собственная культурная жизнь именно от того делается все более и более скудною, что для нее закрыт целый мир явлений, стоящих вне всякого культурного наблюдения. Сколько узнали бы мы благороднейших биографий! скольких отличнейших подвигов могли бы мы быть свидетелями! И как расширился бы наш умственный горизонт! И много ли нужно, чтоб достигнуть этого? — Нужно только почаще заглядывать в ревизские сказки и от времени до времени делать начальственные распоряжения о праздновании юбилеев. Тогда перед нами обнаружатся вещи неслыханные и невиданные, и мы воочию увидим героев, о которых не имели понятия... Повторяю, ткните пальцем в любое место ревизских сказок, и вы, наверное, попадете в человека, о котором гораздо больше можно порассказать, нежели даже об Севастьянове.

Я знаю, мне скажут, что народ не следует баловать — согласен! Но разве это баловство? — нет, это только справедливость! Секите — слова нет! Но будьте же и справедливы! Ибо, в противном случае, получится односторонность, которая может произвести сначала уныние, а потом, пожалуй, и ропот...

Да, мы, представители русской культуры, несправедливы. Но мы ли одни? — Увы! всегда даже в тех странах, где действительно существует культура, и там несправедливость преследует внекультурного человека. Вам показывают разные запустелые шлоссы, в которых когда-то жил культурный человек и оставил следы своего культурного существования. В этих шлоссах доднесь благоговейно сохранены все подробности канувшей в вечность жизни, лучи которой некогда согревали вселенную. Вот комната, в которой такая-то маркграфиня занималась оргиями с своими любовниками, вот знаменитая тем-то постель, вот часовня, в которой та же маркграфиня, утомленная оргиями, искупала свои грехи, носила вериги (вот и самые вериги), бичевала себя, проводила ночи на голом полу (вот ее покаянная спальня), обедала с восковыми куклами, представляющими святых (и куклы эти уцелели); вот, наконец, подземелье, в которое сажали нагрубивших подданных,— прекрасно! Знание домашнего быта канувших в вечность маркграфинь, конечно, имеет свой исторический интерес; но спрашивается, почему же представители культуры так ревниво сохранили, во всей их неприкосновенности, старые дворцы и замки и не позаботились о сохранении хотя одного экземпляра мужицкого жилья, современного этим дворцам и замкам?

Но на этот вопрос я уже не дал ответа, ибо мгновенно заснул...

Мне снилось, что я присутствую на сходке в селе Бескормицыне и что мужики обсуждают, не следует ли отпраздновать юбилей старика Мосеича, которому 15 июля имеет исполниться ровно пятьдесят лет с тех пор, как он несет рабочее тягло. Впрочем, собственно говоря, мысль об юбилее принадлежит не крестьянам, а местному сельскому учителю Крамольникову и местному же священнику (из молодых) Воссияющему, которым немалых-таки усилий стоило пустить ее в ход и настолько заинтересовать мужичков, чтоб по такому необыкновенному поводу была собрана сходка.

И Крамольников, и Воссияющий были соединены узами

умеренного либерализма и питали сладкую уверенность, что слова «потихоньку да полегоньку» должны быть написаны на знамени истинно разумного русского прогресса. Рядом каждодневных дружеских бесед, в которых принимала сочувственное участие и молодая попадья, они пришли к убеждению, что почтенное крестьянское сословие до тех пор не займет принадлежащего ему по праву места в государственной организации, покуда в нем не развито чувство самоуважения. Отсутствие этого чувства влечет за собой целый ряд прискорбных административных явлений, каковы: рылобитие, скулобитие, зубосокрушение, неряшливое употребление непечатных слов и т. д. Отчего становой пристав никогда не позволит себе назвать благородного человека курицыным сыном? Оттого, что у благородного человека, так сказать, на лице написано, что он уважает себя! Тогда как у мужика, при современной его неразвитости, и спина, и лицо составляют как бы посторонние вещи, на которых всякий может собственноручно расписываться. И это многих приводит в соблазн и служит источником дурных административных привычек, которые, при частом повторении, могут дискредитировать самую власть.

Следовательно, прежде всего нужно воспитать в мужике чувство самоуважения, а потом уже постепенно переходить к развитию чувства своевременной уплаты податей и повинностей и т. д. Но затем сам собой возникает вопрос: как возбудить это чувство самоуважения, от которого в столь значительной степени зависит будущее всего крестьянского сословия? Словесными ли внушениями и теоретическими собеседованиями или какими-нибудь символическими действиями, которые, так сказать, практически давали бы чувствовать мужику, что за ним числятся известные заслуги перед государством?

Сообразив и взвесив доводы pro и contra[1], Крамольников пришел к тому заключению, что следует отдать предпочтение последнему способу, как наиболее доступному для мужицкого понимания и притом безопасному.

— Понимаете?— объяснил он Воссияющему,— разговаривать много не следует: во-первых, об разговорах становой пронюхать может; а во-вторых, и мужик на слова не очень понятлив; а надо так устроить, чтоб мужик сам, из сцепления обстоятельств, уразумел, в чем суть. Понимаете?

---

[1] «за» и «против» *(лат)*.

— Очень даже понимаю,— отвечал Воссияющий.

И вот, на первый раз, Крамольников предложил устройство юбилейных торжеств в пользу таких крестьян, которые отличились долголетнею твердостью в бедствиях, а дабы одна эта заслуга не показалась подозрительною, то предполагалось присовокупить к ней еще: непоколебимость в уплате недоимок и неукоснительность в исполнении начальственных требований, *хотя бы даже и лишенных законного основания.*

— Чудесно!— воскликнул Воссияющий,— а ежели к сему присовокупить прилежание к церкви божией, то, кажется, уже ничего предосудительного не будет!

Именно таким субъектом, который в одном своем лице соединял и непоколебимость в уплате недоимок, и безответность, и набожность, представлялся старик Мосеич. Он никогда не выигрывал сражений, пятьдесят лет сряду неутомимо обработывал свой земельный участок, самоотверженно выплачивал подушные, был бит и не роптал, раза три в жизни сидел в тюрьме и никогда не поинтересовался даже узнать, за что он посажен, пять раз замерзал, тонул и однажды был даже совсем задавлен. И за всем тем — отдышался. Одним словам, это был такой человек, по случаю которого самая подозрительная административная фантазия не нашла бы повода разыграться.

Остановившись на этом выборе и заручившись сочувствием молоденькой попадьи, оба друга прониклись таким энтузиазмом, что начали целоваться и порешили приступить к делу, по возможности, внезапно, дабы становой пристав ни под каким видом не мог его расстроить.

— А впрочем, ежели придется и пострадать,— в восторге воскликнул Воссияющий,— то и пострадать за такое дело не стыдно! Так ли, попадья?

— Я, батя, за тобой — всюду! В Сибирь, так в Сибирь... что ж!— ответила попадья, зарумянившись под влиянием мысли, что и она нечто значит в механике, затеваемой двумя друзьями.

Один только человек приводил друзей в некоторое смущение: это — волостной писарь Дудочкин. Это был закоренелый консерватор, который, сверх того, подозревался в тайных сношениях с становым приставом, по делам внутренней политики. И действительно, сношения эти существовали, и он не только не скрывал их, но не однажды имел даже гражданское мужество прямо произнести слово: донесу! Но что было в нем всего опаснее — это то, что он

все свои доносы обусловливал преданностью консервативным убеждениям (он кончил курс в уездном училище и потом служил писцом в уездном суде, где и понабрался кое-каких слов).

— Наш народ — неуч! всё одно: что стадо свиней, что народ наш!— беспрестанно повторял он, и притом с таким торжеством, как будто обстоятельство это и невесть какой бальзам проливало в его писарское сердце.

На сочувствие этого человека надеяться было невозможно, но необходимо было, по крайней мере, добиться, донесет он или не донесет. Но едва Крамольников изложил ему (и притом в самом невинном и даже административно-привлекательном виде) предмет своего предприятия, как Дудочкин тотчас же загалдил.

— Неуч наш народ! свинья наш народ! не чествовать, а пороть его следует!

— Но... не преувеличиваете ли вы, Асаф Иваныч? — как-то неуверенно возразил Крамольников.

— Нимало не преувеличиваю, а прямо говорю: пороть надо! — утвердился на своем Дудочкин.

Как ни безнадежны были эти мнения, но Крамольников уже и тому был рад, что Дудочкин, высказывая их, оставался на теоретической высоте и ни разу не употребил слова «донос». Разумеется, друзья наши как нельзя лучше воспользовались этим обстоятельством. Не выводя спора из сферы общих идей, они прибегали к той остроумной тактике, которая всегда отлично удавалась умеренным либералам, а именно: объявили Дудочкину, что хотя мнений его не разделяют, но тем не менее не могут его не уважать.

— Главное дело в мнениях — искренность,— деликатно заметил Крамольников,— и вот это-то драгоценное качество и заставляет нас уважать в вас противника добросовестного, хотя и неуступчивого. Но позвольте, однако, сказать вам, почтеннейший Асаф Иваныч: хотя действительно у всех благомыслящих людей цель должна быть одна, но ведь пути к достижению этой цели могут быть и различные!

— То-то, что ваши-то пути глупые!— отрезал Дудочкин.

— Отчего ж бы, однако, не попробовать?

— Пробуйте! мне что! вы же в дураках будете!

— Так, стало быть, пробовать не возбраняется?

Вопрос был сделан настолько в упор, что Дудочкин на минуту остался безмолвным.

— То есть, вы... это насчет доноса, что ли?— произнес он наконец.

— Нет, не то чтоб... а так... искренность убеждений, знаете...

— Ну, да уж что тут! Сказывай прямо, донесешь или не донесешь?— вступился Воссияющий, который с некоторым нетерпением относился к политиканству своего друга.

— Эх, господа, пустое вы дело затеяли!— вздохнул Дудочкин.

— Ты не вздыхай, а говори прямо — донесешь или не донесешь?— настаивал Воссияющий.

Дудочкин некоторое время уклонялся от ясного ответа, но когда друзья вновь повторили, что уважают в нем противника искреннего и добросовестного, то он не выдержал напора лести и обещал. Однако уже и тогда Воссияющий заметил, что, давая слово не доносить, он, яко Иуда, скосил глаза на сторону.

Заручившись обещанием писаря, друзья немедленно приступили к пропаганде своей идеи между крестьянами; сказали одному мужичку, сказали другому, третьему — от всех получили один ответ: Мосеич — мужик старый. Тогда настояли на том, чтоб в ближайшее воскресенье, после обедни, была созвана сходка для обсуждения на миру предложения о введении между крестьянами села Бескормицына обычая празднования юбилеев.

В воскресенье, за обедней, Воссияющий сказал краткое поучение о пользе юбилеев вообще и крестьянских в особенности.

— Отличнейшая польза, от юбилеев происходящая,— сказал батюшка,— несомненна и всеми древними народами единодушно была признаваема. Юбилеи возвышают душу чествуемого, ибо они предназначаются лишь для лиц воспрославленных и знаменитых, а чья же душа не почувствует парения, ежели познает себя прославленною и вознесенною? Но, возвышая душу чествуемого, юбилеи в то же время возвышают и души чествующих, ибо, чествуя чествуемого, мы тем самым ставим и себя на высоту высокостоящего и делаемся сопричастниками прославлению прославляемого. Итак, братие, потщимся и т. д.

После обедни состоялась сходка. На нее, в качестве сторонников юбилея, явились Крамольников и Воссияющий, но тут же присутствовал и противник торжества, Дудочкин, по обыкновению своему восклицая:

— Неуч — наш народ! Свинья — наш народ!

Сходка, впрочем, шла довольно вяло, во-первых, потому что крестьяне не понимали самого предмета сходки, то есть слова «юбилей», а во-вторых, потому что, по-видимому, они даже и не интересовались понять его.

— Юбилей, господа, есть торжество, имеющее значение коммеморативное,— начал Крамольников.

— В воспоминание творимое,— пояснил Воссияющий.

— Ну, да, в воспоминание; и ежели, например, лицо даже крестьянского сословия известно своими добродетелями, или повиновением начальству, или исправною уплатою податей и повинностей...

— Или же усердно посещают церковь божию, творит добро ближнему, почитает божиих угодников,— добавил Воссияющий.

— Ну да, и угодников; и ежели он все это неослабеваючи выдерживает в течение известного периода времени...

— Периодом называется определенное число лет, например пятьдесят. Но не возбраняется праздновать юбилеи даже через пятьсот и через тысячу лет.

— Ну да; так вот ежели кто все вышесказанное в течение пятидесяти лет выдержал...

— И не возроптал...

— То сограждане этого человека устроивают в честь его торжество, чествуя, в лице этого человека, добродетель, труд и безнедоимочную уплату податей.

— «Торжество»— или, лучше сказать, трапезу; «сограждане»— или, лучше сказать, односельчане...

— Ну да, односельчане. Затем, господа, дело заключается в следующем: через два дня одному из ваших сограждан, или односельчан, почтеннейшему крестьянину Ипполиту Моисеевичу, исполнится шестьдесят восемь лет жизни. В этот самый день, будучи осьмнадцатилетним юношей, вступил он в законный брак с почтеннейшей супругой своей, Ариной Тимофеевной, и тем самым возложил на плеча свои рабочее тягло. В течение этих пятидесяти лет он ни разу не отступил от правил истинной крестьянской жизни и беспрекословно принимал все ее невзгоды. Всегда в трудах, всегда в поте лица добывая хлеб свой...

— И памятуя церковь божию...

— Он прокармливал семью свою, не щадя ни сил, ни крови своей...

— И ложе супружеское нескверно содержа...

— Никогда не задерживал податей, три раза сидел в остроге без законного повода, был истязуем и бит... одним

словом, в совершенстве исполнил то назначение, которое в совете судеб предопределено для крестьянина...

— В чем я, как пастырь, всегда готов засвидетельствовать...

— Так вот, в этот-то достопамятный день пятидесятилетия, говорю я, не худо бы нам, собравшись за братской трапезой, от лица всего мира засвидетельствовать почтеннейшему Ипполиту Моисеевичу то уважение, которое мы все, и каждый из нас в особенности, питаем к его добродетели. По теплому нынешнему времени, трапезу эту, я полагаю, приличнее всего было бы устроить на вольном воздухе.

По окончании этой речи в толпе произошел смутный говор. Мужики недоумевали. Во-первых, им казалось странным, почему добродетельный мужик Мосеич, пятьдесят лет сряду работая без отдыха и самоотверженнно платя казенные подати, всегда был в загоне, а теперь, когда он от старости уже утратил способность быть добродетельным, вдруг понадобилось воздать ему какую-то честь. Во-вторых, они опасались, не было бы чего от начальства за то, что они будут на вольном воздухе добродетель чествовать.

— Нонче во всем от начальства притесненье пошло,— говорили одни,— книжку у прохожего для ребетенков купишь — сейчас в острог сажают! Никогда прежде этого не бывало!

— Да и не до праздников нам!..— говорили другие,— шестьдесят восемь лет Мосеичу — легко ли дело! Тягло с него снимут — вот и праздник! На печи будет лежать — пусть и празднует там!

Одним словом, дело непременно приняло бы неблагоприятный оборот, если бы Дудочкин, своим легкомысленным вмешательством, не поправил его. По своему обыкновению, он был груб и не дорожил словами.

— Не чествовать,— кричал он во все горло,— а пороть их надо! поррроть!

Крестьяне смолкли и искоса поглядели на беснующегося писаря.

— Да; порроть! — не унимался он, — а вы думали что? Неуч — народ! Свиньи — народ! Нашли кого чествовать!

Мужики обиделись окончательно.

— Ты чего, ворона, каркаешь?— обратились к писарю некоторые смельчаки.

— Поррроть, говорю! ничего вам другого не надобно!

— А мы разве за то тебе жалованье платим, чтоб ты нас свиньями обзывал?

— Жалованье я не от вас, а из конторы получаю; не ваше это жалованье, а мое заслуженное. А что вы свиньи — это всякий скажет! И начальство вас так разумеет... да!

— То-то «да»! Дáкало нашелся! вот мы тебе жалованье-то прекратим — и посмотрим тогда, как ты будешь дакать да в кулак свистать!

— Так вас и спросили! «Жалованье прекратим»! Ах, испугали! Сдерут, голубчики! не посмотрят!

— Православные! да что ж он над нами куражится! Ах ты, собачий огрызок! Нéлюди мы, что ли, в самом деле?

Общественное мнение вдруг сделало крутой поворот. Предложение Крамольникова и Воссияющего, которое готово было зачахнуть, совсем неожиданно получило все шансы успеха.

Воспользовавшись колебаниями, вызванными писарем, из толпы выскочил «ловкий человек» (впоследствии он был привлечен к делу, как пособник) и сразу сорвал сходку.

— Православные!— крикнул он,— что на крапивное семя глядеть! согласны, что ли?

— Что ж, коли ежели Мосеич два ведра выставит...— пошутил кто-то.

Но на этот раз шутка не имела успеха. Под влиянием горькой обиды, нанесенной писарем, мужички раскуражились. Даже умудренные опытом старики — и те, обратясь к Дудочкину, сказали: тебе бы, прохвосту, надобно нас на добро научать — ан ты, вместо того, чтó сделал?— только мир взбунтовал!

И несмотря ни на какие противодействия и угрозы писаря, сходка определила: предложение Крамольникова принять, но с тем, чтоб в трапезе он лично принял участие вместе с священником, а в случае чего, был за всех в ответе, как смутитель и бунтовщик.

— Праздновать так праздновать — хуже мы, что ли, людей!— говорили мужички,— только уж ежели что, вы нас, господа, не оставьте! Мосеич! милости просим! Просим, почтенный!

Мосеич прослезился и отвечал, что он от мира не прочь.

— Что мир прикажет, я все исполнить должóн,— сказал он,— и ежели, например, мир велит...

— Ну, ладно, ладно! чего еще канитель тянуть! Рас-

кошеливайтесь, господа! Покуда еще что будет, а выпить смерть хочется!— крикнул кто-то.

Через минуту послышалось звяканье медяков, а через две — бойкий кабатчик, со штофом в одной руке и стаканом в другой, уже порхал между рядами крестьян и поздравлял сходку с благополучным решением дела.

Крамольников и Воссияющий шли со сходки по направлению к поповской усадьбе. Первый был задумчив и как будто даже недоволен.

— Подгадали-таки под конец!— сказал он печально,— ну, что бы, кажется, отнестись к почину великого дела крестьянского самоуважения трезвенно, с достоинством, благородно? Нет, нужно же ведь было об этой проклятой водке вспомнить!

— Да, таки не забыли,— усмехнулся Воссияющий.

— Так это горько! так это горько, батюшка! за прогресс в отчаяние прийти можно!

— Ну, бог милостив. И всегда первую песенку зардевшись поют! Какое дело в начале не прихрамывает!

— Нет, батюшка, если они уж теперь ведро потребовали, то что же пятнадцатого июля будет?

— Никто как бог! загадывать вперед нечего, а вот об чем подумать, да и подумать надо: как бы и в самом деле Дудочкин не донес, что мы превратными толкованиями народ смущаем!

Крамольников как-то подозрительно и в то же время грустно взглянул на Воссияющего.

— Ослабеваете, батюшка?— спросил он слегка взволнованным голосом.

— Ослабевать не ослабеваю, а из-за пустяков тоже... Попадью жалко, Иона Васильич!

Подозрения, высказанные Воссияющим относительно Дудочкина, дают новый полет моей сонной фантазии. Она незаметно переносит меня на край села Бескормицына, в небольшую, но довольно опрятную избу, в которой, судя по отсутствию двора и хозяйственных пристроек, должен жить одинокий человек. И действительно, здесь, в узенькой горнице, за столом, закапанным каплями чернил и сала, при слабом мерцании нагоревшей свечи, сидит волостной писарь Дудочкин.

Увы, он не выдержал и строчит в эту минуту такого сорта бумагу:

«Г-ну приставу 2 стана NN уезда. Волостного писаря Бескормицынской волости, Асафа Иванова Дудочкина доношение.

Случилось сего числа в нашем селе Бескормицыне происшествие, или лучше сказать, образ мыслей, имеющий свойство подозрительное и даже политическое. Села сего учитель школы, Иона Васильев Крамольников, и священник Стефан Матвеев Воссияющий, и прежде сего замеченные мною в приватных толкованиях, возымели намерение совратить в свою пагубу и некоторых из здешних крестьян. А именно: кроме установленных правительством воскресных и табельных дней, дерзостно придумали ввести еще праздновать добродетели и другим мужицким якобы качествам. Для чего избрали крестьянина здешнего села, Ипполита Моисеева Голопятова, в лице которого добродетель будто бы преимущественное действие свое оказала. И хотя, на предложение означенных Крамольникова и Воссияющего присоединиться к их образу мыслей, я формально отозвался, и даже им с приказательностью советовал от сего отстраниться и жить тихо, согласно с правилами, правительством в разное время изданными, но они в намерении своем остались непреклонными и только просили о сем вашему благородию не доносить. Я же от исполнения таковой их просьбы воздержался. И затем, собрав оные лица в селе нашем, сего числа, самовольную сходку из наиболее буйных и известных закоренелостью крестьян, делали им о той добродетели явное предложение, причем не было ли намерения к поношению предержащих властей, как и был уже подобный случай в газетах описан, что якобы некто, мывшись в бане с переодетым, или, лучше сказать, раздетым жандармом, начал при оном правительство хулить и получил за сие законное возмездие. Каковое предложение о добродетели и прочих мужицких свойствах сходка приняла с благосклонностью, ассигновав на празднование два ведра вина, а съестное и хлеб каждый должен принести с собою по силе возможности. И 15-го сего июля должен быть у нас сей новый праздник, «добродетелью» называемый, и чем оный кончится и в чем будет состоять — того заранее определить нельзя. А как ваше высокородие строжайше изволили мне наказывать, чтоб в случае появления в нашей волости образа мыслей, немедленно о сем доносить, то сим оное и восполняю, опасаясь, как бы от праздников сих не произошло в нашем селе расколов и

тому подобных бесчинств, как уже и был тому пример в прошлом году, когда солдатка показывала простое гусиное перо, уверяя, что оно есть то самое, которым подлинная воля подписана, и тем положила основание новой секте, «пёрушниками» называемой. И мое мнение таково, чтоб мужикам потачки не давать, но дабы они впоследствии не могли отговориться невинностью, то дать им покуражиться и весь упомянутый образ мыслей выполнить, а потом и накрыть с поличным по надлежащему.

Волостной писарь *Асаф Иванов Дудочкин*».

Сон продолжается...

Полдень. В затишье, на огороде избы богатого бескормицынского крестьянина, Василия Егорова Бодрова, расставлено несколько столов, за которыми сидит человек до тридцати домохозяев, чествующих своего односельца Ипполита Моисеича Голопятова. Голопятов президентствует; по правую руку его сидит Крамольников, по левую — сельский староста Иван Матвеев Лобачев, напротив — хозяин дома и сотский. Воссияющий воздержался; он явился к началу трапезы, благословил яствие и питание и удалился под предлогом, что не подобает пастыреви вмешиваться в дела мира сего (впоследствии, когда началось дело о злоумышленниках, он, по священству, так и показал следователю, что пустяшных мыслей о чествовании добродетели никогда не имел и между крестьянами не распространял, а что, ежели говаривал, что святых угодников не чтить — значит бога не любить,— то в этом виновен).

Мужички чинно хлебают из поставленных перед ними чашек. Хлебают и, в то же время, оглядываются и прислушиваются. Виновник торжества, словно бы перед причастием, надел синий праздничный кафтан и чистую белую рубашку; прочие участники тоже в праздничных одеждах. Неподалеку от пирующих, у соседней анбарушки, собрались старухи крестьянки и гуторят между собой; из-за огородного плетня выглядывает толпа ребятишек, болтающих в воздухе рукавами; с улицы доносится звон хороводной песни.

Долгое время молчание царствует за столами, как будто над сотрапезниками тяготеет смутное опасение. Уклончивость Воссияющего всеми замечена, и многие видят в ней недобрый знак. К великой собственной досаде, и Крамольников не может свергнуть с себя иго неловкого безмолвия, сковавшего уста и умы присутствующих. Он было приготовил целую речь, но думает, что в начале трапезы произнес-

ти ее еще преждевременно. Надо сначала завести простую крестьянскую беседу, и Крамольников знает, что достигнуть этого очень легко: стоит только пустить в ход подходящее слово, но этого-то именно слова он и не находит. Наконец, однако ж, он убеждается, что более ждать невозможно.

— Жать, Василий Егорыч, начали?— обращается он к хозяину огорода таким тоном, словно бы ему клещами давили горло.

— Мы-то вчерась зажали, а другие хотят еще погодить,— отвечает Василий Егорыч, не без гордости оглядывая собравшихся.

— Чего ж бы, кажется, годить! На дворе жары стоят — самая бы пора за жнитво приниматься!

— С силами, значит, не собрались, Иона Васильич. У кого силы побольше, тот вперед ушел; у кого поменьше силы — тот позади остался.

— Это, ваше здоровье, так точно,— подтверждает и староста,— коли ежели у кого сила есть, у того и в поле, и дома — везде исправно. Ну, а без силы ничего не поделаешь.

— Что без силы поделаешь!— отзывается сотский.

— А вы, Ипполит Моисеич, как? скоро ли думаете начать жать?— втягивает Крамольников в беседу виновника торжества.

— Надо бы, сударь,— скромно отвечает Моисеич,— вчерась в поле ходили: самая бы пора жать!

— У нас же, ваше здоровье, рожь сыпкая, слабая. День ты ее перепусти, ан, глядишь, третье зерно на полосе осталось,— объясняет Василий Егорыч, еще гордее оглядывая присутствующих и как бы говоря им: зевайте, вороны! вот я ужо, как у вас весь хлеб выйдет, с вас же за четверик два возьму!

— Не пойму я тут вот чего,— недоумевает Крамольников,— вы ведь землю-то по тяглам берете; сколько у кого тягол в семье, столько тот и земли берет — стало быть, по-настоящему, сила-то у каждого должна быть ровная.

— То-то, что не ровная: у одного, значит, одна сила, а у других — другая.

— Это так точно,— подтверждает староста.

— Воля ваша, а я это не понимаю.

— А в том тут и причина, что у меня, значит, помочью вчера жали. Купил я, например, мужикам вина, бабам пива — ко мне всякий мужик с радостью бабу пришлет. Ну, а как у другого силы нет — и на́ помочь к нему идти

не весело. Он бы и рад в свое время работу сработать — ан у него других делов по горло. Покуда с сеном вожжается, покуда что — рожь-то и утекает.

— Страсть, как утекает!

— Опять и то: теперича, коли ежели я в засилие вошел — я за целое лето из дому не шелохнусь. А другой, у которого силы нет, тот раза два в неделе-то в город съездит. Высушит сенца, навьет возок и едет. Потому, у него дома есть нечего. Смотришь — ан два дня из недели и вон!

В рядах пирующих проносится глубокий вздох.

— Так-то, ваше здоровье, и об земле сказать надо: одному она в пользу, а другой ею отягощается. У меня вот в семье только два работника числится, а я земли на десять душ беру: пользу вижу. А у Мосеича пять душ, а он всего на две души земли берет.

Крамольников вопросительно взглядывает на виновника торжества.

— Действительно...— скромно подтверждает последний.

— Странно! ведь ему бы, кажется, еще легче с малым-то количеством справиться?

— То-то, сударь, порядков вы наших не знаете. Коли настоящей силы нет — ему и с огородом одним не управиться. Народу у него числится много, а загляни к нему в избу — ан нет никого. Старый да малый. Тот на фабрику ушел, другой в извозчиках в Москве живет, третьего с подводой сотский выгнал, четвертый на помочь, хошь бы примерно ко мне, ушел. Свое-то дело и упадает. Надо бы ему еще вчера свою рожь жать, ан глядишь — его бабы у меня зажинали.

— Зачем же они на стороне работают, коли у них и своя работа не ждет?

— Опять-таки, ваше здоровье, вся причина, что вы наших порядков не знаете.

Так-таки на том и утвердились: не знаете наших порядков — и дело с концом.

Беседа на минуту упадает; но на этот раз уже сам Василий Егорыч возобновляет ее.

— А я вот об чем, ваше здоровье, думаю,— обращается он к Крамольникову,— какая тут есть причина, что батюшка к нам не пришел?

— Право, не знаю,— нерешительно отвечал Крамольников.

— А я полагаю: не к добру это! Сам первым затейщи-

ком был, да сам же и на попятный двор, как до дела дошло. Не знаю, как вашему здоровью покажется, а по-моему, значит, неверный он человек.

— Признаться сказать,— вступается староста,— и я вчерась к батюшке за советом ходил: как, мол, собираться или не собираться завтра мужикам?

— Ну?

— Чего! и руками замахал: «Не знаю, говорит, ничего я не знаю! и что ты ко мне пристал!» Сказано, неверный человек — неверный и есть!

Крамольников потупился: поступок Воссияющего горьким упреком падает на его сердце.

— Он у нас, ваше здоровье, и до воли самый неверный человек был!— говорит кто-то из толпы,— признаться, напоследях-то мы не в миру с помещиком жили. Вот и пойдут, бывало, крестьяне к батюшке: как, мол, батюшка, следует ли теперича крестьянам на барщину ходить? ну, он и скосит это глазами, словно как и не следует. А через час времени — глядим, он уж у помещика очутился, уж с ним шуры да муры завел.

— Так уж ты смотри, Иона Васильич!— предупреждал Василий Егорыч,— коли какой грех — ты в ответе!

— Да чего вы боитесь? что мы, наконец, делаем?— пробует ободрить присутствующих Крамольников.

— Ничего мы не делаем; так промежду себя собрались; а все-таки, какова пора ни мера, нас ведь не погладят.

— За что же?

— А здорово живешь — вот за что! Никогда, мол, таких делов не бывало — вот за что! Мужику, мол, полагается в своей избе праздники справлять, а тут ну-тка... вот за что! Писаренок вот тоже: давеча, от обедни шедши, я с ним встретился — и не глядит, рыло воротит! Стало быть, и у него на совести что ни на есть нечистое завелось!

В это время на улице раздается свист.

— А ведь это он, это писаренок посвистывает! Гляньте-ко, ребята, не едет ли по дороге кто-нибудь?

— Чего глядеть! Я на колокольню Минайку-сторожа поставил: чуть что, говорю, сейчас, Минайка, беги!— успокоивает общество староста.

— Так ты уж сделай милость, Иона Васильич! просим тебя: как ежели что, так ты и выходи вперед: я, мол, один в ответе!

Крамольникову делается грустно, и слова Воссияющего

«не стóит из-за пустяков» невольно приходят ему на мысль. Но он еще бодрится, и даже самое негодование, возбуждаемое маловерием крестьян, проливает какую-то храбрость в его сердце.

— Сказал, что один за всех в ответе буду — и буду в ответе!— говорит он твердым и уверенным голосом,— и не боюсь! никого я не боюсь, потому что и бояться мне нечего.

— А если ты не боишься — так и слава богу! И мы не боимся — нам что! Когда ты один в ответе — стало быть, мы у тебя все одно как у Христа за пазушкой!

Крестьяне успокоиваются и словно бодрее принимаются за ложки. На столах появляется вторая перемена хлёбова и по стакану вина. Крамольников подмигивает одним глазом Василию Егорычу, который встает.

— Ну, Мосеич, будь здоров! — провозглашает он,— пятьдесят лет для бога и для людей старался, постарайся и еще столько же!

— Мосеичу! Палиту Мосеичу!— раздается со всех сторон,— пятьдесят лет здравствовать!

Виновник торжества видимо взволнован, хотя и старается казаться спокойным. Бледное старческое лицо его кажется еще бледнее и словно чище: он тоже встает и на все стороны кланяется.

— Благодарим на ласковом слове, православные!— произносит он слегка дрожащим голосом,— а чтоб еще пятьдесят лет маяться — от этого уже увольте!

— Нет, нет, нет! Пятьдесят лет да еще с хвостиком!— настаивают пирующие.

Здесь бы собственно и сказать Крамольникову приготовленную речь, но он рассчитывает, что времени впереди еще много, и потому решается предварительно проэкзаменовать юбиляра. С этой целью он делает ему точь-в-точь такой же допрос, какой ловкий прокурор обыкновенно делает на суде подсудимому, которого он, в интересах казны, желает подкузьмить.

— А что, Ипполит Моисеич,— говорит он,— много-таки, я полагаю, вы на своем веку видов видели?

— Всего, сударь, было,— просто и скромно отвечает юбиляр.

— Он у нас и в огне не горит, и в воде не тонет!— подсмеивается староста.

— Как и все, Иван Михайлыч.

— Ну-с, а скажите, правду ли говорят, что вы несколько раз замерзали?— продолжает Крамольников.

— Было, сударь, и это.

— А скажите, пожалуйста, какое это чувство, когда замерзаешь?

— То есть как это «чувство»?

— Ну, да, что́ вы чувствовали, когда с вами это случилось?

— Что чувствовать? Поначалу зябко, а потом — ничего. Словно бы в сон вдарит. После хуже, как оттаивать начнут. Я в Москве два месяца в больнице пролежал — вот и пальца одного нет.

Он поднимает правую руку, на которой, действительно, вместо третьего пальца, оказывается дыра.

— Как же вы работаете с такой рукой? ведь, я думаю, не́способно?

— Приспособился, сударь.

— Нам, ваше здоровье, нельзя не работать,— вставляет свое слово Василий Егорыч,— другого и всего болесть изломает, а все ему не работать нельзя.

— Мы на работе, сударь, лечимся,— отзывается какой-то мужичок из толпы,— у меня намеднись совсем поясница отнялась; встал это утром — что за чудо! согнусь — разогнуться не могу; разогнусь — согнуться невмочь. Взял косу да отмахал ею четыре часа сряду — и болезнь как рукой сняло!

— Да и работы по нашему хозяйству довольно всякой найдется,— поясняет староста,— ежели одну работу работать неспособно — другая есть. Косить не можешь — сено с бабами вороши; пахать нельзя — боронить ступай. Работа завсегда есть.

— Как не быть работе!— откликаются со всех сторон.

— А вот, говорят, что вы однажды чуть не утонули,— вновь допрашивает Крамольников:— Что вы при этом чувствовали?

— Тоже в сон вдаряет,— отвечал юбиляр,— сначала барахтаешься в воде, выпрыгнуть хочешь, а потом ослабнешь. Покажется мягко таково. Только круги зеленые в глазах — неловко словно.

— По какому же случаю вы тонули?

— С подводой в ту пору гоняли. Под солдат, солдаты шли. Дело-то осенью было, паводок случился, не остерегся, стало быть.

— Ну, а пожары у вас в доме бывали?

— Бывали, сударь. Раз десяток пришлось-таки власть божью видеть.

— У него, ваше здоровье, даже сын в пожар сгорел,— припоминает кто-то из толпы.

— И какой мальчишка был шустрый! Кормилец был бы теперь!— отзывается другой голос.

— Как же это так? Неужто спасти не могли?

— Ночью, сударь, пожар-то случился, а меня дома не было, в Москву ездил...

— Прибегают, это, мужички на пожар,— говорит староста,— а он, сердечный, мальчишечко-то, стоит в окне, в самом, значит, в полыме... Мы ему кричим: спрыгни, милый, спрыгни! а он только ручонками рубашонку раздувает!

— Не смыслил еще, значит.

— И вдруг это закружился...

При этом рассказе Мосеич встает и набожно крестится. Губы его что-то шепчут. Все присутствующие вздыхают, так что на минуту торжество грозит принять печальный характер. К счастию, Крамольников, помня, что ему предстоит еще кой о чем допросить юбиляра, не дает окрепнуть печальному настроению.

— А вот в тюрьме вы за что были?— спрашивает он.

— Так, сударь, богу угодно было.

— Мы ведь в старину-то бунтовщики были,— поясняет Василий Егорыч,— с помещиками всё воевали. Ну, а он, как в своей-то поре был, горячий тоже мужик был. Иной бы раз и позади людей схорониться нужно, а он вперед да вперед. И на поселение сколько раз его ссылать хотели — да от этого бог, однако, миловал.

— Не допустил царь небесный на чужой стороне помереть!

— А беспременно бы его сослали,— договаривает староста,— коли бы ежели сами господа в нем нужды не видели.

— Вот что!

— Именно так. Лесником он у нас в вотчине служил. Леса у нас здесь, надо прямо сказать, большущие были, а он каждый куст знал, и чтоб срубить что-нибудь в барском лесу без спросу — и ни-ни! Прута унести не даст! Вот господам-то и жалко. Пробовали было, и не раз, его сменять, да не в пользу. Как только проведают мужики, что Мосеича нет,— смотришь, ан на другой день и порубка!

— Ну-с, а помещики... хорошо с вами обращались?— продолжал допрашивать Крамольников.

— Бывало... всякое...— отвечает юбиляр уже усталым голосом. Очевидно, что если бы не невозмутимое природ-

ное благодушие, он давно бы крикнул своему собеседнику: отстань!

— У нас, ваше здоровье, хорошие помещики были: шесть дней в неделю на барщине, а остальные на себя: хошь — гуляй, хошь — работай!— шутит староста.

— А последний помещик у нас Василий Порфирыч Птицын был, от которого мы уж и на волю вышли,— говорит Василий Егорыч,— так тот, бывало, по ночам у крестьян капусту с огородов воровал! И чудород ведь! Бывало, подкараулишь его: хорошо ли, мол, вы, Василий Порфирыч, этак-то делаете? Ну, он ничего, словно с гуся вода: что́ ты! что ты! говорит, ничего я не делаю, я только так... И сейчас это марш назад, и даже кочни, ежели которые срезал, отдаст!

— Болезнь, стало быть, у него такая была!— отзывается кто-то.

— Ну-с, Ипполит Моисеич, а расскажите-ка нам теперь, как вы женились?— как-то особенно дружелюбно вопрошает Крамольников и даже похлопывает юбиляра по коленке.

— Что же «женился»?! Женился — и всё тут!

— Нет, уж вы по порядку нам расскажите: как вы склонность к вашей нынешней супруге получили, или, быть может, ваш брак состоялся не по любви, а под влиянием каких-либо принудительных мер? Знаете, ведь в прежнее время помещики...

— Года вышли; на тягло надо было сажать... Известно — жених.

— Нет, вы уж, сделайте одолжение, по порядку расскажите!

— Года вышли — ну, староста пришел. У Тимофея, говорит, дочь-девка есть.— Ну — женился.

— У нас, ваше здоровье, не спрашивали, люба или не люба девка. Тягло чтоб было — и весь разговор тут!— объясняет староста.

— Так-с, а подати и оброки вы всегда исправно платили?

— Завсегда... ни единой, то есть, полушки... И барщина, и оброк... как есть!— отвечает юбиляр и словно даже приходит в волнение при этом воспоминании.

— И, вероятно, тяжелым трудом доставали вы эти деньги?

Юбиляр молчит. Ясно, что его уже настолько задели за живое, что ему делается противно. Но староста оказывает-

ся словоохотливее и, по мере разумения своего, удовлетворяет любознательности Крамольникова.

— Это насчет тягостей, что ли, ваше здоровье, спрашиваете?— говорит он,— и не приведи бог! Каторжная наша жизнь — вот что! Вынь да положь — вот какая у нас жизнь! А откуда вынь — никому это, значит, не любопытно. Прошлый год я целую зиму сено в Москву возил: у помещиков здесь по разноте скупал, а в Москве продавал. И боже ты мой! сколько я тут мученья принял! Едешь, этта, тридцать верст целую ночь, и стыть-то, и глаза-то тебе слепит, и ветром лицо жжет — смерть! Ну, целковый-рупь выгадаешь, привезешь из Москвы. А вашему здоровью со стороны-то, чай, кажется: вот, мол, мужичок около возочка погуливает!

— Ну, нет, мне... я ведь и сам...

— Знаем, что не дворянской крови, а все-таки... вы из приказных, что ли?

— Отец мой был канцелярским служителем... и тоже...

— Тоже, чай, по кабакам мужикам просьбы писал — что ему? В кабаке све́тло, тёпло... Сидит да пером поскребывает! Ну, а наше дело почище будет! И ведь чудо это! Маемся мы маемся, а всё как будто гуляем!

— Наша должность такая, чо всё мы на вольном воздухе,— скромно поясняет юбиляр,— оттого и кажется, будто гуляем.

— Косим — гуляем, сено ворошим — гуляем, пашем — гуляем!— отзывается кто-то.

— А ты сочти, сколько верст хоть бы на пашне этого гулянья на наш пай достанется. В летний день мужику, это бедно, полдесятины вспахать нужно. Сколько это, по-твоему, верст будет?

— Да верст двадцать с лишком.

— Ты вот двадцать-то верст в день порожнем по гладкой дороге пройдешь, и то запыхаешься, а тут по пашне идти, да еще наляг на́ соху-то, потому она неравно́ выбьется!

Мужики смолкли, словно призадумались. Крамольников тоже облокачивается рукой об стол и ерошит себе волосы. Он чувствует, что теперь самое время произнести юбилейную речь.

— Неприглядное ваше житье, господа!— говорит он.

— Какого еще житья хуже надо!

Крамольников встает, держа в руке стакан с вином. Он, видимо, взволнован; лицо бледно, плечи вздрагивают, руки трясутся, волосы стоят почти дыбом.

— Господа! — говорит он, задыхаясь,— пью за здоровье почтенного, изнуренного, но все еще не забитого и бодрого русского крестьянства! Да, неприглядное, горькое ваше житье, господа! Вы слышали сейчас показания почтенного юбиляра, вы слышали свидетельство и других, не менее почтенных и сведущих лиц,— и из всех этих показаний и свидетельств явствует одно: горькое, трудное житье русского крестьянина! Можно сказать даже больше: его жизнь полна таких опасностей, которые неизвестны никакому другому сословию. Чтобы убедиться в этом, проследим судьбу его с самого начала. Он родится, и с первых минут своей жизни уже составляет не радость и утешение, но бремя для своих родителей! Да, бремя, ибо ежели впоследствии те же родители будут иметь в народившемся малютке кормильца и поддержку их старости, то вначале они видят в нем только лишний рот и обременительную заботу, отвлекающую от выполнения главной задачи их жизни: поддержки того бедного существования, которое, так или иначе, они обязываются нести. Ребенок беспомощен; он требует ухода и попечений; но какой же уход может дать ему его бедная мать? Согбенная под лучами палящего солнца, она надрывает свои силы над скудною полосою ржи; покрытая перлами пота, она ворошит сено и помогает достойному своему мужу навить его на воз; она встает с зарею и для всей семьи приготовляет скудную трапезу; она едет в лес за дровами, в луг за сеном, задает корм скотине, убирает ее... И все это время ребенок остается без призора, мокрый, без пищи, ибо можно ли назвать пищею прокислую соску, которую суют ему в рот, чтоб он только не кричал? Упоминать ли о болезнях, которые, вследствие всего этого, так часто поражают крестьянских детей? Удивляться ли смертности, необходимой спутнице этих болезней? Круп, скарлатина, оспа, головная водянка — все бичи человечества стерегут злосчастных малюток и нередко похищают у жизни целые поколения!.. Нет, не болезням, не смертности нужно удивляться, а тому, что еще находятся отдельные единицы, которые, по счастливой случайности, остаются жить. Жить — для чего? Для того, господа, чтоб и дальнейшее их существование продолжало быть искупительною жертвою, приносимою на алтарь отечества! Проходит год, два, три, крестьянский малютка настолько вырос, что может уже стоять на ногах и лепетать кой-какие слова. Какие попечения окружают его в этом нежном и опасном возрасте? Мне больно, господа, но я должен сказать, что ничего похожего на уход тут не существует. Та

нужда, которая с раннего утра выгоняет из дома родителей ребенка, косвенным, но очень решительным образом отражается и на нем самом. Он делается, так сказать, гражданином деревенской улицы, товарищем птиц и зверей, которые бродят по ней, настолько же лишенные призора, насколько лишен его и крестьянский малютка. Сообразите, сколько опасностей ожидает его тут? Хищный волк, бешеная собака, прожорливая свинья — всё находит его беззащитным, всё угрожает ему безвременной смертью! Еще на днях у нас был такой случай, что петух выклюнул глаз у крестьянской девочки. Где, спрашиваю я, в каком сословии может случиться что-нибудь подобное? Но крестьянский малютка живуч; он бодро идет вперед по усеянной тернием жизненной тропе и посмеивается над жалом смерти, везде его преследующим, везде готовым его настигнуть. Поднявши рубашонку, шлепая по грязи или возясь с непокрытой головой в дорожной пыли под лучами палящего солнца, он растет... Я хотел бы сказать, что он растет, как крапива у забора, но, право, и это было бы слишком роскошно для него, ибо едва ли найдется в целой природе такой злак, которого возрастание могло бы быть приведено здесь, как мерило для сравнения. Тем не менее, он растет и крепнет, и восьми лет делается уже небесполезным членом своей семьи. Он помогает родителям в более легких работах, он пестует своих малолетних сестер и братьев, наконец, в некоторых случаях, он даже приносит семье известный заработок. Этот заработок — святой, господа! Вы, вероятно, слыхали от священника вашего о лепте вдовицы и, конечно, умилялись над рассказом об ней! Но сообразите, во сколько раз святее и умилительнее эта другая лепта, которую я назову лептою русского крестьянского малютки? Древле Авраам, по слову господню, готовился принести в жертву сына своего Исаака, и ангел господень остановил руку его. Русское крестьянство каждый день приносит эту жертву, и увы! останавливающий руку ангел не прилетает к нему! Древле пророк, оплакивая судьбы святого города, восклицал в смятении души своей: да будет забвенна рука моя, аще забуду тебя, Иерусалиме! Ныне я, как учитель детей крестьянских, проведший сладчайшие минуты жизни своей в общении с ними, во всеуслышание восклицаю: дети! русские дети! Да будет забвенна десница моя, ежели забуду часы, проведенные с вами! Господа! пью за здоровье крестьянских русских детей!

Голос Крамольникова прервался; он был до того взвол-

нован, что едва держался на ногах. Старушки, приблизившиеся к пирующим, чтоб послушать, что́ учитель гуторит, стояли пригорюнившись, а некоторые и прослезились. Мужики говорили: ну, вот, и спасибо тебе, ваше здоровье, что ребятишек наших вспомнил! Через несколько минут, однако ж, Крамольников настолько успокоился, что мог продолжать.

— Я не буду представлять вам здесь, господа,— сказал он,— полную картину перехода русского крестьянского ребенка от ребячества к юношеству. Это заняло бы у нас слишком много времени, недостаток которого заставляет меня останавливаться лишь на самых характеристических подробностях предмета, нас занимающего. Итак, перейдем прямо к крестьянину-юноше, и прежде всего займемся судьбой русской крестьянки. Признаюсь откровенно, мое сердце сжимается при одном имени русской крестьянки, и сжимается тем больше, что часть тех тяжелых вериг, которые выпали на долю ее, идет от вас самих, господа. Я знаю, что в этом факте не столько виноваты вы сами, сколько ваше горе, ваша нужда, но я знаю также, что одинаковость горя и равная степень нужды должны бы послужить поводом для круговой поруки несчастия, а не для притеснения одних несчастных посредством других. Пора бы подумать об этом, господа. Пора сказать себе: мы несчастны, следовательно, наша обязанность подать друг другу руку, а не раздирать друг друга. Нет ничего безотраднее, даже беспримернее существования русской крестьянки. Начать с того, что у нее почти нет девичества. То, о чем поется в песнях под именем девической воли, продолжается не более нескольких месяцев, то есть от конца летней страды до январского мясоеда, в котором обыкновенно венчаются крестьянские свадьбы. Летом — она была отроковица, зимою — она уже жена и работница. Да, именно работница, и останется ею во всю жизнь, ибо только немногим русским крестьянкам удается ценою долголетнего искуса страданий купить себе в старости почтенное положение главы дома. Мало радостей у крестьянина, а у нее и совсем нет их. Крестьянин все-таки отлучается на заработки, следовательно, видит свет божий, чувствует себя действующим и ответственным лицом. Крестьянка — на всю жизнь прикована к семье, на всю жизнь осуждена на безответность. Сознайтесь, господа, что ваше обращение с женами и матерями потому только не заслуживает названия жестокого, что оно слишком уже вошло в нравы. А между тем, не будь в домах

ваших этих вековых печальниц, этих неутомимых охранительниц бедного крестьянского двора — вы не имели бы даже и тех скудных жизненных удобств, которыми пользуетесь теперь. Ежели жилища ваши имеют вид человеческих жилищ, если в них светло и тепло, то и этот свет, и эта теплота исходят исключительно от нее, от этой загубленной русской женщины, об которой недаром русская песня поет:

День — денная ты печальница,
Ночь — ночная богомолица!
Вековечная сухотница.

Если вы не умираете с голоду, ежели видите дворы свои нерасхищенными, ежели не пропадают, как ничтожное былие, ваши дети — этим вы обязаны всё той же вековечной сухотнице! История отметила много видов геройства и самоотверженности, но забыла об одном: о геройстве и самоотверженности русской крестьянской женщины. Это — скромное беспримерное геройство, никогда не прекращающееся, не ослабевающее: ни при первом крике петела, ни при третьем. Это геройство, замкнутое в тесных пределах крестьянского двора, но всегда стоящее на страже и готовое встретить врага. Не забудьте, что женщина, по самой природе своей,— существо слабое, существо, обреченное на болезни; но русская крестьянка, в этом случае, составляет как бы исключение: для нее не существует болезней, ни слабости, не потому, чтоб она их не чувствовала, но потому, что она *не имеет права* чувствовать. Я сейчас упоминал о случае, когда петух выклюнул глаз девочки Матреши. В это время мать ее, Надежда Петровна, была в лесу, верст за пять, и рубила дрова. Изнуренная тяжелой работой, тем не менее она бегом пробежала эти пять верст, и никто даже не удивился этому подвигу, ибо всякий понимал, что именно так должна была поступить русская крестьянка. Я не говорю о том, что ваши женщины суть устроительницы домов ваших, что работы, которые они несут, немногим легче тех, которые вы сами несете, но есть одно обстоятельство, еще более горькое, более безотрадное. Они разделяют все тяготы ваши, все неудачи, невзгоды и несчастия — и никогда не делят ваших радостей или удовольствий. Вы имеете хоть какие-нибудь внесемейные интересы, вы встречаетесь с новыми людьми, с новою обстановкой, вы, наконец, как я уже сказал раз, можете, за ваш личный страх, бороться с невзгодой. Крестьянка лишена всех этих преимуществ. Она даже бороться не может, а может только втихомолку проливать слезы. В продолжение всей ее жизни у нее постоянно

что-нибудь да отнимают. Замужество отнимает у нее мать и отца, заработки — мужа, рекрутчина — сына, совершеннолетие дочери — дочь. И на все эти притязания слепой судьбы она может ответить только слезами! Кто видит эти слезы? Кто слышит, как они льются капля по капле, подтачивая драгоценнейшее человеческое существование? Их видит и слышит только русский крестьянский малютка, но в нем они оживляют нравственное чувство и полагают в его сердце первые семена любви и добра. Школа материнских слез — добрая школа, господа, и не утратит веры в свою силу тот, кто воспитался в этой школе. Но вы, господа,— я обращусь теперь уже к вам,— вы, главы крестьянских семейств, что́ дали вы вашим женам и матерям, взамен их самоотверженности и любви? Видели ли вы их слезы, знаете ли об них? Я знаю, вы настолько совестливы, что не нужно даже ждать вашего ответа на мой вопрос: этот ответ, наверное, осудит вас. По этому поводу позвольте мне еще раз возвратиться к уже высказанной мною прежде мысли. Господа! вас ожесточает горе и вечно преследующая нужда, и, конечно, это в значительной степени облегчает вашу вину, но знайте, что, в кругу одинаково несчастных людей, горе и нужда должны быть сплачивающим звеном, а не семенем раздора. Иначе самое существование сделается невозможным, и исчезнет всякая надежда на лучшее будущее. Вникните пристальнее в слова мои, проверьте их судом собственной совести, и вы, наверное, сами придете к тому, что относительная слабость женщины должна вызывать не презрение к ней, а ласку и покровительство. Вот почему я пользуюсь этою братскою трапезой, чтоб возгласить тост за улучшение участи русской крестьянской семьи! Ура!

Громкое «ура» отвечает на вызов Крамольникова. Несмотря на некоторую витиеватость его речи, крестьяне поняли сущность ее. А крестьянки даже весело улыбались и громко выражали свое удовольствие учителю за урок, данный мужьям и сыновьям. Ободренный успехом, Крамольников продолжал:

— Теперь приступаю к главному предмету моей беседы с вами — к русскому крестьянину. Из объяснений почтенного вашего односельца, которого мы ныне вкупе чествуем, вы сами видите, сколько он поднял трудов и скольким подвергался опасностям. Увы! этот пример не единственный и не исключительный: вы все находитесь в том же положении, как и почтеннейший Ипполит Моисеич. Я не

говорю уже о крепостном праве, порождавшем помещиков, которые, злоупотребляя своим положением, требовали от крестьян шестидневной изнурительной барщины, для которых телесное наказание было обычною формой отношений к крестьянину, которые, наконец, доходили до такого малодушия, что по ночам воровали из крестьянских огородов овощи. Крепостное право умерло и больше не возвратится. Но даже и теперь, когда, по манию державного освободителя, цепи рабства спали с вас, освободились ли вы от тех тягостей и опасностей, которые на каждом шагу осаждают существование русского крестьянина? Из слов Ипполита Моисеича видно, что он не раз был на один волос от смерти: он замерзал и тонул. Своей ли охотой и для своих ли дел он рисковал в этих случаях жизнью? Нет, он, конечно, предпочел бы остаться дома в тепле, чем тащиться с подводой в зимнюю вьюгу и в весеннюю ростепель. Нужда выгоняла его из домашнего тепла. Но этого мало: Ипполит Моисеич сравнительно даже немного рисковал, ибо, по самому роду своих занятий, он мог подвергаться только опасностям известного характера и притом хотя с трудом, но все-таки отвратимым. А есть занятия, которым предается всё то же почтенное крестьянское сословие и при которых риск жизнью составляет, так сказать, обыкновенную и почти неизбежную принадлежность. Стоит побывать летом в любом городе, чтоб увидеть штукатуров и маляров, висящих на воздухе в утлых садка́х, кровельщиков, ползающих по крышам четырехэтажных домов, каменщиков, стучащих молотом на необозримой высоте, носильщиков, взбирающихся с тяжелою ношей по выстроенным на живую нитку лесам. Стоит постранствовать по нашим деревням и болотам, чтоб увидеть землекопов, роющихся в недрах земли, торфянников, работающих по пояс в воде. Стоит посетить первую попавшуюся фабрику, чтобы увидеть целый муравейник людей, снующий между колесами машин, из которых каждое в одно мгновение может превратить человека в массу крови и мяса. Малейшая неловкость, ничтожнейшее неосторожное движение — и человек перестал существовать. Но этого мало, что он умирает: он не просто умирает, а умирает бесследно. Ибо это даже не человек: при жизни — это рабочая единица, часто неизвестная и по имени; по смерти — это «мертвое тело». Выбыла рабочая сила из строя — не пройдет мгновения, как она уже заменена другою. Киньте камень в воду — пустое пространство, которое при этом образуется в массе воды, конечно, немедленно

заплывает, но все-таки вы видите некоторое время на поверхности круг, который свидетельствует, что здесь нечто произошло. Смерть крестьянина, заработывающего свой хлеб и свои подати на чужбине, даже этого круга не оставляет по себе... Ни дел, ни памяти... Спрошу у всех честных людей: чье существование может сравниться с этим безмолвным геройством, наградой которому служит одно забвение? Нам часто приводят в пример жизнь солдата и те опасности, которыми она окружена. Я согласен, что существование солдата благородно и самоотверженно, но, клянусь, на каждую пожертвованную солдатскую жизнь приходится, по малой мере, сто пожертвованных крестьянских жизней! И не забудьте при этом, что солдат все-таки знает характер угрожающей ему опасности, что он жертвует собою, понимая, что эта жертва должна принести известные плоды. Крестьянин — ничего этого не знает. Он идет вперед, потому что идти ему больше некуда, идет вперед — и никогда не имеет уверенности, разверзнется или не разверзнется под ним земля... Но, скажут мне, случайные опасности не могут же служить мерилом для оценки чьей бы то ни было жизни. Случайности могут встретиться везде, и удар грома одинаково поражает человека, к какому бы званию он ни принадлежал. Прекрасно. Но возражение это, очевидно, теряет всякую силу там, где опасность, так сказать, составляет краеугольный камень всего человеческого существования, где она настигает человека до того легко, что представляется уже не случайностью, а как бы неразрывною частью всей жизненной обстановки. Удар грома, конечно, безразлично убивает человека всякого звания, но каждому понятно, что, например, пастух, проводящий целые дни в поле и в лесу, легче подвергается опасности быть убитым грозой, нежели человек, который во всякое время может укрыться от непогоды под кровлей надежного жилища. Но допустим, однако, что это возражение, само по себе неправое, должно быть уважено. Оставим мир случайностей и взглянем на быт русского крестьянина вне этой сферы, в кругу таких занятий, которые уж никак не могут быть названы случайными, но представляют собой естественную обстановку всей его жизни. Занятия эти суть: пахота, бороньба, молотьба хлеба, сенокос, отвозка сельских произведений на базар для продажи и т. д. Все эти занятия, как справедливо выразился один из почтенных наших односельчан, имеют издали вид гулянья, но спросим себя по совести, так ли это? Нет, это — не гулянье, ибо для

того, чтоб вспахать полдесятины земли (обыкновенный дневной крестьянский урок), нужно пройти пешком не меньше двадцати верст по почве, в которой вязнут ноги, пройти, упираясь всем телом в соху. Это — не гулянье, ибо для того, чтоб скосить одну пятую десятины луга (тоже дневной урок), нужно сделать бесчисленное количество взмахов косы, причем напряжение человеческих мышц равняется, по малой мере, напряжению, делаемому при поднятии двухпудовой тяжести. Это — не гулянье, потому что, во время сопровождения воза до базара, стужа захватывает дыхание, снег лепит глаза, не говоря уже о физической усталости, которая неизбежна при наших расстояниях и которая не полагается ни во что. А рубка дров? а пилка теса и досок? а земляные работы? Одним словом, куда бы я ни обратил взоры, как бы ни старался отыскать крестьянское занятие, сколько-нибудь льготное,— я ничего не нахожу, кроме самой горькой, никогда не прерывающейся страды. Вся жизнь крестьянина есть сплошная страда, хотя он сам почтил этим наименованием только летнее время. Нет, не только летом (лето — это крестный путь крестьянина), но круглый год, и зиму, и осень, и весну,— никогда он не освобождался от ига страды. О, господа! я — человек уже в летах, и мне стыдно плакать, но я чувствую, что слезы неудержимо подступают к глазам моим! Они грозят прервать мою речь в самом начале ее, ибо передо мной стоит еще вопрос громадной важности, которого я до сих пор не коснулся,— вопрос о том, какие радости, какие удобства и льготы купил себе русский крестьянин ценою стольких опасностей и непосильных трудов?

. . . .

К сожалению, окончание речи Крамольникова осталось для меня тайною, ибо с этой минуты сновидения мои приняли резко хаотический характер. Я понимаю, что кто-то стремглав прибежал и голосом, исполненным ужаса, крикнул: едут! едут! Я помню, что за этим криком последовала невообразимая паника, среди которой один Крамольников остался невозмутимым, и мне показалось даже, что на его губах играла улыбка. Я помню звон колокольчика, и потом еще чей-то голос: а, голубчики! бунтовать!.. Затем всё исчезло...

Утром я встал с головною болью, и первою моею мыслью было: а нет ли еще какого-нибудь помощника архивариуса или главноначальствующего над курьерскими лошадьми, которого бы тоже можно было подкузьмить по части юбилейных торжеств?

ДЕТИ МОСКВЫ

В каком ты блеске ныне зрима,
Княжений, царств великих мать!
Москва! России дочь любима!
Где равную тебе сыскать!
. . . .
Твои сыны, питомцы славы,
Прекрасны, горды, величавы,
А дети — розами цветут...

И. Дмитриев

I

Немногое, сказанное в этих стихах, исчерпывало почти все содержание моего отрочества. С самых ранних лет я тяготел к Москве, чувствовал себя сыном ее. Здесь я получил первые впечатления бытия, здесь же заложены были во мне начальные основания русской грамматики по Востокову. С наслаждением, полным благоговения, декламировал я стихи Ивана Ивановича Дмитриева, не упуская при этом из вида, что автор их, сам сын Москвы, был в свое время министром юстиции. Меня не смущала даже странность, оказывавшаяся при синтаксическом разборе первого четверостишия, а именно, что, по своеобразной генеалогии, придуманной поэтом, Россия, будучи матерью Москвы, становится бабушкой относительно княжений и царств. Напротив, это казалось даже трогательным. Ежели мать — баловница по ремеслу, то для бабушки и придумать другое занятие трудно. Каких желать лучших условий для процветания княжений!

Княжения! это слово, изданное Карамзиным в двенадцати томах (в то время еще у всех в свежей памяти), наполняло мою душу восторгом. Казалось, что и на меня, сидящего в четырех стенах «заведения», падает оттуда какой-то луч, и что, не признай я за этим волшебным словом освещающего значения, я немедленно утону в безрассветной тьме, а вместе с тем утрачу и право именовать себя «питомцем славы». А для меня это право было очень важно, ибо оно давало в будущем возможность, умалчивая о не весьма славных чинах, вроде коллежского регистратора или отставного корнета, прямо подписываться: «к сему

заемному письму питомец славы такой-то руку приложил».

Вообще я был юноша восторженный, любящий и благодарный. Я всех благодарил: великого князя Святослава — за то, что он ел конину, спал под открытым небом и имел свидание с Иоанном Цимисхием; великую княгиню Ольгу — за то, что она искусно отомстила древлянам смерть Игоря; великого князя Владимира — за то, что он сказал: *веселие Руси есть пити* (я уже в то время догадывался, что слова эти предвещали вольную продажу вина); царя Иоанна III — за оказанную им распорядительность относительно Новгорода; царя Иоанна IV — за то, что он покорил Казань и принял под свою державу богатую Сибирь («Богатая Сибирь, наклоньшись над столами»)... Но в особенности я был благодарен учителю русского языка за то, что он на все эти темы заставлял нас писать «сочинения», в которых я с гордою настойчивостью употреблял выражения вроде: «стольный град», «стогны», «дружина», «стяг» и проч.

И по какому-то странному психическому процессу, все эти признательности сердца приурочивались мной всецело, исключительно — к Москве. Даже Святослав, Ольга, Владимир неразрывно связывались с представлением о Москве, хотя, разумеется, они и в помыслах держать не могли, что где-то на севере, в отдаленном будущем, явятся «собиратели» и будут, подобно гоголевской Коробочке (с значительной, впрочем, примесью чичиковской изобретательности), класть в одну кучу и мед, и пух, и сушеные грибы, и даже мертвые души. Хорош был славный город Новгород, но он омрачил себя вечевою неурядицей; еще лучше был стольный город Киев, но и он омрачил себя, подпав под иго иноверца; одна Москва ничем себя не омрачила, и за это удостоилась высшей в мире награды: именовать сынов своих «питомцами славы» (тогда мне казалось, что звание это представляет собой что-то вроде общедоступного камер-юнкерства, для получения которого не требуется протекции).

Москва! как много в этом слове
Для сердца русского слилось! —

всечасно восклицал я, и опять, по тому же странному психическому процессу, рядом с этими стихами припоминались мне и слова великого князя Святослава: *не посрамим земли русския, но ляжем костьми, мертвые бо срама не имут!*

Умрем! ляжем костьми! — вот слова, которые пламенем горели в моей благородной душе, как будто и тогда уже чувствовалось, что смерть есть единственное в своем роде благо, которому предназначено в будущем освобождать «питомцев славы» от уз срама.

Мой культ к Москве был до того упорен, что устоял даже тогда, когда, ради воспитательных целей (а больше с тайной надеждой на легкое получение чина титулярного советника), я должен был, по воле родителей, переселиться в Петербург. И тут продолжала меня преследовать Москва, и всегда находила во мне пламенного и скорого заступника своих стогнов. Я до сих пор не могу забыть споров о том, где больше кондитерских, в Москве или в Петербурге, и тех вопиющих натяжек, которые я должен был делать, чтоб отстоять хотя в этом отношении славу «порфироносной вдовы» перед выскочкой Петербургом. Я припоминал и о кондитерской Тени на Арбате, и еще о какой-то кондитерской у Никитских ворот, и, благодаря тому, что политические мои противники игнорировали бóльшую часть равносильных кондитерских, которыми изобиловали Мещанские, Мастерские, Офицерские и проч., выходил из споров победителем. Этого мало: когда мы, москвичи (а нас было в «заведении» довольно), разъезжались летом на каникулы, то всякий раз, приближаясь к Москве, требовали, чтоб дилижанс остановился на горке, вблизи Всесвятского, затем вылезали из экипажа и целовали землю, воспитавшую столько отставных корнетов, в просторечии именующих себя «питомцами славы».

Так шло дело вплоть до упразднения крепостного права. Я вышел из «заведения», поступил на службу и, как говорится, жил — не тужил. Себя называл «питомцем славы», а на отечество и его историю смотрел с точки зрения маневров Ходынского поля. Быть может, читатель не поверит, но это было именно так: будучи уже балбесом лет двадцати пяти, я все еще сны наяву видел. Россия представлялась мне месторождением сказочных витязей, «прекрасных, гордых, величавых», а история ее — каким-то светозарным кругом, в котором княжения сменяли друг друга, не оставляя после себя ничего, кроме славы. Слава! слава! слава! восторженно твердил я наяву и во сне:

Грозные полки идут,
Золотое вьется знамя,
На штыках играет пламя,

Бá-ррабаны громко бьют,
Грррромко бьют![1]

И что еще удивительнее: все это не мешало мне в то же время и «заблуждаться», чтó в ту пору (да, кажется, и теперь) было строго воспрещено. Вот как странно перевиты и перепутаны были тогдашние сновидения «питомцев славы»!

Даже тогда, когда под стенами Севастополя совершилась искупительная жертва и когда, вслед за тем, в обществе начали ходить слухи о предстоящих реформах,— и тогда я не вдруг освободился от угнетавшего меня угара, но все продолжал верить, что никакие силы в мире, никакое волшебство не в состоянии разжаловать меня из «питомцев славы» в не помнящие родства (а о пришествии «червонных валетов» я даже и не подозревал). Ничто не казалось страшным потомку тех витязей, которые, менее полувека тому назад, побывали в Париже и всю Европу наполнили громами побед и славы. Реформы! — но ведь это только добавочный луч к тому солнцу славы, в котором мы, «питомцы славы», и без того искони утопали! Реформы! — ведь это лишь новый вариант на тему «разумейте языцы», которая и прежде, с юных лет, составляла излюбленное содержание наших сновидений! Над чем же тут задумываться? И я не только не задумывался, но отвлеченная, лучезарная точка зрения и на этот раз осталась во мне преобладающею. Ничто практическое, будничное не смущало парéния моей мысли. Мысль сделалась нетерпеливою, нервною; она даже не довольствовалась единичною какою-нибудь реформою, но стремилась вперед и вперед, прозревая в близком будущем целый ряд преуспеяний. Сперва — воля крестьянам, потом — воля вину, затем — начатки самоуправления: хочешь — чини мосты, хочешь — нет, хочешь — на пароме переезжай, хочешь — вплавь переправляйся! — и, наконец, открытые настежь двери в суды: придите и судитесь, сколько вместить можете! Все это уже заранее прозревала моя мысль, и все это именно так и случилось...

Свершилось! добрая весть о падении крепостного права в один день облетела всю Россию. Самоотверженность, с которою «питомцы славы» принесли на алтарь отечества

[1] Стихи эти принадлежат покойному поэту Ершову. Не могу, впрочем, сказать наверное, дословно ли правильно цитирую я эти стихи, но ежели и есть неточность, то она совершенно ничтожна. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

свои «права» (теперь я позабыл, в чем они состояли, но тогда не только помнил, но даже по пальцам их перечислял), наполняла меня гордостью, а безграничные перспективы, которые при этом открывались, приводили в восторг. Все художественные инстинкты моей души были разом взбудоражены, я не загадывал, не примеривал, не определял, я только метался. В увлечении своем я даже того не понимал, что мои новые восторги служат косвенным укором моим старым восторгам. Я был так рад, что могу наконец говорить, что, действительно, говорил много и с убеждением, говорил с утра до вечера, волнуясь, радуясь, негодуя... Но что всего ужаснее и чего я в то время совсем не заметил: по мере того как «разговор» овладевал мною, я совершенно нечувствительно договаривался, договаривался и наконец договорился до того, что начал изображать прежнюю «славу» в несколько смешном виде.

Клянусь, я сделал это «так», без ясного разумения, но, во всяком случае, это была очень горькая ошибка с моей стороны. «Смешной вид» — вещь очень опасная, особливо если он служит подспорьем для подкрепления восторгов и притом является орудием в руках «питомца славы», и без того одержимого художественными инстинктами. «Смешной вид» берет человека в поло́н и иногда сразу решает спор, над которым не худо бы и призадуматься. Притом, прибегнув к «смешному виду», я вовсе не решался рассчитаться с прошедшим и выйти из заколдованного круга отвлеченных понятий о «славе»; нет, я упорно пребывал все в том же круге, но только бесконечно расширил пределы его. «Слава» по-прежнему продолжала оставаться моим девизом и питать мои идеалы, но слава, до того уже лишенная границ, что я не мог ни указать на центр ее, ни определить ее содержание иначе, как с помощью сопоставлений и картин. Вот тут-то и сослужило мне службу прошлое, но уже не в виде примера для подражания, а в форме архивной справки, в которой все, и слог, и содержание, все представляло сплошной «смешной вид».

Не знаю, надеялся ли я при этом сохранить за собой наименование «питомца славы», но кажется, что не только надеялся, но даже во имя этого наименования и творил чудеса критики и разоблачения. Откровения сыпались за откровениями. Сколько веков мы твердили о силе — и оказались слабыми; сколько веков мнили себя богатыми — и оказались бедными. А между тем и богатство и сила состо-

яли вне всяких сомнений (иначе на чем же основывалось бы наше представление о «славе»?), но только неизвестно было, где, в каких недрах они лежат. Свидание Святослава и Иоанном Цимисхием не давало по этому предмету никаких разъяснений, а потому гораздо более целесообразным представлялось свидание кабатчика Антошки Стрелова с лабазником Осипом Ивановым Деруновым. Уж они-то наверное знают, где раки зимуют! Стрелов! Дерунов! Прожженные! Идите и проповедите, ка́ко на обухе рожь молотить!

Все это было и великодушно, и «славно», а отчасти даже и справедливо. Но каким образом я не догадывался, что, возлагая на Стрелова, Дерунова и прочих «непомнящих» обязанность строить будущую славу России, я тем самым устранял самого себя от всякого участия в строительстве,— этого я решительно не берусь объяснить. Последствия доказали, однако ж, что «смешной вид», вместе с незнанием, в каких недрах скрываются сила и богатство России, были первым шагом к обезличению «питомцев славы» и что за сим, как ни упорны были их усилия продолжать именовать себя таковыми, но в ближайшем будущем их уже ждала иная кличка, более соответствующая «смешным» веяниям времени, а именно кличка «червонных валетов».

Дальнейшим испытанием моих представлений о «славе» явились выкупные свидетельства. Не могу не сознаться, что даже в самый разгар моих симпатий к меньшей братии надежда на выкупные свидетельства никогда не оставляла меня. Язык говорил: до последней капли крови! а тайный голос шептал: дадут же, однако, что-нибудь! И действительно, выкупные свидетельства были отпечатаны... и я не имел силы отказаться от них! Не мог же, однако, я не понимать, что самоотверженность, эта обязательная спутница «славы», по самому существу своему, безвозмезда! И не настолько же я неразумен, чтоб рассчитывать на такое счастливое стечение обстоятельств, которое поможет мне и капитал приобрести, и «славу» соблюсти!

И как диковинно мы — не я один, а все мы, «питомцы славы»,— поступили с этими выкупными свидетельствами! Одни, увлекшись учением об искусстве на обухе рожь молотить, накупили плугов, молотилок, веялок, в чаянии устрашить ими недра земли; другие, более верные чистым принципам «славы», разделили выкупную ссуду по равной части между трактирами: московским, новотроицким и

саратовским. То была последняя вспышка доказать, что представление о «славе» еще не умерло, но сколько было по этому случаю выпито водки — про то знает только грудь да подоплёка!

Во всяком случае, ни армии, ни флоты, ни кадетские корпуса, одним словом, ничто из всего цикла учреждений, составлявших когда-то необходимую обстановку «славы»,— при этом не выиграли. Из целой массы выкупных свидетельств ни одного клочка не было дано на поддержание славы действительной, той, которая дозволяла нам с полным основанием восклицать: с нами бог! никто же на ны! Все сполна было истрачено на покупку устрашающих машин, тотчас же оказавшихся негодными, и на бесчисленное количество рюмок водки, на дне которых все больше и больше выяснялся образ «червонного валета» с бубновым тузом на спине.

Эти первые эмансипационные рюмки привели за собой множество других. Вслед за крестьянскою волей объявлена была воля вину, и в природе произошло нечно неслыханное. Ни взятие Хотина, ни сражение под Синопом не производили таких восторгов. Бесконечный лиризм охватил больших и малых, сильных и слабых. Слепые прозрели, чающие движения воды взяли под мышку одр и на рысях побежали в кабак. Даже торжественных од не предстояло надобности сочинять, потому что каждый кабак, в эту всерадостную минуту, был сам по себе воплощенной торжественной одой, освобождавшей «питомцев славы» от непосильных витийственных упражнений.

«Повреждение нравов», признаки которого были уже замечены при первых выдачах выкупных свидетельств, приобрело тем большую яркость, что усложнилось повреждением умов. Пьяный лиризм, охвативший сердца при известии о падении откупов, мало-помалу улегся и уступил место пьяному эпосу. Создалось особое пьяное ремесло, тяжелое, мрачное, от которого пахло самоубийством. Прежде люди предавались кутежам, как бы отбывая повинность молодости и в расчете со временем остепениться; теперь — они делались пьяницами навек, без всякой надежды на вытрезвление. Прежде, при слове «пьяница», воображению представлялось нечто вроде особенного сословия, ряды которого преимущественно наполнялись между приказными; теперь это название сделалось всесословным, почти всенародным. В таком положении застали нас земские учреждения.

Но так как, под влиянием «упоительных напитков», мы уже не могли в это время отличить воды от суши, дороги от забора, то очевидно, что подобная же неясность должна была закрасться и в наши понятия о своем и чужом. Начали пропадать земские деньги. Ничто не спасало: ни коллегиальные порядки, ни контроль властей, ни замки. От «хладных финских скал до пламенной Колхиды», повсюду слышалась одна и та же до назойливости однообразная песня: унесли! Правда, что и тут еще замечались проблески представления о «славе» — унесенные деньги, собственно говоря, не были украдены, а только разделены поровну между трактирами: патрикеевским, лопашовским и Эрмитажем,— но за эти проблески начали уже сажать в тюрьму.

«Червонный валет» созрел, вышлифовался и выработался окончательно.

И что́ всего прискорбнее — месторождением его оказалась та самая Москва, сыны которой еще так недавно с гордостью именовали себя «питомцами славы». Оставалось только ждать толчка, который выдвинул бы это порождение новых веяний времени из укромных углов, в которых оно скрывалось, и представил на суд публики в целом ряде существ, изнемогающих под бременем праздности и пьяной тоски, живущих со дня на день, лишенных всякой устойчивости для борьбы с жизнью и не признающих иных жизненных задач, кроме удовлетворения вожделений минуты.

Обязанность эту приняли на себя новые гласные суды.

II

Что́ такое вор? какого рода художественный образ представляет собой человек, имеющий о чужой собственности понятия, очевидно, недостаточные и запутанные? в какой форме могут установиться отношения между «вором», с одной стороны, и обывателями и полицией, с другой? — вот вопросы, которые на первом же шагу встречают современного человека при вступлении на поприще жизни.

Классические традиции отвечают на эти вопросы довольно определенно, но как-то чересчур уж голо, и непременно с подчеркиванием. Для классиков не существовало той сложности мотивов, которая нынче, как свои пять пальцев, известна самому простодушнейшему из прокуроров и

адвокатов. Сверх того, классики, в своих представлениях о воре, строго придерживались принципа сословности: доблестями высшего разбора (верность, самоотвержение, любовь к престолу и проч.) и таковыми же пороками (измена, коварство, кровосмешение и т. д.) наделяли особ высшего сословия, а доблестями и пороками низшего разбора — наделяли чернь.

Со словом «вор» классическое предание соединяло понятие, не имеющее ничего общего с идеей о «питомце славы». Вор представлялся чем-то отвратительным, заклейменным самой природой. Фаталистически осужденный на присвоение чужой собственности, он, в согласность с этим предопределением, так и устраивал всю свою жизнь. Детство и отрочество употреблял на то, чтоб изощрить прирожденную наклонность к воровству непрерывными практическими упражнениями; когда же приходил в совершенный разум, то делал из нее для себя ремесло. Понятно, что при подобном художественном воззрении на вора нельзя было вообразить себе его иначе, как в виде человека, непрерывно ворующего, очень часто излавливаемого, заключаемого в участковый клоповник и, по недостатку улик, обратно оттуда для воровства выпускаемого. Словом сказать, если верить классическим воззрением, вор есть член особенной касты, имеющей резиденцией: в Петербурге — в доме Вяземского, в Москве — в доме Шипова; человек, постоянно живущий под угрозой переломания ребер, ради кошелька, нередко заключающего в себе не больше двух двугривенных, и, несмотря на эту угрозу, бессознательно влекущийся к этому кошельку, единственно во имя целей, составляющих провиденцияльное его назначение. На картинках вора писали (и ныне нередко так пишется) очень типично: в подлой, запятнанной одежде, в рваных сапогах, с гнусной физиономией, явственно говорящей о принадлежности к низкому званию и испещренной ссадинами и синяками, с понурыми взорами, хищнически устремленными на чужой карман, с руками, свидетельствующими о цепкости и проворстве, которое было бы выше всяких похвал, если б применялось на пользу ближнему, и которое награждается карой закона и тумаками частных лиц, коль скоро применяется к взлому запертых помещений. Таков классический образ вора, образ до того незатейливый и строго определенный, что самый простодушный из будочников мог прямо отыскать его в толпе, взять за шиворот и вести в участковый клоповник.

Классические представления о «мошеннике» хотя несколь-

ко тоньше, но тоже далеко не исчерпывают всей полноты содержания этого типа. Классический «мошенник» уже смотрит опрятнее. Он прилично одет и, судя по наружному виду, успел выбиться из «простого звания». Вот уступка, которую сделало классическое воззрение относительно людей этой корпорации. Зато, во всех прочих отношениях, мошенник так незрело, почти по-детски скомпонован, что питать к нему доверие нет никаких средств. Уверовать в этого человека может только или слепенькая старушка, которая любит, чтоб ей оказывали небольшие услуги безвозмездно, ради одной почтительности, или очень молоденькая девица, только что кончившая культурное воспитание, для которой и то уже благо, что не успела она на улицу выйти, как уж навстречу ей кавалер идет. Но люди, мало-мальски одаренные здравым смыслом, сейчас же заметят: а) что у мошенника платье хотя и «хорошее», но все-таки поношенное, с чужого плеча; б) что лицо у него, не без намерения, нарисовано наперекоски и в) что ноги выгнуты колесом, ступни несоразмерно длинны, а руки без перчаток и красны, как у лапчатого гуся. Сверх того, ни один художник-классик никогда не отказывал себе в удовольствии наделить «мошенника» озирающимся видом, который так и говорит: а вот погодите, какую сейчас с вами штуку сыграю. Очевидно, однако ж, что никакой штуки он не сыграет, ибо с озирающимся видом и вывернутыми ногами никто его до большого дела не допустит. Напротив того, обыватель самый смирный и тот, насмотревшись вдоволь на классического «мошенника», не только не устрашится, но улыбнется и скажет: хорош «мошенник», но это не тот, которому суждено когда-нибудь надуть меня!

Классическое представление о казнокраде уже значительно полнее, и причина этому очень понятная: самое занятие казнокрадством предполагает известную внешнюю облагороженность. На картинках, посвященных изображениям казнокрада, мы, по большей части, встречаем жуира, с полным брюшком, предвещающим толк в кушаньях и винах, с заплывшими, но лукаво смеющимися глазками, с несколько масленым (все-таки признак подлого происхождения!), но открытым лицом, на котором написано безграничное гостеприимство. Вообще говоря, концепция эта и остроумна, и не лишена жизненной правды; но все дело портит тот исключительно провиантско-комиссариатский характер, который слишком уже густо ложится на всю обстановку картины. Зачем, например, эти лампадки, кото-

рые горят перед образами в дорогих окладах? зачем этот угол окованного сундука, выглядывающий из глубины картины? зачем эти ключи, которыми вооружены руки казнокрада, в знак того, что он сейчас только опустил украденное сокровище на дно сундука и теперь благодарит своего создателя за ниспосланный ему насущный хлеб? Все это, коли хотите, довольно затейливо, а быть может, даже и умно, но умно как-то по-детски. Вам нужно видеть «всего» человека, а вы видите только профессиональную, провиантскую его обстановку, да и то не всю, а только ту часть ее, за которую казнокрад несомненно должен пойти под суд. Невольно приходит на ум вопрос: неужели это кругленькое брюшко составляет необходимое последствие и как бы тавро казнокрадства? неужели этот человек только тем и занимается, что опускает в сундук украденное сокровище, и потом, совсем по-дурацки, благодарит создателя, держа в руках ключи? Нет, это не так. Наверное, у него есть семейство, в котором он являет себя примерным мужем и отцом; есть начальники, относительно которых он являет себя примерным исполнителем предначертаний и почтительным подчиненным; есть подчиненные, между которыми в двух словах сложилась его репутация: строг, но справедлив; есть приятели, быть может даже вовсе непричастные казнокрадству, которые его любят, потому что он, во всякое время, готов «одолжить». Наконец, он служит гласным в городском или земском собраниях, состоит членом благотворительных обществ, и во всех этих собраниях и обществах его мнение имеет вес, как согласное с обстоятельствами дела и притом почти всегда либеральное. Конечно, *должны быть* у него минуты, когда он прячет украденное сокровище, но, во-первых, для этого, по нынешнему времени, совсем не нужен окованный сундук, а во-вторых, это именно только *минуты*, и притом до того исключительные, что их-то, наверное, никто у него подметить не мог. Странное дело! даже жена казнокрада досконально не знает, откуда идет добыча и как она велика, и только догадывается, что бог нечто послал, а художник, изволите видеть, все видит и знает! Да и не только думает, что знает, а все-таки прямо и рекомендует почтеннейшей публике: вот, дескать, человек, который сейчас украл!

Такая простота в обращении с внутренним естеством человека свидетельствует о несомненной и великой простоте нравов. Времена процветания классических традиций, оче-

видно, совпадали с мифологическим золотым веком, когда, с одной стороны, не существовало науки о том, как на обухе рожь молотить, а с другой — не было ни выкупных свидетельств, а следовательно, и повреждения нравов, ни вольной продажи сивухи, а следовательно, и повреждения умов. Мошенники действовали просто, то есть ловили обывателей арканами, а их столь же просто брали тогдашние будочники за шиворот и отправляли в часть.

Нынче хищничество всех видов и форм (вот что значит примесь элемента «питомцев славы»: даже новое слово «хищник» придумали, взамен старого и столь определенного слова «вор»!) до того усложнилось, или, лучше сказать, слилось с всевозможными ремеслами, из которых одни положительно ставятся в пример благонамеренной деловитости, другие же хотя и не ставятся в пример, но слывут в обществе под именем милых шалостей,— что даже очень тонкий наблюдатель вряд ли сумеет в точности определить, где кончается благонамеренность и где начинается «хищничество». Я, по крайней мере, нимало не буду удивлен, ежели будочники усомнятся, как им в данном случае поступать, то есть брать ли воров за шиворот, согласно указаниям дореформенной практики, или делать под козырек, согласно с правилами вежливости, установившимися вследствие вольной продажи вина? В самом деле, это очень трудно, ибо все в данном случае запутано, темно, загадочно. Кто знает, быть может, в образе каких-нибудь арканщиков скрываются совсем не мошенники, а упраздненные иомудские и каракалпакские принцы (их развелось так много, благодаря успехам русского оружия), которые, ловя арканами обывателей, выражают этим способом тоску по родине и утраченному величию? или, быть может, это какие-нибудь «питомцы славы», которые, во имя «славы», вчера разменяли в Москве, в гостинице «Крым», последние выкупные свидетельства, а сегодня, преследуемые тем же представлением о «славе», нагрянули на беззащитных обывателей, дабы, обременив себя добычею (ведь все заправские средневековые рыцари так поступали), вновь возвратиться в гостиницу «Крым» и там уже окончательно утонуть в лучах солнца славы, то есть предварительно попасть в острог, а оттуда, быть может, и в места не столь отдаленные?

Вот эта-то всесословность действий, предвиденных такими-то статьями уложения о наказаниях, и представляет собой источник великой современной полицейской скорби. Дело идет не об том, как поступить с мошенником низкого

звания, с гнусною физиономией и в запятнанном пальто (какого можно и должно прямо брать за шиворот), а о том как подойти к тоскующему иомудскому принцу, о помолвке которого с дочерью концессионера Губошлепова на днях объявлено, или к «питомцу славы», еще вчера дирижировавшему танцами на балу у предводителя дворянства?

Но этого мало: современное воровство, утратив кастовый характер и странным образом перепутавшись с благонамеренностью, пошло и еще далее, усложнилось до того, что сделалось неосязаемым, не допускающим мысли ни о поличном, ни об ответчике. Господа «арканщики» слишком добры: их арканы все-таки еще могут, от времени до времени, фигурировать на столе вещественных доказательств в зале заседаний суда; но что сказать об аркане духовном, который невидимо и недосягаемо парит над современным человеком и в то же время самым реальным и грандиозным образом заявляет о своих хищнических свойствах? кто этот новоявленный, загадочный «вор»? какие отличительные его признаки? какие меры представляет жизнь для обороны против него?

На эти вопросы ни современная жизненная практика, ни современное искусство просто-напросто не дают никакого ответа. Суд хотя и выбрасывает ежедневно в публику целую массу фактов, но сам, в большинстве случаев, действует на основании классических традиций, то есть карает «мерзавца» заведомого и нимало не разъясняет представления о «мерзавце» невидимом, но всеми явственно уже чувствуемом. Жизнь и искусство успели взбудоражить сомнения, пробудили в современном человеке чувство тупого беспокойства, но, в конце концов, тоже указали только на пустое пространство...

Классические традиции упразднены, как недостаточные и, видимо, не удовлетворяющие современному уровню цивилизации, а новых учений о «новом воровстве» не издано, кроме разве упомянутого выше учения о том, как на обухе рожь молотить, каковое, однако ж, тоже в счет нейдет, потому что признается не только незазорным, но и обещающим несомненные прибытки для тех, кто принял твердое намерение следовать его указаниям. Таким образом, все утрачено: и надежда спокойно спать, положивши деньги на текущий счет, и руководящая нить в различении мазуриков, которые украдут лишь *столько, сколько успеют*, от таких, которые, как говорится, не оставят и синь пороха, да, сверх того, заставят бесплодно метаться и взывать: господи! да

что ж это! да каким же это образом... всё, всё, всё!

Воспитанный в лоне классицизма, я до сих пор относился к сословию воров поверхностно и в различении их руководился исключительно наружными признаками. Я не боялся ни за мой кошелек, ни за мою шкатулку, ибо был уверен, что покуда я живу в мире с будочником, который вообще мною заведует,— он оградит меня во всех путях моих. Он знает, говорил я себе, всех воров не только по наружному виду, но и по имени и отчеству, и, стало быть, ежели вор полезет ко мне ночью в окно, то он крикнет: эй, Ванька! сегодня в этом доме не воруй, а воруй вон там, по соседству! Но теперь, когда внешние признаки перепутались и стерлись, когда воруют не по ночам, а среди бела дня, когда вор-мошенник, как каста, перестал быть опасным, а явился угрозой в виде тонкого начала, насыщающего атмосферу, когда сами будочники остановились в недоумении перед величием реформы, превратившей «питомца славы» в «червонного валета»,— признаюсь, я струсил!

Каждый день вынимаю я из шкатулки последнее мое выкупное свидетельство, смотрю на него и никак не могу взять в толк, мне ли оно принадлежит или какому-то Иксу, которого я даже назвать по имени не могу. Мысль эта до такой степени мутит меня, что иногда просто хочется, чтоб у меня поскорее украли это злосчастное выкупное свидетельство. Ведь, сравнительно, это все-таки более благоприятный исход, нежели покончить жизнь в духовном аркане, брошенном верною, но невидимою рукой!

Представление об этом духовном аркане, разжигаемое почти ежедневными повествованиями газет то о «червонных валетах», то о банкротствах самых несомненных столпов, сделалось до такой степени обыкновенным, будничным, почти обязательным, что незаметно вошло в мой ежедневный обиход.

Я присутствую на бале, смотрю на выходки милых молодых людей, которые так ловко танцуют и так убедительно объясняют своим дамам, между второй и третьей фигурами кадрили, что прелюбодеяние есть одна из привлекательнейших форм современного общежития,— и не могу свободно отдаться наслаждению, которое возбуждает во мне и эта ловкость, и эти умные разговоры, и этот соединенный блеск свечей и женских бюстов. Мысль, что у меня лежит в кармане бумажник и что покуда я зеваю по сторонам, а этот очаровательный юноша делает в пятой фигуре соло, он, этот бумажник, словно волшебством, может очутиться

совсем в другом кармане,— эта горькая мысль отравляет все мои радости. Конечно, я не только не имею прямых оснований указать на кого-либо из этих обворожительных молодых людей, как на причину этой отравы, но даже самому себе сознаться в своей подозрительности стыжусь,— но и за всем тем, не могу унять расходившегося чувства самосохранения, не могу не страдать! И зачем только я этот бумажник с собой брал! в сотый раз мысленно укоряю я себя,— оставил бы его дома... Но ведь и дома... ах, как отлично подделывают нынче ключи! точно ассигнации или векселя: и не узнаешь фальшивого от настоящего!

Другой случай. Я прихожу в Казанский собор, с твердым намерением испросить себе «ангела верна», без которого, по нынешнему строгому времени, шагу ступить нельзя. Но едва начинаю я заводить глаза и отлагать житейское попечение, как рядом со мной становится почтенного вида мужчина, на которого я невольно заглядываюсь. Он так благообразен в ореоле своих седин, так скромно вошел в божий храм и стал на место, так смиренно поклонился на все стороны, так вкусно сотворил первое крестное знамение и затем с таким сердечным сокрушением пал на колена, что я просто-напросто думаю: вот милый старикашка! чай, и грехи-то у него куриные, а он так беспокоит себя! Подумавши это, я, конечно, вновь обращаюсь к молитве и помаленьку опять начинаю отлагать житейское попечение. И вдруг, чувствую, что меня что-то кольнуло в бок. В сущности, однако ж, меня ничто не кольнуло, а только вспомнилось, что в кармане моем лежит бумажник. Опять эта проклятая идея! И где же, в виду кого! В виду этого почтенного, благообразного, убеленного сединами мужчины, который... Каюсь: я сто раз, тысячу раз не прав; но разве терзания, которые я в эту минуту испытываю, не служат достаточным возмездием за несправедливые подозрения, которые родились во мне при виде благоговейно склонившегося старца?

Третий случай. Я сижу в итальянской опере и, в ожидании поднятия занавеса, думаю: так как мы, «питомцы славы», рождены для вдохновений, то уж теперь-то я досыта наслушаюсь соловьиных трелей, которые изведут мою душу из темницы паскудной действительности и перенесут ее в мир «сладких звуков и молитв». Но едва раздались первые аккорды увертюры, как я уже ощущаю беспокойство, сначала смутное, а потом все более и более отчетливое, и опять-таки преимущественно сосредоточивающееся около того пункта, где находится мой бумажник. Я начи-

наю озираться (вот кому приличествует озираться, господа классики! не мошеннику, а тому, который имеет основание трепетать перед мошенником!), я не могу спокойно усидеть на месте и беспрестанно вглядываюсь в физиономии моих соседей по креслу. Я отлично понимаю, что в эту минуту и в этом месте бояться мне нечего,— и все-таки боюсь. Не реального чего-нибудь, а волшебства. Зачем я *его* взял с собой! тоскливо спрашиваю я себя: ведь здесь нужен только двугривенный, чтоб отдать за сохранение шубы... и эта шуба! ах, эта шуба, где-то она теперь?! Между тем аккорды, один другого слаще, следуют своим чередом. Занавес бесшумно взвивается, и целый гром рукоплесканий возвещает, что началось производство трелей. Но я ничего не слышу, все думаю: а что, если этот старичок, у которого глаза бегают и нос крючком,— что, если он и есть тот самый волшебник и маг, который в совершенстве постиг тайну обращать чужие кредитные рубли в старую газетную бумагу и, наоборот, свою собственную газетную бумагу — в кредитные рубли? Гонимый этою мыслию, я с трудом досиживаю до конца первого действия, и едва успевает застыть в воздухе последняя трель, как я уже вскакиваю с кресла и бегу в коридор: шуба! где моя шуба?!

Наконец, четвертый случай: я захожу в гастрономическую лавку. Я облюбовал фунт семги и фунт винограду, товар мой уже свешен и завернут, остается, стало быть, заплатить и уйти. Но едва протянулась моя рука к карману, в котором лежит мой бумажник, как я припоминаю, что мне следует уплатить всего каких-нибудь рубль пятьдесят копеек, а в бумажнике у меня целых сто рублей. Между тем в лавке людно, один покупатель сменяет другого, во всех углах раздается чавканье, и нет никакой надежды, чтоб этот гомон хоть на минуту перемежился. Я тревожно всматриваюсь в пеструю толпу и решительно ничего не могу различить. Все люди, как люди, лица одинаково напоминают стертые пятиалтынные старого чекана, ни на одном не написано: сия физиономия принадлежит вору, но ни на одном, однако ж, не видно и ясного ручательства, что чужой кошелек — святыня! И вот я решаюсь выжидать, пока толпа отольет; жду полчаса, жду час. Это становится настолько оригинальным, что приказчики начинают от времени до времени взглядывать на меня, а один даже довольно развязно напоминает: вот, господин, ваша покупка! Но я все еще креплюсь, перехожу от одного лакомства к другому, словно надумываюсь, что бы еще купить, как вдруг в публике

происходит шепот, и до ушей моих долетает странное слово, от которого краска бросается мне в лицо. Наконец старший приказчик подходит ко мне и говорит:

— Господин! коли ежели вы действительно... так извольте взять ваши покупки *за благодарность!* и пожалуйте в следующий магазин!

Представьте себе! и публика, и приказчики приняли меня за шш... то бишь за члена торговой полиции!

Положим, что моя подозрительность преувеличена до болезненности, положим, что под влиянием процесса московского ссудного банка и рассказов о подвигах «червонных валетов» я сделался нервен и раздражителен, но ведь не всё же в моих опасениях представляется плодом расстроенного воображения! есть же и в них какое-нибудь реальное основание, коль скоро они до того неотступно преследуют меня, что доводят почти до состояния ясновидения! Да и одного ли меня? О, ты, читающий эти строки, ты, от рождения своего беспечно думавший, что жизнь среди «питомцев славы» навсегда освобождает тебя от обязанности запираться на ключ и спускать шторы всякий раз, как приходится вынимать деньги на расход кухарке,— разве не вопиял ты на все лады: караул! унесли!— когда, подобно трубному звуку, разразилась над тобой весть о крушениях московского банка, Баймакова, Лури и проч.? Разве не метался ты, восклицая в бессильном недоумении: да как же это! да неужто же в самом деле! да почему же, наконец, правительство, начальство, полиция?! Не клялся ли ты, что впредь никогда, никогда...

Да, основание для опасений есть, и притом не фиктивное, а вполне реальное. Спрашивается, однако ж: в каком положении должен находиться принцип собственности, когда со всех сторон несется один и тот же вопль, когда один и тот же трепет обуял все сердца? Что он посрамлен и поруган — в этом, конечно, нет сомнения, но что всего жестче, он посрамлен и поруган не одними «червонными валетами», но и мною с тобой, благосклонный читатель. Ибо и мы с тобою не по поводу принципа собственности вопием и мечемся, а исключительно по поводу того, что *у нас* украли столько-то рублей. Так что если бы *у нас украли* в десять раз меньше, мы в десять раз меньше же метались бы, а если бы украли только гривенник, то, пожалуй, даже и пошутили бы: вот так дурак! на гривенник польстился! А ведь, по-настоящему-то, это не так; по-настоящему, мы должны метаться не только за себя и за други своя, но

и преимущественно за принцип. Вот как мечутся, например, прокуроры — безмездно, но в чаянии получить повышение, и адвокаты гражданских истцов — за определенное, по цене иска, вознаграждение.

Предположим, впрочем, что принцип собственности еще как-нибудь да прорвется сквозь облаву, устроенную «червонными валетами», и найдет себе охрану в своде законов (ведь там, собственно говоря, и находится действительное его местожительство), но что́ наверное и на многие годы останется посрамленным и лишенным всякой охраны — это человеческая мысль, додумавшаяся, под гнетом испуга, до серьезного убеждения, что отныне вся задача человеческого существования должна быть сосредоточена на защите рубля.

Вопли, наполняющие вселенную, по поводу волшебных исчезновений рубля, не только назойливы своим однообразием, но и прямо паскудны. Мало того, что у меня «отнимают», но еще заставляют ломать голову над вопросом: откуда наскочило это отнятие? Да и этого мало: положительным образом удостоверяют, что и завтра повторится тот же процесс отнятия, а за ним и опять последуют те же тщетные усилия выбиться из-под гнета вопросов: как, зачем, почему? И таким образом будто бы пройдет вся жизнь. Эти скверные вопросы оцепили все мое существование, взяли в полон мою душу, отучили меня мыслить, отбили от дела, от всего, что сообщало моей жизни мало-мальски порядочный смысл. Я — маленький человек, но если мне суждено с каждым днем все больше и больше сокращать мою порцию, то я хочу, по крайней мере, знать, ради чего наслано на меня это насильственное сокращение и как называется та бездна, которая притягивает к себе все соки и ничего назад не отдает?

Да, это именно бездна, а не лично тот или другой «червонный валет». «Червонный валет» подвернулся тут только для прилику, как corpus delicti[1], к которому можно признаться, чтоб отвести глаза и приличным образом выйти из затруднения. С единичным «червонным валетом» не трудно управиться (да и управляются: все места не столь отдаленные кишат этою новою человеческою разновидностью), но против *неумирающего червонного валета* — я бессилен. Ввиду этой неумираемости я должен сложить оружие. Ибо я не могу *существовать*, если в уме моем безвы-

---

[1] Здесь: субъект преступления (*лат.*)

ходно мечется мысль, что на меня ежеминутно откуда-то надвигается нечто загадочное, непредвиденное, могущее вконец меня подорвать. Я не могу ни предусматривать, ни производить, ни накоплять, ни распределять — зачем? для чего? К чему ведут все извороты и усилия ума, на что нужны труд, талант, аккуратность, умеренность, если завтра, сейчас, через миг покажется из-за угла медузина голова и...

Я знаю, что когда этот миг настанет, когда все уже совершится, тогда явится прокурор и примет мой хладный прах в свое заведование. Он все взвесит, все разберет и за все отомстит. Отомстит — кому? Лично вот этому «червонному валету», который унес у меня столько-то рублей? Помилуйте! да неужто же я до того мелочен, непонятливо зол, чтоб не уразуметь, что во всей этой истории «червонный валет» ни при чем, что он только вещественный знак тех невещественных отношений, перед которыми самые похвальные усилия прокуроров и их товарищей разобьются, как волна разбивается о гранитный утес?

Но допустим даже, что я мелочен и зол и что личная месть могла бы удовлетворить меня, однако и этот крохотный результат едва ли уж так несомненно достижим, как это можно предположить с первого взгляда. Легко сказать: прокурор отомстит, но ведь не соло же он будет выделывать на суде, а выйдет навстречу ему адвокат, вынет из кармана святое Евангелие (он уж с неделю назад его в синодальной лавке купил и все рылся: плевелы... плевелы... плевелы... а! вот, наконец, нашел!) и проклянет час своего рождения, убеждая вселенную вообще и господ присяжных в особенности, что истинный виновник постигшего меня умертвия не сей «питомец славы», велениями судеб превратившийся в «червонного валета», а я сам, дурак и простофиля, введший его в соблазн.

Кто устоит в неравном бое?

III

Тоска! Некуда деваться, не к чему приступиться, не об чем думать! Стучаться в запертую дверь — бесплодно; ломиться в нее — надорвешь силы. Вышла было линия — воровать, да и та повернулась не на пользу, а по направлению к скамье подсудимых. Даже коренные, прожженные хищники и те удивляются: воруют, а никак-таки наворован-

ное к рукам пристать не может — все, словно сквозь сито, так и плывет, так и плывет... куда?

— У меня, брат, третьего дня деньги унесли,— говорю я, вместо привета, входящему ко мне Глумову.

— А у меня — вчера унесли,— приветствует меня и он в свою очередь.

— У меня Сидор Кондратьич унес, а у тебя кто?

— У меня? а прах их знает! Говорят на Ивана Иваныча, да я не верю. Впрочем, и ты, любезный друг, на Сидора-то Кондратьича клевещешь, кажется.

— Как клевещу! Сказывают, что за день перед тем, как объявиться, он сто тысяч унес, веселый такой был!

— Не в том дело. Ведь и мой Иван Иваныч третьего дня уйму денег унес, а сегодня все-таки ни ему, ни семье его жрать нечего!

— Черт знает, однако, что ты говоришь! Куда же он деньги девал?

— Угадай, любезный, подумай! Ты ведь любишь помечтать на тему: кабы у бабушки... ну, и потрудись!

— Да и тебе, пожалуй, не мешает подумать!

— Нет, брат, я давно уж думать оставил. Живу просто... ну, живу — и шабаш!

Глумов остановился против меня, пристально взглянул мне в глаза и запел: ah! ah! que j'aime, que j'aime les milimilimilitairrres![1]

— Вот как я нынче живу!— прибавил он,— и вчера в «Буффе» был, и сегодня Гранье пойду слушать! Люблю, братец, я, люблю эту французскую беспардонность, ибо подобие земного нашего странствия в ней вижу!

Но шутка Глумова даже улыбки не вызвала на мое лицо. Я человек аккуратный и счет деньгам знаю. Сверх того, я понимаю (очень многие этого не понимают, а женщины — сплошь и рядом), что если у меня нет в кармане расходных денег, то мне, пожалуй, и обедать не дадут. Так что, ежели я, проснувшись утром, замечаю исчезновение дроби, которую я накануне вечером считал законом предоставленною мне собственностью, то это меня огорчает. А тут, представьте себе, не дроби, а прямо целые числа пропадают, обращаются в нули — каково же должно быть мое огорчение! Да, вдобавок еще, начнешь жаловаться, вопиять — а тебе в упор плоские шутки отпускают, говорят, что Сидор Кондратьич здесь ни при чем! Ведь покуда я был уверен, что третьеводнишние

---

[1] о! о! как я люблю! как я люблю военных! *(фр.)*

мои деньги именно Сидор Кондратьич украл,— все-таки как-то легче мне было! Думалось: можно будет и поприжать молодца! посидит с месяц в Тарасовке (я уж в общую складчину и на кормовые пожертвовал)— смотришь, ан копеечек по десяти и выдавит из себя! А еще с месяц посидит — и еще по десяти копеечек выдавит! Помаленьку да полегоньку, да с божьею помощью, в одном месте давнут, в другом диагностику сделают — гляди, полтина-то и набежала! Полтина... ведь это почти что куш! Полтина... гм... однако ж, только полтина! а другая-то полтина куда же девалась?

Должно быть, много скорби вылилось на моем лице под влиянием этих дум (в особенности же последней), потому что даже черствое сердце Глумова тронулось моим горем.

— Копил, чай?— сказал он голосом, полным участия.

— Как же, братец! Жена, дети... предусматривал тоже... черт знает что такое! Теперь пристают: вот, папаша, всегда вы так делаете! А прежде приставали: папаша! да отчего же вы Сидору Кондратьичу ваших денег не отдадите? ведь он на текущий счет из восьми процентов берет!

— Да, друг, понимаю я это: тяжко! Давеча утром, ни свет ни заря, ко мне совсем неизвестный генерал прибежал; я еще спал, так разбудить велел. Выхожу: что вашему превосходительству угодно? спрашиваю.— Помилуйте! говорит, дедушка мой копил, батюшка-покойник копил, я сам... да-с, сам-с! копил-с! И вдруг какой-то проходимец в одну минуту все это в трубу выпустил! И весь, знаешь, трясется, брыжжет, руками машет: до государя, говорит, дойду!— Жаль, говорю, что ваше превосходительство так, в один миг... да я-то тут при чем?— А вы, говорит, тоже в числе кредиторов значитесь, так не угодно ли на кормовые пожертвовать, чтоб ему, негодяю, впредь неповадно было?

— Ты... подписал?

— И не подумал. Ивана-то Иваныча — в долговое?! Этакого умнейшего, обстоятельнейшего... словом сказать, финансиста?! Ведь я, десять лет сряду, в него, как в провидение, веровал! в церковь не ходил —всё к нему! шептался с ним! перемигивался! душу перед ним выкладывал! Иной раз на сотню выложишь, в другой — на целую тысячу! И чтоб я стал мины под этого человека подводить! Напротив! я все утро сегодня убеждал, что первый наш долг — об семье его позаботиться... и убедил!

— Ну, нет! мы своего Сидора Кондратьича запрятали-таки. И я на кормовые подписался.

— Что ж — и это ничего! правильно! Вы —«правильно» поступили, а мы — великодушно! но ни мы, ни вы одинаково ничего не получим. Зато, кабы ты видел, какой в нем, в Иване-то Иваныче, переворот вдруг сделался, когда он об решении-то нашем узнал! Все воровство вдруг соскочило, одно просветление осталось! И слезы-то, и смеется-то, и губы трясутся, и кланяется (руки, однако, не протягивает: понимает, что недостоин!), и лепечет... Все! говорит, вся моя жизнь, все до последней капли крови — все отныне принадлежит кредиторам! И ежели, говорит, я всего, до последней копейки... о, господи!

— Тсс... А кто его знает, может быть, и в самом деле отдаст!

— Нет уж, что уж! Я, брат, говорил с ним об этом.— Вот, говорю, дружище, в новую жизнь вступаешь!— В новую, говорит.— Ведь это, говорю, все равно что снова с коллежского регистратора начинать... трудно! А впрочем, не ропщи, ежели с усердием да с терпением — пожалуй, и опять в тайные советники произведут.— Ах, говорит, не для себя я, а для господ кредиторов... Господи! кабы только силы да разумения!.. И вдруг — опять слезы, опять губы трясутся, опять просветление.— Отдашь? говорю.— Вот как перед истинным!.. как на исповеди, так и теперь... послал бы только бог силы да разумения...— Ну, да уж где! не отдаст — это верно. Губы он как-то облизывает и глазами врозь смотрит, когда у бога силы и разумения просит. Да и не расчет ведь ему отдавать-то.

— А ты уверен, что у него ничего не спрятано? что семье его, действительно, нечего есть?

— Куска нет — верное слово тебе говорю. Я и об этом с ним разговор имел.— Куда ж, братец, ты деньги девал? спрашиваю.— Ну, и он тоже меня спрашивает: а вы верите, говорит, что я честный человек?— Верю, говорю.— Так вот, говорит, суди меня бог и государь, ни копейки у меня на совести нет!— Подумай, однако, говорю, может, и вспомнишь!— Ничего я не вспомню, и не знаю, и не понимаю! на неосторожность сослаться — не могу, потому что я всегда достаточно осторожен был... Мотать тоже не мотал, так чтоб уж слишком... Известно, квартира была, экипаж держал... ну, повара нанимал! Сами посудите, при моих делах — как же иначе?

— Да, иначе нельзя! Он ведь на биржу ездил, действительных статских кокодесов обедами кормил — нельзя без обстановки ему обойтись!

— Вот ты и суди! Ни неосторожности, ни мотовства — а в трубу вылетел! И даже сам не может объяснить, куда все подевалось!

— Ну, он-то знает!

— Говорю тебе, не знает. Он, брат, ведь глуп. Вот мы с тобой и досужие люди, а в центру попасть не можем — так ему уж куда! Он всю жизнь словно во сне прожил, благо в заведенное колесо попал. Сегодня на биржу, завтра на биржу, сегодня — купить-продать, завтра — купить-продать: вот и премудрость его вся. Мысли — никакой, итоги — по двойной бухгалтерии сведены. Так-то, брат!

— Чудеса!

— Такие чудеса, что вот я, человек уж искушенный, возьму в руки рубль и не разберу, что у меня: полтинник, четвертак или кусочек третьеводнишней афишки. Покажешь извозчику — тот уверяет: рупь! Ну, и слава богу!

— Да, извозчики покуда еще выручают. Крепкий это народ, достоверный!

— Кнут им бог в руки дал — вот они и думают, что, не кормя, на одном кнуте, и невесть куда доедут!

— И доедут. Потихоньку да полегоньку, тут подпругу подтянут, в другом месте шлею подправят, в третьем — просто хвосты подвяжут: эй вы, соколики!

Сказал я это и задумался. «А как вдруг, со всех четырех ног...» внезапно представилось мне, да так живо представилось, что со всеми подробностями, во всей, так сказать, художественной образности. И кру́ча, и слабосильные разбитые лошади, несущиеся в весь карьер, и гнилой мостишко впереди, и овраг... «Угодят они на мост или не угодят?»— словно молния блеснуло перед моими глазами, и я совершенно явственно ощутил, как волосы шевельнулись у меня на голове.

— Что задумался? пари держу, что образ какой-нибудь художественный сию минуту воспроизвел?— прервал Глумов мою художественную производительность.

— Помилуй! с какой стати!

— Чего уж — вижу ведь я! И руками уперся, и напружился, весь корпус в комок собрал... боишься?

— Да как бы тебе сказать...

— То-то я вижу, что ты словно изловчаешься, как бы головой об столб не угодить... Ничего, брат, бог милостив!

— Милостив-то милостив, а денег нам все-таки не отдадут. Плакали наши денежки! И куда они девались... господи! да куда ж они, в самом деле, девались?

— Куда все прочее девается, туда и они. Вот ты, конечно, струсберговский процесс читал — понял что-нибудь?

— Гм... да... нет, воля твоя, а у Ландау денежки есть!

— Ты как об этом узнал?

— Должны быть у Ландау деньги, должны! Полянский — тот заплакал, а Ландау... есть у него деньги! есть! Это... это, я тебе скажу... Вот как теперича день на дворе, так и это... Нет, этак нельзя!

Я разгорячился и вскочил с места. Коварство Ландау было так очевидно, так осязательно, что фигура его, подробно описанная газетными репортерами, так и металась у меня перед глазами. Полянский — тот, по крайней мере, заплакал, а Ландау...

— Нельзя так! нельзя! нельзя! нельзя!— почти грозно восклицал я.

— Чудак ты, братец! Вдруг закричал, точно из ляписного раствора промывательные ему поставили! А ты образумься, пойми! ведь и у твоего Сидора Кондратьича небось на молочишко осталось, так что ж: копеечку, что ли, на рубль тебе получить хочется?

— Нет, тут не об копеечке речь, а о принципе! Нельзя так! нельзя!

— Нельзя да нельзя — что нельзя-то?

— Воровать нельзя! запрещается воровать! Да-с, запрещается-с!

— Запрещается — а воруют! Нет, уж ты выйди лучше на площадь, закричи «караул»— может, и полегчит!

Слова эти как будто отрезвили меня, но не вдруг, однако. Некоторое время утроба моя еще колыхалась, и я совершенно явственно слышал, как в ней урчало: нельзя! Но так как я человек впечатлительный, то минуты через две мне уж самому казалось несколько странным, с чего я вдруг так разгорячился. Как будто и в самом деле до того уж меня ущемило от того, что на днях какие-нибудь три-четыре цифры, по недоразумению, обратились в нули! Пожалуй, со стороны могут еще подумать, что я жадный... Я-то жадный! Я-то!.. да вот у меня выкупное свидетельство осталось — два их было, да одному Сидор Кондратьич на днях другое назначение дал — ну, хотите, я это самое выкупное свидетельство сейчас же, сию минуту...

На мое счастие, Глумов прервал течение моих мыслей и не дал совсем уже созревшему порыву самоотвержения вылететь из груди.

— Ну, вот, теперь у тебя восторженность какая-то в ли-

це явилась,— сказал он,— опять, должно быть, художественную картину воспроизвел!

— Ах, отстань, пожалуйста! преотвратительная это у тебя привычка — выражение лица подглядывать!

— Зачем подглядывать — прямо видно! Пари держу, что еще минута, и ты закричал бы: «Человек! шампанского!» Ну-ну, не сердись, не буду! Ты об «червонных валетах» имеешь понятие?

— Знаю.

— Так вот, по-моему, отличнейший наглядный пример. Полянский, Ландау — это, положим, загадочные люди, а в «червонных валетах» даже загадочности никакой нет. Все известно: и сколько наворовали, и где сколько истратили,— все есть! Только одного не видать: каким образом тысячные документы в десятирублевые бумажки превращались.

— Ну, ка́к не видать?

— Именно не видать. Украл он, положим, облигацию или документ в тысячу рублей выманил — ну, известно, первым долгом в трактир наведался, документ за буфет разменять послал, просидел три-четыре часа за полштофом — смотрит, ан у него в руке только десятирублевая бумажка зажата! Ну, и опять, стало быть, завтра воровать надо!

— Наел да напил, может быть?

— Нет, и этого не было, потому что у них ведь водка главную роль играет — куда же тут тысячу рублей рассорить! А так вот: один взял с него куртажные, другой — за «поворованное» учел (как прежде за постоялое да за полежалое брали), третий — за то взял, что у таких парней и бог не велел много денег оставлять, четвертый — за то, что воров князьями да графами величал, пятый — за то, что в участок не препроводил... Так она и разошлась вся, тысяча-то, словно невидимый дух ее разнес.

— Да, но ты все-таки можешь объяснить себе, куда она разошлась. Эти первый, второй, третий, которых ты сейчас назвал,— все-таки они воспользовались!

— Нет, и они не воспользовались, потому что и с каждым из них та же история завтра повторится. Опять пойдут и куртажные, и за «поворованное», и за величание... А послезавтра уж с тех возьмут, которые вчера взяли... И выйдет на поверку, что из тысячи-то рублей — на сто, много на двести пропито да проедено, а прочее всё на различные невещественные статьи изведено.

— Так что в результате окажется, что вор для того только и ворует, чтоб издержки воровства покрыть? Это, что ли, ты хочешь сказать?

— Именно. А сверх того, еще и то, что ежели бы воры понимали, из-за какой малости они беспокоят себя, так, право, девять десятых из них давно бы эту привычку кинули.

— Да ты, никак, даже жалеешь их?

— Да, заправских воров, тех, которые, со взломом или без взлома, но во всяком случае рискуют своими боками и заранее знают, что не попасть им в места не столь отдаленные нельзя,— тех жалею. А об тех, которые крадут невидимо, которые занимаются только тем, что мой рубль, с божьею помощью, обращают в полтинник,— об тех ничего не говорю: еще не вник.

— А по-моему, так и в заправском воре ничего достойного симпатии нет.

— Ремесло у него тяжелое — вот что. Украсть на полтинник, а измучиться на сто рублей — разве это не каторга? Особливо ежели кто еще не забыл, что он в благородном пансионе воспитание получил.

— Например, твой Иван Иваныч?

— А как бы ты думал! Вот я тебе давеча говорил, что у него даже руку кредиторам подать смелости не хватает! у него, которому не дальше как третьего дня стоило только пальцем поманить, чтоб вся эта ватага, сложивши на груди руки крестом, в умилении внимала, ка́к он, понюхивая табачок, бормочет: купить-продать, продать-купить! Нет, про́пасть еще в нем совести, про́пасть! Уж по одному этому, по одной этой несмелости, ты можешь угадывать, какую он ночь должен был провести накануне того дня, как ему «объявиться» пришлось! Чай, и детство-то всё, и невинность вся прошлая, и папенька и маменька, и первая любовь (он за «нею» двадцать тысяч взял, и тут же их, вместе с прочими, ухнул) — всё, всё перед глазами его пронеслось! Это уж не художественные инстинкты всполошились, а кровь, собственная кровь заговорила! И прибавь к этому: он даже не украл, в строгом смысле слова, а только не оправдал доверия... Почему же он совестится и держит себя так, как будто в самом деле украл?

— Да, да, в благородном пансионе воспитывался, похвальные листы получал... Вот и «червонные валеты», и они тоже...

— И их две трети из «питомцев славы»— знаю я и это. Помнишь Дмитриева:

Твои сыны, питомцы славы,
Прекрасны, горды, величавы,
А девы — розами цветут.

— Как же! Как же! Перед приходом твоим только что вспомнил! А помнишь ли, как ты последний стих переделал: *И девок розгами секут?* Видно, мы уж с малолетства «славу»-то в смешном виде любили представлять!

— Ну, что было, то прошло. Нынче ни того, ни другого уж нет: ни девы розами не цветут, ни девок розгами не секут. Разве под пьяную руку на Козихе, да и то — что́ за радость, как на мировую пятьдесят рублей сдерут!

— Да, некрасивая это штука — «червонные валеты», и не поздоровится от нее «питомцам славы»! А для меня, признаюсь, еще того прискорбнее, что на скамье подсудимых опять будут фигурировать дети Москвы. Давно ли сидели струсберговцы, давно ли гремели адвокаты, доказывая, что они-то и суть излюбленные люди, дети Москвы, и что иных детей Москва отныне и производить не может,— и вот, точно еще недоставало для полноты картины: опять дети, да вдобавок еще... «червонные валеты»!

— И заметь, что если относительно струсберговцев нужно было еще доказывать, что они — дети Москвы, то тут даже доказательств никаких не потребуется. Прямо валяй стихами:

В каком ты блеске ныне зрима! —

всякий присяжный заседатель чутьем поймет.

— И представь себе, что ведь это та самая Москва, которая впервые собрала Русь...

— А теперь собирает «червонных валетов»? — представляю! Но, во-первых, такому городу, который сам себя называет «сердцем России», надо же что-нибудь собирать, а во-вторых, опять-таки повторю: я и вообще ничего против господ воров не имею, а «червонных валетов» — даже люблю. Русские парни душевные, разымчатые! Не мошенничество у них на первом плане, а выдумка и смешной вид — где, в какой другой стране ты это найдешь? И притом скромны... ну, право же, скромны! украдет красненькую, четвертную — и будет! И сейчас же спешит из этой красненькой уделить рубль тому, кто его графчиком назовет! Спроси-ка об них у трактирных половых, у извозчиков — все в один голос скажут: душевные господа — первый сорт господа! Нет! право... не знаю, как ты, а я чем больше с ними зна-

комлюсь, тем чаще говорю себе: хорошо с такими парнями недельку-другую пожить — утешат!

— Ну, меня не особенно к ним тянет!

— Это оттого, что ты в Петербурге засиделся, освежаться редко ездишь. А в сущности, что такое Петербург? — тот же сын Москвы, с тою только особенностью, что имеет форму окна в Европу, вырезанного цензурными ножницами. Особенность, может быть, и пользительная, да живется при ней как-то уж очень невесело.

— А по-твоему, лучше в Москве? по-твоему, весело, как над тобой, как над дураком, утешаются, да тут же, с хохотом и с визгом, и существование твое кстати подрывают?

— Дураком никому не весело быть — это я знаю, да ведь не в том и задача веселых русских «выдумок», чтоб «дураку» было весело, а в том, чтоб вот у них, разымчатых парней, сердце играло, да и посторонние чтоб не очень обижались, что в их глазах с прохожего человека пальто снимают. Русский человек любит смешной вид и многое за него прощает — как ты хочешь, а что-нибудь это да значит!

— А именно?

— Да хоть бы то, что русский человек не видит мирового события в явлении, которое само по себе ломаного гроша не стоит; не кричит, не мстит, не хранит затаенной злобы, а может быть даже,— инстинктивно, разумеется,— связывает с этим явлением своего рода внутренний вопрос... Согласись сам, можно ли сердиться, например, на такую выдумку, об которой я на днях от одного москвича слышал. Встречается «червонный валет» в трактире или в другом публичном месте с иностранцем и, разумеется, как малый общительный, вступает с ним в разговор. Не забудь, что «червонный валет» хоть и «вор», но это отнюдь не мешает ему быть обворожительным молодым человеком. Манеры у него — прекрасные, разговор — текучий, и при этом такие обстоятельные сведения о Москве, об ее торговле, богатствах, нравах, обычаях и прочее, которые прямо свидетельствуют о всестороннем и очень добросовестном изучении. Иностранец тем более очарован, что с этими манерами и сведениями соединяется безграничный досуг и чисто славянская готовность услужить, успокоить человека, находящегося вдали от родины, среди чужих. Мало-помалу — конечно, не в один и не в два дня — очарование приносит желаемый плод: иностранец, в свою очередь, делается излиятельным. Происходит обмен мыслей, произносятся жалобы на обилие за границей капиталов, делающее помещение их до

крайности затруднительным, и в результате оказывается, что Россия есть единственная в мире благословенная страна, в которой капитал, без труда (ежели не украдут), может приносить очень серьезный процент. Как только разговор установился на этой почве, так «червонный валет» уж смотрит на своего собеседника, как на «фофана». И вдруг — мысль! продать этому «фофану» казенные присутственные места. Сказано — сделано. Весь клуб «червонных валетов» в движении: один бежит к эзекутору присутственных мест и предупреждает его, что на днях его посетит знатный иностранец, интересующийся вопросом о чижовках вообще и московских в особенности; другой — наскоро нанимает помещение и устраивает в нем псевдонотарияльную контору; третий — спешит щегольнуть такими фальшивыми документами, чтоб лучше настоящих были; четвертый — приготовляется разыграть роль владельца-продавца; пятый, шестой — просто радуются и думают: вот-то удивится «фофан»! Словом сказать, все заняты и всем весело. В назначенный день происходит осмотр; экзекутор, как истинно гостеприимный хозяин, показывает: вот чижовка! вот еще чижовка! и еще, и еще, и еще чижовка. Червонный валет служит при этом переводчиком, стучит кулаком об стену и говорит: милорд! посмотрите, какая толщина! Потом едут к нотариусу, получают с иностранца задаточные деньги, провожают его в гостиницу, и затем — все исчезает. Ни нотариуса, ни очаровательного молодого человека, ни владельца дома — ничего. Остаются лицом к лицу: экзекутор, который еще раз готов казенные чижовки лицом показать, и знатный иностранец, который никак не может втолковать экзекутору, что он этот дом купил и надеется получать на свой капитал не меньше десяти процентов... Скажи по совести: будь ты в числе присяжных заседателей, неужели ты мог бы рассердиться на такую «выдумку»?

— Да ведь сердиться и не требуется; требуется только сказать, совершено ли мошенничество, о котором идет речь, или не совершено?

— То-то, что не это одно. Нужно и еще на вопрос ответить: виновен ли такой-то в совершении мошенничества или невиновен?

— Конечно, виновен! тут и сомнения не может существовать!

Признаюсь, я сказал это хоть и бойко, но насколько было в этой бойкости искренности — это еще вопрос. Как ни странным это может показаться, но рассказ Глумова о про-

даже здания присутственных мест произвел во мне некоторое раздвоение: с одной стороны, представлялась законопреступность деяния, с другой — выдумка. Ежели первая стояла вне всяких сомнений, то вторая... можно ли, при обсуждении дела, в котором главную роль играет «выдумка», обойти эту «выдумку»? справедливо ли исключить ее из счета обвиняемого? На всякий случай предположите, например, что, по беспримерной снисходительности суда, в числе прочих вопросов, предложенных на разрешение присяжных, значится следующий: «заключает ли в себе выдумка об отчуждении здания казенных присутственных мест настолько завлекательности, чтоб заинтересовать людей, коих природное веселонравье в значительной степени возращено и выхолено полученным в благородном пансионе воспитанием?» — что могут ответить на него присяжные?

По моему мнению, тут может произойти одно их двух: или присяжные, убоясь скандала, попросят их от ответа уволить, или же они сойдут в глубины своей совести и, не найдя там ничего, кроме веселости, вынесут ответ: «Да, выдумка достаточно завлекательна». Это будет, конечно, скандал, но скандал ведь и в первом случае неминуем, потому что самое отступление перед трудностями разрешения доказывает ясно, что вопрос только по форме представляется скабрезным, а по существу затрогивает самые чувствительные струны человеческого существования.

Но, возразит мне читатель, присяжные ведь могут ответить и так: «Нет, ничего завлекательного в выдумке «червонных валетов» не видится». Да, они несомненно могут и так ответить, но клянусь, что подобным ответом они всетаки отнюдь не избегнут скандала. Ибо, кроме официальных присяжных, в зале суда присутствует еще целая толпа присяжных неофициальных, которые, наверное, найдут вынесенный приговор не только противоречащим веяниям времени, но и прямо кляузным. «Суди, да не засуживай!» — вот общий голос, который вынесется навстречу мертворожденному решению, и я, право, не знаю, насколько выиграет от этого «институт» присяжных.

— И их, разумеется, поймали? — продолжал я, обращаясь к Глумову.

— Разумеется, поймали, и притом со всеми онёрами: с раскаянием, с разоблачениями, с детскими противоречиями. Но ты вот что сообрази: во-первых, они взяли со знатного иностранца за свою выдумку не больше четырех-пяти тысяч рублей, что, при разверстке между членами братства

и за исключением издержек, дало не более полутораста — двухсот рублей на человека; во-вторых, они всё дело вели почти открыто, и не только не заметали своих следов, но, наверное, отпраздновали свою победу над «фофаном» самым шумным образом и притом непременно в таком месте, куда самая простодушная полиция — и та получила свободный доступ. Разве таковы признаки настоящего мошенника? Мошенника современного закала, например, который прямо из кармана не ворует, а невидимо превращает рубль в полтинник, не оставляя за собой ни поличного, ни ответчиков, ни даже истцов?

— Хорошо, оставим на время «червонных валетов». Какое же, по-твоему, средство избавиться от того невидимого вора, о котором мы сейчас упомянули? Каким образом так устроить, чтоб хоть завтрашний-то день, благодаря ему, не стоял перед нами угрозой?

— Ты это насчет того, что ли, чтоб завтра было что дать на расход кухарке? ну, на это и без экстренных мероприятий средства еще найдутся.

— Нет, ты не шути, тут не о кухарке речь, а вообще... Жить сделалось неловко — вот что! Деньги — какие-то загадочные сделались, кредита — нет... Прежде вот «портфёль», был, ну, «баланс» тоже, а теперь, сказывают, и «портфёль», и «баланс» — всё потеряли.

— На этот счет я могу тебя успокоить: обращено внимание!

— Слава богу! Ты разве слышал что-нибудь?

— Достоверно знаю. Вчера, как из собрания кредиторов шел,— Левушку Коленцова встретил. «Поздравь меня, говорит, я уж в Семиозерск не еду!» — Что́ так? говорю, то охотился, а теперь вдруг... «Другая миссия представляется, говорит. Entre nous soit dit[1], на днях имеет быть возбужден... ну, вот, насчет этого «портфёля»... так я»... И назвал мне такую миссию, и с таким, братец, содержанием, что я, от удовольствия, пальцем его прямо в живот ткнул!

— Ну, хорошо... ну, будет, положим, комиссия... что же эта комиссия сделает?

— Да печаль твою рассеет — и то хорошо. «Портфёль» отыщет, «баланс» подведет...

— Поди, чай, опять сто один том «Трудов» издадут?

---

[1] Между нами будь сказано *(фр.)*.

— Уж это само собой!

— Прескверная эта привычка у наших комиссий... Да притом и «Труды»-то... представь себе, ведь Левушка Коленцов участие в них принимать будет!

— Доверия, что ли, в тебе он не возбуждает? — напрасно! Не знаю, как насчет «баланса», а насчет «портфёля» ему бог такой разум дал, что он любого финансиста за пояс заткнет!

— То́-то, что только насчет «портфёля»!

— А ты не торопись! сперва пускай «портфёль» сыщет, а потом догадается, что и без «балансу» нельзя — и «баланс» поднесет.

— То-то на экономических обедах радость будет! Только, воля твоя, а у меня эти сто один том «Трудов» из головы не выходят. Покуда они потрошат, да соображают, да округляют...

— А мы будем жить, время проводить. Вот об струсберговцах еще забыть не успели, а уж «червонные валеты» грядут! И не увидим, как время пролетит!

— Но ведь ты сам сейчас говорил, что в общественном смысле, как знамение времени, значение «червонных валетов» — неважное!

— И все-таки! Конечно, в громадном процессе отнятия и исчезновения, охватившем вся и всё, роль этих молодых людей второстепенная и эпизодическая, но не забудь, что бо́льшая часть их еще очень недавно называла себя «питомцами славы», «детьми Москвы» и другими звонкими именами, какие нынче даже и адвокату на язык не вдруг взбредут. Ведь это тоже чего-нибудь да стоит! Так вот ты и займись ими, пока Левушка Коленцов будет «портфёль» и «баланс» отыскивать. А о прочем не тужи и, главное, не копи денег, потому что Сидор Кондратьич, коли захочет,— всё равно отнимет!

Я решился последовать совету Глумова. Хоть я и уверен, что все идет к лучшему в лучшем из миров и что не только «портфёль» с «балансом», но со временем даже и «стыд» будет отыскан (недаром Глумов говорит: стыд — это главное! покуда «стыда» не будет — ничего не будет!), но, в ожидании этих благ, время все-таки проводить надо. Так я и поступаю. Сегодня — окриляюсь надеждами; завтра — увядаю. Один день читаю в газетах: усилия г. Коленцова, по-видимому, близки к осуществлению, и есть надежда, что

не только портфёль будет отыскан, но и баланс подведен. А на другой день в тех же газетах читаю: с появлением на сцену новых действующих лиц, гг. Бритнева и Юханцева, надежды г. Коленцова рассеялись как дым. Портфёль вновь исчез, и на этот раз, кажется, безвозвратно...

А время между тем идет да идет. И все, слава богу, живы.

ПОХОРОНЫ

Скучно жить на свете, господа!

Гоголь

Мы уныло шли за траурными дрогами, изредка только перебрасываясь отрывочными замечаниями. Быть может, нам не об чем было беседовать друг с другом (хотя почти все, составлявшие печальный кортеж, были по профессии литераторы, но, может быть, и самая обстановка, среди которой совершалась погребальная церемония, располагала к угрюмой сосредоточенности.

Хоронили Пимена Коршунова, русского литератора, не особенно знаменитого, но и не вовсе безвестного — та́к, средней руки. Хоронили на счет семидесяти пяти рублей, которые ассигновал Литературный фонд, предварительно, впрочем, удостоверившись, что покойный пил водку только перед обедом и «не предаваясь». Стояло хмурое октябрьское утро, но, благодаря наступившим морозам, на улицах было сухо и слегка скользко; низко, почти над самыми домами, стояла непроглядная масса серых облаков, из которых попархивал первый снежок. Близких по крови у Коршунова не было, из близких по духу собралось на похороны четыре-пять сотрудников газеты, в которой, под конец жизни, участвовал покойный. Эти последние ближе жались к гробу, но и их горесть формулировалась как-то чересчур несложно, словно одна только мысль и представлялась уму: вот и умер! Вообще весь кортеж состоял из пятнадцати — двадцати человек, разбившихся по группам. Всем было не по себе, все шли понуривши голову, как будто каждый думал: вот скоро надорвусь и я... да и над чем надорвусь!! Только какой-то проворный газетчик, ликуя под впечатлением успешной розничной продажи, порхал от группы к группе и таинственно сообщал всем, и хотевшим, и не хотевшим слушать: вчера разошлось двадцать восемь тысяч нумеров!

На Театральной улице, против дома, где помещается цензурное ведомство, отслужили литию. Сам покойный пожелал этого и накануне смерти говорил: пускай хоть по поводу моего переселения в лучший мир совершится сближение литературы с цензурой! Во время литии цензурный сторож пронес в ворота ведро алых чернил, и кто-то громко,

без предварительной цензуры, сострил: вот писательская кровь, невинно пролиянная! Но и эта острота ни в ком не вызвала отголоска, и затем кортеж убийственно медленным шагом потянулся дальше.

Чувство бесконечной отчужденности и наготы овладевало всяким при взгляде на эту бедную обстановку. Думалось, что везут какого-то отщепенца, до которого никому из «публики» дела нет (а он именно для «публики»-то и жил, и ради «публики» безвременно зачах и сошел в могилу). Да и своих не особенно поражала эта потеря, потому что «свои» уж давно освоились с могилами. Даже больше, чем просто «отщепенство», тут виделось: казалось, что только по ошибочному неизреченному благосердию допущена эта бедная церемония, предметом которой служила совершенно особенная и притом не вполне безопасная человеческая разновидность, именуемая русским писателем.

По мере того как дроги приближались к месту назначения (Митрофаниевское кладбище), кортеж, и без того немноголюдный, постепенно редел. Одни разбрелись по попутным кондитерским и кухмистерским, обещавшись «нагнать»,— и не нагнали; другие окончательно возвратились по домам, мотивируя свое отсутствие спешностью предстоящей срочной работы. У Обводного канала оказалось налицо не больше шести-семи человек, которые прежде не догадались, а теперь уж совестились улизнуть. Обстоятельство это, однако ж, послужило к оживлению кортежа; оставшиеся скучились, и беседа между ними пошла бодрее. Но предметом этой беседы служил не Пимен Коршунов («он умер» — этим все было сказано), а то, что наболело на душе у каждого, что у всех на памяти свело в могилу десятки надорвавшихся людей, что каждого из переживших преследовало по пятам, устраняя всякую мысль о возможности освободиться когда-нибудь от ига жгучей боли.

О, литература! о, змея-мачеха всех этих отщепенцев! ты, постылая! ты, напояющая оцтом и желчью сердца своих деятелей! ты, ты была предметом их внезапно оживившегося собеседования! Много сетований, много гнева слышалось в их речах, но еще больше бесконечной любви к постылому ремеслу и какой-то детской уверенности, что все-таки только тут, на этом тернистом пути, кишащем всевозможными гадами, можно спасти душу.

Разумеется, начали со слухов, имевших ближайшее прикосновение к современности. Какое отношение может иметь эта животрепещущая современность к литературе? чего

нужно ждать? будет ли лучше? Все эти вопросы как-то искони фаталистически тяготеют над литературой, а по временам врываются в нее с особенною назойливостью. Натурально, что они перенеслись и сюда. Кто-то из собеседующих высказался, что лучшие времена недалеко и что ввиду этого требуется только осторожность и терпение; но остальные отнеслись к этим надеждам скептически, хотя терпеть соглашались, потому что «не терпеть»— нельзя. Один даже такой выискался, который прямо объявил, что надеяться можно только на розничную продажу, а больше ни на что; что современные условия литературного ремесла таковы, что самое существование литератора представляется чем-то несовместным с здравыми традициями о внутреннем убеждении; что вообще, если относительно массы смертных принято говорить: благо живущим, то в применении к русским писателям правильнее выражаться так: благо умирающим, и еще большее благо — умершим. Высказавши это, он указал рукой на колебавшийся впереди на дрогах гроб, и это напоминание невольно вызвало у некоторых чуть заметную дрожь.

— Я не говорю уже о том,— продолжал расходившийся оратор,— что мы терпим от глада и труса, что мы живем чуть не в засаде, но мы не знаем даже, для чего и для кого мы пишем. Кто нас слышит и что извлекает этот слышащий из обращенного к нему слова? Многие из нас готовы положить душу (да и действительно полагают ее) «за други своя», а кто знает об этом? Кто отличит страстного литературного труженика от легковесной литературной балалайки, которая, по случаю распутной подвижности темперамента, готова сватать себя любому проходящему? Кому вдомек, что где-то, в какой-то лишенной света и воздуха литературной норе, ежемгновенно совершается жертвоприношение, при котором сердце истекает кровью и сгорает многострадальная писательская душа под бременем непосильных болей?

Речь эта несомненно страдала некоторыми риторическими преувеличениями, но сущность ее была небезосновательна. Стали разыскивать: что такое русская публика? из каких элементов она составляется? кто эти прекрасные незнакомцы, ради которых русский писатель волнуется в своей конуре? С какими намерениями они подписываются на журналы, покупают книги? что они вычитывают в этих книгах? может быть, видят в них только пресловутую «фигу»? а может быть, кроме «фиги», и видеть-то нечего?

— Ах, господа, господа! — вздохнул кто-то, когда дело дошло до «фиги», как мерила для оценки содержания русской книги.

Что современная русская литература небогата силами — это, конечно, не подлежит сомнению. Но не в этой относительной бедности скрывается главная беда. Есть нечто гнетущее, что́, при самом рождении, кладет на русскую мысль своеобразную печать. Литература наша и доднесь представляет два совершенно отличные типа: с одной стороны, недоконченность, невысказанность, боязнь; с другой стороны — такая ясность, которая равносильна наглости, доведенной до разврата. Очевидно, в воздухе носится еще крепостное право. Оно провело заповедную черту, под которой похоронило громадное количество явлений и закупорило наглухо целые мириады существований, которые бьются где-то на дне, тщетно усиливаясь выйти на божий свет. И оно же вызвало и пригрело бесчисленное множество литературных паразитов, которые с изумительным легкомыслием вливают яд распутства в русский жизненный обиход.

Да, крепостное право упразднено, но еще не сказало своего последнего слова. Это целый громадный строй, который слишком жизнен, всепроникающ и силен, чтоб исчезнуть по первому манию. Обыкновенно, говоря об нем, разумеют только отношения помещиков к бывшим крепостным людям, но тут только одна капля его. Эта капля слишком специфически пахла, а потому и приковала исключительно к себе внимание всех. Капля устранена, а крепостное право осталось. Оно разлилось в воздухе, осветило нравы; оно изобрело путы, связывающие мысль, поразило умы и сердца дряблостью. Наконец, оно же вызвало целую орду прихлебателей-хищников, которых деятельность так блестяще выразилась в бесчисленных воровствах, банкротствах и всякого рода распутствах.

Само начальство изнемогает под бременем борьбы с этим недугом. Возьмем для примера хоть литературу: кажется, ей дана самая широкая свобода, а между тем она бьется и чувствует себя точно в капкане. Во всех странах, где существует точь-в-точь такая же свобода,— везде литература процветает. А у нас? У нас мысль, несомненно умеренная, на которую в целой Европе смотрят как на что-то обиходное, заурядное,— у нас эта самая мысль колом застряла в голове писателя. Писатель не знает, в какие чернила обмакнуть перо, чтоб выразить ее, не знает, в какие ризы ее одеть, чтоб она не вышла уж чересчур доступною. Кутает-кута-

ет, обматывает всевозможными околичностями и аллегориями, и только выполнив весь, так сказать, сложный маскарадный обряд, вздохнет свободно и вымолвит: слава богу! теперь, кажется, никто не заметит!

Никто не заметит? а публика? и она тоже не заметит? ужели есть на свете обида более кровная, нежели это нескончаемое езопство, до того вошедшее в обиход, что нередко сам езопствующий перестает сознавать себя Езопом?

Дойдя до этого заключения, все отдали полную справедливость либеральным намерениям начальства. Не начальство стесняет — оно, напротив, само неустанно хлопочет — стесняет сама жизнь, пропитанная ингредиентами крепостного права. Что может начальство противу разнообразных и всемогущих влияний, которые, подобно бесчисленным электрическим токам, со всех сторон устремляются к одному центру — литературе? что может оно ввиду громов, готовых разразиться каждоминутно и неведомо по какому поводу? что может оно, наконец, ввиду того литературного распутства, которое ревниво комментирует мысль противника, а по временам не откажется и прилгать?

Вот почему покойный Коршунов никогда не роптал на литературное начальство, хотя, как человек грешный, иногда и любил ввести его в заблуждение.

— Поддержать, брат, нас некому — вот в чем беда!— сколько раз говаривал он мне,— читатель у нас какой-то совсем особенный, словно не помнящий родства: ни любовь его, ни негодование — ничто в грош не ставится!

Когда я напоминал об этих словах покойного, то все опять принялись разыскивать, из каких элементов состоит русская читающая публика. Перечисляли, перечисляли (выходило как-то удивительно разношерстно по внутреннему содержанию и однообразно по костюму) и в конце концов опустили руки. В заключение рьяный оратор, который так красноречиво говорил о писательских жертвоприношениях, каким-то болезненно-надорванным голосом крикнул:

— Читатель! русский читатель! защити!

Но возглас этот потерялся в шуме деревьев, охраняющих Митрофаниевское кладбище.

Мы были у цели. Церковь была полна народа и гробов. Гробы были почти сплошь бедные, только одна усопшая раба божия Пулхерия, 1-й гильдии купчиха, смиренно возвышалась на катафалке, против самого алтаря, в богато изукрашенной домовине. По ее поводу за обедней пели «хорошие» певчие, и, благодаря этому обстоятельству, и Пимен

воспользовался сладкогласным пением. Мы скромно поставили нашего друга поодаль и терпеливо ожидали очереди. Нашелся добрый батюшка из недавно кончивших курс, который посвятил себя умершему литератору и сказал, по поводу этой смерти, увенчавшей отверженное существование, отличнейшее, полное глубокого сострадания слово. О, Пимен! если бы ты мог из своей домовины слышать эти простые, полные любви слова, ты, наверное, по великой своей скромности, воскликнул бы: батюшка! я человек маленький, и, право, рисковать из-за меня...

Наконец мимо нас пронесли с парадом усопшую 1-й гильдии купчиху Пулхерию, и церковь мало-помалу начала пустеть. Вынесли и мы своего покойника, шли довольно долго между рядами памятников и решеток и наконец нашли уголок, в котором готова была свежая могила. Через полчаса все было кончено.

С кладбища мы зашли было в одну из ближайших кухмистерских, где обыкновенно устраиваются поминальные торжества, но минут с пять потолкались перед буфетом, поглазели на собравшуюся публику и, не совершив возлияния, разбрелись по домам.

Я знал Коршунова довольно хорошо. Это был человек всецело литературный, живший одною жизнью с русской литературой, не знавший никаких интересов, кроме интересов литературы, не вкусивший ни одной радости, которая не имела бы источником литературу. Он с жадностью следил за всеми подробностями литературного движения, за всякой литературной полемикой; он ничего не знал, ни с чем не хотел иметь общения, кроме литературы. Ныне этот тип мало-помалу исчезает, но еще в недавнее время таких людей встречалось достаточно. Я не могу сказать наверно, насколько ценны и существенны были интересы, их волновавшие, но наверно знаю, что, только благодаря их горячей преданности, их беззаветной, не поддавшейся никаким невзгодам любви, их самоотверженному долготерпению, русская литература не прекращала своего существования.

Эти люди на весь мир смотрели лишь постольку, поскольку он представлял материал для литературного воздействия. Многие, даже в то глухое время, над этим посмеивались. Говорили: вы всё с вашими мизерными литературными интересишками носитесь. Ну, что такое ваша лите-

ратурная бессильная стряпня в сравнении с плавным и неусыпающим движением административного механизма! Вот где истинный центр жизни, вот где настоящее жизненное творчество! А задача литературы — забавлять и безвредным образом занимать досуги читателей.

В то время такого рода приговоры считались безапелляционными. В любом указе губернского правления предполагалось больше творческой силы, нежели, например, в произведениях Гоголя. И точно: указ губернского правления объявлял о рекрутском наборе, напоминал о своевременном вносе податей, предписывал о пополнении продовольственных запасов, предупреждал, угрожал, понуждал. Словом сказать, и прямо, и косвенно врезывался в жизнь множества людей: одним давал возможность тучнеть, других заставлял вытягиваться в струнку. Напротив того, действие повести Гоголя, относительно большинства читателей, ограничивалось только взрывом хохота, и только в редких случаях производило что-то похожее на отрезвление. Но для того чтоб оценить это отрезвление, надобно было самому быть уже достаточно трезвым.

Коршунов и подобные ему очень хорошо понимали, какая область им отмежевана. Они нимало не обижались мнениями о ничтожестве литературных «интересишков», в сравнении с величественным воздействием административного механизма, а просто приняли их к сведению. Но зато они ушли в раковину и уже упорно не выходили из нее. Однажды убедившись, что жизнь есть администрация, они относились к ней отчасти робко, отчасти как к чему-то фантастическому, заповедному и не поддающемуся анализу. Сонное видение, которое подчас могло воплотиться и ушибить,— вот в чем заключалось представление о жизни в понятиях тогдашних литературных пустынников.

Все существование литературного подвижника проходило в этой отчужденности, посреди которой душа человеческая не знала иного идола, кроме литературного «делания». Все жизненные силы и привязанности были сосредоточены тут, а остальной мир, даже мир близких по крови и воспитанию, представлялся как бы бессодержательною формой, которая напоминала о себе лишь в качестве докучного спутника, навязанного слепою судьбой. Но эти не особенно блестящие труженики были люди свободные духом и вполне чистые сердцем, в которых литература нуждалась едва ли не больше, нежели в личностях, бьющих в глаза своею блестящею одаренностью. Повторяю: если бы их не

было, литература перестала бы существовать. Они имели бесповоротные привязанности и бесповоротные вражды; они и любили, и ненавидели одинаково беззаветно и страстно. Тогдашняя литература как-то сама собой поделилась на два лагеря; причем не допускалось ни смешений, ни компромиссов, ни эклектизма. Говорят, что это было односторонне; но лучше ли было бы, если бы существовала разносторонность,— в этом позволительно усомниться. По крайней мере, довольно странно представить себе Белинского, от времени до времени понюхивающего с Булгариным табачок. Во всяком случае, если это и была односторонность, то она спасала литературу от податливости. Ежели и в наши дни тяготение к дому терпимости составляет, по мнению некоторых, язву, которая подтачивает лучшие основания литературной профессии, то можно себе представить, что было бы, если бы это тяготение существовало — тогда?

К счастию, тогда была замкнутость, явление, конечно, не особенно плодотворное, но охранявшее литературный декорум и положившее начало некоторым литературным преданиям, на которые не без пользы можно ссылаться и ныне. Право, не без пользы.

Коршунов пробавлялся почти исключительно рецензиями. Да более любезного сердцу дела и подыскать было невозможно, потому что, в то время, в отделе критики и библиографии сосредоточивалась вся жизнь литературы. Пимен не был «критиком», но рецензент из него вышел отличный: цепкий, обладавший фразой и умевший прятать концы в воду. Тогдашние рецензии были своего рода руководящие статьи, имевшие предметом не столько разбираемую книгу, сколько высказ по ее поводу совершенно самостоятельных мыслей. Краткость не была в числе достоинств этих статей, но зато в них всегда что-нибудь «проводилось». Разумеется, очень часто (даже более, чем часто) проводимое, благодаря бесчисленным покровам, под которыми оно скрывалось, было понятно только членам «кружка», но — случайно — оно могло проникнуть и далее. Я заранее соглашаюсь, что теперь ни на одну из этих статей никто не сошлется, что им суждено покоиться безмятежным сном в тех толстых томах, где они увидели свет; но иногда все-таки сдается, что не бесследны они были. В свое время некто над ними задумывался; в свое время они производили в человеческих душах известное наслоение, и притом периодически и всё в одну и ту же сторону. Что нынче они совсем, совсем ненужны — это бесспорно, но тогда...

Не надо забывать, что тогда совсем другое было. Движения имели меньше простора, но зато они были, так сказать, поневоле приурочены, так что область ангельская резко отличалась от области аггельской. Журналов и книг было меньше, но между ними не было межеумков, которые сегодня кажут кукиш в кармане, а завтра раболепствуют. И хоть я не буду утверждать это наверное, но кажется, что и читатель, мало-помалу, узнал, в чем заключается секрет тех бесконечных баснословий, которыми отличалась литература того времени.

Нечего и говорить, что Коршунов был беден, как Ир. Тогдашний журнальный гонорар очень мало походил на нынешний, да сверх того и самое поле литературной деятельности было до крайности ограничено. Трапеза, предлагаемая одним или двумя органами печати (из наиболее распространенных, потому что прочие сами едва дышали), была слишком скудна, чтоб напитать всех желающих. Поэтому те, которые почерпали средства к жизни только в литературном ремесле, положительно бедствовали. Коршунов был бледен и тощ от недостаточного и худого питания, но он не только не жаловался на это, а просто, кажется, забывал, что существует впроголодь. Его волновало совсем другое: невозможность высказаться.

Цензура того времени была строгая и притом разнообразная, разбросанная по всевозможным ведомствам. Я не говорю, чтобы цензора́ были люди жестокие, но они сами постоянно находились как бы на скамье подсудимых, потому что в их сторону отовсюду направлены были стрелы. Ежели прибавить к этому, что, вследствие такой разбросанности цензуры, всякий (даже не цензор по профессии) вычеркивал из корректуры или из рукописи все, что ему лично приходилось не по вкусу, то ясно будет, как мудрено было проскользнуть.

Пишущая братия это знала, и потому всякий замахивался как можно шире, в предвидении, что ежели три четверти и будет выброшено, то все-таки хоть что-нибудь возвратится нетронутым. Даже Булгарин не пренебрегал этим приемом, потому что и в отношении к нему цензура была нелицеприятна. Конечно, никто не считал его «разбойником пера», но так как и он мог провраться, то, следовательно, и из-за него могла выйти «история». Сверх того, он был бельмом на глазу, потому что подсиживал писателей противоположного лагеря, и, стало быть, в то же время подсиживал и цензуру, яко виновную в слабом смотрении. Цензор Крылов всем без-

различно говорил: я никак не желаю, чтоб мне из-за вас лоб забрили! Это было очень похоже на шутку; но какая ужасная шутка! Когда Мусин-Пушкин был назначен попечителем учебного округа, то многие цензора содрогались при одном напоминании об нем и зачеркивали всегда две-три строки лишних. Они усиливались попасть ему в мысль, но, вместо того, часто попадали на гауптвахту, откуда, как известно, недалеко и до рекрутского присутствия. Это был тот самый Мусин-Пушкин, которому некогда профессор Горлов посвятил свой курс политической экономии и в посвящении упомянул о всех чинах, должностях, званиях и орденах своего патрона. Вышла почти целая страница, и я помню, что в школе мы эту страницу певали хором на мотив «верую во единого». Вот какой это был строгий человек, что даже несомненно либеральный партизан принципа laissez passer, laissez faire[1], и тот, как мог, ублажал его. Что же мудреного, если корректура возвращалась к автору не только изъязвленная и вся облитая красными чернилами, как кровью, но и доведеннная почти до степени бормотания. В тогдашнее время эти цензурные проказы назывались «окошками в Европу».

Вот в каком щекотливом положении находилась литература и какую изумительную школу обязывались пройти ее служители! Нынче все это заменено предостережениями и арестом книг и журналов, что́, конечно, несравненно удобнее.

И вот все, что́ не могло прорваться в печать, высказывалось в интимных собеседованиях, имевших чисто кружковой характер. Замкнутость и общие невзгоды удивительно как сближали людей. На эти бедные и скудные вечера так и тянуло. И несмотря на то что почва для собеседований имела характер чисто отвлеченный и что, благодаря общему единомыслию, критики почти не существовало,— все-таки скуки не чувствовалось. Участники расходились с этих вечеров поздно, восторженные, полные ежели не намерений, то какой-то сладчайшей музыки. И будочники (городовых тогда не было) не только не хватали их, но добродушно улыбались, словно понимали, что эти люди совсем занапрасно терпят муку мученскую от своего начальства, которое, в свою очередь, такую же муку мученскую терпит от своего начальства (это была целая лестница). Да, тогдашние будочники ничего не знали ни о подрывании авторитетов,

[1] не стеснять ни в чем свободы *(фр.)*.

ни о потрясении основ, о чем нынче всякий подчасок без малейшего затруднения на бобах разведет.

О, будочники и всех сортов квартальные доброго старого времени! да оскудеет рука моя, если она напишет недоброе слово об вас! Мир и благоволение да почиют над могилами вашими, если вы уж достигли пристани, и да удесятерится ваш пенсион, если вы еще продолжаете пользоваться таковым!

Как бы то ни было, но Коршунов существовал. Три четверти этого существования были поглощены вопросом: пройдет или не пройдет? остальную четверть наполнял ответ: нет, не пройдет. Но иногда случалось нечто чудесное: прошло! совсем прошло! Это была радость; это были те редкие солнечные, теплые дни, которые, по временам, прорываются и среди сумерек туманной петербургской осени.

Да, бывали сладкие минуты, доставляемые и цензурою; но нужно было пройти сквозь целый искус горчайших испытаний, чтоб оценить эту случайную минутную сладость. Нынешняя печать не знает таких минут, потому что она свободна.

Наконец наступила эпоха возрождения. Радовались все, а литература — по преимуществу. Из сфер отвлеченных, заоблачных, она сходила на арену действительности, делалась участницей жизненного праздника, будила общество, ставила вопросы и блюла за их решением. Да, блюла, и даже делала выговоры и замечания. Отовсюду неслись сочувственные отголоски и присылались корреспонденции, спешившие довести до сведения блюстителей возрождения, что

...лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой.
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой...

Литература гордилась этим пробуждением, записывала на скрижалях своих его признаки и приписывала себе инициативу его. Цензура, с своей стороны, тоже не препятствовала общему веселию, хотя в государственном бюджете, по-прежнему, назначалась соответствующая сумма на заготовление красных чернил и карандашей. В конце концов, веселье до того обострилось, что в «Московских ведомостях» г. Валентин Корш объявил прямо: «Живем хорошо, а ожи-

даем — лучше», и с этим девизом переехал в Петербург, где и приступил к редактированию «С.-Петербургских ведомостей».

Пимен не то чтоб порицал общее ликование, а как бы держался в стороне от него. Это многим казалось странным, а между прочим и мне.

— Помилуй, голубчик,— говорил я ему,— как же ты не разделяешь общей радости! Сравни недавнее положение русской литературы с теперешнею почти свободой ее — и ты, конечно, сознаешься, что это уж не фантасмагория, а факт. Во-первых, литература не имеет надобности прибегать к езоповским аллегориям, а может говорить ясным и выразительным языком. Во-вторых, она смело вкладывает пальцы в родные язвы и, не выжидая начальственных по сему предмету мероприятий, сама предлагает средства к уврачеванию. В-третьих, она не только не трепещет перед начальством, но прямо сознает себя силой, с которой нельзя не считаться... Ужели это не победа?

На это он отвечал мне не то уныло, не то загадочно:

— Так-то так, и я, конечно, вместе с прочими, очень признателен начальству за его благосклонную к литературе снисходительность; но, признаюсь, одно обстоятельство тревожит меня.

— Что же тут может тревожить?

— Боюсь я: гаду много в литературе заведется. До сих пор русские писатели держались особняком, а если кто из них и чувствовал в себе поползновение к податливости, то или совестился высказываться, или же понимал, что в результате этой податливости может быть только грош, так что, собственно говоря, и компрометировать себя не из чего. А теперь с этой «практической ареной»— смотри, какая скачка с препятствиями пойдет! Изо всех щелей бойцы вылезут, и всякий непременно будет добиваться, чтоб ему дали возможность товар лицом показать! Ну, и насрамят.

Прежде всего, это было несправедливо и даже как будто своекорыстно. Гадливость, высказанная Коршуновым относительно бойцов, выползающих из щелей, показалась мне до того неожиданной, что в голове моей невольно мелькнула мысль: уж не стоит ли он на страже литературного единоторжия? Но не успел я надлежащим образом формулировать мой вопрос, как он, Пимен, уже угадал его.

— Нет, я не об этом,— сказал он совершенно наивно,— я не за кусок свой боюсь — Христос с ними, пускай конкурируют!— а за литературу. Право, за литературу!

— Но где же факты?— воскликнул я,— чтó дает повод сомневаться в будущем нашей литературы?

— И фактами похвалиться не могу — времени для фактов еще мало — но имею предвидение... Я вижу людей, лица которых должны были бы потускнеть, а между тем они сияют. Но мало того, что эти господа не чувствуют себя сконфуженными,— они, напротив, забегают вперед и об том только и думают, как бы повычурнее лягнуть то, перед чем они еще вчера, у всех на глазах, раболепствовали. Разве это не страшно?

В виду подобных предвидений, спор, очевидно, утрачивал всякую реальную почву, и поэтому возражать было бесполезно. Но, кроме того, оставался и еще вопрос, который в высшей степени тревожит меня: чтó же он, Пимен, предполагает делать с собою?

— Неужели же ты бросишь литературу?— спросил я.

— Нет, не брошу,— ответил он,— во-первых, деваться мне некуда, во-вторых, чем я лучше других? а в-третьих, и новость дела меня не страшит: стóит только привыкнуть да изловчиться — и все пойдет как по маслу. Ведь все эти так называемые «жизненные вопросы» таковы, что, право, любая курица может об них написать с три короба руководящих статей.

— Да, но ведь и статьи в таком случае будут куриные?

— А ты думал, что теперь потребуются статьи орлиные?

Как ни странны были эти ответы, но они меня успокоили, потому что в них проглядывала покорность судьбе. Надо сказать при этом, что в начале эпохи возрождения Пимен участвовал в одном толстом журнале, но вскоре как-то так случилось, что журнал прекратил существование, и вследствие этого представилась такая дилемма: или класть зубы на полку, или вступить на арену «живых вопросов». К счастью, как раз кстати, в это самое время наш общий друг, Менандр Прелестнов, затеял в Петербурге новую газету и устроил при ней Пимена в качестве передовика. Первые шаги Коршунова на этом новом поприще были, конечно, довольно робки и нерешительны, но, мало-помалу, он стал поправляться, поправляться — и через месяц так изловчился, что уже не оставалось желать ничего лучшего. Однако, странное дело, всякий раз, когда я принимался за чтение коршуновских статей, меня почему-то так и обдавало каким-то специфическим куриным запахом...

Тем не менее, несмотря ни на возрождение, ни на куриный запах статей, Пимен все-таки не утратил старой привычки трепетать. Я помню, однажды он принес мне статью, смысл которой заключался в том, что ежели будочник накрыл вора на месте преступления и не настолько физически силен, чтоб онолично стащить его в квартал, то всякий мимоидущий обыватель немедленно обязывается оказать ему содействие. Статья была написана горячо, убежденно и даже несколько назойливо, то есть совсем так, как приличествует страстно клохчущей курице. Положение слабосильного будочника, в виду грозящей обществу опасности, было изображено таким перекатным бурмицким слогом (style perlé[1]), каким умеют писать только могиканы сороковых годов; напротив того, обязанность мимоидущего обывателя была обрисована кратко и отрывисто, штрихами резкими, почти приказательными. Одним словом, так эта статейка была хороша, уместна и благовременна, что я тут же не преминул поздравить Пимена с успехом.

И вдруг он меня поразил.

— Хорошо-то хорошо,— сказал он,— я сам понимаю, что по нашему месту лучше не надо. Да вот в чем штука: пройдет или не пройдет?

— Помилуй, любезный друг!— разгорячился я,— да какое же, наконец, имеешь ты право сомневаться в этом! Могу удостоверить тебя, что не только пройдет, но даже, если позволительно так выразиться, пройдет *с удовольствием!*

— А помнишь, Булгарин говаривал: о действиях и намерениях начальства не следует отзываться не только в смысле порицания, *но ниже в смысле похвалы.* Стало быть, содействие слабосильному будочнику... Но позволь! прежде всего ответь мне на вопрос: имеем ли мы право публично заявлять, что бывают слабосильные будочники?

— Почему же не заявить?

— Потому что это, хотя и отдаленное, но тем не менее все-таки несомненное порицание. Кто определил будочника? — квартальный! Кто определил квартального?— частный пристав! А затем и пошло, и пошло. Вспомни-ка, как об этом в Булгарине пишется?

— То Булгарин, а теперь...

— Нет, мой друг, в сущности, Булгарин отлично понимал, в чем тут суть. Ни порицания, ни похвалы — вот истинный принцип по всей чистоте. Потому что, где есть похва-

---

[1] изящным слогом *(фр.)*.

ла, там есть уж рассуждение, а где рассуждение — там корень зла. От рассуждения недалеко до анализа, от анализа до порицания. А потом пойдут несвоевременные притязания, подрывания, потрясания... Нашему брату публицисту нужно азбуку-то эту наизусть знать!

— Какие, однако ж, у тебя допотопные теории! Разумеется, осторожность никогда не лишняя, но не слишком ли уж ты пересолил, голубчик? Вспомни, что теперь совсем другое время, что теперь всякое благонамеренное указание, особливо ежели оно сделано благовременно...

Однако, как я ни старался разуверить его, он так-таки и остался при своем: пройдет или не пройдет?

Разумеется, прошло.

Вообще статьи его не только проходили, но и производили впечатление, так что один статский советник искал даже случая познакомиться с ним. Пимен сам рассказывал мне об этом замечательном казусе.

— Пришел, братец, ко мне на квартиру, рекомендуется: статский советник Растопыриус. Статьи ваши, говорит, превосходны, но чтоб они окончательно сделались образцовыми, необходимо привести их в соответствие. Нужно, чтоб вы познакомились с некоторыми видами и соображениями, которые поставят вас на настоящую точку. Не сделаете ли вы, говорит, мне честь пожаловать ко мне на чашку чаю?

Разумеется, как человек робкий и подверженный начальству, Пимен не осмелился ослушаться. Он купил готовую фрачную пару и пошел. Но тут произошло нечто неслыханное. Когда m-r Растопыриус подвел его к m-me Растопыриус и когда последняя протянула ему ручку, Пимен, вместо того чтоб почтительно пожать эту ручку, бросился на хозяйку и обнял ее. И затем тотчас же упал в обморок. Разумеется, его немедленно же убрали. На этом попытка сближения с статскими советниками и кончилась. Мало того: с этих пор Растопыриус даже открыто стал называть Пимена неблагонамеренным.

Но кроме вопроса о том, пройдет или не пройдет, было и еще одно слово, которое не сходило у него с языка.

— Гаду много!— беспрерывно восклицал он,— гаду! гаду! гаду!

И называл по именам. Но что всего хуже, я и сам, по временам, становился в тупик перед его обличениями. Действительно, хотя вполне сформировавшихся, окончательно созревших гадов, в то время, еще нельзя было указать, но нечто намекающее уж было. Были, так сказать, гады

ближайшего будущего, заявлявшие в настоящем только о бесконечной податливости. Большинство их копошилось в газетах и, работая изо дня в день, забывало сегодня, что говорило вчера, и заботилось лишь о том, чтоб выходило бойко и занозисто. Поистине это были совсем-совсем легкомысленные люди (но еще не распутные), хотя некоторые из них были несомненно талантливы и пользовались известностью.

Признаюсь, этими постоянными напоминаниями о гадах Пимен достаточно-таки смущал меня, а однажды даже поставил в весьма щекотливое положение.

Подобно Пимену, и я, грешный человек, изредка пописывал передовые статейки, но манера у меня была несколько иная. В то время как Пимен мысленно облетал всю Европу и призывал во свидетельство древние и новые законодательства, чтоб доказать, что будочник без свистков все равно что мужик без портков, я ту же мысль проводил тонами двумя пониже. Я не прибегал к громоздкой обстановке, не блистал ученостью, но действовал, по преимуществу, с помощью образов. Я изображал уныние и беспомощность обывателей, отданных на жертву грабителям, живописал отчаяние будочника при виде безнаказанно убегающего вора и этой мрачной картине противополагал другую, более светлую: картину спокойствия обывателей, достигаемого одним введением свистка. И ежели «серьезные» статьи Пимена находили многочисленных сочувствователей, то и моя скромная манера имела своих поклонников. У Пимена был статский советник Растопыриус (уроженец суровой Финляндии), у меня — статский советник Раскаряка (уроженец благословенной Малороссии), которому, вдобавок, уже дано было слово, что к предстоящей пасхе он будет произведен в действительные статские советники.

И вот, однажды, сидит у меня статский советник Раскаряка, и мы мирно беседуем. Радуемся происходящему, а в будущем предаемся сугубой радости. Он говорит:

— Но представьте, какие перспективы!

Я отвечаю:

— А за этими перспективами еще перспективы! И еще, и еще, и еще!

Словом сказать, жуируем.

Вдруг вбегает Пимен. Бледен, волосы на голове растрепаны, глазные яблоки вылезают из орбит, ничего не видит... Не видит даже статского советника Раскаряку, который учтиво встал при появлении его (чутьем узнал, что

вошел публицист) и застыл в позе, ясно говорившей о готовности отрекомендоваться.

— Гады! гады! гады!— вне себя рычал Пимен, держа себя за голову.

Первая мысль моя была: не прошло!

— Что такое? что случилось?— воскликнул я, бросаясь к нему.

— На, читай!

Он подал мне нумер только что начавшей выходить газеты «И шило бреет». В передовой статье шла речь о тех же самых перспективах, о которых мы только что разговаривали с статским советником Раскарякою. Выражалось изумление перед бесконечностью перспектив; бросался взгляд на прошлое и приподнималась завеса будущего; ставился вопрос: выдержит ли наше молодое общество или не выдержит? Словом сказать, все виды и предположения, сейчас проектированные Раскарякою, были изложены почти с буквальною точностью.

— Что ж тут такого... ужасного?— изумился я,— не сам ли ты, не далее как вчера, в статье о передаче пожарной части в ведение городских дум...

Но Пимен ничего не слышал и только восклицал:

— Ужасно, ужасно! ах, это ужасно!

Я привык к подобным выходкам моего друга; но статский советник Раскаряка — не привык. Он некоторое время стоял в нерешимости, словно прислушивался и соображал. И вдруг он позеленел и как-то неприятно заерзал губами.

— Однако, милостивые государи, в вас блох-то еще довольно! — процедил он сквозь зубы и, не подавая мне руки, гордо проследовал в переднюю.

Но чем же я-то тут виноват?!

Разумеется, я не позволил себе ни одного слова упрека Пимену, но в глубине души все-таки не мог не сказать себе: так-то вот мы всегда! Без надобности раздражаем людей несвоевременными выходками, а после жалуемся, что у нас «не проходит»! А ведь от жалоб, как известно, один шаг и до раскаяния...

К удивлению моему, я впоследствии узнал (Коршунов сам признался мне в этом), что точь-в-точь такие же мысли волновали в это время и Пимена и что он, немедленно после ухода Раскаряки, уж спохватился и начал обдумывать на эту тему передовую статью для завтрашнего нумера.

Я с умыслом останавливаюсь на этом факте, ибо он очень

назидателен. Мы, писатели, вообще слишком легко относимся к статским советникам и подчас даже бываем склонны подтрунить над ними. Мы думаем, что статский советник не важная птица и что от нее литературе ни тепло, ни холодно. Но, к сожалению, это мнение заключает в себе самое пагубное самообольщение.

Во-первых, нет в природе субъекта, относительно которого русский писатель мог бы считать себя вполне безопасным. Одни влияют на него непосредственно, подвергая различным непредвиденностям и даже лишая средств к пропитанию; другие — влияют посредственно, распространяя в обществе слухи, что литература есть вертеп, в котором бесчинствуют разбойники пера. Идет по улице смешной прохожий, а ты, легкомысленный писатель, уж и цепляешься за него! А почем ты знаешь, какую тайну хранит в себе этот смешной прохожий?!

Во-вторых, что касается специально статских советников, то отнюдь не следует забывать, что каждый из них заключает в себе зерно действительного статского советника, а действительный статский советник, в свою очередь, предполагает в себе зародыш такого пышного цвета, один вид которого может сразу убить человека...

Все эти превращения нужно предвидеть, и, вместо того чтоб трунить над статскими советниками, гораздо расчетливее их угобжать, дабы они, взойдя на высоту величия и славы, попомнили нам это. Скажут, быть может, что из ста статских советников девяносто девять, наверно, так и отцветут в этом чине, так стоит ли, дескать, с ними церемониться? Допустим, что и так. Но если даже один из сотни разовьется как следует, то представьте, какое он даст от себя благоухание и как это благоухание отзовется на литературе, смотря по тому, был ли расцветший субъект пренебрежен или угобжен в скромном чине статского советника!

И еще скажу: прежде нежели приступить к насмешкам над статским советником, необходимо соразмерить свои силы и на всякий случай подготовить приличное отступление. Я не порицаю раскаяния, но нахожу, что все-таки лучше вести себя таким образом, чтоб и раскаиваться было не в чем. Однако мы видим, что в большинстве случаев (особенно в газетном деле) бывает совершенно наоборот. Иной газетчик один раз сгрубит, в другой раз сгрубит, видит, что ему сходит с рук, а подписка между тем прибавляется,— начнет допускать даже прихоти. Все-то ему немило, все не так,

все надо переменить и даже вверх дном перевернуть. И вдруг статский советник начинает когти выпускать. Выпускает-выпускает... хлоп! Какой, с божьею помощью, переворот! В одно прекрасное утро читатель берет в руки газету, в надежде, что статского советника вконец раскастят,— и не верит глазам своим. Оказывается, что в одну ночь статский советник и вырос, и похорошел, и поумнел и что всех сомневающихся в этом следует признать людьми неблагонадежными и сокрушить.

Опять-таки повторяю: я и не говорю, что такие возвраты на путь высокопочитания неприличны или бессовестны. Но спрашивается: зачем предпринимать такие действия, в конечном результате которых должна оказаться одна вонь?

Увы! Раскаряка высказал горькую истину! Много, ах, как много водилось за Пименом блох! Непрерывно его щекоча и покусывая, эти блохи не давали его литературно-публицистическому дарованию развиться в том благовременном направлении, которое во Франции известно под именем оппортюнистского, а у нас покуда носит кличку газетного легкого поведения.

Я знаю, впрочем, что Пимен делал очень серьезные усилия, чтоб быть свободным от блох. Всю жизнь находясь под гнетом нужды и зная твердо, что вне легкого поведения нет деятельности, он затыкал себе уши, чтоб не слышать, зажимал нос, чтобы не обонять, и закрывал глаза, чтоб не видеть. Обеспечивши себя таким образом, он строчил довольно свободно и приводил в восторг статского советника Растопыриуса. Но вдруг, в самом разгаре публицистических затей, когда одна перспектива быстро сменяет другую, когда в некотором отдалении уже мелькает чуть не фаланстер (были же военные поселения!)— его укусит «блоха». Пимен вскакивает как ужаленный, хватает себя за голову, вопит: это ужасно! ужасно!— и бежит вон из дому. И шляется бог весть где (быть может, на том самом Митрофаниевском кладбище, куда судьба привела его теперь), до тех пор, пока «сладкая привычка жить» не возьмет верх и не загонит опять домой за постылый письменный стол. Тогда он опять делался смирен, опять начинал строчить, и строчил до тех пор, пока новая «блоха» не уязвляла его...

Так и прошла вся эта жизнь...

Правда, что, благодаря усилиям, которые Пимен посто-

янно над собой делал, «блохи» появлялись сравнительно довольно редко; правда и то, что они нигде окрест не производили ни малейшей пертурбации; но ведь статскому советнику Раскаряке нет дела ни до усилий, ни до пертурбаций; он чутьем догадывается, что «блохи» все-таки существуют, и говорит: достаточно-таки еще в вас «блох», милостивый государь!

Я помню, как Пимен огорчился, когда наш друг, Менандр Прелестнов, впервые провозгласил в своей газете, что «наше время не время широких задач» (он сделал это сгоряча и не предупредив Пимена).

— Слушай! читай! на, читай!— восклицал Коршунов, подавая мне нумер газеты,— говорил я тебе, что из этих «живых вопросов» ничего, кроме распутства, не выйдет! Куда теперь идти?

Но я уже прежде прочел эту статью и, право, не нашел в ней ничего «такого». Так, глупость — надо же об чем-нибудь писать! Поэтому я, насколько мог, утешал Пимена.

— Ты преувеличиваешь, мой друг!— говорил я.— Во-первых, Менандр, открывая вопрос о непригодности в наше время «широких задач», этим самым бросает в публику такую широкую задачу, над разрешением которой закружится не одна голова. Во-вторых, если ты подозреваешь, что Менандр нарочно пустил фортель, чтоб «прельстить», то это напрасно: он просто закидывает уду общественному мнению и прочим газетчикам. Нужны ли широкие задачи, или ненужны — это, конечно, бабушка надвое сказала, но полемика по этому поводу, наверное, возникнет, и Менандр будет себе, под сению ее, «украшать столбцы». В-третьих, наконец, никто тебе не мешает в завтрашнем же нумере написать разъяснение, как следует понимать и т. д.

Но, вгорячах, мои резоны нимало не утешили и не убедили его. Признаюсь, теперь, когда я рассуждаю хладнокровно, то понимаю и сам, что Менандр действительно поступил неладно. В известном смысле, для него было бы выгоднее поставить совсем противоположный тезис, а именно: доказывать, что так как подробности и мелочи давно всем опротивели, то теперь-то и наступило настоящее время для «широких задач». Наверное, «украшение столбцов» было бы достигнуто этим путем гораздо существеннее...

— И от кого вышла эта распутная фраза!— волновался Пимен,— от Менандра, которого я считал последним из могиканов именно по части широких задач («style perlé»— почему-то мелькнуло у меня в голове)! от Менанд-

ра, который знал лучшие времена русской литературы! от Менандра, которого все обвиняли в излишней щепетильности и даже брезгливости! От Менандра, который... нет, это все он, все Гамбетта! Поверь, что лавры оппортюниста Гамбетты не дают Менандру спать.

Высказавшись таким образом и не внимая никаким убеждениям, он схватил шапку и убежал. Но все-таки, хоть частью, он последовал-таки моим внушениям, потому что на другой день я уже читал в газете «разъяснительную» статью. Растолковывалось, что вчерашнее предостережение имело в виду не те широкие задачи, которые, действуя благотворно на умственный уровень общества, тем самым полагают начало полному развитию новых и уже разрешенных форм жизни, но те, которые, имея лишь вид «широких задач», как волк в овчарню, проникают в публику с целью произвести в ней замешательство. Статья принадлежала перу Пимена и тоже... прошла! И что всего замечательнее, Менандр сделал к этой статье примечание, гласившее так: «Мы и сами именно так и разумели наши вчерашние слова, как понимает их наш почтенный сотрудник. *Ред.*».

Долгое время после того Пимен не казал ко мне глаз: совестился. Но вот, в одно прекрасное утро, он прибежал ко мне, светлый и радостный.

— Не прошло!

— Не может быть!

— Не прошло, и баста! не прошло! не прошло! не прошло!

— Да расскажи толком, что такое случилось?

— Не прошло — вот и все! А какую, братец, я штуку написал! Ведь я... ну, просто сам Растопыриус наверняка простил бы меня за невежество, совершенное над его женой, и опять пригласил бы на чашку чаю! Да, есть провидение, есть! Рече безумец в сердце своем: несть! ан оно — вот оно! Спасибо, спасибо, спасибо старикам! прихлопнули! Фу-ты!

— Но ежели ты сам сознаешь, что написал «штуку»,— зачем ты ее писал?

— Не могу! не понимаю! Газета, братец,— это дьявольское наваждение какое-то! Так тебя и тянет в омут, так и пронизывает распутством насквозь. Одуматься не дадут! передохнуть нет средств! так и стоят над душой: сейчас! сию минуту! пожалуйте оригинал! Ну, и...

— А Менандр как принял это известие?

— Ездил. Да только на извозчиков напрасно потратился. Ответили: да послужит сие вам уроком, что ежели

порицания не допускаются... безусловно! то и в похвалах надлежит избегать излишней разнузданности!

— Вот как!

— Да, братец, ни порицаний, ни похвал! Я давно говорил: вот истинный принцип во всей его чистоте!

— Стало быть, ты в статье допустил «излишнюю разнузданность» в похвалах?

Пимен, вместо ответа, заалелся.

— О, Пимен! Пимен!

Начали мы вдвоем обдумывать, каким бы образом устранить на будущее время повторение подобных казусов. Самым целесообразным средством представлялось совсем уйти из газетной атмосферы. Но куда? — вот вопрос. Толстых журналов мало, да и там все места заняты, негде упасть яблоку. Поступить на частную службу? — и там переполнено до краев; люди, из-за пятисот рублей годовых, готовы друг с другом на ножи...

— Вот кабы ты на фортепьянах умел, так в тапёры бы можно...— рискнул я пошутить.

— А что ты думаешь! важно было бы!

— Знаешь ли что! — не предложишь ли газетчикам устроить по вечерам... нечто вроде фельетонов en action?[1] Ты бы, как передовик и, стало быть, человек солидный, за буфетом стоял... отлично!

Но Пимен, вместо ответа, только вздохнул: знак, что он начинает впадать в угрюмость.

— Я, братец, не только в тапёры, но даже в кассиры на железнодорожную станцию не гожусь,— наконец вымолвил он,— пробовал я это... помнишь, *тогда?* да не выгорело! Я двадцать лет сряду в литературе вращаюсь, двадцать лет одною ею живу. И ничего другого не понимаю. Знаю, что из моей деятельности ничего не выходит, а все тянусь, все думаю: а вот, погоди. Сны какие-то наяву вижу — так и проходит день за днем. Это умственное цыганство до того въедается, что нужно именно что-нибудь совсем чрезвычайное (вот как *тогда*), чтоб человек пришел в себя. Но если он и поймет, что вся его жизнь есть не более, как бесконечная цепь пустяков,— что пользы в том? Ну, поймет, и только. Ах, ведь у нас даже «своего места» нет, того «своего места», куда всякий бежит, когда его настигнет беда! Вот я, например. Особенными талантами природа меня не наградила, я не генерал в литературе, а простой солдат. Но ведь и солдат, если выслужил срок, вправе воротиться в «свое место» и там

[1] в действии *(фр.)*.

забыть о солдатстве. А куда пойдет солдат-литератор? Литературное ремесло имеет свойство до того оболванивать человека, что он везде, кроме литературы, представляет только лишний рот. И у меня отец и мать есть (овец духовных в смоленской епархии пасут и волною их питаются, прибавил он в скобках), да зачем я к ним пойду. Во-первых, я и там буду все об своем паскудстве тосковать и бегать по помещикам, нельзя ли где газетки почитать; а во-вторых, меня будет ежеминутно точить мысль, что я лишний рот, каковых в моей семье не полагается. А уж как мне опостылело литературное ремесло, если бы ты знал! так опостылело! так опостылело!

Пимен в волнении несколько раз прошелся по комнате.

— Иногда вся внутренность горит,— продолжал он,— саднит, ноет, сосет, не знаешь, куда деваться от тоски. Если бы слезы можно было выжать, легче бы было, да негде их взять. Нет, никогда этого не бывало! никогда, даже в самые горькие дни пленения вавилонского, не знали такой мертвенной тоски, такого холодного отчаяния! «Наше время не время широких задач»— этим все сказано! Тут и скудоумие, тут и распутство, и желание сказать нечто приятное... Ах!

— Слушай! да надо же выход найти!

— Оставаться по-прежнему в вертепе — вот и выход. Тянуть бесконечную канитель неведомо об чем, распинаться неведомо по поводу чего, поучать неведомо чему, преследовать неведомо какие цели, жить в постоянном угаре, упразднить мысль и залеплять глаза пустословием, балансировать между «с одной стороны нужно сознаться» и «с другой стороны нельзя не признаться»— вот удел современного литературного солдата! Другого ничего не выдумаешь. И когда, после такого-то трудового дня, начнешь на сон грядущий припоминать, что́ было,— ну, хоть убей, ничего не припомнишь! Чувствуешь только усталость физическую, и затем обрывки, винегрет — и ничего больше. Даже для снов настоящего материала нет.

Он отер пот, выступивший на лбу, и остановился передо мной.

— Патроны наши,— сказал он,— те, на сон грядущий, хоть счетом барышей от розничной продажи могут заняться, а мы?

Но тут он окончательно рассердился.

— Мы-то, мы-то, скажи, из-за чего себя нудим!

Да, были «блохи» у Пимена. Но чем пышнее расцветала пресса, чем либеральнее становились ее замашки, тем смирнее и как-то унылее становился мой друг. «Блохи» скрывались одна по одной и, наконец, пропали совсем. Он не ерошил волос, не восклицал в тоске: ах, это ужасно! а неутомимо и безропотно строчил с утра до вечера, не чувствуя ни удовольствия, ни омерзения...

Менандр стушевался. Не успев совладать с «разнузданностью в похвалах», он до того раздражил своими «наглыми» усилиями попасть в тон минуты («все это одно крокодилово притворство!» — говорил про него статский советник Растопыриус), что вынужден был уступить место другим, более сноровистым деятелям. Сначала явилась либеральная газета «Чего изволите?», затем и еще более либеральная: «И шило бреет». Но Пимен до того уже потерял нюх, что не мог отличать степеней либерализма, и безразлично работал, то тут, то там.

Он почти совсем перестал ходить ко мне, я же посещал его довольно часто и всегда заставал за работой.

— Не помешал ли я? — спросил я его однажды.

— Нет, какая помеха! Работа такого сорта, что на всяком месте можно точку поставить! Было бы пристойное количество «строчек», а об остальном, то есть о противоречиях, неясностях и даже пошлостях, я давно уже не забочусь. Все равно, читатель сжует.

— Об чем же ты пишешь? все, чай, о перспективах?

— Нет, о перспективах писать теперь уж чересчур широко. По-нашему, это называется «расплываться». Нынче мы больше по части патриотистики и пламени сердец, к которым, ради оживления столбцов, пристегивается и взнуздывание. Вот, например, я написал статью: «Где корень зла?», хочешь, прочту?

— Нет, уж не надо! Ах, Пимен, Пимен! зачем ты это пишешь?

— Как сказать, зачем? знаю грамматику, синтаксис, учился правописанию, умею расставлять знаки препинания — вот и пишу. Неужто же, обладая такими сокровищами, оставлять их втуне?

— А знаешь ли, что́ я заметил? Прежде, бывало, хоть ты и не подписывался под статьями, а я все-таки узнавал твою манеру. Прочтешь и скажешь: вот это Коршунов писал. И даже отгадаешь: а вот это словечко Менандр лично от себя вклеил! А нынче, как ни стараешься угадать — все статьи на один манер пишутся!

— Это у нас новая метода завелась, с тех пор, как от передовика ничего, кроме правописания, не требуется. Чтоб все, как один человек. Выгодно это, голубчик. Во-первых, публика читает и думает: стало быть, однако ж, у них есть что-нибудь за душой, коль они так спелись! а во-вторых — дешево.

— Это почему?

— А потому что, если однажды дан известный шаблон, то нет нужды дорожить сотрудничеством той или другой личности. Всякий встречный может любую статью написать, все равно как свадебные приглашения. Важнее всего — аккуратность, чтоб не задерживать типографию. Поэтому и передовики нынешние присмирели: знают, что место свято пусто не будет. Прежде мы упирались, растабарывали об убеждениях, а нынче этого уж не полагается.

— Однако некрасивое ваше положение!

— Покуда еще ничего, можно терпеть, а вот в ближайшем будущем... Я, например, покуда еще не стесняюсь и почти совсем *туда* не хожу: покажешься на минуту, сдашь что следует — и был таков. А скоро, пожалуй, и прихоти заведутся: придется различные виды и соображения выслушивать. А еще того горше: вечера для обмена мыслей устроят, да с дамочками, да с отставными полководцами, да с «дипломатами», да с рассказами из народного быта... Вот когда худо-то будет! Придется самолюбие хозяйки дома щекотать, выслушивать полководческое фрондёрство и в антрактах освежаться протухлыми побасёнками!

— А разве есть уж признаки, предвещающие что-нибудь подобное?

— Есть. На меня уж и теперь косятся, что мало разговариваю. На днях я *там* был — *сама* выбежала. «Вы, говорит, Коршунов?» — Я, говорю.— «Ах, какой вы нелюбезный!»

— С чего ж это она?

— Стало быть, разговор был. В Аспазии она к нашему Периклу готовится — ну, и принимает участие. Да, терпят меня покуда, любезный друг! но только терпят. А так как и ангельскому терпению предел есть, то поневоле спрашиваешь себя: что будет, когда этот предел настанет? Разумеется, стану просить милости. Не гожусь в передовики — может быть, к «нам пишут» определят, или «Таинства мадридского двора» переводить велят. Все равно как в доме терпимости: сперва гостей занимать заставляют, а потом,

как розы-то отцветут, начнут в портерную за пивом посылать.

До этого, однако, не дошло, хотя мне самому не раз приходилось слушать отзывы: ах, какой неприятный у Коршунова характер! И не только Аспазия, но и сам Перикл отзывался так. Пимен имел даже по этому поводу объяснение, но, к счастию, успел доказать, что до его «характера» никому никакого дела нет. Я убежден, однако ж, что едва ли бы он доказал это, если бы у него не было кой-какой опоры в прошлом. Ради этого прошлого, его, очевидно, щадили, ибо, как ни «разносторонни» современные деятели политики и литературы, но есть еще ниточка (очень тоненькая), которая связывает их с прошлым. Вот когда и они сойдут со сцены, то на их место придут «новейшие» деятели — этих уж ничто не будет связывать. Тогда, натурально, Коршуновых выметут помелом.

Изредка, впрочем, и Пимен оживлялся, и именно в тех случаях, когда у него накоплялся запас анекдотов о Периклах. Главное горе Периклов заключалось в том, что они вечно были в поисках за идею, которую, впрочем, безразлично называли и идеею, и фортелем. Какую бы идею начать проводить? на какой бы фортель подняться? — вот задача, которую предстояло разрешить. Читатель капризен, и однообразные статьи надоедают ему. Однообразие можно допустить только в исключительных случаях. Вот, например, во время войны — ах, какая розничная продажа была! Но раз исключительные обстоятельства кончились, надо подниматься на фортель. И не один фортель, а даже несколько таковых не худо найти. Как вы, например, насчет либерализма полагаете? а? хорошо? С богом, начинайте-ка ряд статей! Или насчет святости подвига? а? ведь подвиг-то, батюшка, очищает человека, дает его жизни смысл? Тисნемте-ка статейку... а? Главное, дремать не нужно, да почаще оглядываться кругом. Да вот и еще тема... мирные успехи! По возвращении с поля брани это даже самое подходящее дело... в нос бросится — а? Эту штуку пять лет хлебай — не расхлебаешь! Начать хоть с железных дорог... или нет, это уж старо! Просто начнем с земледельческой промышленности! «Россия страна земледельческая»... это хоть тоже старо, но вместе с тем и всегда ново, потому что Россия, действительно, страна земледельческая, стало быть, как ни вертись, а этой темы не минешь! Не в том беда, что мы земледельцы, а в том, что мы наш продукт в зерне отпускаем... а? Отсюда прямой вывод: заводить масло-

бойни, винокурни, мельницы — главное, мельницы! А когда с земледельческою промышленностью покончим, можно и за горнозаводскую промышленность взяться: рельсы, паровозы, пароходы, железо листовое и прокатное, гвозди... Нужна ли покровительственная система или не нужна... а? А потом и до рубля доберемся... ах, этот рубль! сколько публицистических усилий, сколько полемики потрачено, чтоб он настоящим рублем смотрел, а он все на полтинник смахивает! Придется, пожалуй, и пословицу: «взглянул, словно рублем подарил» говорить так: взглянул, словно полтинником подарил! Да, надо, надо как-нибудь этому горю помочь! И поможем, с божьей помощью... да! А, наконец, когда наговоримся досыта, можно и заключеньице сформулировать: впрочем — тут что́ бы мы ни говорили, мы знаем заранее, что наши слова все равно что к стене́ горох... а? как вы думаете? хорошо будет? а?

Но как ни любопытны были эти анекдоты, а настоящей веселости в них все-таки не было. И сам Коршунов, по-видимому, сознавал это, потому что, истощив свой запас, он неизменно заканчивал одною и тою же угрюмою фразой:

— И все эти фортели я обязываюсь, с божьей помощью, развить!

Таким образом, он промаячился года три сряду.

Одно было недурно: Коршунов получал хороший гонорар за свои работы. Но лишних денег у него все-таки не бывало, потому что «свое место» поглощало, наверное, половину заработка.

Да и у Коршунова было «свое место», которое довольно часто напоминало ему себя. Отец Пимена был стар и добывал мало, да и овцы, которых он пас, имели волну скудную. А семья была большая: семь дочерей при одном сыне, Пимене. На этого сына был сначала расчет, что он, по крайней мере, хоть дьяконом будет, а он вдруг ускользнул. И долгое время, покуда Пимен бедствовал, едва зарабатывая на хлеб лично для себя, между ним и отцом шла ожесточенная полемика. Отец уж приискал сыну невесту и наметил дьяконское место, но сын бунтовал. Дело доходило до жалоб и просьб о высылке по этапу, вследствие чего Пимен скрывался, не имея постоянного пристанища. Но, наконец, Пимену посчастливилось. Заработок его увеличился, и он первые же «лишние» деньги послал домой. Тогда его оставили в покое.

В «своем месте» смекнули, что, несмотря на странное занятие, Пимен все-таки добытчик, и, разумеется, решились пользоваться этим. Он чаще и чаще начал получать отписки с родины, и каждая неизменно заключала в себе напоминание об деньгах. То сестру выдают замуж и надо готовить приданное, то коровушка пала, то милость божья пристигла, хлеб градом выбило. Коршунов вытягивался в нитку, чтоб удовлетворять этим требованиям, сам же постоянно нуждался. Разумеется, он понимал, что единственно на этих денежных соображениях и держатся кровные связи, но чувствовал ли он по этому поводу сердечную боль — это сказать трудно. Вообще он упоминал о домашнем очаге редко и сдержанно и никогда не порывался в побывку домой, говоря, что приезд его только прибавит лишний рот в семье.

Но, кроме кровной связи, имел ли Пимен какую-нибудь вольную сердечную привязанность? Ощущал ли он, хотя в молодые годы, то блаженное таяние сердца, которое ощущает всякий юноша в период весеннего расцветания? Увы! эти вопросы даже в голову никому не приходили — до такой степени своеобразною казалась личность Коршунова. Ходили, правда, анекдоты о якобы любовных его похождениях, но все очень хорошо понимали, что это только анекдоты, скорее служившие к подтверждению противного. Вообще на него смотрели, как на человека, для которого вопрос о сближении полов составляет нечто совсем постороннее, его не касающееся. Даже когда возник так называемый женский вопрос — и тут он уклонялся, несмотря на то что этот вопрос стоял на чисто теоретической почве. Иногда, впрочем, замечая, что он уж чересчур утрирует в этом смысле, я невольно нападал на мысль, что причина этого явления заключается не столько в холодности темперамента, сколько в непреодолимой застенчивости. По-видимому, он слишком настойчиво говорил себе, что так уж сложилась его жизнь. Бывают люди, которым на роду суждено глубокое и горькое заточение, и он принадлежал к числу этих людей. Просто было почти нелепо вообразить его себе любящим и любимым. Пимен, смотрящий в книжку, Пимен с пером в руках — вот настоящий Пимен. Но Пимен тающий, палимый страстью к женщине, Пимен, шепчущий признания любви и просветленный уверенностью в взаимности,— помилуйте, это какое-то баснословие, это почти клевета!

Точно так же было и по части дружбы. Пимен вращался исключительно в литературной среде, где, в взаим-

ных отношениях, примешивается очень значительная доля рационализма. Я не отрицаю, что связи, вследствие этого, становятся более прочными, но думаю, что в то же время они приобретают окраску исключительно деловую и совершенно утрачивают тот ласкающий элемент, который так присущ инстинктивной дружбе. Бывают, однако ж, минуты, когда человек имеет право быть малодушным, когда он чувствует непреодолимую потребность жаловаться, роптать, проклинать, не соображая, глупо это или умно, полезно или бесполезно,— и вот в эти-то минуты ему необходимо, чтоб дружеская рука сняла хоть часть того бремени, которое давит его. Ничего подобного Коршунов положительно не знал: он малодушествовал, жаловался и проклинал — в пространство.

Он не был настолько силен и одарен, чтоб составить около себя кружок, а следовательно, не мог создать для себя и искусственной дружбы. Он сам был по природе поклонником, страстным и беззаветно преданным, но поклонников не имел и пользовался только благосклонным сочувствием. Сверх того, состав кружка, которому он был предан, часто менялся; люди вымирали и исчезали, а наконец кружок и совсем распался. Приблизившись к старости, Пимен очутился в неведомой среде, окруженный незнакомыми людьми, и все-таки вынужденный работать с ними. Эти насильственные сближения до того изнуряли его, что нередко он буквально ходил как потерянный.

Таковы были кровные и вольные связи Пимена. Совокупность их составляла мученическое существование, хотя видимых пыток и не было. До́ма он видел голые стены квартиры; вне дома — видел деревянных людей. Разве можно представить себе пытку более злостную?

И вот он умер. Умер в один день с первой гильдии купчихой Пулхерией Конопатчиковой, которая спокойно и непостыдно отошла в вечность, окруженная заботливыми попечениями законных наследников. Пимен же и умер словно украдкой, так что о смерти его узнали от квартирной хозяйки, которая прежде всего побежала в участок, а потом ударилась за деньгами в Литературный фонд, потому что в последнее время Коршунов почти совсем не работал.

На кладбище громко говорили, что купчиха Конопатчикова оставила шести сынам — каждому по двадцати пяти тысяч, и трем дочерям — каждой по десяти. Да старшему

сыну отказала лавку, а божие благословение разделила между всеми поровну. Все это и батюшка в своей предике упомянул не в осуждение усопшей, но в похвалу. Что же оставил после себя Пимен?

Страшно сказать, но ничего ясного. Человек жил, неутомимо трудился, и, по мере того как его труд приводился к окончанию, он тут же и улетучивался.

Выше я сказал, что Пимен некогда участвовал в творчестве известных наслоений, которые, быть может, и не прошли бесследно. Но кто же разберет, что в этих наслоениях принадлежит ему и что другим атомам общей рабочей массы? Да и кому охота возвращаться к этим забытым наслоениям, а тем более разбираться в них?

Даже историк русской литературы и общественности — и тот не отыщет Пимена, потому что над рабочею массой всегда реет какое-нибудь выдающееся имя. Этому имени и честь, и слава, и поклонение. И слава, и страдания, и подвиг — все достойно вменится ему в сугубую похвалу. А Пимену даже поистине мученическая его жизнь ни во что не вменится, потому что об ней нигде не упоминается, и она нигде не оставила следов своей крови.

Я помню, он мне говорил: когда я умру, то на памятнике моем надобно написать: литература осветила ему жизнь, но она же напоила ядом его сердце. Да, это надпись хорошая и вполне согласная с истиной, но вопрос в том, будет ли когда-нибудь памятник на его могиле?

Допустим, однако ж, что памятник — уже прихоть. Гораздо проще другой вопрос: долго ли мы, схоронившие Пимена, будем ощущать, что смерть его оставила после себя пустоту? долго ли воспоминание об нем будет жить между нами?

Он жил — и умер... Благо умершим!

ДВОРЯНСКАЯ ХАНДРА

Я приехал в деревню, чтоб поселиться в ней навсегда. Ехал я совсем не затем, чтоб просвещать, распространять здравые понятия о платеже недоимок, устранять неурожаи и вообще способствовать улучшению быта; не затем, чтоб принять деятельное участие в распоряжении земскими деньгами, и уж, конечно, не затем, чтоб производить опыты по части сельского хозяйства. Просто чувствовалась потребность заживо иметь гроб — вот я и приехал.

Эта потребность была очень сильная, почти страстная. Но что всего страннее, она загорелась во мне совсем не потому, чтоб я прикончил какие-то счеты с жизнью, чтоб я сделал какое-то свое дело, а именно потому, что я ровно ничего не начинал и никаких у меня счетов назади не было. Умственное пустодомство удивительно как утомляет. Оно всегда сопряжено с беспорядочною сутолокой, которая загромождает жизнь разнообразным цепким хламом и самым предательским образом вводит в заблуждение. Благодаря этой сутолоке, долго, очень долго думает человек, что он вращается среди действительных интересов, и даже представляет себя силою, действующим лицом. И вдруг его словно осветит, перешибет пополам. И начнет ежемгновенно, неотступно, назойливо, и во сне, и наяву, представляться одно: гроб! гроб! гроб!

Я ехал, однако ж, не без опасений. Я думал, что гроб дается не разом и что с приездом моим начнется, хотя и в другом вкусе, но все-таки сутолока. Со стороны домочадцев возникнут требования разъяснений, распоряжений и прочие сельскохозяйственные приставания; со стороны мужиков — явятся поползновения по части так называемого слияния, в которых сыграют свою роль и вопрос о пьянстве, и вопрос о грамотности, и вопрос о ссудосберегательных кассах. И, в заключение, как наидействительнейший символ слияния,— ведро водки. Со всем этим, думалось мне, придется вести борьбу, покуда, наконец, не воцарится настоящее безмолвие, из которого выдвинется настоящий гроб. Но, к моему благополучию, все эти опасения оказались преувеличенными.

Нынешняя деревня — не та, в которой кишат ревизские души, а та, которую представляет собой помещичья

усадьба,— истинный клад для гробоискателя. В нынешней деревне вы не встретите ни малейшей суеты, ни тени сельскохозяйственных забот и волнений, а следовательно — никаких вопросов и сомнений. Есть, разумеется, уголки, в которых и доныне ютятся выжиги и «колотятся из последнего», но это исключения. Общий характер — тишина и уныние, которые я назвал бы самоотвержением, если бы при этом не приходило на мысль представление о выкупных свидетельствах. Урок дня, то есть то, что нужно для пропитания, протопления и проч., исполняется как-то сам собой, в определенный час, без шума, без беготни. Прежде стон, бывало, стоял и над застольными, и над скотным и птичным дворами; нынче — благодать. Не только в стенах помещичьего дома, но и на дворе — ни звука, кроме так называемых голосов природы: завыванья ветра, шума деревьев, чириканья и карканья птиц, лая собак и т. п. Изредка доносится, правда, с поселка (ежели он недалеко) хлопотливое галдение ревизских душ, но и оно не нарушает обязательной для всех (и живых, и мертвых) гармонии голосов природы, а, напротив, только дополняет ее и сливается с нею. Можно (особливо ежели требования комфорта довести до минимума) провести целый день, не слыхавши звука человеческого голоса и самому не издавши такового. Ходить, думать, глядеть в окно и даже, по возможности, не читать. И лишь на самое короткое время зажигать огонь. Для человека одинокого и притом перешибленного пополам — это своего рода купель силоамская, приводящая за собой исцеление от всех недугов.

Усадьба у меня старинная. Господский дом — громадный, выстроенный из такого отличного леса, что и теперь все вполне исправно. Просторно, пропасть воздуха и тепло. Когда-то, на красном дворе, рядом с домом, было нагромождено множество всякого рода служб, но ныне все эти постройки снесены отчасти по ветхости, а преимущественно за ненадобностью. Летом на этих «нарушенных» местах растут непролазные массы крапивы и репейника, зимою — из-за снежных наносов виднеются неправильные кучи ломаного кирпича и мелкого мусора. В соседстве с ними, но несколько поодаль, словно монумент, свидетельствующий о благополучном переходе от крепостных порядков к вольнонаемному труду, стоит небольшой, сложенный из тонкого леса скотный двор, в котором помещаются две коровы, две лошади, ломаный инструмент и прочий приличествующий вольнонаемному труду сельскохозяйственный инвен-

тарь. Впереди дома — цветочный (когда-то) сад, с запущенными дорожками, покато спускающийся к речке; сзади дома — парк, настоящий парк, с старинными могучими деревьями, которых шум даже человеку, далеко не одержимому мизантропией, может внушить мысль о гробе. Внизу, по течению речки,— небольшая мельница, у зияющей двери которой вечно торчит засыпка, не знающий, куда деваться от праздности, так как, за общим оскудением, помолец наезжает редко, да и то налегке.

Понятно, что при такой внутренней обстановке приезд мой не мог вызвать никакой особенной суматохи. Я написал, что явлюсь тогда-то, и в назначенное время все было готово к моему приему. Печи истоплены, стены и потолки обметены, полы вымыты, мебель расставлена в старинном порядке, даже обед изготовлен. «Распоряжений» до такой степени не потребовалось, что когда я снял шубу (дело происходило в половине февраля), то мне оставалось только сказать, что *покуда* мне ничего не нужно. Домочадцы, встретившие меня, разошлись по своим углам; я слышал, как хлопнула сперва одна дверь, потом другая, третья, всё глуше и глуше — и вдруг я остался один... И в этой светлой, большой и хорошо натопленной зале очутился лицом к лицу с гробом...

Точно так же не потребовалось никакой борьбы и по части «слияния». Еще на железной дороге одна соседка по вагону, добродушная помещица, узнавши, что я намереваюсь возобновить порванную связь со старыми «прахами», сочла долгом предупредить меня:

— Нынче, батюшка, от мужичка благодарности не спрашивайте. Равнодушные какие-то они стали: ни помощи, ни привета. Всё — на деньгах. Сколько следует ему по условию — получил, и шабаш. Спасиба — не ждите.

Так, в самом деле, и оказалось. При самом въезде моем в крестьянский поселок (давно ли я был тут «в отца местом»?) я сейчас же убедился, что мое появление ни в ком ничего не пробудило. Ни благодарных воспоминаний, ни отрадных надежд, ни даже изумления. Мужики, пилившие у своих изб дрова (в этой местности преобладает дровяной промысел), на мгновение приподняли головы, очевидно потому, что внимание их было привлечено топотом мчавших меня лошадей, и опять принялись за свое дело. Я опасался снимания шапок, поклонов (иногда даже в воображении моем мелькали радостные улыбки) — ничего не бывало! Точно муха перед ними пролетела. И мужики пока-

зались мне какие-то новые. Прежние были восторженные, слезоточивые; нынешние — равнодушные, зачерствелые. Прежний мужик всеми внутренностями тянул к барскому дому; нынешний — даже по надобности проходя мимо господской усадьбы, совершенно ее игнорирует, словно это не притягательное место, а только веха́ на пути. Бабы, качавшие на мирском колодце воду,— и те не оторопели при моем внезапном появлении, не оставили своего занятия, а только безучастно проводили глазами мои сани. И отлично. Все предположения насчет «слияний» и ссудосберегательных касс устранились разом. Не будет поцелуев, но не будет и подкузмлений — ничего. Даже на традиционное ведро водки, по-видимому, расходов не потребуется. Прекрасно, прекрасно, прекрасно.

Но у меня вертелось в голове еще одно опасение: я полагал, что возвращение в дом предков вызовет лично во мне чувство умиления. Воскреснут в памяти забытые детские игры, встанут перед глазами, как живые, любезные сердцу лица. Очевидно, это должно населить гроб хотя и призраками, но все-таки помешает ему быть настоящим гробом. Однако и тут обошлось благополучно. Чтоб покончить разом с этим опасением, я тотчас же обежал весь дом и останавливался в каждой комнате, стараясь припомнить. Вот маменькина комната и в ней длинный стол, за которым она, обыкновенно, раскладывала из медных тазиков по банкам варенье; этот стол и теперь стоит на старом месте, и на поверхности его еще сохранились кружки́, свидетельствующие о пребывавших тут некогда банках с вареньем; и сама маменька, словно живая, сидит вон на том кожаном кресле и держит в руках серебряную ложку... Вот папенькин кабинет (теперь он мой), и в нем небольшой четырехугольный стол с разрисованною на верхней доске шашечницею, перед которым покойный, сидя в обитом кожею вольтеровском кресле, читывал «Московские ведомости»... Вот девичья, в которой летом толпа горничных, облепленных массами мух, с утра до вечера чистила ягоды, горох, грибы и проч., а зимой, тоже с утра до вечера, раздавалось жужжание веретен... Вот детская; в противоположность другим комнатам, узенькая, низенькая, в которой обитало великое множество клопов... Повторяю: я обежал все это и множество других комнат (вот тут была спальня дедушки, когда он приезжал в деревню «в гости»; вот тут рядом — спальня его «сударки», перед которой подличал и ходил на задних лапках весь дом; вот тут жил когда-то дяденька «буян», ко-

торого в хорошие комнаты не пускали и который едал из одной чашки с собакой Трезором; вот тут ютились тетеньки-сестрицы, к которым я бегивал тайком за мятными пряниками; вот тут поймали Генриету Карловну с учителем Василием Иванычем и т. д.)— и, о чудо!— никакого умиления не ощутил! Возвратился в зал, посмотрел в окно — оттуда виднеется река, в настоящее время скованная льдом, и опять-таки никакого умиления! Кабинет, детская, река — все имена нарицательные, которые так и остались нарицательными. Отчего это? Оттого ли, что самые воспоминания, сопряженные с этими нарицательными именами, не заключают в себе ничего умилительного, или оттого, что человек, перешибленный пополам, сам по себе делается недоступным для чувств умиления, так как между его детством и старчеством легла целая пустота, которая поглотила все без остатка, кроме страстного желания обрести гроб.

Как бы то ни было, но я понял, что гроб найден и что отныне начинается существование, в которое не вторгнутся ни сельскохозяйственные доклады, ни «слияния», ни умиления. Я наскоро пообедал, надел халат и немедленно почувствовал себя спокойно, безмолвно, почти что мертво!..

Впрочем, мне все-таки не удалось лечь в гроб сразу. По обыкновению, сейчас после приезда, пришел отрекомендоваться сельский батюшка. Но и он оказался какой-то сосредоточенный, однословный, угнетенный, угрюмый, точно только затем и пришел, чтоб посмотреть, как я улягусь в гробу, а он меня потом отпевать начнет.

— На жительство... совсем? — начал он словно нехотя.

— Да, совсем.

— Великое это слово... «совсем»!

Я махнул головой в знак согласия.

— Просторно вам здесь одним будет!..

— Да, комнат много.

— Хозяйствовать не станете?

— Нет.

— И не надо!

Разговор на минуту прервался.

— Жизнь здесь...— начал он опять.

— Я не для «жизни».

— А коли не для «жизни», так настоящее место — здесь! Да... именно, именно здесь!

Он как-то тоскливо взглянул на меня, покачал головой, потом посмотрел на буфетный шкап и продолжал:

— Вот ежели в этом разе водка... спаси бог!

— Не потребляю. А вы?

— Спаси бог!

Опять молчание.

— В парках — шум от ветров; опять же вороны гнезда вьют... Ставни по ночам стучать будут? Проржавели, поди, петли-то...

— Не знаю, не спрашивал.

— Оторопь возьмет, оторопь! Главное — ставни на ночь плотнее запирать!

— Прежде запирали; конечно, будут и теперь запирать.

— Ну, с богом!

Он подал мне руку и исчез... «Что ж? оторопь так оторопь — тем лучше»,— подумалось мне. Она будет напоминать мне прошлое: ведь я всю жизнь, если сказать по правде, ничего, кроме оторопи, и не испытывал...

Впоследствии я узнал, что здешний батюшка — отличнейший человек. Водки не пьет действительно, устроил в селе школу, в которой безвозмездно учит крестьянских детей; с мужичками живет в ладах, читает им по воскресеньям краткие поучения о том, ка́ко благоугодити господеви, и за свадьбы берет по-божески, не придираясь. Вообще обстановку имеет скромную, почти бедную. А смотрит он угнетенно, потому что жена у него — франтиха и сластена и ежемгновенно его точит. То упрекнет, что он не по-людски одевается, «ходит, словно мельница крыльями машет,— то ли дело у нас в городу уланы стоят!», то ставит ему в вину, что он кануны соблюдает: «всё у него либо под преподобного Мартиниана, либо под Тимофея-мученика!» А он ей в ответ: «Ты бы, дура, прежде смотрела!»

Меня на минуту заняла мысль: каково-то ему, человеку скромному и, по-видимому, даже чем-то проникнутому, жить в селе Лисьи Ямы, в норе, на цепи, с глазу на глаз с попадьей, сластеной и франтихой? И он на цепи, и она на цепи... Она скалит зубы и скачет, и он скалит зубы и скачет. И оба благодарят провидение, что у каждого цепь настолько коротка, что не пускает их загрызть друг друга. Этим и процветает семейный союз.

Если кто думает, что вслед за этим вступлением появится на сцену дворовая девица (плод секретной любви покойного папеньки) и затем произойдет интереснейшее кровосмешение, или что из-под куста выпорхнет породистая помещичья дочка и подаст повод к целому ряду приятных

сцен, с робкими поцелуями, трепетными пожатиями рук, трелями соловья и проч.,— тот пусть не читает дальше этих признаний.

Ничего этого не будет: во-первых, потому, что ничего подобного не было в действительности, а во-вторых, и потому, что я поставил себе задачей писать о гробе, только о гробе.

Мысль об этом приличнейшем, по настоящему времени, убежище давно уже шевелилась во мне и, наконец, вполне созрела по следующему очень характеристичному случаю.

Не очень давно тому назад, умершему прославленному человеку нужно было отыскать приличное «последнее убежище». Разумеется, пошли переговоры с кладбищенскими властями, и вот, во время этих переговоров, матушка игуменья некоего знаменитого монастыря, на который указал знаменитый покойник еще при жизни, таким образом рекомендовала свой товар:

— У нас на монастырском кладбище — очень хорошо. Тишина, порядок, простор. И зимой-то придешь посмотреть — залюбуешься, а летом, как распустятся деревья,— точно в раю! И не вышел бы! Советую.

И, видя, что слова ее производят благоприятное впечатление, присовокупила:

— И еще тем у нас хорошо, что для всех состояний такса установлена — по-божески! — кому что требуется. И богатые люди, и среднего состояния, и бедные — всех милости просим! И первого класса места́, и второго, и третьего — все распределено, смотря по тому как. Поближе к благодати — и плата выше, подальше от благодати — и плата понижается. За церемониал плата особенно, и тоже по состоянию. Есть большая служба, есть средняя служба, есть и малая. Большое освещение, среднее и малое. Также и насчет поминовений. Нудить никого не нудим, а кто как любит, так для себя и выбирает. Советую.

Вот тогда-то и блеснула у меня в голове мысль: именно мне это самое и нужно. Но так как все эти удобства я мог получить хозяйственным образом, то есть у себя, в своем собственном кладбище, то ясно, что для меня был прямой расчет воспользоваться этим преимуществом. Там, думалось мне, я все найду: и место первейшего класса (безвозмездно), и свой собственный готовый гроб, а что касается до церемониала, то, наверное, тамошняя самая большая служба будет стоить вдвое дешевле, нежели здешняя самая малая.

Сверх того, мне хотелось умереть без тревог, постепенно, и буде возможно, то естественною смертью. Я — человек предрассудочный и притом робкий; мне всё кажется, что если я буду продолжать «соваться», как совался до сих пор, то существование мое, наверное, пресечется самым неожиданным и притом злокачественным образом. Я знаю, что это страх ложный (на тех же похоронах знаменитого человека один из моих друзей, служащий в департаменте «Возмездий и Воздаяний», указывая на громадную толпу, окружавшую гроб, сказал мне: «В обществе говорят, будто мы не допускаем передовых людей естественною смертью умирать — вот вам блестящее опровержение этой гнусной клеветы!»), но что же делать, если он до того присущ мне, что я освободиться от него не могу? Тогда как, ежели я заблаговременно переселюсь в «свой собственный гроб»,— наверное, всякий страх напрасной смерти пройдет сам собою, за неимением пищи. «Соваться» мне там — незачем, да и департамент «Возмездий и Воздаяний» будет далеко... Никто и не увидит, как я изною, пропаду самым естественным образом!

С любовью и не торопясь прилаживался я к своему гробу и, признаюсь, не без удовольствия говорил себе: как это, однако, хорошо, что у меня свой собственный гроб есть! Надоело «слоняться», «соваться» и вообще производить свойственные досужему человеку действия — взял, юркнул в свой собственный гроб и пропал в нем. А у других, у «недосужих», и этого нет. Вот *он* едет зимником по реке, перед самыми окнами моего дома, с возом на мельницу,— он и рад бы юркнуть, да недосужно ему. И у него, пожалуй, есть свой собственный гроб, там на селе; но это такой гроб, в котором не постепенно умирать, а ежемгновенно и без отдыха жить надо. Во-первых, потому, что он, обитатель этого гроба,— ревизская душа, а во-вторых, потому, что жизнь сама по себе, помимо его воли, помимо разумения, даже помимо инстинктов самосохранения, впилась да и не отпускает его.

Какая это жизнь — это другой вопрос. Я, по крайней мере, уверен, что в эту самую минуту *он* глядит на мой *гроб* и думает: вот где настоящая-то жизнь! И всегда он так думал: и тогда, когда я «совался» и «пламенел», и теперь, когда я, истомленный «сованиями», исподволь прилаживаюсь к гробу. Всегда он завидовал моей тоске и моим изнываниям, называл их жировыми и говорил: хоть бы недельку так-то пожить!

Я изнываю от тоски, от неудовлетворенной жажды поступков, наконец, от стыда, а он думает: вот оно, хорошее-то житье! И думает правильно, потому что его-то собственное житье уж таково, что даже суздальским богомазам, этим присяжным изобразителям адских мучений,— и тем не найти красок, чтоб достойным образом воспроизвести это житье!

Собственно говоря, только это вечно присущее сравнение между его гробом и моим и напоминает ему обо мне. Во всем остальном — ему до меня дела нет. Ни советов ему моих не нужно, ни сочувствия. В том деле, которое сопровождает его жизненную агонию, я никаких поучений дать ему не могу, да и он сам эти поучения встретит с нетерпением, скажет: уйди! не мешай! Что же касается до сочувствия, то и тут последует тот же ответ: уйди! не мешай! Он не примет его за иронию только потому, что вообще ничего не прямого, иносказательного не разумеет, а просто-напросто подумает, что мое сочувствие есть обыкновенное интеллигентное «сование», только на этот раз уж совсем неуместно примененное. «И без тебя тошно — а ты лезешь!»

Да, лучше уж не «соваться», а сидеть смирно в своем собственном гробу и потихоньку умирать. Слава богу! папенька с маменькой, накапливая тальки да овчины, да прижимая к рублю копейку, наколотили так достаточно, что даже всесокрушающая рука времени не успела уничтожить всего. Углы дома не отгнили, потолки не повалились, полы не перекосились — чего еще нужно! А главное, никто не мешает, никто даже не подозревает, что в этом гробу кто-то копошится. Много таких гробов разбросано по окрестности, и о большинстве даже неизвестно, чьи они и шевелится ли в них кто-нибудь. И стоят они, постепенно чернея и оседая, под влиянием времени и непогод. Пройдет еще одно поколение — даже гробов не будет, а просто-напросто будут торчать почерневшие безглазые черепа.

При моем душевном настроении это было чрезвычайно удобно. Мне именно нужно было исчезнуть так, чтоб никто не отыскал. Я машинально повторял про себя старинное мудрое речение: мертвые срама не имут — и мысль, что нашлось наконец убежище, в котором ничто не настигнет меня, приводила меня в восхищение.

Замечательная особенность: вот *он*, тот самый, который идет за возом на мельницу, он не только не понимает моего недуга, но даже меня, человека изнемогающего, считает за привередника. Может быть, ему некогда разбирать, сколь-

ко постыдного, сорного налета насело на жизнь, но может быть и то, что его обычный modus vivendi[1] уж таков, что самая способность что-нибудь различать притупилась. Ежели у человека, с младенческих пеленок, единственный способ передвижения состоит в том, что его перетаскивают с места на место за волосы, то, конечно, он будет ощущать при этом физическую боль, но все-таки вряд ли поймет, что этот способ передвижения ненормальный. Ненормальный — для кого? Вот для них, для тех, которые, худо ли, хорошо ли, а ползут-таки на собственных ногах,— может быть! Но для него — он нормальный, потому что иначе как же могло бы случиться, чтоб таскание за волосы совершалось среди бела дня, у всех на виду, и ни у кого бы не перевернулось сердце при этом зрелище!

Так-то и тут; не понимает *он*, да и только. Но быть свидетелем этого непонимания, видеть, как оно расползлось по всем жизненным тропинкам и заполонило вселенную,— ужасно! В сущности, это собственно только и ужасно. С моим личным, частным недугом я, пожалуй, довольно легко бы совладал, а вот этот общий и частью даже чужой недуг — он-то именно и составляет ту непосильную гирю, которая заставляет человека оседать все глубже и глубже, покуда он не очутится лицом к лицу перед отверстым гробом.

Почему чужой недуг претворяется в свой собственный и даже пуще гнетет — это отчасти объясняется бóльшим или меньшим досужеством. Досужество дает человеку возможность развертывать перспективы, отыскивать связующие элементы. А как только начинает чувствовать связь между собою и «остальным», так тотчас же делается невыносимо больно. Горы чего-то неслыханного, какой-то безрассветной мглы начинают надвигаться со всех сторон и давят, и давят без конца. Чтоб вынести эти горы на своих плечах, надо быть или очень сильным, или — очень нахальным. Робким и слабым — не остается ничего больше, как исчезнуть.

Я устроился сразу и отлично: надел халат и замолчал. Комнат — целая анфилада; можно ходить взад и вперед до усталости. Ходишь и молчишь; даже в голове настоящих мыслей нет, а мелькает что-то неопределенное. Отрывки старых вожделений, звуки... Прислуга является ко мне редко, в определенные часы, чтоб сказать, что подано кушать, или принести стакан чаю. Были попытки завести раз-

---

[1] образ жизни (*лат.*).

говор о том, что сегодня с утра мжица мжит, или о том, что нынешнюю зиму волков до ужасти много, в деревне днем по улице бегают; но так как с моей стороны поощрений не последовало, то и эти неважные разговоры улеглись сами собою. Когда-то я интересовался вопросом об одиночном заключении и даже с жаром доказывал, что это — самый благородный способ отмщения нарушенной правды, потому, дескать, что он дает нарушителю возможность примириться с самим собою. Вот какой я был... филантроп! Как бы то ни было, но эта старинная предилекция, должно быть, и сказалась теперь. Я нашел для себя именно одиночное заключение,— разумеется, смягченное анфиладою комнат и возможностью во всякое время нарушить обряд молчания.

Только принесет ли оно с собой примирение? рассеет ли мглу, которая так и висит надо мною, несмотря на внешний свет и простор? — вот в чем вопрос.

Покамест, однако, я чувствую себя очень хорошо. По крайней мере, та страшная мысль, что я ничего не могу, ничего не знаю, что я пятое колесо в колеснице, которая разбила мою жизнь, уже не терзает меня так неотступно, как прежде. Имея впереди только гроб, мне не нужно ни мочь, ни знать, а тем больше претендовать на звание нелишнего колеса: я и колесницы-то никакой не вижу. Как хотите, а это выигрыш. Мне нужно одно: чтоб молчание, объемлющее меня, не нарушалось ни единым призывом к жизни. Мне так довольно всяких «не могу», «не знаю», и понятие о них до того отождествляется, в моих глазах, с понятием о жизни, что всякое напоминание о последней представляется напоминанием о первых.

Но одиночество и само по себе имеет втягивающую силу. Оно нашептывает думы, не имеющие ничего общего с думами живых людей. Что-то совершенно особенное; не скажу, чтоб фантастическое или бессвязное, но никогда не кончающееся и притом доступное для бесконечных видоизменений. Думы плывут безостановочно, сами собой, не бередя старых ран и не смущая тревогами будущего. Для человека, перешибленного пополам и имеющего за плечами целое бремя всевозможных «сований», одно воспоминание о которых заставляет краснеть,— это до того хорошо, что всякий перерыв, всякое внешнее вторжение кажется несносным, тяжелым. Думается, что если бы среди этого одиночества вдруг появился свежий человек с целым запасом вестей из мира живых,— это не только не заинтересовало бы, но скорее даже огорчило бы меня. Я слушал бы только ма-

шинально, из приличия, но внутри у меня кипела бы все та же неясная работа бесконечно тянущихся представлений, звучала бы все та же струна. Это бывает с людьми, которые серьезно освоились с одиночеством, да еще с людьми, которых поразила сильная мысль, что-то вроде откровения. Вся обыденная жизнь проходит мимо этих людей, как бы не прикасаясь к ним. Есть одна светящаяся точка, в которую неизменно вперен их взор, и этой одной точки совершенно достаточно, чтоб наполнить их существо до краев.

Одним словом, одиночество должно оказать мне великую услугу: оно спасет меня от жизни. Умирать, хотя и заживо, но вовремя,— не только необходимо, но и полезно, поучительно: я на этом стою. Я знаю, что вообще достойнее и сообразнее с человеческим назначением говорить: благо живущим! Но знаю также, что бывают такие изумительные обстановки, в которых и уместнее, и приличнее говорить: благо умирающим и еще большее благо — умершим!

Ничего не знать, ничего не мочь, быть пятым колесом в колеснице, при всяком удобном случае слышать: не твоего ума дело! — разве подобными признаками можно характеризовать какое бы то ни было общественное положение?

Я охотно допускаю, что «смертный», по природе, самолюбив и склонен к самомнению, но ведь отпор этому самомнению дает сама жизнь или, лучше сказать, свободный процесс ее. Этот процесс, сам по себе, каждого ставит на свое место, для каждого очерчивает известное пространство, за пределы которого переходить не полагается... Для чего же понадобилось, независимо от неминуемой жизненной оценки, заранее встречать человека словами: твой ум бессилен, дрябл, неуместен?

И каким изумительным логическим путем можно было дойти до построения такой отчаянной теории, которая убивает жизнь в самом зародыше и, следовательно, даже тех жалких практических результатов, которых от нее ожидают, в сущности, дать не может?

Право, это совсем не такой праздный вопрос, как может показаться с первого взгляда, и есть не мало людей, которых самая постановка его терзает безмерно. Разумеется, и его можно разрешить сразу, без дальнейших оговорок, юркнувши в гроб; но, во-первых, как я уже сказал выше, не

у всякого есть в распоряжении *удобный* гроб, а во-вторых, говоря по совести, разве гроб — разрешение?

Говорят, что покуда имеется налицо, с одной стороны, целая масса людей, у которых нет времени обратиться с каким бы то ни было запросом к самим себе, а с другой — достаточное количество индивидуумов, которые преднамеренно чуждаются мерцаний совести и не чувствуют от этого ни малейшего ущерба,— до тех пор не представляется даже повода принимать в соображение, что существуют какие-то бродячие единицы, разбросанные по лицу земли, без опоры, без связи и умирающие от боли, каждая в своем углу. Этого мало: на общественном рынке пользуется неограниченным кредитом целая философская система, которая прямо утверждает, что все существующее уже по тому одному разумно и законно, что оно существует...

Я знаю, что эта философия никаких практических разрешений не дает и что, вдобавок, ее всего приличнее назвать заплечною; но попробуйте-ка протестовать против нее! Попробуйте сломить это железное кольцо, которое от начала веков сдавило человека и заставляет его фаталистически вертеться в пустоте! Увы! старинная мудрость завещала такое множество афоризмов, что из них, камень по камню, сложилась целая несокрушимая стена. Каждый из этих афоризмов утверждался на костях человеческих, запечатлен кровью, имеет за собой целую легенду подвижничества, протестов, воплей, смертей. Каждый из них поражает крайней несообразностью, прикрытой, ради приличия, какой-то пошлой меткостью, но вглядитесь в эту пошлость поглубже, и вы наверное увидите на дне ее целый мартиролог.

Эти легенды воплей, этот мартиролог — разве они не представляют достаточного фундамента, на котором какой угодно бессодержательный афоризм может бесспорно утвердить свое право на существование?

Вот отчего заплечная философия процветает: у ней имеются сзади целые массы жертв. Но кроме того, ужасная сама по себе, она делается еще более ужасною вследствие того, что прежде всего вторгается в домашний, будничный обиход человека, становится на страже его удобств и привычек, и только тогда, когда уже видит силу сопротивления окончательно сломленною, погубляет и душу. От этого встречается много людей, даже не чуждых умственной гастрономии, которые не только не мечутся от тоски при произнесении заплечных афоризмов, но и не чувствуют ни

малейшей неловкости. Жизненный процесс у этих людей раскалывается на две половины: в одной — материальная гастрономия, в другой — гастрономия умственная, и ежели некоторое время обе эти гастрономии живут как бы отдельною жизнью, то обыкновенно дело все-таки оканчивается тем, что они до того перепутываются, что утрачивается всякое мерило для определения, где кончается одна и где начинается другая.

Я долго, слишком долго руководился этой заплечной философией, прежде чем мне пришло на ум, что она заплечная. Будучи тридцатилетним балбесом, я как ни в чем не бывало выслушивал афоризмы, вроде: «Выше лба уши не растут», «По Сеньке шапка», «Знай сверчок свой шесток» — и не только не находил тут никакого мартиролога, но даже восхищался их меткостью. Да и время тогда было совсем особенное. То было время, когда люди бессмысленно глядели друг другу в глаза и не ощущали при этом ни малейшего стыда; когда самая потребность мышления представлялась презрительною, ненавистною, опасною: поневоле приходилось прибегать к афоризмам, которые, хоть по наружности, представляли что-то похожее на продукт мышления.

Наконец цикл заплечной философии истощился, поставив самих приверженцев своих лицом к лицу с глухой стеной. Почувствовалась потребность в иных девизах, не столь метких, но зато более снисходительных. Эти девизы явились, и мы все, наперерыв друг перед другом, бросились навстречу им. То было время всеобщих «сований». Настал момент, когда всех осветило солнце откровения, когда представлялось, что чаша горечи переполнилась до краев и что заплечный мастер задохнулся в ней. Я заметался вместе с другими, но не от боли, а от тысячи неопределенных порывов, которые вдруг народились в моей груди и потянули меня на простор. Всё мое существо, казалось, очистилось, просветлело; новая кровь катилась по жилам, и ради этой новой крови, ради ее сладких волнений, я готов был забыть даже недавнее заплечное прошлое. «Зовет!» — раздавалось со всех сторон, и хотя чудо призвания заставляло себя ждать, но признаки, позволявшие угадывать сердцем его близость, чуялись всюду...

Я вышел на призыв очень бойко. Написавши на знамени: ничто человеческое мне не чуждо, я искренно уверовал, что воистину вступил в область этого «человеческого». Я жаждал жить, и в особенности жаждал «чувствовать».

Но, несмотря на эту страстную жажду, нельзя сказать, чтоб я был чересчур требователен и нетерпелив. Напротив, практика заплечной философии уже настолько въелась в меня, что я не только инстинктивно чувствовал, но даже *понимал*, что «вдруг» — невозможно.

«Не вдруг!» — повторял я на все лады, и повторял совершенно с тем же энтузиазмом, с каким выкрикивал и другой свой девиз: «да здравствует обновление!» Представилось, что слова «не вдруг» ничего не останавливают, а только спасают. И в то же время хотелось уберечь дело обновления от влияний дурного глаза, выхолить его на славу. Я знал, что у него множество ненавистников, и вознамерился победить их терпением и даже повадливостью. Пусть знают, пусть видят, твердил я, что мы ничьих интересов не затрогиваем и желаем лишь одного, чтоб никто не потерял и чтоб все выиграли! Мне не приходило на мысль, что, твердя слишком часто одно и то же «не вдруг», я наконец могу при нем одном и остаться. Нет, я этого не боялся, потому что был слишком уверен в живучести своего порыва. Я вообще в то время ничего не боялся: ни самоотверженно лезть вперед, ни предусмотрительно кричать: не вдруг!

К чему я тогда не примазывался! в каком «хорошем» деле не предлагал своих услуг! Все тогдашние вопросы были моими личными, кровными вопросами. Я пламенел не только общею идеей гласности и устности (это была тогдашняя всеобщая панацея), но и всеми ее деталями, и везде предъявлял искренность, расторопность, готовность, радость. Утром я просыпался со словами: «сегодня нам предстоит быть участниками новой радости, которая должна ознаменовать и упрочить наше молодое обновление»; ночью — мой первый сон начинался словами: «радость, которая еще сегодня утром составляла только предмет гаданий наших, свершилась»... Мои восторги были не только искренни, но и до того разнообразны, что я положительно не успевал с ними во все места, куда они меня влекли, хотя быстрота моих мельканий по лагерю радостей и надежд была поистине изумительна. И за все эти мелькания я ничего не требовал, кроме счастия быть свидетелем общего обновления и скромно сознавать, что я тут был, мед-пиво пил...

Я торжествовал и, что всего хуже, принял мое торжество за нечто серьезное. Действительно, на первых порах мои «сования» не только не встретили отпора, но катились вперед, от станции до станции, словно по покатости. В лаге-

ре радостей и надежд меня ожидали только объятия и сочувственные улыбки. Я уже не говорю о второстепенных деятелях обновления — эти положительно не могли нагордиться друг другом, как половые палкинского трактира в ту минуту, когда хозяин пригласил француза-повара, но даже в среде самих «строителей» все говорило о ласке, о поощрении, о благосклонном снисхождении. Правда, что в этом снисхождении чувствовался оттенок чего-то похожего на изумление, но именно этот-то оттенок мы, впопыхах и просмотрели. Если бы мы спохватились вовремя, то убедились бы, что тут скрывается нечто, во всяком случае, загадочное. Что собственно послужило поводом для этого изумления: размеры ли нашего слабоумия, разыгравшегося до резвости, или гадливое опасение, что вот и это резвящееся слабоумие, чего доброго, предъявит какие-то требования?

Наконец, однако, мы надоели. Года два сряду мы любовались друг другом, на третий — любоваться было уже нечем. Мы весь свой багаж разбросали разом и ничего не сумели подобрать, так что очутились совсем с пустыми руками. Все изменилось кругом нас: спрос на наши услуги вдруг понизился до минимума, снисходительные улыбки превратились в откровенно кисло-сладкие; одни мы не изменились и продолжали выказывать назойливейшую готовность идти в огонь и в воду. Тогда, чтоб отделаться от нас, потребовалось употребить насильство...

Что было потом — лучше не вспоминать. Скажу одно: человеку, который гордо шел в храм славы и, вместо того, попал в хлев,— и тому едва ли пришлось испытать столько горечи. Ошибки маршрута, особливо в таких местностях, где и храм славы, и хлев стоят рядом, не представляют еще особенно мучительной неожиданности; но замена вчерашнего лихорадочного «сования» сегодняшним оцепенением, это — более нежели неожиданность: это целый переворот. Нить жизни порвана, привычки нарушены, все планы, все стремления, все, чем жил человек,— все разом упразднено. Сколько жгучего презрения должен почувствовать человек к самому себе в минуту совершения этого переворота! Ведь он все тот же: деятельный, преданный, одушевленный — и вдруг... За что?

За что? поймите, какая масса беспомощности, самоуничиженья, напрасных укоров, бессильного ропота слышится в одном этом вопросе!

С первого раза нельзя даже понять, что такое слу-

чилось. «Выше лба уши не растут!» «Знай сверчок свой шесток»... опять! Опять эта постылая, ненавистная «мудрость веков»! В бывалое время она входила в одно ухо и выходила в другое; теперь — она хлещет по щекам! Все лицо горит, весь организм трясется. «Пятое колесо в колеснице» — кто первый выдумал это чудовищное сравнение? «Ничего не знаю», «ничего не могу!» — кто возвел эти ужасные слова в доктрину? Куда бежать, куда провалиться от этих заплечных афоризмов? Об «сованиях», конечно, нечего и думать; но куда бежать?

И вот навстречу выдвигается... гроб!

Отлично, отлично, отлично.

Теперь самое существенное, это — довести мысль до той степени неопределенности, при которой она совпадает с жужжанием. И затем — позабыть. Погрузиться со всем прошлым и настоящим на самое дно, так, чтоб выкарабкаться оттуда было нельзя, если бы даже и пришла в голову блажь опять лезть навстречу старинным «сованиям».

Как я уже сказал выше, внешняя обстановка, с самого начала, удивительно как благоприятствовала этому погружению. Но чем дальше, тем лучше. Нет ни происшествий, ни даже простого благорастворения воздухов — ничего такого, что вызвало бы попытку выйти из гроба. На дворе замечаются, правда, признаки весны, но не той светозарной, зажигающей весны, о которой повествуется в книжках, а какой-то мокрой, сонливой, кислой. Тяжелые, серые тучи повисли над домом, поселком и парком и с утра и до ночи сеют на землю мокрый снег. С 1 марта подул с юго-запада ветер, но настоящего тепла не принес, а только сырость да слякоть; иней, одевавший парк узорчатою одеждою, сполз, и деревья стоят голые и беспорядочно хлещут по воздуху отяжелевшими ветвями; дорога исковеркалась и побурела; река покрылась полыньями; в саду снег источило словно червоточиной, и по местам обнаружилась взбухшая земля; люди ходят мокрые, иззябшие, хмурые; деревня совсем почернела. Говорится в сказках о жаворонках, о волшебных метаморфозах воскресения природы, но ни жаворонков, ни воскресения нет, а есть унылая картина неопрятного превращения твердого черепа зимы в непролазные хляби весны. Только вороны суетливее прежнего хлопочут вокруг гнезд и неистовым криком как бы возвещают, что одна тоска, зимняя, кончилась, и началась другая тоска, весенняя.

Что же касается до происшествий, то я заранее решился

устраниться от них и потому даже наблюдений никаких не делаю. Иногда, впрочем, я подхожу к окошку, гляжу на поселок, но особенного любопытства не ощущаю. Там во множестве кишат черные точки, погруженные в вечную страду. Кишат — и только. Борются — и не сознают борьбы; устраивают, ухичивают — и не могут дать себе отчета: что и зачем? И не хотят знать ни высших соображений, ни высших интересов, кроме, впрочем, одного, самого высшего: интереса еды. Конечно, я понимаю, что в этом-то интересе и сила вся, но странная вещь! — как только я наталкиваюсь на него (а не наткнуться — нельзя), так тотчас же чувствую непреодолимое желание обойти, замять. Разумеется, впрочем, так обойти, чтоб никто этого не заметил...

Вообще я должен сознаться, что меня всегда гораздо сильнее трогал вопрос о недостатке так называемых «свобод», нежели вопрос о недостатке еды. Еда — вещь неизменная (трудно даже вообразить: как это нет еды!), а я воспитан в традициях красивых линий и интересов исключительно спекулятивного свойства. Конечно, я не чужд и представления о бескормице, но не «такой». Вместе с Генрихом IV я охотно желаю всем и каждому курицу в супе, но именно курицу, а не ржаной хлеб, хотя бы и без примеси лебеды. Сверх того, я могу довольно легко представить себе и трагическую сторону бескормицы, но именно трагическую, красивую: вопли, стоны, проклятия, голодную смерть, а не обрядовое голодание, сопровождаемое почтительно сдерживаемым урчанием в животе и плаксивою суетою, направленною в одну точку: во что бы то ни стало оборониться от смерти.

Тем не менее иногда мне сдается, что, будь у меня, вместо множества высших интересов, только один, самый высший,— наверное, меня не грызла бы такая бешеная тоска. Очень возможно, что она заменилась бы болью, еще более жестокой, но у этой боли существовала бы реальная подкладка, на которую я мог бы сослаться с уверенностью быть понятым. А теперь, с своими «свободами», куда я пойду? С какими глазами покажусь я вот хоть на этой почерневшей от мужицкого тука улице, на которой деньденьской всё кишат, всё кишат?

Поэтому-то я и не выхожу из гроба и не наблюдаю ни над чем. Нет у меня нужной для этого подготовки. Однако ж это не мешает мне утверждать по совести, что хотя мои «высшие интересы» — и не «самые высшие», но все-таки они — не прихоть, не фанаберия, а действительная

и стенящая боль сердца. И эта боль тем несноснее щемит меня, что я обязываюсь глотать свою отраву безмолвно и в одиночку.

Однажды, впрочем, я соблазнился и чуть было совсем не выпрыгнул из гроба. Вот по какому случаю. Пришел сельский батюшка, весь встревоженный, и сообщил мне, что на селе случилось происшествие.

— Появился мужичок один, из фабричных,— рассказывал он,— наш он, коренной здешний, да не по-здешнему речь ведет. Говорит: рука божия якобы не над всеми равно благостно и равно попечительно простирается, но иных угобжает преизбыточно, а других и от малого немилостивне отстраняет...

— Воля ваша, батюшка, а тут что-то не так! — усомнился я.

— Ну, да, конечно, он, по-своему, по-мужицкому, объясняет, а редакцию-то эту уж я...

— Понимаю. Что ж дальше?

— То-то вот: как в этом разе поступить?

— То есть как же так поступить?

— Дать ли делу ход или так оставить?

— Батюшка! помилосердуйте!

— Признаться, я и сам... Только вот мужички обижаются... Кабатчик, значит... в личную себе обиду принял — ну, и прочих взбунтовал!

Я заинтересовался и пошел на село. Перед волостным правлением волновалась небольшая кучка народа, из которой неслись смутные крики. Но не успел я дойти до места судбища, как приговор уже был объявлен и приводился в исполнение: виноватого «стегали». Здоровенный мужчина сам снял с себя портки, сам лег и сам кричал: честно́й мир! господа честны́е! простите! не буду! А впоследствии я, сверх того, узнал, что, только благодаря предстательству батюшки, дело кончилось так легко и что, не будь этого предстательства, кабатчик непременно бы настоял, чтоб возмутителя его спокойствия отослали в стан.

Я возвратился домой и, признаюсь, некоторое время чувствовал себя изрядно взбудораженным. Помилуйте! Я уж совсем было начал «погружаться», а вместе с тем и самое представление о розгах уже стало помаленьку заплывать, и вдруг... Да, брат, «выше лба уши не растут!», машинально повторил я и чуть-чуть не задохся вслед за тем; до такой степени весь воздух, которым я дышал, казалось мне, провонял, протух...

Об чем собственно шла речь? — об еде. Кажется, предмет общепонятный и общедоступный, а между тем честной мир решением своим засвидетельствовал, что и дела ему до него нет, что он не желает даже, чтоб его беспокоили подобными разговорами. Что означает этот факт? То ли, что мир хотел «уважить» кабатчика? или то, что в его представлении вопрос об еде сформулировался так: ешь, что у тебя под носом?

Как бы то ни было, но от мысли, что заправский узел все-таки там, на поселке, никак не уйдешь. Как ни взмывай крыльями вверх, как ни стучи лбом об землю, как ни кружись в пространстве, а поселка все-таки не миновать. Там настоящий пуп земли, там — разгадка всех жизненных задач, там — ключ к разумению не только прошедшего и настоящего, но и будущего. И нужно пройти туда... но как же туда пройти, коль скоро там только одно слово и произносится внятно: стегать?!

Во всяком случае, кто не может вместить поселка, тот лучше пусть и не прикасается к нему. Потому что иначе к прежним высшим мотивам тоски пришлось бы прибавить еще новый, самый высший...

Так и я поступаю, то есть стараюсь поступать. Я не хочу тоски, а хочу жить в гробу без прошлого, без будущего, даже без настоящего. Да, и без настоящего, хотя это и кажется на первый взгляд нелепым. Я убежден, что можно до такой степени убить в себе чувство жизни, что самая реальная, осязательная действительность — и та не то что *покажется*, а воистину сделается призрачною, неуловимою. Стены будут двигаться, пол начнет колебаться под ногами. Галлюцинация получится полная, но ведь только она и может привести за собою настоящее, заправское забвение.

Чтоб достигнуть этого результата, необходимо, прежде всего, отучиться от настоящих человеческих мыслей и заменить их другими, получеловеческими. Во-первых, это засвидетельствует о несомненном повороте в сторону благонамеренности, а во-вторых, удивительно как помогает жить, то есть умирать. Поначалу, разумеется, встретятся затруднения, но известные механические приемы мигом упростят дело. Так, например, настойчивым повторением вслух первой попавшей под руку бессмыслицы можно разбить какую угодно мысль.

К тому же, у каждого человека есть наготове целый запас историй, которые преимущественно щекотят его животненные инстинкты и потому нравятся. Несмотря на

крайнюю несложность содержания, эти истории имеют то драгоценное качество, что их, по желанию, можно обставлять новыми и новыми деталями, вследствие чего они никогда не кажутся ни заношенными, ни исчерпанными. Таковы, например, истории любовные. Какое светозарное облако можно соткать по такому простому поводу, как столкновение двух существ, из которых одно называется мужчиною, а другое — женщиною! и какими яркими, разнообразными колерами будет это облако отливать! Или другой пример: процесс личного обогащения; и его тоже можно всякими огнями осветить. И сто тысяч — богатство, и миллион — богатство, и сотня миллионов — богатство. Затем: сначала идет процесс накопления (какой отличный случай для вмешательства элемента «чудесного»!), потом — процесс распределения... то есть на себя, на свои собственные нужды, а отнюдь не... Поистине можно до таких компликаций дойти, что сразу и не справиться с ними! И еще пример: истории сельскохозяйственные. Сам-друг, сам-семь, сам-двенадцать — какое разнообразие! А с другой стороны — цена продуктов может быть — рубль, а может быть — грош. Как тут быть? Поневоле приходится рыться в воспоминаниях об экономических обедах (эти воспоминания не только можно, но и должно освежать как можно чаще). Словом сказать, является целый мир мыслей, дум, представлений, не весьма ценных, получеловеческих, но способных воспринимать всякую произвольную деталь. Благодаря этому свойству, не успеешь и оглянуться, как образуется громадный клубок, перед которым целые поколения будут стоять в изумлении, покуда не придет «невежа» и не скажет: наплевать!

Но когда-то это еще случится, а покамест ресурс все-таки есть. Я очень серьезно отнесся к этой программе и решился во что бы то ни стало ее осуществить. И вот стены вокруг меня зашатались, пол заколебался под ногами... Проблески старинного стыда, воспоминания о высших вопросах, представление о поселке — все исчезло. Остались только зеленые круги в глазах, как неизбежное последствие болезненной усталости.

Я знаю, мне скажут, что это срам. Да, это срам, отвечу я, и даже высокой пробы, но он освобождает меня от прошлого, а в данном случае только это и требуется.

Я уже начинал совсем утрачивать чувство действительности, как нечаянный случай снова возвратил меня к нему.

Привязался ко мне старик Дементьич с «докладом»: время-де погреб набивать льдом. Несколько дней сряду я только мычал в ответ: а! гм! Наконец он, по-видимому, испугался и почти во все горло проскандовал свой вопрос.

Вот по этому-то ничтожному поводу и завязался у нас разговор.

— От Ивана Михайлыча человек на мельницу приезжал; спрашивал, давно ли вы в усадьбу приехали? — доложил Дементьич.

— От Ивана Михайлыча! помню! как же... помню, помню! да неужто он жив? — встрепенулся я.

— Живы-с.

— Да ведь ему уже *тогда* было под семьдесят — помнишь?

— Много им годов. А всё до последнего время здоровы были. Только в прошлом году, от несчастьев от этих, словно кабы...

— От каких несчастиев?

— Да с молодыми господами что-то поделалось. Да и Марья Ивановна, дочка ихняя, померла. Теперь живут сам-друг с младшей внучкой... вроде как убогонькая она... Поедете, что ли, проведать?

— Конечно, конечно... Как-нибудь... съезжу!

Дементьич ушел, а я начал припоминать. Это было лет двадцать тому назад, в самый разгар моих «сований». Иван Михайлыч уж и тогда был старик старый. Как сейчас вижу его: длинный, прямой, худощавый, но ширококостный и плечистый, с головой, остриженной под гребенку и украшенной окладистой седой бородою, вечно в застегнутом на все пуговицы черном сюртуке солидного покроя. Сам лично он не «совался» — года не позволяли,— но сердцем и мыслью был неотлучно с нами (нас было-таки довольно). Мы были молоды, а он, казалось, вдвое моложе нас. Он воодушевлял нас, вселял в нас бодрость и веру, в нас, которые и сами были всецело сотканы из бодрости и веры! В его старческом сердце словно цвет какой-то загадочный распустился; в его старческих глазах — искрилось пламя. Никаких сомнений он не допускал, а тем менее — иронии, к которой был даже строг. И радовался такою безмерною радостью, какою может радоваться только острожник, выдержавший бесконечно долгий искус, утративший всякую надежду на освобождение и вдруг, волшебством каким-то, очутившийся на воле. И мы чувствовали

на себе силу этой радости и окружали старика всевозможными знаками уважения. Чудно́ было видеть, как сильный луч света вдруг осветил могильную плиту, но вместе с тем и необыкновенно отрадно. Казалось, плита поднялась и дала выход совсем новому, сильному человеку, который не знал, как надышаться, наглядеться, наликоваться. Конца-краю его ликованию не было, потому что этот оживший, согретый лучом мертвец создавал перспективы за перспективами, одна другой радостнее, лучистее...

В то время у него была дочь, еще довольно молодая. Красива ли была она или дурна, мне как-то никогда не удавалось заметить; но я помню, что в этой семье всем было и уютно, и светло, и тепло, и как-то особенно легко. Должно быть, оттого, что в ней царствовал какой-то удивительный лад. Всегда большой наплыв посторонних — и ни малейшей сутолоки, всегда немолчный говор — и никакого надоедливого шума. Дом этот служил средоточием не потому, что туда можно было во всякое время уйти от нечего делать, а потому, что всякий надеялся освежиться в нем. Удивительное дело, сколько тогда материала для бесконечных бесед было — нынче этого даже представить себе нельзя! Точно все родились вновь и на каждом шагу обретали совсем новые предметы, нужные, животрепещущие, настоятельные. Да и действительно, много было и животрепещущего, и настоятельного, да вот пришло что-то загадочное, чего и ждать, казалось, было нельзя, пришло и подкосило...

Впоследствии, когда всем местным «securitization» «сованиям» (я забыл сказать, что жил в то время в деревне, где собственно и сосредоточивалась тогдашняя кипучая деятельность) был положен крутой и внезапный конец, я бросился вон из деревни и уехал «соваться» в другие места. А Иван Михайлыч остался на месте, и хотя цветок, случайно распустившийся в его сердце, завял значительно, но все-таки он продолжал заботливо охранять его корень, в чаянье, что опять проглянут лучи и согреют его. Повторяю: в качестве острожника, почувствовавшего простор полей, он сделался наивен, как юноша, и, как юноша же, был доступен только впечатлениям радости и надежды. Я лично уже не виделся с ним, но от посторонних слыхал, что он точно так же, как и я, как и все мы, не один раз расцветал и не один раз увядал. Надежда — вещь слишком привязчивая, чтоб могла легко и скоро превратиться в стыд. Но год или два тому назад Ивана Михай-

лыча постигло двойное несчастие: сперва умерла дочь, а потом случилось что-то загадочное с внуками, которых он вырастил и на которых не мог надышаться. По словам Дементьича, в самое короткое время его так свернуло, что от прежнего бодрого и физически сильного старика осталась одна развалина. Теперь он живет вдвоем с уцелевшею внучкой; оба думают об одном; оба чувствуют себя раздавленными, и оба боятся проговориться друг перед другом. Именно только благодаря этой осторожности, их жизнь еще кое-как висит на волоске. Никто к ним не ездит, да и некому: те, которые когда-то составляли их круг, давно уж рассыпались и ушли неизвестно куда. Вот я — воротился, вспомнил, что у меня случайно уцелел свой собственный гроб, а другие — где? Ужели всё еще «суются» и питаются пощечинными надеждами!

Воспоминания эти встревожили меня. С неделю я не упоминал об Иване Михайлыче: все надеялся, что как-нибудь обойдется. В моем безмолвии всякая непредвиденность, всякий выход из пределов программы не на шутку пугали меня. Конечно, я ни под каким видом не мог освободиться приличным образом от визита к Ивану Михайлычу, но зачем же спешить? И я не знаю, чем бы это кончилось, если бы не пришел ко мне на выручку Дементьич, который, в одно прекрасное послеобеда, доложил, что закладывают лошадей.

Я ехал с замиранием сердца, словно ожидая, что мне придется увидеть нечто даже худшее, нежели гроб. Сиротливо раскинулась по обеим сторонам дороги родная равнина, обнаженная, расхищенная, точно после погрома. При взгляде на эти далекие, оголенные перспективы, не рождалось никакой мысли, кроме одной: где же тут приют? Кто тут живет? зачем живет? в каких выражениях проклинает час своего рождения? Я никогда не был панегиристом старых порядков, но можно ли было представить себе, даже во сне, что на смену прошлому придет такое настоящее? А сколько было радостей-то! сколько надежд! Ах, эти радости! есть же такие углы в божьем мире, где они не оживляют, а только отравляют существование!

Наконец проехали перелесок (я не узнал его: тут прежде был хороший, старинный лес), и из-за снежных сугробов вынырнула усадьба Ивана Михайлыча. И прежде она была не из нарядных, а теперь и вовсе глядела разоренным вороньим гнездом. Почернела, даже словно сгорбилась. Я осторожно подъехал к заднему крыльцу (парадное

было заколочено, и дорогу к нему занесло снегом) и в бывшей девичьей был встречен Юлией Петровной, внучкой Ивана Михайлыча.

Это была девушка болезненная, маленького роста, горбатенькая. Лицо у нее бледное, почти прозрачное, и эта прозрачность сообщала ему, по временам, светящиеся точки. Смесь детского и преждевременно состаревшегося поражала в этом лице; глаза смотрели совсем по-детски, восторженно, как-то вдаль, дальше предмета, непосредственно стоящего перед глазами, а на висках и на лбу уж легли старческие тени. Даже голос ее звучал двойственно; в общем он напоминал неустановившиеся голоса переходной эпохи двенадцати-тринадцатилетнего возраста, но, по временам (даже слишком часто), в нем прорывались такие дряхлые звуки, что, слыша их, вы невольно представляли себе целую раздавленную жизнь.

Приняла она меня прилично, хотя и не особенно радушно. Может быть, долгая строго-уединенная жизнь уж отучила ее от той приветливости, которою некогда, казалось, были пропитаны даже стены этого дома.

— Дедушка вас ждет,— сказала она, подавая мне руку.

— Он здоров?

— Здоров, но не надо его волновать. Конечно, при встрече после долгой разлуки, нельзя обойтись без воспоминаний, но есть предметы — вы меня понимаете? — которых положительно не следует касаться. Он и без того слишком об них помнит.

Я нашел Ивана Михайлыча в столовой. Передо мной стоял прямой и длинный старик, до того худой и обнаженный от мускулов, что даже кости у него, казалось, усохли. Бледно-серая голова, словно мхом поросшая волосами, ничем бы не отличалась от головы мертвеца, если бы из глубоких глазных впадин не выглядывали две светящиеся точки. Увидев меня, он протянул ко мне свои длинные, худые руки.

— Приехали?.. куда?.. ха-ха! — приветствовал он меня.

Я бросился к нему, и вдруг внутри у меня что-то нахлынуло, закипело, защемило. Я не ждал от него смеха... ужасная это, ужасная боль! Я весь вспыхнул, затрясся и, мучительно надрываясь от боли и, в то же время, как бы усиливаясь освободиться от нее, крикнул:

— Ну, да, в гроб, в гроб, в гроб!

Казалось, эта выходка поразила его. Он взял мою

руку; одною рукою держал ее, а другою гладил, как бы желая успокоить.

— Ну, дайте я на вас посмотрю! — сказал он, подводя меня к окну, и затем, внимательно осмотревши, прибавил: — Всё в порядке. Теперь рассказывайте. А впрочем, что ж я! прежде познакомьтесь. Юлия — внучка моя. Теперь она у меня одна.

Он спохватился и не кончил.

— Рассказывайте, рассказывайте! — повторил он.

Мне всегда казалось, что я могу рассказать очень многое. Длинная жизнь, вся до краев наполненная «сованиями»,— есть, кажется, что порассказать. Но теперь, при этом, так сказать, ультиматуме, я вдруг стал в тупик. Не то чтоб я позабыл или застыдился,— нет, этого не было. Напротив, как нарочно, вся моя жизнь, со всеми деталями, пронеслась в эту минуту предо мной; а что́ касается до стыда, то, право, он не мог делать никакого диссонанса в доме, где и без того все говорило о стыде. Нет, просто показалось нелюбопытным, ненужным.

— Рассказывать-то, верно, нечего... ха-ха! — засмеялся он.

— Пожалуй, что так,— согласился я.

— Это, сударь, бывает, особливо в таких углах вселенной, где по части благочиния чересчур благополучно. Вспоминаешь-вспоминаешь, и все как-то около одного предмета вертишься: около вывески с надписью: «Управа благочиния»... ха-ха!

— Действительно, это воспоминание господствует...

— Так-то господствует, что́ вот я еще в восемьсот четырнадцатом году (восемьдесят восемь лет, сударь, мне!) начал надеждами гореть и потом все горел, все горел, а ежели начать рассказывать... Плюхи да плюхи, на каждом шагу плюхи... вот мерзость какая! Ну, делать нечего, давайте смотреть друг на друга и молчать. Юлия! ты у меня умная: скажи, ведь молчать — лучше?

— Да, дедушка, лучше.

— И я говорю: лучше... ха-ха! Только я вот еще что говорю: молчание — вещь обоюдоострая; иногда оно помогает забывать, а иногда — жжет, бередит. Точно вот слезы, которых не можешь выплакать, или стыд, который, хочешь не хочешь, а должен глотать. Так ли, господин надеждоносец... ха-ха!

Я прислушивался к его смеху, и мне положительно делалось неловко. Хохочущий старик — право, это целая

трагедия. Какую нужно необъятную боль, чтоб добраться до дна старческой дремоты, разбудить все скопившиеся там боли, перебрать их одну за одной и обострить — до хохота!

— Что касается до меня,— сказал я,— то я, во всяком случае, полагаю, что молчание целесообразнее. С помощью его мы извлекаем свой личный стыд из публичного обращения и перестаем служить посмешищем. Я, собственно, ради молчания и воротился в деревню.

— А вы из стыдящихся? — вдруг прервала меня Юлия Петровна и так пристально взглянула на меня, что я невольно сконфузился.

— Она у нас стыдящихся не одобряет,— с своей стороны пояснил Иван Михайлыч.

— Не одобряете? но что же делать, если результат всей жизни выражается словами: довольно жить? — возразил я.

— Она таких результатов не признает. Не понимает, что для нас, старых надеждоносцев... если мы и к таким результатам приходим... и то уж заслуга... ха-ха!

Старик захохотал таким горьким и продолжительным хохотом, что Юлия Петровна встревожилась.

— Дедушка! оставьте этот разговор! он вас волнует! — обратилась она к нему.

— Мудрая, а не в силах понять, что у нас другого разговора не может быть! Ты говоришь: волнует, а я, напротив, утверждаю: развлекает, позволяет занимательно провести время... так ли, сосед?

— Не знаю, право...

— Нет, наверное. Вот, например, я говорю: как начиналось — и чем кончилось! Восклицание, кажется, не особенно мудрое, а между тем оно облегчает меня! И я очень рад, что есть человек, который меня поймет и вместе со мной постыдится... Так ведь?

Он взглянул мне в глаза и ласково потрепал рукой по коленке.

— Если бы я молчал — эта мысль глодала бы мои внутренности, шла бы за мной по пятам. А теперь, сделавши из нее составную часть causerie de société[1], я все равно что отнял у нее всякое значение. Оттого-то я и повторяю: ка́к начиналось и чем кончилось... ха-ха!

— Да начиналось ли?

— То-то вот... Она, впрочем, умная-то моя, не сомневается. Не только «начиналось», а началось, говорит, и не

---

[1] светской беседы (*фр.*).

вчера, а от начала веков. И придет, несомненно придет! Юля! ведь так?

— Так, дедушка, придет.

— Она и на нас, стыдящихся, ка̀к-то особенно смотрит. Нечто в роде Закхеевой смоковницы в нас видит... ха-ха!

— Дедушка! я никого не осуждаю! Я говорю только...

— Что нужно верить?

— Нужно, дедушка.

— И что есть люди, которые не падают духом?

— Есть.

— Аминь!

— Аминь,— повторила Юлия Петровна.

Все умолкли, а старик понурил голову, словно задремал. Через минуту, однако ж, он вновь встрепенулся и взглянул в окно. Небо было ясно, и на краю небосклона разливался тихий свет вечерней зари.

— Сколько раз, в былые времена,— словно про себя прошептал Иван Михайлыч,— я провожал глазами эту зарю и говорил себе: завтра я опять увижу ее там, на востоке.

— А теперь?

— А теперь говорю: сейчас она потухнет, и затем начнется ночь...

— Дедушка!

— Да, ночь... и навсегда! Ни надежд, ни «нас возвышающих обманов»... ничего, кроме ночи!

— Нет, дедушка, этого не будет!

Я оглянулся и умилился. Глаза Юленьки горели, лицо ее было все как в лучах; даже в голосе слышались мощные, звонкие ноты.

— Заря опять придет,— продолжала она,— и не только заря, но и солнце!

Старик махнул рукой вместо ответа.

— Есть добрые, не падающие духом! есть! И они увидят солнце, увидят, увидят, у̀видят! — повторила она.

Иван Михайлыч быстро повернулся и протянул мне руки.

— Ну, прощайте! — сказал он,— тяжело! Говорить мы ни об чем не умеем, а только умеем раздражать себя... Тяжелы эти повторения старой сказки об упованиях! Не ездите ко мне... не нужно! Не затем мы живем, чтоб заниматься causeries de société... Будем изнывать каждый в своем углу... Довольно.

БОЛЬНОЕ МЕСТО

1

Уныло доживал век старик Разумов в родном своем городе Подхалимове. Пять лет тому назад он приехал сюда, покончив счеты с долголетней службой, купил домик в Проломной улице, устроил, ухитил себе гнездо на славу и думал: вот теперь-то начнется настоящий спокой! И действительно, «спокой» начался, но не совсем тот, на который рассчитывал Разумов. Начался «спокой» одиночного заключения, подавляющий, преисполненный безрассветной мглы, тот «спокой», который, однажды захватив человека, окружает его непроницаемой стеной, без дверей, без окон. Сидит человек за этой стеной и ни о чем другом не мыслит, кроме того, что и в нем самом, и вне его все кончилось.

Несмотря на свои шестьдесят лет, Разумов был старик бодрый, румяный и сильный. Начавши трудную жизненную карьеру с должности писца в подхалимовском земском суде, он не погряз в безыменной массе подьячих, но сумел выделиться из нее настолько выгодным образом, насколько это возможно для человека, у которого нет иной опоры, кроме замечательной деловой цепкости, споспешествуемой не менее замечательною выносливостью хребта. Разумеется, в его возвышении большую роль играл случай, который дал Разумову возможность сначала «понравиться», а потом сделаться «необходимым», но и собственной его заслуги было все-таки не мало. Трудно без особенно счастливого случая выбраться из подьяческой тьмы в излучины воинствующей бюрократии, но еще труднее не потеряться в них и не развратиться. И высокой похвалы заслуживает тот, кто не до конца погубит при этом «рассуждение», а ограничится только тем, что покорит его, поставит в пределы.

Разумов вышел в отставку с хорошей пенсией, и с чином тайного советника, но не совсем по своей охоте. Напротив, это случилось в самую цветущую пору его бюрократической деятельности, когда он всего менее ожидал, что услуги его скоро уж не понадобятся. Разумов никогда не занимал вполне самостоятельного места, но, как второстепенный деятель, он был незаменим. Это была своего рода неуязвимая департаментская репутация, перед которою спасовал даже отважный генерал-майор Отчаянный. Целая свита угрюмых

сановников прошла перед ним, в продолжение его многолетнего жизненного искуса, и каждый из них неизменно начинал с того, что сулил ему в перспективе преисподнюю. Но он понимал, что стоит на твердой почве, и не страшился. Тридцать пять лет сряду ничего не страшился и только изредка жаловался на боль в пояснице. И вдруг, совсем неожиданно, почувствовал, что почва, которую он считал неподвижною, начинает шевелиться под ним. И точно: невдолге пришел деликатный тайный советник Губошлепов (по странной игре случая, несмотря на свою чисто русскую фамилию, он назывался Василий Карлыч) и без угроз, в два слова, пресек жизнь, перед которою в недоумении остановился сам генерал-майор Отчаянный.

— Какой это такой пономарь ко мне давеча представлялся? — спросил он в самый день своего вступления в должность, пораженный высокою и как-то чересчур уж сановитою фигурой Разумова.

Ему доложили, что это был действительный статский советник Разумов, чиновник опытный, неутомимый и даже, в некотором роде, незаменимый по своей части.

— У меня нет «незаменимых»! — кратко отрезал Губошлепов и тогда же порешил в сердце своем положить конец служебному поприщу Разумова.

Нельзя сказать, чтоб Губошлепов был зол, но несомненно, что внутри его царствовали постоянные сумерки. Эти сумерки помогали ему отравлять жизнь подчиненных, не подвергая при этом самого себя никаким запросам со стороны совести. Он принадлежал к той породе бюрократов, которые думают, что бюрократический омут только тогда освежается, когда сидящий на берегу рыболов, от времени до времени, закидывает в него уду и ловким движением руки подсекает суетящуюся в омуте рыбную бель. Что оказывалось в результате этой подсечки: безобидная ли плотва или вороватая щука — это было для него безразлично. Он за результатами не гнался, а просто-напросто выполнял обряд. Из этого неумного занятия он выработал совершенно неумную доктрину, которая, к удивлению, в известных сферах, однако ж, создала ему целую репутацию. По крайней мере, когда в бюрократическом мире шла об нем речь, то все как будто понимали, об ком и об чем они говорят. «Этот человек с душком! у него — система!» — вот мнение, которое сложилось об нем в сознании каждого чиновника, и мнение это он, конечно, старался всеми мерами поддержать.

Я всегда говорил и теперь утверждаю: существует целый замкнутый мир, в котором таким словам, как например: «мысль», «система», не дается почти никакой цены. Есть выражения, которые нравятся только потому, что они таинственно-заманчивы, хотя внутренний смысл их всегда остается неразгаданным. В результате получается смешение, и то, что в среде обыкновенных смертных зовется глупостью, в этом странном мире получает название «идеи», а то, в чем трудно усмотреть что-нибудь, кроме пустопорожности, украшается именем «системы». Этот особенный мир народился, впрочем, недавно, как поправка и улучшение тому миру, который ни «идей», ни «систем» не знал, а знал только «ежовые рукавицы». Но действительно ли он принес улучшение — на это я положительного ответа дать не могу. Думаю, однако ж, что простые, бесхитростные «ежовые рукавицы» имели на своей стороне преимущество прямодушия и откровенности и что вообще помещение таких, например, слов, как: «идея», «система» и т. п. в словари, которые, в видах общественной безопасности, должны отличаться безусловною ясностью, представляет совсем не обеспечение, а скорее угрозу.

Как бы то ни было, но в одно прекрасное утро Губошлепов, закинув в подведомственный ему омут уду, вытащил оттуда Разумова. Рыбина оказалась большая, даже редкостная, но не настолько, впрочем, чтоб такой доктринер рыболовства, как Губошлепов, мог затрудниться, как насчет ее поступить.

— Вы, кажется выслужили право на пенсию? — молвил он однажды Разумову после того, как покончил с ним обычное объяснение.

Разумов покраснел, точно его вдруг по затылку ударили. Ему показалось, что стены губошлеповского кабинета начинают шататься и сам он как будто скользит.

— Выслужил-с,— ответил он, однако, довольно твердо.

— А при этом, ежели чин тайного советника, при отставке... гм?..— продолжал тайный советник Губошлепов, но без жестокости, а именно только с полнейшим «нерассуждением».— Полный оклад пенсии и... чин тайного советника... гм? Итак, до свидания... любезный коллега!

Губошлепов очень развязно протянул ему руку, и старик Разумов почтительно прикоснулся к ней концами своих похолодевших пальцев.

В этот день Разумов возвращался домой совсем пустой, точно внутренности из него вынули. Не то чтоб он жаловал-

ся или негодовал, а как будто никак не мог вспомнить что-то очень нужное, и в то же время потерял способность воспринимать ощущения. Он шел обычной дорогой, безошибочно поворачивая в те самые улицы и переулки, куда следовало, но делал это совсем машинально. Проходя мимо знакомой колбасной лавки, он, как всегда, зажал нос, но сделал это лишь инстинктивно, а не потому, чтоб его поразила окружавшая лавку смрадная атмосфера. На одном переходе, где обыкновенно протекал грязный ручей, он сделал обычный прыжок, хотя на этот раз, благодаря какому-то исключительному стечению обстоятельств, никакого ручья в этом месте не было. И при этом он все время нервно шевелил губами, так как ему казалось, что он ведет беседу с каким-то воображаемым приятелем и что разговор их состоит из следующих немногих, но назойливо повторяемых фраз:

— Глупо-то как! — говорит он, Разумов, впрочем, без злобы, а с каким-то наивным изумлением.

— Умного нету! — вторит ему воображаемый приятель.

— Нет, ты пойми: глупо-то как! — опять настаивает он.

И так далее.

В этой мысленной беседе он дошел до Лиговки и только тут, задевши ногой за перила моста, очнулся на минуту. Но, увидевши себя в знакомой местности, опять тронулся в путь.

— Мухи не обидел! — вдруг мелькнуло у него в голове.— Мухи, мухи не обидел!

И ему показалось, что вся окрестность разом повторила это восклицание. И извозчик, едущий порожняком, и мальчишка, катящий ручную тележку с беремем пустых бутылок, и лавочник, высунувшийся из подвала. Все смотрят на него, все изумленно качают головами и в один голос вопиют:

— Мухи не обидел! мухи, мухи не обидел!

В таком полубодрственном положении дошел он наконец до своей квартиры и дернул за звонок.

— В горле...— прохрипел он отворившей ему дверь прислуге,— в горле... воды бы! да Ольгу Афанасьевну поскорее сюда...

Принесли воды; прибежала Ольга Афанасьевна.

— Вот, сударыня... и уволили нас! — произнес он, выпив залпом два стакана воды.

Ольга Афанасьевна сразу не поняла, но и ей показа-

лось, что стены дома шатаются и что она начинает куда-то опускаться, скользить...

— Уволили... совсем... вчистую! — повторил он, вразумительно отчеканивая каждое слово, чтоб она поняла.

— Что же ты сделал? — как-то изумленно воскликнула она.

II

Гаврило Степаныч Разумов женился поздно, когда уж ему было лет под сорок. Ни молодости, ни так называемого периода страстей у него не было; всю жизнь он прожил степенно, по-старчески, оглядываючись. Ни тогда, когда у него была одна своя голова на плечах, ни после, когда он обзавелся уж семьей,— ни разу он не почувствовал поползновения выйти из намеченной колеи, «рискнуть». Собственно говоря, это была не жизнь, а тиски, с которыми он, с самой бурсы, до того свыкся, что даже не чувствовал их давления. Содержание этого существования было полумистическое и в то же время совершенно рутинное. Ничего у Разумова не было ни самостоятельного, ни собственного, ему принадлежащего; все исходило из какого-то загадочного произволения, и все туда же возвращалось; причем на нем, Разумове, оставалась, однако ж, ответственность за это загадочное и не от него зависящее. И мысли, и действия, и желания его — все кружилось вокруг этого загадочного и, без рассуждения принимая те готовые формулы, которые оно предлагало, в них одних находило для себя питание. В зрелых летах такою всепроникающей формулой явилась служба и сопряженное с нею «дело».

Раз прилепившись к «делу», раз взявши на себя обязательство выполнить его «по сущей совести», Гаврило Степаныч почувствовал жизнь свою до краев наполненною. Он был нечестолюбив и, кажется, даже не понимал честолюбия. Не потому, чтоб, искушенный рядом жизненных обид, он смирился перед мыслью, что маленьким людям положен и маленький предел,— нет, он ни о каких пределах не думал, а просто шел, не обинуясь, по той колее, на которую поставила его судьба, и старался только о том, чтоб поступать по «сущей совести», разумея под этим: как приказано. Повышения и награды хотя и настигали его, но в установленном порядке, а не потому, чтоб

он искал их; даже «необходимым» он сделался не за какие-нибудь «потворства начальственным страстям» (что в чиновничьем быту не редкость), а просто потому, что лучше других «вникал», лучше других умел неясному мельканию начальственной мысли найти связное и ясное выражение.

Он лелеял только «дело», мыслил только об «деле» и в этом «деле» умел находить материал для бесчисленного множества вопросов, взглядов, соображений и т. д. Он гордился этим и изредка даже говорил: я служу только «делу». Было даже удивительно, ка́к «дело» приковывало его к себе, охватывало его всего, совершенно независимо от своего содержания, а только потому, что оно «дело». «Дело» раскрывалось перед его умственным взором с самым неожиданным разнообразием подробностей, с бесчисленными микроскопическими разветвлениями, из которых, в свою очередь, выбегали другие микроскопические разветвления; одним словом, со всею суматохою своеобразной трупной жизни. И он не успокоивался до тех пор, пока все эти подробности и разветвления не укладывались по своим местам, пока трупная суматоха не угомонялась и «дело» не представлялось достаточно выясненным для того, чтоб можно было из трупных посылок вывести логические трупные заключения. Тогда он пускал «облупленное яичко» в ход и принимался за препарирование другого трупа, стоящего на очереди.

Есть на Руси великое множество людей, которые, повидимому, отказались от всякой попытки мыслить и которым, однако ж, никак нельзя отказать в названии мыслящих людей. Это именно те мистики, которых жизненный искус заранее осудил на разработку тезисов, бросаемых извне, тезисов, так сказать, являющихся на арену во всеоружии непререкаемой истины. Они не анализируют этих тезисов, не вникают в их сущность, но умеют выжать из них все логические последствия, какие они способны дать. Это люди несомненно умные, но умные, так сказать, за чужой счет и являющие силу своих мыслительных способностей не иначе, как на вещах, не имеющих к ним лично ни малейшего отношения.

Хотя такого рода занятия, в большинстве случаев, оказываются до крайности изнурительными, но Гаврило Степаныч даже от этого не страдал, благодаря своему железному организму, закаленному еще с детства бурсацким воспитанием. Сухой, широкоплечий и мускулистый, он не знал ни хворости, ни даже усталости, тем больше что одно-

образно-регулярный образ жизни был одною из коренных привычек, приобретенных им независимо от какой-нибудь предвзятой мысли, а просто потому, что он даже понятия не имел о развлечениях, а тем менее о прихотях. Только раз в жизни он почувствовал что-то похожее на радость,— это именно тогда, когда состоялся его перевод из Подхалимова в Петербург,— но это случилось уже так давно, что приятное раздражение, произведенное этим переводом, без труда утонуло в представлении о «деле» и об той «сущей правде», потребность в которой глубоко коренилась в его с детства дисциплинированной природе.

Однако, приближаясь к сорока годам, он начал испытывать, что в существовании его есть какой-то пробел. Не то чтоб он почувствовал пустоту холостого одиночества, но явилась смутная потребность внести в жизнь известный распорядок, который обеспечивал бы от неправильностей, неизбежных при холостом существовании. Или, лучше сказать, чтоб в квартире чувствовалось присутствие заботливой руки, которой только однажды нужно дать направление, чтоб жизненная обстановка раз навсегда вылилась в известную форму, в которой и установилась бы прочно и незыблемо. Холостой человек, хоть изредка, но все-таки должен промыслить о себе; должен кому следует растолковать, распорядиться насчет своего жизнестроительства, а это неминуемо отнимает у «дела» время и, следовательно, наносит последнему ущерб. Напротив, женатый человек может разом освободиться от всех мелочей, особливо ежели выбор будет сделан без претензий на связи и блеск. Гаврило Степаныч довольно долго задумывался над этим шагом, но потребность выйти из бесхозяйственности заговорила наконец так настоятельно, что нужно было покончить с этим вопросом. И вот он принял решение, одно из тех готовых решений, которые имеют за себя достоинство исконной общепризнанности.

У сослуживца его, Афанасия Иваныча Негропонтова, отца многочисленной семьи, была дочь Ольга, девушка уже не первой молодости (ей было в то время под тридцать) и не красивая, но кроткая, разумная и настолько самостоятельная, что, после смерти матери, она много лет заведовала всем хозяйством у вдового отца. На ней-то и остановил Разумов свой выбор. В один из редких воскресных вечеров, когда он позволял себе, в виде «экстры», оставить «дело», он, без особенных приготовлений и предварительных ухаживаний, улучил минуту, когда Ольга Афа-

насьевна была одна, и совершенно спокойно и рассудительно сообщил ей о своих намерениях.

— Словом сказать, с материальной стороны вы будете, по возможности, обеспечены. Только, может быть, вам скучненько с стариком покажется? — заключил он, как бы желая последнею фразой смягчить чересчур уж рассудительный тон своего любовного объяснения.

Но Ольга Афанасьевна даже не поняла этой тонкости. Так давно, в доме старика-отца, она была со всех сторон окружена стариками, что, казалось, совсем даже не имела понятия о том, что существует различие между старостью и молодостью.

— Какой же вы «старик»? — молвила она, взглянув ему прямо в глаза.

— Нет, голубушка, старик я,— подтвердил он,— я от природы старик — это нужно правду сказать. Никогда у меня никаких этаких «эпизодов» в жизни не было...

— А ежели не было, то тем и лучше,— ответила она, выражая этим косвенное согласие на сделанное предложение.

— Ну, вот, и слава богу! стало быть, теперь только родительского благословения испросить надо!

Само собой разумеется, родительское благословение не замедлило, и через месяц «молодые» были обвенчаны.

Гаврило Степаныч не ошибся: выбор его, действительно, оказался чрезвычайно удачным. Его жизнь потекла невозмутимо спокойно и до последних мелочей правильно. Правда, что эта правильность была чересчур уж однообразна, но ведь, в сущности, ему ничего другого и не нужно было, кроме однообразия. Утром он проводил время за «делом» в департаменте и, по возвращении домой, был уверен, что обед не заставит его дожидаться: вечера проводил дома, отдавая себя всецело тому же «делу». Покуда он в кабинете «занимался», Ольга Афанасьевна тут же сидела с работой, и изредка они обменивались замечаниями. Этого было вполне достаточно, чтоб поддерживать между ними дружественную связь, главное основание которой лежало, по мнению Гаврилы Степаныча, совсем не в разговорах о «посторонних» предметах, а в том, чтоб муж, яко глава, добывал необходимые средства и чтоб дома, благодаря заботливости жены, было уютно, не голодно и тепло.

Через три года Ольга Афанасьевна родила мужу сына, которого назвали Степаном. Гаврило Степаныч уже совсем было потерял надежду на потомство, и вдруг... С этой минуты жизнь его как бы раздвоилась, и он впервые почув-

ствовал, что с ним случилось что-то вроде «эпизода». Даже женитьба не произвела в нем такого волнения, такого сладкого и в то же время щемящего избытка счастия, который заставляет опасаться, что чаша не чересчур ли наполнена. Между новым объектом жизни — сыном и старым объектом — «делом» сразу установилась прочная связь, и хотя старый объект уже не господствовал над жизнью, а только служил новому объекту, но тем более явилось причин ухаживать за «делом» и употреблять все усилия, чтоб закрепить за собой навсегда этот единственный источник, обеспечивавший благоденствие семьи.

Никогда, ни прежде, ни после, Гаврило Степаныч не был так счастлив, так бодр и так деятелен. Более детей у Разумовых не было, и хоть Гаврило Степаныч, по временам, позволял себе делать жене укоры в бесплодии, но, очевидно, он делал это в виде шутки, а втайне был даже доволен, что у него имеется только один объект, на котором всецело сосредоточивалась вся его нежность. Одним словом, на нем повторилось обычное в старческой сфере явление. Как будто природа, всегда скупая относительно стариков, случайно поступилась, в пользу его, одною из своих заветных тайн и, осветивши теплым лучом его существование, опять и навсегда закрыла доступ в лоно свое. Понятно, как глубоко он должен был дорожить этой уступкой.

III

При отставке материальные средства Разумова, конечно, значительно сократились. Хотя Гаврило Степаныч и получил хорошую пенсию, но все-таки она далеко не равнялась полному окладу содержания, которым он пользовался, состоя на службе. Сверх того, на службе, и кроме штатных окладов, все что-нибудь прилипает к рукам усердного чиновника: то полугодовые и годовые оклады, даваемые в награду, то остаточные, распределяемые между чиновною братией к рождеству, и т. п. Благодаря этим экстренным подачкам, жизнь шла своим чередом, жизнь, впрочем, скудная и строгая, все благополучие которой заключалось в том, что с истечением года каким-то чудом сводились концы с концами. Но впереди и того не предвиделось, а стало быть, нечего было и думать об том, чтоб вести прежний

образ жизни. Надо было прежде всего оставить Петербург и поселиться в провинции.

Но он был не один, у него был Степа, которому, к этому времени, минуло четырнадцать лет и который прошел уж четыре класса гимназии. Чтоб не произошло в его учении неизбежной, при переводе в провинциальную гимназию, ломки, предстояло расстаться с ним, а это было самое несносное. Он уедет, а Степа останется в Петербурге... Только тогда, когда эта горькая перспектива с полною ясностью предстала перед ним,— только тогда Гаврило Степаныч понял, какое ужасное злодейство обрушилось на его голову по манию Губошлепова. До сих пор он даже не представлял себе, чтоб мог пройти хотя один день, в который он бы не видел Степу. Он и прежде не имел времени особенно заниматься с ним, баловать его, но чувствовал непреодолимую потребность каждую минуту сознавать, что сын тут, подле него. И эта потребность покамест была удовлетворена. Поэтому, когда он понял, что скоро наступит момент, который прекратит раз навсегда возможность наслаждаться чувством «ощущения близости», то внутри его все словно заметалось и загорелось.

— Губошлепов! что такое... Губошлепов? — безотвязно стучало в его голове.— Есть ли в нем человеческое естество? есть ли внутренности? что̀ там таится, в этих загадочных, словно прокопченных глубинах? есть ли у него «дом», друзья, близкие? любит ли его кто-нибудь, любит ли он сам кого-нибудь, или просто так... существует? Мыслит ли он? ощущает ли радость, горе, физическую боль? питается ли? или наденет с утра вицмундир и скрежещет зубами? Ах... Губошлепов!

Что-то есть ужасное, неумолимое, неотразимое в этих людях, у которых смолоду как бы прокопчены внутренности. Ни рассуждения, ни чувства, ни даже самых простых человеческих порывов. Ни силы, ни слабости. Стоят они, как гильотина, посередь дороги: кто посильнее — тот проходит мимо нее и плюет, кто послабее — того она захватывает и обезглавливает. Воплощенное бесстрастное неразумие — вот настоящий сатана! Ах... Губошлепов!

Зачем? что случилось? что нужно было доказать? для чего понадобилось растоптать все привязанности человека, все его привычки, всю жизнь? Что такое? что такое? Ах, Губошлепов!

Разумов, бледный, ходил взад и вперед по кабинету и не мог оторваться от назойливых вопросов. Губы его

вздрагивали, внутри жгло, во рту чувствовалась сухость, глаза машинально перебегали с одного предмета на другой, как бы всматриваясь, действительно ли привычная обстановка еще существует и стоит на своем месте. В задних комнатах уже хлопотала Ольга Афанасьевна, приступившая к сборам; до слуха Гаврилы Степаныча долетал стук заколачиваемых ящиков, возня перетаскиваемых сундуков. Степа уныло бродил по комнатам, с заплаканными глазами, точно не знал, куда деваться от тоски. Но Гаврило Степаныч ничего не слышал и не видел и все повторял:

— Губошлепов! Что такое... Губошлепов?

Но задачу эту так и пришлось оставить неразрешенною...

Решено было: Степу оставить на попечение семьи Негропонтовых, а самим ехать в родной город Подхалимов, где у Гаврилы Степаныча жил еще двоюродный брат, Аким Семенович Коловратов, семидесятилетний старик, занимавший место протоиерея в кафедральном соборе.

С Коловратовым Гаврило Степаныч оставался в самых дружеских отношениях, хотя, в течение своей тридцатилетней петербургской службы, был на родине всего один раз, а именно, женившись, ездил в Подхалимов отрекомендовать родным молодую жену. Коловратов гордился Разумовым, а с тех пор, как последний получил чин действительного статского советника, титуловал его не иначе, как «ваше превосходительство», и внутренно называл даже «вельможей». И когда однажды Гаврило Степаныч, в ответ на чересчур прозрачный намек на это вельможество, написал: «посмотрел бы ты, как сей знатный вельможа, с женою и сыном, при одной женской прислуге, в четвертом этаже, во дворе, в четырех небольших покойчиках ютится, то, чаю, не высокое бы о таковом вельможестве понятие возымел», то Коловратов не только остался при прежнем убеждении, но даже слегка попенял своему другу: «хотя скромность твоя приносит тебе довольную честь, но позволь тебе, ваше превосходительство, заметить, что между присными и близкими и прямое изложение вещей не может почесться нескромностью». Вообще между друзьями шла довольно оживленная переписка. Разумов, желая преизобиловать в духе своего друга, ставил в письмах теологические и нравственные вопросы. Коловратов же, по силе возможности, откликаясь на эти вопросы, в свою очередь, возлагал на Разумова ходатайство по некоторым нуждам местной епархии, и так как Разумову, вследствие связей в среднем

чиновничьем мире, почти всегда удавалось успевать в этих ходатайствах, то мнение об его силе и вельможестве все больше и больше укреплялось в Подхалимове, преимущественно, впрочем, в кругу церковников.

Коловратову было уже за семьдесят, и он больше двадцати пяти лет состоял кафедральным протоиереем. Человек он был вдовый и бездетный и после смерти жены принял к себе в дом свояченицу с дочерью Аннушкой. На Аннушке (в описываемую эпоху ей минуло тринадцать лет) он, так сказать, сосредоточил последние лучи своего потухающего сердца. В свою очередь, и она заботливо ухаживала за дедушкой и, несмотря на избалованность, обещала сделаться со временем отличною, серьезною девушкой. Жили они в просторной квартире большого соборного дома, жили дружно, не огорчая друг друга и вполне удовлетворяясь теми скромными радостями, которые выпадают на долю людей, живущих, так сказать, за пределами общей жизни. Он был уже настолько ветх, что в свободное от церковных служб время, большею частью, дремал в старинном вольтеровском кресле, предаваясь «приличествующим сану размышлениям» и изредка перечитывая «Часы Благоговения». Хозяйством же и вообще всем домом заведовала свояченица, женщина пожилая, смирная и молчаливая. Очень возможно, что оба эти потускневшие под бременем лет существования незаметно потонули бы в пучине уныния, если бы не освещала их неугомонная резвость Аннушки. Она одна представляла жизненный принцип среди этих молчаливых стен, одна приносила туда звук и движение. Даже преосвященный любил ласкового и живого ребенка и шутя отзывался об отношениях к ней Коловратова: старый да малый союз заключили — оба вопиют: помози!

Коловратов не без горестного изумления узнал об отставке Разумова, хотя фраза в письме последнего: «и при сем пожалован чином тайного советника» до известной степени смягчила его огорчение. Сам преосвященный, выслушав рассказ об этом, сказал: «да, чин не малый»; но через минуту, однако, присовокупил: «но необходимо при сем иметь в виду, что ныне великое тайных советников изобилие, а посему и надобность, вероятно, не во всех видится». Как бы то ни было, но Коловратов начал деятельно готовиться к приему родственника и друга, а так как Гаврило Степаныч просил о приискании ему небольшого дома, на покупку которого ассигновал прикопленные на

черный день пять тысяч рублей, то скоро и это поручение было выполнено.

Разумов приехал в Подхалимов в один из холодных январских дней, как раз перед сумерками. Старый протопоп, который с утра в этот день недомогал, сидел в своем просторном кресле, обращенный лицом к западу, и следил за потухающим солнцем. Когда Разумов подошел к нему, он молча указал ему на подернутый бледно-розовым сиянием запад и старческим расслабленным голосом запел: *Свете тихий*. И, дойдя до стиха: *видевши свет вечерний*, склонил голову на грудь и сказал:

— Да будет, друже, и вечер жизни твоей подобен сему тихому свету вечернему! Аминь.

Все были в волнении; Гаврило Степаныч тяжело дышал, Ольга Афанасьевна полегоньку всхлипывала, Аннушка разливалась рекой. Только старая свояченица молчаливо хлопотала в соседней комнате за самоваром. Затем друзья обнялись и повели беседу. Несколько раз у Коловратова был на языке вопрос: какая причина? — однако он воздержался и только заметил:

— Одно неудобство усматриваю: вел ты доселе жизнь умственную, а у нас в этом отношении недостаточно. Как бы не впасть в уныние!

На что Гаврило Степаныч ответил:

— Ничего! все в свое время найдется, а может, и дело какое набежит. Вот, бог милостив, с устройством покончим, а потом...

Он как-то растерянно огляделся кругом, как бы ища: что же потом?

— Главное, думать об этом не для чего,— продолжал он слегка дрогнувшим голосом.— Думай не думай, а старого не воротишь. На новом месте надо и жить по-новому. И то сказать, под шестьдесят кати́т — в эти года не «дело», а спокой нужен!

С неделю прожил Гаврило Степаныч в соборном доме, а потом перебрался на Проломную улицу в собственное гнездо. И с этих пор началось для него то унылое существование, на которое одним почерком пера осудил его деликатный тайный советник Губошлепов.

Устроившись дома, Гаврило Степаныч сделал официальные визиты губернатору и прочим «начальникам частей», не потому, впрочем, чтоб заискивал, а потому, что, по мнению его, того требовал этикет. Сверх того, быть может, втайне он делал предположения и насчет небесполезности

указаний, которые может подать «молодым людям» его умудренная долголетнею службой опытность. Все, дескать, послужу: если прямо нельзя, так хоть совет подам. Однако в этом отношении он грубо ошибся. Подхалимовские правители были люди хотя и молодые, но необыкновенно бойкие; поэтому они не знали ни препятствий, ни затруднений, в советах нужды не чувствовали, и при этом были совершенно искренно убеждены, что так называемые «законные основания» только стесняют, а никакой опоры не дают. Никому из них не только не пришло на мысль полюбопытствовать у приезжего заматерелого бюрократа, как смотрят на тот или другой предмет в бюрократических сферах Петербурга, но большинство даже не понимало, какие тут могут быть «предметы», и просто-напросто стеснялось, об чем говорить с этою новою личностью, очевидно, «не нашего общества». А главное, изобилие тайных советников было так для всех очевидно, что никто даже не задумался над тем, что в Подхалимове сделалось одним тайным советником больше. И притом таким тайным советником, который должен был существовать на полторы тысячи рублей годового пенсиона.

Пришлось оставить всякие мечты о небесполезных советах, отказаться от знакомств в высших губернских сферах и ограничиться тесным кружком церковников. Но сфера эта такова, что церковничий день совершенно идет вразрез с днем обыкновенных смертных. Поэтому даже и в те дни, когда Гаврило Степаныч бывал «в гостях», у него все-таки оставалась пропасть порожнего времени, которое он не знал, куда девать и чем наполнить.

Это бездействие мучило его. С тех пор, как он уехал из Петербурга,— словно вот ножом отрезало. Исчезло «дело», около которого вращалась вся жизнь, которое в одно и то же время и изнуряло, и питало. Если бы спросить его по совести, в чем заключалось это «дело», он навряд ли нашелся бы, что̀ ответить на этот вопрос. Это было какое-то решето, сквозь которое процеживалась жизнь целой массы чиновников,— и ничего более. Процеживаясь, эти люди не оставляли никаких следов своего личного пребывания в этих клеточках, хоть и выходили из них искалеченными и ни к чему другому не способными. «Дело» составлялось из множества отдельных клочков; некоторые из них задерживались в памяти, в качестве анекдотов, другие — немедленно же улетучивались; но общего впечатления, связности, во всяком случае, не существовало. Да и

самые клочки, послужившие основанием «делу», в большинстве носили фантастический характер, не имели ни между собою связи, ни точек соприкосновения с заправской жизнью. Тем не менее они все-таки представляли материал для обязательной работы, и это в значительной степени выкупало их непривлекательность. Нет нужды, что человек калечился, кружась в пустоте, и терял всякую самостоятельность — все-таки он хоть как-нибудь истрачивал свой день, а сверх того и получал пропитание.

С Разумовым случилось именно то, что бывает со всяким чиновником, которому, после долговременного подневольного корпения, приходится жить на свободе. Он не понимал этой свободы, а, напротив, слишком хорошо понимал, что ему нечего делать. Куда ни обращал он свою мысль — все оказывалось или несподручным, или неприступным. Читать — но в шестьдесят лет и чтение утрачивает свою привлекательность. Да и как читать, что читать человеку, который, с тех пор как вышел из семинарии, до того был поглощен переборкою «клочков», что даже свободной минуты не имел, чтоб заглянуть в книгу. Смолоду и он читывал, но ведь с тех пор материал для чтения прошел сквозь такое множество превращений, что, игнорируя эту последовательную переработку, почти неизбежно было стать в тупик. Недаром же рассказывали про генерал-майора Отчаянного, который, по выходе из кадетского корпуса, не читав ни одной книги, вдруг набрел на «Историю Государства Российского» и так был ошеломлен вольномыслием, в ней заключающимся, что исцарапал красным карандашом все двенадцать томов и прислал их в департамент с резолюцией: «сообразить и доложить с справкою, какому оный Карамзин наказанию подлежит, а также и о цензоре Бирукове». И только тогда успокоился, когда Разумов (к нему в отделение этот «клочок» попал) объяснил, что Карамзин был тайный советник и пользовался милостью монархов. Сам Гаврило Степаныч не раз смеялся, рассказывая это происшествие, а вот теперь то же самое повторилось и над ним. Попробовал он почитать, взял в публичной библиотеке книгу — и не поверил глазам своим. Точно вот возвратился из полувекового путешествия, в продолжение которого жил где-то затертый льдинами, и вдруг узнал, что Карла X нет и в помине, а на его месте чуть не Гамбетта сидит. Кто этот Гамбетта и как это он вдруг... ведь он, поди, напакостит!

Предсказание Коловратова исполнилось: в самое корот-

кое время Разумов не знал, куда деваться от уныния и скуки. Только летом, во время каникул, он расцвел, потому что в это время в Подхалимов приехал на побывку Степа. Однако и тут не обошлось без горьких заметок. Хотя и отец и сын по-прежнему беспредельно любили друг друга, но не в природе вещей было, чтоб Степа всего себя отдал старику-отцу. Этого, впрочем, и прежде не было, когда Разумовы всей семьей жили в Петербурге. И тогда Гаврило Степаныч видел сына довольно редко и был доволен тем, что «чувствовал» близость его. Но ведь тогда существовало «дело», которое сдерживало его отцовские чувства, а теперь была свобода, пользуясь которой он, конечно, готов был всякую минуту жизни посвятить своему детищу. Но этого-то именно и не понимал Степа и продолжал отдавать отцу столько же времени, как и прежде.

Степа был молод, и его влекло к молодому. Он охотно уходил к Коловратовым, куда привлекала его Аннушка. Даже дома он предпочитал проводить время скорее с матерью, нежели с отцом, потому что мать не выпытывала, не «говорила», а молча гладила по голове и любовалась им. Да, наконец, об чем «говорить» и зачем «говорить» у себя, в своем доме, в кругу родных! Тем и хорош «свой» дом, что в нем можно и говорить, и молчать, и веселиться, и скучать, и умные вещи, и глупости делать. А присутствие Гаврилы Степаныча именно в этом смысле и стесняло. Он спрашивал, выпытывал, «говорил»...

Видел все это старик Разумов и, конечно, был далек от обвинений. А все-таки... Болело, ах, болело его старческое сердце, и с каждым днем все глубже и глубже погружался он в пучину той безрассветной пустоты, на которую обрекло его одиночество.

IV

Когда, возвращаясь, после объяснения с Губошлеповым (кончившегося его отставкой), домой, Разумов представлял себе, что вся природа, взирая на него, вопиет: мухи не обидел! — он был прав только отчасти. Он смешивал две различные вещи: свое личное отношение к «делу» и то, что составляло содержание этого «дела». То есть он думал, что если он делал «дело» по «сущей совести», то этим самым и содержанию дела придается характер «сущей совести». Или еще точнее: он прямо предполагал, что

«дело» и «сущая совесть» суть понятия, друг другу вполне отвечающие, друг без друга немыслимые.

Эта точка зрения принадлежала не ему одному; она искони была и продолжает быть достоянием большинства. Существуют известные понятия и представления, которые возникают словно загадочным произволением и сразу становятся прямо, неколебимо, делаясь исходными точками дальнейшего жизнестроительства. Высшая польза должна быть предпочитаема пользе частной, высший интерес должен тяготеть над частным интересом — вот тезисы, за которыми надлежит идти. Справедливее этого, конечно, нельзя себе ничего представить, особливо ежели есть наготове вполне ясное определение, что такое высшая польза, высший интерес. Но так как для громадного большинства людей подобные определения только подразумеваются («так быть должно») и так как это большинство произносит известные выражения, не уясняя критически их содержания, то естественно, что отсюда должно проистекать великое множество недоразумений.

В массе «клочков», которые ежедневно перебирал Разумов, было достаточно таких, которые для одних оканчивались нравственной обидой, для других материальным ущербом. Конечно, эти ущербы и обиды, в мнении Разумова, прикрывались представлением о «высшем интересе» («так быть должно»), но беда состояла в том, что он принимал это представление на веру и даже не пытался анализировать его составные части. Едва ли, впрочем, слова эти значили что-нибудь больше простого «приказания».

Во всяком случае, он был вполне добросовестен, думая и говоря, что служит «делу» *по сущей совести*. Но ведь рядом с его добросовестностью могла существовать и другая добросовестность, которая тоже, с своей точки зрения, имела основание считать себя правою. Вот этого-то он и не принимал в расчет. Разумеется, если бы он мог, на основании твердых данных, опровергнуть эту *другую* добросовестность, то он обелил бы себя вполне; но он не опровергал, а просто отвергал. И даже, пожалуй, не отвергал, а просто-напросто ни о чем «постороннем» не думал, а выполнял свои обязанности «по сущей совести».

Можно было бы предположить, что он намеренно остерегается определений, чтоб не войти в разлад с самим собой и не очутиться в положении человека, сознающего, что ему приходится или покориться, или сжечь корабли

и затем погибнуть. Есть много людей, которые поступают таким образом, то есть стараются «не думать», потому что размышление приводит иногда за собой такие неожиданные и трагические выводы, с которыми ужиться нет возможности. Но Разумов и тут поступал опять-таки вполне искренно: он «не думал», потому что незачем думать («так быть должно»). Это «недумание» было не вынужденное, а составляло одну из составных частей той «сущей правды», которой он так искренно всю жизнь поклонялся.

Отсутствие ясных определений помогало ему быть жестоким, хоть жестокость не лежала в его природе; оно затемняло в нем представление о силе наносимых обид, хотя лично никто так чутко и участливо не относился к слову «обида», как он. Все знали его за человека доброго, сердечного и притом безмерно осторожного в частных сношениях. Но незнавшие, нередко случалось, кляли его и настойчиво утверждали, что он, именно он — внушитель тех бед, которые обрушивались над их головами. Он сам, наверное, больше всех удивился бы, если бы ему удалось слышать такие отзывы.

Но он ничего не слышал и продолжал поступать «по сущей совести». Бывали, конечно, минуты, когда и на него наносило ветром что-то вроде трупного запаха и когда он поневоле задумывался. В такие минуты он выходил из-за письменного стола, к которому считал себя прикованным, беспокойно шагал взад и вперед по кабинету, как бы под влиянием ощущений физической боли, и старался припомнить тот «высший интерес», который на сей предмет полагается. И, разумеется, в конце концов, припоминал и... успокаивался.

Однажды, однако ж, и с ним был «случай». Ходила к нему на дом, несколько дней сряду, какая-то просительница, упорно добиваясь личного свидания, но так как он, поступая по сущей совести, просителей у себя на дому не принимал, то, конечно, эту женщину не допустили до него. За всем тем она добилась-таки своего, и в одно утро, когда Гаврило Степаныч выходил из дома на службу, она, встретив его на крыльце, крикнула ему вдогонку: сатана! сатана! сатана! Это ужасно, до крови его оскорбило, однако ж он не бросился на обидчицу и даже никому не пожаловался. И только тогда успокоился, когда, по приходе в департамент, потребовал «дело» и убедился, что это не он, а генерал-майор Отчаянный. Он же только выполнил «по сущей совести».

Ольга Афанасьевна гораздо более его взволновалась этим происшествием и даже в первый раз в жизни горько жаловалась на мужа, что он этакое дело оставил «так». И все Негропонтовы, Аргентовы, Беневоленские, Птицыны — все в один голос вторили Ольге Афанасьевне и доказывали Гавриле Степанычу, что ни один из них не оставил бы этого дела «так».

— Мать-с! — отвечал обыкновенно на эти докуки Разумов,— мать-с, а материнские чувства как нам судить?

Очевидно, что внутренно он даже сочувствовал этой женщине, хотя в то же время был совершенно искренно убежден, что помочь ей нельзя, что это не будет «по сущей совести». Тем не менее он был очень доволен, что мог в свое оправдание сказать: это генерал-майор Отчаянный, а не я! Хотя, в сущности, в Отчаянном гнездилась только инициатива, а он, Разумов, обставил эту инициативу «законными основаниями».

Поэтому, и по выходе в отставку, он ни разу не почувствовал потребности подвергнуть свое прошлое исследованию, хотя обилие досуга и давало ему полную возможность сделать это. Он был так убежден, что «не обидел мухи», что иногда ему становилось даже совестно. Это как-то не в натуре русского человека — прожить век, никого не обидевши. Предполагается, что ежели ты никого не обижаешь, то это значит, что ты — слабосильная, ничего не значащая дрянь, которую всякий может обидеть. И что, стало быть, ты — «дурак», «разиня», «рукосуй» и т. д. И действительно, Гаврило Степаныч, даже в разговорах с близкими, не всегда охотно обращался к своему прошлому: до такой степени ему было ясно, что, в сущности, он там никакой другой роли не сыграл, кроме роли «рукосуя».

Но один на один сам с собою он припоминал. И, что всего хуже, припоминал, именно какой он был «фофан» и «разиня», какие кровавые обиды он принял, сквозь какой жестокий искус прошел. Начиная с статского советника Недотыки (которому ему первоначально удалось «понравиться» и который положил начало его чиновничьему подвижничеству) — это была целая картинная галерея. Один генерал-майор Отчаянный чего стоил! Он и теперь, двадцать пять лет спустя, метался перед Разумовым, как живой, потрясая эполетами, угрожая указательным пальцем, брызжа слюной и колебля департаментские стены криками: «сейчас же!», «сию минуту!», «немедленно!», «не выходя из присутствия!». Даже в Подхалимове, в Проломной улице,

Гавриле Степанычу казалось при этом воспоминании, что весь его дом трясется и стонет от неестественных начальственных празднословий. Как он переносил все это? как не разнесло ему в то время голову от этого крика? как он... Но что же «как»? — переносил, и всё тут.

А то был еще действительный статский советник Зильбергрош — этот не кричал, а каждым словом, каждым движением язвил. Говорил — шипел, глядел — обливал презрением. Процедит сквозь зубы слово и взглянет: а хочешь, я тебя сейчас ногтем раздавлю? Иногда нарочно посреди доклада остановит и задумается. «Гм... так вы говорите: «а посему я полагаю»... это, то есть, *я*... *я*... А почему вы думаете, что *я так* полагаю?» И потом засмеется загадочно, беззвучно, ехидно... «Ну, скажет, ступайте; до завтра, может быть, и надумаетесь!» Так и уйдешь, бывало, ни с чем, и потом живешь целый день между смертью и жизнью... А завтра он, ни слова не говоря, возьмет и подпишет.

А Лихошерстов? а Ненаедов? а барон Доброезжий?

Один Байбаков генерал оставил после себя добрую память, потому что был ленив, в департамент не ходил, а принимал у себя на дому, в одном нижнем белье. Но и тот черт знает где руки держал...

При этих воспоминаниях, несмотря на старческое малокровие, щеки Разумова загорались краской стыда; он брал себя руками за голову, затыкал уши и закрывал глаза, чтоб не видеть и не слышать.

И в результате всей этой свиты воспоминаний — отставка и сладкое убеждение, что не обидел мухи... Ах, фофан! ах, ротозей!

А он-то старался, усердствовал! Уловлял самые непредвидимые движения души, усиливался угадать самые беспардонные мысли, просиживал ночи, подыскивал для них «законные основания»... Дурак! дурак! дурак!

По милости его, Зильбергрош даже умницей прослыл. Он, Разумов, сам собственными ушами слышал, как, в его присутствии, некоторый обер-туз сказал Зильбергрошу: «Очень-очень остроумно и даже, можно сказать, ехидно вы, Карл Адамыч, махинацию эту подвели!» А кто подвел махинацию? кто взлелеял ее в ночной тишине? он подвел! он взлелеял! он, Разумов! А Зильбергрош за нее похвалу получил!

Разумеется, все эти припоминания и ретроспективные ропоты Гаврило Степаныч допускал только внутренно,

но однажды не вытерпел и проговорился даже Ольге Афанасьевне.

— Не так бы нам в ту пору поступать надо было! — сказал он, напомнив ей несколько действительно характерных случаев прошлого.

— А как же бы ты поступил? — удивилась она.

— А так бы вот... купил бы лист гербовой: просит, мол, такой-то, а о чем...

— А потом куда бы ты пошел?

— Ну... куда? Мало ли... слава богу, не клином свет сошелся! То-то вот мы с тобой смиренны уж очень, всю жизнь к сторонке жались да твердили: ах, как бы не задеть кого да не обидеть! Вот нас за это...

— Ах, друг мой! друг мой!

Сказавши это, Ольга Афанасьевна грустно покачала головой, и после того разговор на эту тему уже не возобновлялся.

«То-то вот и есть, что клином сошелся!» — мелькнуло у него самого в голове. До такой степени клином, что вот теперь, когда он, по манию тайного советника Губошлепова, пущен в пространство, он не знает, куда приклонить голову. Он не только чувствует себя непригодным к какому бы то ни было настоящему делу, но даже беспокоится, куда бы ему «идти» в тот урочный час, в который он, состоя на службе, имел обыкновение «уходить» в департамент. Он переносит из комнаты в комнату свою скуку, слоняется, смотрит в окно, брюзжит и каждую минуту чувствует, что он даже в своем собственном доме лишний, мешает.

И все-таки повторяю: ежели он и винил в чем-нибудь свое прошлое, то совсем не в том, что кого-то когда-то обидел, придавил, обездолил, а, напротив, скорее в том, что он именно никого, даже *мухи*,— не обидел...

V

Во всяком случае, приходилось подчиниться насущным результатам этого прошлого и уживаться с насильственной праздностью, им завещанной. И действительно, после первых трех лет «спокоя», Разумов настолько смирился, что даже обуревавшая его скука бездеятельности мало-помалу улеглась. Он еще не дошел до признания нормальности своего положения, но мало-помалу утрачивал силу противодействия и делался неспособным роптать. И в то же время он начал очень быстро дряхлеть.

Жизнь его была кончена — в этом нельзя было сомневаться. Налицо оставался только пепел, под которым не только ничего не вспыхивало, но и не тлело. Собственно говоря, ему предстояло не жить, а быть лишь зрителем, как жизненный процесс мало-помалу ослабевает и меркнет в его организме. Вот и сегодня что-то ослабло и притупилось, а там, глядишь, из-за угла сторожит и еще немочь. И таким образом идет день за день, без всякой надежды на просвет, все к разрушению, исключительно к разрушению. Ужасно обидно это сознание бесповоротности, бессилия, особливо ежели в прошлом не было ни тепла, ни света, ни страсти, ни радости, ничего, кроме «сущей совести». Ах, эта «сущая совесть»!

Но подле него ютилась другая жизнь, молодая, только что начинающаяся, и мысль старика не могла оторваться от этой жизни. Существовали данные, которые сообщали этой мысли тревожный, гнетущий характер. Нельзя сказать, чтоб личные качества Степы возбуждали неудовольствие или порицание; напротив, Гаврило Степаныч знал наверное, что это юноша честный, трудолюбивый и притом до крайности кроткий, любящий, сердечный. Но в самом воздухе носилось что-то такое, что именно эти-то качества делало несостоятельными, что могло грубо прикоснуться к этой чувствительной, нежной натуре, обидеть и затереть ее.

Когда Гаврило Степаныч раздумывал об этом, то, по временам, ему приходило на мысль что-то новое, неожиданное. А именно, он чувствовал, что в эти тревожные думы, по-видимому, посвященные исключительно настоящему, врываются какие-то смутные отголоски из его чиновнического прошлого. Словно далекий, чуть слышный стук или неопределенное напоминание, вроде того, какое иногда испытывается при чтении книги. Помнится, что где-то, когда-то затрогивался известный предмет, но где и когда — не доищешься. Только случайность может раскрыть кроющуюся тут связь и иногда раскрывает ее очень трагически.

Но покамест явление это выразилось еще не настолько резко, чтоб заставить его серьезно вдуматься в него. Поэтому Разумов все свои тревоги сосредоточил только на тех случайностях, которые, так сказать, вытекали исключительно из личного положения его сына. Он чувствовал потребность знать его жизнь изо дня в день и потому требовал, чтоб сын как можно чаще и подробнее писал об себе и о своих знакомствах. Разумеется, Степа выполнял это

требование аккуратно. Письма его, искренние и подробные, перечитывались по нескольку раз; комментировалось каждое слово; обсуждался каждый шаг, особливо ежели он возвещал о новом знакомстве; угадывалось, нет ли какой нужды, которую приятно было бы, по мере сил, удовлетворить. Во всяком случае, общее впечатление получалось довольно успокоительное: Степа жил в надежном семействе, занимался отлично и обычным порядком переходил из класса в класс. Уж три года минуло с тех пор, как Гаврило Степаныч вышел в отставку; в это время Степа два раза гимназистом побывал на каникулах в Подхалимове, и в оба раза родители не нарадовались на него. В третий раз он приехал студентом университета. Жизнь широко растворила двери перед юношей, жизнь, напоминавшая о том, что наступила пора обязательной самостоятельности, пора необходимости промыслить о себе самому. Старый отец умилился, но сердце его забилось еще тоскливее. Жизнь! что такое жизнь? с тревогою спрашивал он себя поминутно и чувствовал какой-то панический страх, когда после многих бессильных потуг приходил к убеждению, что он никакого сколько-нибудь обстоятельного ответа на этот вопрос дать не в состоянии.

Свою собственную жизнь он, конечно, мог себе растолковать, *но разве такая жизнь прилична его сыну?* Его личная жизнь исчерпывалась словами: «повинны беша работе». В старину и все так жили. Жизнь сразу вкладывалась в известные рамки и незаметно изживалась до тех пор, пока клубок до последнего вершка не развертывал намотанную на него нитку. Последний вершок нитки истрачен — и от человека ничего не осталось, совсем ничего: ни слов, ни дел. Бывали, конечно, и в старину исключения, случались и тогда катастрофы, но большинство не знало их. Большинство так мало ждало от жизни, что и опасений иметь не могло: немного лучше, немного хуже — вот и все. Такова была и его жизнь; но разве Степа на то рожден и воспитан, разве на то в него положили всю душу, все чаяния, чтоб он с таким же тупым терпением тянул лямку, как и отец, как и *все?* Нет, это было бы и несправедливо, и обидно.

Притом же он знал, что с тех пор многое изменилось, что нынче даже нельзя бессрочно оставаться в одних и тех же рамках, во-первых, потому, что это прямо свидетельствует о неспособности, а во-вторых, и потому, что нынче, более нежели когда-либо, даже самые скромные существования находятся под угрозой чего-то непредвиденного, са-

мые нищенские пожелания — и те рискуют увидеть себя разбитыми, растоптанными. Это последнее «знамение времени» он испытал на собственной шкуре. Что такое он был? — ползущий червь! В чем заключались его пожелания? — в том, чтоб оставаться ползущим червем, покуда само собой не оскудеет его скромное, ползущее существование. Однако и этому нищенскому требованию не суждено было осуществиться. Почему не суждено было? каким образом? — вот этого-то он и не мог себе разъяснить, хотя чувствовал, что *нынче* — иначе не может и быть.

Ему представлялась по этому поводу какая-то нелепая суматоха, которая одних топит, других — выбрасывает на поверхность. Бессмысленно, безрасчетно, без всякого плана. Но ежели даже его нищенски-старческое существование сделалось жертвой этой суматохи, то какая же будущность ожидает существование молодое, не тронутое, не изломанное, такое существование, которое, по самой полноте своей, должно предъявлять к жизни требования, неизмеримо более широкие и резкие? И что же! вот в эту-то загадочную суматоху, в самый ее развал именно и вступил его сын. Как теперь поступить? какой совет ему дать? с каким напутствием поставить его перед раскрытыми настежь дверьми жизни?

Когда слова: «совет», «напутствие» мелькнули в его голове, он почувствовал, что тот неясный стук прошлого, который и прежде, по временам, застигал его врасплох, начинает слышаться явственнее и явственнее, что выделяются из тьмы некоторые очертания, которые беспокоят, отнимают у мысли ее обычное безмятежие. Однако ж и на этот раз дело ограничилось одною смутною тревогой. Проблески появились, осветили случайно тот или другой угол картины и опять утонули. Существенный результат от этих проблесков получился только один: как ни надумывался Гаврило Степаныч, какой совет высказать сыну,— ничего придумать не мог. Много знал «советов», полны карманы их были у него, но не решался он выговорить *эти* советы. Сказать сыну застарелое общее место было совестно, а сказать что-нибудь дельное и действительно полезное — он не мог, потому что не знал, что, по нынешнему времени, считается полезным и дельным. Может быть, подлость. Так он и промолчал.

Притом же, как только молодой студент явился в Подхалимов, Гаврило Степаныч сейчас же заметил, что он значительно изменился против предшествующего года. В нем

проявилась небывалая прежде живость, пылкость, почти что восторженность. На первый раз эта восторженность имела, так сказать, педагогическую окраску: он гордился своими гимназическими успехами, ни об чем так охотно не говорил, как о «науке», некоторыми учителями восторгался, о других отзывался чуть не с презрением (не нравилось, ах, как не нравилось это Гавриле Степанычу: а ну, как узнают!) и заранее предвкушал лекции университетских профессоров. Но кто может поручиться, что он и впоследствии удержится на той же педагогической почве, то есть будет исключительно восторгаться «наукой» и с тем же усердием «учиться» в университете, с каким «учился» в гимназии? Кто поручится, что он не увлечется сначала — товариществом, а потом, пожалуй, и тем, что на языке современных белых нигилистов известно под именем «мечтаний» и «заблуждений»? Предостеречь ли его? сказать ли ему, что мечтания — пустяки, а заблуждения — пагубны?

Конечно, *по сущей совести*, Гаврило Степаныч не мог одобрить ни мечтаний, ни заблуждений. Вся его прошлая служебная деятельность представляла самое непререкаемое доказательство этого неодобрения. У него была незыблемая точка зрения на эти предметы, и этой точкой зрения он, наверное, не поступился бы никому. Спрашивается, однако ж, каким путем он к ней пришел? — Увы! Он пришел к ней эмпирически, даже не подозревая, что идет речь о какой-то точке зрения, и только уже в конце своей служебной карьеры догадался, что в основании его деятельности лежал так называемый принцип. Но ведь тогда он уж состарился (хотя и смолоду никогда не был молод) и в убеждениях своих больше руководствовался изречениями: «плетью обуха не перешибешь» и «выше лба уши не растут». Молодость же, а особенно молодость свежая, невымученная, могла иметь и иную точку зрения, и руководствоваться совсем другими изречениями. Каким образом доказать, что правильна старческая, а не молодая точка зрения? Где найти поддержку своему старчеству, кроме посконного уличного благоразумия, к которому юность обыкновенно относится несколько пренебрежительно, свысока? Имеет ли она право относиться так высокомерно к мудрости веков? — конечно, не имеет, но то-то и есть, что, имеет ли, не имеет ли, дело не в том, а в том, что относится она так, и ничего с этим не поделаешь. И, наконец, эти «мечтания» и «заблуждения» — не представляют ли они тех неизбежных, фаталис-

тических спутников, без которых самое представление о молодости не может считаться правильным?

Как ни кинь — все клин. Но допустим даже, что он, старик Разумов, сумеет с непререкаемою очевидностью доказать сыну, что «мечтания» — пустяки, а «заблуждения» — пагубны; убедит ли он? Не предпочтет ли Степа его *очевидным* доказательствам неочевидные внушения своего молодого темперамента? «Ах, убьется! убьется!» — день и ночь мучительно твердил себе Гаврило Степаныч и молчал...

Ясно, что задача была ему не под силу и что, в известном смысле, осьмнадцатилетний, еще не успевший прикоснуться к жизни Степа был неизмеримо сильнее, нежели он, старый, умудренный опытом старик.

А Степа между тем, нимало не подозревая отцовских тревог, беззаветно и полною грудью пил аромат молодости, посреди которого он витал, словно окутанный лучистым облаком. Подобно отцу, он был несколько дик с чужими, но в кругу близких давал полную волю своей общительности, искренности и восторженности. В его присутствии Гаврило Степаныч весь сиял, хотя это не мешало ему потихоньку вздыхать. Ольга Афанасьевна не выражала своей радости, но все ее существо освещалось улыбкой. Даже старик Коловратов — и тот отдыхал под его говор, хотя и не всегда похвалял его юношеское дерзновение.

Но, разумеется, самым сочувственным для него существом в этой среде была Аннушка. Ей минуло шестнадцать лет, ему осьмнадцать, и между обоими сверстниками сразу образовались самые искренние товарищеские отношения. Могло ли из этих отношений выродиться когда-нибудь нечто другое — ни он, ни она об этом не думали. Находясь почти бессменно вместе, они чувствовали себя хорошо, счастливо — и этого было покамест достаточно. Никаких «трепетов» они не ощущали, никакие нескромности не смущали их воображения. Все в них еще дышало тою раннею молодостью, когда чувственный инстинкт спит, а ежели, по временам, и пробуждается, то не сознает себя.

Беседы их были нескончаемы; говорил, впрочем, исключительно он, а она только слушала. Ей было нечего сказать, тогда как в его голове, несмотря на относительную скудость гимназической подготовки, сложился уж целый, разнообразный мир. Этот мир был для нее не только нов, но и заманчив. Он говорил порывисто, страстно, волнуясь. Иногда в речах его слышалась и искусственность,— ясно что

он подражал манере облюбованных учителей,— но без этой искусственности разве можно себе представить истинную молодость? Аннушка инстинктивно повторяла его слова, усвоивала его приемы, и, в скором времени, у них образовался даже целый условный язык. Иногда они проговаривались на этом условном языке при старших, и это возбуждало общий наивный смех, впрочем не обидный, а только свидетельствовавший, какой непочатый родник нежности жил в этих потухающих сердцах.

Никто не вмешивался в взаимные отношения молодых людей — до такой степени они были для всех ясны. Только Ольга Афанасьевна, яко женщина, разрешала себе втайне строить какие-то планы относительно будущего, но и она помалчивала, потому что Гаврило Степаныч, наверное, пугнул бы ее за них. Вообще, отказавшись от намерения напутствовать сына при вступлении в жизнь, старик Разумов решился предоставить его самому себе. Чем больше он вглядывался в Степу, тем больше убеждался, что он твердо пойдет по избранной им *честной* дороге. Только что стоит в конце этой дороги?

VI

Но в следующую же зиму Гаврило Степаныч совсем неожиданно был взволнован до глубины души. Негропонтов писал, что с Степой творится что-то мудреное: «скучает, чуждается близких, даже к учению, по-видимому, охоту теряет». К этому известию присоединился и еще один тревожный признак: Степа, который дотоле писал часто и, так сказать, любил изливать в письмах душу, начал писать редко и как-то чересчур уж форменно. Тщетно старался старик Разумов узнать причину этой резкой перемены: Степа настойчиво уклонялся от разъяснений, а из Негропонтовых никто и сам не мог уразуметь, что случилось. Несколько раз Ольга Афанасьевна предлагала мужу послать ее в Петербург, но Гаврило Степаныч упорно отклонял эти предложения: им вдруг овладел безотчетный страх. Он чувствовал, что почва опять колеблется под его ногами, что впереди стоит какая-то неотразимая и совсем новая обида, которая окончательно подорвет его жизнь, подорвет непременно, неизбежно... И под влиянием чувства самосохранения он всячески отдалял решительную минуту.

— Успеем! — отговаривался он жене,— еще дождемся!

ведь только радости ползком ползут, а горе да беда всегда вскачь навстречу летят. Настигнут.

Одновременно с этим замечена была перемена и в обращении Аннушки. Она по-старому была ласкова с Ольгой Афанасьевной и даже, пожалуй, крепче, нежели прежде, жалась к ней, но относительно Гаврилы Степаныча сделалась значительно сдержаннее. Неохотно отвечала на его вопросы, как-то принужденно здоровалась, встречаясь с ним, избегала смотреть ему в глаза. Долго Разумов не обращал на это внимания, но наконец и ему сделалось ясно, что тут скрывается что-то недоброе. Вспомнилось при этом, что Степа постоянно переписывался с Аннушкой, что прежде она охотно делилась получаемыми ею известиями, а теперь примолкла, скрывает.

— Так вот он где, узел-то! — догадывался старик и решился во что бы то ни стало выяснить это дело.

— Степа продолжает переписываться с тобой? — спросил он однажды Аннушку.

— Пишет.

— Прежде ты делилась с нами его письмами, а теперь скрываешь... отчего?

— Ах, дядя! не всегда ведь удобно.

— Что же, однако, он пишет тебе?

— Да ничего особенного... Вообще...

— Вот ты говоришь теперь: ничего особенного, а сейчас сказала: неудобно показывать. Если бы ничего особенного не писал — какое же неудобство показать?

— Ах, дядя! точно вы меня в допрос взяли!

При слове «допрос» Гаврилу Степаныча болезненно передернуло.

— Не допрашиваю я тебя, а прошу! — продолжал он как-то особенно мягко, взявши ее за руку.— Прошу! прошу! прошу!

Она слегка побледнела и как будто заколебалась. Наконец из глаз ее хлынули слезы, она вырвала руку и стремглав выбежала из комнаты, почти крича:

— Не могу! не могу! не могу!

После этой сцены старик серьезно задумался. До сих пор у него была возможность истолковывать происшедшую в сыне перемену случайностью, но теперь он положительно знал, что случайности нет, а есть какой-то факт, который от него скрывают. А при этом и прошлое... Положительно из этого прошлого выделялись все более и более ясные очертания... «Ах, горе! великое, вижу, горе упадет на мою

седую голову!» — говорил он сам с собою, но никому не жаловался, так как с детства был дисциплинирован в школе терпения. Даже с Коловратовым избегал говорить, хотя последний, с самого начала, предлагал обстоятельно допросить Аннушку.

— Нет, зачем? — отвечал он на эти настояния,— свое там у них... нам прикасаться не след...

Так прошло целое томительное полугодие. И без того безмолвный, домик Разумовых окончательно погрузился в оцепенение. Старики сидели каждый в своем углу, а ежели и сходились в урочные часы, то вздыхали и избегали говорить. После «допроса» Аннушка сделалась еще сдержаннее; продолжала посещать Разумовых, но молчала. Иногда Гаврило Степаныч подстерегал ее взгляд, устремленный на него с таким любопытством, как будто она рассматривала диковину.

Постоянно видеть себя в разобщении от всего живого и в то же время быть вынужденным глотать в одиночку какие-то загадочные предчувствия — вот настоящий скорбный путь. И около кого сосредоточены эти предчувствия? — около сына!.. Дни и ночи проводил Разумов в бесплодных отгадываниях, дни — ходя бесцельно из комнаты в комнату, ночи — ворочаясь с боку на бок. И все его преследовала одна и та же страшная в самой своей неясности мысль: что такое? что случилось?

— Ах, хоть бы смерть! вот кабы смерть!

И он инстинктивно начинал перебирать свое прошлое по мелочам; но чем больше предавался этой переборке, тем меньше поводов находил установить свою прикосновенность к тревожившей его задаче. Нет, никого он не обидел! Напротив, его обидели, его вытолкнули на старости лет в пространство, над ним насмеялись, его растоптали, разбили, а он...

— Мухи не обидел! — в тысячный и тысячный раз повторял он, усиливаясь рассеять и успокоить наплывавшие со всех сторон сомнения.

И все-таки он выдержал: не умер и даже не заболел. Чувствовал только, что жизнь сделалась как бы несообразностью, что теперь самое время было бы умереть, да вот смерти нет. С этим чувством и дождался лета.

В урочное время Степа вновь появился в родительском доме.

По наружности он не изменился. Он крепко обнял мать при свидании и так же, как и прежде, приласкался к отцу.

То есть *почти* так же. «То, да не то»,— почуялось Гавриле Степанычу, но — кто же знает? — может быть, именно потому и почуялось, что он уж сам себя заранее предрасположил к подозрениям.

— Скажи, пожалуйста, что такое? — обратился он к сыну вскоре после приезда.

— Что именно?

— Ну, да сам знаешь... точно впервóй слышишь!

— Ах... *это!* Пустяки... так...

— Затосковал, учиться перестал... на курс-то перешел ли?

— Разумеется, перешел.

— Ну, и слава богу; а то было я...

Однако ж дома видали Степу довольно редко. Уж через час после приезда он убежал к Коловратовым и остался там весь вечер; то же повторилось и в следующие дни. Степа приходил домой ночевать, а днем оставался на глазах лишь самое короткое время и затем исчезал. Только издали видал Гаврило Степаныч, как он ходит с Аннушкой в крошечном садике при разумовском доме.

— А ведь Степа-то совсем нас обросил! — сказал он однажды Ольге Афанасьевне.

— Что же ему с нами сидеть? — удивилась она.

— Все-таки. Год не видались, приехал — можно бы минуту отцу уделить!

— Ах, Гаврило Степаныч! Гаврило Степаныч! а ты умей смотреть на него да радоваться!

Но старик не удовлетворился этим объяснением и спустя некоторое время опять пристал к жене.

— Вижу я! вижу! — говорил он, шагая в волнении по комнате.

— Что же ты видишь?

— Все вижу и все... понимаю!

— Старики мои — это они тебя взбудоражили.

— Нет, не старики, а вообще... Не по-прежнему он... нет в нем этого... прежнего! Бывало, хоть и на минутку прибежит-повернется, а сейчас видишь!

Так и остался Гаврило Степаныч при своем убеждении, и верил этому убеждению, потому что его подсказывало ему ревнивое отцовское чувство. Вот и ничем, кажется, не обнаруживает Степа охлаждения, а видит отцовский глаз убыль, чует вещее отцовское сердце утрату. «Не по-прежнему!», «не тот!» болезненно ноет все нутро отцовское.

Догадывался ли Степа, какое горе точит отца? Вероят-

но, догадывался, судя по тому, что он и сам старался, как мог, усилить внешние выражения ласковости. Но даже и эти усилия замечал Гаврило Степаныч, и их истолковывал не к своей выгоде. «Прежде и не старался, а хорошо выходило,— твердил он себе,— бывало, прибежит, повертится — сейчас видишь!»

Конечно, Степа мог бы сказать в свое успокоение, что против такой странной логики ничего не поделаешь; но, в сущности, это была логика верная.

Однажды, вечером, вся семья собралась у Коловратовых. Гаврило Степаныч, которого неразгаданное горе сделало, в последнее время, молчаливым, на этот раз охотно поддерживал общую беседу. Дело было за чаем, и молодые люди присутствовали тут же. Старик Разумов, как говорится, расходился, и так как у него на первый план всетаки выступали служебные воспоминания, то понятно, что они же главным образом и теперь составили канву для разговора. Рассказывал он, как два раза чуть с ума не сошел, в первый раз — от крика генерал-майора Отчаянного, во второй — от ехидства Зильбергроша.

— Что за человек был этот Зильбергрош — даже представить себе трудно! — объяснял Разумов,— глядит, бывало, на тебя и постепенно зеленеет, даже губы у него начинают трястись. Так, ни от чего. Просто видеть равнодушно не мог человека, которому он может вред сделать: как, мол, я до сих пор его не раздавил?

Во время этих россказней Степа несколько раз удивленно взглядывал на отца, но расходившийся старик не замечал этих взглядов и продолжал:

— И сколько он наград, этот Зильбергрош, получил — и всё из-за меня! Все эти мероприятия — кто их обнатурил, съютил, кто им ход и осуществление дал? — всё я! Я ночей недосыпал, куска недоедал, а он... награды получал! Однажды сам главноначальствующий, при мне, в моем присутствии, его благодарил — и хоть бы он пикнул! Хоть бы слово вымолвил: вот, мол, ваше сиятельство, сотрудник мой!

Гаврило Степаныч жаловался долго, пространно, и в то же время бесплодно, задним числом. Выходило жалко и нелепо. Несмотря на это, в старческом кругу Коловратовых настолько привыкли к этому безобидному переливанию из пустого в порожнее, что и теперь, как всегда, слушали Разумова с снисходительною внимательностью. Поощренный этим, он не замедлил, конечно, перейти и к перечислению

самых мероприятий, причем, разумеется, самоуверенно приписывал себе ежели не инициативу, то осуществление.

— Ведь *они* — ка́к! — говорил он,— вожделение у них есть — это точно; но ни словесности, ни подготовки, ни соображений, ни законных оснований — ничего этого нет! Все это он на тебя валит. Придет, крикнет: хочу! — а ты уж и статью подыщи, и в приличную форму облеки — все ты! Может быть, он и вожделения-то своего не понимает — и опять-таки ты! Объясни ему досконально, чего он желает, да полегоньку, смотри — не то он, того и гляди, обидится! Он одно-два слова цыркнет, а ты ему целое соображение сейчас выложи, как и что!.. Да с улыбочкой, словно и сам недоумеваешь: так ли, дескать, я, ваше-ство, понял? Ну, как не так! разумеется, так!

И за примерами ходить недалеко. Такую-то меру — чай, помните? — это все он, Разумов, выходил. А вот такую-то — как, чай, забыть! — и эту стрелу он же, Разумов, пустил! И вот эту, и вот эту. Словом сказать, где ни копни в департаменте,— везде он свой след оставил, везде под всякой деловой обложкой его рука сохранилась!

Да и случаи у него бывали — истинно диковинные случаи. Был случай такой-то, а еще вот какой, и, наконец, третий — еще курьезнее. Путали его, сильно путали, и так, и эдак провести старались, но он везде вывертывался, везде выходил победителем!

— Ну, да ведь и то сказать, и побеждать в ту пору было легко, потому что сила на нашей стороне была,— заключил он,— как ни измышляй, как ни извивайся вьюном, а против силы...

Но он не кончил, потому что в эту самую минуту два стула с шумом отодвинулись от стола. Это были стулья, на которых сидели Степа и Аннушка. Оба разом молча встали и направились в другую комнату.

— Что же! и чай не допили? — крикнул им вслед Гаврило Степаныч.

— Не нужно! — сухо и не оборачиваясь, ответил Степа.

Разумов понял, что ораторское увлечение его обратило в бегство сына, и в голове его мелькнуло: ах, так вот оно что! Во всяком случае, это сухое «не нужно!» облило его как ушатом воды. Рассказы о временах чиновнического подвижничества оборвались, и весь остальной вечер прошел тускло, почти безмолвно.

Назад возвращались все Разумовы вместе. Гаврило Степаныч, идя дорогой, обдумывал, объясниться ли ему с Степой, или нет. Ежели объясниться — пожалуй, и узнаешь, да еще хуже будет; ежели не объясниться... но что же может быть мучительнее тайны, которая легла между отцом и сыном! Вот уж сколько месяцев он изнывает под игом этой тайны — неужто и вперед так будет? Мало, видно, страданий на его долю послано, мало насильственной праздности, мало одиночества, старческих недугов — нет, нужно прибавить к этому что-то неслыханное, неизъяснимое, что разом погребло все старческие упования, что в один миг затушевало все перспективы, кроме одной: перспективы могилы...

— Хоть бы смерть... ах, кабы смерть!

Наконец он предпочел-таки объясниться, чем продолжать пить отраву капля по капле.

— Что ты так вдруг из-за стола вышел? — обратился он к Степе.

— Я?.. так... я — ничего...

— Нет, ты не ничевóкай, а говори прямо: разговор мой тебе не понравился?

— Я, папенька... ах, папенька, право бы, я на вашем месте не вспоминал...— с трудом проговорил Степа.

— Об чем не вспоминал?

— Об *этом*...

— А! так вот оно что! То-то я... Скажи, пожалуйста, что же в моем разговоре тебе не по нутру?

— Ах, папенька, разве я могу!

Гаврило Степаныч горько усмехнулся и с минуту помолчал.

— Нынче молодые люди...— начал было он, но, как бы что-то вспомнив, поперхнулся и продолжал задавленным голосом,— так, значит, ты... пре-зи-ра-ешь?

— Ах, нет! Папенька! умоляю вас! оставьте! оставьте этот разговор! Я не буду... я был глуп! это не мое дело! Я никогда, никогда ничем не выражу!

— Стало быть, во всяком случае... ты не одобряешь? — безжалостно настаивал Гаврило Степаныч.

— Папенька! ради бога!

— Да ведь я же *по сущей совести* поступал! Выслушай, рассуди, пойми! *По сущей совести!*

VII

Объяснение это, однако ж, не раскрыло сердца, а, напротив, как будто заперло их. Старик Разумов был подавлен и в то же время чувствовал себя глубоко оскорбленным. Он относился к Степе без раздражения, но церемонно, как бы боясь навязываться; Степа, с своей стороны, в присутствии отца сидел опустивши глаза. Ко всему этому, Ольга Афанасьевна, не понимая, в чем суть, и думая, что Гаврило Степаныч, по-старчески, почувствовал оскорбленным свое авторское самолюбие, приставала к Степе, чтоб «он попросил у папеньки прощения», и это выходило тем нелепее, что иногда она надоедала с своими приставаниями в присутствии самого старика Разумова. В первый раз в жизни рассердился на нее Гаврило Степаныч.

— Все умная была,— выговорил он,— а вот теперь, как до настоящего дела дошло, так и ума не стало. Только досада берет, на вашу дурью породу глядя!

Умолкла Ольга Афанасьевна, а за нею умолк и весь дом, словно мгла опустилась на все эти бедные существования. Мало-помалу Гаврило Степаныч стал избегать встреч с сыном и чаще прежнего начал уходить к Коловратову, убедившись наперед, что ни Степы, ни Аннушки нет в соборном доме. Он ни об чем подробно не рассказывал Коловратову, но старики чутьем понимали друг друга. Старый протопоп смотрел потухающими глазами в потухающие глаза своего друга и угадывал, что там, в этом потухающем сердце, завязывается великое, неутолимое горе.

— Худо? — не то спрашивал, не то соболезновал он.

— Жить тяжело,— подтверждал Разумов.

— Смиряйся!

— Да ведь смирению-то срок полагается. Отстрадал, искупил — вот и конец. А тут где конец найдешь? Жизнь-то уж написана — как ты ее по-новому, новыми словами напишешь? Погубил бы себя — так и погибель твоя не нужна!

Старики временно умолкали, вторя друг другу покачивающимися головами.

— Вот, говорят, трудно нынче молодым людям жить,— снова начинал Разумов,— а старикам разве легче? Вот и моя жизнь: кажется, вся дотла сгорела, и тлеть-то, по-видимому, нечему, так нет, живи, мучься!

— Спокою дух просит, а по обстоятельствам выходит иное... Помнишь, когда ты приехал, сумерки наступали, я

на вечернюю зарю тебе показывал? — припоминал Коловратов.

— «Видевше свет вечерний»...— горько иронически усмехался Разумов.

— Да, думалось тогда, а вот не привелось...

— То-то, друже, что не всякому, без печали, до этого «света вечернего» дожить приводится. Вот и я в то время, вместе с тобой, мнил, что меня «тихий свет» осиял, ан заместо того...

Нескончаемо велись эти разговоры, как нескончаема была и печаль, их породившая. Гаврило Степаныч чувствовал, что они не врачуют, а пуще растравляют его раны, но все-таки ему легче было растравлять себя в обществе старого друга, нежели изнывать дома, один на один с давящей мглою, которая, казалось, так и ползла на него из всех углов. Дома он чувствовал себя глубоко несчастливым. Ольгу Афанасьевну он щадил, боялся высказаться ей, какая беда его постигла, так что поделиться горем было решительно не с кем. Он сидел в своем углу и молчаливо давился своим горем. «Неужто же всё... вся прошлая жизнь?— думалось ему,— неужто нет в этой жизни ничего... смягчающего!» Разумеется, сам-то он очень хорошо понимал, что «смягчающего» и даже вполне «обеляющего» в его жизни было очень много, что везде в этой жизни наткнешься или на Отчаянного, или на Зильбергроша, или, по малой мере, на «так водится». Он понимал даже, что это была совсем не какая-нибудь необыкновенная жизнь, что «все» так жили, «все» этой дорогой шли... Иногда он «по всем ведомствам» перелетал мыслью и находил, что, в сущности, везде одно и то же. Везде все то же «дело» делалось, да и теперь делается, только формы, может быть, разные. И на службе, и в частной жизни. И сам Степа, если доживет до поры самостоятельности, тоже будет это самое «дело» делать, в какую бы нору ни прятался от него, какими бы замысловатыми названиями ни прикрывал свою «новую» деятельность. Атмосферу надо изменить, всю атмосферу — вот тогда, может быть...

— Так это! именно всё так! — заключал он обыкновенно.— Ничем «особенным» попрекнуть я себя не могу... А впрочем, и то сказать: не в том дело, что я прав, а прав ли, расправ ли — как его-то в этом уверишь!

Стар он — вот в чем настоящая-то беда, да еще в том, что, в его положении, старость есть синоним отчаяния. Ни обновить, ни погубить себя — ничего он не может. Нет у

него силы для жертвы, а главное, не нужна, не нужна его жертва. Он должен сидеть на берегу моря; в глазах его налетит ураган и рассвирепеют волны, в глазах его будут бороться и погибать пловцы, а он осужден бесплодно метаться на своем месте и испускать стоны. Кто услышит эти стоны, да и кому они нужны! В этом закружившемся сплошном вихре, в этом громадном стоне целой природы какое значение может иметь его бессильный старческий стон? Старик! ты лишний! ты мешаешь! — вот что слышится ему среди гвалта и воплей разгоревшейся сечи, той неумолимой, беспощадной сечи, в которой и прошлое, и настоящее, и будущее, кажется, соперничают друг с другом в жестокости. Ринется ли и он в эту сечу? с чем?!

Нет у него ни настоящего, ни будущего; есть только прошлое, но с этим прошлым идти некуда. Если бы это было прошлое органическое, исторически объяснимое, он все-таки имел бы основание выйти с ним на арену. Прав ли он был бы, или неправ — это вопрос особый, но, защищая это прошлое, он защищал бы нечто *собственное*, перечувствованное, пережитое. Но такого прошлого у него не было: его прошлое было случайно, не собственное, *приказанное*... Не ясно ли после этого, что он действительно лишний и может только мешать?

Но что всего хуже — он узнал об этом, только вчера, и узнал не сам собой, а случайно. А до тех пор он был совершенно убежден, что и с его прошлым прожить можно. Опочить от дел, погрузиться в спокой, безмятежно испустить дух, устремив глаза в потухающую вечернюю зарю и напевая «Свете тихий». И точно: свет просиял для него, но не тихий, а зловещий, и просиял... через сына. Он думал, что сын — утеха, а вышло, что он — просияние. Каким-то проклятым образом переплелись эти два совсем несовместные понятия, и нет возможности распутать их. И утеха, и просияние — какой ад! Ах, нет, нет! Утеха, утеха, утеха!

Слышишь ли ты это, Степа? Подсказывает ли тебе сердце, что какое бы громадное несчастие ни придавило тебя, это же самое несчастие во сто крат, в тысячу крат тяжелейшим молотом придавит беспомощную голову твоего отца! Нет у этого отца ни настоящего, ни будущего, нет даже прошлого, но ведь и в этом человеке-обрывке трепещет сердце... Тобой полно это сердце, тобой, одним тобой!

Вот она, старуха-просительница: пришла бог весть откуда, почуяв беду; шаталась по улицам, стучалась во все двери, не знала, где голову приклонить, терпела, ждала...

и дождалась-таки! Крикнула ему вслед: сатана! сатана! сатана! Вот сколько любви могут вмещать в себе эти тлеющие отцовские и материнские сердца!

Высказать ли все это Степе? — нет, не нужно. Словами и за один присест нельзя это выразить: выйдет несвязно, беспорядочно, непоследовательно. Многие годы нужно это рассказывать, исподволь, постепенно наводить человека. Да и повода теперь для такой исповеди нет. С чего вдруг взбудоражился, старик? кто тебе мешает жить... живи! Глотай в молчании последнюю обиду, которую облюбовала для тебя судьба! Но не ропщи, не стони... о, жалкий, беспомощный старик!

Вот что думалось Разумову. Это были совсем новые мысли, но они до такой степени охватили его, что, казалось, заслонили от него весь остальной мир. Что-то жестокое пронзало его сердце всякий раз, как он встречался с сыном, до того жестокое, что, напоследок, он начал даже желать, чтоб вакантное время поскорее прошло. Не того он боялся, что «просияние» доконает его, а того, что оно его замучит и эти мучения, быть может, отразятся и на самом виновнике «просияния». Что нужды, что сын дал ему казнь — пусть он остается для него утехой, к которой не примешивается ни капли горечи. Когда он уедет, равновесие, может быть, восстановится. Конечно, отрава «просияния» не прекратит своей разъедающей работы, но хорошо уж и то, что источник этой отравы перестанет ежеминутно напоминать о себе: вот я, который растоптал твою жизнь! И имя ему попрежнему будет одно: утеха, утеха, утеха!

Даже Ольга Афанасьевна смутно поняла, что у Гаврилы Степаныча нехорошо на душе и что этому нехорошему оказывается нечуждым Степа. Поэтому, когда наступил конец августа, то обычных выражений горести, предшествующих расставанию, почти что не было. В час отъезда старик Разумов смотрел мрачнее обыкновенного; Ольга Афанасьевна принужденно улыбалась и напоминала, как бы не опоздать на поезд, сам Степа чувствовал себя неловко и торопился. Одна Аннушка горько и долго плакала, но Гаврило Степаныч почти с ненавистью смотрел на эти слезы.

С некоторого времени он невзлюбил Аннушку: он чувствовал, что Степа ничего не скрывает от нее. Следовательно, ежели Степа представлял собой «просияние», то она представляла — «укор». Этого укора, идущего не кровным путем, Разумов совсем не понимал. Он помнил, с каким волнением она однажды ответила ему: «не могу! не могу! не

могу!» — и навсегда запечатлел в своем сердце этот факт, как выражение досадного оскорбления. Не ей судить, не ее ума дело. Именно одну досаду производило ее вмешательство.

Как бы то ни было, но с отъездом Степы в маленьком доме Разумова установилось сравнительное спокойствие. Хотя Гаврило Степаныч заметно опускался и хирел, но мысль его уже не столь исключительно сосредоточивалась на «просиянии», а чаще и чаще отклонялась в сторону «утехи». Что-то «утеха» наша теперь в Петербурге делает? Легко ли ей живется? тепло ли? удобно ли? кто приласкает, согреет, приголубит ее? — ежечасно вопрошали друг друга старики.

VIII

Не прошло, однако ж, месяца, как Гаврило Степаныч получил из Петербурга следующее письмо:

«Дорогой и добрый друг!

Есть вещи, которые заставляют меня глубоко страдать и о которых говорят при мне, нимало не стесняясь. Иные с похвалою; другие — более нежели с порицанием. И то и другое несносно. Когда я оскорбляюсь, то мне возражают, что это до меня не касается, и что стоит только «совсем порвать», чтоб относиться к этого рода вещам с такою же объективностью, с какою относятся к ним и другие. Но я не могу. Я слишком слаб, слишком люблю. Для меня бесконечно дороги воспоминания о неистощимой нежности, которая везде и всегда сопровождала меня,— как я порву с ними? Для чего вы так любили, так холили меня? Для чего изнежили мое сердце? Может быть, я и устоял бы, порвал бы, что ли, а теперь — не могу. Простите меня. Я знаю, как мое письмо поразит вас, знаю, что от меня на вас падет последний удар,— и все-таки не могу. Тоскливо, горько; сердце рвется на части. Не могу, не могу. Выдержите ли вы?

Прощайте! Целую ваши руки, те руки, которые никогда не протягивались ко мне иначе, как с ласкою. Прощайте. Передайте мамаше, что моя последняя мысль будет принадлежать ей. И вам, мой дорогой, бесценный отец.

Степан Разумов».

Прошло больше часа после получения письма. Старик Разумов продолжал сидеть в своем кресле, устремив неподвижные глаза на фатальный листок, лежащий на письменном столе. Казалось, что застигнутый впечатлением панического страха, он до такой степени утратил жизненную энергию, что уже не может собственным усилием выбиться из оцепенения. Наконец в кабинет вошла Ольга Афанасьевна и, увидав письмо Степы, прочитала его.

— Что ты такое сделал? — в ужасе вскрикнула она, сама не понимая, к кому обращен ее вопрос — к живому человеку или к трупу.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МУЖИЧОК

Известно ли читателю, как поступает хозяйственный мужик, чтоб обеспечить сытость для себя и своего семейства? О! это целая наука. Тут и хитрость змия, и изворотливость дипломата, и тщательное знакомство с окружающею средою, ее обычаями и преданиями, и наконец, глубокое знание человеческого сердца.

Прежде всего он начинает с самого себя, с своей семьи, с работника или работницы, ежели у него есть, с людей, созываемых на по́мочи, и т. д. И главная забота его заключается в том, чтоб этот рабочий улей как можно умереннее потреблял еды и в то же время был достаточно сыт, чтобы устоять в непрерывной работе. Первый предмет, представляющийся его вниманию,— хлеб. Он не подает на стол мягкого хлеба, а непременно черствый — почему? — потому что черствый хлеб спорее; мягкого хлеба вдвое съешь. Затем он круглый год льет в кашу не коровье масло, а конопляное, хотя первое можно найти дома, а второе нужно купить, и оно обойдется почти не дешевле коровьего — почему? — потому что налей мужику коровьего масла, он вдвое каши съест. Свежую убоину он употребляет только по самым большим праздникам, потому что она дорога, да в деревне ее, пожалуй, и не найдешь, но главное потому, что тут уж ему не сладить с расчетом: каково бы ни было качество убоины, мужик набрасывается на нее и наедается ею до пресыщения. Одно средство, за редкими исключениями, совсем изгнать ее из насыщающего обихода.

Не менее мудро поступает он и с гостями во время пирований, которые приходятся на большие праздники, как рождество, пасха или престольные, и на такие семейные торжества, как свадьба, крестины, именины хозяйки и хозяина. Он прямо подносит приходящему гостю большой стакан водки, чтобы он сразу захмелел.

— Как поднесу я ему стакан,— говорит он,— его сразу ошеломит; ни пить, ни есть потом не захочется. А коли будет он с самого начала по рюмочкам пить, так он один всю водку сожрет, да и еды на него не напасешься.

Скотину он тоже закармливает с осени. Осенью она и сена с сырцо́й поест, да и тело скорее нагуляет. Как нагуляет тело, она уж зимой не много корму запросит, а к весне,

когда кормы у всех к концу подойдут, подкинешь ей соломенной резки — и на том бог простит. Все-таки она до новой травы выдержит, с целыми ногами в поле выйдет.

Таковы характеристические черты крестьянского хозяйственного быта, те черты, которыми определяется дальнейшее его жизнестроительство. Голова скромного хозяйственного мужичка не знает отдыха; с утра до вечера она занята всевозможными устроительными подробностями. Много лежит на нем обязанностей: прежде всего нужно, конечно, определить крайний minimum, чтобы прокормить себя и семью; потом — подумать об уплате денежных сборов и отыскать средства для выполнения этой обузы; наконец, ежели окажутся лишки, то помечтать и о так называемой «полной чаше». Но расчеты его чересчур часто нарушаются. Беспрестанно встречаются экстренные расходы: то свадьба в доме, то крестины — все это составляет предмет мучительных забот. Мужику все нужно; но главнее всего нужна предусмотрительность, уменье заблаговременно приготовиться и запастись, способность изнуряться, не жалеть личного труда, лишь бы как можно меньше истратить денег.

Деньги — это кровная язва крестьянского быта. Дома крестьянин очень мало в них нуждается — только на соль, да вино, да на праздничную убоину. От времени до времени требуется сшить девушке-невесте ситцевый сарафан, купить платок, готовый шугайчик; по возвращении из поездки в город хочется побаловать ребят калачом или баранками. В кои-то веки он купит праздничный армяк синего сукна для себя и недорогой материи на сарафан для жены. Вот и вся его домашняя денежная трата. Остальное он должен добыть на уплату всевозможных сборов.

Ради них он обязывается урвать от своего куска нечто, считающееся «лишним», и свезти это лишнее на продажу в город; ради них он лишает семью молока и отпаивает теленка, которого тоже везет в город; ради них он, в дождь и стужу, идет за тридцать — сорок верст в город пешком с возом «лишнего» сена; ради них его обсчитывает, обмеривает и ругает скверными словами купец или кулак; ради них в самой деревне его держит в ежовых рукавицах мироед. Самого его не только не тянет к мироедству, но он и способностей к нему не имеет: он просто толковый и хозяйственный мужик.

Не удивительно, стало быть, что он весь погружен в одну думу: спасти себя и присных.

И он настолько привык к этой думе, настолько усвоил ее с молодых ногтей, что не может представить себе жизнь в иных условиях, чем те, которые как будто сами собой создались для него. Он идет за возом в город, думает и в то же время ищет глазами. Подкова на дороге валяется — он ее за пазуху спрячет (найденная подкова предвещает счастие); бумажку кто-нибудь обронил, окурок папироски — он и их поднимет; даже клочок навоза кинет в телегу и привезет домой. Сегодня клочок, завтра клочок — смотришь, ан и целый возок наберется. В городе он отстаивает себя до последней крайности, но почти всегда без успеха, потому что городская обстановка ошеломляет его; там всё ба́ры живут да купцы, которые тоже барами смотрят,— чуть что, и городовой к ним на помощь подоспеет, в кутузку его, сиволапого, потащат. Где ему, темному и безграмотному мужику, спастись от всех ловушек, которые специально для него расставлены? Поэтому он продает свой товар по произвольно установленной цене, наскоро кормит лошадей и, сделавши необходимые закупки, спешит засветло доехать домой. Здесь он рассчитывает себя, откладывает гроши к грошам, разглаживает и рассматривает на свет скомканные ассигнации и прячет выручку в заветную кубышку. В большинстве случаев оказывается, что получка далеко не оправдывает ожиданий.

Подобные неудачи встречаются очень часто и до боли его трогают. Но они от него не зависят: все равно, застигнут ли они его или благополучно пройдут мимо,— все равно, ему и еще, и еще придется идти им навстречу и подчиниться. Надо, стало быть, забыть о неудачах и стараться наверстать на чем-нибудь другом. И он, не успевши отдохнуть с дороги, обходит двор, осматривает, все ли везде в порядке, задан ли скоту корм, жиреет ли поросенок, которого откармливают на продажу, не стерлась ли ось в телеге, на месте ли чеки, не подгнили ли слеги на крыше двора, можно ли надеяться, что вон этот столб, один из тех, которые поддерживают двор, некоторое время еще простоит. Он берет в руки топор и до самого ужина стучит им и облаживает замеченные огрехи. Словом сказать, спасает себя.

В свое время он припасается, стараясь прежде всего вырвать то, что достается задаром, а потом уже думает о том, чтобы как можно дешевле приобрести то, чего нельзя достать иначе, как за деньги. Летом овраг, разделяющий деревню на две половины, совсем засыхает; но в весеннее половодье он наполняется до краев водою, бурлит и шумит. Из

соседней речки Пишковки заходит туда рыба: головли, ерши, язи, плотва, окуни, щуки. Заботливый хозяин пользуется этим даровым прибытком и ставит ве́рши. Он больше всего радуется щуке, которая хоть и костлява, но зато попадается крупных размеров и притом годна к солке впрок. Он наполняет ею все кадочки и бочонки, какие только найдутся в доме, и в продолжение всего лета лакомит себя, семью и домочадцев соленою рыбкой. Рыба тверда, почти несъедобна, но зато она спора, ее меньше съедят — и это все, что требуется доказать. Притом же на стол ставится чашка не с пустыми щами, а щи с рыбой; а это означает тороватость. Про такого мужика говорят: «он живет торовато, у него щи с рыбой едят». И работники идут к нему охотнее, и по́мочь он скорее сберет.

Весной же он запасается солониной. Прослышит, что где-нибудь корова от бескормицы еле жива, а владельца этой коровы сборами нажимают, устроится с тремя-четырьмя другими заботливыми хозяевами в складчину, и купят коровью мясную тушу за пять рублей. В ней больше костей, нежели мяса, да и мясо неуваристое, точно мочало, а все-таки мало-мало двенадцать пудов этого мяса найдется — пуд-то обойдется каких-нибудь сорок копеек. И вот у него на все лето солонины хватит. За неимением погребов, солонина зарывается в землю, но к наступлению летнего мясоеда все-таки сильно припахивает; но это делает ее еще спорее. Мужик и с запашко́м убоину съест, но, разумеется, меньше, нежели если б она была совсем свежая. Стало быть, и тут выгода.

Главное, поддержать в исправности силы, необходимые для летней страды. Не наедаться, а именно только в меру себя поддерживать. А как и чем этого достигнуть — вопрос второстепенный.

Летом мужик весь в работе. Ленивый и захудалый мужичонко — и тот не сходит с полосы, а хозяйственный мужичок просто-напросто мрет на ней. Он почти не спит; ложится поздно, встает с зарей (по вечерней и утренней заре косить траву спорее) и спешит на работу. Вечно тревожимый думою о насущном хлебе, он набрал у соседнего помещика пустошных покосов исполу и даже из третьей копны, косит до глубокой осени и только с большой натугой успевает справиться с работой. И жена, и взрослые дети — все мучатся хуже каторги; даже подростки — и те разделяют общую страдную муку. Зато в конце августа он уже может рассчитать, что своего хлеба у него хватит

до масленой. Но сена вдоволь: есть чем и скотину прокормить и на сторону продать можно. Сено — главная его надежда. Земельный надел так ограничен, что зернового хлеба сеется малость; сена же он может добыть задаром, то есть только потратив, не жалеючи, свой личный труд на уборку. Мало его личного труда — он ходит по соседям, сбирает по́мочи. Обыкновенно на по́мочи выходят в праздники, а это тоже доставляет своего рода спорость: прогульных дней меньше. Все знают, что у него и рыбы, и мяса насолено, и конопляного масла непочатый бочонок стоит, и чарка водки найдется,— и идут к нему. Идут весело, с песнями, работают споро; он в первой косе. Хотя с работы возвращаются не поздно, но на миру работа идет вдвое спорее; все-таки угощенье наполовину дешевле обойдется, нежели ту же пустошь наемными рабочими убрать. Да и хозяину веселее, когда кругом все кипит и спорится. Это, может быть, одни из редких минут, когда в нем сердце взаправду играет.

Однако к концу страды даже он начинает тощать на работе. Лицо у него почернело под слоем въевшейся пыли; домашние еле бродят. К счастию, страда кончается: и с озимым отсеялись, и снопы с поля свезены и сложены в скирды, и последнее сено убрали. Наступает осень, иногда румяная, иногда сопровождаемая ливнями. Осень тоже имеет свою страду, но уже более снисходительную. Работают преимущественно под крышей или вблизи дома, на гумне, на огороде. Слышится стук цепов; воздух насыщается запахом созревших овощей. Но хозяйственный мужичок зорко следит за атмосферическими изменениями, потому что и сплошь румяная осень может повредить, и от слишком частых дождей хозяйство, пожалуй, пострадает. Всего лучше, ежели погода перемежающаяся — тогда его сердце успокаивается до весны. Он ходит в поле и любуется на рост озими. Но и тут уж мелькает в его голове предательская мысль: осень всклочет, да как-то весна захочет!

Что, ежели вдруг весна придет бездождная или сплошь переполненная дождями? «Пойдут на низинах вымочки — своего зерна не соберешь; или на низинах хорошо взойдет, да наверху сгорит!» — мучительно думается ему.

Но загадывать до весны далеко: как-нибудь изворачивались прежде, изворотимся и вперед. На то он и слывет в околотке умным и хозяйственным мужиком. Рожь не удается, овес уродится. Ежели совсем неурожайный год будет, он кого-нибудь из сыновей на фабрику пошлет, а сам в извоз

уедет или дрова пилить наймется. Нужда, конечно, будет, но ведь крестьянину нужду знать никогда не лишнее.

Осенью он запасается на зиму. Сам с взрослыми сыновьями — целый день в лесу, готовит дрова и сучья; или молотит на гумне, справляет на зиму сбрую. Ежели найдется досуг, то для наполнения его у него есть и ремесло. Дуги на продажу готовит, бондарничает, веревки вьет. Женский персонал между тем занимается зимним припасом. Стучат сечки о корыто, наполненное ядреной капустой; солится небольшой запас огурцов, в виде лакомства, на праздники; ходенем ходит ткацкий станок, заготовляя красно и шерстяную редину, которыми зимой обшивают семью. Минуты нет отдохнуть. Даже с наступлением сумерек, при свете керосиновой лампочки (такое освещение дешевле лучины стоит),— и тут дело найдется. Большак новый лапоть плетет или старый починивает; старуха шерстяные чулки и карпетки вяжет; молодухи прядут. Благословенный труд не покидает этой семьи; он не кажется ей каторгой, а составляет естественный жизненный процесс. Поздно вечером (сидят долго, но зато встают позднее — где еще до свету!) ужинают и ложатся спать. Временно каторга прекращается.

Ночью изба представляет собою нечто вроде нестерпимой клоаки. Домочадцев скучилось так много, что и пол занят, и полати, и лавки по стенам. Изба полна смрадом и стонами этого замученного хозяйственностью люда. У мужика есть, кроме избы, и «чистая» горница, но она не топится, ради сбережения дров, и вообще в ней даже летом редко живут; она существует напоказ и открывается только в праздники. Хорошо еще, что жилая изба топится по-«черному»; утром, чуть свет, затопит хозяйка печку, и дым поглотит скопившиеся в избе миазмы. Этот дым выедает глаза, щекочет ноздри. В беспрестанно отворяемую дверь врывается холодный воздух. Сонные домочадцы, разбуженные запахом гари и холодом, вскакивают как встрепанные и бегут на крыльцо, где на веревке качается рукомойник. Зато, часа через два, когда семейный обед готов, хозяйка заботливо закутывает печь, и в избе делается светло и тепло. «Точно в раю!» — говорит она довольным голосом.

Только в короткий рождественский мясоед жизнь становится как будто льготнее. Молодежь отдыхает; даже старики позволяют себе относительную свободу, хотя хозяйственный мужичок и тут не упускает случая, дающего воз-

можность с выгодой употребить свой труд. Днем, около сумерек, деревенская улица полна катающимися. Парни, усадив в сани гурьбы девушек, настегивают лошадей и мчатся во всю прыть. Слышатся гиканья, крики, смех. Накатаются досыта, иззябнут, но в избу заходят ненадолго. Зажгутся в избах огни — пора на поседки. Соберутся в очередную избу, играют песни и веселятся до петухов. Тут парни высматривают невест, завязываются сватовства на Красную горку; любовь вступает в свои права.

В это же время, по преимуществу, хозяйственный мужичок играет свадьбы.

Женитьба сына не требует особенных приготовлений. Сын берет бабу в дом, а дома все идет своим чередом; прибавляется только лишняя работница. Присмотреть невесту, уговориться насчет приданого, установить норму расходов для пирований и на плату за венчание — вот все, что требуется. Но к свадьбе дочери подготовляются издалека и исподволь, чтоб расход не был чувствителен. Дочь имеет собственную коробью, в которую сама собирает свое приданое. Ей каждый год отделяется небольшой клочок земли и дается горсточка льну на посев; этот лен она сама сеет, обделывает и затем готовит из него для себя красно́. Все заготовленное она прячет в коробью, вместе с полученными в разное время подарками: платками, бусами, нарядными сарафанами и т. д.

С наступлением времени выхода в замужество — приданое готово; остается только выбрать корову или телку, смотря по достаткам. Если бы мужичок не предусмотрел за́годя всех этих мелочей, он, наверное, почувствовал бы значительный урон в своем хозяйстве. А теперь словно ничего не случилось; отдали любимое детище в чужие люди, отпировали свадьбу, как быть надлежит,— только и всего.

Выше я сказал, что хозяйственный мужичок играет домашние свадьбы (или, точнее, женит сына, потому что дочь выдается, когда жених найдется) преимущественно к концу рождественского мясоеда. В этом деле им тоже руководит мудрость змия и твердая решимость не потерпеть ущерба в жизнестроительном обиходе. Своевременно приведенная в дом сноха родит, при таком расчете, не раньше осени; следовательно, всю летнюю страду она отбудет свободно. И не только будущую страду, но и предбудущую, потому что ребенок, родившийся с осени, успеет мало-мальски окрепнуть и не будет слишком часто отры-

вать мать от работы. Женить на Красную горку тоже удобно, с точки зрения ближайшей страды, но зато предбудущая уже не дает достаточного обеспечения: ребенок будет мал и слаб.

Как видит читатель, никаких дум у хозяйственного мужика нет, кроме думы о жизнестроительстве. Ради нее он отдает себя и семью в жертву каторге, ради нее терпеливо выносит всякие неожиданности. Она затемняет в нем даже любовь к семье. Он всецело отдает ей самого себя, но — и только. Той любви, которая заставляет видеть в жене, сыне, дочери нечто ненаглядное, неприкосновенное для обид, не существует для него. И всю семью он успел на свой лад дисциплинировать; и жена и дети видят в нем главу семьи, которого следует беспрекословно слушаться, но горячее чувство любви заменилось для них простою формальностью — и не согревает их сердец.

Наконец идеал «полной чаши» достигнут. Изба прочна и хорошо ухичена; запасу вдоволь, скотины в избытке, дети — в порядке. В доме царствуют мир и согласие; даже в кубышке деньга, на черный день, водится. В таком положении до мироедства — один только шаг. Но хозяйственный мужик от природы чужд кровопивства; его не соблазняет ни лавочка, ни кабак. Непрерывным трудом и думою о будущем он достиг известной степени зажиточности — и будет с него. По-прежнему — он отказывается от чайничества, по-прежнему — ест хлеб черствый, а не мягкий, по-прежнему — осторожно обращается с свежей убоиной. Если б он поступил иначе, ему было бы не по себе, он перестал бы быть самим собой.

Но с «полною чашей» приходит и старость. Мало-помалу силы слабеют; он не может уже идти сорок верст за возом в город и не выносит тяжелой работы. Старческое недомогание обступает со всех сторон; он долго перемогает себя, но наконец взлезает на печь и замолкает.

На арену хозяйственности выступает большак-сын. Если он удался, вся семья следует его указаниям и, по крайней мере, при жизни старика не выказывает розни. Но, по временам, стремление к особничеству все-таки прорывается. Младшие сыновья припрятывают деньги,— не всё на общее дело отдают, что выработают на стороне. Между снохами появляются «занозы», которые расстраивают мужей.

«Умру — всё растащат!» — думается старику, и болит, ах, болит его хозяйственное сердце!

Наконец он умирает. Умирает тихо, честно, почти свято.

За гробом следует жена с толпою сыновей, дочерей, снох и внучат. После погребенья совершают поминки, в которых участвует вся деревня. Все поминают добром покойника. «Честный был, трудовой мужик — настоящий хрестьянин!»

Да, это был действительно честный и разумный мужик. Он достиг своей цели: довел свой дом до полной чаши. Но спрашивается: с какой стороны подойти к этому разумному мужику? каким образом уверить его, что не о хлебе едином жив бывает человек?

МИРОЕДЫ

И мироед не чужд природе. Разумеется, не в смысле сельскохозяйственном, а в том, что и он производит свой чужеядный промысел на лоне природы, в вольном воздухе, в виду лугов, лесов и болот.

Мироеды — порождение новейших времен; хотя и в дореформенное время этот термин существовал, но означал он совсем не то, что теперь означает. Собственно говоря, был и тогда мироед, в современном значении этого слова, но он ютился в области крепостного права и, конечно, не назывался мироедом. Затем, в среде государственных крестьян, мироедами прозывались «коштаны», то есть горлопаны, волновавшие мирские сходки и находившиеся на замечании у начальства, как бунтовщики; в среде мещан под этой же фирмой процветали «кулаки», которые подстерегали у застав крестьян, едущих в город с продуктами, и почти силой уводили их в купеческие дворы, где их обсчитывали, обмеривали и обвешивали. Наконец, были прасолы, ездившие по усадьбам и деревням и скупавшие и продававшие всякий сельский продукт. По тогдашнему простому времени, и этого было довольно.

Истинный мироед зачался одновременно с упразднением крепостного права, но настоящим образом он оперился, оформился и расцвел благодаря сивушной реформе.

Крестьянская реформа создала обстановку. Она дала деревенскому люду общину, но общину своеобразную, содержание которой исчерпывалось круговой порукой, облегчавшей исправный платеж податей и повинностей. Ни в каком другом отношении эта новоявленная община ни обеспечения, ни ручательства не представляла. Для захудалого мужика она еще могла бы представлять некоторое обеспечение в смысле более равномерного распределения денежных сборов; но ведь для подобных платежных единиц (им присвоивается кличка «нерадивых») существуют соответствующие меры побуждения,— стало быть, тут и без равномерности можно обойтись. Для мужика сильного, успевшего «забраться» еще при крепостном праве, община представляла выгоду лишь в том случае, если рядом с нею шло порабощение более слабых платежных единиц. Человеку сильному и предприимчивому тяжело подчиниться общин-

ным порядкам, которые прежде всего обезличивают его, налагают путы на всю его деятельность, вторгаются в его жизненную обстановку и вообще держат под угрозой «сравнения с прочими». Идеалы сильного деревенского мужика не особенно высоки; он крепко держится за них, употребляя на осуществление их весь запас хитрости, лукавства и умелости, который находится в его распоряжении. Чтобы достигнуть этого, надобно прежде всего ослабить до минимума путы, связывающие его деятельность, устроиться так, чтобы стоять в стороне от прочей «гольтепы», чтобы порядки последней не были для него обязательны, чтобы за ним обеспечена была личная свобода действий; словом сказать, чтобы имя его пользовалось почетом в мире сельских властей и через посредство их производило давление на голь мирскую. Затем, по сущей справедливости, не лишнее извлечь и осязательную выгоду из созданного таким образом привилегированного положения. Потому что, как бы ни были ослаблены узы его зависимости от общины, все-таки он числится членом ее, следовательно — привязан к известному месту, стеснен в передвижениях. Надо вознаградить себя за это. По зрелом размышлении, такое вознаграждение он может добыть, не ходя далеко, в недрах той «гольтепы», которая окружает его. Надо только предварительно самого себя освободить от пут совести и с легким сердцем приступить к задаче, которая ему предстоит и формулируется двумя словами: «Есть мир». И он решается на этот подвиг тем с меньшим затруднением, что слово «совесть» имеет для него значение, обнимающее очень ограниченный круг нравственных представлений самого ходячего свойства. Он рассуждает так: «Я выбрался из нужды — стало быть, и другие имеют возможность выбраться; а если они не делают этого, то это происходит оттого, что они не умеют управлять собою. Учить их некогда, да и незачем, а надо просто-напросто есть их, хотя бы ради того, чтобы личный их труд не растрачивался на ветер, а где-нибудь производил накопление. «Где-нибудь» — это у него. Отсюда название: «мироед».

Наицелесообразнейшее средство для удовлетворения алчности дала ему сивушная реформа. Она каждую деревню наградила кабаком и от кабатчика потребовала только соблюдения двух условий: приговора общества и нравственного ценза. Приговор общества мироеду достать очень легко: стоит только выставить «гольтепе» ведро или два (смотря по величине деревни) — и приговор готов. В боль-

шинстве случаев, кроме официального приговора, давался еще дополнительный, которым постановлялось: никому другому в деревне другого кабака не разрешать и никому из членов общества в кабаках соседних деревень не пить, под опасением штрафа, а пить исключительно у него, имярек, мироеда. Что же касается до нравственного ценза, то добыть его еще легче. Мужик он обстоятельный, исправный, никого явно не убил, не ограбил, а стало быть, и под судом не бывал. Он мироед — только и всего; но разве мироедство подлежит компетенции суда?

Дешевизна водки произвела оглушающее действие. «Гольтепа» массой потянулась в кабак. Как будто она сразу хотела вознаградить себя за долгий искус лишения продукта, который, ввиду ее одичалости, представлял для нее громадный соблазн. Но, сверх того, ей необходимо было забыться, угореть. Обида преследует ее всюду: и дома и на улице. Только кабак, в лице своего властелина, видит в нем равноправного потребителя и ограждает эту равноправность. Только в кабаке он сам-большой и может прикрикнуть даже на самого мироеда: «Ты что озорничаешь? наливай до краев!» И мироед не ответит на его окрик, а только ухмыльнется в бороду.

«Разоренье» вошло в полный фазис своего развития. Пропивались заработанные тяжким трудом деньги, и ежели денег недоставало — пропивалась самая жизнь. Рабочие орудия, скот, одежда, личный труд, будущий урожай — все потянулось к кабаку и словно пропадало в утробе кабатчика. А рядом с кабаком стояла лавочка, где весь деревенский товар был налицо, начиная от гвоздя до женского головного платка. Зачем запасаться дома, зачем копить, коль скоро все в лавочке найти можно?! И денег не нужно — знай, хребтом шевели: мироед своего не упустит! он, брат, укажет, где и как шевелить!

И действительно: он укажет. Он знает каждого члена окружающей «гольтепы» и может во всякое время определить, кто чего стоит. Вот этот хребет еще долго выдержит, а вон тот уж надламывается. Первому можно без риска верить; что касается до второго, то не лишнее и остеречься. И изба, и клеть, и соха, и всякий гвоздь в избе — все на виду у мироеда, и все принимается им в расчет. Даже семейное положение: у кого сын на фабрике, у кого дочь в казачках: в крайнем случае, и они отработать долг могут. Мужичья изба словно фонарь — все в ней наружу. Вон она стоит, оголивши ребра, словно остов зверя.

Там бревно из пазов вышло, тут — иструпело совсем; солома на крыше гниет, ветром ее истрепало, на корм скотине клочья весной повытаскали. Но и из этой груды полуистлевшего хлама пользишку извлечь можно. Вон он! вон! около телеги копошится! Э, да он, видно, остатки сена на воз навивать хочет!..

— Авдей, а Авдей! никак, ты сено-то в город везешь? — кричит мироед на всю улицу.

— Собрался было, Петр Матвеич,— робко откликается Авдей, чувствуя угрозу.

— Вези лучше ко мне — те же деньги, да и в город ездить не нужно. А коли искупить что в городе хотел, так и у меня в лавке товару довольно.

Авдей не прекословит. Вязанку за вязанкой он перетаскивает сено во двор к мироеду и получает расчет. В городе сено тридцать копеек стоит, мироед дает двадцать пять: «Экой ты, братец! поехал бы в город — наверное, больше пяти копеек на пуд истряс бы!»

— Чтой-то, Петр Матвеич, словно бы маловато весу у вас выходит! Надо быть, сена у меня тридцать пудов было, а у вас двадцать семь весы показывают...

— Чудак, братец, ты! разве я вешаю? стрелка вешает! Вон смотри стрелку-то — прямо стоит? А коли прямо — значит, верно.— У Петра Матвеича весы живые: сколько ему захочется, столько и весят! — шутит сосед, тоже член мирской «гольтепы», случайно проходя мимо.

Пошутит прохожий, пошутит и сам продавец, пошутит и мироед — так на шутке и помирятся. Расчет будет сделан все-таки, как мироеду хочется; но, в добрый час, он и косушку поднести не прочь.

— Вот на этом спасибо! — благодарит Авдей,— добёр ты, Петр Матвеич! это так только вороги твои клеплют, будто ты крестьянское горе сосешь... Ишь ведь! и денежки до копеечки заплатил, и косушку поднес; кто, кроме Петра Матвеича, так сделает? Ну, а теперь пойти к старосте, хоть пятишницу в недоимку отдать. И то намеднись стегать меня собирался.

С утра до ночи голова мироеда занята расчетами; с утра до ночи взор его вглядывается в деревенскую даль. Заручившись деревенской статистикой, он мало того, что знает хозяйственное положение каждого однообщественника, как свое собственное, но может даже напомнить односельцу о таких предметах, о которых тот и сам позабыл.

— А помнишь, дядя Семен, рыдван у тебя тележный старенький был — где он теперь?

— Ах, прах те побери! — спохватывается дядя Семен,— и взаправду ведь был! где он теперь? Вот ловко находку нашел!

И бежит домой, обшаривает двор и наконец где-нибудь в пустом хлеву, где осенью поросенка откармливали, находит остов тележного рыдвана.

— Нашел! — радуется он на всю улицу,— ишь ты, починить его мало-мальски, и опять за новый пойдет! И с чего это я его бросил!

— За новый он не пойдет — это ты вздор мелешь! — резонно говорит Петр Матвеич,— и бросил ты его оттого, что он уж совсем изрешетился. А коли хочешь за него полштоф — бери!

— Получай! — соглашается дядя Семен,— что ж! кабы не ты, я и не вспомнил бы, что у меня на дворе клад есть. Ах, добёр ты, Петр Матвеич, уж так ты добёр, так добёр!

Дядя Семен доволен, потому что он сутки пьян. Петр Матвеич тоже доволен, потому что он почистил тележный рыдван, обил его изнутри рогожей,— и будет он ему еще долго служить наравне с новыми.

Мироеды, по родопроисхождению, бывают двух сортов: аборигены и наезжие.

Мироед-абориген ест своих однообщественников, а потому для него обязательна известная доля осмотрительности. Он зачался еще при крепостном праве и принадлежит к числу тех благомысленных мужичков, которыми так любили хвалиться помещики. Во всей округе он был известен под именем «министра», и помещик не только не препятствовал ему разживаться, но даже помогал,— участвовал в его торговых операциях или просто ссужал за проценты деньгами. Односельцев благомысленный мужик не трогал, так как это было бы в ущерб помещику; он вел свои обороты на стороне, посещая базары и ярмарки. И скупал и продавал все, что представлялось в данную минуту выгодным, не держась специальности; но в результате нередко образовывался значительный капитал. С падением крепостного права некоторые из «благомысленных» выписались в купцы, но большинство, по естественному ходу вещей, превратилось в мироедов. Такое прошлое, не пред-

ставляя особенных задатков действительной благомысленности, все-таки свидетельствовало о недюжинном уме и способности извлекать пользу из окружающей среды и тех условий, в которых она живет. И точно: никто зорче его не присмотрится, никто основательнее не взвесит. Он непременно возьмет «свое», но возьмет вовремя и именно столько, сколько можно.

Выше я сказал, что он напомнит дяде Семену о существовании заброшенного тележного рыдвана, но одновременно с этим он прочтет дяде Авдею наставление, что вести на базар последнюю животину — значит окончательно разорить дом, что можно потерпеть, оборотиться и т. д. Вообще, где следует, он нажмет, а где следует, и отдохнуть даст. Дать мужику без резону потачку — он нос задерет; но, с другой стороны, дать захудалому отдохнуть — он и опять исподволь обрастет. И опять его стриги, сколько хочется.

На этом уменье — взять вовремя и сколько можно — основан весь расчет мироеда-аборигена. «Гольтепа» мирская знает это и не скрывает от себя, что от помещика она попала в крепость мироеду. Но процесс этого перехода произошел так незаметно и естественно и отношения, которые из него вытекли, так чужды насильственности, что приходится только подчиниться им. И действительно, «гольтепа» подчинилась, и не только в силу тяготеющего над ней рока, но и не без некоторой доли сознательности. Она понимает, что к ней присосалось нечто чужеядное, благодаря которому она постепенно опускается все глубже и глубже, но не чувствует тисков, не нащупывает дна. Существуя лишь в качестве живого рабочего инвентаря, она только то и имеет, что в обрез необходимо для поддержания этого инвентаря в надлежащей исправности.

Что касается до сельскохозяйственных оборотов мироеда-аборигена, то он ведет свое полеводство тем же порядком, как и «хозяйственный мужичок». Он любит и холит землю, как настоящий крестьянин, но уже не работает ее сам, а предпочитает пользоваться дешевым или даровым трудом кабальной «гольтепы». Сколько находится у него в распоряжении этого труда, столько берет он и земли. Он не гонится за большими сельскохозяйственными предприятиями, ибо знает, что сила его не тут, а в той неприступной крепости, которую он создал себе благодаря кабаку и торговым оборотам. Так что все его требования относительно земли, как надельной, так и арен-

дуемой, ограничиваются тем, чтоб результаты ее производительности доставались ему даром, составляли чистую прибыль.

Кроме мироеда-аборигена, в деревнях нередко встречается мироед наезжий. Последний является на место уже вполне свободным от тех сложных соображений, которые от времени до времени волнуют мироеда-аборигена. Он, собственно говоря, человек выморочный. Не будучи членом общины, он не чувствует себя связанным ни с ее интересами, ни с ее людом. В его глазах община есть объект для эксплуатации — и ничего больше. Он берет с этого объекта все, что может, берет нагло, ни перед чем не задумываясь и зная, что сегодня он тут, а завтра — в ином месте. Быть может, он присасывается не так солидно, как местный абориген, но зато все его прижимки наглядны, бесстыдны и ненавистны. Мироед-абориген возбуждает страх; мироед наезжий — ненависть. Он сам это отлично понимает и потому находится в вечном трепете красного петуха.

Наезжий мироед — разночинец; это или бывший дворовый человек, или мещанин из соседнего города, соблазнившийся барышами, которые сулила сивушная реформа, или, наконец, оставшийся без места, по случаю реформ, чиновник. Иногда (впрочем, как редкое исключение) мироедом является и сам бывший помещик.

Бывший дворовый человек непременно возлежал на лоне у своего помещика. То есть служил камердинером, выполнял негласные поручения, подлаживался к барским привычкам, изучал барские вкусы и вообще пользовался доверием настолько, что имел право обшаривать барские карманы и входить, в отсутствие барина, в комнату, где находился незапертый ящик с деньгами. Он воровал господские сигары и потчевал ими друзей, ел с господского стола, ходил в гости в господском платье и вообще получил вкус к барской жизни. Друзья барина величали его по имени и по отчеству; некоторые занимали у него деньги и жали ему руку.

Ежели барин вел картежную игру, то камердинеру представлялась доходная статья настолько значительная, что устраняла всякие подозрения относительно его честности. При картах — вино, бутылки несчитанные; навертываются счастливые игроки, которым и сто рублей выбросить на водку расторопному лакею ничего не стоит. Правда, что он ночей не спал, ног под собой не слышал, но зато у него скопился настолько значительный капитал, что он,

уже при первом слухе о предстоящей эмансипации, начал тосковать о самостоятельности. И когда роковой час наступил, то он, дав барину время разделаться с крестьянами, в самый день получения выкупной ссуды бросил его на произвол судьбы.

— Наворовал довольно? — внезапно прозрел барин.

— Послужил — и будет,— отвечал скромно вчерашний доверенный слуга.

И что же! несмотря на прозрение, барина сейчас же начала угнетать тоска: «Куда я теперь денусь? Все был Иван Фомич — и вдруг его нет! все у него на руках было; все он знал, и подать и принять; знал привычки каждого гостя, чем кому угодить,— когда все это опять наладится?» И долго тосковал барин, долго пересчитывал оставшуюся после Ивана Фомича посуду, белье, вспоминал о каких-то исчезнувших пиджаках, галстуках, жилетах; но наконец махнул рукой и зажил по-старому.

Между тем Иван Фомич уж облюбовал себе местечко в деревенском поселке. Ах, хорошо местечко! В самой середке деревни, на берегу обрыва, на дне которого пробился ключ! Кстати, тут оказалась и упалая изба. Владелец ее, зажиточный легковой извозчик, вслед за объявлением воли, собрал семейство, заколотил окна избы досками и совсем переселился в Москву.

Иван Фомич выставил миру два ведра и получил приговор; затем сошелся задешево с хозяином упалой избы и открыл «постоялый двор», пристроив сбоку небольшой флигелек под лавочку. Не приняв еще окончательного решения насчет своего будущего,— в голове его мелькал город с его шумом, суетою и соблазнами,— он устроил себе в деревне лишь временное гнездо, которое, однако ж, было вполне достаточно для начатия атаки. И он повел эту атаку быстро, нагло и горячо.

В сельскохозяйственном смысле действия Ивана Фомича имеют тот же временный характер. Он охотно снимает в краткосрочную аренду земельные участки, в особенности запущенные старые пашни, поросшие мелким лесом; поросль выжжет, землю распашет «за благодарность», снимет хлеб-другой, ограбит землю и уйдет. Еще охотнее он занимается лесным делом. Купит лесочек под вырубку, срубит всё до последней годовалой березки, а голое место отдаст в кортому под пастьбу скота. Так что, когда, по окончании арендного срока, вырубка возвратится к владельцу, то пос-

ледний может быть уверен, что тут уж никогда даже осинка не вырастет.

И благо Ивану Фомичу, что он устраивается в деревне лишь временно. Деревенский постоялый двор для него только школа, в которой он приобретает знания и навык, необходимые для грабительства в более широких размерах. Но, кроме того, годы, проведенные в деревне, полезны и в том отношении, что они дают время забыть его лакейское прошлое. В сущности, он ни на минуту не спускает глаз с Петербурга и уже видит себя настоящим торговцем, владельцем, на первое время, хоть табачного магазина. И кто знает, что ему сулит будущее? Быть может, он будет членом общественного управления, членом санитарной комиссии, водопроводной субкомиссии и проч.— вообще, необходимою спицей в колеснице. Может быть, на груди его будет блистать медаль, а может быть...

. . . .

О прочих наезжих мироедах распространяться я не буду. Они ведут свое дело с тою же наглостью и горячностью, как и Иван Фомич,— только размах у них не так широк и перспективы у́же. И чиновник и мещанин навсегда завекуют в деревне, без малейшей надежды попасть в члены субкомиссии для вывозки из города нечистот.

Подобно хозяйственному мужику, сельскому священнику и помещику, мироед всю жизнь колотится около крох, не чувствуя под ногами иной почвы и не усматривая впереди ничего, кроме крох. Всех одинаково обступили мелочи, все одинаково в них одних видят обеспечение против угроз завтрашнего дня. Но поэтому-то именно мелочи, на общепринятом языке, и называются «делом», а все остальное — мечтанием, угрозою...

СЕРЕЖА РОСТОКИН

Русскому читателю достаточно известно значение слова «шалопай». Это — человек, всем существом своим преданный праздности; это — идол портных, содержателей ресторанов и кокоток, покуда не запутается в неоплатных долгах. Предвидя неминучее банкротство и долговую тюрьму, он нередко делается вором, составителем фальшивых документов и является действующим лицом в крупных уголовных процессах. Но иногда благополучно ускользает от скандала, исчезая куда-нибудь в деревню на приятельские хлеба. Процветает он исключительно в больших городах.

Так, впрочем, было в сравнительно недавнее время, когда шалопай был только бесполезен и оскорблял нравственное чувство единственно своею ненужностью. Без думы, не умея различить добра от зла, не понимая уроков прошлого и не имея цели в будущем, он жил со дня на день, веселый, праздный и счастливый своею невежественностью. Просыпался утром поздно и посвистывал; сидел битый час или два за туалетом, чистил ногти, холил щеки, вертелся перед зеркалом, не решаясь, какой надеть жилет, галстух, и опять посвистывал. В два часа садился в собственную эгоистку и ехал завтракать к Дюсо; там встречался со стаею таких же шалопаев и условливался насчет остального дня; в четыре часа выходил на Невский, улыбался проезжавшим мимо кокоткам и жал руки знакомым; в шесть часов обедал у того же неизменного Дюсо, а в праздники — у ma tante;[1] вечер проводил в балете, а оттуда, купно с прочими шалопаями, закатывался на долгое ночное бдение туда же, к Дюсо. Говорил мало, мыслил еще меньше, ибо был человек телодвижений по преимуществу.

Так протекала эта бездумная жизнь со дня выхода из «заведения» вплоть до седых волос. Надевши седые волосы, шалопай впервые задумывался. Он еще продолжал гулять в урочный час по Невскому, распахнув на груди пальто в трескучий мороз, но уже начинал чувствовать некоторые телесные изъяны. То ногу волочить приходится, то лопатка заноет, да и руки начинают трястись (стакан с вином

[1] тетушки *(фр.)*.

рискует расплескать, покуда донесет до рта). Кроме того, вследствие усиленных настояний содержателей ресторанов, портных и проч., ему пришлось рассчитаться. Кое-что ему простили, но все-таки вышла сумма настолько изрядная, что он и сам не подозревал. Рассчитавшись, он увидел себя в обладании такой скромной фортуны, что продолжать жить по-прежнему оказывалось немыслимым. Но, раз попавши в праздничную колею, он уже не имел возможности сойти с нее, даже если бы хотел. Он не знал ничего другого; ни ум, ни чувство, ни воображение — ничто не говорило ему об иной жизни. Тогда он или делался героем уголовных процессов, или же из шалопая деятельного постепенно превращался в скромного pique assiett'a[1]. Пристраивался к кружку только что вылупившихся шалопаев и менторствовал в нем. Пил и ел на счет молодых людей, рассказывал до цинизма отвратительные анекдоты, пел поганые песни, паясничал; словом сказать, проделывал все гнусности, которые радуют и заставляют заливаться неистовым хохотом жеребячьи сердца. Наконец, наступало еще более трудное время. Его щелкали в нос, мазали по лицу селедкой, заставляли брать в рот сигару зажженным концом, выпивать подлую смесь опивков и проч. И хохотали при этом, хохотали до слез. Затем, что дальше, то труднее и труднее. Он уже не смел войти в ту комнату, где раздавался хохот его неблагодарных учеников, и скромно становился у буфета, где татарин-буфетчик, из жалости, наливал ему рюмку водки и давал бутерброд *задаром*. Постоявши в буфете, он, по привычке, отправлялся на Невский и подолгу застаивался перед витринами братьев Елисеевых, любуясь выставкой гастрономических новинок. Желудок страстно ныл, зубы машинально жевали; наконец он не выдерживал, нащупывал в кармане рублевку и покупал четверть фунта икры. Это был его обед. Измаявшись и измучившись, он как-то внезапно совсем исчезал. В одно прекрасное утро в газетах появлялся его некролог:

«На днях умер Иван Иваныч Обносков, известный в нашем светском обществе как милый и неистощимый собеседник. До конца жизни он сохранил веселость и добродушный юмор, который нередко, впрочем, заставлял призадумываться. Никто и не подозревал, что ему уж семьдесят лет, до такой степени все привыкли видеть его в урочный час на Невском проспекте бодрым и приветливым.

---

[1] прихлебателя *(фр.)*.

Еще накануне его там видели. Мир праху твоему, незлобивый старик!»

Таков был шалопай недавнего прошлого; таким же остался он и теперь, ежели взглянуть на него исключительно со стороны его внутреннего ничтожества. То же празднолюбие, та же бездумность, то же бесцельное прожигание жизни в чаду ресторанов, в плену у портных и кокоток. Но к этому прибавилась одна черта, которая делает его не только нравственно-оголтелым, но и вредным. Он заразился честолюбием и пытается проникнуть в тайны внутренней политики, которая, таким образом, делается одним из видов высшего шалопайства. Mon oncle и ma tante[1] успели его убедить, что нынче такие люди нужны, и он охотно поверил им. Он шляется уже не по одним ресторанам, но заглядывает и в канцелярии и предлагает свои услуги. Иногда даже, в самом разгаре оргии, он задумывается и начинает бормотать что-то гневное. Он недоволен, он утверждает, que tout est à refaire[2], и инстинктивно грозит пальцем в пространство. Спросите его: кто тебя, дурашка? кому ты грозишь? — он, наверное, повторит ту же стереотипную фразу: tout est à refaire. Он слышал, что эта фраза в ходу на жизненном рынке, что она сама по себе представляет залог, и чувствует себя взбудораженным ею, ждет, что она даст ему нечто в будущем. Mon oncle и ma tante, с своей стороны, ходатайствуют. И очень часто, с их помощью, а также при содействии других, уже успевших заручиться, шалопаев, он обретает желаемое сокровище, так что старость не застает его врасплох, как шалопая прежних времен.

Таков именно герой настоящего этюда, Сережа Ростокин.

Он, так сказать, шалопай высшей школы. Ему не больше двадцати пяти лет, и еще памятна скамья «заведения», в котором он воспитывался и обучался кратким наукам. Он имеет хорошие материальные средства, живет в удобной квартире, держит собственный экипаж, ходит в безукоризненном белье и одевается у лучшего портного. Всегда душистый, свежий и бодрый, он приводит в умиление кокоток, к вящей зависти дамочек и девиц, посещающих салоны mon oncle и ma tante. Последние возлагают на него большие надежды (они бездетны, и имение их должно

---

[1] дядюшка и тетушка (*фр.*).

[2] что все надо переделать (*фр.*).

перейти Сереже) и исподволь подыскивают ему приличную партию; но он покуда еще уклоняется от брачных оков. Вообще он появляется в салонах лишь мельком и предпочитает проводить время в ресторанах, в обществе кокоток, у которых и телодвижения свободнее, и всегда отыщется на языке le mot pour rire[1].

Заглянемте утром в его квартиру. Это очень уютное гнездышко, которое француз-лакей Шарль содержит в величайшей опрятности. Это для него тем легче, что хозяина почти целый день нет дома, и, стало быть, обязанности его не идут дальше утра и возобновляются только к ночи. Остальное время он свободен и шалопайничает не плоше самого Ростокина.

До десяти часов в квартире царствует тишина. Шарль пьет кофе и перемигивается через двор с мастерицами швейного магазина. Но в то же время он чутко прислушивается.

Бьет половина одиннадцатого; Шарль осторожно стучится в дверь Сережиной спальни. Слышится позевыванье, потягиванье, и наконец раздается громкое: entrez![2] Начинается туалет...

Я не буду описывать подробностей и тайн этого сложного процесса: не имею для этого ни достаточных данных, ни надлежащего искусства. В спальне раздается то посвистыванье, то тихое мурлыканье — это Сережа вспоминает виденное и слышанное накануне. Он сидит перед зеркалом, препарирует себя и улыбается. Именно только улыбается, улыбается безотносительно, без всякой мысли. В голове его пробегают какие-то обрывки, без связи и последовательности, так что, в сущности, он, если можно так выразиться, не сознает себя сущим. Хорошо ему — вот и всё. Он, слава богу, проснулся, и впереди его ждет совсем белый день, без точек, без пестрины, одним словом, день, в который, как и вчера, *ничего не может случиться*. А ежели и предстоит какая-нибудь особенность, вроде, например, привоза свежих устриц и заранее данного обещания собраться у Одинцова, то и эта неголоволомная подробность уже зараньше занесена им в carnet[3], так что сто́ит только заглянуть туда — и весь день как на ладони. Во всяком случае, думать ему нет надобности, а можно только улыбаться. Улы-

---

[1] забавное словечко *(фр.)*.
[2] войдите! *(фр.)*
[3] записную книжку *(фр.)*.

бается он и без повода, просто самому себе, и случайно припоминая какую-нибудь легонькую проказу, в которой он был действующим лицом. Покуда он улыбается и препарирует себя, Шарль летает как муха, приготовляя кофе и легкий завтрак и раскладывая по стульям столовой несколько пар платья для выбора.

Подкрепившись и решив вопрос о панталонах, галстухе и проч., Сережа начинает одеваться. Опять посвистыванье, опять улыбки и опять ни одной мысли. Время летит незаметно среди колебаний и переговоров с Шарлем, раздается облегчительное: «Enfin, me voici en règle!»[1] — и великий процесс одеванья кончен. Часы показывают два; Сережа надевает шляпу, натягивает перчатки и в последний раз останавливается перед зеркалом. Тут он осматривает себя с ног до головы, сзади, с боков, и, довольный собой, выходит на крыльцо, где уж его ожидает экипаж. Он едет... куда?

Старозаветный шалопай ответил бы на этот вопрос: «Мой кучер уж знает»,— и приехал бы прямо к Дюсо. Сережа отступил от завещанного предания и прежде всего отправляется... в канцелярию! Здесь он справляется у швейцара: «Петр Николаич приехал?» — и, выслушав ответ: «Сейчас приедут, курьер уж привез портфель»,— направляет шаги в помещение, где ютятся чиновники. Накурено, насорено, а по местам и наплевано. Но Сережа не формализируется этим; он понимает, что находится здесь не для того, чтоб рвать цветы удовольствия, а потому, что обязан исполнить свой «долг» (un devoir à remplir). Канцелярские чиновники сидят по местам и скребут перьями; среднее чиновничество, вроде столоначальников и их помощников, расселось где попало верхом на стульях, курит папиросы, рассказывает ходящие в городе слухи и вообще занимается празднословием; начальники отделений — читают газеты или поглядывают то на дверь, то на лежащие перед ними папки с бумагами, в ожидании Петра Николаича.

— Скоро ли же вы с этим безобразием покончите? — спрашивает Сережа, поочередно пожимая руки начальникам отделений,— эти суды, это земство, эта печать... ах, господа, господа!

— Прытки вы очень! У нас-то уж давно написано и готово, да первый же Петр Николаич по полугоду в наши

[1] Ну, вот я и готов! *(фр.)*

проекты не заглядывает. А там найдутся и другие рассматриватели... целая ведь лестница впереди! А напомнишь Петру Николаичу — он отвечает: «Момент, любезный друг, не такой! надо момент уловить,— тогда у нас разом все проекты как по маслу пройдут!»

— Да; но согласитесь, что ждать ужасно! Все кругом рушится, tout est à refaire,— а тут момент уловить не могут!

— Э! проживем как-нибудь. Может быть, и совсем момента не изловим, и все-таки проживем. Ведь еще бабушка надвое сказала, что лучше. По крайней мере, то, что есть, уж известно... А тут пойдут ломки да переделки, одних вопросов не оберешься... Вы думаете, нам сладки вопросы-то?

Собеседник меланхолически посматривает в окно, как бы не желая продолжать разговора о материи, набившей ему оскомину. Вся его фигура выражает одну мысль: наплевать! я, что приказано, сделал,— а там хоть черт родись... надоело!

Но Сережа совсем не того мнения. Он продолжает утверждать, que tout est à refaire и что настоящее положение вещей невыносимо. Картавя и рисуясь, он бормочет слова: «суды, земство... и эта шутовская печать!.. ах, господа, господа!» Он, видимо, всем надоел в канцелярии; но так как никто не говорит этого ему в глаза, то он остается при убеждении, что исполняет свой долг, и продолжает надоедать.

Наконец в соседней комнате раздается передвиганье стульев и слышатся торопливые шаги. Это спешит сам Петр Николаич, предшествуемый курьером.

Сережа обдергивается, приосанивается и приказывает доложить о себе.

— Ах, шут гороховый! опять задержит! — ропщут начальники отделений.

В кабинете между тем происходит сцена.

— Pierre! да когда же вы кончите с этим безобразием? — пристает Сережа,— все рушится, все страдает, tout est à refaire, а вы пальца о палец не хотите ударить!

Петр Николаич глубокомысленно почесывает нос.

— Момент еще не пришел,— отвечал он,— ты слишком нетерпелив, душа моя. Когда наступит момент,— поверь,— он застанет нас во всеоружии, и тогда всякая штука проскочит у нас comme bonjour![1] Но покуда мы только боремся

[1] без сучка и задоринки! *(фр.)*

с противоположными течениями и подготовляем почву. Ведь и это недешево нам обходится.

— Но когда же? когда? — сгорает нетерпением Сережа,— мне из деревни пишут... mais c'est horrible ce qui s'y passe![1]

— Это же самое мне вчера графиня Крымцева говорила. И всех вас, добрых и преданных, приходится успокоивать! Разумеется, я так и сделал.— Графиня! — сказал я ей,— поверьте, что, когда наступит момент, мы будем готовы! И что же, ты думаешь, она мне на это ответила: «А у меня между тем хлеб в поле не убран!» Я так и развел руками!

И Петр Николаич показывает на деле, как он развел руками.

— Сентябрь уж на дворе, а у нее хлеб еще в поле... понимаешь ли ты это? Приходится, однако же, мириться и не с такими безобразиями, но зато... Ах, душа моя! у нас и без того дела до зарезу,— печально продолжает он,— не надо затруднять наш путь преждевременными сетованиями! Хоть вы-то, видящие нас в самом сердце дела, пожалейте нас! Успокойся же! всё в свое время придет, и когда наступит момент, мы не пропустим его. Когда-нибудь мы с тобою переговорим об этом серьезно, а теперь... скажи, куда ты отсюда?

— К Одинцову; свежие устрицы привезли.

— Ах, как я тебе завидую, и тебе, и всем вам, благородным и преданным... но только немножко нетерпеливым!.. С каким бы удовольствием я сопровождал тебя, и вот... Долг приковал меня здесь, и до шести часов я нахожусь в плену... Ты думаешь, мне дешево достается мое возвышенье?

— О!!

— Да, не сладко мне, не на розах я сплю. Но до свидания. Меня ждут. Ах, устрицы, устрицы! Кстати: вчера меня о тебе спрашивали, и может быть... Enfin, qui vivra verra[2].

— Я не спешу, но, конечно, не прочь пристроиться.

— И не спеши; мы за тебя поспешим. Нам люди нужны; и не простые канцелярские исполнители, а люди с искрой, с убеждением. До свидания, душа моя!

Раздается звонок и приказание: «Попросите Егора Иваныча!»

---

[1] ужас, что там творится! (*фр.*)

[2] Впрочем, поживем — увидим (*фр.*).

Сережа почтительно удаляется.

Покуда он еще не имеет определенной должности; он просто «состоит». Не начинать же ему карьеру с помощника столоначальника... Фуй! не для того он кратким наукам обучен, чтобы «корпеть»; он прямо «метит». Родители не раз заманивали его в родной город, обещая предводительство, но он и тут не соблазнился, хотя быть двадцати пяти лет предводителем очень недурно, да и шансы на будущую карьеру несомненны. Это он хорошо понимает; но ему еще жаль Петербурга с его ресторанами, закусочными и кокотками. В нем еще слишком живо говорит молодая кровь, чтоб решиться, хоть на время, закупорить себя в захолустье. Он боится обрюзгнуть, растолстеть, разлениться. Нет, он лучше здесь подождет, на глазах у однокашников — это хоть и медленнее, но вернее. Кстати, его взял под свое руководство Петр Николаич Лопаснин, который не далее как три года тому назад разыгрывал такую же роль, как и Сережа, а теперь по целым годам проекты под сукном держит и все момента ждет. Мудреного нет, что и Сережа... ведь он малый с «искрой»! Вдруг понадобятся «люди», а он и тут как тут! В голове у него, правда, настолько смутно, что никакого, даже вредного, проекта он не сочинит; но на это есть дельцы, есть приказная челядь, а его дело — руководить. Он знает, что tout est à recommencer[1] — и будет с него. Но что всего замечательнее — не только «с него будет», но и с тех, которые слушают его пустопорожнее бормотанье. И mon oncle, и ma tante, и Петр Николаич — все от него в восхищении, всем он угодил своею невозмутимостью и благородным образом мыслей.

Я не поведу читателя ни к Одинцову, ни на Невский, где он гуляет entre chien et loup[2], ради обострения аппетита и встречи с бесчисленными шалопаями, ни даже к Борелю, где он обедает в веселой компании. Везде слышатся одни и те же неосмысленные речи, везде производятся одни и те же паскудные телодвижения. И все это, вместе взятое, составляет то, что у порядочных людей известно под выражением: «отдавать дань молодости».

— Ничего, мой друг, веселись! это свойственно молодости,— поощряет Сережу mon oncle,— еще будет время остепениться... Когда я был молод, то княгиня Любинская

---

[1] все надо начать сначала *(фр.)*.
[2] в сумерки *(фр.)*.

называла меня le démon de la nuit...[1] Не спалось и мне тогда ночи напролет; зато теперь крепко спится.

Вечер заканчивается, по преимуществу, в балете или у французов; а потом опять к Борелю, где ждет ужин, который длится до двух или трех часов ночи. Но к этому времени Сережа уж непременно дома, в своем гнездышке, и торопливо делает ночной туалет. Нередко он даже негодует на себя за слишком поздний сон, потому что боится потерять свои краски и бодрый вид. Но что прикажете делать? à la guerre comme à la guerre![2] — приходится урвать час-другой от сна, чтоб не огорчить друзей. Все они сплелись между собой, все дали слово поддерживать друг друга,— стало быть, надо идти рука в руку, покуда хватит сил...

А назавтра опять *белый* день, с новым повторением тех же подробностей и того же празднословия. И это не надоедает... напротив! Встречаешься с этим днем, точно с старым другом, с которым всегда есть о чем поговорить, или как с насиженным местом, где знаешь наверное, куда идти, и где всякая мелочь говорит о каком-нибудь приятном воспоминании.

Приближаясь к тридцати годам, Сережа мало-помалу остепеняется. Он по-прежнему остается шалопаем, по-прежнему твердит неосмысленные слова, но уже выжидает момента. Не знаю, вполне ли он самостоятельно действует, или только еще приобщен, в виде компаньона, но, во всяком случае, уже близок к самостоятельности. Он бесповоротно решил, que tout est à recommencer, и стоит на страже во всеоружии. Mais, au nom de Dieu[3], не торопитесь, господа! Не осложняйте преждевременною рьяностью нашего, и без того нелегкого, труда! Все придет в свое время — ручательством служит вот эта куча проектов, которая лежит у него на столе. Изредка, на досуге, он перечитывает то один, то другой проект и от времени до времени глубокомысленно восклицает:

— C'est ça![4] Именно то самое, что я хотел сказать!

Из провинции чуть не каждый день наезжают всевозможных сортов добровольцы, смотрят ему в глаза и любопытствуют:

— Сергей Семеныч! да когда же вы наконец приступите?

---

[1] ночным демоном... (*фр.*)
[2] на войне, как на войне! (*фр.*)
[3] Но, ради бога (*фр.*).
[4] Вот именно! (*фр.*)

И он, подобно своему ментору и другу, спешит успокоить нетерпеливцев:

— Мы готовы, мы ждем только сигнала,— говорит он,— но прежде всего необходимо уловить благоприятный момент. Коль скоро момент будет *благо*приятен — и все совершится *благо*приятно; а ежели мы начнем в *не*благоприятный момент, то и все остальное совершится *не*благоприятно. Ведь вы этого не желаете, господа?

— Помилуйте! зачем же?

— И я тоже не желаю, а потому и стою, покамест, во всеоружии. Следовательно, возвращайтесь каждый к своим обязанностям, исполняйте ваш долг и будьте терпеливы. Tout est à refaire — вот девиз нашего времени и всех людей порядка; но задача так обширна и обставлена такими трудностями, что нельзя думать о выполнении ее, покуда не наступит момент. Момент — это сила, это conditio sine qua non[1]. Правду ли я говорю?

— Что правда, то правда. Хоть и горько, а приходится согласиться.

— Вам горько, а нам, вы полагаете, легче? В одном месте хлеб не убран, в другом — не засеян; там молотьба прекратилась, тут льют дожди, хлеб гниет на корню — разве это приятно? Со страхом спрашиваешь себя: куда мы, наконец, идем? какой получится в результате баланс? И таким образом каждый день. Каждый день мы слышим эти ламентации — и все-таки ждем! Ждите же и вы, господа! и будьте уверены, что здесь заботятся не только о вас, но и обо всех вообще... И об тех, которые пострадали, и об тех, которым угрожает страдание в будущем... Мы и об мужичках думаем... Да! Nous sommes nulle part et partout[2] — вот сколько у нас забот! Прощайте, господа!

И длится эта изнурительная канитель целыми годами и находит доступ в публику то при помощи уличных слухов, то при посредстве газетных известий. У Подхалимова дыханье в зобу сперло от внутреннего ликованья; он со всеми курьерами передружился, лишь бы подслушивали у дверей и сообщали ему самые свежие новости.

Слухи эти, в существе своем, настолько нелепы, что можно было бы и не упоминать о них, тем более что большинство так и остается на степени слухов. Но, к сожалению, мы так приучены к нелепостям, до такой степени

[1] необходимое условие (*лат.*).
[2] Мы нигде и везде (*фр.*).

они всосались в нас, что мы принимаем всякую нескладицу за чистую монету и приходим в волнение по ее поводу. Добровольцы разъезжаются по своим местам и там грозят: погодите! вот ужо́! И всё притихает перед этим «ужо́»; деятельность, и без того не чересчур яркая, окончательно вялеет; зачатки жизни превращаются в умирание. Точно на другой день ожидается светопреставление.

Разумеется, Сережа ничего этого не знает, да и знать ему, признаться, не нужно. Да и вообще ничего ему не нужно, ровно ничего. Никакой интерес его не тревожит, потому что он даже не понимает значения слова «интерес»; никакой истины он не ищет, потому что с самого дня выхода из школы не слыхал даже, чтоб кто-нибудь произнес при нем это слово. Разве у Бореля и у Донона говорят об истине? Разве в «Кипрской красавице» или в «Дочери фараона» идет речь об убеждениях, о честности, о любви к родной стране?

Никогда!

Между тридцатью пятью годами и сорока Сережа начинает склонять слух к увещаниям mon oncle и ma tante. Давно уже они отыскивают ему подходящую партию, давно убеждают устроиться собственным гнездышком, но до сих пор Сережа отстаивает свою независимость и свободу.

— La libertè et l'indèpendance — je ne connais que ca![1] — говорит он в ответ на родственные увещания, и старики грустно покачивали головами и уж почти отчаялись когда-нибудь видеть милого Serdè'а во главе семейства.

Однако ж теперь он начинает понимать, что роковой момент недалеко. Он уже отрастил брюшко, на голове у него появились подозрительные взлизы; он сделался как будто вялее в своих движениях, и его все более и более тянет... домой! Приедет в свое гнездышко, рассчитывая отдохнуть и помечтать... так, ни об чем! А там — Шарль угощает свою белошвейку сладкими пирожками из соседней булочной. Скрепя сердце, он опять едет к Донону, но уже без прежнего внутреннего ликования, которое заставляло, при входе его, улыбаться во весь рот дононовских татар.

Вообще становится скучно; только и отводишь душу с Петром Николаичем в умной беседе: que tout est à recommen-

---

[1] Свобода и независимость — ничего, кроме этого! *(фр.)*

сег и что вчера уж думали, что момент наступил, а сегодня опять...

Наконец выдается очень солидная партия. Именно как раз по нем.

Она — дочь «сведущего человека» и премилая особа. Красива, стройна, говорит отлично по-французски, знает un peu d'arithmétique, un peu de géographie et un peu de mythologie[1] (чуточку!), изрядно играет на фортепиано и умеет держать себя в обществе. Сверх того, она богата. За нею три тысячи десятин земли в одной из черноземных губерний, прекрасная усадьба и сахарный завод, не говоря уже о надеждах в будущем (еще сахарный завод), потому что она — единственная дочь и наследница у своих родителей. Но этого мало: у нее есть дядя, старый холостяк, и ежели он не женится — куда ему, старику! — то и его именье (третий сахарный завод) со временем перейдет к ней. Отец ее, Иван Петрович Грифков, приехал в Петербург, в качестве сведущего человека, и ездит на совещания в какую-то субкомиссию, в которой деятельно ведутся переговоры об упразднении. Сережа уже познакомился с ним и даже близко сошелся, потому что оба они того мнения, que tout est à refaire, и оба с нетерпением ждут момента.

— Не упускай этого случая, мой друг! — твердит ему ma tante.— Таких завидных партий нынче в целой России немного сыщешь!

— Подумаем, ma tante, подумаем! — отвечает он, улыбаясь и покручивая усики, которые у него всегда в порядке: не очень длинны и не очень коротки.

— У тебя будет свой собственный сахарный завод, да у нее в перспективе три,— продолжает mon oncle,— у тебя отличная усадьба, да у нее три... Ежели у вас даже четверо детей будет — вот уж каждому по усадьбе готово.

— Ну, зачем четверо! с нас будет довольно и двоих! Баран да ярочка — красная парочка! — шутит Сережа.

— Ну, там видно будет; Христос с тобой, начинай!

В сущности, он уже решился. Он уже намекнул отцу молодой особы, да и ей самой, о своих намерениях. Ей он открылся во время мазурки. Она ничего положительного ему не сказала, а только загадочно спросила:

— Вы можете любить?

---

[1] кое-что из арифметики, кое-что из географии и кое-что из мифологии (*фр.*).

— О! — начал было он, но в это время одна из танцующих дам подвела ей двух кавалеров:

— Гиацинт или рододендрон?

— Гиацинт,— ответила она и умчалась скользить по паркету.

Через три месяца, на Красную горку, была их свадьба. Они поселились на Сергиевский в таком гнездышке, что и родители, и тетеньки с дяденьками не могли достаточно налюбоваться на них. Под венцом она была удивительно мила; вся в белом, с белым венком на голове, она походила на беломраморную статую, сошедшую с пьедестала, чтобы обойти заветное число раз кругом аналоя. Он тоже был как раз под пару, и нашептывал ей, во время обряда, страстные слова. Но она не смущалась этими словами и смотрела как-то чересчур уж светло и самоуверенно вперед.

На коврик она ступила первая.

Целый месяц после свадьбы они ездили с визитами и принимали у себя, в своем гнездышке. Потом уехали в усадьбу *к ней*, и там началась настоящая poème d'amour[1]. Но даже в деревне, среди изъявлений любви, они успевали повеселиться; ездили по соседям, приглашали к себе, устраивали охоты, пикники, кавалькады. Словом сказать, не видали, как пролетело время и настала минута возвратиться из деревенского гнездышка в петербургское.

Через полгода он уже занимает хороший пост и пишет циркуляры, в которых напоминает, истолковывает свою мысль и побуждает. В то же время он — член английского клуба, который и посещает почти каждый вечер. Ведет среднюю игру, по преимуществу же беседует с наезжими добровольцами о том, que tout est à recommencer, но момент еще не наступил.

— Будьте терпеливы, господа! — убеждает он своих единомышленников,— когда наступит момент, он найдет нас во всеоружии; вы думаете, нам сладко — ах! только грудь да подоплёка знают, чего нам сто́ят эти проволо́чки! Однако ж мы ждем,— ждите и вы!

К Борелю он заезжает лишь изредка, чтоб мельком полюбоваться на эту бодрую и сильную молодежь, которая, даже среди винных паров, табачного дыма и кокоток, не забывает, que tout est à refaire. Нечего и говорить, что его принимают — и татары, и молодые люди — как дорогого и желанного гостя.

[1] поэма любви (*фр.*).

С своей стороны, Ирина Ивановна принимает по вечерам в своей гостиной. Хотя муж очень редко бывает дома, но ей живется не скучно. Навещают ее салон большею частью люди с весом, пожилые, но бывают и молодые люди. Она пополнела, сделалась вполне самостоятельною и ведет себя с большим апломбом, так что опасаться за нее нечего. Под конец вечера Сережа заезжает на минутку домой, беседует с наиболее влиятельными гостями на тему que tout est à refaire, и когда старички уезжают, он опять исчезает в клуб, оставляя жену коротать остатки вечера в обществе молодых людей.

К весне она собирается родить. Будет ли у них красная парочка, баран да ярочка, как предсказывал себе сам Сережа, или число детей увеличится до четырех — каждому по усадьбе и по сахарному заводу — это покажет будущее.

Вообще жизнь его устроилась, попала в окончательную колею, из которой уже не выйдет. Ни тревог, ни волнений, ничего впереди, кроме неосмысленной фразы: que tout est à recommencer.

В свое время он умрет, и прах его с надлежащею помпой отвезут сначала на варшавский вокзал, а потом в родовое имение, где похоронены останки его предков. А на другой день в газетах появится его некролог:

«Вчера скончался Сергей Семенович Росто́кин, один из самых ревностных реформаторов последнего времени. Еще накануне он беседовал с друзьями об одном проекте, который составлял предмет его постоянных забот, и в этой беседе, внезапно, на порвавшемся слове, застигла его смерть... Мир праху твоему, честный труженик!»

ЕВГЕНИЙ ЛЮБЕРЦЕВ

Он — товарищ Сережи Ростокина по школе, но какая разница! Сережа учился более нежели плохо и слыл между товарищами глупеньким; Люберцев учился отлично (вышел с золотою медалью) и уже на школьной скамье выглядывал мужем совета.

— Oh, celui-là ne manquera pas sa carrière![1] — говорил про него француз-воспитатель, ласково держа его за подбородок и проницательно вглядываясь ему в глаза.

А русский воспитатель прибавлял:

— Со временем бразды правления в руках держать будет. И не без пользы для себя... и для других.

Евгений Филиппыч был сын чиновника из второстепенных, но пользовавшегося отличною репутациею. Филипп Андреич занимал не блестящий, но довольно солидный пост, на котором надеялся и покончить свою служебную карьеру. Многое от него зависело, хотя он скромно об этом умалчивал. Никогда он не метил высоко, держался средней линии и паче всего заботился о том, чтоб начальнику даже в голову не пришло, что он, честный и старый служака Люберцев, кому-нибудь ножку подставить хочет. Зато все его любили, все обращались к нему с доверием, дружелюбно жали ему руку, как равному, и никогда не отказывали в маленьких послугах, вроде определения детей на казенный счет, выдачи пособия на случай поездки куда-нибудь на воды и проч. Одним словом, Евгений Филиппыч принадлежал к одной из тех солидных чиновничьих семей, которые считают в прошлом несколько поколений начальников отделения и одного вице-директора (Филипп Андреич).

Евгений любил отца, видел его трудовую жизнь, сочувствовал ей и готовился идти по родительским стопам. Сходство между ними было поразительное во всех отношениях. По наружному виду он был такого же высокого роста, так же плотен и расположен к дебелости, как и отец. В нравственном отношении оба выросли в понятиях «долга», оба знали цену «послушанию», оба были трудолюбивы, толковиты и прямо отыскивали суть дела. Но существовала

---

[1] О, этот не промахнется, сделает карьеру! *(фр.)*

и разница: отец был человек себе на уме, а сын был тоже себе на уме, но, кроме того, и с «искрой». Впрочем, это последнее качество проявилось в нем как результат новых веяний.

Вышедши из школы, Люберцев поселился не вместе с родным семейством, а на отдельной квартире, и отец вполне согласился, что он поступает правильно. Старик жил старозаветною жизнью и понимал, что сыну нужна совсем другая обстановка. Нужны товарищи, более или менее шумные собеседования, а по временам и сосредоточенность, которую не могла бы нарушить семейная сутолока. Словом сказать, нужно молодому человеку развязать руки, доставить самостоятельность. А семьи он не позабудет; он слишком солиден и честен, чтобы поставить себя в сомнительные отношения к отцу и матери.

— Пускай его поживет на своих ногах! — утешал Филипп Андреич огорченную жену,— в школе довольно поводили на помочах — теперь пусть сам собой попробует ходить!

Наняли для Генечки скромную квартиру (всего две комнаты), чистенько убрали, назначили на первое время небольшое пособие, справили новоселье, и затем молодой Люберцев начал новую жизнь под личною ответственностью, но с сознанием, что отцовский глаз зорко следит за ним и что, на случай нужды, ему всегда будет оказана помощь и дан добрый совет.

— Главное, друг мой, береги здоровье! — твердил ему отец,— mens sana in corpore sano[1]. Будешь здоров, и житься будет веселее, и все пойдет у тебя ладком да мирком!

— Не правда ли, папенька? — соглашался Евгений с отцом.

— Здоровье — это первое наше благо! — подтверждал отец,— ну, Христос с тобой! живи; я на тебя надеюсь!

Как я сказал выше, Люберцев уже на школьной скамье выглядывал дельцом. По выходе из школы он быстро втянулся в служебный круговорот (благо, служба была обязательная и место уже в перспективе имелось готовое) и даже усвоил себе известную терминологию, которою, однако ж, покамест пользовался как бы шутя. Так, улыбаясь, он называл себя государственным по́слушником,— не опричником, фуй! а именно по́слушником,— а иногда рисковал даже, тоже улыбаясь, говорить: «Мы, государственные доктри-

[1] здоровый дух в здоровом теле (*лат.*).

неры...» Вообще, на первых порах, трудно было разобрать, серьезно ли он говорит или иронически. Большинство видело, впрочем, скорее тонкую иронию, и это дало ему немало друзей из молодых людей с несколько пылким темпераментом.

У него не было француза-слуги, а выписан был из деревни для прислуг сын родительской кухарки, мальчик лет четырнадцати, неумелый и неловкий, которого он, однако ж, скоро так вышколил, что в квартире его все блестело, сапоги были хорошо вычищены и на платье ни соринки.

День его протекал очень просто, без всяких вычур. Все он делал систематически, не торопясь; с вечера расписывал завтрашние шестнадцать часов на клетки, и везде поспевал в свое время. Случались отступления от расписания, но редко, да и то исключительно в форме начальственных приглашений, от которых уклониться было нельзя. Вставал аккуратно в девять часов и сам делал свой несложный туалет. В девять с половиной он был уж у самовара, сам разливал себе чай и брался за книгу. Процесс чаепития (это был в то же время и завтрак его) длился довольно долго, но так как он сопровождался чтением, то Люберцев не старался об его сокращении. До одиннадцати часов он читал. Любимыми авторами его были французские доктринеры времен Луи-Филиппа: Гизо, Дюшатель, Виллъмен и проч.; из журналов он читал только «Revue des deux Mondes», удивляясь олимпийскому спокойствию мысли и логичности выводов и не подозревая, что эта логичность представляет собой не больше как беличье колесо. Бисмарку он тоже удивлялся, но, по его мнению, он был слишком смел и, так сказать, внезапен в своей политике. Нельзя было заранее из предыдущего поступка предусмотреть последующий, хотя сущность этих поступков имела одну и ту же подкладку. Втайне он даже был уверен, что «раскусил» Бисмарка и каждый его шаг может предсказать вперед. «Франция — это только отвод,— говорил он,— с Францией он на Бельгии помирится или выбросит ей кусок Лотарингии — не Эльзас, нет! — а главным образом взоры его устремлены на Россию,— это узел его политики,— вот увидите!» По его мнению, будь наше время несколько менее тревожно, и деятельность Бисмарка имела бы менее тревожный характер; он просто представлял бы собой повторение твердого, спокойного и строго-логического Гизо.

В одиннадцать часов он выходил на прогулку. Помня

завет отца, он охранял свое здоровье от всяких случайностей. Он инстинктивно любил жизнь, хотя еще не знал ее. Поэтому он был в высшей степени аккуратен и умерен в гигиеническом смысле и считал часовую утреннюю прогулку одним из главных предохранительных условий в этом отношении. На прогулке он нередко встречался с отцом (он даже искал этих встреч), которому тоже предписаны были ежедневные прогулки для предупреждения излишнего расположения к дебелости.

— Здоров? — спрашивал отец.

— Слава богу! вы как, папенька?

— Мне что делается! я уж стар, и умру, так удивительного не будет... А ты береги свое здоровье, мой друг! это — первое наше благо. Умру, так вся семья на твоих руках останется. Ну, а по службе как?

— Понемножку. Но скучаю, что настоящего дела нет. Впрочем, на днях записку составить поручили; я в два дня кончил и подал свой труд, да что-то молчат. Должно быть, дело-то не очень нужное; так, для пробы пера, дали, чтоб испытать, способен ли я.

— Это и всегда так бывает на первых порах. Все равно как у портных: сначала на лоскутках шить приучают, а потом и настоящее дело дадут. Потерпи, не сомневайся. В свое время будешь и шить, и кроить, и утюжить.

— Ах, папенька, как же так можно выражаться!..

— Ну, ну, пошутить-то ведь не грех. Не все же серьезничать; шутка тоже, в свое время, не лишняя. Жизнь она смазывает. Начнут колеса скрипеть — возьмешь и смажешь. Так-то, голубчик. Христос с тобой! Главное — здоровье береги!

В полдень Люберцев уже на службе, серьезный и сосредоточенный. Покуда у него нет определенной должности; но швейцар Никита, который тридцать лет стоит с булавой в департаментских сенях, уже угадал его и выражается прямо, что Евгений Филиппыч из молодых, да ранний.

— Вот, погодите, щелкоперы! — говорит он чиновникам,— он вам ужо, как начальником будет, задаст перцу! Забудете папироски курить да посвистывать!

Люберцев сидит за пустым столом и от нечего делать перелистывает старое дело. Исподволь он приучается к формам и обрядам (приучается на лоскутках шить), а между тем присматривается и к канцелярскому быту. Чиновники, по его мнению, распущены и имеют лишь смутное понятие о государственном интересе; начальники отделений смот-

рят вяло, пишут — не пишут, вообще ведут себя, словно им до смерти вся эта канитель надоела. Многие даже откровенно зубоскалят; критикуют начальственные распоряжения, радуются, когда в газетах появится колкая заметка или намек, сами собираются что-нибудь тиснуть. Директор департамента приходит поздно, засиживается у «своей» (так, по крайней мере, говорят чиновники) и совершенно понапрасну задерживает подчиненных. И у него на лице написаны усталость и равнодушие.

— А все-таки машина не останавливается! — размышляет про себя Генечка,— вот что значит раз пустить ее в ход! вот какую силу представляет собой идея государства! Покуда она не тронута, все функции государства совершаются сами собой!

В этих присматриваньях идет время до шести часов. Скучное, тягучее время, но Люберцев бодро высиживает его, и не потому, что — кто знает? вдруг случится в нем надобность! — а просто потому, что он сознает себя одною из составных частей этой машины, функции которой совершаются сами собой. Затем нелишнее, конечно, чтобы и директор видел, что он готов и ждет только мановения.

— А! вы здесь? — изредка говорит ему, проходя мимо, директор, который знает его отца и не прочь оказать протекцию сыну,— это очень любезно с вашей стороны. Скоро мы и для вас настоящее дело найдем, к месту вас пристроим! Я вашу записку читал... сделана умно, но, разумеется, молодо. Рассуждений много, теория преобладает — сейчас видно, что школьная скамья еще не простыла... ну-с, а покуда прощайте!

Люберцев не держит дома обеда, а обедает или у своих (два раза в неделю), или в скромном отельчике за рубль серебром. Дома ему было бы приятнее обедать, но он не хочет баловать себя и боится утратить хоть частичку той выдержки, которую поставил целью всей своей жизни. Два раза в неделю — это, конечно, даже необходимо; в эти дни его нетерпеливо поджидает мать и заказывает его любимые блюда — совестно и огорчить отсутствием. За обедом он сообщает отцу о своих делах.

— Директор недавно видел меня и упоминал о моей записке,— рассказывает он,— говорил, что составлена недурно, но рассуждений много, теория преобладает...

— Да, мой друг, в делах службы рассуждения только мешают. Нужно быть кратким, держаться фактов, а факты уже сами собой покажут, куда следует идти.

— Но нельзя же, папенька, не рассуждать. Ведь недаром нас теории учили.

— Рассуждать ты можешь про себя, а об теориях в частных разговорах беседовать можно. Ну, и на службе, пожалуй, ими руководись, только чтоб не бросалось в глаза, не замедляло, так сказать, изложения. Теория, мой друг, окраску человеку дает, клеймо кладет на его деятельность — ну, и смотри на дело с точки зрения этой окраски, только не выставляй ее. Я сам в молодости теориям обучался, а потому вышел из меня Филипп Андреич Люберцев, а не Андрей Филиппыч. И всякий знает мою работу, всякий сразу скажет: эту записку писал не Андрей Филиппыч, а Филипп Андреев, сын Люберцев. Ex ungue leonem[1], если можно, без хвастовства, так выразиться. Вот об чем я говорю.

Вечер, часов с девяти, Люберцев проводит в кругу товарищей, но не таких шалопаев, как Росто́кин (он с ним почти не встречается), таких же основательных и солидных, как и он сам. Раз в неделю он принимет у себя; остальные вечера переходит от одного товарища к другому и изредка посещает театр. Когда собираются у него, он очень мило разыгрывает роль хозяина, потчует чаем с сдобными булками, а под конец появляется и очень приличная закуска. Несмотря на солидность, между товарищами поднимаются шумные споры. Говорят, по преимуществу, о государстве, его функциях и отношениях к отдельному индивидууму. Как люди, готовящиеся к занятию «постов», юноши задорно стоят на стороне государства и защищают неприкосновенность его прав.

— Государство — это всё,— ораторствует Генечка,— наука о государстве — это современный палладиум. Это целое верование. Никакой отдельный индивидуум немыслим вне государства, потому что только последнее может дать защиту, оградить не только от внешних вторжений, но и от самого себя.

Однако бывают и противоречия, не то чтобы очень радикальные, а все-таки не столь всецело отдающие индивидуума в жертву государству. Середка на половине. Но Люберцев не формализируется противоречиями, ибо знает, что du choc des opinions jaillit la vérité[2]. Терпимость — это одно из достоинств, которым он особенно дорожит, но,

---

[1] Узнаю льва по когтям (*лат.*).

[2] из столкновения мнений рождается истина (*фр.*).

конечно, в пределах. Сам он не отступит ни на пядь, но выслушает всегда благосклонно.

— И прекрасно, мой друг, делаешь,— хвалит его отец,— и я выслушиваю, когда начальник отделения мне возражает, а иногда и соглашаюсь с ним. И директор мои возражения благосклонно выслушивает. Ну, не захочет помоему сделать — его воля! Стало быть, он прав, а я виноват,— из-за чего тут горячку пороть! А чаще всего так бывает, что поспорим-поспорим, да на чем-нибудь середнем и сойдемся!

— Не правда ли, папенька?

— Говорю тебе, что хорошо делаешь, что не горячишься. В жизни и все так бывает. Иногда идешь на Гороховую, да прозеваешь переулок и очутишься на Вознесенской. Так что же такое! И воротишься,— не бог знает, чего стоит. Излишняя горячность здоровью вредит, а оно нам нужнее всего. Ты здоров?

— Слава богу, папенька!

— Ну, и Христос с тобой! Посещай товарищей, не пренебрегай ими! Иной раз пренебрежешь человеком, а он потом в самонужнейших окажется!

На один из дружеских вечеров совсем неожиданно явился Сережа Росто́кин. Он слышал, что у Генечки происходят в определенные дни умные разговоры, и пожелал полюбопытствовать, а при случае, с своей стороны, словечко вставить, доказать, que tout est à refaire. Он приехал навеселе, прямо от Бореля, и появление его так всех удивило, что вдруг все смолкло. Люберцев хотел разыграть радушного хозяина и не мог: голос у него потух. Гости сидели как на иголках; некоторые даже искали глазами свои шляпы. С своей стороны, и Сережа молчал и удивленно хлопал глазами, не видя нигде ни вина, ни объедков, ни залитой и загаженной скатерти.

— Вы́пито! — бессмысленно пробормотал он наконец, щелкая себя в галстух.— Да, было-таки... Но какую мы свежую икру ели... сливки!

Пробормотавши это, он опять замолчал и через четверть часа встал и направился к выходу. Но тут обернулся и крикнул:

— Засу́шины вы! все вы еще в пеленках высохли!.. Государство... туда же! Вот мы когда-нибудь с Петром Николаичем... разберем!

И исчез.

Споры возобновились, но Люберцев был слегка задум-

чив. Он вспомнил вещие слова отца: иной раз пренебрежешь человеком, а он в самонужнейших окажется...

«Что́, ежели этот шалопай, в самом деле...» — тревожился он.

И на другой день, урвавши четверть часа у прогулки, он зашел к Сереже и застал его в самом разгаре туалетной деятельности.

— А! Люберцев! — воскликнул Ростокин, слегка удивленный,— каким добрым ветром тебя занесло?

Оказалось, что он действительно был так пьян накануне, что все забыл.

— Да так, повидаться захотелось. Давно уж...

— И я давно собираюсь к тебе. У тебя, говорят, умные вечера завелись... надо, надо послушать, что́ умные люди говорят. Ведь и я с своей стороны... Вместе бы...unitibus...[1] как это?

И он начал, по обыкновению, твердить, que tout est à refaire. Твердил бестолково, вращая зрачками, грозя пальцем и ссылаясь на Петра Николаича.

— Ежели вы, господа, на этой же почве стоите,— говорил он,— то я с вами сойдусь. Буду ездить на ваши совещания, пить чай с булками, и общими усилиями нам, быть может, удастся подвинуть дело вперед. Помилуй! tout croule, tout roule[2] — а у нас полезнейшие проекты под сукном по полугоду лежат, и никто ни о чем подумать не хочет! Момент, говорят, не наступил; но уловите же наконец этот момент... sacrebleu!..[3]

Генечка слушал терпеливо и от времени до времени качал головой. Он рад был, что вчерашняя история кончилась так благополучно.

Так проводит свой день государственный по́слушник Евгений Филиппыч Люберцев и кончает его пунктуально в час ночи, когда мирно отходит ко сну.

Немного спустя, ему дали составить другую записку. Давно уже начали собирать данные о необходимости восстановить заставы и шлагбаумы, и наконец отовсюду получены были ответные донесения. Оказывалось, что заставы и шлагбаумы не только полезны, но и самое восстановление их может совершиться легко, без потрясений. Столбы старых шлагбаумов еще доселе стоят невредимы, следова-

---

[1] объединимся (*фр.*).
[2] все рушится, все разваливается (*фр.*).
[3] черт возьми! (*фр.*)

тельно, стоит только купить новые цепи и нанять сторожа (буде военное ведомство не даст караула) — и города вновь украсятся и процветут. При сем прилагались и штаты. Генечка рассмотрел это дело очень внимательно. Он воздержался от рассуждений и только в одном месте упомянул об обывательских страстях, к ограждению от коих преимущественно должны служить заставы. Штаты он нашел умеренными и с помощью первых четырех правил арифметики легко вывел среднюю сумму предстоящих издержек. Оставалось только найти источник для удовлетворения нового расхода. Люберцев сходил за справкой в министерство финансов, но там ему сказали, что государственное казначейство и без того чересчур обременено. Слышал он мельком, что где-то существует калмыцкий капитал, толкнулся и туда, но там встретил почти враждебный отпор («вам какое дело?»). Предстояло одно из двух: или обратить дело к дополнительным запросам,— но тогда оно затянулось бы на неопределенное время,— или же ограждение обывателей от собственных их страстей произвести на счет их самих.

Генечка решил в последнем смысле: и короче, да и вполне справедливо. Дело не залежится, а между тем идея государственности будет соблюдена. Затем он составил свод мнений, включил справку о недостаточности средств казны и неприкосновенности калмыцкого капитала, разлиновал штаты, закруглил — и подал.

Директор одобрил записку всецело, только тираду о страстях вычеркнул, найдя, что в деловой бумаге поэзии и вообще вымыслов допустить нельзя. Затем положил доклад в ящик, щелкнул замком и сказал, что когда наступит момент, тогда все, что хранится в ящике, само собой выйдет оттуда и увидит свет.

Шаг этот был важен для Люберцева в том отношении, что открывал ему настежь двери в будущее. Ему дали место помощника столоначальника. Это было первое звено той цепи, которую ему предстояло пройти. Сравнительно, новое его положение досталось ему довольно легко. Прошло лишь семь-восемь месяцев по выходе из школы, и он, двадцатилетний юноша, уже находился в служебном круговороте, в качестве рычага государственной машины. Рычага маленького, почти незаметного, а все-таки...

По этому случаю у стариков Люберцевых был экстраординарный обед. Подавали шампанское и пили здоровье новобранца. Филипп Андреич сиял; Анна Яковлевна

(мать) плакала от умиления; сестрицы и братцы говорили: «Je vous félicite»[1]. Генечка был несколько взволнован, но сдерживался.

— Я в нем уверен,— говорил старик Люберцев,— в нем наша, люберцевская кровь. Батюшка у меня умер на службе, я — на службе умру, и он пойдет по нашим следам. Старайся, мой друг, воздерживаться от теорий, а паче всего от поэзии... ну ее! Держись фактов — это в нашем деле главное. А пуще всего пекись об здоровье. Береги себя, друг мой, не искушайся! Ведь ты здоров?

— Здоров, папенька.

— Ну, и слава богу. А теперь, на радостях, еще по бокальчику выпьем — вон, я вижу, в бутылке еще осталось. Не привык я к шампанскому, хотя и случалось в посторонних домах полакомиться. Ну, да на этот раз, ежели и сверх обыкновенного весел буду, так Аннушка простит.

И, вновь выпив здоровье новобранца, Филипп Андреич продолжал:

— Ты обо мне не суди по-теперешнему; я тоже повеселиться мастер был. Однажды даже настоящим образом был пьян. Зазвал меня к себе начальник, да в шутку, должно быть,— выпьемте да выпьемте! — и накатил! Да так накатил, что воротился я домой — зги божьей не вижу! Сестра Аннушкина в ту пору у нас гостила, так я Аннушку от нее отличить не могу: пойдем,— говорю! Месяца два после этого Анюта меня все пьяницей звала. Насилу оправдался.

— Так вот вы какой, папенька!

С получением штатного места пришлось несколько видоизменить modus vivendi. Люберцев продолжал принимать у себя раз в неделю, но товарищей посещал уже реже, потому что приходилось и по вечерам работать дома. Дружеский кружок редел; между членами его мало-помалу образовался раскол. Некоторые члены заразились фантазиями, оказались чересчур рьяными и отделились.

Люберцев быстро втягивался в службу, и по мере того, как он проникал в ее сердце, идея государственности заменялась идеей о бюрократии, а интерес государства превращался в интерес казны. Слова и мнения старика отца с каждым днем все больше и больше принимали для сына значение непререкаемости. Он вполне усвоил себе идею главенства фактов и устранил вымысел и теорию навсегда.

---

[1] Поздравляю *(фр.)*.

Если речь идет о снабжении городовых свистками, то только о свистках и писалось, а рассуждения на тему о безопасности допускались лишь настолько, насколько это нужно для оправдания свистков. «В видах ограждения безопасности обывателей, необходимо снабдить городовых свистками», только и всего. Потому что, ежели начать с того, что главная забота государства заключается в том...— то это уж будет не доклад, а бред. Залезешь в такую трущобу, что потом и не вылезешь. Ведь идея государственности и в обнаженном изложении фактов просочится сама собой — стало быть, ничего другого и не требуется. Это складка, которую он получил уже на школьной скамье и которая никогда его не оставит; зачем же выставлять ее напоказ и замедлять стройное и логическое изложение экскурсиями по сторонам?

— Ты не очень, однако, в канцелярщину затягивайся!— предостерегал его отец,— надседаться будешь — пожалуй, и на шею сядут. Начальство тоже себе на уме; скажет: вот настоящий помощник столоначальника, и останешься ты аридовы веки в помощниках. Действуй вольно, показывай вид, что не очень дорожишь, что тебя везде с удовольствием приютят. Тогда тобой дорожить станут, настоящим образом труд твой будут ценить. Я десять лет вицедиректором состою, да то — я, а тебе я этого не желаю. Связей не упускай, посещай людей, рассматривай. И старых знакомых, которые полезны, не упускай, и новых знакомств не беги. Мудреная, брат, это наука — жизнь! Ну, да, бог даст, ты справишься.

Генечка последовал и этому совету. Он даже сошелся с Росто́киным, хотя должен был, так сказать, привыкать к его обществу. Через Росто́кина он надеялся проникнуть дальше, устроить такие связи, о каких отец и не мечтал. Однако ж сердце все-таки тревожилось воспоминанием о товарищах, на глазах которых он вступил в жизнь и из которых значительная часть уже отшатнулась от него. С одним из них он однажды встретился.

— А помнишь, как Росто́кин всех нас обозвал засушинами? — спросил прежний сочлен по «умным» вечерам,— глуп-глуп, а правду сказал. Ты не совсем еще засох?

Люберцев кисло улыбнулся в ответ.

— Засохнешь — в этом не сомневайся! — продолжал товарищ.— Смотри, как бы, вместо государственных-то людей, в простых подьячих не очутиться!

Но Генечка этого не опасался и продолжал преуспе-

вать. Ему еще тридцати лет не было, а уже самые лестные предложения сыпались на него со всех сторон. Он не раз мог бы получить в провинции хорошо оплаченное и ответственное место, но уклонялся от таких предложений, предпочитая служить в Петербурге, на глазах у начальства. Много проектов он уже выработал, а еще больше имел в виду выработать в непродолжительном времени. Словом сказать, ему предстояло пролить свет...

Хотя свет этот начинал уже походить на тусклое освещение, разливаемое сальной свечой подьячего, но от окончательного подьячества его спасли связи и старая складка государственности, приобретенная еще в школе. Тем не менее он и от чада сальной свечки был бы не прочь, если б убедился, что этот чад ведет к цели.

Тридцати лет он уже занимал полуответственный пост, наравне с Сережей Росто́киным. Мысль, что служебный круговорот совершенно тождествен с круговоротом жизненным и что успех невозможен, покуда представление этой тождественности не будет усвоено во всей его полноте, все яснее и яснее обрисовывалась перед его умственным взором. И он, не торопясь, но настойчиво, начал подготовлять себя к применению этой мысли на практике.

К этому времени отец его совсем состарился, но все еще занимал прежнюю должность. Он с любовью следил за успехами сына, хотя, признаться, многого уже не понимал в его поступках. Его радовало, что сын здоров, что он на виду,— ничего другого он не желал. Старуха мать заботливо приискивала сыну приличную партию и однажды даже совсем было высватала ему богатенькую купеческую дочь, По́хотневу, и Генечка чуть не соблазнился блестящим приданым и даже решил в уме, что неловко звучащую фамилию «По́хотнев» можно без труда изменить на «Пахо́тнев» (madame de Lubertzeff, née de Pakhotneff)[1]. Но, по зрелом рассуждении, нашел, что еще рано садиться в гнездо, и предпочел сохранить независимость.

В настоящее время служебная его карьера настолько определилась, что до него рукой не достать. Он вполне изменил свой взгляд на служебный труд. Оставил при себе только государственную складку, а труд предоставил подчиненным. С утра до вечера он в движении: ездит по влиятельным знакомым, совещается, шушукается, подставляет ножки и всячески ограждет свою карьеру от случайности.

[1] г-жа Люберцева, урожденная Пахотнева *(фр.)*.

— Связи — вот главное! — говорит он отцу,— а как будет такой-то служебный вопрос решен, за или против,— это для меня безразлично. Перемелется — все мука́ будет. Заручившись связями, я спокоен, да мне и приятно находиться в постоянном движении. Высшие сферы имеют чарующую, притягательную силу. Тут и роскошь обстановки, и непрерывная изворотливость мысли, и интерес неожиданных поворотов служебного ветра, то радующих, то пугающих, и роскошные женщины. Женщина, выхоленная, выдрессированная, сама по себе уже представляет для глаз неисчерпаемый источник наслаждений, а на любом рауте перед вами дефилируют десятки таких женщин. Свет, благоуханье, обнаженные плечи... Помилуйте! зачем я буду корпеть дома и перебирать бюрократическую ветошь, которая все равно ни к чему не поведет!

Старик выслушивает эти речи с некоторым удивлением, но не противоречит. Он просто думает, что, за старостью лет, отстал от времени и что, стало быть, все это нужно, ежели Генечка не может иначе поступать.

От времени до времени Люберцеву приходит на мысль, что теперь самая пора обзавестись своим семейством. Он тщательно приглядывается, рассматривает, разузнает, но делает это сам, не прибегая к постороннему посредничеству. Вообще подходит к этому вопросу с осторожностью и надеется в непродолжительном времени разрешить его.

ЧЕРЕЗОВЫ, МУЖ И ЖЕНА

Оба молоды, и оба без устали работают.

Женились они всего три месяца назад, и только брачный день позволили себе провести праздно. Сватовство было недолгое, Семен Александрыч в первый раз увидел Надежду Владимировну в конторе, где она работала и куда он заходил за справкой. Затем раз пять им пришлось сидеть рядом за общим столом в кухмистерской. Разговорились; оказалось, что оба работают. Оба одиноки, знакомых не имеют, кроме тех, с которыми встречаются за общим трудом, и оба до того втянулись в эту одинокую, не знающую отдыха жизнь, что даже утратили ясное сознание, живут они или нет.

— Хоть в праздники-то вы свободны ли?— однажды спросил он у нее.

— Да, но без работы скверно; не знаешь, куда деваться. В нумере у себя сидеть, сложивши руки,— тоска! На улицу выйдешь — еще пуще тоска! Словно улица-то новая; в обыкновенное время идешь и не примечаешь, а тут вдруг... магазины, экипажи, народ... К товарке одной — вместе работаем — иногда захожу, да и она уж одичала. Посидим, помолчим и разойдемся.

— Это уж вроде схимы...

— А что вы думаете? именно схима! Даже вериги чувствовать начинаю.

— Вы бы что-нибудь читали хоть в праздник...

— Отвыкла. Ничто не интересует. Говорю вам, совсем одичала. В театр изредка в воскресенье схожу — и будет! А вы?

Он безнадежно махнул рукой в ответ.

— Тоже недалеко от схимы?

— Чего недалеко! весь веригами опутан... каким образом? из-за чего?

— Как из-за чего? Жизнь-то не достается даром. Вот и теперь мы здесь роскошествуем, а уходя все-таки сорок пять копеек придется отдать. Здесь сорок пять, в другом месте сорок пять, а в третьем и целый рубль... надо же добыть!

— И таким образом проходит вся жизнь?

— Жизнь только еще начинается. Потом она будет продолжаться, а затем и конец.

— Именно так: начинается, продолжается и кончается — только и всего. Но неужто вы совсем одни? ни родных, ни знакомых?

— Одна. Отец давно умер, мать — в прошлом году. Очень нам трудно было с матерью жить — всего она пенсии десять рублей в месяц получала. Тут и на нее и на меня; приходилось хоть милостыню просить. Я, сравнительно, теперь лучше живу. Меня счастливицей называют. Случай как-то помог, работу нашла. Могу комнату отдельную иметь, обед; хоть голодом не сижу. А вы?

— И я один; ни отца, ни матери не помню; воспитывался на какие-то пожертвования. Меня начальник школы и на службу определил. И тоже хоть голодом не сижу, а близко-таки... Когда приходится туго, призываю на помощь терпение, изворачиваюсь, удвоиваю старания,— и вот, как видите!

— Скучно вам?

— Скучать некогда. Даже о будущем подумать нет времени. Иногда и мелькнет в голове: надо что-нибудь... не всегда же... да только рукою махнешь. Авось как-нибудь день за день, и пройдет... жизнь.

— Да; трудно что-нибудь выдумать. Жить надо — только и всего.

Спустя некоторое время, после одного из таких разговоров, он спросил ее:

— А что, если мы вместе будем работать?

Она на минуту смутилась и побелела. Но затем щеки у нее заалели румянцем, она подала ему руку и бодро ответила:

— Будемте.

Через месяц они были муж и жена, и, как я сказал выше, позволили себе в праздности провести будничный день. Но назавтра оба уж были в работе.

Ей посчастливилось. Утром она работала в банкирской конторе, вечером — имела урок. Все это вместе давало ей около восьмисот рублей в год. В летнее время доход уменьшался, за отъездом ученицы; но тогда она приискивала другую работу, хотя и подешевле. Вообще вопрос о безработице не коснулся ее. Он тоже успел довольно прочно устроиться; утром ходил в департамент, где служил помощником столоначальника; вечером — имел занятия в одном из железнодорожных правлений. Доход его простирался до полутора тысяч, так что оба вместе они получали в год до двух тысяч пятисот рублей.

Им завидовали и говорили, что на эти деньги вдвоем прожить можно не только без нужды, но даже позволяя себе некоторые прихоти. И они соглашались с этим. Кругом они видели столько бедности и наготы, что заработок их действительно представлялся суммою очень достаточною. Несмотря на это, они никогда не испытывали даже слабого довольства. Продолжали жить по-прежнему, со дня на день, с трудом сводя концы с концами, и — что всего хуже — постоянно испытывали то чувство страха перед будущим, которое свойственно всем людям, живущим исключительно личным трудом. Что́, ежели вдруг случится заболеть? что, ежели в уроке не будет надобности? что, ежели частная служба изменит? соперник явится, место упразднится, в работе окажется недосмотр, начальник неудовольствие выкажет? Все эти вопросы даже усиленною работою не заглушались, а волновали и мучили с утра до вечера. Некогда было подумать о том, зачем пришла и куда идет эта безрассветная жизнь. Но о том, что эта жизнь может мгновенно порваться, думалось ежемгновенно, без отдыха.

В сущности, неправы были те, которые удивлялись, что они, при своем заработке, не умеют прожить иначе, как с величайшею осторожностью. Если бы эти деньги являлись, например, в виде заработка главы семейства, а она пользовалась хоть относительным досугом, тогда действительно жизнь не представляла бы особенных недостач с материальной стороны. Личный домостроительный труд помогает сокращать издержки на добрую треть. Можно вовремя распорядиться, вовремя закупить,— был бы досуг. Стоит только сходить за четыре версты — ноги-то свои, не купленные! — за курицей, за сигом, стоит выждать часа два у окна, пока появится во дворе знакомый разносчик,— и дело в шляпе. Рубля двоим на обед за глаза достаточно, даже и с детьми, ежели их немного; пожалуй, и пирог в праздник будет. И прислуга заведется, и опять-таки дешевенькая... Где-нибудь в колонии, из-за хлеба, молодую девчонку отыщут и приучат ее понемногу. В конце года, смотришь, окажется даже экономия. Муж доволен, что сыт; жена довольна, что бог их и с семьею за рубль прокормил; у детей щеки от праздничного пирога лоснятся. Квартира — ничего себе, стол — ничего себе; извозчика, правда, нанять не из чего — ну, да ведь не графы и не князья, и на своих на двоих дойти сумеем. Даже приятели вечером придут — и для тех закуска найдется. В винт по сотой копейки засядут, проиграет глава семейства рубль — и

не поморщится. Вот как на две-то с половиной тысячи умные люди живут, а не то чтобы что.

Ничем подобным не могли пользоваться Черезовы по самому характеру и обстановке их труда. Оба работали и утром, и вечером вне дома, оба жили в готовых, однажды сложившихся условиях и, стало быть, не имели ни времени, ни привычки, ни надобности входить в хозяйственные подробности. Это до того въелось в их природу, с самых молодых ногтей, что если бы даже и выпал для них случайный досуг, то они не знали бы, как им распорядиться, и растерялись бы на первом шагу при вступлении в практическую жизнь.

Сделавшись мужем и женой, они не оставили ни прежних привычек, ни бездомовой жизни; обедали в определенный час в кухмистерской, продолжали жить в меблированных нумерах, где занимали две комнаты, и, кроме того, обязаны были иметь карманные деньги на извозчика, на завтрак, на подачки сторожам и нумерной прислуге и на прочую мелочь. А там еще одежда, белье — ведь на частную работу или на урок не пойдешь засуча рукава в ситцевом платье, как ходит в лавочку домовитая хозяйка, которая сама стоит на страже своего очага. Одним словом, приходилось тратить полтора рубля там, где у домовитого хозяина выходило не больше рубля. Но зато они тратили деньги без хлопот, точно как по прейскуранту.

Сходились они обыкновенно за обедом в кухмистерской и дома в поздний час. Оба приходили усталые, обоим было не до разговоров. Пили чай, съедали принесенную закуску и засыпали, чтобы на другой день, около десяти часов утра, разойтись. Но с праздниками им удалось устроиться так, что они проводили целый день вместе. Утром он ей читал, и непременно что-нибудь печальное, так как это всего больше соответствовало их душевному настроению; вечером — ходили в театр. В праздники же им случалось разговаривать по душе, но беседа шла больная, скорее растравляющая, нежели успокоивающая. Во всяком случае, заработок утекал незаметно, так что они были рады, если год кончался без особенных затруднений, вроде долга мелочной лавочке или хозяйке квартиры.

Страх перед завтрашним днем ни на минуту не оставлял их. Оба принадлежали к тому типу обыкновенных, смирных людей, которые инстинктивно стремятся к одной цели: самосохранению. Может быть, при других обстоятельствах, при иной школе, сердца их ракрылись бы и для

иных идеалов, но труд без содержания, труд, направленный исключительно к целям самосохранения, окончательно заглушил в них всякие зачатки высших стремлений. Они не сознавали даже, что этот труд, который доставляет им дневной кошт, в то же время мало-помалу убивает их и навсегда лишает возможности различать добро от зла. Не вникая в содержание труда, они ценили его лишь с точки зрения оплаты и охотно брались за *всякую* работу, лишь бы она была оплачена. Постыдного они, правда, не делали, но кто же и поручит им что-нибудь постыдное? Для постыдного и люди должны быть постыдные, прожженные, дошлые люди, которые могут и пролезть, и вылезть, и сухими из воды выйти,— куда же им с их простотой! ведь им и на ум ничего постыдного не придет! Это просто не жившие, но уже измученные жизнью люди, и только. Бояться и трепетать — вот их дело. Все разговоры их ведутся на эту тему и не исчерпаются никогда, потому что они всецело сосредоточились в испуге, и никакие влияния, ни внешние, ни внутренние, не могут внести иные элементы в их скудное существование. Нет этих влияний, и неоткуда им прийти; труд для труда, труд, падающий в какую-то бездну и мгновенно поглощаемый ею, погубил всякую восприимчивость, всякий зачаток самодеятельности.

— Боюсь я, как бы урока мне не лишиться,— говорила она.

— А что?

— Да так; ученица моя поговаривает, что отец ее совсем из Петербурга хочет уехать. Пожалуй, двадцать-то пять рублей в месяц и улыбнутся.

— Скверно; ну, да бог даст...

— Я уж и то стороной разузнаю, не наклюнется ли чего-нибудь... Двоюродная сестра у моей ученицы есть, так там тоже учительнице хотят отказать... вот кабы!

— Ищи, голубушка; только не тяжело ли будет, ежели два урока придется давать?

— Ничего, устроюсь. Надо же. Да вот что я еще хотела тебе сказать, Сеня. Бухгалтер у нас в конторе ко мне пристает... с тех пор как я замуж вышла. Подсаживается ко мне, разговаривает, спрашивает, люблю ли я конфеты...

— Мерзавец!

— И я говорю, что мерзавец, да ведь когда зависишь... Что, если он банкиру на меня наговорит? — ведь, пожалуй, и там... Тут двадцать пять рублей улыбнутся, а там и целых пятьдесят. Останусь я у тебя на шее, да, кроме то-

го, и делать нечего будет... С утра до вечера все буду думать... Думать да думать, одна да одна... ах, не дай бог!

— Ну, как-нибудь обойдется; ты у меня молодец, вывернешься. Вот у нас в правлении должность бухгалтера скоро очистится,— разве попытать?

— А у тебя как свое-то дело идет?

— Покуда — ничего. В департаменте даже говорят, что меня столоначальником сделают. Полторы тысячи — ведь это куш. Правда, что тогда от частной службы отказаться придется, потому что и на дому казенной работы по вечерам довольно будет, но что-нибудь легонькое все-таки и посторонним трудом можно будет заработать, рубликов хоть на триста. Квартиру наймем; ты только вечером на уроки станешь ходить, а по утрам дома будешь сидеть; хозяйство свое заведем — живут же другие!

— Ах, боюсь я! — особенно этот бухгалтер... Придется опять просить, кланяться, хлопотать, а время между тем летит. Один день пройдет — нет работы, другой — нет работы, и каждый день урезывай себя, рассчитывай, как прожить дольше... Устанешь хуже, чем на работе. Ах, боюсь!

Теперь они боятся в особенности, потому что Надежда Владимировна готовится сделаться матерью. Ах, что-то будет? что такое будет, даже представить себе нельзя!.. Сколько рабочих дней отнимут одни роды, а потом и ребенок. Надо его кормить, пеленать, мыть, отлучиться от него нельзя. Да и как тут поступить — не знаешь. Настанут роды — к кому обратиться, куда идти, что́ будет стоить, и вообще как совершается весь этот процесс? Прислуга — дорогая и ненадежная, да материнского сердца и не уймешь. Вот тогда-то действительно придется бросить бездомную жизнь, нанять квартиру, лишиться главного заработка, засучить рукава, взять скалку в руки и раскатывать на столе тесто для пирога. На какие деньги они будут жить! Хоть и обещали Семену Александрычу место столоначальника, да что-то не слыхать, а сам он заискивать и напоминать о себе не смеет. Фальшивые нынче люди, не верные! все их обещания на воде писаны. Ах, не сумеют они своим домом жить. В меблированных комнатах — все готово, в кухмистерской — тоже. Так они прожили всю жизнь и другой жизни не знают. И вдруг очутятся в пространстве на собственной ответственности — вот где настоящая-то мука! Везде — обман, везде — фальшь, а ежели и нет обмана, то будет казаться, что он есть.

— Куда мы с тобой денемся? — мучительно спрашивает она его.

Он тоже глядит вопросительно, хочет сказать что-нибудь и не может. Он сам не раз задавался этим вопросом и ни к какому решению не пришел.

— Скажи, что мы будем делать? — настаивает она.

— Ах, да не мучь ты меня!

— Через три месяца у нас ребенок будет. Надо теперь же начать... Ходи, старайся, хлопочи!

— Стесниться придется на первое время...

— Нет, стесниться уж больше некуда, и без того тесно. Говорю тебе: надо кланяться, напоминать о себе, хлопотать... Хлопочут же другие...

— Ну, хорошо, попытаюсь.

Но че́резовская удача и тут приходит к ним на выручку. Через месяц Семена Александрыча делают хоть и не столоначальником,— начальство думает, что для этой должности он недостаточно боек,— а чем-то вроде регистратора, с столоначальническим окладом. Это, впрочем, еще лучше, потому что у регистратора вечерних занятий нет; стало быть, можно будет и частную службу за собой оставить. Только вот будущее как будто захлопнулось навсегда; но на радостях он об этом не думает. Да и никогда, признаться, не думал, потому что *никогда* дверь будущего не была перед ним настежь раскрыта. Однако ж Надежду Владимировну этот полууспех мужа несколько смутил.

— Зачем мы сошлись! зачем мы живем! — мучительно волнует она себя.

— Ты сама кормить будешь? — спрашивает он ее, прерывая ее думу.

— Ах, почем я знаю! Зачем, зачем мы сошлись! жили бы мы...

До последней возможности они, однако ж, живут в меблированных комнатах. Черезов успел, на всякий случай, скопить несколько денег, несмотря на то, что Надежда Владимировна лишилась места в банкирской конторе. Она сидит по утрам дома, готовится и помаленьку всматривается в жизнь. Открытий оказалась бездна, но хозяйка квартиры и соседка по комнате не оставляют ее и помогают своими указаниями хоть сколько-нибудь освоиться с жизнью. Обе учат, что нужно приготовить для ожидаемого первенца, и советуют лечь в родильный дом.

— Где вам справиться, ничего вы в жизни не видели! — говорят они в один голос,— ни вы, ни Семен Алек-

сандрыч и идти-то куда — не знаете. Так, попусту, будете путаться.

Так и сделали. Она ушла в родильный дом; он исподволь подыскивал квартиру. Две комнаты; одна будет служить общею спальней, в другой — его кабинет, приемная и столовая. И прислугу он нанял, пожилую женщину, не ветрогонку и добрую; сумеет и суп сварить, и кусок говядины изжарить, и за малюткой углядит, покуда матери дома не будет.

— Проживем! — утешает он себя.

Наконец ожидаемый первенец увидел свет. И благо ему, что он вступил в жизнь в родильном доме, при готовом уходе и своевременной врачебной помощи, потому что, произойди этот случай в своей квартире, Семен Александрыч, наверное, запутался бы в самую критическую минуту. Родился сын, и Надежда Владимировна решила кормить его сама. Спустя урочное время, она вышла из родильного дома, но работать еще не могла. Уход за ребенком был так сложен, что отнимал все время, да и заработка в виду не было. Надо было переждать и потом опять просить, хлопотать. Тем не менее они *продолжали жить* — и это было все, что нужно.

Спустя некоторое время нашлась вечерняя работа в том самом правлении, где работал ее муж. По крайней мере, они были вместе по вечерам. Уходя на службу, она укладывала ребенка, и с помощью кухарки Авдотьи устраивалась так, чтобы он до прихода ее не был голоден. Жизнь потекла обычным порядком, вялая, серая, даже серее прежнего, потому что в своей квартире было голо и царствовала какая-то надрывающая сердце тишина.

Даже ребенок не особенно радовал Черезовых. Они до самой минуты его рождения ничего такого не предвидели, и теперь их единственно занимал вопрос: как он проживет (разумеется, с материальной стороны)? То есть тот самый вопрос, который их самих ежеминутно терзал и который они инстинктивно переносили и на ребенка. Этот вопрос обнимал собою и высшую любовь, и высшее нравственное убожество. Высшую любовь — потому что в благополучном его разрешении заключалось, по их воззрению, все благо, весь жизненный идеал; высшее нравственное убожество — потому что, даже в случае удачного разрешения вопроса о пропитании, за ним ничего иного не виделось, кроме пустоты и безнадежности.

Ребенок рос одиноко; жизнь родителей, тоже одинокая

и постылая, тоже шла особняком, почти не касаясь его. Сынок удался — это был тихий и молчаливый ребенок, весь в отца. Весь он, казалось, был погружен в какую-то загадочную думу, мало говорил, ни о чем не расспрашивал, даже не передразнивал разносчиков, возглашавших на дворе всякую всячину.

— Ты у меня, Гриша, будешь умница? — спрашивал Семен Александрыч, гладя его по голове.

Гриша удивленно взглядывал на отца, как бы говоря: неужто можно сомневаться в этом?

Из Надежды Владимировны даже посредственной хозяйки не вышло. Она рассудила, с своей точки зрения, очень правильно: на хозяйстве, как ни бейся, все-таки выгадаешь какой-нибудь двугривенный, тогда как «работа» во всяком случае даст рубль. И, заручившись этою истиной, подыскала себе утренний урок, который на два часа сокращал ее домашнюю жизнь. Теперь у нее явилось страстное желание копить; но скапливались такие пустяки, что просто совестно. Слыхала она, правда, анекдот про человека, который, выходя из дома, начинал с того, что кликал извозчика, упорно держась гривенника, покуда не доходил до места пешком, и таким образом составил себе целое состояние. Но как-то плохо верилось этому анекдоту, когда, несмотря на все урезыванья, в результате оказывалось, что годовой доход увеличивался на каких-нибудь пять рублей.

— Сколько он башмаков в год износит! — сетовала она на Гришу,— скоро, поди, и из рубашек вырастет... А потом надо будет в ученье отдавать, пойдут блузы, мундиры, пальто... и каждый год новое! Вот когда мы настоящую нужду узнаем!

Словом сказать, сетованиям и испугу конца не было. Даже кухарка Авдотья начала скучать, слыша беспрестанные толки о добыче и трудностях жизни.

— Точно вы на каторге оба живете! — ворчала она,— по-моему, день прошел — и слава богу! сегодня прошел — завтра прошел,— что тут загадывать!

Она одна относилась к ребенку по-человечески, и к ней одной он питал нечто вроде привязанности. Она рассказывала ему про деревню, про бывших помещиков, как им привольно жилось, какая была сладкая еда. От нее он получил смутное представление о поле, о лесе, о крестьянской избе.

— И как это ты проживешь, ничего не видевши! — кручинилась она,— хотя бы у колонистов на лето папень-

ка с маменькой избушку наняли. И недорого, и, по крайности, ты хоть настоящую траву, настоящее деревцо увидал бы, простор узнал бы, здоровья бы себе нагулял, а то ишь ты бледный какой! Посмотрю я на тебя,— и при родителях ровно ты сирота!

Изредка она уводила его на рынок или в лавку: пускай, по крайности, хоть на людей посмотрит, каковы таковы живые люди бывают!

Однако ж главное все-таки было в порядке, и черезовская удача продолжала не изменять. Семен Александрыч регистраторствовал с таким тактом, что начальник говорил про него: «В первый раз вижу человека, который попал на свое место,— именно таков должен быть истинный регистратор!»

Частная служба хотя не представляла прежней устойчивости, особливо у Надежды Владимировны, но все-таки не приносила особенных ущербов. Колесо было пущено, составилась репутация,— стало быть, и с этой стороны бояться было нечего. Но бояться чего-нибудь все-таки было надобно. Боялись, что вдруг придет болезнь и поставит кого-нибудь из них в невозможность работать...

— Что тогда мы будем делать! — мучилась Надежда Владимировна.

— Да, на казенной-то службе еще потерпят,— вторил ей Семен Александрыч,— а вот частные занятия... Признаюсь, и у меня мурашки по коже при этой мысли ползают! Однако что же ты, наконец! все слава богу, а тебе с чего-то вздумалось!

По временам его самого начинали уже обременять назойливые страхи, которые преследовали Надежду Владимировну. Он настолько обтерпелся, что ему было почти удобно. Каторга не изнурила его, а, напротив, казалось, укрепила и закалила. К петербургской атмосферической сутолоке, с ее сыростью, изменчивостью и непогодами, он привык и чувствовал себя вполне здоровым; жена и сын тоже никогда не бывали больны. Зачем же придумывать напрасные угрозы в будущем? Авдотья рассуждает в этом случае правильнее: день прошел, и слава богу! в их положении иначе не может и быть.

«А что, если и в самом деле...— внезапно мелькало у него в голове.— Что тогда?»

Он усиленно зарывался в работу, чтоб заглушить эти мысли, чтобы не терзали они его.

Оказалось, однако ж, что Надежда Владимировна была

права: черезовская удача совсем неожиданно изменила. Все шло своим порядком, тихо, безмятежно и вдруг порвалось. И именно порвала болезнь.

Однажды, глубокой осенью, Черезов возвращался вечером из своего правления. Идти было довольно далеко, а на улице точно светопреставление царствовало. Дождь лил как из ведра, тротуары были полны водой, ветер выл как бешеный и вместе с потоками дождя проникал за воротник пальто. Впрочем, Черезову не в первый раз приходилось видеть картины петербургского безвременья; он прибавил шагу и шел. Но, пришедши домой, почти мгновенно почувствовал легкий озноб: оказалось, что он промочил ноги. Жена раздела его, напоила наскоро чаем, укутала и уложила в постель. Предчувствие грозы уже томило ее, но на этот раз она не высказалась. К двум часам ночи он был весь в огне и разбудил жену. Хотели бежать за доктором, но было так поздно и непогода так разыгралась, что он посовестился. Ограничились тем, что опять напоили его чаем и еще плотнее укутали.

— Теперича его в пот вгонит,— утешала Авдотья,— а к утру пóтом болезнь и выгонит. Посидит денька два дома, а потом и опять молодцом на службу пойдет!

Но пóта не появлялось; напротив, тело становилось все горячее и горячее, губы запеклись, язык высох и бормотал какие-то несвязные слова. Всю остальную ночь Надежда Владимировна просидела у его постели, смачивая ему губы и язык водою с уксусом. По временам он выбивался из-под одеяла и пылающею рукою искал ее руку. Мало-помалу невнятное бормотанье превратилось в настоящий бред. Посреди этого бреда появлялись минуты какого-то вымученного просветления. Очевидно, в его голове носились терзающие воспоминания.

— Что я делал? Зачем жил? — стонал он и затем, обращаясь к жене, повторял:— Что мы делали? Зачем жили?

Утром, часу в девятом, как только на дворе побелело, Надежда Владимировна побежала за доктором; но последний был еще в постели и выслал сказать, что приедет в одиннадцать часов.

Когда она воротилась домой, больной как будто утих, но все-таки не спал, а только находился в лихорадочном полузабытьи. Почуяв ее присутствие, он широко открыл глаза и, словно сквозь сон, сказал:

— Что мы делали? зачем жили?

Затем он опять начал метаться, повторяя:

— Ах, какие все пустяки! пустяки! пустяки! пустяки!

Она стояла возле него, неподвижная, бледная, замученная, и вслед за ним так же, словно сквозь сон, твердила:

— Ах, какие все пустяки! пустяки! пустяки! пустяки!

Даже Авдотья, стоя поодаль и утирая слезы концом головного платка, всхлипывала:

— Надорвался!.. сердечный!

Сын (ему было уже шесть лет) забился в угол в кабинете и молчал, как придавленный, точно впервые понял, что перед ним происходит нечто не фантастическое, а вполне реальное. Он сосредоточенно смотрел в одну точку: на раскрытую дверь спальни — и ждал.

В одиннадцать часов приехал доктор, осмотрел больного и осторожно заявил, что Черезов безнадежен.

— До вечера, может быть, доживет,— сказал он,— но в ночь... Впрочем, я вечерком забегу.

— Что такое мы делали? Зачем, зачем мы жили? — стонал между тем больной.

К вечеру, едва смерклось, как началась агония. Сравнительно он умирал покойно и уже в полном сознании сказал жене:

— Надя! Тебе будет трудно... Не справиться... И сама ты, да еще сын на руках. Ах, зачем, зачем была дана эта жизнь? Надя! Ведь мы на каторге были, и называли это жизнью, и даже не понимали, из чего мы бьемся, что делаем; ничего мы не понимали!

В шесть часов вечера его не стало. Черезовская удача до такой степени изменила, что он не воспользовался даже льготным сроком, который на казенной службе дается заболевшим чиновникам. Надежда Владимировна совсем растерялась. Ей не приходило в голову, что нужно обрядить умершего, послать за гробовщиком, положить покойника на стол и пригласить псаломщика. Все это сделала за нее Авдотья.

Через два дня его схоронили у Митрофания на счет небольшого пособия, присланного из департамента. Похороны состоялись без помпы, хотя департамент командировал депутата для присутствования. Депутат доехал на извозчике до Измайловского проспекта, там юркнул в первую кондитерскую и исчез. За гробом дошли до кладбища только Надежда Владимировна и Авдотья.

Но тут черезовская удача опять воротилась. Надежде Владимировне назначили пенсию в триста рублей, хотя муж ее никакого пенсионного срока не выслужил, а в таком размере и подавно.

Она и теперь продолжает работать с утра до вечера. Теряя одну работу, подыскивает другую, так что «каторга» остается в прежней силе.

ЧУДИНОВ

> Нет, вздумал странствовать один
> из них, лететь...

Он сам определенно не сознает, что привело его из глубины провинции в Петербург. Учиться и, для того чтобы достигнуть этого, отыскать работу, которая давала бы средства хоть для самого скудного существования,— вот единственная мысль, которая смутно бродит в его голове.

Николай Чудинов — очень бедный юноша. Отец его служит главным бухгалтером казначейства в отдаленном уездном городке. По-тамошнему, это место недурное, и семья могла содержать себя без нужды, как вдруг сыну пришла в голову какая-то «гнилая фантазия». Ему было двадцать лет, а он уже возмечтал! Учиться! разве мало он учился! Слава богу, кончил гимназию — и будет.

Действительно, Николай уже прошел гимназический курс и готовился поступить в университет, когда Андрей Тимофеич вызвал его к себе, находя, что учиться довольно. Юноша приехал; его сейчас же зачислили в штат полицейского управления и назначили двенадцать рублей месячного жалованья; при готовых хлебах и даровой квартире этого было достаточно. Предстояло на трудовой заработок только одеться, обуться да кой-какие мелочи исправить. Посидит на этом окладе, а скоро, глядишь, и прибавят рубля три. И таким-то образом не всякому удается начинать. А затем и в уезде — дорога широкая. И в становые пристава, и в непременные члены, а может быть, и в исправники — всюду пройти можно,— был бы царь в голове. А не то так и в мировые учреждения, в земство. У Андрея Тимофеича есть связи в уезде. Всем до казначейства есть дело, а он — душа казначейства. Стало быть, того, другого попросит, состоится единогласное избрание — вот и мировой судья готов. Шутка сказать! ведь это две тысячи рублей одного содержания, а с канцелярией да с камерой — и не сочтешь, сколько тут денег наберется!

Но юноша, вскоре после приезда, уже начал скучать, и так как он был единственный сын, то отец и мать, натурально, встревожились. Ни на что он не жаловался, но на службе старанья не проявил, жил особняком и не искал

знакомств. «Не ко двору он в родном городе, не любит своих родителей!»— тужили старики. Пытали они рисовать перед ним соблазнительные перспективы — и всё задаром.

— Ежели не по нутру тебе полицейская служба — можно в земство махнуть! — говорил отец,— попрошу Ивана Петровича да Семена Николаевича — кому другому, а мне не откажут. Сначала в секретари управы, благо нынешний секретарь в лес глядит, а там куплю на твое имя двести десятин болота, и в члены попадешь. Здесь, мой друг, всё в наших руках. Захотим, так и в судьи попадем, нет нужды, что ты университета не кончил. Того же Ивана Петровича попрошу — он как раз единогласное избрание оборудует. Вот ты и на виду, и в люди показаться не стыдно. Сто́ит только годика два до новых выборов подождать.

Николай не возражал против отцовских увещаний, но и согласия не заявлял. Он продолжал скучать, жить особняком и тревожить родительские сердца. Наконец, однако ж, пришлось высказаться.

— Я бы в Петербург желал,— сказал он нерешительно.

— Что ты там забыл?

— В университет хочу поступить. Начал ученье и не кончил...

— А чем же ты будешь в Петербурге жить?

— Устроюсь как-нибудь. Мне бы только доехать, а там уроки найду, частные занятия — много ли мне на прожиток нужно!

— Слышал я, что казенные стипендии в триста рублей полагают — стало быть, меньше этого прожить нельзя. Да за лекции от платы освобождают — это тоже счет. Где ты эти триста — четыреста рублей добудешь?

— Как-нибудь...

— С «как-нибудь»-то люди голодом сидят, а ты прежде подумай да досконально все рассчитай! нас, стариков, пожалей... Мы ведь настоящей помощи дать не можем, сами в обрез живем. Ах, не чаяли печали, а она за углом стерегла!

Но сколько старики ни тратили убеждений, в конце концов все-таки пришлось уступить. Собрали кой-как рублей двести на дорогу и на первые издержки и снарядили сынка. В одно прекрасное утро Николай сел с попутчиком в телегу — и след его простыл, а старики остались дома выплакивать остальные слезы.

Однако, по мере приближения к Петербургу, молодой Чудинов начал чувствовать некоторое смущение. Как ни силился он овладеть собою, но страх неизвестного все больше и больше проникал в его сердце. Спутники по вагону расспрашивали его, и что-то сомнительное слышалось в их вопросах и ответах.

— В Петербург? — спрашивали его.

— Да, в Петербург.

— При должности-с?

— Нет, учиться хочу.

— Так-с. При родителях будете жить?

— Нет, родители у меня живут в провинции.

— Ну, все равно, помогать будут?

— И помощи я от них ждать не могу. Сам должен буду о себе заботиться...

— Мудреное дело-с.

— Отчего же? Мне многого не нужно, а добыть урок или два, или какое-нибудь занятие — неужели это так трудно?

— Кандидатов слишком довольно. На каждое место десять — двадцать человек, друг у дружки так и рвут. И чем больше нужды, тем труднее: нынче и к месту-то пристроиться легче тому, у кого особенной нужды нет. Доверия больше, коли человек не жмется, вольной ногой в квартиру к нанимателю входит. Одёжа нужна хорошая, вид откровенный. А коли этого нет, так хошь сто лет грани мостовую — ничего не получишь. Нет, ежели у кого родители есть — самое святое дело под крылышком у них смирно сидеть.

— А ежели учиться хочется?

— Хотение-то наше не для всех вразумительно. Деньги нужно добыть, чтоб хотенье выполнить, а они на мостовой не валяются. Есть нужно, приют нужен, да и за ученье, само собой, заплати. На пожертвования надежда плоха, потому нынче и без того все испрожертвовались. Туда десять целковых, в другое место десять целковых — ан, под конец, и скучно!

И так далее.

Назойливо тянулась эта нить дорожных разговоров, тревожа и волнуя Чудинова. Но вот наконец показался и Петербург.

Чудинов очутился на улице с маленьким саком в руках. Он был словно пьян. Озирался направо и налево, слышал шум экипажей, крик кучеров и извозчиков, говор толпы.

К счастию, последний его собеседник по вагону — добрый, должно быть, человек был,— проходя мимо, крикнул ему:

— Коли не знаете, где остановиться, так ступайте к Анне Ивановне в Разъезжую: у нее много горюнов живет. Нумера порядочные, обед — тоже, а главное, сама она добрая. Может быть, и насчет занятий похлопочет. Покуда что, нее и поживете.

Чудинов, разумеется, последовал этому совету.

Указанные нумера помещались в четвертом этаже громадного дома. Его встретила в дверях сама хозяйка, чистенькая старушка лет под шестьдесят. Было около десяти часов, и нумера пустели; в коридоре то и дело сновали уходящие жильцы.

— Вам нумерок? небольшой? — приветливо спросила хозяйка, оглядывая приезжего.

— Да, из самых недорогих.

— Рублей на пятнадцать с обедом в месяц? удобно это для вас?

Комнатка действительно оказалась совсем маленькая. Одно окно; около двери кровать; в другом углу, возле окна, раскрытый ломберный стол с чернильным прибором; три плетеных стула.

— Обед будет из двух блюд: суп и мясное блюдо,— продолжала хозяйка.— Считается в двадцать копеек; а ежели третье блюдо закажете — прибавка 15 копеек. Обедают в общей столовой между пятью и шестью часами, как кто удосужается. Остальные девять рублей — за квартиру. Мелочных расходов прислуге, дворнику — рубля два в месяц наберется. Чай — ваш, свечи — тоже ваши. Вы место искать приехали?

Чудинов сказал ей.

— Учиться? — переспросила она,— но ведь у вас и в своем округе университет есть? Зачем непременно в Петербург? Вся провинция в Петербург поднялась, а здесь, как нарочно, двери всё плотнее и плотнее запираются! Точно поветрие.

Чудинов не мог ничего более объяснить. Нельзя же сказать, что его влекла в Петербург безотчетная сила,— это было слишком субъективное побуждение, чтобы оправдать серьезный жизненный шаг. Хозяйка согласилась, впрочем, что, раз дело сделано,— не возвращаться же назад. Затем она, без всякой назойливости, а просто из доброго участия, расспросила его о средствах, которыми он располагает, и об его надеждах в будущем. Оказалось, что у него от

дороги осталось около полутораста рублей, что из дома он надеется получать не больше пятидесяти — ста рублей в год и что главный расчет его — на свой собственный труд.

— Занятий приискивать будете? уроков? вот здесь, в нумерах, собственными глазами увидите, легко ли это добывается,— сказала она.— Иные по году бьются, кругом задолжали — и всё ни при чем. Вот, благослови господи, за лекции около двадцати пяти рублей за первое полугодие уплатить нужно, да мундирчики нынче требуются, да объявления в газетах придется печатать,— смотришь, из ваших полутораста-то рублей и немного останется. Ну, да там увидится. И то, правду сказать, запугиваньем дела не поправишь. Были бы хоть на первых порах сыты.

В тот же день, за обедом, один из жильцов, студент третьего курса, объяснил Чудинову, что так как он поступает в юридический факультет, то за лекции ему придется уплатить за полугодие около тридцати рублей, да обмундирование будет стоить, с форменной фуражкой и шпагой, по малой мере, семьдесят рублей. Объявления в газетах тоже потребуют изрядных денег.

— Я двадцать рублей, по крайней мере, издержал, а через полгода только один урок в купеческом доме получил, да и то случайно. Двадцать рублей в месяц зарабатываю, да вдобавок поучения по поводу разврата, обуявшего молодое поколение, выслушиваю. А в летнее время на шее у отца с матерью живу, благо ехать к ним недалеко. А им и самим жить нечем.

— Как же вы на двадцать рублей ухитряетесь жить?

— Да так вот. Отец рубля три в месяц высылает, переписывать рубля на два достаю, по десяти копеек с листа, да и то почти насильно выклянчил. От чая я уж отказался, ем раз в сутки,— сами видите, какая это еда! За лекции уплачивать несколько раз запаздывал,— чуть не исключили. Насилу упросил. Хозяйке и сейчас за три месяца должен, а она тоже из-за корки хлеба бьется. Хорошо, что на третьем курсе состою, хоть обмундирование для меня не обязательно, а для вас и это потребуется. Нынче у нас на первом курсе студенты чистенькие, напомаженные. И душа у них напомаженная. Ходят по улицам, шпагой поигрывают, думают: чем мы хуже пажей? И солдаты им честь отдают,— тоже лестно! Не тот уж ныне университет, что прежде.

Вообще некрасивую картину нарисовал новый знакомец, и в заключение прибавил:

— Не забудьте, что так как вы, после получения аттестата зрелости, два года баклуши били, то для вас потребуется проверочный экзамен. Tolle me, mu, mi, mis, si declinare domus vis[1] — не забыли?

На другой же день начались похождения Чудинова. Прежде всего он отправился в контору газеты и подал объявление об уроке, причем упомянул об основательном знании древних языков, а равно и о том, что не прочь и от переписки. Потом явился в правление университета, подал прошение и получил ответ, что он обязывается держать поверочный экзамен.

Был август месяц в начале, но на дворе уже пахло осенью. Наступало дождливое время, вечера темнели, да благодаря постоянно покрытому тучами небу улицы с утра уже наполнялись сумерками. Но город мало-помалу оживал, уличное движение становилось заметнее и заметнее. С летней каторги обыватели перемещались на зимнюю, в надежде хоть печным теплом отогреться от летних продуваний и сквозных ветров. Сколько при этих переездах испорчено было мебели, сколько распростудилось кухарок — это поймет только коренной петербургский житель, которому ни флюсы, ни желудочные катары, ни плевриты — ничто не в поучение.

Экзамен Чудинов сдал исправно, внес плату за предстоящий учебный семестр и в свое время пунктуально начал посещать университет. По примеру других, он обмундировался и на первых же порах убедился в справедливости отзыва его нового знакомца по нумерам. В мундире он и сам себя не узнал. Он как-то невольно взглянул на свои волосы и сказал: «Надо припомадиться». Новые его собратья по науке смотрели так мило и так свежо, так все друг на друга были похожи, что производить диссонанс в этом гармонически сложившемся мирке было совсем немыслимо. Старые лохматые дикари печально доживали свой срок на последних курсах. Пройдет два-три года, и все будет мило, благородно — загляденье!

Прошел месяц, но ни урока, ни переписки не являлось. Чудинов напечатал новое объявление и дней через пять получил приглашение явиться. Он не пошел, а полетел,

---

[1] Отбрось me, mu, mi, mis, если хочешь просклонять слово дом (смеш. *фр.* и *лат.*).

и успел понравиться. Условились за двадцать пять рублей в месяц, с тем чтобы за эту сумму ходить каждый день и приготовлять двух мальчиков к поступлению в гимназию. Давно он не чувствовал себя так бодро и весело. Но когда он на другой день вечером явился на урок, то ему сказал швейцар, что утром приходил другой студент, взял двадцать рублей и получил предпочтение.

— Что же мне не сказали? я бы...— начал было Чудинов, но понял, что дело его потеряно, и замолк.

С тех пор, несмотря на неоднократно возобновляемые объявления, вопрос об уроке словно в воду канул. Не отыскивалось желающих окунуться в силоамскую купель просвещения — и только. Деньги, привезенные из дому, таяли-таяли и наконец растаяли...

. . . .

На дворе март. Целых шесть месяцев не было ни осени, ни зимы, да и теперь весны нет, а какое-то безвременье. Чудинов по-прежнему живет в нумерах у Анны Ивановны, но он уже исключен из числа студентов, за невзнос полугодовой платы. Старику отцу следовало бы свидетельство о бедности для сына справить, а он, вместо того, охал да ахал. А впрочем, и с свидетельством недалеко уйдешь, ежели при поверке в известных предметах отличнейших познаний не выкажешь. Молодой человек прожил не только привезенные с собой деньги, но и сторублевое пособие, полученное из дома. Безработица продолжает преследовать его, хотя хозяйка и жильцы всячески старались ему помочь в его исканиях. Сунулся он было в комитет вспомоществования, но там ему выдали восемь рублей, а ссуду он попросить не решился, сробел. О стипендии он и не мечтал: что-то еще скажет экзамен при переходе на второй курс, а до тех пор и думать нечего... Хозяйке он давно задолжал, но она не тревожит его, и это с ее стороны представляет тем бóльшую жертву, что молодой человек серьезно заболел. Он подозрительно кашляет, тяжело дышит и беспрерывно хватается за грудь. Говорят, у него чахотка, да у него и у самого смутно мелькает в голове, что конец недалеко. Ходил он раза два к доктору; тот объяснил, что болезнь его — следствие дурного питания, частых простуд, обнадежил, прописал лекарство и сказал, что весной надо уехать. На какие деньги покупать лекарство? Куда ехать?

Учился он страстно, все думал как-нибудь выбраться,

переждать суровую нужду. От чая отказался, от обеда — тоже. Платить двадцать копеек за обед оказывалось не под силу. Он брал на десять копеек два пирога в пирожной и этим был сыт. Но выбраться все-таки не удалось. Приходилось расстаться с заветной мечтой, бросить ученье. Для других оно было светочем жизни, для него — погребальным факелом. Всякую надежду на лучшее будущее предстояло оставить, сказать себе раз навсегда, что луч света уже не согреет его существования. И затем отдаться в жертву голодной смерти.

Теперь он даже в пирожную ходить не может; и денег нет, и силы тают с каждым днем. С трудом Анна Ивановна уговорила его не отказываться от скудного обеда в два блюда, обнадежив, что не все еще пропало и что со временем она возвратит свои издержки.

— Мне приходский батюшка обещал беспременно достать для вас урок, — сказала она, — тогда и заплатите. И в университет начнете ходить. Упросим как-нибудь принять взнос.

Тайно от него она известила старого бухгалтера о безнадежном положении молодого человека. Старик собрался с силами и опять выслал двести рублей, но требовал, чтобы сын непременно воротился в родное гнездо.

Семь часов вечера. Чудинов лежит в постели; лицо у него в поту; в теле чувствуется то озноб, то жар; у изголовья его сидит Анна Ивановна и вяжет чулок. В полузабытьи ему представляется то светлый дух с светочем в руках, то злобная парка с смердящим факелом. Это — «ученье», ради которого он оставил родной кров.

Странное дело! припоминается ему: точно такой случай был у нас в городе. Приехали поверять торговлю и зашли к сапожнику, который пропитывался своим ремеслом один, без учеников. «Есть свидетельство на мещанские промыслы?» — «Нет свидетельства!» Запечатали сапожный инструмент и ушли. Он тоже ушел... в кабак. Точно так же и тут. «Учиться желаю».—«Извольте внести вперед за семестр такую-то сумму».— «Нет у меня такой».— «А нет суммы, и ученья нет». Стало быть, и учиться нельзя, а надо идти... куда? Ни учиться, ни работать; только беспошлинно праздношататься — полная свобода, да и то ежели полиция не заподозрит.

— Жарко мне, вся подушка мокрая! — говорит он слабым голосом.

Анна Ивановна приподнимает ему голову, ощупывает по-

душку и перевертывает ее, потому что наволочка действительно оказывается мокрой.

— Что вы всё лежите, приободрились бы! — говорит она,— запустите себя, потом и всё в постель да в постель тянуть будет.

— Вас мне совестно; всё вы около меня, а у вас и без того дела по горло,— продолжает он,— вот отец к себе зовет... Я и сам вижу, что нужно ехать, да как быть? Ежели ждать — опять последние деньги уйдут. Поскорее бы... как-нибудь... Главное, от железной дороги полтораста верст на телеге придется трястись. Не выдержишь.

— Выдержите, молодцом приедете. Скоро и тепло настанет. А деньги мы сбережем. Какой расход с моей стороны будет — папенька заплатит.

— Добрая вы!

Чудинова все любят. Доктор от времени до времени навещает его и не берет гонорара; в нумерах поселился студент медицинской академии и тоже следит за ним. Девушка-курсистка сменяет около него Анну Ивановну, когда последней недосужно. Комнату ему отвели уютную, в стороне, поставили туда покойное кресло и стараются поблизости не шуметь.

Но все-таки большую часть времени ему приходится оставаться одному. Он сидит в кресле и чувствует, как жизнь постепенно угасает в нем. Ему постоянно дремлется, голова в поту. Временами он встает с кресла, но дойдет до постели и опять ляжет.

В нем происходит тот двойственный внутренний процесс, который составляет принадлежность чахотки: и полная безнадежность, и в то же время такое страстное желание жить, которое переходит в уверенность исцеления.

— Вот приеду домой, там отгуляюсь,— мечтает он,— лето, воздух, здоровая пища, уход и, наконец, сила молодости...

Но не успевает надежда согреть его существование, как рассудком его всецело овладевает представление о смерти.

— Еще жить не начинал — и вдруг смерть! — терзается он,— за что?

Воспоминания толпою проходили перед ним, но были однообразны и исчерпывались одним словом: «ученье». Припоминались товарищи по гимназии, учителя, родные, но все это заслонялось «ученьем». Лиц почти не существовало; их заменяло отвлеченное понятие, которое, в сущности, даже не давало пищи для ума. Ученье для ученья —

вот тема, которая вконец измучила его. Только в последнее время, в Петербурге, он начал понимать, что за ученьем может стоять целый разнообразный мир отношений. Что существует общество, родная страна, дело, подвиг... Что все это неудержимо влечет к себе человека; что знание есть не больше, как подготовка; что экзаменами и переходами из курса в курс не все исчерпывается...

Жизнь представлялась ему в виде необъятного пространства, переполненного непрерывающимся движением. Тут всё: и добро и зло, и праздность и труд, и ненависть и любовь, и пресыщение и горькая нужда, и самодовольство и слезы, слезы без конца... Вот куда предстояло ему идти, вот где не жаль было растратить молодые силы! В нумерах у Анны Ивановны, в общей столовой, часто велись разговоры на эту тему, и он жадно к ним прислушивался. Даже больной, он кое-как переходил в столовую и чувствовал, как молодые речи и страстные стремления постепенно освещали его существо, зажигали его душу смутными, но уже неодолимыми стремлениями...

И что же! — едва занялась заря осмысленного существования, как за нею уже стоит смерть!

— Тяжело умирать? — спрашивал он Анну Ивановну.

— Что вы всё про смерть да про смерть! — негодовала она,— ежели всё так будете, я и сидеть с вами не стану. Слушайте-ка, что я вам скажу. Я сама два раза умирала; один раз уж совсем было... Да сказала себе: не хочу я умирать — и вот, как видите. Так и вы себе скажите: не хочу умереть!

— Нет, что! мне теперь легко; хотелось бы, однако, признаки знать. Ежели люди вообще тяжело умирают, стало быть, еще я, пожалуй, и продержусь. Но чахоточные, говорят, умирают почти незаметно, так вот это...

Студент-медик тоже разуверял его, говорил, что у него не чахотка, а просто бронхи не в порядке; и это, конечно, может перейти в чахотку, ежели не принять мер.

— Вот пройдет весенняя сумятица — и вам легче будет,— говорил студент,— поедете домой — там совсем другой будете. Только в Петербург уж — шабаш! Ежели хотите учиться, так отправляйтесь в другое место.

— А тяжело умирать? — добивался от него Чудинов.

— Смерть никогда не легка, особливо ежели ей предшествует продолжительный болезненный процесс. Бывает, что люди годами выносят сущую пытку, и все-таки боятся умереть. Таков уж инстинкт самосохранения в чело-

веке. Вот внезапно, сразу умереть — это, говорят, ничего.

Благодаря этим разуверениям он ободрился и стал светлее смотреть на будущее. Конечно, дверь ученья для него уже закрыта, но он как-нибудь доберется до дома, отдохнет, выправится и непременно выполнит ту задачу, которая в последнее время начала волновать его. Надо идти туда, где сгустился мрак, откуда слышатся стоны, куда до такой степени не проник луч сознательности, что вся жизнь кажется отданною в жертву неосмысленному обычаю,— и не слышно даже о стремлении освободиться от оков его. Там достаточно и тех знаний, которыми он уже обладает, а ежели их окажется мало, то он восполнит этот недостаток любовью, самоотвержением.

Наконец, есть книги. Он будет читать, найдет в чтении материал для дальнейшего развития. Во всяком случае, он даст, что может, и не его вина, ежели судьба и горькие условия жизни заградили ему путь к достижению заветных целей, которые он почти с детства для себя наметил. Главное, быть бодрым и не растрачивать попусту того, чем он уже обладал.

В его воображении рисовалась деревня. В сущности, впрочем, он знал ее очень мало, хотя и провел все детство обок с нею. Главный материал для знакомства с деревенским бытом ему дали собеседования с новыми знакомцами по общей квартире, но в материале этом было слишком много дано места романическому «несчастному» и упускалось из вида конкретное, упорствующее, не поддающееся убеждению. Деревня, которую видело его умственное око, была деревня идеальная, так сказать предрасположенная. Он представлял себе, что нужно только придти, и не задавался вопросом, как будет принят его приход. Согласны ли будут скованные преданием люди сбросить с себя иго этого предания? Не пустило ли последнее настолько глубокие корни, что для извлечения их, кроме горячего слова, окажутся нужными и другие приемы? в чем состоят эти приемы? Быть может, в отождествлении личной духовной природы пришельца с подавленностью, охватившею духовный мир аборигенов?

В сущности, однако ж, в том положении, в каком он находился, если бы и возникли в уме его эти вопросы, они были бы лишними или, лучше сказать, только измучили бы его, затемнили бы вконец тот луч, который хоть на время осветил и согрел его существование. Все равно, ему ни идти никуда не придется, ни задачи никакой

выполнить не предстоит. Перед ним широко раскрыта дверь в темное царство смерти — это единственное ясное разрешение новых стремлений, которые волнуют его.

Наступило тепло; он чаще и чаще говорил об отъезде из Петербурга, и в то же время быстрее и быстрее угасал. Недуг не терзал его, а изнурял. Голова была тяжела и вся в поту. Квартирные жильцы следили за ним с удвоенным вниманием и даже с любопытством. Загадка смерти стояла так близко, что все с минуты на минуту ждали ее разрешения.

Однажды ночью, когда никого около него не было, он потянулся, чтобы достать стакан воды, стоявший на ночном столике. Но рука его застыла в воздухе...

Схоронили его на Митрофаньевском кладбище. Ни некролога, ни даже простого извещения об его смерти не было. Умер человек, искавший света и обревший — смерть.

АНГЕЛОЧЕК

Верочка так и родилась ангелочком. Когда ее maman[1], Софья Михайловна Братцева, по окончании урочных шести недель, вышла в гостиную, чтобы принимать поздравления гостей, то Верочка сидела у нее на коленях, и она всем ее показывала, говоря:

— Не правда ли, какой ангелочек!

Гости охотно соглашались, и с тех пор за Верочкой утвердилось это прозвище навсегда.

Софья Михайловна без памяти любила своего ангелочка и была очень довольна, что после дочери у нее не было детей. Приращение семейства заставило бы ее или разделить свою нежность, или быть несправедливою к другим детям, так как она дала себе слово всю себя посвятить Верочке. Еще на руках у мамки ангелочка одевали как куколку, а когда отняли ее от груди, то наняли для нее француженку-бонну. От бонны она получила первые основания религии и нравственности. Уж пяти лет, вставая утром и ложась на ночь, она лепетала: «Dieu tout-puissant! rendez heureuse ma chère mère! veuillez qu'un faible enfant, comme moi, reste toujours digne de son affection, en pratiquant la vertu et la proprеtè»[2].

— Ишь ведь... et la proprеtè! — удивился однажды Ардальон Семеныч Братцев, случайно подслушав эту странную молитву,— а обо мне, ангелочек, молиться не нужно?

— Papa,— отвечала Верочка,— je sais que vous ètes l'auteur de mes jours, mais c'est surtout ma mère que je chèrie[3].

— Ну, ладно! вот ужо я тебя за непочтительность наследства лишу!

Супруги Братцевы жили очень дружно. Оба были молоды, красивы, веселы, здоровы и пользовались хорошими средствами. У обоих живы были родители, которые в изобилии снабжали молодых супругов деньгами. И старики

---

[1] маменька *(фр.)*.

[2] Боже всемогущий! Пошли счастье моей милой маме! Сделай слабого ребенка, как я, достойным ее привязанности и сохрани его в добродетели и чистоте *(фр.)*.

[3] Папа, я знаю, что вы виновник моих дней, но я больше всего люблю маму *(фр.)*.

и молодые жили в согласии. В особенности Софья Михайловна старалась угодить свекру и свекрови, и называла их не иначе, как papa и maman. Ардальон Семеныч поступал несколько вольнее и называл тестя «скворушкой» («скворушке каши!» — кричал он, завидев в дверях старика), а тещу — скворешницей, из которой улетели скворцы. Сначала это несколько коробило Софью Михайловну, которая не раз упрекала мужа за его шутки.

— Разве я называю твоего папа́ дятлом? — выговаривала она; но вскоре сама как будто убедилась, что иначе отца ее и нельзя назвать, как скворушкой, и всякие пререкания на этот счет сами собой упали.

Доброму согласию супругов много содействовало то, что у Ардальона Семеныча были такие сочные губы, что, бывало, Софья Михайловна прильнет к ним и оторваться не может. Сверх того, у него были упругие ляжки, на которых она любила присесть. Сама она была вся мягкая. Оба любили оставаться наедине, и она вовсе не была в претензии, когда он, взяв ее на руки, носил по комнатам и потом бросал ее на диван.

— Ардашка... дерзкий! — выговаривала она, но таким тоном, что Ардальон Семеныч слышал в ее словах не предостережение, а поощрение.

Первые проблески какого-то недоразумения появились с рождением Верочки. Софья Михайловна вдруг почувствовала, что она чем-то pénétrée[1], что она сделалась une sainte[2] и что у нее завелись les sentiments d'une mère[3]. Словом сказать, с языка ее посыпался весь лексикон пусторечия, который представляет к услугам каждого французский язык. Она реже захаживала в кабинет мужа, реже присаживалась к нему на колени и целые дни проводила в совещаниях с охранительницами Верочкиной юности. Какое сделать Верочке платьице? какими обшить кружевами ее кофточки? какие купить башмачки? Супружеская любовь бледнела перед les sentiments d'une mère. Даже встречаясь с мужем за завтраком и обедом, она редко обращала к нему речь и не переставая говорила с гувернанткой (когда Верочке минуло шесть лет, то наняли в дом и англичанку, в качестве гувернантки) и бонной. И все об ангелочке.

— Не правда ли, какая она милая? как отлично усвои-

[1] одухотворена (*фр.*).
[2] святой (*фр.*).
[3] материнские чувства (*фр.*).

вает себе языки? и как вкусно молится? Верочка! ведь ты любишь бога?

— Мы все должны любить бога,— отвечала Верочка рассудительно.

— Да, потому что он добр и может нам дать много, много всего. И ангелов его нужно любить, и святых... ведь ты любишь?

— Oh! maman!

На первых порах у Ардальона Семеныча в глазах темнело от этих разговоров. Он судорожно сучил ногами под столом, находил соус неудачным, вино — отвратительным, сердился, сыпал выговорами. Но наконец смирился. Стал реже и реже появляться к обеду и завтраку, предпочитая пропитываться в ресторанах, где, по крайней мере, говорят только о том, о чем действительно говорить надлежит. Верочку он не то чтобы возненавидел, а сделался к ней совершенно равнодушным. Англичанку переносил с трудом, француженку-бонну видеть не мог.

— Черт с вами! — решил он и откровенно объявил жене, что ежели эти порядки будут продолжаться, то он совсем из дома убежит.

Софья Михайловна слегка задумалась, но les sentiments d'une mère превозмогли.

— Как вам угодно,— ответила она холодно, впервые употребляя церемонное «вы»,— не могу же я ради вашего каприза оставить единственное сокровище, которое я получила от бога! Скажите, пожалуйста, за что вы возненавидели вашу дочь?

— Не дочь я возненавидел, а ваши дурацкие разговоры.

— Ничего в наших разговорах дурацкого нет!

— Лошадь одуреет, не то что человек,— вот какие это разговоры!

— Нет, ты докажи!

Но Ардальон Семеныч вместо доказательств взял шляпу и, посвистывая, ушел из дома.

Натянутости явной еще не было, но охлаждение уже существовало.

Ангелочек между тем рос. Верочка свободно говорила по-французски и по-английски, но несколько затруднялась с русским языком. К ней, впрочем, ходила русская учительница (дешевенькая), которая познакомила ее с краткой грамматикой, краткой священной историей и первыми правилами арифметики. Но Софья Михайловна чувствовала, что

чего-то недостает, и наконец догадалась, что недостает немки.

— Как это я прежде не вздумала! — сетовала она на себя,— ведь со временем ангелочек, конечно, будет путешествовать. В гостиницах, правда, везде говорят по-французски, но на железных дорогах, на улице...

Тут же кстати, к великому своему огорчению, Софья Михайловна сделала очень неприятные открытия. К француженке-бонне ходил мужчина, которого она рекомендовала Братцевой в качестве брата. А так как Софья Михайловна была доброй родственницей, то желала, чтобы и живущие у нее тоже имели хорошие родственные чувства.

— Что же вы не идете к брату? — говорила она бонне,— сегодня воскресенье — идите!

Оказалось, однако ж, что это совсем не брат, а любовник, и — о ужас! — что не раз, с пособием судомойки, он проникал ночью в комнату m-lle Thèrèse, рядом с комнатой ангелочка!

Кроме того, около того же времени, у Софьи Михайловны начали пропадать вещи. Сначала мелкие, а потом и покрупнее. Наконец пропал довольно ценный фермуар. Воровкою оказалась англичанка...

— Вот это что называется èducation morale et religieuse![1] — трунил над женой Ардальон Семеныч.

В дом взяли немку, так как немки (кроме гамбургских) исстари пользуются репутацией добродетельных. Француженка и англичанка (тоже вновь приусловленные) должны были приходить лишь в определенные дни и часы.

Немка была молодая и веселая. Сам Ардальон Семеныч с ее водворением повеселел. По-немецки он знал только две фразы: «Leben Sie wohl, essen Sie Kohl»[2] и «Wie haben Sie geworden gewesen»[3], и этими фразами неизменно каждый день встречал появление немки в столовой. Другой это скоро бы надоело, но фрейлейн Якобсон не только не скучала любезностями Братцева, но постоянно встречала их веселым хохотом.

— Вот твой разговор с немкой так действительно дурацкий! — говорила мужу Софья Михайловна, когда они оставались наедине.

— А ты докажи! — дразнил он ее.

Софья Михайловна, в свою очередь, ничего доказать

[1] нравственное и религиозное воспитание! *(фр.)*
[2] «Будьте здоровы, ешьте капусту» *(нем.)*.
[3] Бессмысленное сочетание глагольных форм. *(Ред.)*

не могла и только целыми днями дулась. Можно было предвидеть, что немке недолго ужиться у нее, если бы Софья Михайловна не сообразила, что ежели откажет гувернантке, то, чего доброго, Ардальон Семеныч и на стороне ее устроит.

— Теперь она все-таки у меня на глазах, а там... Ведь это такой бессовестный человек, что он и ангелочка не пожалеет... все состояние на немок спустит!

Все это тем больше беспокоило ее, что не к кому было обратиться за советом. И скворец, и скворешница, и дятел, и жена его — все перемерло, так что Ардальон Семеныч остался полным властелином и состояния, и действий своих.

Наконец Верочка достигла двенадцати лет, и надо было серьезно подумать о воспитании ее. Кто знает, что такое les sentiments d'une mère, тот поймет, как тревожилась Софья Михайловна, думая о будущем своего ангелочка. Et ceci, et cela[1]. И науки, и подарок к дням именин и рождения — обо всем надо было подумать. Увы! ей даже помочь никто не хотел, потому что Ардальон Семеныч продолжал выказывать «адское равнодушие» к своему семейству. И приятельницы у нее были какие-то бесчувственные: у каждой свои ангелочки водились, так что начнет она говорить о Верочке, а ее перебивают рассказами о Лидочке, Сонечке, Зиночке и т. д. Но провидение само указало ей путь. В то время самым модным учебным заведением считался пансион благородных девиц m-lle Тюрбо. Все науки проходились у нее в лучшем виде и в такой полноте, что из курса не исключались даже начатки философии (un tout petit peu, vous savez? — pour faire travailler l'imagination![2]). Учителя были всё отборные: Жасминов, Гелиотропов, Гиацинтов, Резедин, француз Essbouquet[3], немец Кейнгерух[4] (довольно с немца и этого) и проч. Священник Карминов приходил на урок в муаровой рясе. Нравственностью заведовала сама m-lle Тюрбо и ее помощница, m-lle Эперлан.

Заведение существовало уже с давних пор и всегда славилось тем, что выходившие из него девицы отличались доброю нравственностью, приятными манерами и умели

---

[1] И то и се *(фр.)*.

[2] совсем немножко, вы понимаете? — надо заставить работать воображение! *(фр.)*

[3] Эсбуке (наименование духов.—*Ред.*).

[4] Kein Geruch — без запаха.

говорить un peu de tout[1]. Они знали, что был некогда персидский царь Кир, которого отец назывался Астиагом; что падение Западной Римской империи произошло вследствие изнеженности нравов; что Петр Пустынник ходил во власянице; что город Лион лежит на реке Роне и славится шелковыми и бархатными изделиями, а город Казань лежит при озере Кабане и славится казанским мылом. Юпитер был большой волокита, а Юнона была за ним очень несчастна и обратила Ио в корову. А Святослав сражался с Цимисхием и сказал: «Не посрамим земли русския!» Это он сказал, а совсем не генерал Прокофьев, как утверждают некоторые историки. Словом сказать, все выходило так, что ни одна воспитанница m-lle Тюрбо не ударила в грязь лицом и не уронила репутации заведения.

Основателем пансиона был m-r Тюрбо, отец нынешней содержательницы. Он был вывезен из Франции, в качестве воспитателя, к сыну одного русского вельможи, и когда воспитание кончилось, то ему назначили хорошую пенсию. М-r Тюрбо уже намеревался уехать обратно в родной Карпантра́, как отец его воспитанника сделал ему неожиданное предложение.

— А что, Тюрбо,— сказал он ему,— если бы вы перешли в православную веру?

— С удовольствием,— ответил Тюрбо.

— А я вам помогу устроиться в Петербурге навсегда...

— С у-до-воль-стви-ем! — с чувством повторил Тюрбо, целуя своего покровителя в плечо.

И не дальше как через месяц все семейство Тюрбо познало свет истинной веры, и сам Тюрбо, при материальной помощи русского вельможи, стоял во главе пансиона для благородных девиц, номинальной директрисой которого значилась его жена.

С этих пор заведение Тюрбо сделалось рассадником нравственности, религии и хороших манер. По смерти родителей его приняла в свое заведование дочь, m-lle Caroline Turbot, и, разумеется, продолжала родительские традиции. Плата за воспитание была очень высока, но зато число воспитанниц ограниченное, и в заведение попадали только несомненно родовитые девочки. Интерната не существовало, потому что m-lle Тюрбо дорожила вечерами и посвящала их друзьям, которых у нее было достаточно.

— Днем я принадлежу обязанностям, которые налагает

[1] обо всем понемногу *(фр.)*.

на меня отечество,— говорила она, разумея под отечеством Россию,— но вечер принадлежит мне и моим друзьям. А впрочем, что ж! ведь и вечером мы говорим всё о них, всё о тех же милых сердцу детях!

Когда Софья Михайловна привезла Верочку в пансион, то m-lle Тюрбо сразу назвала ее ангелочком.

— Ах, какой ангелочек! и какая вы счастливая мать! — воскликнула она, любуясь девочкой, которая действительно была очень миловидна.

— Само провидение привело меня к вам, m-lle Caroline! — отвечала Софья Михайловна комплиментом за комплимент и крепко пожала руку директрисе.

Верочка начала ходить в пансион и училась прилежно. Все, что могли дать ей Жасминов, Гиацинтов и проч., она усвоила очень быстро. Сверх того, научилась танцевать качучу, а манерами решительно превзошла всех своих товарок. Это было нечто до такой степени мягкое, плавное, но в то же время не изъятое и детской непринужденности, что сама Софья Михайловна удивлялась.

— И откуда это у тебя, ангелочек, такие прелестные манеры! — восхищалась она.

— Стараюсь, maman, подражать тем, кого я люблю,— скромно отвечал ангелочек.

— Их вахмистр манерам учит,— совсем некстати вмешивался Ардальон Семеныч.

Но и с ангелочком случались приключения, благодаря которым она становилась в тупик. Однажды Essbouquet задал сочинение на тему: «Que peut dire la couleur bleue?»[1] Верочка пришла домой в большой тревоге.

— Que peut dire la couleur bleue, maman? — спросила она мать за обедом.

— Что такое... la couleur bleue? — удивилась Софья Михайловна.

— Нам француз на эту тему к послезавтраму сочинение задал,— объяснила Верочка.

— Эк вывез! — заметил Ардальон Семеныч.

— Ах, да... понимаю! — догадалась наконец Софья Михайловна,— о чем бы, однако ж, голубой цвет мог говорить? Ну, небо, например, l'azur des cieux...[2] понимаешь! Голубое небо... Над ним ангелы... les chérubins, les séraphins...[3] все, все голубое!.. Разумеется, это надо распространить, допол-

---

[1] «О чем может говорить голубой цвет?» *(фр.)*

[2] небесная лазурь... *(фр.)*

[3] херувимы, серафимы *(фр.)*.

нить — тут целая картина! Что бы еще, например?.. Ну, например, невеста... Голубое платье, голубые ботинки, голубая шляпка... вся в голубом! Чистая, невинная... разумеется, и это надо распространить... Что бы еще?..

— Ну, например, голубой жандарм,— подсказал Ардальон Семеныч.

— А что бы ты думал! жандарм! ведь они охранители нашего спокойствия. И этим можно воспользоваться. Ангелочек почивает, а добрый жандарм бодрствует и охраняет ее спокойствие... Ах, спокойствие!.. Это главное в нашей жизни! Если душа у нас спокойна, то и мы сами спокойны. Ежели мы ничего дурного не сделали, то и жандармы за нас спокойны. Вот теперь завелись эти... как их... ну, все равно... Оттого мы и неспокойны... спим, а во сне все-таки тревожимся!

— О! черт побери! — простонал Ардальон Семеныч.

Немка неосторожно хихикнула; Софья Михайловна обвела ее молниеносным взглядом, отодвинула сердито тарелку и весь остаток обеда просидела надутая.

В другой раз Верочка вбежала в квартиру, восторженно крича:

— Мамаша! я оступилась!

— Как оступилась? — встревожилась Софья Михайловна,— садись, покажи ножку!

— Это, maman, нам мосье Жасминов сочинение на тему «Она оступилась» задал.

— Ah! c'est trop fort!»[1] — подумала Софья Михайловна и решилась немедленно объясниться с m-lle Тюрбо.

Она знала, что слово «оступиться» употребляется в смысле, довольно не подходящем для детской невинности. «Она оступилась, но потом вышла замуж», или: «она оступилась, и за это родители не позволили ей показываться им на глаза» — вот в каком смысле употребляется это слово в «свете». Неужели ангелочек может когда-нибудь оступиться? Неужели нужно наводить его на подобные мысли, заставлять доискиваться их значения? Вот уж этого-то не ожидала она от m-lle Тюрбо! Она скорее склонна была думать, что старая девственница сама не подозревает значения подобных выражений, и вдруг — прошу покорно!

В это утро у m-lle Тюрбо уж перебывало немало встревоженных матерей по этому же поводу, и потому она встретила Софью Михайловну уже подготовленная.

---

[1] «О! это уже слишком!» *(фр.)*

— Ah, chére madame![1] — объяснила она,— что же в этой теме дурного — решительно не понимаю! Ну, прыгал ваш ангелочек по лестнице... ну, оступился... попортил ножку... разумеется, не сломал — о, сохрани бог! — а только попортил... После этого должен был несколько дней пролежать в постели, манкировать уроки... согласитесь, разве все это не может случиться?

— Да, ежели в этом смысле... но я должна вам сказать, что очень часто это слово употребляется и в другом смысле... Во всяком случае, знаете что? попросите мосье Жасминова — от меня! — не задавать сочинений на темы, которые могут иметь два смысла! У меня живет немка, которая может... о, вы не знаете, как я несчастлива в своей семье! Муж мой... ох, если б не ангелочек!..

— Не доканчивайте! Я понимаю вас! Желание ваше будет выполнено! — горячо ответила m-lle Тюрбо, пожимая посетительнице руки.— Pauvre ange délaissé![2]

Наконец (ангелочку уж шел шестнадцатый год), Верочка пожаловалась мамаше, что танцмейстер Тушату хватает ее за коленки. Известие это окончательно взорвало Софью Михайловну. Во-первых, она в первый раз только сообразила, что у ангелочка есть коленки, и, во-вторых — какая дерзость! Неужто какой-нибудь Тушату воображает... mais c'est odieux![3] Когда она была молоденькая и Ardalion, в первый раз, схватил ее за коленки,— о, она отлично помнит этот момент! Она никогда не забудет, как покойница maman («скворешница!» — мелькнуло у нее в голове) бранила ее за это!

— Твои коленки, как вообще все твое, принадлежат будущему! — выговаривала старая скворешница,— и покуда ты не объявлена невестой, ты не должна расточать...

Она сообщила об этом выговоре Ардаше, и он в тот же вечер поспешил сделать предложение. Ну, после этого, конечно... о! это была целая поэма!

Вследствие этого эпизода Софья Михайловна окончательно поссорилась с m-lle Тюрбо и взяла ангелочка из пансиона. Курс еще не кончен, но Верочке через каких-нибудь два месяца шестнадцать лет — надо же когда-нибудь! Она уж достаточно знает и о том, что может говорить голубой цвет, и о том, что может случиться, если девушка оступится, прыгая по лестнице. И вот ее уж на-

[1] дорогая мадам! *(фр.)*
[2] Бедный покинутый ангелочек! *(фр.)*
[3] но это же гнусно! *(фр.)*

чинают за колени хватать — довольно с нее! К тому же зимний сезон кончился, скоро предстояли сборы в деревню; там Верочка будет гулять, купаться, ездить верхом и вообще наберется здоровья, а потом, в октябре, опять наступит зимний сезон. Они возвратятся в Петербург и сделают для ангелочка первый бал.

За обедом только и было разговору, что о будущих выездах и балах. Будут ли носить талию с такими же глубокими вырезами сзади, как в прошлый сезон? Будут ли сзади под юбку подкладывать подставки? Чем будут обшивать низ платья?

— Soignez vos épaules, mon ange[1],— тревожно наставляла дочь Софья Михайловна,— плечи — это в бальном наряде главное.

Увы! Ардальон Семеныч уже не только не возмущался этими разговорами, но внимал им совершенно послушно. В последнее время он весь отдался во власть мадеры, сделался необыкновенно тих и только изредка сквозь зубы цедил:

— Черти!

Все именно так и случилось, как предначертала Софья Михайловна. За лето Верочка окрепла и нагуляла плечи, не слишком наливные, но и не скаредные — как раз в меру. В декабре, перед рождеством, Братцевы дали первый бал. Разумеется, Верочка была на нем царицей, и князь Сампантре́ смотрел на нее из угла и щелкал языком.

— Maman! это был волшебный сон! — восторженно восклицал ангелочек, вставши на другой день очень поздно.— Ты дашь еще другой такой бал?

— Об этом надо еще подумать, ангелочек: такие балы обходятся слишком дорого. Во всяком случае, на следующей неделе будет бал у Щербиновских, потом у Глазотовых, потом в «Собрании», а может быть, и князь Сампантре́ даст бал... для тебя... Кстати, представил его тебе вчера папаша?

— Да, представил... Ах, какой у него смешной нос!

— Не в носу дело,— резонно рассудила мать,— а в том, что, кроме носа, у него... впрочем, это ты в свое время узнаешь!

Сезон промчался незаметно. Визиты, театры, балы — ангелочек с утра до вечера только и делал, что раздевался и одевался. И всякий раз, возвращаясь домой усталая,

---

[1] Береги плечи, ангелочек *(фр.)*.

но вся пылающая от волнения, Верочка кидалась на шею к матери и восклицала:

— Мама! мама! это... волшебный сон!

Наконец, уже перед масленицей, князь Сампантре́ дал ожидаемый бал. Он открыл его польским в паре с Софьей Михайловной и первую кадриль танцевал с Верочкой, которая не спускала глаз с его носа, точно хотела выучить его наизусть.

Постом пошли рауты; но Братцевы выезжали не часто, потому что к ним начал ездить князь Сампантре́. Наконец, на святой, он приехал утром, спросил Софью Михайловну и открылся ей. Верочка в это время сидела в своем гнездышке (in vrai nid de colibri[1]), как вдруг maman, вся взволнованная, вбежала к ней.

— Пойдем! он сделал предложение! — сказала она шепотом, точно боясь, чтобы кто-нибудь не услышал и не расстроил счастья ее ангелочка.

Верочка вспомнила про нос и слегка поморщилась. Но потом вспомнила, что у Сампантре́ есть кое-что и кроме носа,— и встала.

— Идем же! — торопила ее мать.

Дело кончилось в двух словах. Решено было справить свадьбу в имении Сампантре́ в будущем сентябре, в тот самый день, когда ангелочку минет семнадцать лет.

Девическая жизнь ангелочка кончилась. В семнадцать лет она уже успела исчерпать все ее содержание и приготовиться быть доброю женою и доброю матерью.

Теперь она пишет себя на карточках: «княгиня Вера Ардалионовна Сампантре́, рожденная Братцева». Но maman по-прежнему называет ее «ангелочком».

---

[1] настоящее гнездышко колибри (*фр.*).

ХРИСТОВА НЕВЕСТА[1]

В начале семидесятых годов Ольга Васильевна Ладогина, девятнадцати лет, вышла из института и прямо переселилась в деревню к отцу. В то время, когда более счастливые товарки разъезжались по Москве, чтобы вступить в свет, в самом разгаре сезона, за Ольгой приехала няня, переодела ее в «собственное» платье и увезла на постоялый двор, где она остановилась. На постоялом дворе отобедали деревенской провизией, подкормили лошадей и сели в возок; дело было в начале зимы. Отцовская усадьба стояла от Москвы с лишком в ста верстах, так что на «своих» они приехали только на третий день к обеду.

Василий Федорыч Ладогин был больной старик. Болезнь была хроническая, неизлечимая, так что он редко вставал с кресла и с трудом бродил по комнатам. В шестьдесят лет и без того плохие радости, а тут еще навязался недуг. Никто к нему не ездил, кроме лекаря, который раз в неделю наезжал из города. Лекарь был молодой человек, лет двадцати шести, но уже обремененный семейством. Может быть, вследствие этого он был молчалив, смотрел угнетенно и вообще представлял мало ресурсов. Всегда одинокий, больной и угрюмый, Василий Федорыч считал себя оброшенным и не видел иного выхода из этой оброшенности, кроме смерти.

Детей у него было двое: сын Павел, лет двадцати двух, который служил в полку на Кавказе, и дочь, которая оканчивала воспитание в одном из московских институтов. Сын не особенно радовал; он вел разгульную жизнь, имел неоднократно «истории», был переведен из гвардии в армию и не выказывал ни малейшей привязанности к семье. Дочь была отличная и скромная девушка, но отцу становилось жутко, когда он раздумывался о ней. Ей предстояло коротать жизнь в деревне, около него, и только смерть его могла избавить ее от этого серого, безнадежного будущего. Была у него, правда, родная сестра, старая девица, которая скромно жила в Петербурге в небольшом кругу «хороших людей» и тревожилась всевозможными передовыми вопросами. Василий Федорыч думал поселить Ольгу вместе с

[1] Этим именем на народном языке называются старые девушки, которым не посчастливилось выйти замуж. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

нею, и Надежда Федоровна охотно соглашалась на это, но Ольга решительно отказалась исполнить желание отца. Ей казалось, что ее место около больного старика, и деревенское заточение не только не пугало ее, но рисовалось в ее воображении в самых заманчивых красках. Большой дом, обширные комнаты, парк с густыми аллеями; летом — воздух пропитан ароматами, парк гремит пением птиц; зимой — деревья задумчиво помавают обнаженными вершинами, деревня утопает в сугробах; во все стороны далеко-далеко видно. И тот и другой пейзаж имеют свою прелесть; первый представляет ликование, жизнь; второй — задумчивое, тихое умирание.

Но, кроме наслаждений, представляемых природой, ей предстоят в деревне и различные обязанности. Она выберет несколько деревенских девочек и будет учить их; она будет посещать бедных крестьян, помогать лечить. Конечно, она совсем не знает медицины, но, с помощью хорошего лечебника и советов уездного лекаря, этот недостаток легко устранить. Сверх того, перед нею раскрывалась широкая область сельскохозяйственной деятельности. Летом — ходить в поля, смотреть, как пашут, жнут; зимою — сводить счеты. Вообще работы предстояло достаточно.

Состояние у Ладогиных было хорошее, так что они могли жить, ни в чем не нуждаясь. С этой стороны будущее детей не пугало Василия Федорыча. Его пугало, что сын вышел неудачный, а дочь останется одинокою. Он с горечью думал о тех счастливых семьях, где много родных и родственные связи упрочились крепко. По крайней мере, для молодых людей есть верный приют, особливо ежели не существует значительной разницы в материальных средствах. Горько являться в качестве бедной родственницы; но, не имея нужды в куске, всегда можно надеяться на радушный прием. Вот если бы Ольга вышла замуж — это было бы отличным исходом и для нее и для брата. И брат мог бы приютиться в семье сестры и сделаться там человеком. Но на замужество Ольги надежда была плохая, особливо с тех пор, как она отказалась поселиться у Надежды Федоровны. Кто ее увидит в деревенской глуши? Кому она здесь нужна, кроме безнадежно больного старика отца?

Сверх того, старик не скрывал от себя, что Ольга была некрасива (ее и в институте звали дурнушкой), а это тоже имеет влияние на судьбу девушки. Лицо у нее было широкое, расплывчатое, корпус сутулый, приземистый. Не

могла она нравиться. Разве тот бы ее полюбил, кто оценил бы ее сердце и ум. Но такие ценители вообще представляют исключение, и уж, разумеется, не в деревне можно было надеяться встретить их.

Едва приехала Ольга Васильевна в деревню, как сразу же погрузилась в беспробудную тишину. Старик отец почти не покидал кресла и угрюмо молчал; в комнатах было пусто и безмолвно. Стук часового маятника, скрип собственных шагов — все с такою гулкостью раздавалось в комнатах, что, по временам, она даже пугалась. Пейзаж, открывавшийся перед окнами, был необыкновенно уныл. Деревья в парке грузно опустили отягченные инеем ветви и едва шевелили ими; речка застыла; изредка вдали показывался проезжий, и тот словно нырял в сугробах, то показываясь на дороге, то исчезая. Белая церковь выступила вперед своей колокольней, точно сбираясь сойти с пригорка и что-то возвестить. Вправо от нее, сквозь обнаженный фруктовый сад, чернел сельский поселок, но издали казалось, что и он словно замер. Прислуга, пользуясь нездоровьем барина, редко показывалась в доме, за исключением старого камердинера, который постоянно дремал в передней. Только на мельнице, в некотором расстоянии от усадьбы, замечалось движение; но туда Ольга идти не решалась: она еще боялась сразу вступать на арену хозяйственной деятельности.

Вечером зажигались огни по всей анфиладе комнат, где проводил свой день старый барин. Старик любил освещенные комнаты; они одни напоминали ему о жизни. Ольга садилась около него и читала; но старик даже от чтения, во время долгой болезни, отвык. Тогда она пересаживалась с книгой к столу и читала про себя, покуда отца не уводили спать. Книг в доме оказалось много, и почти все в них было для нее ново. Это до известной степени наполняло ту вынужденную праздность, на которую она была обречена. Она все чего-то ждала, все думала: вот пройдет месяц, другой, и она войдет в настоящую колею, устроится в новом гнезде так, как мечтала о том, покидая Москву, будет ходить в деревню, наберет учениц и проч. Тогда и деревенская тишь перестанет давить ее своим гнетущим однообразием.

В ожидании минуты, когда настанет деятельность, она читала, бродила по комнатам и думала. Поэтическая сторона деревенской обстановки скоро исчерпалась; гудение внезапно разыгравшейся метели уже не производило впечатления;

бесконечная белая равнина, с крутящимися по местам, словно дым, столбами снега, прискучила; тишина не успокоивала, а наполняла сердце тоской. Сердце беспокойно билось, голова наполнялась мечтаниями.

Она старалась гнать их от себя, заменять более реальною пищею — воспоминаниями прошлого; но последние были так малосодержательны и притом носили такой ребяческий характер, что останавливаться на них подолгу не представлялось никакого резона. У нее существовал, впрочем, в запасе один ресурс — долг самоотвержения, относительно отца, и она охотно отдалась бы ему; но старик думал, что стесняет ее собою, и предпочитал услугу старого камердинера.

— Ужели все так живут? — повторяла она, вперяя взор в бесконечную даль.

Нет, есть другие, которые живут по-иному. Даже у нее под боком шла жизнь, положим, своеобразная и грубая, но все-таки жизнь.

По временам раздавалось то в той, то в другой передней хлопанье дверьми — это означало, что кто-нибудь из прислуги пришел и опять уходит. В этот дом приходили только на минуту и сейчас же спешили из него уйти, точно он был выморочный. Даже старуха нянька — и та постоянно сидела в людской. Там было весело, оживленно; там слышался человеческий голос, человеческий смех; там о чем-то думалось, говорилось. Она одна ничего не слышала, кроме тиканья раскачивающегося маятника, скрипа собственных шагов да каких-то таинственных шепотов, которые по временам врывались в общее безмолвие с такою ясностью, что ей становилось жутко. Хотя бы птицу или собаку ей кто-нибудь подарил — все было бы веселее. Нет, одна, всегда одна. Какую такую поэзию она себе воображала, когда сюда ехала?

Периодический приезд лекаря несколько оживлял ее. Несмотря на угнетенный вид, молчаливость, все же это был человек. Сам он, положим, вопросов не делал, но на посторонние вопросы отвечал. К тому же наружность его была довольно симпатичная: бледное лицо, задумчивые большие глаза, большой лоб, густые черные волосы. Очень возможно, что печать угнетенности легла на него неспроста. Слухи носились, что он женился очень несчастливо, на вдове, которая была гораздо старше его и которая содержала меблированные комнаты, где он жил. Там он с нею и познакомился. Но насколько в этой истории было правды —

она не знала, и только видела, что в жизни доктора было что-то загадочное. Случалось ей по временам и разговориться с ним, но разговоры были короткие.

— Вы женаты? — однажды спросила она его во время обеда.

— Женат,— ответил он односложно.

— И семейство есть?

— Четверо детей.

— Скажите, веселятся в городе? бывают собрания, вечера?

— Не знаю; я очень мало имею знакомств и никуда не езжу.

— Что так?

— Жизнь так сложилась. Скучная жизнь.

Она инстинктивно подумала: «Какой молодой и уже связал себя!» — но тут же спохватилась: с чего ей вздумалось жалеть, что он «связан», и краска разлилась по ее лицу.

— Да, нельзя сказать, чтобы весело было жить,— сказала она.

— Скучно, скучно, скучно! — три раза повторил он,— и, главное, бесполезно.

— Не слишком ли резко вы выразились?

— Нет; вы сами на себе это чувство испытываете, а ежели еще не испытываете, то скоро, поверьте мне, оно наполнит все ваше существо. Зачем? почему? — вот единственные вопросы, которые представляются уму. Всю жизнь нести иго зависимости, с утра до вечера ходить около крох, слышать разговор о крохах, сознавать себя подавленным мыслью о крохах...

— Но ведь я о крохах не думаю, а мне тоже скучно.

— Нет, и ваша жизнь переполнена крохами, только вы иначе их называете. Что вы теперь делаете? что предстоит вам в будущем? Наверно, вы мечтаете о деятельности, о возможности быть полезною; но разберите сущность ваших мечтаний, и вы найдете, что там ничего, кроме крох, нет.

— Я еще не приступила ни к чему, а вы уже заранее пугаете меня.

— Извините. Я вообще и неумел и необщителен. Так сказалось, спроста.

Оба замолчали, чувствуя, что дальнейшее развитие подобного разговора между людьми, которые едва знали друг друга, может представить некоторые неудобства. Но

когда он после обеда собрался в город, она опять подумала: «Вот если б он не был связан!» — и опять покраснела.

В этот же вечер старик отец, точно чувствуя, что сердце Ольги тревожно, подозвал ее к себе и, взявши за подбородок, долго всматривался ей в глаза.

— Бедная моя! — не то сказал, не то вздохнул он.

— Что так? — спросила она, чуть не плача.

— Бедная! — повторил он, беспомощно опуская голову на грудь, и махнул рукою, чтобы она ушла.

Всю ночь она волновалась. Что-то новое, хотя и неясное, проснулось в ней. Разговор с доктором был загадочный, сожаления отца заключали в себе еще менее ясности, а между тем они точно разбудили ее от сна. В самом деле, что такое жизнь? что значат эти «крохи», о которых говорил доктор?

Ей вспомнилась старая девушка — тетка. Надежда Федоровна не жаловалась собственно на жизнь, а только на известные затруднения, которые тормозили ее деятельность. Но затруднения не исключали представления о жизни; напротив того, борьба с ними оживляла и придавала бодрости. Так, по крайней мере, явствовало из писем тетки, которая всегда оговаривалась, что занята по горло и оттого пишет редко. Зачем она не послушалась отца и не поселилась вместе с теткой? Быть может, теперь у нее нашлось бы уж дело; быть может, она вместе с Надеждой Федоровной волновалась бы настоящею, реальною деятельностью, а не тою вынужденною праздностью, которая наполняла все ее существо тоскою? И усиленная деятельность тетки не представляла ничего другого, кроме «крох», как выразился недавно доктор...

На другой день, утром, она спросила няньку:

— Есть у нас в селе бедные?

— Как бедным не быть.

— И плохо они живут?

— Уж какое бедному человеку житье! Колотятся.

— Что они, например, едят?

— Тюрю, щи пустые. У кого корова есть, так молока для забелки кладут.

— И больные в деревне есть?

— И больных довольно. Плотник Мирон уж два года животом валяется. Взвалил себе в ту пору на плечо бревно, и вдруг у него в нутре оборвалось.

— Неужто и он тоже тюрей питается?

— А то чем же! Чем прочие, тем и он. Хлеб-то

задаром не достается. Он и с печки сойти не может — какой он добытчик?

— Доктор у него не был?

— Про нас, сударыня, докторов не припасено,— чуть не с гневом ответила няня.

— Я, няня, пойду к Мирону,— решила Ольга.

— А зачем, позвольте узнать? «Бог милости прислал»? Так это он и без вас давно знает.

— Нет, я спрошу, не нужно ли что.

— Полноте-ка! посмотрите, на дворе мгла какая! Пойдете в своем разлетайчике, простудитесь еще. Сидите-ка лучше дома — на что еще глядеть собрались?

— Нет, я пойду.

И пошла.

Приходу ее в избе удивились. Но она вошла довольно смело и спросила Мирона. В избе было душно и невыносимо смрадно. Ей указали на печку. Когда она взошла по приступкам наверх, перед ней очутился человеческий остов, из груди которого вылетали стоны.

— Вы больны? — спросила она, не сознавая бесполезности своего вопроса.

Он широко раскрыл глаза и безмолвствовал.

— Третий год пластом лежит,— ответила за него жена,— сначала и день и ночь криком кричал, хоть из избы вон беги, а теперь потише сделался.

— Может быть, ему легче сделалось?

— Не должно бы быть — с чего? Нет, у него, стало быть, силы уж нет кричать.

— Чем же вы его кормите?

— Что сами едим, то и ему даем. Да он и не ест совсем.

— Хотите, я вам бульону для него пришлю? мяса?

— С убоины у него, пожалуй, с души сопрет. Вот супцу... Мирон, а Мирон! барышня с усадьбы пришла, спрашивает, супцу не хочешь ли?

— Не... нужно...

— Нет, я все-таки пришлю. Может быть, и получше ему будет. И с доктором о нем поговорю. Посмотрит, что-нибудь присоветует, скажет, какая у него болезнь.

Визит кончился. Когда она возвращалась домой, ей было несколько стыдно. С чем она шла?.. с «супцем»! Да и «супец» ее был принят как-то сомнительно. Ни одного дельного вопроса она сделать не сумела, никакой помощи предложить. Между тем сердце ее болело, потому что она

увидела настоящее страдание, настоящее горе, настоящую нужду, а не тоску по праздности. Тем не менее она сейчас же распорядилась, чтобы Мирону послали миску с бульоном, вареной говядины и белого хлеба.

— Это еще что за выдумки? — удивилась няня.

— Пожалуйста, няня! прошу!

— Стыдитесь, сударыня! у нас у самих говядины в обрез. В город за нею гоняем. А белый хлеб только для господ бережем.

— Исполните приказание Ольги Васильевны! — раздался голос старика Ладогина, до которого через две комнаты донесся этот разговор.

Приказание было исполнено. На другой день Ольга Васильевна повторила свою просьбу, но она уже видела, что ей придется напоминать об одном и том же каждый день и что добровольно никто о Мироне не подумает. Когда приехал доктор, она пошла к больному вместе с ним; но доктор, осмотрев пациента, объявил, что он безнадежен, и таких средств, которые могли бы восстановить здоровье Мирона, у него, доктора, в распоряжении не имеется. Он назвал болезнь по имени, но Ольга не поняла. За всем тем она продолжала напоминать о «супце», но скоро убедилась, что распоряжения ее просто не исполняются. Тогда она умолкла.

Недели через две она обратилась к няньке с новым вопросом:

— Нет ли на селе девочек, которые пожелали бы учиться? Немного: четыре-пять девочек...

— Учить хотите?

— Да.

— Это чтоб они везде следов наследили, нахаркали, все комнаты овчинами насмердили?

— Ах, няня, как это у вас сердце такое черствое!

— Придут в вашу комнату, насорят, нагадят, а я за ними подметай! — продолжала ворчать нянька.

— Другие подметут; наконец, я сама... Пожалуйста! Я знаю, папаше будет приятно, что я хоть чем-нибудь занята.

На этот раз нянька не противоречила, потому что побоялась вмешательства Василия Федоровича. Дня через два пришли три девочки, пугливо остановились в дверях классной комнаты, оглядели ее кругом и наконец уставились глазами в Ольгу. С мороза носы у них были влажны,

и одна из пришедших, точно исполняя предсказание няньки, тотчас же высморкалась на пол.

— Подойдите, не бойтесь! — поощряла их Ольга Васильевна.

Началось каждодневное ученье, и так как Ольга действительно сгорала желанием принести пользу, то дело пошло довольно бойко.

Через короткое время Ольга Васильевна, однако ж, заметила, что матушка-попадья имеет на нее какое-то неудовольствие. Оказалось, что так как женской школы на селе не было, то матушка, за крохотное вознаграждение, набирала учениц и учила их у себя на дому. Затея «барышни», разумеется, представляла для нее очень опасную конкуренцию.

— Она семью своим трудом кормит,— говорила по этому случаю нянька,— а вы у нее хлеб отнимаете.

Приходилось по-прежнему бесцельно бродить по комнатам, прислушиваться к бою маятника и скучать, скучать без конца. Изредка она каталась в санях, и это немного оживляло ее; но дорога была так изрыта ухабами, что беспрерывное нырянье в значительной степени отравляло прогулку. Впрочем, она настолько уж опустилась, что ее и не тянуло из дому. Все равно, везде одно и то же, и везде она одна.

Во время рождественских праздников приезжал к отцу один из мировых судей. Он говорил, что в городе веселятся, что квартирующий там батальон доставляет жителям различные удовольствия, что по зимам нанимается зал для собраний и бывают танцевальные вечера. Потом зашел разговор о каких-то пререканиях земства с исправником, о том, что земские недоимки совсем не взыскиваются, что даже жалованье членам управы и мировым судьям платить не из чего.

— Слухи ходят, что скоро и совсем земства похерят,— прибавил он,— да и хорошо сделают. Об умывальниках для больницы да о пароме через речку Воплю и без земства есть кому думать. Вот кабы...

Но Василий Федорович не дал ему докончить и, смеясь, сказал:

— Успокойтесь: ваше жалованье при вас останется. Даже вернее будет уплачиваться, потому что недоимки настоящим образом станут взыскивать.

В заключение судья приглашал Ольгу развлечься и предлагал познакомить ее с своею женой. Действительно,

она однажды собралась в город, и жена судьи приняла ее очень дружелюбно. Вместе они поехали в собрание, но там было так людно и шумно, что у Ольги почти в самом начале вечера разболелась голова. Притом же почти все время она просидела одна, потому что, под предлогом незнакомства, ее ангажировали очень редко, тогда как жена судьи была царицей бала и не пропускала ни одного танца. Она искала глазами доктора, но его в зале не было. Взамен ей указали на сухопарую, высокую даму, которая тоже сидела совсем одиноко, и сказали: «Вот наша докторша!»

Через несколько времени сухопарая дама подошла к ней и очень нахально объявила:

— А мой доктор от вас без ума. Только и слов, что Ольга Васильевна да Ольга Васильевна.

— Я всего один раз с ним говорила,— невпопад ответила Ольга, краснея.

— Это зависит от того, как говорить! Иногда и один раз люди поговорят, да так сговорятся, что любо-дорого смотреть!

Ольга встала и пересела на другое место.

— Приедет он теперь к вам... дожидайтесь! — прошипела ей вслед докторша.

После этого эпизода голова у нее разболелась сильнее, и ей сделалось невыносимо скучно среди этой суматохи, называвшей себя весельем.

«Должно быть, и для того, чтобы веселиться, надо привычку иметь»,— думалось ей, когда она возвращалась на постоялый двор, чтобы переодеться и возвратиться домой.

— Ну, вот, слава богу, и повеселились! — встретила ее нянька.

Тем не менее доктор продолжал навещать старика: это была единственная практика во всем уезде, которая представляла какое-нибудь подспорье, так что даже сварливая докторша не решилась настаивать на утрате такого пациента. Но Ольга уже не вступала с доктором в разговор, а он и подавно молчал. Обмениваясь короткими фразами, обедали они вдвоем в урочное время, затем пожимали друг другу руки, и он уезжал. День ото дня перспектива одиночества и какой-то безвыходной тусклости все неизбежнее и неизбежнее обрисовывалась перед ней.

Наконец наступил март, и грудь ее вздохнула свободнее. Стужа еще не прекратилась, но в середине дня солнце

уже грело и в воздухе чуялся поворот к весне. Вот и грачи прилетели и наполнили соседнюю рощу шумным карканьем; вот на дорожке, ведущей в парк, в густом снежном слое, ее покрывавшем, показались дырочки; на пруд прибегали деревенские мальчики и проваливались в рыхлом снегу. К концу марта и в комнатах стало веселее, светлее. Лучи солнца играли на полу, отражались в зеркалах; на стенах, неизвестно откуда, появлялись «зайчики». Ольга с удовольствием следила за игрою лучей и чувствовала себя менее угнетенной. Наконец пришел управляющий и объявил, что надо запастись провизией, потому что скоро появятся на дорогах зажоры и в город нельзя будет проехать. В первых числах апреля на речке тронулся лед, и все видимое пространство, и поля, и луга, покрылось водою.

Но в то же время и погода изменилась. На небе с утра до вечера ходили грузные облака; начинавшееся тепло, как бы по мановению волшебства, исчезло; почти ежедневно шел мокрый снег, о котором говорили: молодой снег за старым пришел. Но и эта перемена не огорчила Ольгу, а, напротив, заняла ее. Все-таки дело идет к возрождению; тем или другим процессом, а природа берет свое.

На последней неделе поста Ольга говела. Она всегда горячо и страстно веровала, но на этот раз сердце ее переполнилось. На исповеди и на причастии она не могла сдержать слез. Но облегчили ли ее эти слезы, или, напротив, наполнили ее сердце тоскою,— этого она и сама не могла различить. Иногда ей казалось, что она утешена, но через минуту слезы опять закипали в глазах, неудержимой струей текли по щекам, и она бессознательно повторяла слова отца: «Бедная! бедная! бедная!»

В утреню светлого праздника с ней повторилось то же явление, но она, насколько могла, сдержала себя. Воротившись от ранней обедни домой, она похристосовалась с отцом, который, по случаю праздника, надел белый кашемировый халат и, весь в белом, был скорее похож на мертвеца, закутанного в саван, нежели на живого человека. Потом перецеловалась со всею прислугой, разговелась, выслушала славление сельского священника и, усталая, легла отдохнуть. Но сдавленные слезы сами собой полились; сердце заныло, в груди шевельнулись рыдания. «Бедная! бедная! бедная!» — раздавалось у нее в ушах, стучало в голове, разливалось волной по всему телу...

. . . .

В мае Ольга Васильевна начала ходить в поле, где шла пахота и начался посев ярового. Работа заинтересовала ее; она присматривалась, как управляющий распоряжался, ходил по пашне, тыкал палкою в вывороченные сохой комья земли, делал работникам выговоры и проч.; ей хотелось и самой что-нибудь узнать, чему-нибудь научиться. На вопросы ее управляющий отвечал как мог, но при этом лицо его выражало такое недоумение, как будто он хотел сказать: ты-то каким образом сюда попала?

Зато в парке было весело; березы покрылись молодыми бледно-зелеными листьями и семенными сережками; почки липы надувались и трескались; около клумб возился садовник с рабочими; взрыхляли землю, сажали цветы. Некоторые птицы уж вывели птенчиков; гнезда самых мелких пернатых, по большей части, были свиты в дуплах дерев, и иногда так низко, что Ольга могла заглядывать в них. По вечерам весь воздух был напоен душистым паром распустившейся березовой листвы.

В июне к Ладогиным явился с визитом сосед, Николай Михайлыч Семигоров, молодой человек лет тридцати. Старик Ладогин в былое время был очень близок с покойным отцом Семигорова и принял сына очень радушно. Молодой человек постоянно жил в Петербурге, занимал довольно видное место в служебной иерархии и только изредка и на короткое время навещал деревню, отстоявшую в четырех верстах от усадьбы Ладогина. Средства он имел хорошие, не торопился связывать себя узами, был настолько сведущ и образован, чтобы вести солидную беседу на все вкусы, и в обществе на него смотрели как на приличного и приятного человека. В семействе Ладогиных он вел себя очень предупредительно. С первого же раза повел с Ольгой оживленный разговор, сообщил несколько пикантных подробностей из петербургской жизни, коснулся «вопросов», и, разумеется, по преимуществу тех, которым была посвящена деятельность тетки — Надежды Федоровны. Но при этом объявил, что настоящее время для вопросов очень трудное и что Надежда Федоровна хотя не опускает рук, но очень страдает.

— Всего больше угнетает то,— сказал он,— что надо действовать как будто исподтишка. Казаться веселым, когда чувствуешь в сердце горечь, заискивать у таких личностей, с которыми не хотелось бы даже встречаться, доказывать то, что само по себе ясно как день, следить, как бы не оборвалась внезапно тонкая нитка, на которой чуть держится дело

преуспеяния, отстаивать каждый отдельный случай, пугаться и затем просить, просить и просить... согласитесь, что это нелегко!

И когда Ольга отвечала на его слова соболезнованиями — ничего другого и в запасе у нее не было,— то он, поощренный ее вниманием, продолжал:

— Вообще мы, люди добрых намерений, должны держать себя осторожно, чтобы не погубить дела преуспеяния и свободы. Мы обязаны помнить, что каждый переполох прежде всего и больше всего отражается на нас. Поэтому самое лучшее — не дразнить и стараться показывать, что наши мысли совпадают с мыслями влиятельных лиц. Разумеется, не затем, чтобы подчиняться этим лицам, а, напротив, чтобы они, незаметно для самих себя, подчинились нашим воззрениям. Влиятельное лицо всегда не прочь полиберальничать,— к счастию, это вошло уже в привычку,— лишь бы либеральная мысль являлась не в чересчур резкой форме и смягчалась внешними признаками уступок и соглашений. Ежели этот маневр удастся, то дело преуспеяния спасено. И что всего важнее: влиятельное лицо будет убеждено, что инициатива этого спасения идет всецело от него. А при таком убеждении и будущее его содействие может считаться обеспеченным.

— Да, но ведь это игра опасная,— заметила Ольга.

— Коли хотите, она не столько опасна, сколько не вполне нравственна и в высшей мере надоедлива. Совестно лукавить и невыносимо скучно выслушивать пустяки, серьезно изрекаемые в качестве истин. Требователен нынешний влиятельный человек и даже назойлив. Ни одной уступки вы от него не дождетесь иначе, как ценою целого потока пустопорожних речей. Но что же делать?

— Мне кажется, я бы побоялась. Ведь, слушая постоянно одни и те же, как вы их называете, пустопорожние речи, можно и самому незаметно подчиниться им. Вот я, например, приезжая сюда, тоже мечтала о какой-то деятельности, чем-то вроде светлого луча себя представляла, а в конце концов подчинилась-таки. Я скажу одно слово, а мне — двадцать в ответ. Слова не особенно резонные, но их много, и притом они часто повторяются, все одни и те же. Ну, и подчинилась, или, говоря другими словами, махнула рукой и живу сама по себе.

— И дурно сделали. Вам и подчиняться не нужно, а следует только приказать.

— Да, прикажите! как вы прикажете, когда вам гово-

рят: «теперь недосужно», или: «вот ужо, как уберемся!» и в заключение: «ах, я и забыла!»? Ведь и «недосужно», и «ужо», и «забыла» — все это в порядке вещей, все возможно.

— Пожалуй, что и так. В нашем деле, конечно, есть своего рода опасности, но нельзя же не рисковать. Если из десяти опасностей преодолеть половину,— а на это все-таки можно рассчитывать,— то и тут уж есть выигрыш.

Словом сказать, Ольга провела время приятно и, во всяком случае, сознавала, что в этой беспробудной тиши в первый раз далось живое человеческое слово. С своей стороны, и он дал понять, что знакомство с Ольгой Васильевной представляет для него неожиданный и приятный ресурс, и в заключение даже обещал «надоедать».

— Я буду ездить к вам часто,— говорил он, прощаясь,— ежели надоем, то скажите прямо. Но надеюсь, что до этого не дойдет.

— То есть вы поступите со мной, как с тем влиятельным лицом, о котором упоминали: будете подчинять меня себе, приводить на путь истинный! — пошутила Ольга.

— Пожалуй,— ответил он весело,— только на этот раз вполне добровольно и сознательно. А может быть, и вы подчините меня себе.

Семигоров уехал, и Ольга почувствовала с первого же шага, что ей скучно без него. Теория его казалась ей несколько странною, но ведь она так мало жила между людьми, так мало знает, что, может быть, ошибается она, а не он. Во всяком случае, разговор его заинтересовал ее, пробудил в ней охоту к серьезному мышлению. На этот раз, однако ж, мысли ее находились в каком-то хаосе, в котором мешалось и положительное и отрицательное, сменяя одно другое без всякой винословности. В этом хаосе она путалась до самой минуты, когда, уж довольно поздно, ее позвали к отцу.

Отец собирался спать. Он перекрестил дочь, посмотрел ей пристально в глаза, точно у него опять мелькнуло в голове: бедная! Но на этот раз воздержался и сказал только:

— Ну, Христос с тобой!

Семигоров сдержал слово и посещал Ладогиных ежели не каждый день, то очень часто. Молодые люди сблизились. Николай Михайлыч разъяснил Ольге значение реформ последнего времени, подробно рассказал историю и современное положение высшего женского образования и мало-

помалу действительно подчинил ее себе. По временам они вступали на почву высших общечеловеческих интересов, спорили о различных утопиях, которые излагал Семигоров, и, к удивлению, Ольга на этой почве опозналась гораздо быстрее и даже почувствовала себя тверже своего учителя. Во всяком случае, она почувствовала, что в существо ее хлынула жизнь.

Она слушала, волновалась, мыслила, мечтала... Но в эти одинокие мечтания неизменно проникал образ Семигорова, как светлый луч, который пробудил ее от сна, осветил ее душу неведомыми радостями. Наконец сердце не выдержало — и увлеклось.

Она даже забыла о своей непривлекательной внешности и безотчетно, бездумно пошла навстречу охватившему ее чувству.

Заметил ли Семигоров зарождавшуюся страсть — она не отдавала себе в этом отчета. Во всяком случае, он относился к ней сочувственно и дружески тепло. Он крепко сжимал ее руки при свидании и расставании и по временам даже с нежным участием глядел ей в глаза. Отчего было не предположить, что и в его сердце запала искра того самого чувства, которое переполняло ее?

Однажды,— это было перед самым отъездом Семигорова в Петербург,— они сидели в парке и особенно дружески разговорились. Речь шла о положении женщины в русском обществе. Сначала она приводила примеры из крестьянской жизни, но наконец не выдержала и указала на свою собственную судьбу. С горечью, почти с испугом жаловалась она на одиночество, вынужденную праздность, на неудавшуюся, погибшую жизнь. Каким образом эта жизнь так сложилась, что кругом ничего, кроме мрака, нет? неужели у судьбы есть жребии, которые она раздает по произволу, с завязанными глазами? И для чего эти жребии? Для чего одних одарять, других отметать? для чего нужна, каким целям может удовлетворять эта бессмысленная игра? Хоть бы в будущем был просвет — можно было терпеть и ждать. А в ее жизни царствует полная бессрочность. Она так же томится, как и прикованный к креслу больной отец, который, вставая утром, ждет, скоро ли придет ночь, а ложась спать, ворочается на постели и ждет, скоро ли наступит утро. Так ведь у него уж и сил для жизни нет, он естественным процессам подчинился, тогда как она здорова, сильна, а ее преследует та же нравственная немочь, та же оброшенность.

— Вот наш доктор говорит,— сказала она грустно,— что все мы около крох ходим. Нет, не все. У меня даже крох нет; я и крохе была бы рада.

— Бедная вы! — вымолвил он, взяв ее за руку.

— Да, бедная! — повторила она,— и отец много раз говорил мне: бедная! бедная! Но представьте себе, старуха нянька однажды услышала это и сказала: «Какая же вы бедная! вы — барышня!»

— Бедная! бедная вы моя!

Жалость ли, или другое, более теплое чувство овладело его сердцем, но с ним совершилось внезапное превращение. Он почувствовал потребность любить и ласкать это бедное, оброшенное существо. Кровь не кипела в его жилах, глаза не туманились страстью, но он чувствовал себя как бы умиротворенным, достигшим заветной цели, и в этот миг совершенно искренно желал, чтобы этот сердечный мир, это душевное равновесие остались при нем навсегда. Инстинктивно он обнял ее рукой за талию, инстинктивно привлек к себе и поцеловал.

Из глаз ее брызнули слезы.

— Зачем ты плачешь? — шептал он, незаметно увлекаясь,— теперь уж ты не бедная! ты — моя!

— Я любима? — спросила она, все еще сомневаясь.

— Да, ты любима, ты — моя! — ответил он горячо.

Целый час они провели в взаимных признаниях и в задушевной беседе о предстоящих радостях жизни. Сомнения мало-помалу совсем оставили ее; но он, по мере того как разговор развивался, начинал чувствовать какую-то неловкость, в которой, однако ж, боялся признаться себе. Но все-таки он заметил эту неловкость и, чтобы оправдать себя, приписал ее недостатку страстности, которая лежала в самой природе его. Но зато он честен и, конечно, не изменит однажды вызванному чувству любви, хоть бы это чувство и неожиданно подстерегло его.

Наконец он стал сбираться домой.

— Завтра утром я приеду и перетолкую с твоим отцом,— говорил он,— а вечером — в Петербург. Через месяц возвращусь сюда, и мы будем неразлучны.

Она держала его за руку и не пускала от себя.

— Пойдем к отцу... теперь! — сказала она,— мне хочется показать тебя ему!

— Ну, он и без того знает...

— Нет, он не знает... *тебя, такого, как ты теперь...* не знает! Пойдем.

— Твой отец — человек старозаветный,— уклонился он,— а старозаветные люди и обычаев старозаветных держатся. Нет, оставим до завтра. Приеду, сделаю формальное предложение, а вечером — в Петербург.

Она должна была согласиться, и он уехал. Долго глядела она вслед пролетке, которая увозила его, и всякий раз, как он оборачивался, махала ему платком. Наконец облако пыли скрыло и экипаж и седока. Тогда она пошла к отцу, встала на колени у его ног и заплакала.

— Я счастлива, папа! — слышалось сквозь рыданья, теснившие ей грудь.

Отец взглянул на нее и понял. «Бедная!» — шевельнулось у него в голове, но он подавил жестокое слово и сказал:

— Ну, Христос с тобой! желаю...

Вечером ей стало невыносимо скучно в ожидании завтрашнего дня. Она одиноко сидела в той самой аллее, где произошло признание, и вдруг ей пришло на мысль пойти к Семигорову. Она дошла до самой его усадьбы, но войти не решилась, а только заглянула в окно. Он некоторое время ходил в волнении по комнате, но потом сел к письменному столу и начал писать. Ей сделалось совестно своей нескромности, и она убежала.

На другой день утром, только что она встала, ей подали письмо.

«Простите меня, милая Ольга Васильевна,— писал Семигоров,— я не соразмерил силы охватившего меня чувства с теми последствиями, которые оно должно повлечь за собою. Обдумав происшедшее вчера, я пришел к убеждению, что у меня чересчур холодная и черствая натура для тихих радостей семейной жизни. В ту минуту, когда вы получите это письмо, я уже буду на дороге в Петербург. Простите меня. Надеюсь, что вы и сами не пожалеете обо мне. Не правда ли? Скажите: да, не пожалею. Это меня облегчит».

Она не проронила ни слова жалобы, но побелела как полотно. Затем положила письмо в конверт и спрятала его в шкатулку, где лежали вещи, почему-либо напоминавшие ей сравнительно хорошие минуты жизни. В числе этих минут та, о которой говорилось в этом письме, все-таки была лучшая.

Отец, по-видимому, уже знал, что от Семигорова пришло

письмо, и когда она пришла к нему, то он угадал содержание письма и сердито, почти брезгливо крикнул: «Забудь!»

Но она не забыла. Каждый день по нескольку раз она открывала заветную шкатулку, перечитывала деревянное письмо, комментировала каждое слово, усиливаясь что-нибудь выжать. Может быть, он чем-нибудь связан? может быть, эта связь вдруг порвется, и он вернется к ней? ведь он ее любит... иначе зачем же было говорить? Словом сказать, она только этим письмом и жила.

Жизнь становилась все унылее и унылее. Наступила осень, вечера потемнели, полились дожди, парк с каждым днем все более и более обнажался; потом пошел снег, настала зима. Прошлый год обещал повториться в мельчайших подробностях, за исключением той единственной светлой минуты, которая напоила ее сердце радостью...

В полной и на этот раз уже добровольно принятой бездеятельности она бродила по комнатам, не находя для себя удовлетворения даже в чтении. В ушах ее раздавались слова: «Нет, вы не бедная, вы — моя!» Она чувствовала прикосновение его руки к ее талии; поцелуй его горел на ее губах. И вдруг все пропало... куда? почему?

Отец несколько раз предлагал ей ехать в Петербург к тетке, но она настаивала в своем упорстве. Теперь уж не представление о долге приковывало ее к деревне, а какая-то тупая боязнь. Она боялась встретить *его*, боялась за себя, за свое чувство. Наверное, ее ожидает какое-нибудь жестокое разочарование, какая-нибудь новая жестокая игра. Она еще не хотела прямо признать деревянным письмо своего минутного жениха, но внутренний голос уже говорил ей об этом.

Так прошло целых томительных шесть лет. Наконец старик Ладогин умер, и Ольга почувствовала себя уже совсем одинокою.

Через месяц приехал брат и привез с собой «особу».

— Это моя приятельница, Нина Аветовна Шамаидзе,— рекомендовал он ее сестре,— прошу жаловать.

На другой день он спросил сестру, как она намерена располагать собой.

— Я поеду сначала в город,— ответила она,— а потом, когда кончатся дела, уеду к тете Наде в Петербург. У нас уже условлено.

— А где же вы изволите остановиться в городе?

— У мирового судьи Зуброва. Он просил меня. Покойный отец оставил завещание и назначил Зуброва душеприказчиком.

— Вот как! и завещание есть! А по-моему, вашему сословию достаточно бы пользоваться тем, что вам по закону предоставлено. В недвижимом имении — четырнадцатая, в движимом — осьмая часть. Ну, да ведь шесть лет около старичка сидели — может быть, что-нибудь и высидели.

Рано утром, на следующий же день, Ольги уже не было в отцовской усадьбе. Завещание было вскрыто, и в нем оказалось, что капитал покойного Ладогина был разделен поровну; а о недвижимом имении не упоминалось, так как оно было родовое. Ольга в самое короткое время покончила с наследством: приняла свою долю завещанного капитала, а от четырнадцатой части в недвижимом имении отказалась. В распоряжении ее оказалось около четырех тысяч годового дохода.

Приехала она к тетке в конце ноября, в самый разгар сезона. Надежда Федоровна хотя была значительно моложе брата, но все-таки ей шло уж за пятьдесят. Это была отличная девушка, бодро несшая и бремя лет, и свое одиночество. Она наняла довольно просторную квартиру в четвертом этаже, так что у нее и у Ольги было по две комнаты и общая столовая. Ольга сразу почувствовала себя удобно. Не было бесполезной громады комнат, которая давила ее в деревне; не слышно было таинственных шепотов, которые в деревенском доме ползли из всех щелей. С непривычки ей показалось даже тесновато, но она рада была этому.

Надежда Федоровна тормошилась с утра до вечера. Она была членом множества комитетов, комиссий, субкомиссий и проч., не пропускала ни одного заседания, ездила к влиятельным лицам, ходатайствовала, хлопотала. Усталая, возвращалась домой к обеду, а вечером опять исчезала. Иногда и у нее, в качестве председательницы какой-нибудь субкомиссии, собирались «хорошие люди», толковали, решали вопросы, но, надо сказать правду, большинство этих решений формулировалось словами: нельзя ли как-нибудь найти путь к такому-то лицу? например, к тому-то, через того-то? нельзя ли воспользоваться приездом такого-то и при посредстве такого-то предложить ему принять в «нашем» деле участие?

— Он богат, ему ничего не значит выбросить пять, десять тысяч.

Словом сказать, Ольга поняла, что в России благие начинания, во-первых, живут под страхом и, во-вторых, еле дышат, благодаря благонамеренному вымогательству, без которого никто бы и не подумал явиться в качестве жертвователя. Сама Надежда Федоровна откровенно созналась в этом.

— Ты не поверишь, как нам горько и тяжело,— сказала она.

— Да, я слышала, что вы постоянно боитесь.

— Ты это от Семигорова шесть лет тому назад слышала. Что тогдашние страхи в сравнении с нынешними! нет, ты теперь посмотри! Кстати: Семигоров наведывается о тебе с большим интересом. Часто он бывал у вас?

— Да, бывал.

— Он умный. Но предупреждаю тебя: он не из «наших». Он карьерист, и сердце у него дряблое.

— Вы часто его видите?

— Не особенно. Обращаюсь к нему при случае, как и вообще ко всем, кто может помочь. Ах, мой друг, так нам тяжело, так тяжело! Ты представь себе только это одно: захотят нас простить — мы живы; не захотят — погибли. Одна эта мысль... ах!

Ольга, не без смущения, выслушала аттестацию Семигорова, но когда осталась одна, то опять перечитала заветное письмо и опять напрягла все усилия, чтобы хоть что-нибудь из него выжать. Искру чувства, надежду... что-нибудь!

«Какое оно, однако ж, деревянное!» — в первый раз мелькнуло в ее голове.

Ольга скоро сделалась своею в том тесном кружке, в котором вращалась Надежда Федоровна. Настоящей деятельности она покамест не имела, но прислушивалась к советам опытных руководительниц и помогала, стараясь, чтобы влиятельные лица, по крайней мере, привыкли видеть ее. Она уже считала себя обреченною и не видела перед собой иного будущего, кроме того, которое осуществляла собой Надежда Федоровна.

Однажды, сидя в своей комнате, она услышала знакомый голос. Это был голос Семигорова, который приехал навестить тетку. Ольга встала и твердым шагом пошла туда, где шел разговор. Очевидно, она решила испытать себя и — «кончить».

Семигоров значительно постарел за семь лет. Он потолстел и обрюзг; лицо было по-прежнему бледное, но не-

приятно одутловатое и совсем деревянное. Говорил он, впрочем, так же плавно и резонно, как и тогда, когда она в первый раз увидела его.

Очевидно, внутри его существовало два течения: одно — старое, с либеральной закваской, другое — новейшее, которое шло навстречу карьере. Первое побуждало его не забывать старых друзей; второе подсказывало, что хотя не забывать и похвально, но сношения следует поддерживать с осторожностью. Он, разумеется, прибавлял при этом, что осторожность необходима не столько ради карьеры, сколько для того, чтобы... «не погубить дела».

— Ольга Васильевна! вы! — воскликнул он, протягивая обе руки,— а я хотел, переговоривши с Надеждой Федоровной, и вас, в вашем гнездышке, навестить.

— Все равно, здесь поговорим,— отвечала она сдержанно.

— Так неужто ж нельзя? — перебила их приветствие Надежда Федоровна.

— И нельзя и поздно — дело решенное. Не такое нынче время, чтобы глупости говорить.

— Что же «она» такого сказала?

— По ее мнению — ничего; по мнению других — много, слишком много. Я говорил и повторяю: главное в нашем деле — осторожность.

Далее он начал развивать, почему необходима осторожность. И сама по себе она полезна; в частности же, по отношению к веяниям времени,— составляла conditio sine qua non[1]. Нельзя-с. Он, конечно, понимает, что молодые увлечения должны быть принимаемы в соображение, но, с другой стороны, нельзя упускать из вида, что они приносят положительный вред. От копеечной свечки Москва загорелась — так и тут. Одно неосторожное слово может воспламенить сотни сердец, воспламенить бесплодно и несвоевременно. Допустим, что абсолютно это слово не заключает в себе вреда, но с точки зрения несвоевременности — вопрос представляется совсем в другом виде.

— Нельзя-с,— сказал он решительно,— я и просил, и даже надоедал, и получил в ответ: «Оставьте, мой друг!» Согласитесь сами...

— Нельзя ли? — приставала Надежда Федоровна.

Ольге вдруг сделалось как-то безнадежно скучно. Даже голова у нее заболела от этого переливания из пустого

---

[1] обязательное условие (*лат.*).

в порожнее. Те самые речи, которые семь лет тому назад увлекли ее, теперь показались ей плоскими, почти бессовестными.

— Я ухожу, тетя! — сказала она.

— А меня так и не примете у себя? — спросил Семигоров.

— Мне нужно идти. В другой раз. Вспомните — зайдете.

Она разом решила, что все «кончено». Зашла в свою комнату, разорвала заветное письмо на клочки и бросила в топившуюся печку; даже не взглянула, как оно запылало.

Прошел год, и ее деятельность была замечена; ей предложили председательское кресло в «Обществе азбуки-копейки». Хлопот было по горло, но и страха немало. Пробовала было она не страшиться, но скоро поняла, что это невозможно. Общество издало отличнейшую азбуку с иллюстрациями, но в ней на букву Д нарисована была картинка, изображающая прядущую девушку, а под картинкой было подписано: *Дивчина*. «Критика» заметила это и обвинила азбуку в украинофильстве. На букву П был нарисован человек в кунтуше, а подпись гласила: Пан. И это заметила «критика» и обвинила азбуку в полонофильстве. В отделе кратких исторических и географических сведений тоже замечены были промахи и пропуски, и все такие, которые свидетельствовали о недостаточной теплоте чувств. Ольга Васильевна бегала, оправдывалась и ходатайствовала, не щадя живота.

— Ведь ваша же пресловутая литература вас с головой выдает! — говорили ей.

Ах, эта литература!

Благодаря беготне дело сошло с рук благополучно; но затем предстояли еще и еще дела. Первое издание азбуки разошлось быстро, надо было готовиться к другому — уже без промахов. «Дивчину» заменили старухой и подписали: Домна; «Пана» заменили мужичком с топором за поясом и подписали: Потап-плотник. Но как попасть в мысль и намерения «критики»? Пожалуй, будут сравнивать второе издание с первым и скажут: а! догадались! думаете, что надели маску, так вас под ней и не узнают!

— Дело в том,— объяснил ей Семигоров,— что общество ваше хотя и дозволенное и цели его вполне одобрительны, но пальца ему в рот все-таки не клади.

— Но почему же?

— А потому, что потому. Существуют такие тонкие признаки. Состав общества, его чересчур кипучая деятельность — все это прямо бросается в глаза. Ну, с чего вы, например, Ольга Васильевна Ладогина, вполне обеспеченная девица, так кипятитесь по поводу какой-то жалкой азбуки?

— Как с чего? — во-первых, я русская и вижу в распространении грамотности одно из условий благосостояния родной страны; а во-вторых, это дело доставляет мне удовольствие; я взялась за него, мне его доверили, и я не могу не хлопотать о нем.

— Э, барышня! и без нас с вами все устроится!

— Так вы бы так прямо и говорили. А то прихóдите, уверяете в своем сочувствии...

— Я-то сочувствую, да вот... Нельзя «прать против рожна», Ольга Васильевна!

Но она продолжала «прать», быть может, потому, что не понимала, в чем собственно заключается рожон, а Семигоров не мог или не хотел объяснить ей сокровенный смысл этого выражения.

Прошел еще год. Надежда Федоровна хлопотала об открытии «Общества для вспоможения чающим движения воды». Старания ее увенчались успехом, но — увы! она изнемогла под бременем ходатайств и суеты. Пришла старость, нужен был покой, а она не хотела и слышать о нем. В самом разгаре деятельности, когда в голове ее созревали все новые и новые планы (Семигоров потихоньку называл их «подвохами»), она умерла, завещавши на смертном одре племяннице свое «дело».

Ольга Васильевна осталась совсем одинокою.

Теперь ей уж за тридцать. Она пошла по следам тетки и всецело отдала себя, свой труд и материальные средства тому скромному делу, которое она вполне искренно называла оздоровляющим. Она состоит деятельным членом всех обществ, где речь идет о помощи, а в некоторых из них председательствует. Устраивает базары, лотереи, танцевальные вечера. Все это требует больших хлопот и преодоления препятствий, но она не унывает. Напротив, привычка в значительной мере умалила ее страхи, а деятельная жизнь способствовала укреплению ее сил и здоровья. Дома ее можно застать очень редко,— все больше в комитетах, комиссиях, субкомиссиях и, разумеется, в канцеля-

риях. Даже горничная ее совершенно отчетливо произносит названия этих учреждений и на вопрос посетителей отвечает бойко и безошибочно.

По временам она вспоминает слова доктора, который лечил ее отца, о «крохах», и говорит:

— Вот и у меня свои «крохи» нашлись. И не одна, даже не несколько, а целая куча!

СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Анна Петровна Губина была сельской учительницей. Составляла ли эта профессия ее призвание, или просто так случилось, что деваться было больше некуда,— она и сама не могла бы дать ясно формулированного ответа на этот вопрос. Получила диплом учительницы, потом открылось место на пятнадцать рублей в месяц жалованья, и она приняла его. Осенью, к началу учебного семестра, она приехала в село; ей указали, где помещается школа, и она осталась. К счастию, при школе было помещение для учительницы: комната и при ней крохотная кухня; а то бывает и так, что учительница каждую неделю переходит из одной избы в другую, так что квартира насадительницы знаний представляет для обывателей своеобразную натуральную повинность.

Школа помещалась в просторном флигеле, который при крепостном праве занимал управляющий имением и который бывший помещик пожертвовал миру под училище. Места для учащихся было достаточно, но здание было старое, и крестьяне в продолжение многих лет не ремонтировали его. Печи дымили, потолки протекали, из всех щелей дуло.

Учение было самое первоначальное. Читать, писать, поверхностные сведения из грамматики, первые четыре правила арифметики, краткая священная история — вот и все. Старались, чтобы в год, много в два, ребенок познал всю премудрость. За строгим соблюдением программы, в особенности в смысле ее нерасширения, наблюдал местный священник; попечителем школы состоял сельский староста, а высший надзор был предоставлен помещику, который постоянно жил за границей, но изредка наведывался и в усадьбу. В школу ходили исключительно мальчики.

Дело у Анны Петровны налаживалось не споро. Учительницу не ждали так скоро, и помещение школы было в беспорядке. Прежде нежели собрались ученики, в школу приходили родители и с любопытством рассматривали новую учительницу.

— Вы робят наускоре обучайте; нам ведь только бы читать да писать умели. Да цифири малость. Без чего нельзя, так нельзя, а лишнего для нас не требуется.

Нам дети дома нужны. А ежели который стараться не станет, можно такого и попугать. Вон он в углу — веник — стоит. Сделайте милость, постарайтесь.

Исподволь устроилась она, однако ж, и в школе, и у себя в каморке. Вместо мебели ей поставили простой, некрашеный стол и три табуретки; в углу стояла кровать, перешедшая, вместе с домом, от управляющего; в стену вбито было несколько гвоздей, на которые она могла вешать свой гардероб. При школе находился сторож, который топил печи и выметал с вечера классную комнату. Насчет продовольствия она справилась, как жила ее предшественница, и получила ответ, что последняя ходила обедать к священнику за небольшую плату, а дома только чай держала. Священник и ее охотно согласился взять на хлеба.

— Я не из корысти,— сказал он,— а жалеючи вас: кто же вам будет готовить? Здесь вы не только горячей пищи, и хлеба с трудом найдете. Мы за обед с вас пять рублей в месяц положим. Лишнего не подадим, а сыты будете. Станете ходить каждый день к нам и обзнакомитесь; и вам и нам веселее будет. Ежели какие сомнения встретите, то за обедом общим советом и разрешим. Вкупе да влюбе — вот как по-моему. Ежели вы с любовью придете, то я, как пастырь, и тем паче. Но не скрою от вас: труд вам предстоит не легкий и не всегда беспрепятственный. Народ здесь строптивый, неприветливый, притязательный. Каждый будет к вам требования предъявлять, а иной раз и такие, от которых жутко придется. Людмила Михайловна, предшественница ваша, повздорила с Васильем Дроздом, так насилу отсюда выбралась.

— Кто это Дрозд?

— А здешний воротила, портерную держит, лавочку, весь мир у него под пятой, и начальство привержено. Сын у него в школе, так он подарок Людмиле Михайловне вздумал поднести, а она уперлась. Он, конечно, обиделся, доносы стал писать — ну, и пришлось бежать. Земство так и не оставило ее у себя; живет она теперь в городе в помощницах у одной помещицы, которая вроде пансиона содержит.

— Однако строго-таки у вас.

— И даже очень. Главное, в церковь прилежно ходите. Я и как пастырь вас увещеваю, и как человек предостерегаю. Как пастырь говорю: только церковь может утешить нас в жизненных треволнениях; как человек предваряю, что нет легче и опаснее обвинения, как обвинение в

недостатке религиозности. А впрочем, загадывать вперед бесполезно. Приехали — стало быть, дело кончено. Бог да благословит вас.

Священник был старозаветный, добрый; попадья у него была тоже добрая. Дети находились в разброде, так что старики жили совсем одни. Оба были люди деятельные, с утра до вечера хлопотали и довольствовались одной работницей. Батюшка и до сих пор полеводство держал, но больше уже по привычке, без выгоды. К Анне Петровне они отнеслись сочувственно; она напоминала им о детях. Для нее это было хорошее предзнаменование; несмотря на предостережение батюшки, относительно трудности предстоящего ей пути, она все-таки надеялась найти в его доме приют и защиту.

Она рассчитала, что если будет тратить пять рублей на обед да пять рублей на чай и баранки, то у нее все-таки останется из жалованья пять рублей. Этого было, по ее скромным требованиям, достаточно. Квартира была готовая, и она устроилась в ней, как могла, хотя каждый день выгонял ее часа на два из дома угар. Одежды она привезла с собой довольно, так что и по этой статье расходов не предстояло. Скуки она не боялась. Днем будет заниматься с учениками, вечером — готовиться к будущему дню или проводить время в семье священника, который получал от соседнего управляющего газеты и охотно делился с нею. Ничего, как-нибудь проживет.

Ученье началось. Набралось до сорока мальчиков, которые наполнили школу шумом и гамом. Некоторые были уж на возрасте и довольно нахально смотрели в глаза учительнице. Вообще ее испытывали, прерывали во время объяснений, кричали, подражали зверям. Она старалась делать вид, что не обращает внимания, но это ей стоило немалых усилий. Под конец у нее до того разболелась голова, что она едва дождалась конца двух часов, в продолжение которых шло ученье.

— А я, признаться, посетовала на вас,— сказала она священнику за обедом,— что бы вам стоило на первый раз придти поддержать меня!

— Я именно для того и не пришел,— ответил батюшка,— чтоб вы с первого же раза узнали настоящую суть дела. Если б сегодня вы не узнали ее, все равно пришлось бы узнавать завтра.

На другой день пришел попечитель-староста и осве-

домился, тихо ли сидят ученики. Она ответила, что сносно и что в будущем дело, конечно, наладится.

— То-то, вы их не жалейте; для того и веник в углу припасен. Выньте розгу и отстегайте! — посоветовал попечитель.

Не прошло, однако ж, и двух недель, как ей пришлось встретиться с «строптивейшим из строптивых», с тем самым Васильем Дроздом, который вытеснил ее предместницу. Дрозд бесцеремонно вошел в ее комнату, принес кулек, положил на стол и сказал:

— У вас наш мальчонко учится, так вот вам. Тут чаю полфунта, сахару, ветчины и гостинцу, кушайте на здоровье. А сверх того, и деньгами два рубля.

Он достал из-за пазухи кошель, вынул две рублевки и положил рядом с кульком.

— Зачем же это? ведь это не дозволено! — вспыхнула она.

— А вы займитесь с мальцом-то, не задерживайте его.

— Я и без того займусь. Не надо, не надо! Уйдите, прошу вас!

Дрозд обиделся; даже губы у него побелели.

— Стало быть, вы и доброхотством нашим гнушаетесь? — спросил он, осматривая ее с ног до головы негодующим взором.

— Не надо! — крикнула она и вдруг спохватилась. Вспомнилась ей Людмила Михайловна; вспомнилось и то, что еще в Петербурге ей говорили, что всего пуще надо бояться ссор с влиятельными лицами; что вот такая-то поссорилась с старостой, и была вытеснена; такая-то не угодила члену земской управы, и тоже теперь без места.

— Послушайте,— сказала она, присмирев,— я и без того с вашим сыном займусь... даю вам слово! Ежели хотите, пускай он ко мне по вечерам ходит; я буду с ним повторять.

— А приношения нашего не желаете?

— Знаете, вы лучше вот что: печи у нас в школе дымят, потолки протекают, так вы бы помогли.

— Это мир должен. Расход тоже не маленький. Печку-то перебрать что стоит? Нет, уж что тут. Счастливо оставаться.

Он надел тут же, в комнате, шапку, собрал со стола приношение и вышел. Она несколько секунд колебалась, но потом не выдержала и догнала его на улице:

— Пожалуйста, не сердитесь. Нам ведь не велено. Присылайте вашего мальчика по вечерам — я займусь им особенно!

Дрозд взглянул на нее с усмешкой.

— Стало быть, про Людмилу Михайловну вспомнили? — сказал он нагло.— Ну, ладно, буду своего мальца присылать по вечерам, ежели свободно. Спесивы вы не к лицу. Впрочем, денег теперича я и сам не дам, а это — вот вам!

Он скорыми шагами удалился, а Анна Петровна осталась на улице с кульком в руках.

Рассказала она об этом батюшке, который посоветовал «оставить».

— Возьмите,— сказал он,— историю себе наживете. С сильным не борись! и пословица так говорит. Еще скажут, что кобенитесь, а он и невесть чего наплетет. Кушайте на здоровье! Не нами это заведено, не нами и кончится. Увидите, что ежели вы последуете моему совету, то и прочие миряне дружелюбнее к вам будут.

Действительно, к ней начали относиться ласковее. После Дрозда пришел староста, потом еще два-три мужичка из зажиточных — все с кульками.

По вечерам открылись занятия, собиралось до пяти-шести учеников. Ценою непрошеных кульков, напоминавших о подкупе, Анна Петровна совсем лишилась свободного времени. Ни почитать, ни готовиться к занятиям следующего дня — некогда. К довершению ученики оказались тупы, требовали усиленного труда. Зато доносов на нее не было, и Дрозд, имевший частые сношения с городом, каждый месяц исправно привозил ей из управы жалованье. Сам староста, по окончании церковной службы, поздравлял ее с праздником и хвалил.

— Вон Людмила Михайловна редко в церкву ходила,— говорил он,— а вы бога не забываете!

В продолжение целой зимы она прожила в чаду беспрерывной сутолоки, не имея возможности придти в себя, дать себе отчет в своем положении. О будущем она, конечно, не думала: ее будущее составляли те ежемесячные пятнадцать рублей, которые не давали ей погибнуть с голода. Но что́ такое с нею делается? Предвидела ли она, даже в самые скорбные минуты своего тусклого существования, что ей придется влачить жизнь, которую нельзя было сравнить ни с чем иным, кроме хронического остолбенения?

Она была сирота, даже не знала, кто были ее родители.

Младенцем ее подкинули, и сострадательная хозяйка квартиры, у дверей которой она очутилась в корзинке, сначала поместила ее в воспитательный дом, потом в приют и, наконец, в училище, где она и получила диплом на звание сельской учительницы. Затем сострадательная душа сочла свой долг выполненным и отпустила ее на все четыре стороны, снабдив несколькими платьями и давши на дорогу небольшую сумму денег. После этого Губина очутилась в селе. Надолго ли? — она даже не задавала себе этого вопроса. Она понимала только, что отныне предоставлена самой себе, своим силам, и что, в случае какой-нибудь невзгоды, она должна будет вынести ее на собственных плечах. Обратиться к кому-нибудь за поддержкой она не имела основания; товарки у нее были такие же горькие, как и она сама. Все они рассеялись по лицу земли, все находились в тех же материальных и нравственных условиях, все бились из-за куска хлеба. Она была более нежели одинока. И одинокий человек может устроиться так, чтобы за него «заступились», может оградить себя от случайностей, а до нее решительно никому дела не было. Даже никакому благотворительному учреждению она не была подведома, так что над всею ее судьбою исключительно господствовала случайность, да и та могла оказывать действие только в неблагоприятном для нее смысле.

Она никогда не думала о том, красива она или нет. В действительности, она не могла назваться красивою, но молодость и свежесть восполняли то, чего не давали черты лица. Сам волостной писарь заглядывался на нее; но так как он был женат, то открыто объявлять о своем пламени не решался и от времени до времени присылал стихи, в которых довольно недвусмысленно излагал свои вожделения. Дрозд тоже однажды мимоходом намекнул:

— Ах, барышня, барышня! озолотил бы я вас, кабы...

Женщина еще едва просыпалась в ней. Она не понимала ни стихов, ни намеков, ни того, что за ними кроется злое женское горе. Ее поражали только глупость и бесцеремонность, но она сознавала себя настолько беззащитною, что мысль о жалобе даже не приходила ей в голову. Все знали, что ее можно «раздавить», и, следовательно, если б она даже просила о защите — хоть бы члена училищного совета, изредка навещавшего школу,— ей бы ответили: «С какими вы все глупостями лезете — какое нам дело!» Оставалось терпеть и крепко держаться за тот кусок, который послала ей судьба. Потому что, если б ее

даже выслушали и перевели на другое место, то и там повторилось бы то же самое, пожалуй, даже с прибавкою какой-нибудь злой сплетни, которая, в подобных случаях непременно предшествует перемещению.

Настоящее горе ждало ее не тут, а подстерегало издалека.

В апреле, совсем неожиданно, приехал в свою усадьбу местный землевладелец, он же и главный попечитель школы, Андрей Степаныч Аигин. Прибыл он затем, чтобы продать леса и на вырученные деньги прожить лето за границей. Операция предстояла несложная, но Аигин предположил пробыть в деревне до мая, с тем чтобы, кстати, учесть управителя, возобновить на всякий случай связи с местными властями и посмотреть на школу.

Это был молодой человек лет двадцати семи, легкомысленный и беспечный. Учился он плохо, образование имел самое поверхностное, но за всем тем пользовался образовательным цензом, и так как принадлежал к числу крупных землевладельцев, то попечительство над школою, так сказать, по принципу, досталось ему. Независимо от материальных пожертвований, которые состоятельный человек мог делать в пользу школы, принцип в особенности настаивал на поддержке крупного землевладения и того значения, которое оно должно иметь в уезде. Нужды нет, что крупный землевладелец мог совершенно игнорировать свой уезд; достаточно было его имени, его ежегодных денежных взносов, чтобы напомнить о нем и о той роли, которая по праву ему принадлежала. У него есть на месте доверенное лицо, которое будет сообщать ему о местных делах и нуждах; наконец, нет-нет, да вдруг ему вздумается: «Не съездить ли заглянуть, что-то в нашем захолустье творится?» И съездит.

Именно таким образом поступал Аигин. В продолжение шести лет попечительства (он начал независимую жизнь очень рано) Андрей Степаныч посетил усадьбу всего второй раз, и на самое короткое время. Принимали его, как подобает принимать влиятельное лицо, и очень лестно давали почувствовать, что от него зависит принять деятельное участие во главе уездной сутолоки. Но покуда он еще уклонялся от чести, предоставляя себе принять решение в этом смысле, когда утехи молодости уступят место мечтам честолюбия.

Одного в нем нельзя было отрицать: он был красив, отлично одевался и умел быть любезным. Только чересчур

развязные манеры и привычка постоянно носить пенсне, поминутно сбрасывая его и опять надевая, несколько портили общее благоприятное впечатление.

Лигин на первых же порах по приезде посетил школу («это мое детище»,— выражался он). Он явился в сопровождении члена училищного совета, священника и старосты. Похвалив порядки, он так пристально посмотрел на Анну Петровну, что та покраснела. Уходя, он сказал совсем бесцеремонно, что ему очень приятно, что в *его* школе такая хорошенькая учительница. До сих пор он редко ездил в деревню, потому что все учительницы изображали собой какой-нибудь из смертных грехов, а теперь будет ездить чаще. И в заключение прибавил, что Анне Петровне настоящее место не в захолустье, а в столице, и что он похлопочет о ней.

В тот же день у него был обед, на который были приглашены все прикосновенные к школе, а в том числе и Анна Петровна.

После этого он зачастил в школу. Просиживал в продолжение целых уроков и не спускал с учительницы глаз. При прощании так крепко сжимал ее руку, что сердце ее беспокойно билось и кровь невольно закипала. Вообще он действовал не вкрадчивостью речей, не раскрытием новых горизонтов, а силою своей красоты и молодости. Оба были молоды, в обоих слышалось трепетание жизни. Он посетил ее даже в ее каморке и похвалил, что она сумела устроиться в таком жалком помещении. Однажды он ей сказал:

— Отчего вы не посетите меня? боитесь?

— Нет, не боюсь,— отвечала она, дрожа всем телом.

— Но, в таком случае...

Он не договорил, но взял ее за руку и поцеловал.

Целое послеобеда после этого она была как в чаду, не знала, что с нею делается. И жутко и сладко ей было в одно и то же время, но ничего ясного. Хаос переполнял все ее существо; она беспокойно ходила по комнате, перебирала платья, вещи, не знала, что делать. Наконец, когда уже смерклось, от него пришел посланный и сказал, что Андрей Степаныч просит ее на чашку чая.

Она подумала: «Ах, как это все скоро!» — и затем почувствовала такую истому в сердце, что открыла окно, чтоб освежить пылающую голову.

Через полчаса она была уже у него.

Роман ее был непродолжителен. Через неделю Аигин собрался так же внезапно, как внезапно приехал. Он не был особенно нежен с нею, ничего не обещал, не говорил о том, что они когда-нибудь встретятся, и только однажды спросил, не нуждается ли она. Разумеется, она ответила отрицательно. Даже собравшись совсем, он не зашел к ней проститься, а только, проезжая в коляске мимо школы, вышел из экипажа и очень тихо постучал указательным пальцем в окно.

— Увидимся! — крикнул он ей.

Она сделала инстинктивное движение, чтобы выйти к нему, но удержалась и только слабо улыбнулась в ответ.

Таким образом, победа обошлась ему очень легко. Он сделал гнусность, по-видимому, даже не подозревая, что это гнусность: что́ она такое, чтобы стеснять ради нее свою совесть? Он предлагал ей денег, она отказалась — это уж ее дело. Не он один, все так делают. А впрочем, все-таки недурно, что обошлось без слез, без упреков. Это доказывает, что она умна.

На селе, однако ж, ее вечерние похождения были уже всем известны. При встречах с нею молодые парни двусмысленно перемигивались, пожилые люди шутили. Бабы заранее ее ненавидели, как будущую сельскую «сахарницу», которая способна отуманить головы мужиков. Волостной писарь однажды прямо спросил: «В какое время, барышня, вы можете меня принять?» — а присутствовавший при этой сцене Дрозд прибавил: «Чего спрашиваешь? приходи, когда вздумается,— и вся недолга!»

Сам батюшка, несмотря на доброту, усомнился и однажды за обедом объявил, что долее содержать ее на хлебах не может.

— Жаль мне вас,— сказал он,— душевно жаль, но мне, как духовному лицу, не приличествует...

Матушка тоже выразила сожаление и выронила две-три слезинки.

Только школьный сторож выказал к ней участие. Когда она, бледная и еле живая, воротилась от священника домой, он сказал:

— Ничего, потерпите; бог терпел и нам велел. И я сумею вам щи сготовить.

К довершению всего она почувствовала себя матерью, и вдруг какая-то страшная бездна разверзлась перед нею. Глаза затуманились, голова наполнилась гулом; ноги и руки

дрожали, сердце беспорядочно билось; одна мысль отчетливо представлялась уму: «Теперь я пропала».

К счастию, начались каникулы, и она могла запереться в своей комнате. Но она очень хорошо понимала, что никакая изолированность не спасет ее. «Пропала!» — в этом слове заключалось все ее будущее. Признаки предстоящей гибели уже начали оказываться. В праздничные дни молодые сельские парни гурьбою останавливались против ее окон и кричали:

— С приплодцем!

Конечно, у нее еще был выход: отдать себя под покровительство волостного писаря, Дрозда или другого влиятельного лица, но она с ужасом останавливалась перед этой перспективой и в безвыходном отчаянии металась по комнате, ломала себе руки и билась о стену головой. Этим начинался ее день и этим кончался. Ночью она видела страшные сны.

Летом она надумала отправиться в город к Людмиле Михайловне, с которою, впрочем, была незнакома. Ночью прошла она двадцать верст, все время о чем-то думая и в то же время не сознавая, зачем, собственно, она идет. «Пропала!» — безостановочно звенело у нее в ушах.

Людмила Михайловна приняла ее радушно, но тотчас же заметила, что она виновата.

— Это, голубушка, всего менее прощается,— сказала она, и хотя в словах ее не слышалось жестокости, но Анна Петровна поняла, что помощи ей ждать неоткуда.

— Помогите! — простонала она.

Людмила Михайловна тронулась. Обещала переговорить с содержательницей пансиона, которая в настоящее время жила в деревне, нельзя ли устроить так, чтоб «виноватая» прожила у нее хоть без жалованья, в качестве простой прислуги, те критические месяцы, по окончании которых должна была обнаружиться ее «вина».

— Раньше окончания каникул она вас не возьмет: ей не расчет содержать вас на хлебах, но после, быть может... Во всяком случае, я на днях увижусь с нею и уведомлю вас,— прибавила она.

В то же утро Анна Петровна встретила на улице знакомого члена училищного совета, который нагло улыбнулся ей и сказал:

— О вас доходят до совета неодобрительные отзывы. Ежели вы сознаете их справедливыми, то советую принять меры...

Он не докончил, приподнял шляпу и удалился.

Дни шли за днями, а от Людмилы Михайловны никаких вестей не приходило. Или забыла, или ничего не могла. Из училищного совета тоже никаких слухов не было.

Наконец наступил сентябрь, и опять начались классы. Анна Петровна едва держалась на ногах, но исправно посещала школу. Ученики, однако ж, поняли, что она виновата и ничего им сделать не смеет. Начались беспорядки, шум, гвалт. Некоторые мальчики вполне явственно говорили: «С приплодцем!»; другие уверяли, что у них к будущей масленице будет не одна, а разом две учительницы. Положение день ото дня становилось невыносимее.

В ноябре когда наступили темные, безлунные ночи, сердце ее до того переполнилось гнетущей тоской, что она не могла уже сдержать себя. Она вышла однажды на улицу и пошла по направлению к мельничной плотинке. Речка бурлила и пенилась; шел сильный дождь; сквозь осыпанные мукой стекла окон брезжил тусклый свет; колесо стучало, но помольцы скрылись. Было пустынно, мрачно, безрассветно. Она дошла до середины мостков, переброшенных через плотину, и бросилась головой вперед на понырный мост.

Жизнь ее порвалась, почти не начавшись. Порвалась бессмысленно, незаслуженно и жестоко.

ПОЛКОВНИЦКАЯ ДОЧЬ

Полковник Варнавинцев пал на поле сражения. Когда его, с оторванной рукой и раздробленным плечом, истекающего кровью, несли на перевязочный пункт, он в агонии бормотал: «Лидочка... государь... Лидочка... господи!»

Обратились к его формуляру. Там значилось: «Полковник Варнавинцев из дворян Вологодской губернии, вдов, имеет дочь Лидию; за ним состоит родовое имение в Тотемском уезде, в количестве 14-ти душ, при 500 десятинах земли».

Очевидно, что последнею его мыслью было поручить дочь государю.

Желание полковника было исполнено. Через товарищей разузнали, что Лидочка, вместе с сестрою покойного, живет в деревне, что Варнавинцев недели за две перед сраженьем послал сестре половину своего месячного жалованья и что вообще положение семейства покойного весьма незавидное, ежели даже оно воспользуется небольшою пенсией, следовавшей, по закону, его дочери. Послана была бумага, чтобы удостовериться на месте, как признавалось бы наиболее полезным устроить полковницкую дочь.

Варнавинцевы еще не знали о смерти полковника, когда в их усадьбу приехал исправник. Усадьба эта находилась в захолустье Тотемского уезда, в селе, где, кроме них, ютились еще две-три мелкопоместных семьи. Домик у них был крохотный, ветхий, еле живой. Половицы ходуном ходили, потолок протекал, двери завязывались веревочкой, из окон дуло. В мирное время полковник держал дочь при себе, переходя с полком с одних зимних квартир на другие. Имением управляла сестра, девица лет под шестьдесят, которая не выезжала из деревни, перебиваясь койкак и не имея даже возможности исправить упалый домишко. Но когда открылись военные действия, Лидочку увезли к тетке. Полковник думал, что кампания будет недолгая, а она между тем затянулась и в заключение — послала ему смерть.

Лидочке было двенадцать лет, когда в ее жизни совершился решительный поворот. О крепостной реформе и слухов не было, но крохотная барщина доставляла так мало, что с прекращением помощи со стороны полковника вдвоем

просуществовать было невозможно. Земли было, по-видимому, и довольно, но половина ее находилась под зыбучим болотом, а добрый кусок занимали пески; из остального количества, за наделением крестьян, на долю помещика приходилось не больше шестидесяти десятин, но и то весьма сомнительного качества. Собственно говоря, главным подспорьем служил небольшой огород да лужок, дававший достаточно сена, чтобы содержать лошадь и с десяток коров. Прислуга при доме состояла из двух человек: хромоного бобыля Фоки да пожилой бобылки Филанидушки, которые и справляли все работы около дома.

Но Прасковья Гавриловна (так звали старушку Варнавинцеву) была еще бодра и сильна. Она почти без посторонней помощи сама обработывала огород, убирала комнаты, зимой топила печки, покуда бобылка Филанидушка возилась в стряпущей, ходила за коровами и т. д. Сверх того, она завела у себя нечто вроде сельской школы. Набралось до двенадцати мальчиков и девочек, за обучение которых она деньгами не брала, а предоставляла благодарить ее натурой. Таким образом, у нее был обеспеченный запас муки, пряжи, полотна и другого деревенского добра.

Лидочка горячо любила отца и скоро подружилась с теткой. Когда пришла роковая весть, у обеих сердца застыли. Лидочка испугалась, убежала и спряталась в палисаднике. Прасковью Гавриловну придавила мысль, что рушилось все, что защищало их и указывало на какой-нибудь просвет в будущем. Она с ужасом глядела на Лидочку. Ей представился, рядом с гробом покойного брата, ее собственный гроб, а за этими двумя гробами зияла бездна одиночества и беспомощности, которые должны были поглотить Лидочку.

Однако известие, что участь племянницы обратила на себя внимание, несколько ободрило Прасковью Гавриловну. Решено было просить о помещении девочки на казенный счет в институт, и просьба эта была уважена. Через три месяца Лидочка была уже в Петербурге, заключенная в четырех стенах одного из лучших институтов. А кроме того, за нею оставлена была и небольшая пенсия, назначенная за заслуги отца. Пенсию эту предполагалось копить из процентов и выдать сироте по выходе из института.

Бедность и сиротство Лидочки, ее характер, скромный и общительный, неблестящие способности, при чрезвычайном прилежании, некрасивая внешность — всё это сразу определяло ее институтское будущее. В нее вольется ат-

мосфера институтского ребячества и малокровия; на нее ляжет та своеобразная печать, от которой не могут отделаться институтки даже долгое время после выпуска. Она будет играть в институте роль интересной сироты, но ее не будут заставлять ни играть на фортепиано, ни танцевать па-де-шаль в присутствии влиятельных посетителей. Скорее всего, она останется принадлежностью института, сначала в качестве воспитанницы, потом в качестве пепиньерки и, наконец, в качестве классной дамы. Классные дамы бывают двух сортов: злые и добрые; но она будет добрая, и все ее будут любить. Маленькие институтки будут ее обожать, большие перед выходом говорить ей «ты» и возьмут с нее слово не забывать их и по выходе из института. Благодаря беспрерывному нахождению среди детей она до глубокой старости сохранит ребяческую душу, ребяческое сердце, ребяческий ум.

Лидочку очень обласкали на первых порах. Посетителям указывали на нее глазами и шепотом говорили:

— Вы знаете... храбрый полковник Варнавинцев... celui, qui [1] так это его дочь.

С товарками она тоже сошлась; ко всем ласкалась и всегда так отлично знала уроки, что помогала ленивеньким в их занятиях. Сверх того, всех занимало и ее исключительное положение.

— Неужто к тебе никто по воскресеньям ездить не будет? — спрашивали ее.

— Кому же ко мне ездить?.. я сирота! Папаша мой пал на поле сражения, а тетя в деревне живет.

Она объясняла это так просто, как будто хотела сказать: как же вы не понимаете, что для меня остаются только стены института?

Даже родные институток, приезжавшие в институт в определенные дни, заинтересовались ею. Подзывали ее к себе, потчевали конфектами и пирожками, а княгиня Тараканова до того однажды договорилась, что просила ее кланяться тетке.

Тетка писала ей аккуратно два раза в месяц и подробно уведомляла о деревенском житье. Лидочка знала, что корова Красавка отелилась телочкой, что собака Жучка ослепла, что Фока лежал целый месяц больной и что нынешнее лето совсем огурцов не уродилось. Читая эти письма, девочка то радовалась, то плакала. Ей было приятно, что Красавка

---

[1] тот самый, который *(фр.)*.

принесла телочку, а не бычка, но жаль было Жучку и Фоку, а всего больше жаль тетеньку, которая осталась без огурцов. «Должно быть, в Тотемском уезде климат слишком суров,— писала она к тетке,— потому что все наши девицы говорят, что в их краях никогда не бывало такого изобилия огурцов. Поливаете ли вы их, голубушка? И уродились ли, по крайней мере, рыжечки, которые в некоторых случаях могут вполне заменить огурцы?» Корреспонденция эта была единственным звеном, связывающим ее с живым миром; она одна напоминала сироте, что у нее есть где-то свое гнездо, и в нем своя церковь, в которой старая тетка молится о ней, Лидочке, и с нетерпением ждет часа, когда она появится в свете и — кто знает — быть может, составит блестящую партию... Ведь недаром же храбрый полковник Варнавинцев пал на поле сражения; найдутся люди, которые, ради отца, вспомнят и о дочери...

Из класса в класс Лидочка переходила исправно, но Прасковья Гавриловна не дождалась выхода ее сиротки из института и за год до окончания курса мирно скончалась в своем родовом Васильевском. Об этом Лидочку известил сельский священник, спрашивая, как поступить с господским домом, который совсем разваливается, и с Фокой и с Филанидушкой, которые остались ни при чем. Лидочка несколько дней сряду проплакала, но потом ребяческим своим умом рассудила, что если бог решил отозвать ее тетю, то, стало быть, это ему так угодно, что слезы представляют собой тот же ропот, которым она огорчает бога, и т. д.

— Наконец-то вы успокоились, Лидочка! — говорила ей классная дама.

— Я рассудила, Клеопатра Карловна, что слезами мы ничему помочь не можем, а только гневим своим ропотом бога, которому, конечно, известно, как лучше с нами поступить,— резонно ответила девушка.

— И всегда так рассуждайте! — похвалила ее дама,— бог будет любить вас за это, а тетенька будет на вас радоваться. На свете всегда так бывает. Иногда мы думаем, что нас постигло несчастье, а это только испытание; а иногда — совсем напротив.

И тут сиротке помогли. Поручили губернатору озаботиться ее интересами и произвести ликвидацию ее дел. Через полгода все было кончено: господский дом продали на снос; землю, которая обрабатывалась в пользу помещика, раскупили по клочкам крестьяне; инвентарь — тоже; Фоку

и Филанидушку поместили в богадельни. Вся ликвидация дала около двух тысяч рублей, да крестьяне, сверх того, были посажены на оброк по семи рублей с души.

— Ты, душка, по девяносто восьми рублей в год будешь получать! — поздравляли ее товарки.

— Счастливица!

— Нашли кому завидовать... миллионщицы! — отшучивалась сирота, но в душе совершенно правильно рассудила, что и девяносто восемь рублей на полу не поднимешь; что девяносто восемь рублей да проценты с капитала, вырученного за проданное имущество, около ста двадцати рублей — это уж двести осьмнадцать, да пенсии накопится к ее выходу около тысячи рублей — опять шестьдесят рублей...

Она́ не была ни жадна, ни мечтательна, но любила процесс сложения и вычитания. Сядет в угол и делает выкладки. Всегда она стояла на твердой почве, предпочитая истины общепризнанные, прочные. Говорила рассудительно, считала верно. Алгебры не понимала, как и вообще никаких отвлечений.

— Зачем мне a да b,— говорила она,— ежели я могу вместо a поставить 1, вместо b — 2? $1+2$ — я понимаю, а $a+b$,— воля ваша, даже не вижу надобности понимать. Вот сегодня Леночке прислали десяток яблоков — ведь мы же не говорим, что она получила c яблоков?

Даже из басен Крылова она предпочитала «Ворону и Лисицу», «Три мужика» и т. д., а не «Стрекозу и Муравья», «Музыкантов» и проч.

— Стрекоза живет по-стрекозиному, муравей — по-муравьиному. Что же тут странного, что стрекоза «лето целое пропела»? Ведь будущей весной она и опять запела в полях — стало быть, и на зиму устроилась не хуже муравья. А «Музыкантов» я совсем не понимаю. Неужели непременно нужно быть пьяницей, чтобы хорошо играть, например, на скрипке?

Ученье приближалось к концу, а ребяческая рассудительность не оставляла ее.

Тетрадки ее были в порядке; книжки чисты и не запятнаны. У нее была шкатулка, которую подарила ей сама maman (директриса института) и в которой лежали разные сувениры. Сувениров было множество: шерстинки, шелковинки, ленточки, цветные бумажки, и все разложены аккуратно, к каждому привязана бумажка с обозначением, от кого и когда получен.

— Со временем у нее разовьются отличные педагогические способности,— говорили о ней классные дамы,— она аккуратна, точна в исполнении обязанностей, никогда не позволит себе отступить от правил. Вот только чересчур добра... даже рассердиться не умеет!

Она и сама прозревала, что в будущем ей предстоит педагогическая карьера; но иногда ей казалось странным, что ей ставят в упрек ее доброту. Напротив, она думала, что доброта обуздывает гораздо скорее, нежели строгость.

«Вот Клеопатра Карловна добрая,— рассуждала она,— и при ней все девицы ведут себя отлично; а Катерина Петровна строгая — ей все стараются назло сделать. С месяц назад новое платье ей испортили,— так и не догадалась, кто сделал».

Несмотря на приближение 18-ти лет, сердце ее ни разу не дрогнуло. К хорошеньким и богатеньким девицам уже начали перед выпуском приезжать в приемные дни, под именами кузенов и дяденек, молодые люди с хорошенькими усиками и с целыми ворохами конфект. Она не прочь была полюбоваться ими и даже воскликнуть:

— Ах, какой херувим!

Но в этом восклицании не слышалось ничего, кроме обычного институтского жаргона, который так и оставался жаргоном.

— Это князь Бесхвостый,— говорила ей подруга, которую молодой князь удостоивал своим вниманием (разумеется, с разрешения родителей).

— Ах, счастливица!

— Нравится он тебе?

— Божественный! херувим!

Иногда «счастливица» позволяла себе слегка посмеяться над Лидочкой.

— А знаешь ли, душка,— говорила она,— что ты произвела на князя очень большое впечатление?

— Ах, что ты! проказница! Ты посмотри на меня, какая я... Ну, под стать ли я такому херувиму!

Она говорила это без всякой тени досады, просто и откровенно, совершенно уверенная, что праздничная сторона жизни никогда не будет ее уделом.

Наконец наступил день выпуска, и Лидочке предложили остаться при институте в качестве пепиньерки. Разумеется, она согласилась. Счастливые институтки, разодетые по-городскому, плакали, расставаясь с нею.

— Ах, Лидочка, я упрошу maman тебя на лето к нам в деревню взять! — говорила одна.

— Ах, какая ты добрая!

— Ты, Лидочка, к нам по воскресеньям обедать приходи! — говорила другая.

— Милые вы мои!

Кареты с громом отъезжали от подъезда. Лидочка провожала глазами подруг, которые махали ей платками. Наконец уехала последняя карета.

Дверь швейцарской захлопнулась. Лидочка вновь погрузилась в институтскую тишину.

— Лидочка! Вам жаль старых подруг? — спрашивали ее.

— Ах, даже очень, очень жаль!

— Вы завидуете им?

— Я не имею права завидовать. Я всегда понимала, что им предстоит одна дорога, а мне — другая. И могу только благодарить моих покровителей, что они не оставляют меня.

— Но ведь скучно в институте?

— Мне не скучно. Но ежели бы и было скучно, то надо же кому-нибудь и скучать. Притом же я, с позволения maman, буду иногда выходить в город. И я уверена, что подруги свидятся со мной без неудовольствия.

В первое воскресенье она, однако ж, посовестилась тревожить подруг. «Им не до меня,— сказала она себе,— они теперь по родным ездят, подарки получают, покупают наряды!» Но на другое воскресенье отважилась. Надела высокий, высокий корсет, точно кирасу, и с утра отправилась к Настеньке Буровой.

Было уже одиннадцать часов, но Настенька еще нежилась в постели. Разумеется, она была очень рада приходу Лидочки.

— Ты очень хорошо сделала, что пораньше приехала,— сказала она,— а то мы не успели бы наговориться. Представь себе, у меня целый день занят! В два часа — кататься, потом с визитами, обедаем у тети Головковой, вечером — в театр. Ах, ты не можешь себе представить, как уморительно играет в Михайловском театре Верне!

— Ну, вот и прекрасно, что ты не скучаешь!

— Постой, душечка, я тебе свой trousseau[1] покажу!

И начала раскладывать одно за другим платья, блузы,

[1] приданое *(фр.)*.

принадлежности белья и проч. Все было свежо, нарядно, сшито в мастерских лучших портных. Лидочка осматривала каждую вещицу и восхищалась. Восхищалась объективно, без всякого отношения к самой себе. Корсет ровно вздымался на груди ее в то время, как с ее языка срывались: «Ах, душка!», «ах, очарованье!», «ах, херувим!»

— Хочешь, я тебе эту ленту подарю? — вдруг вздумалось Настеньке.

— Подари!

— Впрочем... знаешь ли что? Я лучше в другой раз — прежде у мамаши спрошу!

— И прекрасно сделаешь! Это первый наш долг — спрашиваться у родителей.

В будуар к Настеньке вошла кисло-сладкая дама и пожала Лидочке руку. Это была maman Бурова.

— Любуетесь? — спросила она.

— Прелесть! очарование!

— Да, но и не дешево это стоит.

— Я воображаю!

— Maman! мне хотелось бы Лидочке вот эту ленту подарить! Посмотри, как к ней это идет!

Настенька обернула ленту кругом Лидочкиной талии и сделала спереди бант.

— Charmant![1] — крикнула она в восхищении.

Но maman не ответила ни да, ни нет, а только сказала дочери:

— Какой ты, мой друг, еще ребенок! — И, обратившись к Лидочке, прибавила: — Вы к нам? Ах, как жаль, что у нас сегодня целый день занят! Но в другой раз...

— Ничего, у меня свой дом в институте есть...

— Знаешь ли что,— догадалась Настенька,— поезжай к Верховцевым; я знаю, что они сегодня дома.

— А и то — пойти к ним. Верочка тоже меня приглашала...

— Только вы нас уж, пожалуйста, извините! — повторила maman Бурова.

— Ах, что вы! Разве я не понимаю!

Верховцевы сходили по лестнице, когда Лидочка поднималась к ним. Впрочем, они уезжали не надолго — всего три-четыре визита, и просили Лидочку подождать. Она вошла в пустынную гостиную и села у стола с альбомами. Пересмотрела все — один за другим, а Верховцевых все нет как нет. Но Лидочка не обижалась; только ей очень

[1] Прелестно! *(фр.)*

хотелось есть, потому что институтский день начинается рано, и она, кроме того, сделала порядочный моцион. Наконец, часов около пяти, Верочка воротилась.

— Как ты отлично сделала, что к нам собралась! — крикнула она, бросаясь на шею к подруге.

— Жаль только, что мы в театр сегодня собрались,— молвила maman Верховцева.

— Maman! возьмем Лидочку с собою! Лидочка! сегодня ведь «L'amour — qu'est qu'c'est qu'ç?»[1] играют! Уморительно!

— С большим удовольствием,— согласилась maman,— но Лидии Степановне придется сесть сзади...

— Так что ж такое! разве я не понимаю!

Дни шли за днями, а подруги не забывали ее. Нередко приезжали в институт, осматривали знакомые комнаты и засаживались на четверть часа в каморке у старой товарки. В среде их уже устраивались свадьбы, и редкая забыла сделать Лидочку участницей своего счастия. Бедная пепиньерка являлась в своей кирасе и в горохового цвета шелковом платье, которое сослужило ей хорошую службу. Потом пошли родины, крестины — сироту всюду звали, а во время девятидневного родильного карантина она почти безвыходно сидела около родильницы — разумеется, с позволения институтской maman.

Однажды Настенька Бурова сообщила ей, что Верочка Верховцева, только два месяца тому назад вышедшая замуж, уж «дурно ведет себя»; но Лидочка взглянула так удивленно, что Настенька расхохоталась.

— Ах, какая ты уморительная! — смеялась она,— еще Верочка ничего, а на днях Alexandrine Геровская бросила мужа и прямо переехала к своему гусару.

— Неужто начальство это позволяет?

Некоторые из товарок пытались даже расшевелить ее. Давали читать романы, рассказывали соблазнительные истории; но никакой соблазн не проникал сквозь кирасу, покрывавшую ее грудь. Она слишком была занята своими обязанностями, чтобы дать волю воображению. Вставала рано; отправлялась на дежурство и вечером возвращалась в каморку хотя и достаточно бодрая, но без иных мыслей, кроме мысли о сне.

Мало-помалу круг старых подруг сократился. Лидочка все реже и реже отлучалась из института в город и почти все время свое отдавала маленьким институткам, которые

[1] «Любовь — что это такое?» *(фр.)*

ей были поручены. Вследствие беспрерывного общения с малолетними, в нее все глубже и глубже впивалась складка ребячества. И радости и горести ее были совершенно те же, что и у десяти-двенадцатилетних девочек, которые кишели вокруг нее. Вся разница между нею и ними заключалась в том, что она в течение целого дня не покидала своей кирасы. Посторонние начинали находить, что с нею скучно. Но она радовалась, что пичужки любят ее, что начальство довольно, и все реже и реже пользовалась отпуском в город, хотя гороховое платье еще было как новое.

Она была деятельна и неутомима только при исполнении своих обязанностей; вне этого круга она могла назваться даже ленивою. Ничто не манило ее за стены института. Старые подруги рассеялись, новых выпускных девиц, которых она могла бы назвать своими воспитанницами, еще не было.

Воспитательная репутация ее все росла и росла; ее уже подумывали сделать классной дамой. Однажды приехал в институт вновь назначенный начальник и сказал ей:

— Вся русская армия чтит память покойного вашего батюшки, а батальон, которым он командовал, и поныне считается образцовым. Очень рад слышать, что вы идете по стопам достославного отца своего.

Эта похвала несколько взволновала ее. Она подумала, что и папаша и тетя смотрят на нее в эту минуту с высот небесных и радуются, что она так отлично устроилась. В самом деле, у нее был свой уголок с стоящими на окнах лимонными и апельсинными деревцами, которые она сама вырастила из семечек; у нее был готовый стол; воспитанницы любили ее, начальство ею дорожило — чего еще надо сиротке? К довершению всего, корсет, который она носила, оказался так прочно сшит, что в течение десяти лет не потребовал ни малейшей починки. И деньги у нее водились; а так как ей решительно некуда было тратить их, то, вместе с сбережениями образовался уж капитал около шести тысяч рублей. Она решилась завещать его на учреждение одной или двух стипендий в том институте, который дал ей приют.

Однажды только она не на шутку взволновалась: ей приснился муж Машеньки Гронмейер, «херувим» с маленькими усиками и в щегольском сюртучке, которого она, еще будучи институткой, видела в приемные дни в числе посетителей. Фамилия его была Копорьев, и Лидочка, по окончании курса, довольно часто посещала старую подру-

гу. Никогда она не давала себе отчета, какого рода чувства возбуждал в ней Копорьев, но, вероятно, у нее вошло в привычку называть его «херувимом», потому что это название не оставляло его даже тогда, когда «херувим» однажды предстал перед нею в вицмундире и с Анной на шее. В этом же виде он и приснился ей. Разумеется, она ни на минуту не поколебалась. Отперла заветную шкатулку, вынула оттуда старую перчатку Копорьева и бросила ее в топившуюся печку. С тех пор все как рукой сняло.

Никогда она не думала о выходе в замужество, никогда. Даже мимолетом не залетала эта мысль в ее голову, словно этот важнейший шаг женской жизни вовсе не касался ее.

Чем более погружалась она в институтскую мглу, тем своеобразнее становилось ее представление о мужчине. Когда-то ей везде виделись «херувимы»; теперь это было нечто вроде стада статских советников (и выше), из которых каждый имел надзор по своей части. Одни по хозяйственной, другие — по полицейской, третьи — по финансовой и т. д. А полковники и генералы стоят кругом в виде живой изгороди и наблюдают за тем, чтобы статским советникам не препятствовали огород городить.

Когда ей было уже за тридцать, ей предложили место классной дамы. Разумеется, она приняла с благодарностью и дала себе слово сделаться достойною оказанного ей отличия. Даже старалась быть строгою, как это ей рекомендовали, но никак не могла. Сама заводила в рекреационные часы игры с девицами, бегала и кружилась с ними, несмотря на то, что тугой и высокий корсет очень мешал ей. Начальство, видя это, покачивало головой, но наконец махнуло рукой, убедясь, что никаких беспорядков из этого не выходило.

Из класса в класс переходила она с «своими» девицами и радовалась, что наконец и у нее будет свой собственный выпуск, как у Клеопатры Карловны. Перед выпуском опять стали наезжать в приемные дни «херувимы»; но разница в ее прежних и нынешних воззрениях на них была громадная. Во дни оны она чувствовала себя точно причастною этому названию; теперь она употребляла это выражение совершенно машинально, чтоб сказать что-нибудь приятное девице, которую навещал «херувим».

Наконец день первого *ее* выпуска наступил. Красивейшая из девиц с необыкновенною грацией протанцевала па-де-шаль; другая с чувством прочла стихотворение Лер-

монтова «Спор»; на двух роялях исполнили в восемь рук увертюру из «Фрейшютц»; некрасивые и малоталантливые девицы исполнили хор из «Руслана и Людмилы». Родители прослезились и обнимали детей.

Наконец наступил час расставания. Как и при собственном выходе из института, Лидия Степановна стояла в швейцарской и провожала уезжавших.

— Прощайте, божественная! небожительница! — кричали ей девицы, усаживаясь в кареты,— не забудьте! приезжайте!

— Непременно! непременно! — отвечала она им вслед.

Она махала платком, и ей махали платками из карет.

Вместе с нею стояла в швейцарской выпущенная институтка и плакала. Она тоже кончила курс, но была сирота, и ей предложили остаться при институте пепиньеркой.

— Вот и вы, Любочка, обрели тихое пристанище,— молвила плачущей Лидия Степановна.

Затем взяла ее под руку, и обе стали взбираться вверх по лестнице.

— Вы не плачьте,— утешала старшая сирота младшую,— здесь тихо... спокойно... точно в колыбели качаешься... Вам отведут комнату, и вы можете сидеть в ней и думать. Я тоже сидела и думала, но скоро успокоилась, и вам то же советую. Что мы такое? Мы — предназначенные судьбою вечные институтки. Институт наложил на нас свою печать, и эта печать будет лежать на нас до старости. Это хорошо, потому что иначе нельзя было бы жить. Вот придет весна, распустятся аллеи в институтском саду; мы будем вместе с вами ходить в сад во время классов, станем разговаривать, сообщать друг другу свои секреты... Право, судьба еще не так жестока, как кажется!

Около этого времени ее постигло горькое испытание: умерла старая директриса института. Горе едва не подавило ее, но она, как и по случаю смерти тетки, вступила с ним в борьбу и вышла из нее с честью.

— Бог знает, что́ делает,— сказала она себе,— он отозвал к себе нашу добрую maman — стало быть, она нужна была *там*. А начальство, без сомнения, пришлет нам новую maman, которая со временем вознаградит нас за горькую утрату.

И действительно, через месяц явилась новая maman, и Лидия Степановна полюбила ее, как старую.

. . . .

Теперь ей уж за сорок, и скоро собираются праздновать ее юбилей. В парадные дни и во время официальных приемов, когда показывают институт влиятельным лицам, она следует за директрисой, в качестве старшей классной дамы, и всегда очень резонно отвечает на обращаемые к ней вопросы. В будущем она никаких изменений не предвидит, да и никому из начальствующих не приходит на мысль, что она может быть чем-нибудь иным, кроме образцовой классной дамы.

Корсет она, однако ж, переменила. Прежде всего старый обветшал, а наконец, она сама потучнела, и тело сделалось у нее грубое, словно хрящеватое. Но и тут она отказалась следовать моде и сделала себе корсет такой же высокий и жесткий, как кираса.

— Довольны вы? — спрашивал я ее на днях, встретивши ее у одной из ее питомок, молоденькой дамы, которая очень недавно связала себя узами гименея.

— И даже очень,— ответила она мне,— вспомните, ведь я сирота, и институт дал мне приют... Разве я этого не понимаю?

ЗЕМСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ

В губернском городе N издавна существовало две дворянских партии: живоглотовская и красновская. То Живоглотовых выбирали в предводители, то Красновых. Натурально, и те и другие относились друг к другу враждебно. Не только представители партий, но и их клиенты не вели взаимного хлебосольства, играли в клубе в карты особняком, не целовались, а только, в крайнем случае, сухо раскланивались между собой. Ежели у Живоглотова назначались обеды по воскресеньям, то и Краснов по тем же дням устраивал и у себя обеды. При этом и тот и другой старались приманить к себе кого-нибудь из крупных представителей местной администрации или заезжего человека. Но торжеством партии считалось, когда на этих тенденциозных обедах появлялся перебежчик из противоположного лагеря. Тогда трубили победу, сажали перебежчика на видное место и поздравляли его.

По понедельникам партии считались.

— Живоглотов до пяти часов обедать не садился,— говорили красновцы,— а собралось всего сам-пятнадцать человек.

Или:

— Красновы вчера губернатора ждали. Думали: два воскресенья сряду не был,— наверное, в третье приедет; а он и вчера у Живоглотова обедал, и т. д.

С приближением выборов борьба партий усиливалась, но так как время было патриархальное и никаких «вопросов» не полагалось, то и борьба исключительно велась на почве обедов, балов и других увеселений. Посылались в Москву нарочные за винами, закусками и фруктами; закупались вперед живые осетры, стерляди и проч.; в усадьбах откармливалась птица, отпаивались телята. Съехавшийся со всех концов губернии дворянский люд с утра до ночи толпился в квартирах, занимаемых Живоглотовым и Красновым, пил и ел, и, в конце концов, наедал столько, что сами радушные амфитрионы приходили в изумление. Надо, впрочем, сказать, что Живоглотовы почти всегда побеждали; Красновы же попадали в предводители редко и по большей части ограничивались только оппозицией, настолько грозной, что с нею нельзя было не считаться.

Живоглотовы были проще, но вальяжнее. Представители этого старинного рода дослуживались до хороших чинов и уже под старость приезжали на родину, чтобы послужить господам дворянам. Один был даже генерал-лейтенант и сряду пять трехлетий прослужил в предводителях. Красновы были умственнее, но крупных чинов не имели. Всё больше титулярные советники и коллежские секретари. Они следили за политикой и могли объяснить, почему в 1848 году Луи-Филипп пал. Один из Красновых завел в своем имении травосеяние, о чем Живоглотовым и во сне не снилось. Другой Краснов хлопотал об учреждении в родном городе общества сельского хозяйства и был деятельным членом местного статистического комитета. Словом сказать, Красновы имели все права, чтобы стоять во главе местной интеллигенции, однако ж, и за всем тем, Живоглотовы почти всегда побеждали.

Но в половине пятидесятых годов повеяло новым духом. Послышались выражения: «либерализм, либералы, либеральная партия». Красновы поняли, а Живоглотовы не поняли. Когда, ввиду предстоящей крестьянской реформы, состоялись дворянские выборы, то Николаю Николаичу Краснову без труда удалось одержать блестящую победу над бывшим предводителем из рода Живоглотовых. Николай Николаич сумел объяснить суть дела, не скрыл, что дворянству предстоит умаление, но в то же время указал, как следует поступать, чтобы довести угрожающую опасность до минимума. Между прочим, он подал совет постепенно очищать помещичьи имения от грубиянов, переселять крестьян на новые места, записывать их в дворовые, и т. д. Напротив того, Живоглотов, растерянный и бесхитростный, ничего не умел объяснить, а только твердил одно: «Как будет угодно богу, так и станется-с; а я, с своей стороны, готов-с».

— Эк вывез! — роптали даже такие дворяне, которые совсем очумели от страха, и целыми партиями переходили на сторону Краснова.

Краснов провел дело блестяще. Он, во главе большинства комитета, написал проект, в каждой строке которого сквозила тонкая политика. Безусловно соглашаясь с мыслью о необходимости упразднения крепостного права, он предлагал устроить это дело так, чтоб крестьяне сразу почувствовали, а помещики ничего не ощутили. Самые заскорузлые крепостники ничего не имели сказать против этого; нашлись только два радикала, которые подшучивали над

дилеммой, поставленной Красновым, и подали свой проект. Справедливость требует, однако ж, сказать, что оба радикала были из глухого уезда, изобиловавшего песками и болотами, что и давало их проекту совсем не то значение, на которое они рассчитывали.

— Я не радикал,— гордо говорил Краснов,— я либерал-с. У меня ни одной пяди песку нет; я наделяю крестьян настоящей, заправской землей, и потому на выкуп не согласен-с.

При Краснове же совершилось и самое освобождение. Условия, в которых оно произошло, были не совсем те, которые значились в его проекте, но это уже зависело не от него. Всем было известно, что, участвуя в работах редакционных комиссий, он отстаивал свою мысль, сколько мог, и, следовательно, явил себя вполне достойным доверия, которым его облекли. Он откровенно давал отчет всякому помещику о своих действиях, подавал благие советы и вместе с прочими негодовал на неудачный выбор мировых посредников, из которых многие, как он уверял, состояли в сношениях с заграничными агитаторами. Но так как они в то же время были и местные землевладельцы, то он полагал, что предстоящие выборы представят очень удобный случай остепенить их.

Когда наступили новые выборы, он, к общему удивлению, отказался от баллотировки, ссылаясь на усталость и предлагая обратиться к одному из Живоглотовых. Затем он придал собранию исключительно полемический характер. Посредников призывали «к столу», требовали отчета, уличали и вообще производили веселую травлю. Посредники отчасти ежились и благоразумно удалялись из зала собрания, но большинство выслушивало обвинения в гордом молчании. Травля оказывалась бессильною, но в то же время забавною и популярною. Сам Живоглотов подал Краснову руку в знак примирения и сказал: «Милости просим откушать!»

Несколько дней сряду обедал Краснов у своего бывшего противника, и каждый раз в пользу его заклали тельца упитанна. Никто не мог проникнуть в сущность политики Краснова, и все удивлялись его великодушию.

Но Краснов вовсе не великодушничал, а просто рассчитывал на себя и в то же время приподнимал завесу будущего. Во-первых, затраты, которые он сделал в поисках за предводительством, отозвались очень чувствительно на его общем благосостоянии; во-вторых, проживши несколько

месяцев в Петербурге и потолкавшись между «людьми», он на самое предводительство начал смотреть совсем иными глазами. Он просто не верил, что звание это может иметь будущность.

По обыкновению всех русских, он слишком дал волю воображению, так что перед глазами его уже мелькала заря какой-то новой эры. Он говорил себе, что такой решительный шаг, какой представляла собой отмена крепостного права, не может остаться без дальнейших последствий; что разделение на сословия не удержится, несмотря ни на какие искусственные меры; что на место отдельных сословных групп явится нечто всесословное и, наконец, выступит на сцену «земля». Одним словом, в его уме уже сформировалось представление о чем-то вроде земских учреждений, которые действительно и не замедлили.

Вот где настоящее его место. Не на страже мелких частных интересов, а на страже «земли». К тому же идея о всесословности совершенно естественно связывалась с идеей о служебном вознаграждении. Почет и вознаграждение подавали друг другу руку, а это было далеко не лишнее при тех ущербах, которые привела за собой крестьянская реформа,— ущербах, оказавшихся очень серьезными, несмотря на то, что идеал реформы формулировался словами: «Чтобы помещик не ощутил...»

Он даже пенял на себя за то, что поступил несколько неосмотрительно, призывая к ответу тех чересчур бойких мировых посредников, которые слишком рьяно приступили к осуществлению освободительной задачи. Но ему необходимо было это для того, чтобы заранее заручиться избирательным большинством, и он достиг этого. Что касается до обиженных посредников, то, по размышлении, он сказал себе: «Перемелется — мука будет»,— и успокоился. Большинство их, конечно, и само невдолге поймет тщету своих потуг; другие убедятся, что иметь дело с Красновым все-таки удобнее, нежели с каким-нибудь живоглотовским партизаном; наконец, третьи, наиболее убежденные, утомятся систематическим противодействием и отчужденностью. А он возьмет в руки знамя и будет твердо держать его на страже интересов «земли».

Когда, спустя лет пять после крестьянской реформы, обнародованы были земские учреждения, сам Живоглотов согласился, что для этого дела не сыщется в губернии более подходящего руководителя, как Краснов. В первом же губернском земском собрании Николая Николаича выбрали

громадным большинством в председатели губернской управы, с ежегодным жалованьем в четыре тысячи рублей. Разумеется, он начал с того, что отказывался от жалованья, говоря, что готов послужить земле безвозмездно, что честь, которую ему делают... понятие о долге... наконец, обязанность... Но ему так настоятельно гаркнули в ответ: «Просим! просим!» — что он вынужден был согласиться. В тот же день у Живоглотова был обед в честь вновь избранных деятелей земства.

— Теперь уж не я хозяин в губернии, а наш почтеннейший Николай Николаич,— скромно произнес хозяин и, подняв бокал, крикнул: «Урррa!»

— Нет, не я хозяин, а вы, многоуважаемый Полиевкт Семеныч! — еще скромнее возразил Краснов,— вы всегда были излюбленным человеком нашей губернии, вы остаетесь им и теперь. Вы, так сказать, прирожденный председатель земского собрания; от вашей просвещенной опытности будет зависеть направление его решений; я же — ничего больше, как скромный исполнитель указаний собрания и ваших.

После обеда гости были настолько навеселе, что потребовали у Краснова спича. И он, как vir bonus, dicendi peritus[1], не заставил себя долго просить.

— Россия,— сказал он,— была издревле страною по преимуществу земскою. Искони в ней собирались, у подножия престола, земские чины и рассуждали о нуждах страны. «Земские чины приговорили, а царь приказал» — такова была установившаяся формула. Земство и царь составляли одно нераздельное целое, на единодушии которого созидалось благополучие всей русской земли. К сожалению, назад тому более полутора веков, земство без всякого повода исчезло с арены деятельности. Не стало ни целовальников, ни ярыжек (в среде присутствующих — сдержанный смех: «ярыжек!»). Их место заняла сухая, беспочвенная бюрократия (смех усиливается). И что же вышло?! Благодаря земству нам некогда был открыт широкий путь в Константинополь; великий князь Олег прибил свой щит к вратам древней Византии; Россия вела обширный торг медом, воском, пушным товаром. Это не я говорю, а летописец. Благодаря бюрократии — мы до своих усадеб осенью едва добраться можем («браво! браво!»). Мосты в разрушении, перевозов не существует, дороги представляют со-

[1] муж разумный, в красноречии опытный (*лат.*).

бой канавы, в грязи которых тонут наши некогда породистые, а ныне выродившиеся лошади. Наша земля кипела медом и млеком; наши казначейства были переполнены золотом и серебром — куда все это девалось? Остались ассигнации, надпись на которых тщетно свидетельсвует о надежде получить равное количество металлических рублей. Такова неутешительная картина недавнего прошлого. Но всякой безурядице бывает предел, и просвещенное правительство убедилось, что дальнейшее владычество бюрократии может привести только в общему расстройству. Теперь перед нами занялась заря лучшего будущего. Я допускаю, что это только заря, но в то же время верю, что она предвещает близкий восход солнца. Но не будем самонадеянны, милостивые государи. Мы так отучились ходить на собственных ногах, что должны посвятить немало времени, чтобы окрепнуть и возмужать. Вооружимтесь терпением и удовольствуемся на первых порах тою небольшою ролью, которая нам предоставлена. Перед нами дорожная повинность, подводная повинность, мосты, перевозы, больницы, школы — все это задачи скромные, но в высшей степени плодотворные. Удовлетворимся ими, но в то же время не будем коснеть и в бездействии. Так шло дело везде, даже в классической стране самоуправления — в Северной Америке. Сначала явились мосты и перевозы, но постепенно дело самоуправления развивалось и усложнялось. Наконец наступила новая эра, которую я не считаю нужным назвать здесь по имени, но которую всякий из нас назовет в своем сердце. Наравне с другими народами, и мы доживем до этой эры, и мы будем вправе назвать себя совершеннолетними. Мы достигнем этого благодаря земским учреждениям, скромное возникновение которых мы в настоящую минуту приветствуем. Поднимаю бокал и пью за процветание нашего молодого института. Я сказал, господа!

— У-р-р-раа! — раздалось по зале, и все бросились целовать Краснова. И исцеловали его до такой степени, что он некоторое время чувствовал, как будто щеки его покрылись ссадинами.

Членов управы выбрали самых подходящих. У Саввы Берсенева был лучший рысистый жеребец в целой губернии — ему поручили надзор за коневодством, да, кстати, прикинули и рогатый скот. Евграф Вилков был знаток по части болезней — ему поручили больницы. Семен Глотов имел склонность к судоходству — в его ведение отвели

воды и все, что в водах и над водою, то есть мосты и перевозы. Любиму Торцову поручили наблюсти за кабаками и народною нравственностью; а так как Василий Перервин ни к чему, кроме земского ящика, склонности не выказывал, то его сделали казначеем. Сам Краснов взял на себя общий надзор за ходом дела и специально — земские школы.

Тем не менее, когда он на другой день проснулся и, одеваясь, чтобы представиться во главе вновь избранных земцев губернатору, вспомнил свою вчерашнюю речь, то несколько смутился.

— Что такое я там насчет бюрократии наплел! — ворчал он, завязывая галстук,— ведь этак, пожалуй, на первых же порах...

Но губернатор был добрый и отнесся к первой шалости Краснова снисходительно. Он намекнул, что ему не безызвестно о вчерашней выходке, но не обиделся ею.

— Николай Николаич! — обратился он к Краснову перед собравшимися земцами,— я очень рад, что вижу вас моим сослуживцем, и уверен, что вы вполне готовы содействовать мне. И мы, бюрократы, и вы, земцы, служим одной и той же державе и стоим на одной и той же почве, хотя и ходят слухи о каких-то воинственных замыслах...

— Ваше-ство! неужели земство позволит себе без причины...

— Ни без причины, ни по причине-с. Но позвольте мне высказаться. Итак, я говорю, что хотя и ходят слухи насчет воинственных замыслов, но я полагаю, что они преувеличены. Во всяком случае, я заранее убежден, что хоть я и не стратегик, но все сражения, которые замышляют мечтательные головы, будут выиграны мною от первого до последнего. Поговаривают также о какой-то занимающейся заре, предшественнице солнца,— и на этот счет я могу привести в свидетельство свой личный опыт. На заре человеку спится крепче, а сильные солнечные лучи ослепляют — вот и все. Поэтому я предпочитаю сумерки, да и вам, господа, советую. В заключение предлагаю вам устроиться так: подробности пусть останутся за вами, главное руководительство — за мною. Затем называйте меня почвенным или беспочвенным — это безразлично. Я сам могу определить ближе характер моей деятельности и моих отношений к вам. Почва, на которой я стою,— это ответственность перед начальством; отношения же мои к вам таковы: я укажу

вам на мосток — вы его исправите; я сообщу вам, что в больнице посуда дурно вылужена,— вы вылудите. Задачи скромные, но единственные, для выполнения которых мне необходимо ваше содействие. Во всем прочем я надеюсь на собственные силы и на указания начальства. Итак, не будемте парить в эмпиреях, ибо рискуем попасть пальцем в небо; но не будем и чересчур принижаться, ибо рискуем попасть в лужу. Надеюсь, что мы поймем друг друга.

Сказавши это, губернатор пожал земцам руки и удалился.

Земцы принялись за дело бойко и весело; губернатор, с своей стороны, тоже не унывал.

В Главной больнице, бывшей до того времени в ведении приказа общественного призрения, умывальники горели как жар. Краснов, по очереди с специалистом Вилковым, ежедневно посещали больницу, пробовали пищу, принимали старое белье, строили новое, пополняли аптеку и проч. Губернатор, узнав о такой неутомимой их деятельности, призвал их и похвалил.

— Позаймитесь, пожалуйста, картами,— сказал он при этом,— признаться, в приказе эта часть была в некотором запущении; карты хранились в кладовой казначейства и были всегда сыры. Между тем потребность в них, как вам известно, не оскудевает.

В конце февраля губернатор пригласил к себе члена управы Глотова и напомнил, что, ввиду наступающей весны, необходимо заняться мостами и перевозами.

Это было очень обидно, потому что сама управа предвидела наступление весны и уже сделала распоряжение, чтобы Глотов, как только появятся на дороге зажоры, немедленно ехал, куда глаза глядят.

Узнав, что Любим Торцов разъезжает по селениям, где заведены кабаки, сам пьет, а крестьян уговаривает не давать приговоров на открытие питейных заведений, губернатор призвал Краснова и сказал ему, что хотя заботы об уменьшении пьянства весьма похвальны, но не следует забывать, что вино представляет одну из существеннейших статей государственного бюджета.

— Но народная нравственность...— заикнулся было Краснов.

— Народную нравственность я вполне вам предоставляю,— прервал его губернатор,— утверждайте народ в правилах благочестия и преданности, искореняйте из народной среды вредные обычаи, даже от пьянства воздерживайте...

Но последнее не принадлежит к вашим прямым обязанностям, и потому вы можете действовать в этом случае, как и всякий частный человек. Существует, как вам известно, целое акцизное ведомство, которое следит за правильностью открытия питейных домов и производства в них торговли; наконец, существует полиция, которая, в случае надобности, приглашается составлять протоколы, и проч. Каждое ведомство имеет свои прерогативы, наступать на которые законом не разрешается. Да-с.

Наконец, узнав, что член управы Берсенев, с наступлением марта, стал водить своего жеребца по всем трактам, в видах улучшения конских пород, губернатор похвалил его за таковое усердие и выразил надежду, что упавшее в губернии коневодство снова процветет.

— Поверьте мне, Савва Семеныч,— сказал он при этом,— что я совсем не противник тех мер, которые принимаются земством на пользу краю. Напротив, я всегда говорил и говорю: «Что полезно, то полезно». И исправникам то же самое предписал говорить.

Словом сказать, через несколько времени земские деятели почувствовали себя как бы в тисках. Никакого новшества они не могли предпринять, в котором губернатор заранее не заявил бы себя инициатором. Не успеет Краснов во сне увидеть, что для больных новые халаты нужны, как губернатор уже озаботился, шлет за Вилковым и дает ему соответствующие инструкции. Не успеет Краснов задуматься, что Перервин как будто поигрывать в карты шибко начал, как губернатор уже шлет за ним и предостерегает. И что всего обиднее — никогда сам не приедет: «Любезный, мол, друг Николай Николаич! — так-то и так-то! — нельзя ли мирком да ладком?» — а непременно шлет гонца: «Извольте явиться!» Тем не менее явных пререканий не было, и ожидания тех, которые по поводу выбора Краснова говорили: «Вот будет потеха!» — не сбылись. Краснов чувствовал, что популярность его с каждым днем падает; Живоглотов забыл о недавних объятиях, которые он простирал «почтеннейшему» Николаю Николаичу, и почти ежедневно заезжал к губернатору «пошушукаться».

Однако всему есть мера; есть мера и губернаторской снисходительности. Губернатор прилаживался к делу плотнее и плотнее и наконец проник в самую суть его.

— Женщина-врач, которую вы определили в Х-скую больницу, оказывается неблагонадежною,— объявляет он однажды Краснову.

— Но почему же, ваше-ство?

— Говорит праздные речи, не имеет надлежащей теплоты чувств... Все это мне известно из вполне достоверных источников.

Женщине-врачу посылают приглашение прибыть в управу.

— Что вы там путаете? — обращается к ней Краснов.

— Я?.. ничего!

— Губернатор говорит, что вы неблагонадежны, не выказываете теплоты чувств и что ему известно это из достоверных источников.

— Помилуйте! — я даже никого в городе не знаю...

— В том-то и дело, что нельзя «никого не знать-с». Нужно всех знать-с. Вспомните: не бываете ли вы у кого-нибудь... неблагонадежного?

— Я бываю только в семье одного сельского учителя... он живет в трех верстах от города...

— Вот видите! — в городе ни у кого не бываете, а по учителям разъезжаете.

— Да почему же?..

— А потому что потому. Впрочем, я свое дело сделал, предупредил вас, а дальше уж сами как знаете.

— Господи! что же я буду делать?

Женщина-врач плачет.

— Не плачьте, а бросьте ваши фанаберии — вот и все. Поезжайте к исправнику, постарайтесь сойтись с его женой, выражайтесь сдержаннее, теплее; словом сказать...

Краснов махает рукой и с словами: «Ну, теперь началась белиберда!» — отпускает женщину-врача.

Но через месяц губернатор опять шлет за ним.

— Девица Петропавловская, о которой я уж говорил вам,— объясняет он Краснову,— продолжает являть себя неблагонадежною. Вчера я получил о ней сведения, которые не оставляют ни малейшего в том сомнения.

— Как прикажете, ваше-ство...

— Приказывать — не мое дело. Я могу принять меры — и больше ничего. Всему злу корень — учитель Воскресенский, насчет которого я уже распорядился... Ах, Николай Николаич! Неужели вы думаете, что мне самому не жаль этой заблуждающейся молодой девицы? Поверьте мне, иногда сидишь вот в этом самом кресле и думаешь: за что только гибнут наши молодые силы?

— Но как же в этом случае поступить? Быть может,

что с удалением учителя Воскресенского, как причины зла, девица Петропавловская...

— Увы! подобные перерождения слишком редки. Раз человека коснулась гангрена вольномыслия, она вливается в него навсегда; поэтому надо спешить вырвать не только корень зла, но и его отпрыски. На вашем месте я поступил бы так: призвал бы девицу Петропавловскую и попросил бы ее оставить губернию. Поверьте, в ее же интересах говорю. Теперь, покуда дело не получило огласки, она может похлопотать о себе в другой губернии и там получить место, тогда как...

— Но ведь ежели она вредна здесь, то, конечно, будет не меньше вредна и в другом месте.

— Ежели так, то ведь и там ей предложат оставить место. И таким образом...

Словом сказать, учитель Воскресенский и девица Петропавловская исчезли, как будто бы их и не бывало в губернии.

Когда управа приступила к открытию училищ, дело осложнилось еще более. В среде учителей и учительниц уже сплошь появлялись нераскаянные сердца, которые, в высшей мере, озабочивали администрацию. Приглашения следовали за приглашениями, исчезновения за исчезновениями. По-видимому, программа была начертана заранее и приводилась в исполнение неукоснительно.

Общество города N притихло. Земцы, которые на первых порах разыгрывали в губернских салонах роль гвардейцев и даже на дам производили впечатление умными разговорами, сделались предметом отчуждения. Как будто они были солидарны со всеми этими нераскаянными сердцами, которые наводнили губернию и обеспокоили местную интеллигенцию. Слышались беспрерывные жалобы, что лохматые гномы заполонили деревни; слово «умники» сделалось прямо бранным. Девицы, проходя в собрании мимо Краснова, прищуривались,— точно у него в кармане была спрятана бомба. Только Берсенева выбирали, по временам, в мазурке, как бы смутно понимая, что его путешествующий жеребец никакого отношения к внутренней политике не имеет. Одним словом, ежели общество еще не совсем упало духом, то благодаря только тому, что ему известно было, что на страже этого кавардака стоит человек, который в обиду не выдаст.

К величайшему удивлению, Краснов, который только по недоразумению заявил себя либералом, чем более осложня-

лось положение вещей, тем более погрязал в бездне либерализма. Превращение это совершилось в нем бессознательно, в силу естественного закона противоречия. Он уже позволил себе высказать губернатору лично, что считает беспрерывное вмешательство его в дела земства чересчур назойливым, и даже написал ему несколько пикантных бумаг в этом смысле, а в обществе отзывался об нем с такою бесцеремонностью, что даже лучшие его друзья делали вид, что они ничего не слышат.

Нередко видали его сидящим у окна и как будто чего-то поджидающим. Вероятно, он поджидал зарю, о которой когда-то мечтал и без которой немыслимо появление солнца. Но заря не занималась, и ему невольно припомнились вещие слова: «В сумерках лучше!»

— Да, сумерки, сумерки, сумерки! И «до» и «по» — всегда сумерки! — говорил он себе, вперяя взор в улицу, которая с самого утра как бы заснула под влиянием недостатка света.

К довершению всего земские сборы поступали туго. Были ли они действительно чересчур обременительны, или существовал тут какой-нибудь фортель — во всяком случае ресурсы управы с каждым днем оскудевали. Школьное и врачебное дела замялись, потому что ни педагоги, ни врачи не получали жалованья; сами члены управы нередко затруднялись относительно уплаты собственного вознаграждения, хотя в большей части случаев все-таки выходили из затруднений с честью. Мосты приходили в разрушение, дороги сделались непроездными; на белье в больницах было больно смотреть. Это уже были совершенно конкретные доказательства беспечности, не то что какая-нибудь народная нравственность, о которой можно судить и так и иначе. Губернатор, поехавши в губернию по ревизии, вынужден был на одном перевозе прождать целых два часа, а через один мост переходить пешком, покуда экипаж переезжал вброд: это уж не заря, не солнце, а факт. Вся живоглотовская партия ахнула, узнавши об этом.

Возвратившись в город, губернатор немедленно пригласил управу в полном составе и «распушил» ее.

— Вы совсем не о том думаете, господа,— сказал он,— мост есть мост, а не конституция-с!

Фраза эта облетела всю губернию. Вся живоглотовская партия, купно с исправниками, восхищалась ею. Один Краснов имел дерзость сослаться на то, что полиция не

принимает никаких мер для успешного поступления сборов и что вследствие этого управа действительно поставлена в затруднение.

Наконец незадолго перед началом земской сессии Краснов не выдержал и собрался в Петербург.

Губерния решила, что он едет жаловаться, и притаила дыхание. Но губернатор оставался равнодушен и только распорядился содержать в готовности «факты».

В Петербурге, однако ж, Краснову не посчастливилось. Его встретили не то чтобы враждебно, а совершенно хладнокровно, как будто о земском кавардаке никому ничего не было известно.

— Вы, господа, слишком преувеличиваете,— говорили ему.— Если бы вам удалось взглянуть на ваши дела несколько издалека, вот как мы смотрим, то вы убедились бы, что они не заключают в себе и десятой доли той важности, которую вы им приписываете.

— Не можем же мы, однако, смотреть издалека на вещи, с которыми постоянно находимся лицом к лицу,— убеждал Краснов.

— Но и мы, с своей стороны, не можем изменить нашу точку зрения. Не слишком ли высоко вы ставите те задачи, которые предстоят земству? Не думаете ли вы, что с введением земских учреждений что-нибудь изменилось? — Ежели это так, то вы заблуждаетесь; задачи ваши очень скромны: содержание в исправности губернских путей сообщения, устройство врачебной части, открытие школ... Все это и без шума можно сделать. Но, разумеется, ежели земство будет представлять собой убежище для злонамеренных людей, ежели сами представители земства будут думать о каких-то новых эрах, то администрация не может не вступиться. Общественная безопасность прежде всего.

— Но из чего же видно...

— Покуда определенных фактов в виду еще нет, но есть разговор — это уже само по себе представляет очень существенный признак. О вашем губернаторе никто не говорит, что он мечтает о новой эре... почему? А потому просто, что этого нет на деле и быть не может. А об земстве по всей России такой слух идет, хотя, разумеется, большую часть этих слухов следует отнести на долю болтливости.

Такие предики приходилось Краснову выслушивать чуть не каждый день. Но он все-таки прожил в Петербурге целый месяц и на каждом шагу, и в публичных местах,

и у общих знакомых, сталкивался с земскими деятелями других губерний. Отовсюду слышались одинаковые вести. Везде шла какая-то нелепая борьба, неведомо из-за каких интересов; везде земство мало-помалу освобождалось от мечтаний и все-таки не удовлетворяло своею уступчивостью. Прямого недовольства не высказывалось, но вопрос об общественной безопасности ярче и ярче выступал вперед и заслонял собой все.

Краснову показалось, что он и сам как будто отрезвел. Когда он обменивался мыслями с сотоварищами по деятельности, ему невольно думалось: «Какие, однако ж, все это мелочи, и стоит ли ради них сохнуть и препираться? Ворочусь домой, буду «ездить» в управу — вот и все. Пускай губернатор, с термометром в руках, измеряет теплоту чувств у сельских учителей и у женщин-врачей; с какой стати я буду вступаться? Ежели школьное дело пойдет худо — у меня оправдание налицо. Наконец, возьмите школы себе, оставьте земству только паромы и мосты — и до этого мне дела нет! Но только хорошо будет земство! да и вообще дела пойдут хорошо! Ведь что же нибудь заставило подумать об участии земства в делах местного управления? была же, вероятно, какая-нибудь прореха в старых порядках, если потребовалось вызвать земство к жизни? Ведь ни я, ни Вилков, ни Торцов не выходили с оружием в руках, чтобы создать земство,— и вдруг оказывается, что теперь-то именно и выступила вперед общественная опасность!»

Словом сказать, Краснов махнул рукой, посвятил остальное время петербургского пребывания на общественные удовольствия, на истребление бакалеи, на покупку нарядов для семьи и, нагруженный целым ворохом всякой всячины, возвратился восвояси.

Годы шли, губернаторы сменялись, а Краснов все оставался во главе земства. Он слыл уже образцовым председателем управы и остепенился настолько, что сам отыскивал корни и нити. Сами губернаторы согласились, что за таким председателем они могут жить как за каменною стеною.

Одно Краснову было не по нутру — это однообразие, на которое он был, по-видимому, осужден. Покуда в глазах металась какая-то «заря», все же жилось веселее и было кой о чем поговорить. Теперь даже в мозгу словно заку-

порка какая произошла. И во сне виделся только длинный-длинный мост, через который проходит губернатор, а мостовины так и пляшут под ним.

— Да это просто злоумышление! — обращается губернатор к Алексею Харлампьичу Бережкову, который сменил Глотова.

А кроме того, Краснова мучило и отсутствие всяких перспектив. Предположив сгоряча, что предводительское звание лишено будущности, он горько ошибся. Правда, старый Живоглотов умер, не вкусив от плода; но выбранный на его место Живоглотов-сын не прослужил и трехлетия, как получил уже высшее назначение. Затем приехал Живоглотов-внук, повернулся и тоже исчез, осиянный ореолом и полный надежд.

Если бы Краснов не поторопился в то время — кто знает, чьи судьбы были бы теперь у него в руках?!

— У нас ничего нельзя вперед угадать,— ворчал он себе под нос,— сегодня ты тут, а завтра неведомая сила толкнула тебя бог весть куда! Область предвидений так обширна, что ничего столь не естественно, как запутаться в ней. Случилось так, но могло случиться и иначе. Что, если бы, в самом деле, заря занялась, а за нею вдруг солнце?.. И везде дело начиналось с мостов и перевозов, а потом, потихоньку да помаленьку, глядь — новая эра. Это хоть в Америке спросите. Что такое были эти Чикаго, эти Сан-Франциско? — простые, бедные деревни, и больше ничего! А нынче?

То-то вот оно и есть. И не довернешься — бьют, и перевернешься — бьют. Делай как хочешь. Близок локоть — да не укусишь. В то время, когда он из редакционных комиссий воротился, его сгоряча всеми шарами бы выбрали, а он, вместо того, за «эрами» погнался. Черта с два... Эрррра!

А теперь? что такое он собой представляет? — нечто вроде сторожа при земских переправах... да! Но, кроме того, и лохматые эти... того гляди, накуролесят! Откуда взялась девица Петропавловская? что на уме у учителя Воскресенского? Вглядывайся в их лохмы! читай у них в мыслях! Сейчас у «него» на уме одно, а через минуту — другое!

О, господи! спаси и помилуй!

ПОРТНОЙ ГРИШКА

Так, по крайней мере, все его в нашем городе звали, и он не только не оставался безответен, но стремглав бежал по направлению зова. На вывеске, прибитой к разваленному домишке, в котором он жил, было слепыми и размытыми дождем буквами написано: «Портной Григорий Авениров — военный и партикулярный с Москвы».

Происхождением был он из дворовых людей и отдан с десятилетнего возраста в учение к славившимся тогда московским портным Шиллингу и Тёпферу. Здесь он долгое время присматривался: таскал утюги, бегал в трактир за кипятком для настоящих портных, терпел потасовки, учился скверным словам, пил потихоньку вино и т. д. Словом сказать, проделал всю школу ученика. Пятнадцати лет ему дали иглу в руки, и он, глядя на других, учился шить на лоскутках. Сшивал, распарывал и опять сшивал, покуда наконец не дали ему подметывать. А через год — посадили на верстак, и из него образовался уже настоящий портной. Только кроить он не умел (это делали сами хозяева фирмы) и лишь впоследствии самоучкой отчасти дошел до усвоения этого искусства.

Наружность, признаться сказать, он имел неблаговидную. Громадная не по росту, курчавая голова с едва прорезанными, беспокойно бегающими глазами, с мягким носом, который всякий считал долгом покомкать; затем, приземистое тело на коротких ногах, которые от постоянного сиденья на верстаке были выгнуты колесом, мозолистые руки — все это, вместе взятое, делало его фигуру похожею на клубок, усеянный узлами. Когда этот клубок катился по улицам (Гришка постоянно отыскивал работишки), то цеплялся за встречных и терпел от них немало колотушек. Ежели прибавить к этому замечательную неопрятность и вечно присущий запах перегорелой сивухи, которым, казалось, было пропитано все его тело, то не покажется удивительным, что прекрасный пол сторонился от Гришки.

В нашем городе, где он устроился тотчас после крестьянского освобождения, он был лучший портной. Но город наш — бедный, и обыватели его только починивались, редко прибегая к заказам нового платья. Один исправник неиз-

менно заказывал каждый год новую пару, но и тут исправничиха сама покупала сукно и весь приклад, призывала Гришку и приказывала кроить при себе.

— И хоть бы она на минутку отвернулась или вышла из комнаты,— горько жаловался Гришка,— все бы я хоть на картуз себе лоскуток выгадал. А то глаз не спустит, всякий обрезок оберет. Да и за работу выбросят тебе зелененькую — тут и в пир, и в мир, и на пропой, и за квартиру плати; а ведь коли пьешь, так и закусить тоже надо. Неделю за ней, за этой парой, просидишь, из-за трех-то целковых!

Один только раз ему посчастливилось: приехавший в город на ревизию губернатор зацепился за гвоздь и оторвал по целому месту фалду мундира. Гришка, разумеется, так затачал, что лучше новой разорванная фалда вышла, и получил пять целковых.

— Вот какой это господин!— рассказывал он потом,— слова не сказал, вынул бумажник, вытащил за ушко вот эту самую синенькую —«вот тебе, братец, за труд!» Где у нас таких господ сыщешь!

Я зазнал Гришку в самый момент разрешения крестьянского вопроса. У меня было подгородное оброчное имение, и так как в нем не существовало господской усадьбы, то я поневоле поселился на довольно продолжительное время в городе на постоялом дворе, где и устраивал сделки с крестьянами. Жил я, впрочем, не сплошь, а в течение двух лет, покуда длилось мое дело, то уезжал, то возвращался. В новой одежде я не нуждался, но «починиваться», от времени до времени, все-таки приходилось, и Гришка довольно часто навещал меня и по делу и без дела.

Жил он со своими стариками, отцом и матерью, которых и содержал на свой скудный заработок. Старики были пьяненькие и частенько-таки его поколачивали. Вообще он очень жаловался на битье, которое составляло главное содержание и язву его жизни. Колотили его и дома, и вне дома; а ежели не колотили, то грозили поколотить. Он торопливо перебегал на другую сторону улицы, встречая городничего, который считал как бы долгом погрозить ему пальцем и промолвить: «Погоди! не убежишь! вот ужо!» Исправник — тот не грозился, а прямо приступал к делу, приговаривая: «Вот тебе! вот тебе!»— и даже не объясняя законных оснований. Даже купец Поваляев, имевший в городе каменные хоромы,— и тот подводил его к зеркалу, говоря: «Ну, посмотри ты на себя! как тебя не бить!»

И затем ухватывал жирными пальцами его за нос и комкал.

— И кабы я в чем-нибудь был причинен!— негодовал Гришка,— ну, тогда точно... ну, стою того, так стою... А то, поверите ли, всякий мальчишка-клоп, и тот норовит дать тебе мимоходом туза! Спроси́те: за что́?!

Как я уже сказал выше, ко мне он ходил часто. Сначала посидит в стряпущей с прислугой, а потом незаметно проберется в мою комнату и стоит, притаившись, в дверях, пока я сам не заговорю.

— Ну, что новенького?— спросишь его.

— Да вот, работишки бы...

— Рад бы, да нет.

— Я и сам думал, что нет. Прислали бы, кабы была. А как бы я живо! Да что, сударь, я пожаловаться вам хочу...

И начнет, и начнет. И почти всегда битье составляло главную тему его россказней. Таким образом, помаленьку, урывками, рассказал он мне свое горевое житье с самых младенческих лет.

— Вы как думаете, кто был мой отец?— говорил он,— старшим садовником он был у господина Елпатьева. Кабы вина не пил, так озолотил бы его — вот какой это был человек! Какие у нас ранжереи были! сколько фрухтов, цветов! И все он причиной. Бывало, призовет его барин: «Чтоб были у меня, Дементьич, на Ивана-крестителя — он 24-го июня именины праздновал — персики!» И были-с. Большая, сударь, тут наука нужна. Раньше ставни в ранжерее открыть, раньше протапливать начать, да чтобы не засушить или не залить — вот тогда и будут ранние персики! А потом барыня Наталья Кирилловна призовет: «Чтоб были у меня 26-го августа вишни!» И были-с! У других об вишнях уж и забыли, а у нас Дементьич в конце августа, бывало, подаст столько, что господа съедутся да только ахают. Отца-то моего у господина Елпатьева князь один торговал, тысячу рублей посулил да поваренка в придачу,— так барин даже на такие деньги не польстился. А теперь вот и даром пришлось отпустить...

— Так отчего же бы старику не остаться у прежнего помещика?

— И сами теперь об этом тужим, да тогда, вишь, мода такая была: все вдруг с места снялись, всей гурьбой пошли к мировому. И что тогда только было — страсть! И не кормит-то барин, и бьет-то! Всю, то есть, подноготную

разом высказали. Пастух у нас жил, вроде как без рассудка. Болона́ у него на лбу выросла, так он на нее все указывал: болит! А господин Елпатьев на разборку-то не явился. Ну, посредник и выдал всем разом увольнительные свидетельства.

— А били-таки вас?

— Это так точно-с. Да ведь и теперь, вашескородие, управа-то на нашего брата одна... По крайности, как были крепостные, так знали, что *свой* господин бьет, а нынче всякий, кому даже не к лицу, и тот тебе скулу своротить норовит. А сверх того, и голодом донимают: питаться нужно, а работы нет. Ушел бы в Москву, да куда я со стариками, с своей слабостью, там поспел! Мы уж и сами потом хватились, что не про всех местов припасено,— да поздно. Шибко рассердился тогда Иван Савич на нас; кои потом и прощенья просили, так не простил: «Сгиньте, говорит, с глаз моих долой!» И что ж бы вы думали? какие были «заведения» — и ранжереи, и теплицы, и грунтовые сараи — все собственной рукой сжег! «Не доставайся, говорит, ни черту, ни дьяволу!» А наконец велел заложить коляску, забрал семейство — только его и видели!

— Вы-то сами где жили, когда объявили волю?

— Я в Москве по оброку ходил. Да что моя, сударь, за жизнь — только слава! С малых лет все в колотушках да в битье. Должно быть, несуразный я от роду вышел, что даже отец родной — и тот меня не жалел. Матушка еще поначалу сколько-нибудь снисходила, а потом и она — видит, что все бьют,— и она стала бить. Оттого и росту у меня настоящего нет. Сколько раз меня господин Елпатьев в рекруты ставил — не принимают, да и шабаш! Приказчик у нас был,— так тот, бывало, позеленеет весь, как меня из рекрутского присутствия обратно привезут, и первым долгом — колотить.— За что ж, мол, вы, Ефим Семеныч, меня бьете? Разве я причинен? Я даже с радостью в солдатах послужить готов! — «Тебя-то, говорит, не бить! да тебя, как клопа, раздавить нужно!»

Высказавши все это, он на минуту закручинится и опять начнет:

— А я все-таки барскую ласку помню. Понадобится, бывало, барину новая пара или барчукам мундирчики новые — сейчас: выписать из Москвы Гришку! И шью, бывало, месяц и два, и три, спины не разгибаю, покуда весь дом не обошью. Со всяким лоскутком всё ко мне: даже барыня: «Сшей, Гришка, мне кальсоны!» — и не стыдилась, при

моих глазах примеривала. «Ты, говорит, Гришка, и не человек совсем; при тебе и стыдиться нельзя...» Такая, сударь, у нас барыня была — бедовая! верхом по-мужски на лошади ездила! Кончу свое дело, зачтут что следует в оброк, полтинник в зубы на дорогу и ступай на все четыре стороны. А в Москве между тем место твое уже занято. Шляешься неделю-другую, насилу устроишься!

— В чем же тут ласка была?

— Как же, сударь, возможно! все-таки... Знал я, по крайней мере, что «свое место» у меня есть. Непозадачится в Москве — опять к барину: режьте меня на куски, а я оброка добыть не могу! И не что́ поделают. «Ах ты, расподлая твоя душа! выпороть его!» — только и всего. А теперь я к кому явлюсь? Тогда у меня хоть церква своя, спас-преображенья, была — пойду в воскресенье и помолюсь.

— Все-таки, по-моему, на воле вам лучше живется!

— Известно, как же возможно сравнить! Раб или вольный! Только, доложу вам, что и воля воле рознь. Теперича я что хочу, то и делаю; хочу — лежу, хочу — хожу, хочу — и так посижу. Даже задавиться, коли захочу,— и то могу. Встанешь этта утром, смотришь в окошко и думаешь! теперь шалишь, Ефим Семенов, рукой меня не достанешь! теперь я сам себе господин. А ну-тко ступай, «сам себе господин», побегай по городу, не найдется ли где дыра, чтобы заплату поставить, да хоть двугривенничек на еду заполучить!

— Неужто до того дошло?

— А как бы вы, сударь, думали? Мудреное это дело — воля! Кабы дали мне волю, да при сем капитал — и я бы распорядиться сумел! А то вышли мы в те поры, дворовые, на улицу; и направо, и налево глядим, а что такое случилось — понять не можем. Снялись со старого места, идем вперед, а впереди-то все не наше, ни до чего коснуться нельзя. Вам, сударь, и денька прожить не приводилось, чтобы в свое время вы не позавтракали, не пообедали, чайку не накушались,— а мы целый месяц Христовым именем колотились, покуда наконец кой-как да коё-как не пристроились.

— Да ведь в таком большом деле и всегда так. Не вы одни терпели, а и крестьяне и помещики...

— Это что говорить! Знаю я и помещиков, которые... Позвольте вам доложить, есть у нас здесь в околотке барин, Федор Семеныч Заозерцев прозывается, так тот еще когда радоваться-то начал! Еще только слухи об воле пошли, а он уже радовался! «Теперь, говорит, вольный труд будет,

а при вольном труде земля сам-десят родить станет». И что же, например, случилось: вольный-то труд пришел, а земля и совсем родить перестала — разом он в каких-нибудь пол-года прогорел!

— Так вот видите ли! Я и говорю, что не вы одни...

— Только он, не будь прост, сейчас же в Петербург уехал, к тетеньке, да к дяденьке, да к сестрицам — те ему живо место оборудовали. Жалованье хорошее, а впереди ждет еще лучше — живет да посвистывает. Эх, кабы мне кто-нибудь жалованье положил — кажется, я бы по смерть тому человеку половину отдавал...

Вдоволь нажаловавшись, он уходил, с тем чтобы через короткое время опять воротиться и опять начать целую серию жалоб. Видимо, это облегчало его, наполняя праздное время и давая пищу праздному уму. Когда обида составляет единственное содержание жизни, когда она преследует человека, не давая ни минуты отдыха, тогда она, без всякой с его стороны преднамеренности, проникает во все закоулки сердца, наполняет все помыслы. Язык не может произносить иных слов, кроме жалобы, как будто самое формулирование этой жалобы уже представляет облегчение.

— А вот позвольте мне рассказать, как меня в мальчиках били,— говаривал он мне,— поступил я с десяти лет в ученье и с первой же, можно сказать, минуты начал терпеть. Видеть меня никто не мог, чтоб не надругаться надо мной. С утра до вечера все в работе находишься: утюги таскаешь, воду носишь; за пять верст с ящиками да с корзинками бегаешь — и все угодить не можешь. Хозяева ременною плетью бьют; мастера всякие тиранства выдумывают. Бывало, позовет мастер: «Давно я у тебя, Гришка, масла не ковырял!» — поймает это за волосы и начнет ногтем большого пальца в голове ковырять! Голова, уши, нос — завсегда в болячках были... Даже теперь голову ломит и в ушах звон стоит, коли к погоде... И все-таки жив-с!

— Ну, что об этом вспоминать... ведь зажило!

— Нет-с, не зажило, и не может зажить... Ах, кабы мне... вот хоть бы чуточку мне засилия... кажется бы, я...

Он не досказывал своей мысли и умолкал.

— Ничего бы вы не поделали, да и поделать не можете. Вот кабы вы пить перестали — это было бы дельнее.

— И этому я еще в учениках научился. Принесешь, бывало, мастерам полштоф, первым делом: «Цо́пнем, Гришка!»

И хоть отказывайся, хоть нет, разожмут зубы и вольют, сколько им на потеху надобно. А со временем и сам своей охотой начал потихоньку цопать. Цопал-цопал, да и дошел до сих мест, что и пересилить себя не могу.

— А вы пересильте; скажите себе: с нынешнего дня не буду пить — и баста!

— Говорить-то по-пустому все можно. Сколько раз я себе говорил: надо, брат Гришка, с колокольни спрыгнуть, чтобы звания, значит, от тебя не осталось. Так вот не прыгается, да и все тут!

— Зачем с колокольни прыгать! Мы жизнью своею распоряжаться не вольны. Это, любезный друг, и в законах предусмотрено!

— А что же со мной закон сделает, коли от меня только клочья останутся? Мóчи моей, сударь, нет; казнят меня на каждом шагу — пожалуй, ежели в пьяном виде, так и взаправду спрыгнешь... Да вот что я давно собираюсь спросить вас: большое это господам удовольствие доставляет, ежели они, например, бьют?..

— То есть как же это «бьют»?

— Да вот, например, как при крепостном праве бывало. Призовет господин Елпатьев приказчика: «Кто у тебя целую ночь песни орал?» И сейчас его в ухо, в другое... А приказчик, примерно, меня позовет. «Ты, черт несуразный, песни ночью орал?» И, не дождавшись ответа, тоже — в ухо, в другое... Сладость, что ли, какая в этом битье есть?

— Не думаю. Битье вообще не удовольствие; это движение гнева, выраженное в грубой и отвратительной форме,— и только. Но почему же вы именно о «господах» спрашиваете? ведь не одни господа дерутся; полагаю, что и вы не без греха в этом отношении...

— Известно, промежду себя... Да ведь одно дело — драться, другое — бить. Например, господин бьет приказчика, приказчик — меня... Мне-то кого же бить?

— Зачем же вам бить? вообще это скверно... И что это вам вдруг вздумалось завести этот разговор?

— Да так-с. Признаться сказать, вступит иногда этакая глупость в голову: все, мол, кого-нибудь бьют, точно лестница такая устроена... Только тот и не бьет, который на последней ступеньке стоит... Он-то и есть настоящий горюн. А впрочем, и то сказать: с чего мне вдруг взбрелось... Так, значит, починиться не желаете?

— Нечего чинить-то.

— Ну, на нет и суда нет. А я вот еще что хочу вас спро-

сить: может ли меня городничий без причины колотить? Есть у него право такое?

— Ни без причины, ни с причиной колотить не дозволяется. Городничий может под суд отдать, а там как уж суд посудит.

— Стало быть, и с причиной бить нельзя? Ну, ладно, это я у себя в трубе помелом запишу. А то, призывает меня намеднись: «Ты, говорит, у купца Бархатникова жилетку украл?» — Нет, говорю, я отроду не воровал. «Ах! так ты еще запираться!» И начал он меня чесать. Причесывал-причесывал, инда слезы у меня градом полились. Только, на мое счастье, в это самое время старший городовой человека привел: «Вот он — вор, говорит, и жилетку в кабаке сбыть хотел...» Так вот каким нашего брата судом судят!

— Ну, и что же потом?

— Помилуйте! даже извинился-с! «Извини, говорит, голубчик, за другой раз зачту!» Вот он добрый какой! Так меня это обидело, так обидело! Иду от него и думаю: непременно жаловаться на него надо — только куда?

— Как куда? Купите лист гербовой бумаги, да и пошлите губернатору просьбу.

— Вот оно как: гербовый лист купить надо, а где купило-то взял? да кто мне и просьбу-то напишет... вот кабы вы, сударь!

— Нет, мне неловко. Я ведь бываю у городничего, в карты иногда вместе играем... Да и вообще... На «писателей»-то, знаете, не очень дружелюбно посматривают, а я здесь человек приезжий. Кончу дело и уеду отсюда.

— Это так точно-с. Кончите и уедете. И к городничему в гости, между прочим, ездите — это тоже... На днях он именинник будет — целый день по этому случаю пированье у него пойдет. А мне вот что на ум приходит: где же правду искать? неужто только на гербовом листе она написана?

— Гербовый лист — сам по себе, а правда — сама по себе. Гербовый лист — это пошлина. Не на правду пошлина, а чтобы казне доход был. Кабы пошлины не было, со всякими бы пустяками начальство утруждали, а вот как теперь шесть гривенок надо за лист заплатить — ну, иной и задумается.

— Шесть гривен! где эко место денег взять! А все-таки правду хотелось бы сыскать. Намеднись господин Поваляев мял-мял мне нос, а я ему и говорю: «Вот вы мне нос мнете, а я от вас гривенника никогда не видал — где же, мол, правда, Василий Васильевич?» А он в ответ: «Так, вот оно ты

об чем, бубновый валет, разговаривать стал! Правды захотелось... ах! Да знаешь ли ты, что тебя за такой разговор в тартарары сослать надо!» — да пуще, да пуще! Мы, вашескородие, когда не хмельны, так соберемся иногда — старики мои, я да вот хозяин наш — и всё об правде говорим. Была же она когда-нибудь на свете, коли слово такое есть. Хоть при сотворении мира, да была. Должно быть, и теперь есть, только чиновники ее в шкап заперли. Отдай шесть гривен — шкап приотворят,— смотришь, а там пусто!

— Не говорите так. Неравно услышат — нехорошо будет.

— Чего мне худого ждать! Я уж так худ, так худ, что теперь со мной что хочешь делай, я и не почувствую. В самую, значит, центру попал. Однажды мне городничий говорит: «В Сибирь, говорит, тебя, подлеца, надо!» А что, говорю, и ссылайте, коли ваша власть; мне же лучше: новые страны увижу. Пропонтирую пешком отселе до Иркутска — и чего-чего не увижу. Сколько раз в бегах набегаюсь! Изловят — вздуют: «влепить ему!» — все равно как здесь.

— Однако вы таки отчаянный!

— Не отчаянный, а до настоящей точки дошел. Идти дальше некуда, все равно, где ни быть. Начальство бьет, родители бьют, красные девушки глядеть не хотят. А ведь я, сударь, худ-худ, а к девушкам большое пристрастие имею. Кабы полюбила меня эта самая Феклинья, хозяина нашего дочь,— ну, кажется бы, я... И пить бы перестал, и все бы у меня по-хорошему пошло, и заведеньице бы открыл... Только ничего от нее я другого не слышу, окромя: «Уйди ты, лохматый черт, с моих глаз долой!..» А впрочем, надоел я, должно быть, вам своей болтовней?..

— Ничего. Только мне идти надо.

— К городничему-с? Счастливо оставаться, сударь! дай бог любовь да совет! в карточки сыграете — с выигрышем поздравить приду!..

Однажды он прибежал ко мне в величайшем волнении.

— Хочу я вас спросить, сударь,— сказал он,— есть такие права, чтобы взрослого человека розгами наказывать?

— Говорил уж я вам, что таких прав давно не существует.

— А меня, между прочим, даже сегодня наказали. Мне об рождестве тридцать пять лет будет, а меня высекли.

— Кто же? за что?

— Родитель высек. Привел меня — а сам пьяный-распьяный — к городничему: «Я, говорит, родительскою властью желаю, чтоб вы его высекли!» — «Можно,— говорит городничий: — эй, вахтер! розог!» — Я было туда-сюда: за что, мол? «А за неповиновение,— объясняется отец,— за то, что он нас, своих родителей, на старости лет не кормит». И сколь я ни говорил, даже кричал — разложили и высекли! Есть, вашескородие, в законе об этом?

— Не знаю, право. Человек вы какой-то особенный; только с вами такие дела и случаются. Никакой закон не подходит к вам.

— И то особенный я человек, а я что же говорю! Бьют меня — вся моя особенность тут! Побежал я от городничего в кабак, снял штаны: «Православные! засвидетельствуйте!» — а кабатчик меня и оттоле в шею вытолкал. Побежал домой — не пущают!

— И домой не пускают?

— Да, и домой. Сидят почтенные родители у окна и водку пьют: «Проваливай! чтоб ноги твоей у нас не было!» А квартира, между прочим,— моя, вывеска на доме — моя; за все я собственные деньги платил. Могут ли они теперича в чужой квартире дебоширствовать?

Я решительно недоумевал. Может ли городничий выпороть совершеннолетнего сына по просьбе отца? Может ли отец выгнать сына из его собственной квартиры? — все это представлялось для меня необыкновенным, почти похожим на сказку.— Конечно, ничего подобного не должно быть, говорил здравый смысл, а внутреннее чувство между тем подсказывало: отчего же и не быть, ежели в натуре оно есть?..

— И добро бы я не знал, на какие деньги они пьют!— продолжал волноваться Гришка,— есть у старика деньги, есть! Еще когда мы крепостными были, он припрятывал. Бывало, нарвет фруктов, да ночью и снесет к соседям, у кого ранжерей своих нет. Кто гривенничек, кто двугривенничек пожертвует... Разве я не помню! Помню я, даже очень помню, как он гривенники обирал, и когда-нибудь все на свежую воду выведу! Ах, сделай милость! Сами пьют, а мне не только не поднесут, даже в собственную мою квартиру не пущают!

Гришка с каждой минутой все больше и больше свирепел. Как на грех, в это время совсем неожиданно посетил меня городничий. У Гришки даже кровью глаза налились при его появлении.

— Вот и господин говорит,— бросился он к нему,— что вы не только без причины, а и с причиной драться не смеете! А вы, между прочим, высекли меня! ах!

И вдруг он, к моему ужасу, начал наскакивать на городничего. Прыгает кругом, словно совсем и страха лишился, так что добрый старик даже сконфузился.

— Вон!— крикнул он, потрясая палкой, на которую опирался по причине раны в ноге,— м-м-мерзавец!

— Нет, я не «вон» и не «мерзавец», а вы вот при господине объясните, какое такое право имели вы меня высечь?

— Отец высек,— не я. Отец все над тобой сделать может: в Сибирь сослать, в солдаты отдать, в монастырь заточить... Ты его не кормишь, расподлая твоя душа!

— Так то́ по суду! в суд он должен подать на меня, в суд! Что присудит суд, то и должен я восполнить — вот и господин это самое говорит. В Сибирь так в Сибирь; на каторгу так на каторгу — по суду мне везде хорошо! А то, вишь, ведь какие права нашли! заманили на съезжую, разложили и выпороли! Нет, нынче уж и мы... нынче и у нас спина... не всякий тоже... Отец!.. ишь ведь какие права нашлись! так что ж что отец! Он меня сотворил — это так! но чтобы... Вот, ей-богу, сейчас пойду, лист гербовой бумаги куплю! не пожалею шести гривен — прямо к губернатору!

Положение мое было критическое. Старик городничий судорожно сжимал левый кулак, и я со страхом ожидал, что он не выдержит, и в присутствии моем произойдет односторонний маневр. Я должен, однако ж, сознаться, что колебался недолго; и на этот раз, как всегда, я решился выйти из затруднения, разрубив узел, а не развязывая его. Или, короче сказать, пожертвовал Гришкой в пользу своего собрата, с которым вел хлебосольство и играл в карты...

— Да не бейте вы его, ради Христа! — обратился я к городничему, когда Гришка исчез.

— Его-то? — изумился старик.

— Да, его. У него ведь свои права...

— У него-то... права!

— Права. Хоть маленькие, но права.

— Да ведь я его по желанию отца высек...

— И от отца вы не вправе были принимать таких заявлений, а обязаны были обратить его к суду.

— Стало быть, и родительская власть...— Позвольте, я вам что расскажу. Я сам — вот как видите — я сам в молодости такой прожженный негодяй был, что днем с огнем поискать. И карты, и пьянство, и дебош — всего было! Бил-

ся-бился отец, вызвал меня из полка в отпуск, и не успел я еще в родительский дом путем войти, как окружили меня в лакейской, спустили штаны, да три пучка розог и обломали об мое поручичье тело... С тех пор — как с гуся вода! В карты — по маленькой; водки — только перед обедом рюмка... баста! Так вот оно что значит родительская-то власть! Помилуйте! да ежели бы я Гришку не учил, так он и город-то у меня давно бы спалил!

Это воспоминание прошлого совершенно успокоило моего гостя. Я заикнулся было возразить ему, но язык не поворотился перед такою невозмутимостью. Навстречу всем возражениям шла самая обыкновенная оговорка: сила вещей. Нигде она не написана, никем не утверждена, не заклеймена, а идет себе напролом и все на пути своем побеждает. Один расскажет, как его секли, другой расскажет, как с него шкуру спустили,— и все убедятся, что иначе не может и быть. Каждый пороется у себя в памяти и непременно какое-нибудь сеченье да найдет... Тут и родители, и заступающие их место, и попечители, и начальники — словом сказать, все, которые и сами были сечены, которых праотцы были сечены и которые ни за что не поверят, услыхав, что сыновья и внуки их не пожелают быть сеченными. До такой степени не поверят, что хоть внезапно, крадучись, а все-таки или себя позволят, на старости лет, высечь, или сами кого-нибудь высекут... И не по злобе, а так, ради выполнения освященного веками педагогического принципа.

В другой раз Гришка прибежал еще более взволнованный.

— А у меня сегодня палатский чиновник был! — объявил он мне.

— Неужели опять про битье будете рассказывать?

— Нет, этот не бил, а пришел и говорит: «Я прислан здешние торги проверить; вывеска эта ваша?» — Моя, говорю.— «Вы один занимаетесь мастерством? без учеников?» — Один.— «А имеется у вас свидетельство на мещанские промыслы?» — Какое свидетельство? — «А вот, смотрите!» — вынул из портфеля лист, а на нем написано: цена 2 р. 50 к.— «Уплатите, говорит, деньги и возьмите свидетельство; на первый раз я вас не штрафую!» — Я так и ахнул! — Помилуйте! где же я эко место денег возьму? — «А это, говорит, меня не касается; я закон выполнить должен, а вы как знаете».— А ежели я да не возьму свидетельства? — «Тогда я инструмент ваш запечатаю...» Позвольте у вас спросить, сударь: может он так со мной поступить?

— Не знаю, может быть, закон такой есть. Много нынче новых законов пишут — и не уследишь за всеми! Стало быть, вы теперь с обновкой?

— Помилуйте! где я эстолько денег возьму? Постоял-постоял этот самый чиновник: «Так не берете?» — говорит.— Денег у меня и в заводе столько нет.— «Ну, так я приступлю...» Взял, что на глаза попалось: кирпич истыканный, ниток клубок, иголок пачку, положил все в ящик под верстаком, продел через стол веревку, запечатал и уехал. «Вы, говорит, до завтра подумайте, а ежели и завтра свидетельство не возьмете, то я протокол составлю, и тогда уж вдвойне заплатите!» Вот, сударь, коммерция у меня какова!

— Что ж, делать нечего; приходится взять.

— И я вижу, что приходится, да денег нет. По его, значит, я руки склавши сидеть должен... Где это слыхано! человек работает, а ему говорят: не смей работать, ступай в кабак! Потому что куда ж мне теперь, окромя кабака, идти?

— Да, но согласитесь сами, что и государство с своей стороны... У государства есть потребности: войско, громадная орава чиновников — нужно все это оплатить! Вот оно и изыскивает предметы... И предметы сии называются предметами обложения. Пора бы вам, кажется, знать.

— И то пора. Только, вот, как ни живешь, а все завтрашнего предмета не угадаешь. Сегодня десять предметов — думаешь: будет! — ан завтра — одиннадцатый! И всё по затылку да по затылку — хлобысь! А мы бы, вашескородие, и без предметов хорошохонько прожили бы.

— Верю вам, что без предметов удобнее, да нельзя этого, любезный. Во-первых, как я уже сказал, казне деньги нужны; а во-вторых, наука такая есть, которая только тем и занимается, что предметы отыскивает. Сначала по наружности человека осмотрит — одни предметы отыщет, потом и во внутренности заглянет, а там тоже предметы сидят. Разыщет наука, что следует, а чиновники на ус между тем мотают, да, как наступит пора, и начнут по городам разъезжать.

— И как только заприметят полезный предмет — сейчас протокол!

— И сколько с нас этих сборов сходит — страсть! И на думу, и на мирское управление, и на повинности, а потом пойдут портомойные, банные, мостовые, училищные, больничные. Да нынче еще мода на монаменты пошла... Месяца не пройдет, чтоб мещанский староста не объявил, что копей-

ки три-четыре в год нового схода не прибавилось. Платишь-платишь — и вдруг: отдай два с полтиной!

— И отдадите.

— Беспременно это купец Бархатников на меня чиновника натравил. Недаром он намеднись смеялся: «Вот ты работаешь, Гришка, а правов себе не выправил». Я, признаться, тогда не понял: это вам, брюхачам, говорю, права нужны, а мы и без правов проживем! А теперь вот оно что оказалось! Беспременно это его дело! Так, стало быть, завтра в протокол меня запишут, а потом прямой дорогой в кабак!

Однако ж на другой день он навестил меня уже с обновкой. Купец Поваляев дал ему, один за другим, сто щелчков в нос и за это внес требуемую пошлину.

И тут, стало быть, дело не обошлось без битья.

Один только раз Гришка пришел ко мне благодушный, как будто умиротворенный и совсем трезвый. Он только что воротился из «своего места», куда ходил на престольный праздник Спаса преображения.

— Ушли мы отсюда накануне праздника, чуть свет,— рассказывал он мне,— косушку вина взяли, калачей, колбасы. Отойдем версты три — отдохнем и закусим. Сорок-то верст отвалять — не поле перейти. У Троицы на половине дороги соснули, опять косушку купили. Только к вечеру уж, часам к семи, видим: наш Спас преображенья из-за лесу выглянул! Стоит на горке, ровно как на картинке, весь в солнышке. Слышим — и ко всенощной уж благовестят. Ну, мы сняли с себя одежу, почистились, умылись в канаве и пошли. Отошла всенощная — уж темно. Пошли к тетеньке Афимье Егоровне — накормила нас, в сарайчике спать уложила. А в сарайчике-то сено новое — таково ли пахнет! И что ж, сударь, устал я с дороги, а никак не усну! Ворочаюсь с боку на бок и все думаю: скоро ли свет? И чуть только побелело, я из сарая вон! Вышел, смотрю: господи ты боже мой! благодать! И солнышко-то там не по-здешнему встает! Здесь встанешь утром, посмотришь в окошко — солнце как солнце! А там словно змейками огненными сначала брызнет и начнет потом дальше да пуще разливаться... Дохну́ть боишься, покуда оно, значит, солнце-то, одним краешком словно из воды выплывать начнет! А кругом — тишина, ни одна веточка, ни один лист не шелохнется — точно и деревья-то заснули, ждут, пока солнышко не при-

греет. Стоял я таким манером один, а там, слышу, уж и по деревне зашевелились. Бабы печи затоплять стали, стадо в поле погнали, к заутрене зазвонили. Отстояли мы заутреню, потом обедню. Приход у нас хоть маленький, а все же для праздника дьякона соседнего пригласили. После обедни, даже не закусил путем,— прямо на барский двор побежал... ах, хорошо! Дом-то, правда, с заколоченными ставнями стоит, зато в саду — и не вышел бы! кусты, кусты, кусты — так и обступили со всех сторон... И на дорожках, и на клумбах — везде все в один большущий куст сплелось! И сирень тут, и вишенья, и акация, и тополь! И весь этот куст большущий поет и стрекочет! А кругом саду — березы, липы, тополи — и глазом до верхушки не достанешь. Давно ли, кажется, я каждое дерево наперечет знал, а тут, как сад-то зарос, и я запутался. Стоят, сердечные, и шапками покачивают,словно отпеванье кругом идет. Ходил-ходил я один-одинехонек, да и думаю: хорошо, что надумал один идти, а то беспременно бы мне помешали. Нагулявшись досыта, пошел в другой сад, где у старого барина фруктовое заведение было,— и там все спуталось и сплелося. Ягодные кусты одичали; где гряды с клубникой были — мелкая поросль березовая словно щетка стоит; где ранжерея и теплица были — там и сейчас головешки не убраны. Только яблони еще целы, да и у тех ветки, ради Преображеньева дня, деревенские мальчишки, вместе с яблоками, обломали. Смотрю: и родитель мой, уж выпивши, около ранжерей стоит. «Вот, говорит, ходил-ходил, кровь-пот проливал, а что осталось!»

. . . .

Наконец, уж почти перед самым моим отъездом из города, Гришка пришел ко мне и как-то таинственно, словно боялся, что его услышат, объявил, что он женится на хозяйской дочери, Феклинье, той самой, о которой он упоминал не раз и в прежних собеседованиях со мною.

— Ах, хороша девица! — хвалил он свою невесту,— и из себя хороша, и скромница, и стирать белье умеет. Я буду портняжничать, она — по господам стирать станет ходить. А квартира у нас будет своя, бесплатная. Проживем, да и как еще проживем! И стариков прокормим. Вино-то я уж давно собираюсь бросить, а теперь — и ни боже мой!

— Стало быть, она согласилась?

— Да с какою еще радостью! Только и спросила: «Ситцевые платья будете дарить?» С превеликим, говорю,

моим удовольствием! «Ну, хорошо, а то папаша меня все в затрапезе водит — перед товарками стыдно!» — Ах, да и горевое же, сударь, ихнее житье! Отец — старик, работать не может, да и зашибается; матери нет. Одна она и заработает что-нибудь. Да вот мы за квартиру три рубля в месяц отдадим — как тут разживешься! с хлеба на квас — только и всего.

— Смотрите же, сдержите ваше слово, бросьте пить!

— И ни-ни! Вчера последнюю косушку выпил. Сегодня с утра мутит, да авось перемогусь. Нельзя мне, сударь, пить никоим манером нельзя. Жена, старики, а там, благослови господи, дети пойдут. Всем пропитанье я достать должен, да и Феклиньюшку свою поберечь. Стирка да стирка... руки у нее — кабы вы видели!.. даже ладони все в мозолях! Ну, да отдохнет и она за мужниным хребтом! И как мне теперь весело, кабы вы знали — точно нутро мое всё переменили! Только вот старики на радостях шибко горланят, да небось устанут же когда-нибудь!

— Ну, дай вам бог счастливо начать новую жизнь...

Затем я скоро совсем уехал и с тех пор не видал Гришки. Однако ж кое-что случайно слышал о нем, и это слышанное решаюсь передать читателю уже не в качестве действующего лица, а в качестве повествователя.

Свадьба состоялась на славу. Начать с того, что глядеть на жениха и невесту сбежался в церковь весь город; всем было любопытно видеть, каков будет Гришка под венцом. Затем, на дворе лил сентябрьский проливной дождь — это значило, что молодым предстоить жить богато. Наконец, за свадебным пиром все перепились, а это значило, что молодые будут жить весело.

Гришка был совсем трезв и смотрел почти прилично. За две недели до свадьбы он перестал пить, а купец Поваляев сжалился над ним и за многие прежние претерпения дал двадцатипятирублевую на свадьбу. Были и другие пожертвования, да отец заглянул в кубышку, так что собралось рублей пятьдесят. А чего недостало, то в долг взяли, так как Гришка продолжал питать радужные мечты насчет собственного заведения, а также и насчет того, что Феклинья будет ходить по господам и стирать белье.

Но на другой же день он уже ходил угрюмый. Когда он вышел утром за ворота, то увидел, что последние вымазаны дегтем. Значит, по городу уже ходила «слава», так что

если бы он и хотел скрыть свое «бесчестье», то это был бы только напрасный труд. Поэтому он приколотил жену, потом тестя и, пошатываясь как пьяный, полез на верстак. Но кабака все-таки воздержался.

Феклинья была шустрая мещаночка лет двадцати трех, давно известная всем местным купеческим сынкам. Особенной красотой она не обладала, но была востроглаза, бела, но не расплывчива, хотя уже слегка расположена к дебелости. Это последнее качество, сопряженное с молодою задорливостью, в особенности нравилось. И ходила она как-то задорно, и глазами подмигивала, точно невесть что сулила! В целом городе один Гришка, по наивности и одичалости своей, не знал, что у нее уже сложилась прочная и очень некрасивая репутация.

В углу на столе кипел самовар; домашние всей семьей собрались около него и пили чай. Феклинья с заплаканными глазами щелкала кусок сахару; тесть дул в блюдечко и громко ругался. Гришка сидел неподвижно на верстаке и без всякой мысли смотрел в окошко.

— Садись пить чай,— звала его мать,— все равно не поправишь. А я ужо́ пойду, нагрею воды да отмою деготь.

Но Гришка не позволил отмывать.

— Не тронь! пускай все знают, в каком я интересе нахожусь! — зловеще прорычал он,— нынче смоешь, завтра опять вымажут.

— И поймать озорников можно. Уж так бы я отколошматила, кабы попался!

— Сто́ит из-за нее беспокойство принимать... паскуда! У меня своя вывеска, у нее — своя. Уйду в Москву; пускай она вас своими трудами кормит!

Так он и не притронулся к чаю. Просидел с час на верстаке и пошел на улицу. Сначала смотрел встречным в глаза довольно нахально, но потом вдруг застыдился, точно он гнусное дело сделал, за которое на нем должно лечь несмываемое пятно,— точно не его кровно обидели, а он всем, и знакомым и незнакомым, нанес тяжкое оскорбление.

— С праздником! — крикнул с балкона купец Поваляев, завидев его.

— С семейным счастьем! дай бог совет да радость! — подхватил с другого балкона купец Бархатников.

Он шел, не поднимая головы, покуда не добрался до конца города. Перед ним расстилалось неоглядное поле, а у дороги, близ самой городской межи, притаилась небольшая рощица. Деревья уныло качали разбухшими от дождя вет-

ками; земля была усеяна намокшим желтым листом; из середки рощи слышалось слабое гуденье. Гришка вошел в рощу, лег на мокрую землю и, может быть, в первый раз в жизни серьезно задумался.

«Всю жизнь провел в битье, и теперь срам настал,— думалось ему,— куда деваться? Остаться здесь невозможно — не выдержишь! С утра до вечера эта паскуда будет перед глазами мыкаться. А ежели ей волю дать — глаз никуда показать нельзя будет. Без работы, без хлеба насидишься, а она все-таки на шее висеть будет. Колотить ежели, так жаловаться станет, заступку найдет. Да и обтерпится, пожалуй, так что самому надоест... Ах, мочи нет, тяжко!»

Мысль бежать в Москву неотступно представлялась его уму. Бежать теперь же, не возвращаясь домой,— кстати, у него в кармане лежала зелененькая бумажка. В Москве он найдет место; только вот с паспортом как быть? Тайком его не получишь, а узнают отец с матерью — не пустят. Разве без паспорта уйти?

«В Москве и без пачпорта примут, или чистый добудут,— говорил он себе,— только на заработке прижмут. Ну, да одна голова не бедна! И как это я, дурак, не догадался, что она гулящая? один в целом городе не знал... именно несуразный!»

Пролежал от таким образом, покуда не почувствовал, что пальто на нем промокло. И все время, не переставая, мучительно спрашивал себя: «Что я теперь делать буду? как глаза в люди покажу?» В сущности, ведь он и не любил Феклиньи, а только, наравне с другими, чувствовал себя неловко, когда она, проходя мимо, выступала задорною поступью, поводила глазами и сквозь зубы (острые, как у белки) цедила: «Ишь, черт лохматый, пялы-то выпучил!»

Вставши с земли, он зашел в подгородную деревню и там поел. «В Москву! в Москву!» — вертелось у него в голове. Однако на этот раз он окончательного решения не принял, но и домой не пошел, а когда настали сумерки, вышел из крестьянской избы и колеблющимися шагами направился в «свое место». Всю ночь он шел, терзаемый сознанием безвыходности своего положения, и только к заутрене (кстати был праздник) достиг цели и прямо зашел в церковь. Церковь была совсем пуста. Громко раздавались под сводами возгласы священника и унылое пение тенориста-пономаря. Ожесточение в Гришке мало-помалу утихло; усталость и церковный мир сделали свое дело. Он встал на колени и на-

чал молиться; полились слезы. Он чувствовал, что его начинают душить рыдания, что сердце в нем пухнет, разорваться хочет, и выбежал из церкви к тетке Афимье. Там он прямо объявил о своем «бесчестье» и жадно съел большой ломоть хлеба. Час-другой побурлил, но в конце концов как будто остепенился.

— Мне бы, тетенька, денька три отдохнуть, а потом я и опять...— сказал он.— Что ж такое! в нашем звании почти все так живут. В нашем звании как? — скажет тебе паскуда: «Я полы мыть нанялась»,— дойдет до угла — и след простыл. Где была, как и что? — лучше и не допытывайся! Вечером принесет двугривенный — это, дескать, поденщина — и бери. Жениться не следовало — это так; но если уж грех попутал, так ничего не поделаешь; не пойдешь к попу: «Развенчайте, мол, батюшка!»

Старуха охала, но соглашалась, что теперь ничего не поделаешь. Жить надо — только и всего. А стыд — не дым, глаза не выест.

— Кабы ты что дурное сделал — тогда точно... перед людьми нехорошо! — говорила она резонно.— Поучи ее как следует — небось по струнке станет ходить!

Он прожил в деревне три дня, бродя по окрестностям и преимущественно по господскому саду. С наступлением осени сад как будто поредел и казался еще унылее. Дорожки совсем заросли и покрылись толстым слоем листа, так что даже собственных шагов не было слышно. Громадные березы тоскливо раскачивали вершины из стороны в сторону; в сирени, которою были обсажены куртины, в акациях и в вишенье раздавался неумолкаемый шелест; столетняя липа, посаженная сбоку дома, скрипела от старости. Все намокло, разбухло, оголилось, точно иззябло. Кое-где виднелись поломанные скамейки; посредине круга, обсаженного липами, уцелели остатки беседки; тын из толстых, заостренных кольев, окружавший сад, почти повсеместно обвалился. Запустение было полное, но Гришке именно это и было нужно.

Он сам как будто опустел. Садился на мокрую скамейку, и думал, и думал. Как ни резонно решили они с теткой Афимьей, что в их звании завсегда так бывает, но срам до того был осязателен, что давил ему горло. Временами он доходил почти до бешенства, но не на самый срам, а на то, что мысль о нем неотступно преследует его.

— Забыться о нем не могу! — жаловался он тетке,— ну, срам так срам — что же такое? а вот ходит он за мной по

пятам, не дает забыться — и шабаш! Есть сяду — срам; спать лягу — срам; проснусь — срам. Известно, потом буду жить, как и прочие, да теперь — мочи моей нет. Мое дело рабочее: целый день или на верстаке, или в беготне. Куда ни придешь — везде срам. Придет время, когда и прямо рога показывать будут — и то ничего. Да, видно, еще не пришло оно. И прежде срамная моя жизнь была — не привыкать бы стать! — и теперь срамная, только срам-то новый, сердце еще не переболело от него.

— Ничего, переболит! — утешала Афимья.

— Ворочусь домой и прямо пойду к Бархатникову шутки шутить. Комедию сломаю — он двугривенничек даст. К веселому рабочему и давальцы ласковее. Иному и починиваться не нужно, а он, за «представление», старую жилетку отыщет: «на, брат, почини!»

Действительно, он через три дня ушел от тетки, воротился домой.

— Где, лохматый черт, шлялся? С голоду, что ли, мы подохнуть должны? — встретил его старик отец.

Жена заревела и бросилась ему в ноги.

— Что, паскуда, ревешь? — крикнул он на нее,— иди, не мотайся у меня на глазах!

И, обратившись к прочим членам нетерпеливо ожидавшей его семьи, сказал:

— Теперь я шутки шутить буду. Смотрите! Коли не полегчит мне, такую я с вами шутку сыграю, что не поздоровится!

Пошел он к купцу Поваляеву и сразу начал шутки шутить.

— Что ж, ваше степенство, не проздравляете?— спросил он,— ведь я с орденом!

И, сделав рукой рога, обратил их по направлению к своей голове.

— Ворота-то вымыли? — спросил Поваляев.

— Вымыли, да я опять вымазать хочу... пущай все проздравляют!

— Ишь ты, веселый какой! Стало быть, и вправду Феклинья сладка? который день тебя на улице не видать — все с молодой женой колобродите?

— Уж так-то сладка, так-то сладка... персик! Или вот, как в старину пирожники в Москве выкрикивали: «С лучком, с перцем, с собачьим с сердцем! Возьмешь пирог в рот — сам собой в горло проскочит».

— Э! да ты, парень, веселый! Выпьем?

— Сегодня я зарок выполняю. А завтрашний день что́ покажет.

— Выпьем — пустяки! Я сам сколько раз зарок давал, да, видно, это не нашего ума дело. Водка для нашего брата пользительна, от нее мокроту гонит. И сколько ей одних названий: и соколик, и пташечка, и канареечка, и маленькая, и на дорожку, и с дорожки, и посошо́к, и сиволдай, и сиводрало... Стало быть, разлюбезное дело эта рюмочка, коли всякий ее по-своему приголубливает!

— В Москве один господин «опрокидонтом» ее называл.

— «Опрокидонт»!.. ха-ха! По-каковски же это?

— На бостанжогловском, говорит, языке.

— Отлично! «опрокинул» — и прав! выпьем!

— Зарок дал, не могу. Я лучше вам про Феклинью свою расскажу.

И рассказал. За это Поваляев пирогом его угостил, да двугривенный на чай дал, да две жилетки разом починить отдал, три двугривенных посулил.

— За что ласкаете, ваше степенство? — благодарил Гришка.

— За то, что ты веселый! Люблю я веселых! А то куксится человек — сам не знает, с чего! У него жена гуляет, а он куксится!

— Вот я на нее хомут надену, да по улице...— начал было Гришка, но вдруг, ни с того ни с сего, поперхнулся — точно сдавило ему горло — и убежал.

— Эй, ты! — крикнул ему Поваляев,— к завтрему чтобы были готовы жилетки, да и зарок чтобы снять. В настоящем виде чтобы...

Таким образом прожил он месяц, переходя от Поваляева к Бархатникову, от Бархатникова к Падчерицыну и т. д. Его уже не били, а видели в нем только развеселого малого, с которым, пожалуй, и театров не надо. Даже городничий с исправником — и те шутили, спрашивали, сладка ли Феклинья, часто ли она дома сидит, много ли с поденщины денег носит. Двугривенные так и сыпались на него и за работу, и за повадливость. Появились даже крупные заказы, так что он и шил, и кроил, и шутил — на все находил время. Даже деньги завелись.

— Скоро, пожалуй, и настоящее заведенье откроешь, ученика возьмешь,— поощрял его Поваляев,— нашему брату и в Москву обшиваться ездить не придется — свой портной будет! А все-таки, друг любезный, елей и вино разрешить нужно — тогда во всей форме мастеровой сделаешься!

Однако он продолжал упорствовать в трезвости. Надеялся, что «шутка» и без помощи вина поможет ему «угореть». Шутит да шутит,— смотришь, под конец так исшутится, что и совсем не человеком сделается. Тогда и легче будет. И теперь мальчишки при его проходе рога показывают; но он уж не тот, что прежде: ухватит первого попавшегося озорника за волосья и так отколошматит, что любо. И старики не претендуют, а хвалят его за это.

Вообще ему стало житься легче с тех пор, как он решился шутить. Жену он с утра прибьет, а потом целый день ее не видит и не интересуется знать, где она была. Старикам и в ус не дует; сам поест, как и где попало, а им денег не дает. Ходил отец к городничему, опять просил сына высечь, но времена уж не те. Городничий — и тот полюбил Гришку.

Тем не менее Гришка понимал, что одним шутовством, без вина, ему не обойтись. Правда, он уже чувствовал, что все глубже и глубже опускается в пропасть и что, быть может, недалеко время, когда он нащупает самое дно. Человеческий образ всегда был у него в умалении, но мало-помалу он и вовсе утратил его. Прежде он отдавал на общее поругание свой нос, свое лицо, свое тело; теперь поругание проникло в самое его нутро. Дома был ад, на улице — ад, куда ни придет — везде ад. Таким образом дойдешь, пожалуй, до того, что на работу руки подниматься перестанут. «Паскуда» прямо смеется над ним; он ее за косу ухватить хочет, а она убежит. Станет он спрашивать: «Где была?»— а она в ответ: «Где была, там меня уж нет». И так нахально скалит при этом свои острые беличьи зубы, что он всем нутром застонет и ляжет плашмя на верстак. Но все-таки до конца «угореть» ему не удалось; все-таки он что-то еще понимает, чем-то мучится. Надо какой-нибудь решительный толчок, чтоб окончательно «угореть», не понимать и не мучиться. Не выпить ли?

Надежда, что со временем он обтерпится, что ему не будет «стыдно», оправдалась лишь настолько, насколько он сам напускал на себя бесстыжесть. Сам он, пожалуй, и позабыл бы, но посторонние так бесцеремонно прикасались к его язве, что не было возможности не страдать. «Ах, эта паскуда!»— рычал он внутренно, издали завидев на улице, как Феклинья, нарумяненная и набеленная, шумя крахмальными юбками и шевеля бедрами, стремится в пространство.

— Ишь, жена-то от тебя улепетывает!— хохотал ему в лицо Поваляев,— это она к бархатниковскому приказчику поспешает! Совсем опутала молодца. Прежде честный и

тверёзый был, а теперь и попивать и поворовывать начал.

— Ах! не говорите мне, ради Христа!— стонал Гришка в такие минуты, когда шутовство на время покидало его.

— Чего не говорить! Вас, шельмов, из города выслать надо. Только народ мутите. Деньги-то она тебе, что ли, отдает?

«Начну-ка опять пить... или нет, еще погожу!— твердил себе Гришка, колеблясь между двумя альтернативами,— ин, лучше в Москву убегу!»

— Дайте вы мне пачпорт на все на четыре стороны!— настаивал он у стариков,— я и повинности заплачу, и вам высылать на прожиток буду.

— Уйдешь, и следа от тебя не останется — ищи тогда! Добро, и дома посидишь!

— Чего мне дома сидеть, скоро ведь и работать я совсем не буду. Да и несдобровать мне. Убью я когда-нибудь эту паскуду, убью!

Однажды, поздно ночью, Феклинья пришла домой пьяная. Гришка еще не спал и до того рассвирепел, что на этот раз она струсила.

— Где была?— кричал он на всю улицу, сверкая налитыми кровью глазами и поднося к ее лицу сжатые кулаки.

Она созналась, что была у самого Поваляева.

Он выбежал стремглав на улицу и помчался по направлению к дому Поваляева. Добежавши, схватил камень и пустил его в окно. Стекло разбилось вдребезги; в доме поднялась суматоха; но Гришка, в свою очередь, струсил и спасся бегством.

Дома рассказал о своем подвиге, умолял не разглашать о нем и кстати сделал новое открытие.

— Что́ ты натворил, черт лохматый!— упрекали его старики,— разве она в первый раз? Каждую ночь ворочается пьяная. Смотри, как бы она на тебя доказывать не стала, как будут завтра разыскивать.

Феклинья, полуобнаженная, спала в это время на лавке и тяжко металась.

— Убью я ее! убью!— злобно шептал Гришка...— Отпустите вы меня, ради Христа! Видите, что мне здесь не жить! Убью я... лопни моя утроба, ежели не убью!

— Врешь, проживешь и здесь! И не убьешь — и это ты соврал. Все в нашем званье так живут, и ты живи. Ишь убиватель нашелся!

На другой день начались розыски. Феклинья действительно явилась доказчицей.

— Некому, окромя его!— говорила она, всхлипывая,— он и в меня, черт лохматый, не однажды камнем бросал — как только бог спас!

— Не знаем, может, и он!— на́двое свидетельствовали родители.

Гришку выдержали неделю в кутузке, и Поваляев окончательно рассердился. Теперь, с этой стороны, и на заработок, и на шутовство надежда была плохая.

Жить становилось невыносимо; и шутовство пропало, не лезло в голову. Уж теперь не он бил жену, а она не однажды замахивалась, чтоб дать ему раза. И старики начали держать ее сторону, потому что она содержала дом и кормила всех.—«В нашем званье все так живут,— говорили они,— а он корячится... вельможа нашелся!»

Мысль о побеге не оставляла его. Несколько раз он пытался ее осуществить и дня на два, на три скрывался из дома. Но исчезновений его не замечали, а только не давали разрешенья настоящим образом оставить дом. Старик отец заявил, что сын у него непутный, а он, при старости, отвечать за исправную уплату повинностей не может. Разумеется, если б Гришка не был «несуразный», то мог бы настоять на своем; но жалобы «несуразного» разве есть резон выслушивать? В кутузку его — вот и решенье готово.

Однако в одно прекрасное утро Гришка исчез.

Дорогой в Москву ему посчастливилось. На ночлеге кто-то поменялся с ним пальто. У него пальто было неказисто, а досталось ему совсем куцое и рваное; но зато в кармане пальто он нашарил паспорт. Предъявитель был дмитровский мещанин, и звали его тоже Григорьем, по отчеству Петровым; приметы были схожие: росту среднего, нос средний, рот умеренный, волосы черные, глаза серые, особых примет не имеется.

— Вот и славно!— говорил себе Гришка, пальто на толкучке другое куплю, а паспорт готов. Не забыть бы только, что я не Авениров, а Петров, дмитровский мещанин.

Москва оживила его. Еще верст за шесть, подходя к ней по Дмитровке и обоняя тот особый запах, который присущ подмосковной окрестности, он почувствовал неудержимый восторг.

— Иван-то великий! Иван-то великий! Ах, боже ты мой!— восклицал он,— и малый Иван тут же притулился... Спас-то, спас-то! так и горит куполом на солнышке!

Ах, Москва — золотые маковки! Слава те, господи! привел бог!

Он истово перекрестился на все четыре стороны и инстинктивно прибавил шагу.

Переночевавши на постоялом дворе у Бутырской заставы, он вместе с зарею побежал прямо в город полюбоваться на Москву. За три-четыре года, которые он прожил в своем городе, Москва порядочно изменилась. Вместе с началом реформ произошел толчок и во внешности первопрестольного города. Москва стала люднее, оживленнее; появились, хоть и наперечет, громадные дома; кирпичные тротуары остались достоянием переулков и захолустий, а на больших улицах уже сплошь уложены были нешироким плитняком; местами, в виде заплат, выступал и асфальт. Тверская улица как будто присмирела, Кузнецкий мост — тоже, но зато в «Городе», на Ильинке, на Никольской, с раннего утра была труба нетолченая от возов. Дома на этих улицах стояли сплошной стеной и были испещрены блестящими вывесками. В довершение всего старые, знаменитые фирмы портных или исчезли, или скромно стушевывались, уступив место новым знаменитостям, долженствующим внести кургузость и шик в старозаветную московскую солидность. Тем не менее, экипировавшись заново на толкучке, Гришка разыскал кой-кого из хозяев, у которых он прежде живал. К одному из них он явился.

Хозяин был не из важных. Нашествие вестников шика значительно на него подействовало. Он постарел, растерял давальцев, сократил наполовину число мастеров и учеников, добрую часть квартиры отдавал внаймы под мастерскую женских мод, но никак не соглашался переменить вывеску, на которой значилось: «Иван Деев, военный и партикулярный портной», и по-французски: «Jean Déiéff, tailleur militaire et particulier».

— А! Авениров! видно, по Москве стосковался!— воскликнул он, увидев Гришку.

— Петров-с,— не сморгнув, отвечал Гришка.

— Помнится, Авенировым тебя величали, а впрочем... паспорт есть?

— Так точно-с.

Деев взглянул на паспорт. Оказалось: Петров, нос средний, рот умеренный, волосы черные, курчавые, глаза серые...

— Ничего, место найдется. Кстати, сегодня я одному подлецу расчет дал. С завтрашнего же дня — с богом! только ведь ты, помнится, пить не дурак.

— Зарок дал-с.

— И прекрасно. У меня, впрочем, расправа короткая. Первый раз пьян — прощаю; второй раз — скулу сворочу; в третий раз — паспорт в зубы и аллё машир. А за прогул — по три рубля в сутки штрафу, это само собой. Так?

— Обнаковенно. Как прочие, так и я.

На другой день возобновилось для Гришки старинное московское житье. Он был счастлив; работа немногим достается так легко и скоро. Через месяц он уже вполне втянулся в прежнюю бездомовую жизнь, с трактирами, портерными и тою кажущеюся сытостью, которую дает скудный хозяйский харч. Гришка, впрочем, не выдержал и, по слову Поваляева, дал себе разрешение на вино и елей. Вино восполняло недостаток питания. Он уже неоднократно делал прогулы, являлся в мастерскую пьяный, и хозяин не раз «поправлял» ему то одну, то другую скулу, но выгонять не решался, потому что руки у Гришки были золотые. Во всяком случае, в конце месяца, при расчете, в распоряжении его оставалась самая малость.

Представить себе жизнь мастерового в Москве — очень нелегкое дело. Это не жизнь, а что-то недостойное имени, недоступное для определения. Тут и полное отсутствие опрятности, и отвратительное питание, и загул, и спанье на голом верстаке. Все это перемежается какой-то судорожной, угорелой работой. Последняя сама по себе была бы неизнурительна, но, в совокупности с непрерывной сутолокой, она представляет своего рода каторгу. Нужно именно поступиться доброй половиной человеческого образа, чтоб не сознавать тех нравственных терзаний, которые должно влечь за собой такого рода существование, чтобы раз навсегда проникнуться мыслью, что это не последняя степень падения, а просто «такая жизнь». Если б луч сознания хоть на мгновение осветил этот мрак, он принес бы с собою громадное несчастие. Он изгнал бы улыбку из этого темного царства, положил бы запрет на самую речь человеческую. Но, к счастью или к несчастью, этого луча нет, и мастерские кипят веселостью, говором и смехом. Правда, веселость вымученная, говор и смех — циничные, но все-таки их достаточно, чтоб не дать вконец замереть этим придавленным людям. Замазанный, тощий, чуть живой ученик, распевая, скачет на одной ножке по тротуару и уже позабыл о только что вытерпенной трепке. Он бежит за кипятком в трактир, за косушкой в кабак; он радуется, что ему можно проскакать на одной ножке известное пространство, задеть прохожего, вы-

ругаться, пропеть циническую песню. Когда он приходит в возраст и садится на верстак, наравне с мастеровыми, он уже кончил всю школу. Мальчиком он был получеловек, и вступил в возраст получеловеком же. В каком качестве он умрет?

Такая жизнь не была для Гришки новостью, и он вполне подчинялся ей. Он боялся только одного: чтоб не открылся его паспортный подлог. Не раз случалось ему встречаться в трактирах с земляками, и он предпочитал говорить им, что живет совсем без паспорта, не может найти места и шатается по ночлежным домам. Но родные, по-видимому, уже знали, что он в Москве, и даже наказывали через земляков воротиться домой. С часу на час он ожидал розыска, и решился чаще переменять места. Один месяц его видели на Тверской, другой — на Арбате, третий — у Никитских ворот. Это дало ему репутацию непоседливого человека и повредило заработку. В конце концов, он уже с трудом находил себе места и действительно целыми неделями шатался по ночлежным домам, содержа себя случайною поденною работою.

Между тем дело о розыске портного Григория Авенирова уже назревало. Несколько месяцев оно находилось в участке и постепенно округлялось. Разыскивали неутомимо; посылали запросы в прочие участки, прибегали к помощи телеграфа. Когда, наконец, переписка достаточно округлилась и уже намеревались писать ответ, что портного Авенирова в Москве не обретается, кто-то из земляков случайно узнал о розыске и донес, что Авениров живет в мастеровых на Плющихе у портного Ухабина, к которому, без замедления, и направил свои стопы околоточный.

— Кто здесь мастер Григорий Авениров? — кликнул он, входя.

Гришка понял, что дело его не выгорело, дрогнул слегка, но назвал себя.

— Паспорт? Ага! Каким же образом ты значишься в нем Петровым? Э, голубчик, да тут пахнет кражей и подлогом.

Хозяин, разумеется, выдал Гришку с головой.

Гришка высидел шесть месяцев в предварительном заключении и потом судился (судебная реформа только что была введена). Он уверял на суде, что не украл, а нашел паспорт в кармане вымененного пальто, и при этом откровенно рассказал свою мученическую жизнь. Но прокурор не верил ему, доказывал, что иначе дело не могло произойти,

как с участием кражи, а подлог был ясен сам собой. Что же касается до россказней подсудимого о жизненных неудачах, то это — обычная уловка негодяев, употребляемая с целью смягчения присяжных. Назначенный судом защитник сказал всего несколько слов вяло, нехотя, словно во сне веревки вил. Присяжные обвинили Гришку только в том, что он воспользовался чужим паспортом, и при этом дали ему снисхождение. Суд приговорил его на двухмесячную высидку.

Вся эта процедура, вместе с шатаньем по Москве, длилась с лишком год, так что, когда, после высидки, препроводили Гришку по этапу в родной город, настала уже глубокая осень.

Феклинья бросила и отца и дом. Она выстроила на выезде просторную избу и поселилась там с двумя другими «девушками». В избе целые ночи напролет светились огни и шло пированье. Старуха, Гришкина мать, умерла, но старики, отец и тесть, были еще живы и перебивались Христовым именем.

Вошел Гришка в родной дом и растянулся плашмя на верстаке. Ни отца, ни тестя не было в это время дома; двери стояли отпертые, потому что и украсть было нечего. В неметеной и нетопленой комнате отдавало сыростью и прелью; вместо домашней утвари стояли два деревянных чурбана, так что и жилого вида комната не имела; даже нищенской рвани не валялось на полу. Гришка лежал неподвижно, обессилевший, снедаемый недугом, приобретенным во время скитаний. Голова его горела под тяжестью мучительных дум. На работу рассчитывать, разумеется, было нельзя; но предстояло «жить», и эта мысль рвала ему сердце.

Осень приближалась к концу; грязь на улицах застыла; местами, где было мало езды, виднелись уже полосы снега. Над городом навис темный октябрьский вечер.

Гришка крадется по главной улице, по направлению к собору. Предчувствия его относительно работы сбылись. В течение недели он обегал своих прежних давальцев, но везде встретил суровый отказ, а купец Поваляев даже пообещал спустить на него собак, ежели он в другой раз явится. К тому же, в его отсутствие, в городе появился другой портной Федор Купидонов, уже прямо из «Петербурха», и совсем веселый. Гришка ни разу порядком не поел, а питался

обшарпанными, черствыми объедками, которые приносил домой отец. Ежели удавалось старикам набрать несколько медных пятаков, то покупали водки и сообща пили.

Приходилось и самому протягивать руку, но покуда горе настолько еще укрепляло его нравственные силы, что мысль о милостыне пугала его. Вот когда и горе пройдет, когда он окончательно обтерпится, тогда, вероятно, и решимость явится. Она придет сама собой. Будет он ходить, приплясывая, по улицам, будет петь скверные песни, коверкаться, представлять юродивого — и на него посыплются гроши. Старики и милостыни просить не умеют: стоят, как истуканы, на перекрестке, с протянутыми руками,— оттого им и подают одни объедки. А он сумеет; он еще в портных выучился юродствовать и приплясывать. Чего доброго, вещим человеком между купчихами прослывет; станут чаем его поить, гривенниками оделять, тайного смысла в его бормотанье доискиваться: «Скажи, батюшко, скажи!» Конечно, не миновать ему и кутузки за эти проделки, но в кутузке все-таки теплее, чем дома, да и щей дают. Пожалуй, кутузка-то еще за «претерпение» ему сочтется: «Истязают тебя, касатик, замучить хотят!»— будут в один голос говорить купчихи.

К несчастью, горе до того впилось в него, что отдаляло перспективу юродства на неопределенное время. Он мучился день и ночь, сам не сознавая — отчего. Вероятно, в этой форме сказывались общие результаты жизни. О Феклинье он и не вспоминал, даже все прошлое почти позабыл и уже не возвращался к его подробностям, а сидел дома, положив голову на верстак, и стонал. Именно результаты прошлого сказывались разом, скопились они и переполнили сердце тоскою. Деваться некуда от тоски,— точно она одна и осталась. Тоска беспредметная, сама себя питающая, почти осязаемая...

Он дошел до собора; там служили всенощную, и третий звон еще не отошел. Когда он вошел в церковь, читали Евангелие и загудели колокола. Он стал в темном углу, начал вслушиваться, но ничего не понимал. Он был как бы в забытьи и трясся всем телом. Простоявши минут десять, вышел на паперть и начал колеблющимися шагами взбираться на колокольню. Взбирался инстинктивно, не сознавая, что там, наверху, ожидает его разрешение загадки жизни. Никаких определенных намерений в его голове не шевелилось, никакого предвидения: все это заменилось непреодолимой силою рока. Тянет, влечет — только и всего.

Наконец он дошел до самого верха, над колоколами, и оглянулся. Город лежал окутанный мглою; огней сквозь осенний туман не было видно. Решетка в этом ярусе была такая низенькая, что опереться на нее было нельзя, а ограниченность пространства не допускала разбега. Однако кончить все-таки было нужно, кончить теперь же, сейчас, потому что завтра, упаси бог, он и впрямь юродствовать начнет.

Он невольно перекрестился и поклонился на все стороны.

Никто ничего не слыхал. Но минут через десять, когда служба кончилась, дьячок, выходя из церкви, встретил на пути своем препятствие.

— На человека наткнулся!— крикнул он,— ишь, пьяница, растянулся!

Стали тормошить «пьяницу»— не встает. Принесли фонари — и опознали Гришку.

— Ах, расподлая твоя душа!— крикнул кто-то в собравшейся толпе.

СЧАСТЛИВЕЦ

Этюд

В мое время последние месяцы в закрытых учебных заведениях бывали очень оживлены. Казенная служба (на определенный срок) была обязательна, и потому вопрос о том, кто куда пристроится, стоял на первом плане; затем выдвигался вопрос о том, что будут давать родители на прожиток, и, наконец, вопрос об экипировке. Во всех углах интерната раздавалось:

— Ты куда?

— Разумеется, в министерство иностранных дел.

— Нас, брат, там не совсем-то долюбливают...

— У меня дядя там; он похлопочет... Ах, кабы через годик... attaché...[1] в Париж!! А ты куда?

— Я... в департамент полиции исполнительной...— запинается собеседник и как-то стыдливо краснеет.

— Чудак!

— У меня там тоже дядя... обещал место помощника столоначальника... Тысячу двести рублей (тогда рубль еще был ассигнационный) на полу не поднимешь, а я...

Или:

— Тебе сколько родители на житье назначают?

— Мне... две тысячи,— краснея, отвечает товарищ, прибавляя целую половину или, по малой мере, четверть против скромной действительности.

— А мне пятнадцать! Maman уж приискала квартиру и меблирует ее... un vrai nid d'oiseau![2] Пару лошадей в деревне нарочно для меня выездили, на днях приведут... О! я...

Наконец:

— Ты у кого платье заказываешь?

— У Сарра́, а белье — у Лепре́тра. А ты?

— Я — у Клеменца... это ведь тоже хороший портной... Белье — дома маменька шьет...

— Ах!

Повторяю: так было в мое время. Теперь, как я слышал, между воспитанниками интернатов уже существуют более серьезные взгляды на предстоящее будущее, но в сороковых

[1] причисленным к посольству *(фр.)*.
[2] настоящее птичье гнездышко! *(фр.)*

годах разговоры вроде приведенного выше стояли на первом плане и были единственными, возбуждавшими общий интерес, и, несомненно, они не оставались без влияния на будущее. Питомец, поступавший на службу в департамент полиции исполнительной, живший на каких-нибудь злосчастных тысячу рублей и заказывавший платье у Клеменца, мог иметь очень мало общего с блестящим питомцем, одевавшимся у Сарра́, мчавшимся по Невскому на вороном рысаке и имевшим виды быть в непродолжительном времени attaché при посольстве в Париже. Первое время по выходе из заведения товарищи еще виделись, но жизнь неумолимо вступала в свои права и еще неумолимее стирала всякие следы пяти-шестилетнего сожительства. Молодые люди, не встречаясь в обществе, легко забывали старое однокашничество, и хотя пожимали друг другу руки в театре, на улице и т. д., но эти пожатия были чисто формальные. Уже в самых стенах интерната образовывалось два лагеря, из которых один был не чужд зависти, другой — пренебрежения. Но что всего замечательнее, даже в одном и том же лагере дружеские связи очень редко завязывались прочно: до такой степени, с выходом на волю, жизненные пути разветвлялись, спутывались и всё более и более уклонялись в даль, в самое короткое время.

Лично я не мог похвалиться тесными дружескими связями, но все-таки ближе других был связан с Валерушкой Крутицыным. Я был, так сказать, средний воспитанник; из ученья имел баллы не блестящие, из поведения — и того меньше. Мои виды на будущее были более чем посредственные; отсутствие всякой протекции и довольно скудное «положение» от родных отдавали меня на жертву служебной случайности и осуждали на скитание по скромным квартирам с «черным ходом» и на продовольствие в кухмистерских. Даже последнее было не всегда доступно, потому что молодость требовала дорогих развлечений, и иногда, ради билета в театр, я вынуждался заменять скромный кухмистерский обед десятикопеечной колбасой с булкой. Старый дядька, который жил при мне, и тот имел в мелочной лавке пищу более сытную и здоровую.

Напротив того, Крутицын, как оказалось из моих расспросов, был молодой человек вполне обеспеченный. Лошадей он, правда, не будет держать, но квартирку устроит комфортабельно и чистенько и обедать будет не иначе, как «настоящим образом» и в хорошем ресторане. Франтовства особенного не дозволит себе, а станет одеваться красиво и

безукоризненно. На службе изнемогать он тоже не располагал (он называл чиновников «хамами»), а отбудет свой срок и затем выйдет на все четыре стороны. Он любит читать (не одни романы, но и серьезные книжки), охотник до театра и не имеет ни малейшей склонности к кутежам. Все это дает право надеяться, что жизнь его устроится разумно, независимо и свободно.

Но главная его претензия — это быть джентльменом. Когда наступит время, он уедет из Петербурга в «свое место» и будет служить по выборам. Ибо только таким образом истинный джентльмен может оправдать свое призвание; только там, среди «своих», он самым делом покажет, что значит высоко держать «свое» знамя.

— У нас, mon cher[1], насчет этого самые незрелые, почти младенческие понятия,— говаривал он мне.— Дворянство, за исключением немногих уездов, представляющих собой как бы оазисы, совершенно забыло о своем значении в государстве и обратилось в массу приживальцев на хлебах у казны. Какой-нибудь департаментский штатский генерал с высоты величия, почти с пренебрежением, смотрит на бедного дворянина, приезжающего в Петербург ходатайствовать по своим делам. В провинции, конечно, дело идет несколько иначе, но едва ли лучше. Там, наоборот, дворяне тесно стоят друг за друга, но не в смысле джентльменства, а в самых вопиющих злоупотреблениях. Само собой разумеется, что таким образом действий они производят в массах глухое раздражение. Крепостное право совсем не так худо, как о нем рассказывают, и если бы дворяне относились друг к другу строже, то бог знает, когда еще этот вопрос поступил бы на очередь. А теперь, пожалуй...

Это говорилось еще задолго до слухов об эмансипации, и я положительно не понимал, откуда мог набраться Валерушка таких несвойственных казенному заведению «принципов». Вероятно, они циркулировали в его семействе, которое безвыездно жило в деревне и играло в «своем месте» значительную роль. С своей стороны, помнится, я относился к этим заявлениям довольно равнодушно, тем более что мысль о возможности упразднения крепостного права в то время даже мельком не заходила мне в голову.

Важнее всего было то, что у Крутицына, при самом выходе со школьной скамьи, существовала уже задача, доволь-

---

[1] мой дорогой (*фр.*).

но, правда, отдаленная и смутная, но все-таки, до известной степени, определявшая его внутренний мир.

Он не изменит данному слову, потому что он — джентльмен; он не позволит себе сомнительного поступка, потому что он — джентльмен; он не ударит в лицо своего слугу, не заставит повара съесть попавшего в суп таракана, не возьмет в наложницы крепостную девицу, потому что он — джентльмен; он приветливо примет бедного помещика-соседа, который явится с просьбой по делу, потому что он — джентльмен. Вообще он не «замарает» себя... нет, никогда! Даже наедине сам с собой он будет мыслить и чувствовать как джентльмен.

Первые шесть лет, которые Крутицын прожил в Петербурге, покуда не кончился срок обязательной службы, наши дружеские связи продолжали поддерживаться, хотя я должен сознаться, что это стоило мне лично некоторых усилий. Впрочем, не я один, а и другие товарищи его охотно посещали, и он всех принимал радушно. Ни про кого из сверстников, я не слыхал от него паскудной клички: «ami-cochon»[1], которую направо и налево рассыпали граф Б., граф О. и другие баловни фортуны. Напротив того, он даже искусственной предупредительности не выказывал, как бы боясь оскорбить ею, а оставался все тем же простым, участливым и добрым малым, каким был на школьной скамье. Правда, что некоторое время по выходе из школы у него почти совсем не было «посторонних» знакомств, и потому со стороны не представлялось случая для сравнений и выводов. Среда, в которой ему предстояло вращаться в будущем, еще не определилась, и товарищи составляли пока единственный ресурс.

Я знал, что у него живет в Петербурге сестра, замужем за князем X., что дом этой сестры — один из самых блестящих и что там собирается так называемое высшее общество. Валерушка бывал у сестры часто, и хотя это представлялось вполне естественным, но я как-то страдал всякий раз, когда на мой вопрос: «Дома ли Валериан Сергеич?» мне отвечали: «К сестрице уехали». Мне казалось, что тут уже кроется зародыш двойственности. Нередко, когда я сидел у Крутицына, подъезжала в щегольской коляске к дому, в котором он жил, красивая женщина и делала движение, чтобы выйти из экипажа; но всякий раз навстречу ей торопливо выбегал камердинер Крутицына и что-то объяс-

---

[1] «свинтус» (*фр.*).

нял, после чего сестра опять усаживалась в коляску и оставалась ждать брата. Крутицын, с своей стороны, извинялся предо мной и, поспешно надевши пальто, выходил из дома. Однажды даже так случилось, что красавица полюбопытствовала и вышла из экипажа, и хотя Валериан крикнул ей в переднюю:

— Je ne suis pas seul...[1]

Но она не послушалась предостережения и вошла в кабинет.

— Надеюсь, что вы позволите « вашему другу» уехать со мной? — сказала она, обращаясь ко мне.

Слов было немного, но в тоне, которым были произнесены слова: «ваш друг», заключалась целая поэма. Во всяком случае, в эту минуту в первый раз, но все еще смутно, мелькнула мне мысль, что в «принципах» известной окраски, если даже они залегли в общее миросозерцание в тех чуждых надменности формах, в каких их воспринял Валерушка, может существовать своего рода трещина, сквозь которую просачивается исключительность и относительно «своих», но менее фаворизированных фортуною.

В наличности этой трещины еще более убедили меня дальнейшие сношения с Крутицыным. С течением времени в квартире его начали появляться «посторонние» личности. И хотя он очень предупредительно представлял нас друг другу, но я всегда чувствовал при этом невольную неловкость. Или придешь так, что «посторонняя» личность уже тут, и тогда она немедленно снимается с места и — со словами: «Итак, в таком-то часу...»— удаляется восвояси.

Или же «посторонняя» личность появлялась, когда я сидел у Крутицына.

Заглянув в кабинет и увидав меня, она восклицала:

— А! ты занят делами! Pardon![2] Я через час зайду...

И делала движение, чтоб удалиться...

— О, нет! о, нет!— удерживал приятеля Валерушка,— останься! ты не помешаешь!

Но, разумеется, я, в свою очередь, понимал, что я лишний, и спешил удалиться.

Тем не менее я упорствовал. Хотя существование трещины делалось более и более несомненным, но я уверял себя, что она засела не в убеждениях самого Валерушки, а в той атмосфере, в которой ему, волей-неволей, приходилось вра-

---

[1] Я не один... (*фр.*).
[2] Извини! (*фр.*)

щаться. Сам он — говорил я себе — противник этой худо скрываемой надменности и, конечно, не лжет, говоря, что в ней заключается одна из причин сословной захудалости. Но не виноват же он, что рождение фаталистически кинуло его в такую среду, от которой он отречься не может. Не отказываться же ему, в самом деле, от людей, которых он беспрерывно встречает в обществе и из которых многие связаны с ним узами крови... Нет, сам по себе, он безупречно верен своим убеждениям и, конечно, в «своем месте» докажет на деле, какое его знамя и как нужно держать его.

Вообще Крутицын был мне симпатичен, несмотря на то, что, по убеждениям, мы принадлежали, так сказать, к совершенно различным приходам. Я имел слегка социалистическую окраску; он был экономист pur sang[1], штудировал Сэ и Бастиá, о социалистах же пренебрежительно выражался, qu'ils cherchent midi à quatorze heures[2]. Затем он был приверженец замкнутой сословности, я же склонялся на сторону самой широкой бессословности, доходя чуть не до suffrage universel[3], мысль о котором тогда уже начинала волновать Западную Европу. Но мне, при том небольшом круге знакомых, какой я имел, дорог был в Крутицыне рассуждающий сверстник, с которым можно было спорить. Положим, эти споры были довольно первоначального свойства и оставляли нас при своих убеждениях, но все-таки тут было упражнение, которое в юношеские годы ценится очень дорого.

— Mon cher,— говаривал Крутицын,— разделите сегодня все поровну, а завтра неравенство все-таки вступит в свои права.

— Я знаю это возражение,— отвечал я,— все столоначальники опираются на него, как на каменную стену; но ведь дело совсем не так просто, как ты его рисуешь. Тут целая система со множеством подробностей, со сложной обстановкой...

Однако он не убеждался моими возражениями и продолжал:

— Или эти anti-lions, anti-réquins![4] Эти заботы насчет вывозки нечистот при помощи самоотверженных когорт... Бедный Фурье! он не предвидел ни ватерклозетов, ни нынешних парижских катакомб!

---

[1] чистейшей воды *(фр.)*.
[2] что они ищут вчерашнего дня *(фр.)*.
[3] всеобщего голосования *(фр.)*.
[4] антильвы, антиакулы! *(фр.)*.

— И это суждение чисто столоначальнического свойства! Фурье не об одних anti-lions писал, но и...

И т. д.

Вообще, как я уже сказал выше, он охотно читал, но вычитывал в книгах именно то, что не только не нарушало хорошего расположения духа, но, напротив, содействовало поддержанию его.

Он был счастлив. Проводил время без тревог, испытывал доступные юноше удовольствия и едва ли когда-нибудь чувствовал себя огорченным. Мне казалось в то время, что вот это-то и есть самое настоящее равновесие души. Он принимал жизнь, как она есть, и брал от нее, что мог.

— Я ничего особенного от жизни не требую,— говорил он нередко,— и нахожу, что она дает совершенно достаточно, чтобы удовлетворить меня. Никакой борьбы я не ищу и не буду искать, не потому, чтобы трусил, а потому, что борьба — не в моих принципах. Только то прочно, что приходит в свое время; насильственно же взятое или искусственно привитое, рано или поздно, погибает, и даже скорее рано, чем поздно. Кто действует мечом, тот от меча погибнет. Верь мне. Конечно, в людях, среди которых мне приходится жить, есть многое, что мне не по сердцу, но, вероятно, и во мне есть кой-что, что не нравится другим. Поэтому я или покоряюсь факту, принимаю его, как он есть, или же, если это удобно, вступаю в спор, в надежде убедить. Но без раздражения, разумно, с полным сознанием права, которое имеет противник отстаивать свое убеждение.

— Но ведь иногда это совсем не убеждение, а просто раздражение прихотливого или развращенного темперамента,— возразил я.

— В таком случае спор напрасен. Надо отойти — и больше ничего.

Он любил женское общество и имел у женщин успех; но бывал ли когда-нибудь влюблен — сомневаюсь. Мне кажется, настоящая, страстная любовь нарушила бы его душевную ясность, и если б даже запала случайно в его сердце, то он, ради спокойствия своего, употребил бы все усилия, чтоб подавить ее.

Он любил быть «счастливым»— вот и все. Однажды прошел было слух, что он безнадежно влюбился в известную в то время лоретку (так назывались тогдашние кокотки), обладание которой оказалось ему не по средствам, но на мой вопрос об этом он очень резонно ответил:

— Помилуй! неужели ты мог поверить, что я положу на одни весы мое личное спокойствие и вопрос о какой-то лоретке? Лоретка может занять меня на одну минуту, не больше... Их так много, так много, что предложение почти превышает спрос. Притом же, я совсем не там ищу, и не того мне надо. Многие из моих приятелей постоянно проводят время в обществе этих девиц; я и сам иногда не прочь пробыть несколько часов в их компании, но, в конце концов, это скучно. Говорят они глупо, поют пошлые песни, даже движения у них не красивы, а только циничны. Если тела их и действуют возбуждающим образом на физику, то это возбуждение мимолетное. Ведь и тут все-таки необходима хоть искра ума или, по крайней мере, выдержки.

Таким образом, он и с этой стороны остался неуязвим. Сам выдержанный, он и везде искал такой же выдержки. Нашедши ее, чувствовал себя хорошо и удобно, не нашедши — не добивался и проходил мимо своею дорогою.

Мне кажется, что и у женщин Крутицын имел успех именно благодаря этой выдержке. Он был нежен, а не страстен, и притом безусловно приличен и скромен. Можно было с уверенностью сказать себе, что он не только словом, но и выражением глаз, лица не выдаст тайны, а это в интимных отношениях главное. Тихое наслаждение, без порывов и даже без назойливости, наслаждение настолько, насколько оно обусловливается обстоятельствами, обстановкой,— вот идеал, который он воспитал в себе. Даже разговора о сношениях с женщинами он не допускал, потому что и тут случайно могла прозвучать нотка, сказаться слово, которое выдало бы его.

— Женщина для меня святыня,— однажды сказал он мне,— я боюсь коснуться этой святыни, чтобы каким-нибудь неосторожным выражением не оскорбить ее. И потому храню молчание.

Между тем круг «посторонних» друзей все больше и больше теснился около него. Из старых товарищей только я один его посещал, но и мне приходилось видеться очень редко. Это было тем более достаточно, что он, по-видимому, не замечал ослабления дружеских уз. По-прежнему он был со мною приветлив и ровен, но, очевидно, большой цены частым свиданиям не придавал. Я уже начинал склоняться к мысли, что во всем этом кроется глубокий эгоизм, но, обдумавши, пришел к убеждению, что это — не более как довольство самим собою, своим положением, довольство, при котором не чувствуется даже потребности в ана-

лизе. Жизнь течет обычным порядком; обстановка кругом или изменяется, или остается неизменною — все равно «принципы» остаются нетронутыми, так что ни с какой стороны нет места для тревог... Вот и достаточно.

Только обязательная служба до известной степени выводила его из счастливого безмятежия. К ней он продолжал относиться с величайшим нетерпением и, отбывая повинность, выражался, что и он каждый день приносит свою долю вреда. Думаю, впрочем, что и это он говорил, не анализируя своих слов, Фраза эта, очевидно, была, так сказать, семейным преданием и запала в его душу с детства в родном доме, где все, начиная с отца и кончая деревенскими кузенами, кичились какою-то воображаемою независимостью.

Понять значение этой независимости было очень трудно, а доказать ее конкретным делом еще труднее. Кажется, она в том, по преимуществу, состояла, что «независимые» удалялись от коронной службы (были целые губернии, называвшиеся «корнетскими», потому что почти сплошь все помещики были отставные корнеты и вообще малочиновные люди, но зато обладавшие хорошими материальными средствами). Отставные корнеты поселялись в своих родовых гнездах, служили по выборам и фрондировали, а по тогдашнему выражению — «фыркали». В образе жизни они старались подражать псевдоанглийским порядкам. Домашняя прислуга ходила в ливрейных фраках и бесшумно мелькала по комнатам, исполняя свои обязанности; глава семейства выходил к обеду во фраке и в белом галстуке; в доме царствовала строгая и совершенно определенная вымуштрованность, нарушения которой не могла вызвать даже самая настоятельная необходимость, и, наконец, ни один местный чиновник, служивший не по выборам от дворянства, не допускался за порог барских хором. В то время это считалось вольнодумством, и на людей, дозволявших себе поступать таким образом, смотрели косо, как на строптивых. Так что, в сумме, вся независимость сводилась к тому, что люди жили нелепою, чуть ли не юродивою жизнью, неведомо с какого повода бравируя косые взгляды, которые метала на них центральная власть, и называя это «держанием знамени».

На такую именно жизнь осужден был и Крутицын, но так как семена ее залегли в нем еще с детства, то он не только не чувствовал нелепых ее сторон, но, по примеру старших, видел в ней «знамя».

Наконец шестилетний срок обязательной службы истек, и Валерушка поспешил воспользоваться свободою. За два месяца перед окончанием срока он уже взял отпуск и собрался в «свое место», с тем чтобы оттуда прислать просьбу об отставке. В то время ему минуло двадцать семь лет.

В день отъезда я один приехал проводить его на дебаркадер мальпостов (железная дорога до Москвы еще не существовала). Время было глухое, июнь в конце; «посторонние» друзья разъехались по деревням и за границу. Не могу сказать, чтобы сердце мое особенно сжималось в виду предстоявшей разлуки, но все-таки чувствовалось некоторое томление. Я говорил себе, что разлука будет полная, что о переписке нечего и думать, потому что вся сущность наших отношений замыкалась в личных свиданиях, и переписываться было не о чем; что ежели и мелькнет Крутицын на короткое время опять в Петербурге, то не иначе, как по делам «знамени», и вряд ли вспомнит обо мне, и что вообще вряд ли мы не в последний раз видим друг друга.

Нечего и говорить, что ничего подобного в мыслях Крутицына не было. Он просто уезжал, хотя, впрочем, искренно и крепко жал мне руки, благодаря за то, что я не забыл проводить его. Я помню, что в последние минуты мне пришла в голову довольно несообразная мысль. Нет, думалось мне, надо наконец поставить вопрос прямо. Нам обоим по двадцати семи лет, мы шесть лет уже пользуемся свободой, а какие результаты дала нам эта свобода? Можем ли мы указать на какое-нибудь дело или хоть на подготовку к нему? Имеем ли мы данные, с помощью которых можно было бы определить характер предстоящего нам будущего? или нам еще долго-долго придется плыть по житейскому морю без ветрила, просто в качестве «молодых людей»?

Мысль эту я не преминул сообщить на прощанье Крутицыну:

— Вот нам уже под тридцать,— сказал я,— живем мы шесть лет вне школьных стен, а случалось ли тебе когда-нибудь задаться вопросом: что дали тебе эти годы? сделал ли ты какое-нибудь дело? наконец, приготовился ли к чему-нибудь? Вообще можешь ли ты дать себе отчет в проведенном времени?

Он взглянул на меня удивленными глазами, точно впервые и с неудовольствием угадал во мне какой-то совершенно чуждый ему «беспокойный» элемент.

— О чем ты говоришь — не понимаю!— ответил он,—

какие отчеты, какое «дело»? какая подготовка? Я жил — вот и все!

И, подумав с минуту, прибавил:

— А «дело», которое мне предстоит, и без подготовки — всегда налицо. Я с благоговением приму его в свое время из рук отца и останусь верен ему до последнего вздоха! Прощай.

Я угадал совершенно верно: в переписке потребности не оказалось. К тому же я сам вскоре, вслед за Крутицыным, вынужден был оставить Петербург и удалиться в глубь провинции. Валерушка, конечно, и не подозревал, что я исчез и куда.

Ежели вообще даже внешняя перемена в обычной жизненной обстановке неудобно отражается на человеческом существовании, то тем тяжелее действует утрата отношений, имеющих дружеский характер, особенно если одною из сторон эта утрата принимается равнодушно. Есть даже что-то оскорбительное в подобном равнодушии, какая-то приниженность чувствуется. Так было и со мною. Я называл навязчивостью те усилия, которые делались мною с целью сохранить еле державшуюся связь с Крутицыным; я даже негодовал на себя, что продолжаю думать об этой связи.

Впрочем, поездка в отдаленный край оказалась в этом случае пользительною. Связи с прежней жизнью разом порвались: редко кто обо мне вспомнил, да я и сам не чувствовал потребности возвращаться к прошедшему. Новая жизнь со всех сторон обступила меня; сначала это было похоже на полное одиночество (тоже своего рода существование), но впоследствии и люди нашлись... Ведь везде живут люди, как справедливо гласит пословица.

О Крутицыне я не имел никаких слухов. Взял ли он в руки «знамя» и высоко ли его держал — никому до этого дела в то время не было, и ни в каких газетах о том не возвещалось. Тихо было тогда, безмолвно; человек мог держать «знамя» и даже в одиночку обедать во фраке и в белом галстуке — никто и не заметит. И во фраке обедай, и в халате — как хочешь, последствия все одни и те же. Даже умываться или не умываться предоставлялось личному произволению.

Я не сомневался, однако ж, что Валерушка устроился хорошо и не утратил душевного равновесия. Вероятно, он предводительствует в «своем месте», думалось мне, когда

воспоминание об нем случайно западало мне в голову. А предводительство, по его мнению, само по себе уже есть «дело», которому стоит посвятить жизнь. Мало ли у предводителя обязанностей? И ходатайствовать, и настаивать, и отстаивать, и, наконец, «фыркать». С утра до вечера — сущая толчея. Так что когда наступит ночь и случайно вздумаешь дать себе отчет в прожитом дне, то не успеешь и перечислить всего совершённого, как благодетельный сон уже спешит смежить глаза, чтоб вознаградить усталый организм за претерпенную дневную сутолоку.

Целых восемь лет я вел скитальческую жизнь в глухом краю. И возлежал на лоне у начальника края, и был отметаем от оного; был и украшением общества, и заразою его; и удачи, и невзгоды — все испытал, что можно испытать на страже обязательной службы, среди не особенно брезгливых по служебной части коллег. Конца этому положению я не предвидел. Сначала делал некоторые попытки, чтобы высвободиться, но чем дальше шел в глубь, тем более и более обживался. Даже солонину и огурцы солил впрок и вообще зажил своим домом, хотя был совсем одинок. И теперь вспоминаю об этом времени с каким-то сомнением, действительно ли оно было.

Наконец искус кончился. Конец пришел так же случайно, как случайно пришло и начало. Я оставил далекий город точно в забытьи. В то время там еще ничего не было слышно о новых веяниях, а тем более о каких-то ломках и реформах. Достоверно было только, что чиновникам предоставлено, вместо прежних мундиров и вицмундиров, носить мундирные кафтаны и вице-кафтаны. Несколько суток я ехал, не отдавая себе отчета, что со мной случилось и что ждет меня впереди. Но, добравшись до Москвы, я сразу нюхнул свежего воздуха. Несмотря на то, что у меня совсем не было там знакомых, или же предстояло разыскивать их, я понял, что Москва уже не прежняя. На Никольской появилось Чижовское подворье, на Софийке — ломакинский дом с зеркальными окнами. По Ильинке, Варварке и вообще в Китай-городе проезду от ломовых извозчиков не было — всё благовонные товары везли: стало быть, потребность явилась.

Еще не так давно называемые «машины» (орга́ны) были изгнаны из трактиров; теперь Московский трактир щеголял двумя машинами, Новотроицкий — чуть не тремя. Отобедавши раза три в общих залах, я наслушался того, что ушам не верил. Говорили, что вопрос о разрешении курить

на улицах уже «прошел» и что затем на очереди поставлен будет вопрос о снятии запрещения носить бороду и усы. Говорили смело, решительно, не опасаясь, что за такие речи пригласят к генерал-губернатору. В заключение, железный путь от Москвы до Петербурга был уже открыт.

Хорошее это было время, гульливое, веселое. Денег было много, а ежели у кого и оказывалась недостача, то это значило: перед деньгами. Приятели, на радостях, охотно давали взаймы, в трактирах — охотно верили в долг. И, притом, много ли нужно человеку, особливо московскому? — рюмка, две рюмки, три рюмки — вот он и пьян! Потому что у него внутри уж гнездо заведено. А на закуску — кусочек хлеба с крошечным ломтиком ветчины. И этого достаточно, потому что водка сама по себе насыщает. Даже половые встрепенулись и летали по залам трактиров с сияющими лицами, довольные и счастливые, что наконец узы разорваны и наступило время настоящей «вольной» работы. И они высоко держали своего рода «знамя».

Прибавьте ко всему этому прибаутки Кокорева, его возню с севастопольскими героями, угощения, увеселительные поездки по Николаевской железной дороге, кутежи в Ушаках — и согласитесь, что бедному провинциалу было от чего угореть.

Когда я добрался до Петербурга, то там куренье на улицах было уже в полном разгаре, а бороды и усы стали носить даже прежде, нежели вопрос об этом «прошел». Но всего более занимал здесь вопрос о прессе. Несмотря на то, что цензура не была еще упразднена, печать уж повысила тон. В особенности провинциальная юродивость всплыла наружу, так что городничие, исправники и даже начальники края не на шутку задумались. Затевались новые переодические издания, и в особенности обращал на себя внимание возникавший «Русский вестник». При этом Петербург завидовал Москве, в которой существовал совершенно либеральный цензор, тогда как в Петербурге цензора́ всё еще словно не верили превращению, которое в их глазах совершалось. Что касается устности, то она была просто беспримерная. Высказывались такие суждения, говорились такие речи, что хоть бы в Париже, в Бельвилле. Словом сказать, пробуждение было полное, и, разумеется, одно их первых украшений его составлял тогдашний premier amoureux[1],

---

[1] первый любовник *(фр.)*.

В. А. Кокорев, который на своем образном языке называл его «постукиваньем».

Петербург был переполнен наезжими провинциалами. Все, у кого водилась лишняя деньга, или кто имел возможность занять,— все устремлялись в Петербург, к источнику. Одни приезжали из любопытства, другие — потому, что уж очень забавными казались «благие начинания», о которых чуть не ежедневно возвещала печать; третьи, наконец,— в смутном предвидении какой-то угрозы. Крутицын был тоже в числе приезжих, и однажды, в театре, я услыхал сзади знакомый голос:

— А! Мельмот-скиталец! Наконец!..

Мы встретились радушно и просто, как будто расстались только вчера. Крутицын по-прежнему глядел счастливо, так что сразу было видно, что он вполне доволен своим положением. На щеках его играл румянец, в волосах — ни признака седины или другого ущерба; походка такая же легкая, с приятным перевальцем, как восемь лет тому назад; нигде ни малейшей обрюзглости или отяжелелости; одет без франтовства, но безукоризненно. Вообще он не только не постарел, а как будто даже помолодел. Напротив того, я, судя по его словам, и похудел, и обрюзг, и постарел.

— Видно, на окраинах-то живется не совсем припеваючи! — молвил он, осматривая меня.

— Что же ты не прибавляешь: сам виноват? — пошутил я в ответ.

— Я голубчик, держусь того правила, что каждый сам лучше может оценивать собственные поступки. Ты знаешь, я никогда не считал себя судьей чужих действий,— при этом же убеждении остался я и теперь.

Я узнал, что он приехал на короткое время и остановился в гостинице. Не столько дела привлекли его, сколько любопытство. Какие могли быть у него дела с бюрократией? — конечно, никаких! Но для любознательности поводов было достаточно, и он не отрицал, что в обществе проснулось нечто вроде самочувствия. Не лишнее было принять это явление в соображение, ввиду «знамени», которое он держал, и, быть может, даже воспользоваться им на вящее преуспеяние излюбленных интересов.

— Здесь очень забавно,— выразился он чуть-чуть иронически,— курят на улицах так, что, того гляди, свод небесный закоптят. И бороды отпустили — узнать мудрено. Один Кокорев, с своими «героями», чего стоит! заглядеться можно!

— А пресса-то, пресса! — подстрекнул я.

— Ну, да, и пресса недурна. Что же! пускай бюрократы побеспокоятся. Вообще любопытное время. Немножко, как будто, сумбуром отзывается, но... ничего! Я, по крайней мере, не разделяю тех опасений, которые высказываются некоторыми из людей одного со мною лагеря. Нигде в Европе нет такой свободы, как в Англии, и между тем нигде не существует такого правильного течения жизни. Стало быть, и мы можем ждать, что когда-нибудь внезапно смешавшиеся элементы жизни разместятся по своим местам.

Кроме того, я узнал, что он женился. И теперь, в Петербурге, он с женой, но она уехала на вечер к сестре, а он предпочел театр.

— Хорошая у меня жена, умница! — прибавил он с видимым удовольствием.

— Итак, ты счастлив?

— То есть доволен, хочешь ты сказать? Выражений, вроде: «счастье», «несчастье», я не совсем могу взять в толк. Думается, что это что-то пришедшее извне, взятое с бою. А довольство естественным образом залегает внутри. Его, собственно говоря, не чувствуешь, оно само собой разливается по существу и делает жизнь удобною и приятною.

Сказавши это, он пожал мне руку и удалился, причем не спросил, где я живу, да и сам не пригласил меня к себе. Очевидно, довольство настолько овладело им, что он утратил даже представление о каком-либо ином обществе, кроме общества «своих».

Тем не менее я не утерпел и на другой же день, довольно рано, уже был у него.

Крутицын весь сиял счастьем — это с первого взгляда бросалось в глаза. Было часов около одиннадцати, но и он, и жена его уже держали свое «знамя». Она, прелестная, свежая, благоухающая, сидела у круглого стола и разливала чай. Крутицын правду сказал: по всем ее движениям, неторопливым и плавным, видно было, что она «умница». И ела, и пила она настоящим образом, не жеманилась, не играла ложкой, не стыдилась, как бы говоря: это я случайно пью чай и булку с маслом ем, а обыкновенно я питаюсь эфиром! И ела, и пила, как все смертные, и даже мне, без предварительных расспросов, налила чашку,— все как следует умнице. Что касается до него, то он, в утреннем неглиже (tout-à-fait correct[1]), помещался сбоку стола. Разумеется, меня не

[1] в высшей степени приличном (*фр.*).

ждали и как будто даже удивились, что я так поспешил.

— Мне вчера еще Valérien говорил о вас,— сказала она, когда Крутицын отрекомендовал меня,— и я очень рада познакомиться с вами. Друзья моего мужа — мои друзья.

Я вспомнил подобную же сцену с сестрою Крутицына, и мне показалось, что в словах: «друзья моего мужа — мои друзья» — сказалась та́кая же поэма. Только это одно несколько умалило хорошее впечатление в ущерб «умнице», но, вероятно, тут уже был своего рода фатум, от которого никакая выдержка не могла спасти.

Через четверть часа «умница» скрылась в соседнюю комнату, и мы остались одни. Я некоторое время так пристально вглядывался в Валерушку, что он, смеясь, заметил:

— Ты что на меня так странно смотришь? Что-нибудь необыкновенное приметил?

— Нет, я просто угадать хочу.

— Что ж угадывать? Во мне все так просто и в жизни моей так мало осложнений, что и без угадываний можно обойтись. Я даже рассказать тебе о себе ничего особенного не могу. Лучше ты расскажи. Давно уж мы не видались, с той самой минуты, как я высвободился из Петербурга,— помнишь, ты меня проводил? Ну же, рассказывай: как ты прожил восемь лет? Что предвидишь впереди?..

Я рассказал, что мог, но запас у меня был не особенно обильный. В десять — пятнадцать минут все было кончено.

В самом деле, что я оставил позади за те восемь лет, в продолжение которых мы не видались? — воспоминание о какой-то бесконечно длинной и бессодержательной процедуре, до того однообразной, что она напоминала собой сказку о белом бычке. Настолько была общеизвестна эта процедура, настолько всем надоела, что, как только наступила благоприятная минута, все взапуски спешили отделаться от нее, как от кошмара. Что же касается до эпизодов и подробностей, которые оттеняли один день от другого, то они отзывались уже черезчур узкою специальностью и положительно никого не могли интересовать. Сегодня — следствие о вымогательстве, завтра — о сокрытии, послезавтра — о превышении или бездействии, и т. д. Хвалиться, после долгих лет разлуки, перед приятелем, сколько стоило труда и искусства, чтобы поймать, уличить и вообще довести, с гре-

хом пополам, какого-нибудь воришку-станового до вожделенного 3-го пункта,— право, не стоило. С другой стороны, и беседовать о дешевизне съестных припасов было неинтересно. Какое дедо Крутицыну до того, что в городе Глазове пара рябчиков стоит семь копеек серебром? Все, что он может сказать по поводу таких россказней,— это:

— Дешевизна так неимоверна, что рябчики непременно должны быть давленые, а не стреляные. Во всяком случае, ни один порядочный повар не согласится подать давленую дичь на стол.

— Нет, лучше о тебе будем говорить,— сказал я, истощив свой запас.

— Что ж я могу рассказать тебе? Как видишь: женат, счастлив; восемь лет прошли как сон.

— Голубчик! ведь восемь лет немало времени; положим, для меня, с фактической стороны, они прошли почти бесследно. Существование мое было однообразное, подневольное и шло изо дня в день в совершенно чуждой среде. Но и тут я убежден, что еще не успел разобраться в недавнем прошлом и что впоследствии оно все-таки откликнется. Выступят наружу личности, характеристики, осветятся факты, подробности, а за ними появится целая свита ошибок. Сколько окажется поводов для самобичевания, для укоров! Какие потрясающие драмы могут выплыть на поверхность из омута мелочей, которые настолько переполняют жизненную обыденность, что ни сердце, ни ум, в минуту совершения, не трогаются ими! Нет, перемена, происшедшая в моем существовании, так еще свежа,— всего несколько месяцев,— что я не успел еще присмотреться к прошлому и не могу дать себе отчета, чем оно чревато, укорами или поощрениями. Напротив, ты...

— Мне кажется, что ты уж чересчур трагически смотришь на вещи...

— Ну, будет; действительно, я что-то некстати развитийствовался. Рассказывай же, рассказывай о себе: как жил, что делал?

— Как жил? — ну, жил, и больше ничего. Признаюсь, я даже не понимаю этого вопроса, и мне кажется, что гоняясь за разрешением его, tu cherches midi à quatorze heures[1]. Смутно помнится, что мы уже однажды имели подобный разговор, и я объяснился с тобою. Но ты, по-видимому, не-

---

[1] ты ищешь вчерашний день *(фр.)*.

исправим. Итак, повторяю: я жил и не имею причины быть недовольным моим прошлым. Быть может, что это происходит оттого, что я ничего особенного не требую, или оттого, что сама судьба меня приголубливает,— во всяком случае, я не жалуюсь и сознаю себя вполне удовлетворенным. Однажды только я испытал серьезное горе — это когда умер отец, которого я страстно любил. Но время сгладило и это горькое впечатление; у меня осталась мать, к которой я также страстно привязан, и мы втроем живем душа в душу: maman, жена и я. Жаль только, что с сестрой приходится видеться редко, но тут уж ничего не поделаешь. Словом сказать, я живу семейно и согласно, а ежели в доме царствует согласие, то и жизнь не может не радовать. Достаточно этого для тебя?

— Но ведь у тебя было дело? доволен ли ты им?

— И дело было, и надеюсь, что и вперед ему буду служить. И скажу без хвастовства, что сознательно против однажды усвоенной règle de conduite[1] не поступал. Держать вверенное знамя совсем не легкая задача, и я исполнял ее по мере моих сил. Я не кичился моими преимуществами, не пользовался ими в ущерб моим доверителям, не был назойлив, с полною готовностью являлся посредником там, где чувствовалась в этом нужда, входил в положение тех, которые обращались ко мне, отстаивал интересы сословия вообще и интересы достойных членов этого сословия в частности,— вот мое дело! Быть может, оно не блестяще, но удовлетворяет меня вполне. И несмотря на кажущуюся простоту, оно порядочно-таки сложно, так что облениться или опуститься мне не было времени. Ведь не только одна тишь да гладь царствовали, а были и шероховатости. Вспомни, что в мою компетенцию входили не одни дворяне, но и крестьяне. Сверх того, и все служащие по выборам... Покойный отец сделал многое, чтобы наш уезд в административном смысле был безупречен, и я шел по стопам его. Неужели всего этого недостаточно?

— Помилуй! как недостаточно? напротив!

— Ты иронизируешь? находишь, что все это мелочи? Но что же делать, если ничего более крупного в жизни не видится?

— То-то вот и есть... отчего одни только мелочи? от-

---

[1] линии поведения (*фр.*).

чего положение вещей остается на одной точке и ни на какой осязательный результат указать нельзя?

— Pardon! Выражение: «мелочи» — сорвалось у меня с языка. В сущности, я отнюдь не считаю своего «дела» мелочью. Напротив. Очень жалею, что ты затеял весь этот разговор, и даже не хочу верить, чтобы он мог серьезно тебя интересовать. Будем каждый делать свое дело, как умеем,— вот и все, что нужно. А теперь поговорим о другом.

Мы поговорили еще минут десять о вчерашнем спектакле и расстались.

Прошло целых тридцать лет, наполненных какою-то пестротою, в которой трудно было отыскать руководящую нить. Эпоха «постукиванья» миновала быстро; наступило суровое, беспощадное отрезвление, умеряемое случайными и не всегда мотивированными возвратами к лучшим временам. В воздухе чуть не каждый день оттепель сменялась жгучим холодом, и наоборот; но настоящие теплые дни перепадали редко. Эти перемены заставляли себя чувствовать тем более мучительно, что наступали внезапно и вследствие чисто внешних, случайных причин. Явления, имевшие совершенно частный характер, обобщались и угнетающим образом отражались на целом жизненном строе. Жилось сомнительно, без уверенности в завтрашнем дне, без удовлетворения днем настоящим. Знамена, которые всякий спешил выкинуть в дни «возрождения», вдруг попрятались; самое представление о возрождении стушевалось и сменилось убеждением, что ожидание дальнейших развитий было бы ребячеством. Умы воротились к старинной, излюбленной теме: как бы выйти неповрежденным из сутолоки насущного дня. В прессе, рядом с «рабьим языком», народился язык холопский, претендовавший на смелость, но, в сущности, представлявший смесь наглости, лести и лжи. «Улица» притихла.

В течение всего этого времени я был почти исключительно поглощен литературными занятиями. Скорбных минут было немало, но, по крайней мере, поддерживалось горение мысли — и за то спасибо. Всего мучительнее было то, что писатель не мог определительно указать на своего читателя, так что голос его раздавался, так сказать, наудачу. Но, во всяком случае, литературный труд сам по себе представля-

ет достаточно утешений. Допустим, что на особенно плодотворные результаты рассчитывать нечего, но все-таки думается, что хоть что-нибудь, хоть штрих один, хоть слабый звук — дойдет по адресу. Гудит и снует безымянная толпа, совсем не подозревая, что к ней обращено горячее писательское слово,— и вдруг выискивается адресат, который ловит это слово на лету... Это большое счастье, но в то же время, надо сказать правду, и большая редкость, потому что адресат робок и обнаруживать свои чувства не всегда считает полезным.

Повторяю: результаты моей деятельности были сомнительны, но существовал самый процесс излюбленного литературного труда, и это до известной степени удовлетворяло. Настоящее слово выговаривалось с трудом, но попытки сказать его все-таки существовали. Еще не утрачена была возможность полемизировать, и творцы холопского языка чувствовали хоть какую-нибудь узду. С течением времени и эта возможность исчезла, и холопский язык получил возможность всесильно раздаваться из края в край, заражая атмосферу тлением и посрамляя человеческие мозги.

С своей стороны, Крутицын крепче, нежели когда-нибудь, держал свое знамя. Он понимал, что плошать не следует, потому что в пестрое время на первом плане стоит значение минуты и возможность ее уловить. В первый раз пришлось ему постичь истинный смысл слова «борьба», но, однажды сознав необходимость участия этого элемента в человеческой деятельности, он уже не остановился перед ним, хотя, по обычаю всех ищущих душевного мира людей, принял его под другим наименованием. Он называл борьбу отстаиваньем освященных веками интересов и с гордостью говорил, что его нельзя смешивать с толпою беспокойных, которая занималась отыскиванием каких-то новых общественных идеалов и форм. Он, по преимуществу, действовал на местные правящие сферы: убеждал, приглашал оставить опасный путь и идти об руку по стезе благонамеренности. Но если это не удавалось, то, выждав «минуту», ехал в Петербург и настаивал на своем. И так как выбранная минута была всегда такая, когда в известных сферах было насчет благонамеренности «твердо», то жертв этой настойчивости оказывалось немало.

Словом сказать, Крутицын был доволен и среди «своих» пользовался не только популярностью, но и любовью. Несмотря на почти непреодолимые трудности, он создал из

своего уезда действительный оазис, в котором, после эманципации, ни один помещик не продал ни пяди занадельной земли, в котором господствовал преимущественно сиротский надел и уже зародились серьезные задатки крупного землевладения. Даже мелкие сошки куда-то исчезли; остались только настоящие столпы, кровные деревенские джентльмены, которые обедали в своих семьях во фраках и белых галстуках.

Хотя в Петербург он приезжал довольно часто, но со мной уже не видался. По-видимому, деятельность моя была ему не по нраву, и хотя он не выражал по этому поводу своих мнений с обычною в таких случаях ненавистью (все-таки старый товарищ!), но в глубине души, наверное, причислял меня к разряду неблагонадежных элементов.

От времени до времени мы виделись, но исключительно в публичных местах, вполне случайно, и без разговоров расходились, пожав друг другу руки. Впрочем, о целях его наездов в столицу я почти всегда знал. Фамилия Крутицына приобрела уже значительную известность и встречалась в газетах наравне с фамилиями самых горячих защитников интересов консервативной партии. Помнится, что он даже кой-что пописывал, хотя без особенного успеха. Он значительно изменил свои прежние убеждения относительно бюрократов и соглашался, что, при известных условиях, между интересами бюрократическими и сословными не только не существует ни малейшей розни, но, напротив, первые споспешествуют вторым, а вторые оплодотворяют первые. Поэтому он относится с доверием даже к департаментским столоначальникам. Он ходатайствовал, подавал записки, добивался участия в разнообразных комитетах и комиссиях и уже не стоял исключительно на сословной почве, но выказывал намерение перейти на почву общегосударственную. Сословная обеспеченность может быть достигнута только при соответствующем устройстве всего государственного уклада,— настаивал он, и слова его, будучи, в сущности, самым ординарным общим местом, считались мудрыми. Ему неоднократно предлагали место губернатора и даже выше, но он наотрез отказывался. В этом отношении он остался верен отцовским «принципам» и находил, что сословная честь требует неизменной преданности исключительно сословному знамени.

Раза два-три я встречался с ним за границей, преимущественно в Эмсе, куда он от времени до времени ездил (всегда в сопровождении жены), чтобы подлечить какую-то

неисправность в легких. Здесь, благодаря полному досугу, он был менее сдержан и охотно возвращался к дружеским собеседованиям. Разговоры наши, впрочем, не касались «знамени», ни вообще внутренней политики, а вращались исключительно около кулинарных интересов. Где лучше обедать: в Hôtel «Vierjahreszeiten»[1] или в кургаузе? А, может быть, еще лучше — с утра разузнавать по известным отелям, в котором из них предполагается наиболее подходящий обед? Крутицын отзывался о немецкой кухне не только без презрения, как это делает большинство русских гастрономов, но даже хвалил ее. И она, с своей стороны, способствовала душевной ясности, перевариваясь легко, без желудочных переполохов.

— Во всяком обеде найдешь два-три блюда очень приличных,— говорил он,— и притом таких, от которых не чувствуется в желудке никакой тяжести. Все здесь так устроено, чтобы питание, без ущерба в гастрономическом смысле, не вредило лечению но, напротив, содействовало.

— Да, голубчик, ограждение интересов желудка — это в своем роде знамя,— поддакивал я ему.

— У нас, где-нибудь во Владикавказе, непременно свининой отпотчуют или солониной накормят, а здесь даже menus[2] в табльдотах составляется не иначе, как под наблюдением водяного комитета.

— Да, но ведь и свинина вкусна!..

— Вкусна — не спорю! но в гигиеническом смысле...

Стало быть, и в кулинарном отношении он был счастлив: желудок в исправности! — Многие этого блага с детских лет добиваются, да так и сходят в могилу с желудочным засорением.

Сверх того, он был горячий поклонник Бисмарка и выражался о нем:

— Это человек!

И в этом я ему не препятствовал, хотя, в сущности, держался совсем другого мнения о хитросплетенной деятельности этого своеобразного гения, запутавшего всю Европу в какие-то невылазные тенета. Но свобода мнений — прежде всего, и мне не без основания думалось: ведь оттого не

---

[1] Гостиница «Четыре времени года» *(нем.)*.
[2] меню *(фр.)*.

будет ни хуже, ни лучше, что два русских досужих человека начнут препираться о качествах человека, который простер свои длани на восток и на запад,— так пускай себе...

Повторяю: наши собеседования были легкие, гигиенические, и Крутицын был, по-видимому, благодарен, что я не переношу их на другую почву.

Однажды, однако ж, я не вытерпел и спросил его:

— Правда ли, что ты считаешь меня неблагонадежным элементом?

— Mais puizque tu demandes cent milles têtes à couper![1]

— Фу-ты!

Ответ его был несколько придурковат, но так как он, видимо, был счастлив, выказав нечто похожее на остроумие, то я не возражал дальше. Счастье так счастье! — пусть выпивает чашу ликования до дна!

Несколько раз я порывался спросить его, что он делает в «своем месте» и подвинулось ли хоть на вершок что-нибудь вследствие его настояний, отстаиваний, ходатайств и вообще вследствие той сутолоки, которой он неустанно предается ради излюбленного «знамени»; но, предвидя тот же стереотипный ответ, который и прежде слыхал от него, воздержался.

Впрочем, и за границей всегда так случалось, что постепенно наезжали на воды люди, связанные с Крутицыным более интимным образом, нежели я, и тогда он незаметно исчезал для меня в толпе «своих».

Гораздо позднее я узнал, что счастье его усугубилось: он познал свет истины. Молодость уже миновала (Крутицыну было под шестьдесят), да кстати подрос и сын,— у него их было двое, но младший не особенно радовал,— которому он и передал из рук в руки дорогое знамя, в твердой уверенности, что молодой человек будет держать его так же высоко и крепко, как держали отец и дед. Сам же Валерьян Сергеич бесповоротно заключился в своем château[2] и исключительно предался осенившему его душевному обновлению. Сначала он отдался спиритизму, потом сделался ревностным редстокистом, а наконец и сам начал кой-что придумывать. Сложится у него в голове какой-нибудь произвольный афоризм — он и исповедует его, не останавли-

---

[1] Но ведь ты требуешь отрубить сто тысяч голов! *(фр.)*
[2] замке *(фр.)*.

ваясь перед самыми крайними выводами. Рассказывали, что по вечерам в обширном зале его château собирались домочадцы, начиная от жены, детей, гувернанток и бонн и кончая низшей прислугой. Ставился аналой; Крутицын надевал черную ряску, выбирал главу из Евангелия и толковал ее, разумеется, в смысле излюбленного афоризма. Толкования эти продолжались час и два; слушатели, конечно, не прекословили, а только вздыхали. И он был счастлив безмерно.

В эпохи нравственного и умственного умаления, когда реальное дело выпадает из рук, подобные фантасмагории совершаются нередко. Не находя удовлетворений в действительной жизни, общество мечется наудачу и в изобилии выделяет из себя людей, которые с жадностью бросаются на призрачные выдумки и в них обретают душевный мир. Ни споры, ни возражения тут не помогают, потому что, повторяю, в самой основе новоявленных вероучений лежит не сознательность, а призрачность. Нужен душевный мир — и только.

Нельзя даже с уверенностью сказать, как относятся сами выдумщики афоризмов к своим выдумкам: сознают ли они себя способными поддержать их, или последние приходят к ним случайно и принимаются исключительно на веру. Скорее всего, в этих случаях наиболее решительным образом влияет бесприютность жизни, умственная расшатанность и полное отсутствие реальных интересов. Нельзя же, в самом деле, бессрочно удовлетворяться культом какого-то «знамени», которое и само по себе есть не что иное, как призрак, и продолжительное обращение с которым может служить только в смысле подготовки к другим призракам. Поэтому переход от «знамени» к спиритизму, редстокизму и к исповеданию таких истин, как «уши выше лба не растут» или «терпение все преодолевает», вовсе не так неестественно как это кажется с первого взгляда...

В последний раз я виделся с Крутицыным недавно. Я был уже во власти неизлечимого и тяжкого недуга, как он совершенно неожиданно навестил меня.

Приехал он в Петербург по крайнему случаю. В первый раз в жизни он испытал страшное горе: у него застрелился младший сын, прекрасный и многообещавший юноша, которому едва минуло осьмнадцать лет.

Молодой человек не успел еще сойти со школьной скамьи, а в существование его уже закралась двойственность. По-видимому, он не так легко, как отец и старший брат, принимал на веру россказни о свойствах «знамени», и та обязательность, с которою последние принимались в родной семье, сильно смущала его. Сам ли он дошел до каких-то неясных сомнений, или был наведен на них посторонним влиянием,— во всяком случае, в нем совершился внезапный и резкий перелом. Он рано начал анализировать свою жизнь, рано стал вглядываться в ожидавшее его будущее, так что в ту цветущую пору, когда испытываются одни радования жизни, он был уже угрюм и нелюдим. За несколько дней до катастрофы он окончательно задумался и затосковал. Приходя по праздникам к сестре, он невпопад отвечал на делаемые ему вопросы, забивался в угол и молчал. Страшно подумать, что в осьмнадцать лет жизнь может опостылеть и привести юношу исключительно к тому, что он думает только о том, как бы поскорее покончить расчеты с нею. Но в наше время господства призраков и этот беспощадный призрак перестает казаться противоестественным. Скука и душевное утомление так велики, что даже возможность иных, более радужных перспектив в будущем искушает очень слабо. Левушка Крутицын был мальчик нервный и впечатлительный; он не выдержал перед мыслью о предстоящей семейной разноголосице и поспешил произнести суд над укоренившимися в семье преданиями, послав себе вольную смерть.

Старик Крутицын глубоко изменился, и я полагаю, что перемена эта произошла в нем именно вследствие постигшего его горя. Он погнулся, волочил ногами и часто вздрагивал; лицо осунулось, глаза впали и были мутны; волосы в беспорядке торчали во все стороны; нижняя губа слегка обвисла и дрожала.

— Здоровья тебе принес! — сказал он мне, стараясь приободриться,— еще не все для тебя кончено.

Он сел против меня, взял мои руки и, не выпуская их, долго и пристально смотрел мне в глаза. И я уверен, что в эти минуты прошлое всецело пронеслось перед ним, и он любил меня искренно, горячо.

Мы оба молчали. На этот раз, впрочем, молчание было содержательнее, нежели самый содержательный разговор.

Наконец, вдоволь насмотревшись, он встал и произнес:

— Ты, помнится, в былое время спрашивал меня о результатах, каких я достиг. Результаты — вот они! Дряхлая развалина и погибший сын!

С этими словами он безнадежно-тоскливо покачал головой и, пошатываясь, пошел из комнаты.

Больше мы не видались.

ПУТЕМ-ДОРОГОЮ

(Разговор)

Шли путем-дорогою два мужика: Иван Бодров да Федор Голубкин. Оба были односельчане и соседи по дворам, оба только что в весенний мясоед женились. С апреля месяца жили они в Москве в каменщиках и теперь выпросились у хозяина в побывку домой на сенокосное время. Предстояло пройти от железной дороги верст сорок в сторону, а этакую махину, пожалуй, и привычный мужик в одни сутки не оплетёт.

Шли они не то́ропко, не надрываясь. Вышли ранним утром, а теперь солнце уж высоко стояло. Они отошли всего верст пятнадцать, как ноги уж потребовали отдыха, тем больше, что день выдался знойный, душный. Но, высматривая по сторонам, не встретится ли стога сена, под которым можно было бы поесть и соснуть, они оживленно между собой разговаривали.

— Ты что́ домой, Иван, несешь? — спросил Федор.

— Да три пятишницы хозяин до расчета дал. Одну-то, признаться, в Москве еще на мелочи истратил, а две домой несу.

— И я тоже. Да только куда с двумя пятишницами повернешься?

— Тут и в пир, и в мир, а отец велел сказать, что какая-то старая недоимка нашлась, так понуждают. Пожалуй, и все туда уйдет.

— А у нас и хлеба-то до нового не хватит. Пришел сенокос, руки-то целый день намахаешь, так поневоле есть запросишь. Ничего-то у нас нет, ни хлеба, ни соли, а тоже людьми считаемся. Говорят: «вы каменщики, в Москве работаете, у вас должны деньги значиться...» А сколько их и по осени-то принесешь!

— Худо наше крестьянское житье! Нет хуже.

— Чего еще!

Путники вздохнули и несколько минут шли молча.

— Что-то теперь наши делают? — опять начал Федор.

— Что делают! Чай, навоз вывезли; пашут... и пашут, и боронят, и сеют; круглое лето около земли ходят, а все хлеба нет. Сряду три года то вымокнет, то сухмень высушит, то градом побьет... Как-то нынче господь совершит!

— А у меня, брат, и еще горе. К Дуньке волостной

старшина увязался; не дает бабе проходу, да и вся недолга. Свах с подарками засылает; одну батюшка вожжами поучил, так его же на три дня в холодную засадили.

— И ничего не поделаешь! Помнишь, как летось Прохорова Матренка задавилась? Тоже старшина... Терпела-терпела, да и в петлю...

— Нам худо, а бабам нашим еще того хуже. Мы, по крайности, в Москву сходим, на свет поглядим, а баба — куда она пойдет? Словно к тюрьме прикованная. Ноги и руки за лето иссекутся; лицо словно голенище черное сделается, и на человека-то не похоже. И всякий-то норовит ее обидеть да обозвать....

— Давай-ка, Федя, песню с горя споем!

Стали петь песню, но с горя и с устатку как-то не пелось.

— А что, Иван, я хотел тебя спросить: где Правда находится? — молвил Федор.

— И я тоже не однова спрашивал у людей: «Где, мол, Правда, где ее отыскать?» А мне один молодой барин в Москве сказал, будто она на дне колодца сидит спрятана.

— Ишь ведь! Кабы так, давно бы наши бабы ее оттоле бадьями вытащили,— пошутил Федор.

— Известно, посмеялся надо мной барчук. Им что! Они и без Правды проживут. А нам Неправда-то оскомину набила.

— Старики сказывают, что дедушко Еремей еще при старом барине все Правды искал; да Правда-то, вишь, изувечила его.

— Прежде многие Правду разыскивали; тяжельше, стало быть, жить было, да и сердце у стариков болело. Одна барщина сколько народу сгубила. В поле — смерть, дома — смерть, везде... Придет крестьянин о празднике в церковь, а там на всех стенах Правда написана, только со стены-то ее не снимешь.

— Это правда твоя, что не снимешь. Что́ крестьянин? Он и видит, да глаз неймет. Темные мы люди, бессчастные; вздохнешь да поплачешь: «Господи, помилуй!» — только и всего. И молиться-то мы не умеем.

— Прежде ходоки такие были, за мир стояли. Соберется, бывало, ходок, крадучись, в Петербург, а его оттоле по этапу...

— Все-таки прежде хоть насчет Правды лучше было. И старики детям наказывали: «Одолела нас Неправда, надо Правды искать». Батюшко сказывал: «Такое сердце у

дедушки Еремея было — так и рвется за мир постоять!» И теперь он на печи изувеченный лежит; в чем душа, а все о Правде твердит! Только нынче его уж не слушают.

— То-то, что легче, говорят, стало — оттого и Еремея не слушают. Кому нынче Правда нужна? И на сходке, и в кабаке — везде нонче легость...

— Прежде господа рвали душу, теперь — мироеды да кабатчики. Во всякой деревне мироед завелся: рвет христианские души, да и шабаш.

— Возьмем хоть бы Василия Игнатьева — какие он себе хоромы на христианскую кровь взбодрил. Крышу-то красную за версту видно; о́бок лавка, а он стоит в дверях да брюхо об косяк чешет.

— И все к нему с почтением. Старшина приедет — с ним вместе бражничает, долги его прежде казенных податей собирает; становой приедет — тоже у него становится. У него и щи с убоиной, и водка. Летось молодой барин из Питера приезжал — сейчас: «Попросите ко мне Василия Игнатьича!..» — «Ну что, Василий Игнатьич, все ли подобру-поздорову? хорошо ли торгуете?»

— Чайку вместе попьемте... вы, дескать, настоящий добрый русский крестьянин! печетесь о себе, другим пример показываете... И ежели, мол, вам что нужно, так пишите ко мне в Петербург.

— Одворицу выкупил, да надел на семь душ! Совсем из мира увольнился, сам барин.

— А теперь мир ему в ноги кланяется, как придет время подати вносить. Миром ему и сенокос убирают, и хлеб жнут...

— Вот так легость! Нет, ты скажи, где же Правду искать?

— У бога она, должно быть. Бог ее на небо взял и не пущает.

Опять смолкли спутники, опять завздыхали. Но Федор верил, что не может этого статься, чтобы Правды не было на свете, и ему не по нраву было, что товарищ его относится к этой вере так легко.

— Нет, я попробую,— сказал он.— Я как приду, так сейчас же к дедушке Еремею схожу. Все у него выспрошу, как он Правду разыскивал.

— А он тебе расскажет, как его в части секли, как по этапу гнали, да в Сибирь совсем было собрали, только барин вдруг спохватился: «Определить Еремея лесным сторожем!» И сторожил он барские леса до самой воли, жил

в трущобе, и никого не велено было пускать к нему. Нет уж, лучше ты этого дела не замай!

— Никак этого сделать нельзя. Возьми хоть Дуньку: как я приду, сейчас она мне все расскажет... Что ж я столбом, что ли, перед ней стоять буду? Нет, тут и до смертного случая недалеко. Я ему кишки, псу несытому, выпущу!

— Ишь ведь! Все говорил об Правде, а теперь на кишки своротил. Разве это Правда? знаешь ли ты, что́ за такую Правду с тобой сделают?

— И пущай делают. По-твоему, значит, так и оставить. «Приходите, мол, Егор Петрович: моя Дунька завсегда...» Нет, это надо оставить! Сыщу я Правду, сыщу!

— Ах ты, жарынь какая! — молвил Иван, чтобы переменить разговор.— Скоро, поди, столб будет, а там деревнюшка. Туда, что ли, полдничать пойдем, или в поле отдохнем?

Но Федор не мог уж угомониться и все бормотал: «Сыщу я Правду, сыщу!»

— А я так думаю, что ничего ты не сыщешь, потому что нет Правды для нас: время, вишь, не наступило! — сказал Иван.— Ты лучше подумай, на какие деньги хлеба искупить, чтобы до нового есть было что́.

— К тому же Василию Игнатьеву пойдем, в ноги поклонимся! — угрюмо ответил Федор.

— И то придется; да десятину сенокоса ему за подожданье уберем! Батюшко, пожалуй, скажет: «Чем на платки жене да на кушаки третью пятишницу тратить, лучше бы на хлеб ее сберег».

— Терпим и холод, и голод, каждый год все ждем: авось будет лучше... доколе же? Ин и в самом деле Правды на свете нет! так только, попусту, люди болтают: «Правда, Правда...» — а где она?!

— Намеднись начетчик один в Москве говорил мне: «Правда — у нас в сердцах. Живите по правде — и вам, и всем хорошо будет».

— Сыт, должно быть, этот начетчик, оттого и мелет.

— А может, и господа набаловали. Простой, дескать, мужик, а какие речи говорит! Ему-то хорошо, так он и забыл, что другим больно.

В это время навстречу путникам мелькнул полусгнивший верстовой столб, на котором едва можно было прочитать: «От Москвы 18, от станции Рудаки 3 версты».

— Что ж, в поле отдохнем? — спросил Иван.— Вон и стожок близко.

— Известно, в поле, а то где ж? в деревне, что ли, харчиться?

Товарищи свернули с дороги и сели под тенью старого накренившегося стога.

— Есть же люди,— заметил Иван, снимая лапти,— у которых еще старое сено осталось. У нас и солому-то с крыш по весне коровы приели.

Начали полдничать: добыли воды да хлеб из мешков вынули — вот и еда готова. Потом вытащили из стога по охапке сена и улеглись.

— Смотри, Федя,— молвил Иван, укладываясь и позевывая,— во все стороны сколько простору! Всем место есть, а нам...

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С КРАМОЛЬНИКОВЫМ

(Сказка-элегия)

Однажды утром, проснувшись, Крамольников совершенно явственно ощутил, что его нет. Еще вчера он сознавал себя сущим; сегодня вчерашнее *бытие* каким-то волшебством превратилось в *небытие*. Но это небытие было совершенно особого рода. Крамольников торопливо ощупал себя, потом произнес вслух несколько слов, наконец посмотрелся в зеркало; оказалось, что он — тут, налицо, и что, в качестве ревизской души, он существует в том же самом виде, как и вчера. Мало того: он попробовал мыслить — оказалось, что и мыслить он может... И за всем тем для него не подлежало сомнению, что его нет. Нет того *не-ревизского* Крамольникова, каким он сознавал себя накануне. Как будто бы перед ним захлопнулась какая-то дверь или завалило впереди дорогу, и ему некуда и незачем идти.

Переходя от одного предположения к другому и в то же время с любопытством всматриваясь в окружающую обстановку, он взглянул мимоходом на лежавшую на письменном столе начатую литературную работу, и вдруг все его существо словно электрическая струя пронизала...

Не нужно! не нужно! не нужно!

. . . .

Сначала он подумал: «Какой вздор!»— и взялся за перо. Но когда он хотел продолжать начатую работу, то сразу убедился, что, действительно, ему предстоит провести черту и под нею написать: *Не нужно!!*

Он понял, что все оставалось по-прежнему,— только душа у него запечатана. Отныне он волен производить свойственные ревизской душе отправления; волен, пожалуй, мыслить; но все это ни к чему. У него отнято главное, что составляло основу и сущность его жизни: отнята та лучистая сила, которая давала ему возможность огнем своего сердца зажигать сердца других.

Он стоял изумленный; смотрел и не видел; искал и не находил. Что-то бесконечно мучительное жгло его внутрен-

ности... А в воздухе между тем носился нелепо-озорной шепот: «Поймали, расчухали, уличили!»

— Что́ такое? что́ такое случилось?

Положительно, душа его была запечатана. Как у всякого убежденного и верящего человека, у Крамольникова был внутренний храм, в котором хранилось сокровище его души. Он не прятал этого сокровища, не считал его своею исключительною собственностью, но расточал его. В этом, по его мнению, замыкался весь смысл человеческой жизни. Без этой деятельной силы, которая, наделяя человека потребностью источать из себя свет и добро, в то же время делает его способным воспринимать свет и добро от других,— человеческое общество уподобилось бы кладбищу. Это было бы не общество, а склад трупов...И вот теперь трупный период для него наступил. Обмену света и добра пришел конец. И сам он, Крамольников,— труп, и те, к которым он так недавно обращался, как к источнику живой воды для своей деятельности,— тоже трупы... Никогда, даже в воображении, не представлял он себе несчастия столь глубокого.

Крамольников был коренной пошехонский литератор, у которого не было никакой иной привязанности, кроме читателя, никакой иной радости, кроме общения с читателем. Читатель не олицетворялся для него в какой-нибудь материальной форме и тем не менее всегда предстоял перед ним. В этой привязанности к отвлеченной личности было что-то исключительное, до болезненности страстное. Целые десятки лет она одна питала его и с каждым годом делалась все больше и больше настоятельною. Наконец пришла старость, и все блага жизни, кроме одного, высшего и существеннейшего, окончательно сделались для него безразличными, ненужными...

И вдруг, в эту минуту,— рухнуло и последнее благо. Разверзлась темная пропасть и поглотила то «единственное», которое давало жизни смысл...

В литературном цехе такие, направленные исключительно в одну сторону, личности по временам встречаются. Смолоду так односторонне слагается их жизнь, что какие бы случайности ни сталкивали их с фаталистически обозначенной колеи, уклонение никогда не бывает ни серьезно, ни продолжительно. Под грудами наносного хлама продолжает течь настоящая жильная струя. Все разнообразие жизни представляется фиктивным; весь интерес ее сосредоточивается в одной светящей точке. Никогда они не дают себе отчета

в том, какого рода случайности ждут на пути, никогда не предусматривают, не стараются обеспечить тыл, не предпринимают разведок, не справляются с бывшими примерами. Не потому, чтобы проходящие перед ними явления и зависимость их от этих явлений были для них неясны, а потому, что никакие предвидения, никакие справки — ни на йоту не могут видоизменить те функции, прекращение которых было бы равносильно прекращению бытия. Нужно убить человека, чтобы эти функции прекратились.

Неужели именно это убийство и совершилось теперь, в эту загадочную минуту? Что́ такое случилось?— Тщетно искал он ответа на этот вопрос. Он понимал только одно, что его со всех сторон обступает зияющая пустота.

Крамольников горячо и страстно был предан своей стране и отлично знал как прошедшее, так и настоящее ее. Но это знание повлияло на него совершенно особенным образом: оно было живым источником болей, которые, непрерывно возобновляясь, сделались наконец главным содержанием его жизни, дали направление и окраску всей его деятельности. И он не только не старался утишить эти боли, а, напротив, работал над ними и оживлял их в своем сердце. Живость боли и непрерывное ее ощущение служили источником живых образов, при посредстве которых боль передавалась в сознание других.

Знал он, что пошехонская страна исстари славилась непостоянством и неустойчивостью, что самая природа ее какая-то не заслуживающая доверия. Реки расползлись вширь, и что ни год, то меняют русло, пестрея песчаными перекатами. Атмосферические явления поражают внезапностью, похожею на волшебство: сегодня — жара́, хоть рубашку выжми, завтра — та же рубашка коло́м стоит на обывательской спине. Лето короткое, растительность бедная, болота неоглядные... Словом сказать — самая неспособная, предательская природа, такая, что никаких дел загадывать вперед не приходится.

Но еще более непостоянные в Пошехонье судьбы человеческие. Смерд говорит: «От сумы да от тюрьмы не открестишься»; посадский человек говорит: «Барыши наши на воде вилами писаны»; боярин говорит: «У меня вчера уши выше лба росли, а сегодня я их вовсе сыскать не могу». Нет связи между вчерашним и завтрашним днем! Бродит человек словно по Чуровой долине: пронесет бог — пан, не пронесет — пропал.

Какая может быть речь о совести, когда все кругом изменяет, предательствует? На что́ обопрется совесть? на чем она воспитается?

Знал все это Крамольников, но, повторяю, это знание оживляло боли его сердца и служило отправным пунктом его деятельности. Повторяю: он глубоко любил свою страну, любил ее бедноту, наготу, ее злосчастие. Быть может, он усматривал впереди чудо, которое уймет снедавшую его скорбь.

Он верил в чудеса и ждал их. Воспитанный на лоне волшебств, он незаметно для самого себя подчинился действию волшебства и признал его решающим фактором пошехонской жизни. В какую сторону направит волшебство свое действие? — в этом весь вопрос... К тому же и в прошлом не все была тьма. По временам мрак редел, и в течение коротких просветов пошехонцы несомненно чувствовали себя бодрее. Это свойство расцветать и ободряться под лучами солнца, как бы ни были они слабы, доказывает, что для всех вообще людей свет представляет нечто желанное. Надо поддерживать в них эту инстинктивную жажду света, надо напоминать, что жизнь есть радование, а не бессрочное страдание, от которого может спасти лишь смерть. Не смерть должна разрешить узы, а восстановленный человеческий образ, просветленный и очищенный от тех посрамлений, которые наслоили на нем века подъяремной неволи. Истина эта так естественно вытекает из всех определений человеческого существа, что нельзя допустить даже минутного сомнения относительно ее грядущего торжества. Крамольников верил в это торжество и всего себя отдал напоминаниям о нем.

Все силы своего ума и сердца он посвятил на то, чтобы восстановлять в душах своих присных представление о свете и правде и поддерживать в их сердцах веру, что свет придет и мрак его не обнимет. В этом, собственно, заключалась задача всей его деятельности.

Действительно, волшебство не замедлило вступить в свои права. Но не то благотворное волшебство, о котором он мечтал, а заурядное, жестокое пошехонское волшебство.

Не нужно! не нужно! не нужно!

К чести Крамольникова должно сказать, что он ни разу не задался вопросом: за что? Он понимал, что, при полном отсутствии винословности, подобного рода вопрос не только неуместен, но прямо свидетельствует о слабодушии вопрошающего. Он даже не отрицал нормальности настигшего его

факта,— он только находил, что нормальность в настоящем случае заявила себя чересчур уже жестоко и резко. Не раз приходилось ему, в течение долгого литературного пути, играть роль anima vilis[1] перед лицом волшебства, но, до сих пор, последнее хоть душу его оставляло нетронутою. Теперь оно эту душу отняло, скомкало и запечатало, и как ни привычны были Крамольникову капризы волшебства, но на этот раз он почувствовал себя изумленным. Весь он был словно расшиблен, везде, во всем существе, ощущал жгучую и совсем новую боль.

И вдруг он вспомнил о «читателе». До сих пор он отдавал читателю все силы вполне беззаветно; теперь в его сердце впервые шевельнулось смутное чаянье отклика, сочувствия, помощи...

И его инстинктивно потянуло на улицу, как будто там его ожидало какое-то разъяснение.

Улица имела обыкновенный пошехонский вид. Крамольникову показалось, что перед глазами его расстилается немое, слепое и глухое пространство. Только камни вопияли. Люди сновали взад и вперед осторожно и озираясь, точно шли воровать. Только эта струна и была живая. Все прочее было проникнуто изумлением, почти остолбенением. Однако ж Крамольникову сгоряча показалось, что даже эта немая улица нечто *знает*. Ему этого так страстно хотелось, что он вопль камней принял за вопль людей. Тем не менее отчасти он не ошибался. Действительно, там и сям раздавалось развязное гуденье. То было гуденье либералов, недавних друзей его. Одних он обгонял, другие шли навстречу. Но увы! никакого оттенка участия не виделось на их лицах. Напротив, на них уже успела лечь тень отступничества.

— Однако! похоронили-таки вас, голубчик! живо! — сказал один,— строгонько, сударь, строгонько! Ну, да ведь тоже и вы... нельзя этого, мой друг, я вам давно говорил, что нельзя! Терпели вас, терпели,— ну, наконец...

— Но что́ же такое «наконец»?

— Да просто «наконец»— и все тут! скучно стало. Нынче не разговаривать нужно, а взирать и, буде можно,— усматривать. Вам, су́дарь, следовало самому заранее догадаться; а ежели вам претило присоединиться от полноты

---

[1] подопытного существа *(фр.)*.

души,— ну, так хоть слегка бы: «Разбирайте, мол, каков я там... внутри!» А то все сплеча! все сплеча! Ну, и надоело.— Я и сам — разве, вы думаете, мне сладко? Не со вчерашнего дня, чай, меня знаете! Однако и я поразмыслил да посоветовался с добрыми людьми... Господи, благослови... Бух!

Другой сказал:

— Да, любезный друг, жаль вас, очень жаль! приятно было почитать. Улыбнешься, вздохнешь, а иногда и дельное что-нибудь отыщешь... Даже приятелям, бывало, спешишь сообщить. В канцеляриях цитировали. У меня был знакомый, который наизусть многое знал. Но, с другой стороны, есть всему и предел. Настали времена, когда понадобилось другое; вы должны были понять это, а не дожидаться, пока вас прихлопнут. Что́ такое это «другое»— выяснится потом, но не теперь... Вот я, вслед за другими, смотрел-смотрел, да и говорю жене: «Надо же!» Ну, и она говорит: «Надо!» Я и решился.

— На что же вы решились?

— Да просто — идти общим торным путем. Не заглядываясь по сторонам, не паря ввысь, не думая о широких задачах... Помаленьку да полегоньку. Оно скучненько и серенько, положим, но ведь, с одной стороны, блистать-то нам не по плечу, а с другой стороны — семейство. Жена принарядиться любит, повеселиться... Сам тоже: имеешь положение в свете, связи, знакомства; видишь, как другие вперед да вперед идут,— неужто же все потерять? Вы думаете, я так-таки навсегда... нет я тоже с оговорочкой. Придут когда-нибудь и лучшие времена... Вот, например, ежели Николай Семеныч... Кормило-то, батюшка, нынче... Сегодня Иван Михайлыч, а завтра Николай Семеныч... Ну, тогда и опять...

— Да ведь Николай-то Семеныч — вор!

— Вор! Ах, как вы жестоко выражаетесь!

Наконец третий просто напрямки крикнул на него:

— И за дело! Будет с вас! Вы, сударь, не только себя, но и других компрометируете — вот что! Я из-за вас вчера объяснение имел, а нынче и не знаю, есмь я или не есмь! А какое вы имеете право, позвольте вас спросить? «В приятельских отношениях с господином Крамольниковым, говорит, а посему...» Я — туда-сюда. «Какие же, говорю, это приятельские отношения, вашество? так, буффон — отчего же после трудов и не посмеяться!» Ну, дали покамест

двадцать четыре часа на размышление, а там что будет. А у меня между тем семья, жена, дети... Да и сам я в поле не обсевок... Можно ли было этого ожидать! Повторяю: какое вы имеете право? ах-ах-ах!

Крамольников не счел нужным продолжать беседу и пошел дальше. Но так как на пути его стоял дом, в котором жил давний его однокашник, то он и зашел к нему, думая хоть тут отвести душу.

Лакей принял его радушно; по-видимому, он ничего еще не знал. Он сказал, что Дмитрия Николаича нет дома, а Аглая Алексеевна в гостиной. Крамольников отворил дверь, но едва переступил порог гостиной, как сидевшая в ней дама взвизгнула и убежала. Крамольников отретировался.

Наконец он вспомнил, что на Песках живет старый его сослуживец (Крамольников лет пятнадцать назад тоже служил в департаменте Грешных Помышлений), Яков Ильич Воробушкин. Человек этот был большой почитатель Крамольникова и служил неудачно. С лишком десять лет тянул он лямку столоначальника, не имея в перспективе никакого повышения и при каждой перемене веяния дрожа за свое столоначальничество. Робкий и неискательный от природы, он и на частной службе приютиться не мог. Как-то с самого начала он устроил себя так, что ему самому казалось странным чего-нибудь искать, подавать записки об уничтожении и устранении, слоняться по передним и лестницам и т. д. Раз только он подал записку о необходимости ободрить нищих духом; но директор, прочитав ее, только погрозил ему пальцем, и с тех пор Воробушкин замолчал. В последнее время, однако ж, он начал смутно надеяться, стал ходить в ту самую церковь, куда ходил его начальник, так что последний однажды подарил ему половину заздравной просфоры (донышко) и сказал: «Очень рад!» Таким образом, дело его было уже на мази, как вдруг...

Крамольникову отворила дверь старая нянька, сзади которой, из внутренних дверей, выглядывали испуганные лица детей. Нянька была сердита, потому что нежданный посетитель помешал ей ловить блох. Она напрямки отрезала Крамольникову:

— Нет Якова Ильича дома; его из-за вас к начальнику позвали, и жив он теперь или нет — неизвестно; а барыня в церкву молиться ушли.

Крамольников стал спускаться по лестнице, но едва

сделал несколько шагов, как встретил самого Воробушкина.

— Крамольников! простите меня, но я не могу поддерживать наши старые отношения!— сказал Воробушкин взволнованным голосом.— На этот раз, впрочем, я, кажется, оправдался, но и то наверное поручиться не могу. Директор так и сказал: «На вас неизгладимое пятно!» А у меня жена, дети! Оставьте меня, Крамольников! Простите, что я такой малодушный, но я не могу...

. . . .

Крамольников воротился домой удрученный, почти испуганный.

Что отныне он был осужден на одиночество — это он сознавал. Не потому он был одинок, что у него не было читателя, который ценил, а быть может, и любил его, а потому, что он утратил всякое общение с *своим* читателем. Этот читатель был далеко и разорвать связывающие его узы не мог. Напротив, был другой читатель, ближний, который во всякое время имел возможность зажалить Крамольникова до смерти. Этот остался налицо и нагло выражал, что самая немота Крамольникова ему ненавистна.

Смутно проносилось в его уме, что во всех отступничествах, которых он был свидетелем, кроется не одно личное предательство, а целый подавляющий порядок вещей. Что все эти вчерашние свободные мыслители, которые еще недавно так дружелюбно жали ему руки, а сегодня чураются его, как чумы, делают это не только страха ради иудейска, но потому, что их придавило.

Их придавила жажда жизни; а так как жажда эта вполне законна и естественна, то Крамольникову становилось страшно при этой мысли. «Неужто,— спрашивал он себя,— для того, чтобы удержать за собой право на существование, нужно пройти сквозь позорное и жестокое иго? Неужто в этом загадочном мире только то естественно, что идет вразрез с самыми заветными и дорогими стремлениями души?»

Или опять: почти всякий из недавних его собеседников ссылался на семью, один говорил: «Жена принарядиться любит»; другой: «Жена»— и больше ничего... Но особенно тяжко выходило это у Воробушкина. Семья ему душу рвала. Вероятно, он лишал себя всего, плохо ел, плохо

спал, добывал на стороне работишку — все ради семьи. И, за всем тем, добывал так мало, что только самоотверженность Лукерьи Васильевны (жены Воробушкина) помогала переносить эту нужду. И вот, ради этого малого, ради нищенской подачки...

Что́ же это такое? Что́ такое семья? Как устроиться с семейным началом? Как сделать, чтобы оно не было для человека египетской язвой, не тянуло его во все стороны, не мешало быть гражданином?

Крамольников думал-думал, и вдруг словно кольнуло его.

«Отчего же,— говорил ему внутренний голос,— эти жгучие вопросы не представлялись тебе так назойливо *прежде*, как представляются *теперь*? Не оттого ли, что ты был прежде раб, сознававший за собой какую-то мнимую силу, а теперь ты раб бессильный, придавленный? Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался? Отчего ты подчинял себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно?

Из-под пера твоего лился протест, но ты облекал его в такую форму, которая делала его мертворожденным. Все, против чего ты протестовал,— все это и поныне стоит в том же виде, как и до твоего протеста.

Твой труд был бесплоден. Это был труд адвоката, у которого язык измотался среди опутывающих его лжей. Ты протестовал, но не указал ни того, что́ нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие. Но это было пленное раздражение мысли,— раздражение, положим, доброе, но все-таки только раздражение. Ты даже тех людей, которые сегодня так нагло отвернулись от тебя,— ты и их не сумел понять. Ты думал, что *вчера* они были иными, нежели сегодня.

Правда, ты не способен идти следом за этими людьми; ты не способен изменить тем добрым раздражениям, которые с молодых ногтей вошли тебе в плоть и кровь. Это, конечно, зачтется тебе... где и когда? Но теперь, когда тебя со всех сторон обступила старость, с ее недугами, рассуди сам, что́ тебе предстоит?..»

Post scriptum от автора. Само собой разумеется, что все написанное выше — не больше как сказка. Никакого Крамольникова нет и не было; отступники же и переметные сумы водились во всякое время, а не только в данную минуту. А так как и во всем остальном все обстоит благополучно, то не для чего было и огород городить, в чем автор и кается чистосердечно перед читателями.

ПРИМЕЧАНИЯ

МИША И ВАНЯ

Из цикла «Невинные рассказы» (1863). Впервые — в журнале «Современник», 1863, № 2.

Сюжет основан на подлинном событии, происшедшем в одном из рязанских поместий в бытность Щедрина вице-губернатором этого края. Помещики — муж и жена были отданы Щедриным под суд, но после отъезда его из Рязани — оправданы.

Упоминание о «царе-освободителе» вызвано исключительно цензурными соображениями. Все произведения Щедрина рисуют антинародный характер крестьянской реформы 1861 г.

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

Из цикла «Невинные рассказы». Впервые — в журнале «Атеней», ч. 1, 1858, № 5.

Материалом, как и в некоторых других «Невинных рассказах», послужили факты из народной жизни, увиденные во время пребывания Щедрина в Вятке.

С. 32. *Сувои* — сугробы.

С. 33. *Пониток* — рабочая верхняя мужская одежда из крестьянского домотканого полусукна.

С. 35. *Сибирка* — русская верхняя одежда из сукна в виде короткого кафтана в талию со сборками, нередко с меховой опушкой и с невысоким стоячим воротником.

С. 41. *...в том далеком-далеком городе* — в Петербурге.

С. 48. *...с Петра и Павла...* — с 29 июня ст. стиля.

РАЗВЕСЕЛОЕ ЖИТЬЕ

Из цикла «Невинные рассказы». Впервые — в журнале «Современник», 1859, № 2.

Рассказ подвергался запрещению и серьезной цензурной правке. Позднее включался в нелегальные издания революционного народничества в России и за границей. Цензор писал о том, что рассказ отмечен характером «ненависти к русской жизни и ее безотрадному положению».

С. 53. *Бывают и кавалеры: эти больше от «зеленых лугов» в лесу спасаются.*— То есть беглые солдаты, скрывающиеся от палочных наказаний.

Смоленская — икона Смоленской божией матери.

С. 55. *...однако мамоне спраздновал.*— Мамон (мамона)— божество богатства у некоторых древних народов. Здесь в знач.: утроба, брюхо (как символ стяжательства, алчности, обжорства).

С. 62. *...около введеньева дня...*— 21 ноября ст. стиля.

С. 64. *Сивир* — северный холодный ветер.

С. 71. *...около благовещения...*— 25 марта ст. стиля.

С. 74. *Бекет* — пикет, дозор.

С. 78. *...на самый егорьев день.*— 16 мая ст. стиля.

ГОСПОЖА ПАДЕЙКОВА

Из сборника «Сатиры в прозе» (1863). Впервые — в журнале «Русская беседа», 1859, кн. 16, под заглавием «Из «Книги об умирающих».

С. 82. *Тандрессы* — нежности (от *фр.* tendresses).

С. 87. *...Сим-Хам-Иафет были-с...*— По библейскому сказанию, старшие сыновья праотца Ноя Сим и Иафет получили благословение за почтение к отцу, младший сын Хам за непочтительное отношение был предан проклятию (из кн. «Бытие»).

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Из цикла «Сборник» (1883). Впервые — в журнале «Отечественные записки», 1857, № 8.

Написан в период пребывания Щедрина на лечении в Баден-Бадене. Посылая рассказ соредактору журнала Н. А. Некрасову 25 июля 1857 г., Щедрин писал: «Меня заинтересовала собственно идея. Пользуясь господствующей ныне манией праздновать всякие юбилеи, я хотел сопо-

ставить обыкновенному юбилею — юбилей русского мужика. Разумеется во сне».

В письме к П. В. Анненкову от 12 сентября 1875 г. Щедрин пишет: «Тургенев до крови обидел меня, сказавши, что это рассказ забавный... 〈...〉 Право, у меня не было намерения ни забавным быть, ни юбилеи изобличать. А если мои вещи иногда страдают раздвоенностью, то причина этого очень ясная: я Езоп и воспитанник цензурного ведомства».

Департамент «Всеобщих Умопомрачений» — сатирическое наименование Министерства народного просвещения.

Департамент «Препон» — сатирическое обозначение полиции, III отделения и пр.

С. 98. *Экзекутор* — чиновник, ведающий хозяйственной частью учреждения.

Действительный статский советник — гражданский чин, соответствующий чину генерала.

С. 99. *...воспринимали его от купели.* — То есть крестили в церкви.

С. 107. *...не слыхав ни стихов Майкова, ни прозы Погодина...* — Майков А. Н. (1821 — 1897) — поэт, представитель «чистого искусства», в своей поэзии часто становился на охранительные позиции, то есть восхвалял монархию. Погодин М. П. (1800 — 1875) — известный историк и публицист монархического направления. Эти особенности их идеологии и подчеркивает Щедрин.

С. 108. *Шлоссы* — за́мки (от *нем.* Schloß).

Рабочее тягло — при крепостно́м праве тяглом называли обложение барщиной (отработкой) или оброком.

С. 115. *Крапивное семя* — так народ окрестил чиновников.

С. 117. *Табельные дни* — праздники.

С. 119. *...помочью вчера жали.* — Работали всем миром, за угощение.

С. 126. *Приказные* — чиновники приказов, центральных учреждений. В этот период — мелкие чиновники канцелярий.

С. 129. *Мясоед* — промежуток времени между постами, когда разрешается употребление мясной пищи.

С. 130. *...ни при первом крике петела, ни при третьем.* — По евангельскому преданию, апостол Петр отрекся от своего учителя Христа при третьем крике петуха. Здесь подчеркивается душевная стойкость и верность крестьянской женщины.

ДЕТИ МОСКВЫ

Из цикла «Сборник». Впервые — в журнале «Отечественные записки», 1877, № 1.

Сюжет рассказа определен нашумевшим процессом над бандой уголовников —«червонных валетов», большинство членов которой были дворяне. В дальнейшем в произведениях Щедрина («Современной идиллии» и других) возникают «червонные валеты». Их появление в жизни сатирик объясняет паразитическим строем и особенно эксплуататорской психологией дворянства. Первая публикация была изуродована цензурой, а в следующем номере продолжение рассказа было вырезано. После этого Щедрин отказался от задуманного цикла.

С. 135. *В каком ты блеске ныне зрима...*— отрывок из стихотворения поэта, баснописца И. И. Дмитриева (1760 — 1837) «Освобождение Москвы» (1795).

Востоков А. Х. (1781 — 1864)— поэт, академик. Основоположник славянской филологии как науки. Автор широко известной книги «Сокращенная русская грамматика» и других.

Карамзин Н. М. (1768 — 1828)— известный историк и писатель. Автор двенадцатитомной «Истории государства Российского».

Коллежский регистратор, отставной корнет — низшие чины: гражданский и военный.

С. 136. *Иоанн Цимисхий* — византийский император, в 971 г. разбил войско русского князя Святослава Игоревича.

Москва! как много в этом слове// Для сердца русского слилось!— неточная цитата из седьмой главы «Евгения Онегина».

С. 137. *...порфироносной вдовы...*— так называет Москву Пушкин в поэме «Медный всадник».

С. 138. *...когда под стенами Севастополя совершилась искупительная жертва...*— имеется в виду поражение русских войск и заключение невыгодного для России мира в Крымской войне 1853 — 1856 гг.

...витязей, которые... побывали в Париже...— имеется в виду русское войско, разбившее армию Наполеона и в 1814 г. взявшее Париж.

...«разумейте языцы»...— из манифеста Николая I, осуждающего революции в Западной Европе в 1848 г.

...поэту Ершову.— Ершов П. П. (1815 — 1869), автор известной сказки «Конек-Горбунок».

С. 140. *...кабатчика Антошки Стрелова с лабазником Осипом Ивановым Деруновым.*— Герои щедринской сатирической хроники «Благонамеренные речи».

Выкупные свидетельства — процентные бумаги, которыми помещики рассчитывались за землю, отходящую к крестьянам в период реформы 1861 г.

С. 141. *Бубновый туз* — нашивка в виде ромба на арестантском халате.

Эмансипационные рюмки — рюмки, выпитые в честь эмансипации — крестьянской реформы.

Ни взятие Хотина, ни сражение под Синопом...— Турецкая крепость Хотин была взята русскими войсками в 1769 г. Под г. Синопом во время Крымской кампании в 1853 г. адмиралы Нахимов и Корнилов сожгли турецкий флот.

Чающие движения воды — ожидающие исцеления, перемен к лучшему. Сатирическое название либералов-болтунов.

С. 143. *...вор есть член особенной касты, имеющей резиденцией: в Петербурге — в доме Вяземского, в Москве — в доме Шипова...* — В указанных домах были ночлежки, где ютились нищие и жулики.

С. 144. *Жуир* — кутила.

С. 146. *Иомуды* — туркестанское скотоводческое племя.

С. 153. *...медузина голова...*— голова медузы горгоны (*греч. миф.*)— женщины-чудовища со змеями вместо волос; ее взгляд, по преданию, обращал человека в камень.

Синодальные лавки — принадлежащие священному Синоду. Торговали церковными принадлежностями.

С. 154. *«Буфф»* — опереточный театр в Москве.

С. 155. *Тарасовка* — долговая тюрьма в Петербурге.

С. 156. *Кокодес* — шалопай, хлыщ.

С. 159. *Куртажные* — комиссионный процент биржевому маклеру (от *фр.* courtage).

Постоялое и полежалое — плата за постой и плата за хранение товаров.

С. 163. *Чижовки* — тюрьмы при полицейских отделениях.

С. 164. *Онёры* — почести.

С. 167. *Бритнев, Юханцев* — кассиры Петербургского общества взаимного кредита, арестованные за крупные растраты в 1876 г.

ПОХОРОНЫ

Из цикла «Сборник». Впервые — в журнале «Отечественные записки», 1878, № 9.

С. 168. *Скучно жить на свете, господа!* — неточная заключительная фраза из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя.

...отслужили литию... — молитву об умершем при выносе из дома.

С. 169. *Митрофаниевское кладбище* — петербургское кладбище для бедных.

С. 175. *Булгарин Ф. В.* (1789 — 1859)— беллетрист, журналист. Издавал журнал «Северный архив» и газету «Северная пчела». В царствование Николая I прославился сотрудничеством в сыскном отделении, доносил на писателей.

С. 176. *...был беден, как Ир.* — Ир — персонаж «Одиссеи» Гомера, его имя — обозначение крайней нищеты.

Конечно, никто не считал его «разбойником пера»... — «Разбойники печати и мошенники пера»— так назвала реакционная газета «Московские ведомости» деятелей либеральной прессы.

С. 177. *Мусин-Пушкин* — граф Мусин-Пушкин М. К. (1795 — 1862), попечитель петербургского учебного округа. Оскорблял память Гоголя и запрещал хвалебные статьи о его творчестве.

Горлов И. Я. (1814 — 1890)— профессор политэкономии.

С. 178. *...г. Валентин Корш...* — известный либеральный журналист, редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Корш В. Ф. (1828 — 1883). Послужил для Щедрина прототипом образа Менандра Прелестнова, характеризующегося беспринципностью и болтовней.

С. 186. *Фаланстеры* — общежития людей при социализме, какими видел их французский социалист-утопист Ш. Фурье (1772 — 1837). Щедрин считал его философские положения практически «несостоятельными».

С. 188. *Гамбетта* (1838 — 1883)— председатель палаты депутатов, премьер-министр в период Третьей французской республики. Эту республику за ее половинчатость и оппортунизм Щедрин назвал «республикой без республиканцев».

С. 192. *В Аспазии она к нашему Периклу готовится...*— Аспазия — красивая и образованная гречанка, возлюбленная Перикла — военачальника и государственного деятеля Древней Греции (V в. до н. э.).

«Таинства мадридского двора» — лубочный роман о любовных похождениях мадридских придворных.

ДВОРЯНСКАЯ ХАНДРА

Из цикла «Сборник». Впервые — в журнале «Отечественные записки», 1878, № 1.

С. 199. *Купель силоамская.*— По Евангелию, Силоам — купальня в окрестностях Иерусалима. В переносном смысле — средство исцеления.

С. 203. *...он кануны соблюдает...*— аскетическое воздержание от всяческих удовольствий накануне религиозных праздников.

С. 208. *Предилекция* — привычка.

С. 215. *Генрих* IV (1553 — 1610) — французский король в 1589 — 1610 гг. Ходило предание, будто бы он сказал, что желает, чтобы у каждого французского крестьянина по воскресеньям была в супе курица.

С. 218. *Компликации* — осложнения.

С. 225. *Закхеева смоковница.*— По евангельскому преданию, грешник Закхей, будучи мал ростом, влез на смоковницу, чтобы увидеть Христа.

БОЛЬНОЕ МЕСТО

Из цикла «Сборник». Впервые — в журнале «Отечественные записки», 1879, № 1.

С. 240. *Карл* X (1757—1836)— французский король в 1824—1830 гг. Боролся против французской революции 1830 г.

С. 250. *Белые нигилисты* — охранители самодержавия.

Следующие 13 рассказов, предлагаемые читателю,— из цикла «Мелочи жизни». Он задуман был писателем для публикации в газете «Русские ведомости». К этому времени Щедрин остался без своего журнала. Редактируемые им «Отечественные записки» правительство закрыло в 1884 г.

«Закрытие «Отечественных записок» произвело во всем моем существе нестерпимую боль... Вижу, что связь моя с читателем порвана, а я, признаться, только и любил, что эту полуотвлеченную персону, которая называется читателем»,— горько сетовал Щедрин. Щедрину приш-

лось предлагать свои произведения в издания либерального направления, хотя он презирал их половинчатую и беспринципную политическую платформу.

Пять главок «Введения» к циклу «Мелочи жизни» вышли в журнале «Вестник Европы», 1886, № 11.

Публикация сопровождалась примечанием Щедрина: «Первые две главы «Мелочей жизни» были напечатаны в «Русских ведомостях». Но по мере того как работа подвигалась вперед, автор убеждался, что она явится в более цельном виде, будучи напечатана в большом журнале, нежели в газете, где, по самому способу издания, авторский труд поневоле дробится...» Но уже первая вышеназванная публикация в «Вестнике Европы» вызвала гнев цензурного комитета.

Именно цельный материал, «без дробления», а также широкая трактовка Щедриным понятия «мелочи жизни» свидетельствовали о весьма важном политическом смысле цикла, который довольно верно угадала цензура.

В полном составе книга увидела свет в 1887 г.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МУЖИЧОК
МИРОЕДЫ

Из раздела I. «На лоне природы и сельскохозяйственных ухищрений».

С. 266. *Шугайчик* — короткое пальто.

С. 268. *...к наступлению летнего мясоеда...* — то есть к концу июня (начинается с 29 июня).

С. 269. *...своего хлеба у него хватит до масленой...* — Масленая неделя приходится на конец февраля.

С. 270. *Карпетки* — носки.

...рождественский мясоед... — время от праздника рождества (25 декабря) до масленой недели.

С. 271. *...на Красную горку...* — первую неделю после пасхи.

С. 276 *«Разоренье»* — очерки Глеба Успенского, где показано «раскрестьянивание» русской деревни.

С. 281. *...в кортому...* — в аренду.

СЕРЕЖА РОСТОКИН
ЕВГЕНИЙ ЛЮБЕРЦЕВ
ЧЕРЕЗОВЫ, МУЖ И ЖЕНА
ЧУДИНОВ

Раздел II. «Молодые люди».

Подхалимов — сатирический тип реакционного журналиста. Присутствует и в других произведениях Щедрина.

С. 290. *Предводительство* — выборная дворянская должность в уезде или губернии.

С. 292. *Ламентации* — жалобы.

С. 293. *Борель и Донон* — петербургские рестораторы.

С. 294. *Сведущего человека* — участника той или иной бюрократической правительственной комиссии, работа в которой никаких результатов не давала. «Сведущие люди», как правило, были из дворян.

С. 295. *На коврик она ступила первая.* — По старинной примете, тот из венчающихся, кто первым ступит на коврик, будет главным в семье.

С. 299. *...французские доктринеры времен Луи-Филиппа...* — политический кружок сторонников конституционной монархии, образовавшийся в период Реставрации (1814 — 1830). Многие из доктринеров, в том числе названные далее Гизо, Дюшатель, Вилльмен, находясь в оппозиции накануне революции 1830 г., в эпоху Луи-Филиппа играли значительную, хотя и неодинаковую политическую роль.

С. 302. *Палладиум* — оплот.

С. 307. *Аридовы веки* (аредовы) жить, прожить — то есть очень долго. О долголетии кого-нибудь. От имени библейского патриарха Йареда, якобы прожившего 962 года.

С. 323. *Нет, вздумал странствовать один из них, лететь...* — Из басни И. А. Крылова «Два голубя» (1809).

АНГЕЛОЧЕК
ХРИСТОВА НЕВЕСТА
СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
ПОЛКОВНИЦКАЯ ДОЧЬ

Раздел IV. «Девушки».

С. 367. *Кунтуш* — старинная верхняя мужская одежда, распространенная на Украине и в Польше.

С. 383. *Пепиньерка* — помощница классной дамы, готовящаяся стать воспитательницей (классной дамой).

С. 392. *«Фрейшютц»* («Freischutz»—«Вольный стрелок»)— опера Вебера, на русской сцене шла под названием «Волшебный стрелок».

ЗЕМСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ

Из раздела V. «В сфере сеяния».

С. 396. *...на выкуп не согласен-с.*— Как правило, после реформы 1861 г. помещики не отдавали за выкуп крестьянам хорошие земли, а старались выделить без выкупа непригодные для обработки участки.

...в сношениях с заграничными агитаторами.— Герценом и Огаревым, издававшими революционный журнал «Колокол», широко известный в России.

С. 400. *Любим Торцов* — персонаж пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок», купец, пропивший свое состояние. Здесь ему поручают в земстве наблюдение «за кабаками и народною нравственностью».

ПОРТНОЙ ГРИШКА

Раздел VI.

С. 409. *Партикулярный* — штатский.

С. 419. *Съезжая* — место, где производилась полицейская расправа.

С. 427. *Куртина* — здесь: обложенная дерном клумба для цветочных или других растений.

СЧАСТЛИВЕЦ

Раздел VII.

С. 441. *...служить по выборам.*— То есть в выборных дворянских должностях (предводителем дворянства или председателем земской управы).

С. 443. *Фаворизированных* — от слова фаворит, приближенных, избранных.

С. 449. *...не подозревал, что я исчез и куда.*— Щедрин намекает на свою ссылку в г. Вятку (с 1848 по 1855 г.) за повести «Противоречия» и «Запутанное дело».

С. 451. *Кокорев В. А.* (1817 — 1889)— миллионер. Его часто обличали революционно-демократические сатирики.

«Русский вестник»— журнал, редактируемый М. Н. Катковым (1818 — 1887). В 60-е гг. стоял на реакционно-охранительных позициях.

Бельвилль — рабочее предместье Парижа.

С. 452. *Мельмот-скиталец* — герой одноименного «романа ужасов» английского писателя Ч. Р. Метьюрина (1782 — 1825).

С. 455. *...до вожделенного 3-го пункта...*— Пункт устава о государственной службе, позволяющий увольнять чиновника без всяких объяснений.

С. 459. *Сиротский надел* — бросовая земля, дававшаяся помещикам и крестьянам без выкупа.

С. 461. *Редстокист* — член реакционной религиозной секты английского лорда Редстока. Секта пользовалась популярностью у русской аристократии.

ПУТЕМ-ДОРОГОЮ

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1886, 7 сентября.

Первоначально рассказ назывался «Правда. (Сказка)», затем — «Путем-дорогою. (Разговор)».

С. 465. *Весенний мясоед* — с 25 декабря ст. стиля до масленицы; время свадеб.

С. 467. *Одворица* — участок под избу и хозяйственные построения.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С КРАМОЛЬНИКОВЫМ

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1886, 14 сентября.

Персонаж под фамилией Крамольников впервые возник в рассказе «Сон в летнюю ночь», затем в цикле «Пошехонские рассказы». Революционный демократ — так его характеризует сам автор. Полемизируя о сущности этого образа с Г. Елисеевым, работавшим в «Отечественных записках», призывавшим Щедрина к осторожности, к уважению правительства («генерала Дворникова»), Щедрин пишет: «Вы не забываете о Дворникове и продолжаете настаивать на теории хождения с

ним под руку. С теорией этой я лично никак согласиться не могу, а тем менее мог усвоить ее Крамольников. Последний всего менее человек компромиссов, и ежели создаст теорию, то для практики совсем иного рода... Можно признавать ее несвоевременною и небезопасною, но в литературе напоминать о ней не только можно, но и должно» (16 декабря 1886 г.).

С. 472. *Чурова долина* — заколдованная долина.

СОДЕРЖАНИЕ

М. Горячкина. Щедрин-психолог 5
Миша и Ваня 19
Святочный рассказ 31
Развеселое житье 53
Госпожа Падейкова 82
Сон в летнюю ночь 98
Дети Москвы 135
Похороны 168
Дворянская хандра 198
Больное место 226
Хозяйственный мужичок 265
Мироеды 274
Сережа Ростокин 283
Евгений Люберцев 297
Черезовы, муж и жена 310
Чудинов 323
Ангелочек 335
Христова невеста 346
Сельская учительница 370
Полковницкая дочь 381
Земский деятель 394
Портной Гришка 409
Счастливец 439
Путем-дорогою 465
Приключение с Крамольниковым 470

Примечания 480

Салтыков-Щедрин М. Е.

С16 Рассказы/ Сост., автор вступ. статьи и примеч. М. С. Горячкина.— М.: Современник, 1989.— 493 с.; портр.—(Классическая б-ка «Современника»).

ISBN 5-270-00453-4

Сатирическое творчество Салтыкова-Щедрина гуманистично, глубоко человечно. В рассказах, включенных в книгу, суровый сатирик, «обличитель» язв общественной и политической жизни самодержавной России, проникает «в глубины души человеческой», души страдающей и гибнущей, души, искалеченной жизнью.

С $\frac{4702010100\text{-}195}{М106(03)\text{-}89}$ 13—89

ББК 84Р1

Литературно-художественное издание

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Михаил Евграфович

РАССКАЗЫ

Редактор *Т. А. Стельмах*
Художественный редактор *О. Г. Червецова*
Технический редактор *В. И. Тушева*
Корректор *А. А. Володина*

ИБ № 5464

Сдано в набор 16.06.88. Подписано к печати 24.05.89 Формат 84х108 1/32. Гарнитура академ. Печать высокая с ФПФ. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,46. Уч.-изд. л. 27,90. Тираж 300 000 (100 001—200 000) экз. Заказ 19. Цена 2 руб. 60 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

Издательство «Современник»
выпустит в 1989 году книгу

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Серебряный голубь

Романы, повесть

Андрей Белый (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева, 1880—1934) — один из интереснейших русских писателей начала XX века. Творчество его, при всей сложности и противоречивости его идейно-эстетических исканий, носило в целом гуманистический характер. Не случайно после Великого Октября Андрей Белый признает идеалы Революции и принимает активное участие в строительстве новой социалистической культуры.

В сборник войдут романы «Серебряный голубь», который сам автор считал пророческим предвосхищением распутинщины, а также произведения автобиографического плана — повесть «Котик Летаев» и роман «Крещеный китаец».

Впервые в нашей стране издательством «Современник» совместно с Институтом русской литературы (Пушкинский дом, Ленинград) подготовлена библиотека «Сокровища русского фольклора» в 11-ти томах.

Вышли в свет

в 1986 году
«БЫЛИНЫ», «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ. БАЛЛАДЫ», «ПОСЛОВИЦЫ. ПОГОВОРКИ. ЗАГАДКИ»;

в 1987 году
«ЧАСТУШКИ», «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ»
в 2-х томах;

в 1988 году
«ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР».

В 1989 году издание будет завершено томами: **«Обрядовая поэзия», «Лирические песни», «Легенды. Предания. Былички», «Потешки. Считалки. Небылицы».**

В 1990 году все одиннадцать томов библиотеки выйдут малоформатным изданием в кассете.





2 р. 60 коп.

«Современник»